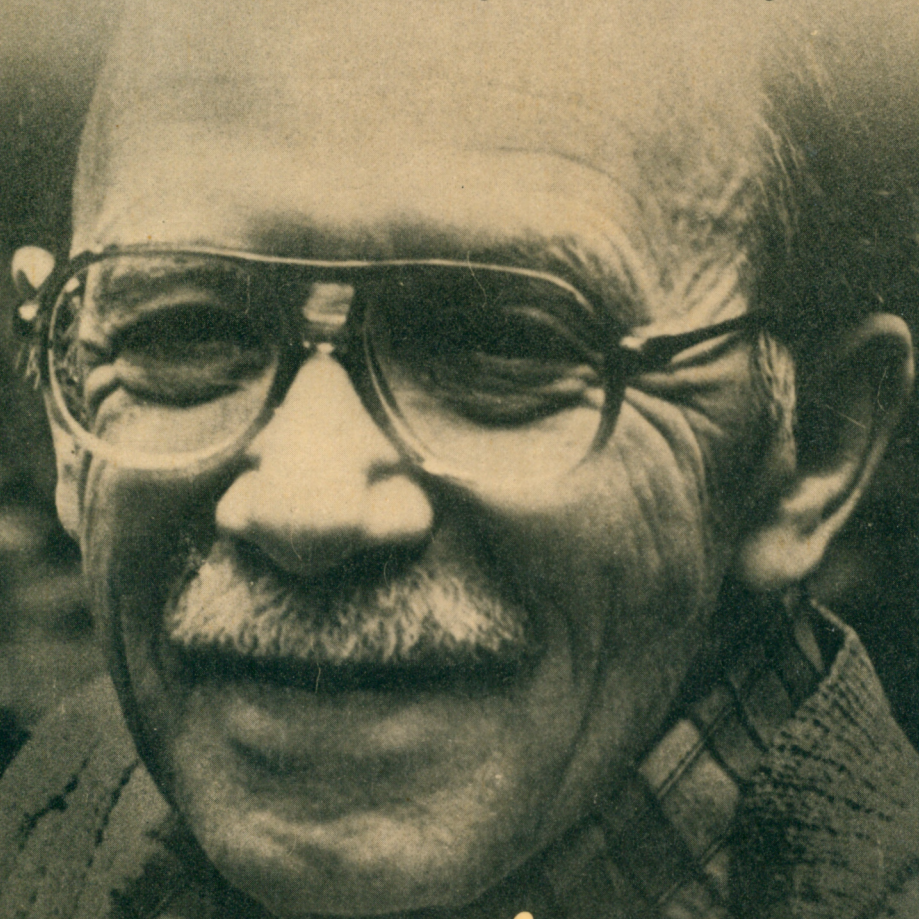


М.Я. ГЕФТЕР



Из тех
и этих лет

Эта книга — примечательное свидетельство духовных поисков 70–80-х годов.

Так случилось, что за мифом о "застое" и за "перестроечным" сведением счетов с мертвыми близкие нам по времени уроки оказались, увы, почти не различимыми. Застарелую и не преодолеваемую наскаками отрезанность как от мыслящего Мира, так и от отечественных предтеч мы усугубляем каким-то воинствующим безразличием к целостному знанию о своем недавнем прошлом. Не оттого ли так мучительно запинается ныне процесс общественного обновления?

Не только из одних лишь парений мысли русского зарубежья, заторможенного своими табу, выросал опыт "тех и этих лет". Фантастически узкой территорией, на которой мог в основном кристаллизироваться этот опыт, было негласное *противостояние и самостоянье единиц*. Тех, для кого старая задача — "жить не по лжи" — обернулась другим вопросом: как во лжи — жить? Как жить, разделяя судьбу своего народа, но отвергая подлог мысли и самоумерщвление души, на которые толкала "разумная действительность"? Я назвал бы это **СОВЕТСКИМ ВОПРОСОМ** — таким, однако, который в своей специфичности насущен для всей современной цивилизации. Движением к ответу на этот вопрос, к одному из возможных ответов видится мне книга М.Я.Гефтера,

М.Я.ГЕФТЕР Из тех и этих лет

М.Я.ГЕФТЕР

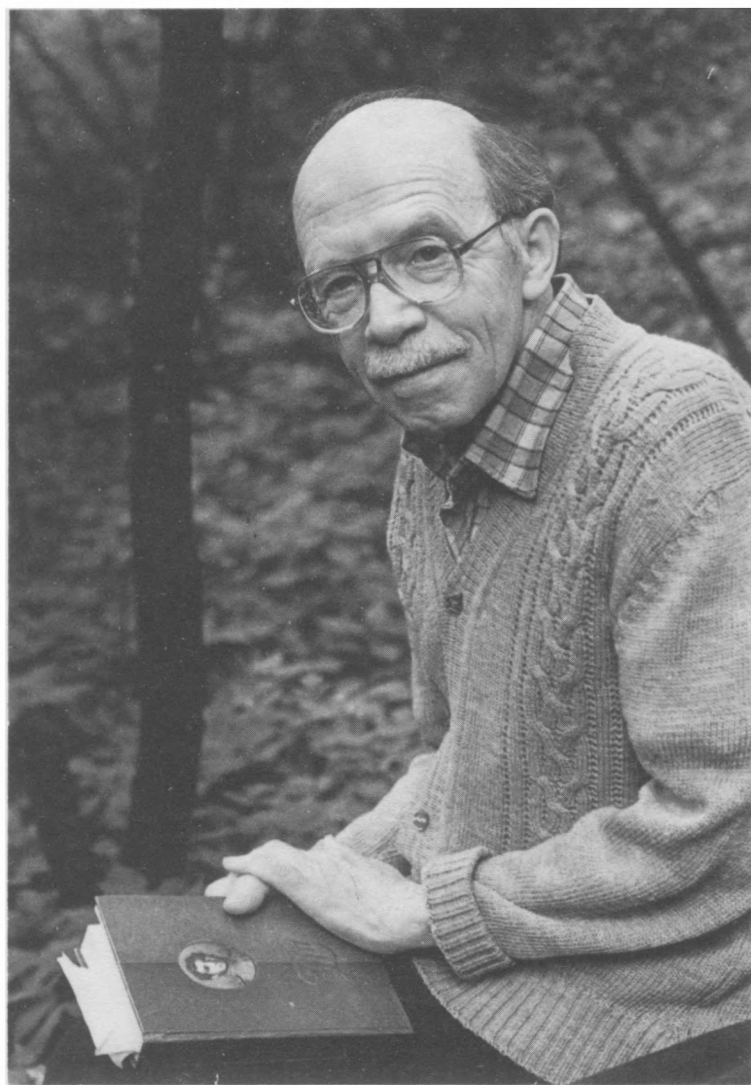
*Из тех
и этих лет*

Дорогому
Александрю Константиновичу
в знак нашей дружбы

9 июля 1991г.

Медведев-

Фонд имени Н.И.Бухарина



М.Я.ГЕФТЕР

**Из тех
и этих лет**

**МОСКВА
ПРОГРЕСС**

1991

Редактор и составитель Е.И.Высочина

Общественный издательский совет Фонда им. Н.И.Бухарина:
*А.К.Авеличев, М.Я.Гефтер, А.А.Калачев, Л.В.Карпинский,
Ст.Козн, А.М.Ларина, О.Р.Лацис, В.Ф.Писигин*

Книга М.Гефтера — результат почти 25-летних поисков известного историка, философа, публициста. Многие тексты прежде не публиковались либо издавались за рубежом. Статьи, эссе, диалоги, письма "тех лет" (диссидентского времени) и "этих лет" (исхода 80-х) — о жгучих вопросах, потаенных смыслах и парадоксах "будущего прошлого", об альтернативах — несбывшихся и предстоящих. Сквозной сюжет книги: переход из века предкатастроф в Мир равноразных миров.

© Фонд имени Н.И. Бухарина

© Оформление издательства "Прогресс", 1991

ISBN 5—01003290—2

Г 0803010000 - 159 без объявл.
006(01) - 91

*Памяти моей мамы и брата Володи,
умерщвленных фашистами
в симферопольских Дубках.*

*Памяти Давида Блюменфельда,
чья жизнь оборвалась
в сталинской преисподней.*

*Памяти друзей моей юности,
своею смертью остановивших Гитлера.*

*Памяти Анатолия Марченко,
мужество и гибель которого
послужили началом конца
политических репрессий в СССР.*

Я скажу это начерно, шепотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

О.Мандельштам

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ Я ЗАДАЮ СЕБЕ

Нужна ли читателю эта книга, судить ему. Я же хочу объяснить, почему она нужна мне.

Не стану отклонять естественную дозу авторского честолюбия. Хотя немалая часть публикуемого писалась сначала "в стол" и, уж во всяком случае, без уверенности в открытом прижизненном выходе в свет, читатель имелся в виду. Как правило, в числе, для коего хватило бы пальцев, но все-таки не на одной руке; это было бы нарочитым заострением одиночества. Даже в самое дурное время одиноким я не был. И названные "пальцы" — родня: тот небольшой круг друзей (притом молодежи с годами), который не просто заменил оставленное мною академическое сообщество, но и явил собою неизмеримо большее — Россию и Мир. Их вместе. Соединил московские Черемушки с Питером и Одессой, Свердловском и Иркутском, воскресил погасший, казалось навсегда, Крым моего детства, прочертил прямую от мест, запечатленных глазом, к неувиденным, но теперь также моим: будь то близлежащие Бутырки и Лефортово, либо сибирский лагерь строгого режима и "нестрогая" комяцкая ссылка, или вовсе вольные, по нашим домашним понятиям, "бухаринские" Набережные Челны. Раскидистые эти отечественные широты сомкнулись с запредельными, отныне также моими, хотя и по сей день я ни разу не пересекал советской границы. Но "тот" Мир пришел в мой дом: француженкой и немкой, аргентинцем и англичанином, итальянцем, обрусевшим в Москве, и выходцем из Харькова, пустившим корень и в калифорнийскую землю, и в испанскую, — людьми моей профессии из Японии, Европы и Штатов, теми, кто стремится доскональнее узнать нас, дабы лучше понять себя, как и все, что Александр Твардовский в сердцах назвал "муравьиною злою возней маленькой нашей планеты".

Я отдаю себе отчет, что в этих скороговоркой поименованных обстоятельствах моей жизни нет ничего исключительного. И упоминаю о них, с одной стороны, из чувства признательности, которое жаждет подтвердиться множеством подробностей, порой достаточно драматических (оставляю исполнение этого до лучших времен). Другая же сторона, не менее существенная в личном плане, вводит непосредственно в предмет этой книги. Как определить его, не пытаясь реферировать и тем паче представлять в виде некоего итога? Итога-то как раз и нет. Пред-

мет — вопросы, которые я задаю себе, поскольку всякий раз, приближаясь к возможному ответу, обнаруживаю за ним "внутреннюю стену", упираюсь в нее и начинаю спрашивать себя вновь. О чем же?

Множественность смыслов, заключенных в русском слове "мир" позволяет разъяснить и сам предмет, и его властную притягательность, его безграничность. В равной степени я мог бы сказать, что безграничность эта исконна и конечна, но и это не вполне так, по крайней мере для меня. Ибо на пути к Миру — заданному и неосуществимому — я расстался со многими иллюзиями и предрассудками, получив взамен мучительную загадку, обязывающую и обрекающую... На незавершаемость замыслов? На черновики в качестве главного продукта, что произвожу в течение многих лет? Да, на это. Но все-таки и на большее.

Не исключено, что, говоря это, я в какой-то мере стремлюсь заинтриговать читателя и выудить у него нечто вроде индальгенции загода. Если и так, то руководит мною более серьезный побудительный мотив: потребность обрести в читающем если не единомышленника, то пусть несогласного, но *едино-предметника*. Сейчас мне хочется протянуть руку второму (разумеется, не за счет первого). Если бы это рукопожатие состоялось, я был бы счастлив.

Остается добавить немного. С тех уже давних лет, когда события внятно разъяснили, что я и до того имел основания считать себя космополитом, эта внеанкетная принадлежность с нарастающей остротой побуждала меня выяснять свои отношения с тем человеческим пространством, с которым я связан самым актом появления на свет. Сознательно не употребляя здесь слова "родина" — ввиду его неопределенности, затертости повседневным употреблением и навязчивости, с которой множество людей у нас, властных и пока безвластных, пытаются отождествить себя с ним. Одного этого было бы достаточно, чтобы отойти в сторону и переждать — в надежде на разумные времена. На ведь можно и не дождаться. Да и как удержать выношенный собственной жизнью вопрос: что же она такое — эта замкнутая чересполосица цивилизаций, эта державная и человеческая Евразия, у которой трагический удел: покушаясь на "чужое", неизменно разить себя? И, одушевляясь *самостью*, превращать ее в недуг неполноценности, а свой спрос на Мир — в обязательство объять его целиком, объять и исчерпать.

"Для нас, русских душой, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение..." Карамзин не иронизировал, не самобичевался, напротив — доводом этим побуждал друга, Александра Тургенева, к самоотверженному гражданскому действию. Не укажи имени того, кто открыл русским историю России, иной наш современник поторопится, пожалуй, зачислить

его в предтечи нынешней декларируемой русофилии. Между тем — не обмолвка, не предрассудок. Чище и страшнее. Капкан!

Разве устарело: *все иное — и мысль и привидение?* Разве не вернулось к нам, сегодняшним? Разве такая уж натяжка, измеривши этим судьбы, которым срок — века, опознать разломы-рубежи? Перешагнув от "третьего Рима" к "мировой революции", а от нее к 1990-м, увидеть, сколь близки они: **непомерностью масштаба, непосильностью проблем.**

Критерий, что ни говори, странный. Мы привыкли к иному — к классовой несовместимости, к несовпадению духовных посылок, к противостоящим поколениям или, наоборот, близости к "вечному": неистребимому этносу, неискоренимой потребности в "почве"... Вызволить ли больную душу, жаждущую домашнего покоя, напоминаям о том, что Дом наш изначально м и р о в о й? Гордость ли это, либо напасть, либо аритмия переходов от взлетов к падениям с густым осадком того и другого на нашем историческом "дне"?

Это уразуметь ныне важнее важного, но удастся ли, не приняв за точку отсчета давнюю Россию, вломившуюся в Мир, и совсем недавнюю, посягнувшую на то, чтобы отождествить себя с Миром-человечеством?.. Схожесть начал — близость концов. Россия, пытавшаяся одолеть власть пространства раздвижкой пределов его (силою ли силы, мощью ли Слова), не потому ли сошлась с коммунизмом, что "все иное" и для нее и для него "есть только отношение": к ней, к нему?

Есть либо ушло, раз и навсегда?!

Все, о чем думаю последние десятилетия, к этому поворачивает. О судьбе принято говорить либо метафорически, либо посмертно. Но видно так уж написано на роду оставшимся в живых людям моего поколения, что метафора — "карамзинская" — совпала с буквальностью бытия.

Врозь не уйти — от коммунизма и от той России, что Атлантида XX века (погребенная под пеплом, истомившая себя мифами и антимифами...). **Не уйти**, иначе как отыскав сомнению напарника в поступке. Ибо сомнение нуждается в этом куда больше, чем решимость изобличать и сокрушать.

Моя польнь. Не она ли уводила от профессионального призвания (факты!) в метафизические дебри? Если и уводила, и даже в ущерб ему, то потому, что там, именно в тех дебрях, виделся мне "человек-факт", который и есть предмет истории, показанный современности — и отторгаемый ею.

Достаточное ли тому доказательство — содержимое этой книги? Само по себе, вероятно, нет. Но мне кажется, результат будет более благоприятным, если читатель присовокупит ее к литературе последних десятилетий, которую принято числить диссидентской. Я сравнительно поздно вступил на эту стезю.

Решение, принятое в 1976-м, можно лишь условно окрестить выбором. Отчасти оно было логическим продолжением того, что предшествовало этому, отчасти же — внезапным. Возможно, не сделай этого шага, я бы просто выбыл из жизни.

В этом кратком слове затруднительно передать мое понимание диссидентства, основанное на опыте соприкосновения и сотрудничества со средой, которую столь же верно именовать *инакомыслящими*, как и *инакоживущими*. Скорее даже последнее; точнее, ближе к сути. Сейчас диссиденты из "отщепенцев" превращаются в творимую заново легенду. Отщепенцами они действительно были, легенда же может лишь помешать усвоению их урока. Не усредненного, но общего — при разительных несовпадениях во взглядах и нравах.

Общее как раз будто налицо, если всматриваться из сегодня во вчера: разве не от них "перестройка"? Как не вспомнить мудрую детскую присказку: "да" и "нет" не говорите... Ибо общее, о котором речь, не результат, а оспаривание его — в любом виде. Диссидентство не избирало это целью, его приговорили: к ограничению "малым", к защите отдельного человека, к упорству в отстаивании права быть собою.

Инакоживущие неприметно обрели сизифов лик Человека, предвестив этим исход 1980-х. Параллель, возможно, покажется неоправданной. Нам ли, застигнутым импровизациями и сквозняками перестройки, катить в гору камень? Да и что за камень и где гора? Этой репликой ввожу в последний раздел книги и в связь, какую нахожу между людьми Семидесятых и поколением, которому переступить границу тысячелетий.

Что суждено ему? Далеко вперед не заглянешь, пророчествовать же не только трудно, но и опасно... Исторические гороскопы ведь не что другое, как перекладывание своих бед и "вопросов без ответа" на тех, кто после. А пленникам Результата освободиться ли разом и от его кандалов, и от его вериг?

Хотя древние числили историю музой, людям моей профессии не дано передать мысль с той лаконической мощью, какой обладает Образ. Все то, что составило эту книгу, исчерпывающе выражено в восьми строках моего любимого поэта, которые я избрал в качестве эпиграфа, объединяющего *ТЕ* и *ЭТИ* годы.

...Скорбь подсказывает упованию: не пропусти свой час. Мы не знаем, сколь долгим час этот может быть. Лишь чувствуем: упущенный, он не возвратится.

* * *

Тексты, вошедшие в состав этого сборника, разные по хронологии и вместе с тем отмечены общностью сюжетов и проблем, в силу этого едва ли не дословностью, по крайней мере в

том, что касается "вопросов без ответа". Устранить их значило бы устранить время, в какое эти тексты рождались. Для автора время это кончилось. Он подводит итог — себе. Отсюда и построение книги, и отбор текстов (вошли далеко не все). Однако, сведенные воедино, они как бы заявили вновь — если и не требуя, то, во всяком случае, побуждая вернуться к ним — ради самоосмысления этой не вполне ожидаемой целостности. К тому же некоторые из статей (с середины 1980-х) стали появляться в печати. Журналы "Век XX и мир", "Рабочий класс и современный мир", "Октябрь" и "Коммунист", а также издательство "Прогресс" предоставили мне свои страницы. Естественно, что в сборник соответствующие тексты вошли с учетом уточнений и редакционной правки, внесенных в них автором. Однако, само собой, исключались "экстраполяции" последующего в то, что принадлежало иным временным средам.

Читатель вправе упрекнуть автора в скупости комментариев. Но кроме экономии места, мне казалось, что избыток разъяснений мешает воспринять лексику и интонации, в которых время запечатлевает себя в отдельном человеке. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь.

Книга эта — плод коллективных усилий. Если бы не настойчивость моих сыновей и молодых друзей, ей бы вообще не появиться. Благодарность — лишь внешнее выражение чувств, которые испытываю я к тем, кто вложил в эту книгу свой труд, свою мысль и привязанность к автору. Мне доставляет удовольствие возможность назвать имена Елены Высочиной, Вероники Гаррос, Татьяны Кальяновой, Галины Козловой, Валерия Абрамкина, Валентина и Владимира Гефтеров, Алексея Каратаева, Владимира Максименко, Глеба Павловского, Марка Печерского, Бориса Равдина, Михаила Рожанского, Светланы Неретиной, Лоренцо Скаккабороцци, Виктора Сокирко. Я не могу не воспользоваться случаем, чтобы не выразить признательность за поддержку и взаимопонимание Л.И.Богораз, Н.К.Лошкаревой, Т.А.Ноткиной, С.С.Сергеевой, А.К.Авеличеву, А.А.Ананьеву, А.А.Беляеву, Н.Б.Биккенину, Ю.Г.Буртину, Хуану Кобо, А.П.Лавуту, О.Р.Лацису, И.Б.Левину, И.К.Пантину. К первой, после многолетнего запрета, открытой публикации моего текста написал слова уважения и согласия Ю.Н.Афанасьев, это также не может быть забыто. Некоторые из текстов стали доступны французскому читателю благодаря блестящим переводам Denis Paillard, спасибо ему.

В испытаниях тех и этих лет моя жена была неизменно рядом. Терпение ее и поддержка и в этой книге.

Выходу этой книги в свет я обязан молодому коллективу из Набережных Челнов, образовавшему еще во второй половине 80-х годов клуб имени Н.И.Бухарина. О причинах, побудивших

их стать издателями моего текста, написал Валерий Писигин. Мне остается ответить словами благодарности.

Так случилось, что, когда сборник этот еще не вышел из стадии замысла, меня постигла сердечная авария. Я остался жив благодаря заботе и умению врачей и медсестер отделения интенсивной кардиологии больницы АН СССР. Признательный им всем, я считаю себя вправе назвать одно, особенно дорогое мне имя – врача Галины Алексеевны Александровой.

ПРОЛОГ

ПРОЩАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

*Директору Института всеобщей истории
академику Е.М. Жукову*

*Ввиду оформления пенсии прошу не считать меня с 21 мая
1976 г. сотрудником института.*

Время подвести черту. И начать сызнова?

Все перемешалось, давно и безнадежно перемешалось в нашем доме. Смешно жалеть об этом. Перемешалось — значит, сдвинулось с насиженных мест. Сдвинули старую мебель, а под ней мусор, а на линялых обоях не тронутые временем куски. Смотришь на эти обнажившиеся места с грустью (молодость!) и недоумением (сохранились, а к чему?!).

Вот и чеховский Гаев в свои Восьмидесятые говаривал, вероятно, что-то сродни мечтам вслух девятисотника Пети. Но Гаева уже не слушают, ибо — не верят. Что остается? "Душет в угол... Круазе в середину..." И это — в глубоком раздумье. Деваться некуда: в банк — служить. Не станешь же в старости вечным студентом, не переворачивать же мир в собственном воображении и с изорванными калошами на ногах. А восьмидесятнику Чехову если что и внушает надежду, то именно это: не неприкаянность, не отщепенство юных, — их бескорыстие, бескорыстная вера в то, что будущее будет и потому не навсегда оно, особое рабство безвременья.

Слова наивны, даже нелепы. Но калоши...

Не служить у нас новинка, считанные годы. Тоже примета сдвинутости, распада. Рядом — отставной козы барабанщики и "лишние": за счет благополучных родителей либо неблагополучного государства. А от него не уйдешь. То есть можно уйти — с его ж дозволения. Еще одна странность, страннее прочих. Исключение, какое не просто подтверждает правило, а являет его. Его незыблемость и его абсурд. Абсурд растворения судеб в вездесущей власти, ею же удерживаемый и подновляемый: отсечениями, выбросами и... соблазнами быть отторгну-

тым, выброшенным ("туда", в благоденствующее запределье). Привилегия, что и говорить, — *привилегия*, которую если и отклоняешь, то в силу ли инерции раз заведенной жизни или все-таки следуя долгу, совершая выбор?

Однако если долг, то перед кем, собственно? Перед собой, близкими, похожими на тебя, либо перед всеми — и теми, кому нет дела сегодня (и только ли сегодня?) до этого выбора, кто, не дрогнув, использовал бы привилегию, достанься она ему, кому вообще наплевать на твои метания и отчаянье? Ежели и руководит дарующими "выбор" нечто сверх запутанности в делах (дожили до конца года, и хорошо), то это нечто не в последней мере расчет на полуживотную и вовсе звериную ненависть к "праздным умникам", на ущемленный "сверхдержавный" комплекс, на подхлестнутый свыше комплот отчужденных: вместе, согласно расчету, они не сильнее, а слабее — в качестве изгоев, без почвы дома и на чужбине, без почвы вообще, навсегда...

Вечная как мир коллизия. Из исконных российских и совсем новая: не только обличьем своим, но и как таковая — возможностью заново выбирать удел, судьбу. Не ту, что изучали и почитали с детских лет, не ту, что, неузнанная, сопутствовала нашей юности (теперь прочли, потряслись). И даже не ту, что грезилась в Шестидесятые — с их вензелем: "XX съезд". Впрочем, разве тогда, в том зачине, о судьбе шла речь? Судьба заявила позже, когда обещанное, начатое крушением идола, рвущееся в "другую жизнь", оказалось неисполнимым, суесловным, обманным, и если не полным возвратом вспять, то уже более невыносимым, чем оставленное позади (ужас! величие!).

Сегодня они снова сроднились — выбор и судьба. Потянувшись к одному, открываешь дверь другой.

Ты готов? Ты в силах?

Не узнаешь наперед. Риск. Но одним ли собою рискуешь? Вопрос из тех, что подстрекают выждать, осмотреться. Софизм отсрочки? Нет, тут в личное вмешаны и прошлое и будущее, которые ни в чьей метрике, никому в отдельности не принадлежат. С ними как?

Выбирая прошлое, выбираешь будущее. И наоборот. Непременно — и наоборот!

Так каков же он, этот нынешний наш двуединый, двуликий выбор? Если не только — где жить, на что жить. Дорог, может, и больше трех, но куда ведут и не заведут ли — все — в тупик?

Тех же, Шестидесятых, наследие-призрак: спущенная "сверху" демократия или — меньше, скромнее — либерализация. Казалось бы, доступна. Именно потому, что пожалована. Ведь и

тем, кто дарует, она тоже не без выгоды. Есть ведь и среди них обеспокоенные, заинтересованные, а на пороге молодые, куда более прирученные к цивилизации. Шаг, еще шаг, и... Не получается. С каждым днем очевиднее, что не получается. Стена. Правда, уже не сплошная, но — стена.

И трудно разглядеть, что за ней — простор, земля обетованная или другая стена, глуше прежней?

Афоризм из расхожих: благими намерениями вымощена дорога в ад. Уже давно не откровение, простая присказка. Кто произносит с печалью, кто (чаще) с презрением. А отчего? Лучше без них — без благих? Поможет ли: размостить дорогу, что в ад, и камнями в тех, "кому больше всех надо", и в тех, кто бы рад малому, но хочет сам добыть его, свое малое?

Всю дорогу — в камни. Все камни — в тех и в других. А за вычетом одержимых и за вычетом прикипевших к своему малому, кто останется?

Правильные, держатели истины. Не благой, не добренькой: безжалостной, поскольку истина... Даже если не азбука политграммоты, не перст указующий, не благодная "золотая середина", если даже — истина проблемы, то одна ли?

А если не одна для всех, не одна на всех, то истина ли?

Камень — бумеранг. Посылается с уверенностью — в себе, в знании того, что нужно и чего не нужно. Возвращается же сомнением, и уже не в себе одном. Возвращается утратой веры в Завтра. В не-сегодня. В иное. Быть ли ему, а если быть (иначе и говорить вроде не о чем), то откуда придет, откуда может прийти?

Не знаем. Знали и "забыли". Отчего? Не самое ли время спросить: отчего?

Без этого особенного не-знания ни к чему и выбор. А он вечен? Как появился "сапиенс", так вместе они: человек и выбор? Или иначе — выбор позже? Мятежом против заданности. — той, что в людях. Отрицанием, без которого не быть и преемственности. Отказом, без которого не возникнуть наследству.

Выбор. Рожденный одиночеством — и тем в человеке, что сильнее всего влечет его к другим, минуя барьеры, пределы, границы. То "чужое", что не меньше свое, чем "свое". Не меньше, а то и больше. Больше!

Свобода, какая не псевдо. Братство, какое не по крови. Равенство, которое в мировой жизни — краткий миг, но в памяти — навсегда.

Псевдоним истории и оспариватель ее. Да и что такое история, как не движение Выбора, пересоздающего и самое себя?

Не сплошняк (каждый день будто исторический, а уж каждый "съезд", каждый "вождь"... к этому-то приучены лучше прочих и многих прочих одарили).

Не в любой момент — Выбор, но и не по графику. А внезапность, выстраивающая себе пролог-пьедестал. От взорванной заданности — к новой, "вторичной", "третичной". Вечный двигатель? Исключено. Где-то быть финалу.

Не его ли предчувствуем? Не его ли мы, нынешние, и "не знаем"?

Первое, что помню — без взрослой подсказки, первое из такого, что только мое.

Ранним утром выхожу на балкон — и необъяснимое, переполняющее душу чувство. Как обозначить его сейчас, чтобы сохранить то?.. Прохлада. Чистый, сладкий крымский воздух. Прекрасен — он. Он один. Ничего другого вообще на свете нет.

То переживание сквозь всю жизнь. И самые счастливые часы, минуты — повторяющие, продлевающие первое. Прохладный, чистый, сладкий воздух. Легкость. От легкости — счастье.

Все мгновения эти — наперечет. Чем дальше, тем реже. И даже не реже. Тут другое. Те, прежние, прерывали будни, но не разрывали их, отнимая смысл у остального. Теперь и они, счастливые минуты, — вызов прежнему смыслу.

А может, это он, именно он — обуза? И проще его скинуть, от него освободиться. Разъять на смыслы — частные, частностью честные: непритворные, исполнимые. Ими-то и облегчить себе существование — чего бы лучше. Но вернуть ли легкость, счастье от легкости?

Легкость — ощущение целого, где нет распаханной полосы: вне человека и внутри него.

Счастье — слияние с открывшимся еще в детстве, со свободно вошедшим в меня Миром. Я и Он — равные. Пусть на мгновенье, но равные.

Большого, кажется, и не надо...

Навстречу — из детства же.

Мама как-то о себе — выпускной гимназистке, год (если не сбился) 1910-й: вышла на улицу, тихую ночную херсонскую улицу, всмотрелась в звезды, подумала: что будет с ней, с другими в 1930-м...

Эту дату запомнил точно: круглая, близкая, уже моя. Вспоминаю же — сейчас — без подтекста. И даже не на тему: люди предполагают, жизнь располагает. Просто... вспоминаю маму, одинокую (я да бабушка), без раздражений и отчаяния переносившую тяготы — и даже не ради единственного, кого родила;

”ради” — это уже позиция, кредо, у нее ж и намек на это не было, даже грусти.

А мы не можем. Что поделаешь — другая жизнь и другой Мир. ”Мы хуже, потому как он хуже”. Верное вперемежку с игрой. Ибо: он, Мир, тот, что рядом, и тот, что глобус, — хуже нами. Но ведь не просто хуже и не только хуже. Он другой. Разительно другой. И мы — вместе с ним.

Другие, а загоняем себя в гетто вчерашних слов, уставов, запретов и допущений. Мало что себя — и следующих норовим загнать туда же. Страшная сила — устаревшее слово. Жалкие люди — устаревшие словами. И вдобавок уверенные, что быть не может иных. Не уходить же им — *нам* — безъязыкими, паралитиками без инсульта.

Маме, хочется верить, было легче. Но что я знаю о ней, много меньше, чем мои сыновья обо мне, хотя и они не все. О чем думала она — днями, годами, всю жизнь? И в тот последний миг перед... не расстрелом, не казнью.

Нет слов. На это — нет слов. Все старые насмарку. Один крик. А что выкричишь им?

Славный Деятнадцатый век, выдержал ли бы ты?

”Хорошо там, где нас нет. А я думаю, что и там плохо”. Это Герцен, русский эллин, маг слышимой мысли.

Любил жизнь. Любил себя. Был любим, был почитаем. Вглядывался во всех, кто тронулся с места, кто не безнадежен. Равнялся на ”хор” — и выше всего ценил свободу слова, независимость личности. Был убежден и убеждал других, что там, где концы, там ищи и начала. Этим смирял себя, не покоряясь никому — прежним ли московским друзьям, новым ли людям. Ушел нестарым по нынешним меркам, умер от банального воспаления легких — и от придвинувшегося вплотную, уже неодолимого одиночества. Отвык от него, не совладал с ним — вновь пришедшим.

”На всем след ошибки”. Герценовская эпитафия. Адресованная себе. И — нам.

Но мы пока живы. Единицы, сохранившиеся из выбитого поколения, нужны ли мы следующим? А если нужны, то чем?

Спрашиваю (очно, окольно) тех, кто вместе — век. Как ни условен календарь, а ”век” нагружен смыслом: неповторимым наследством, осевшим, уплотнившимся в целое.

Почему ж душою я там, в том столетии—предшественнике нашего ”волкодава”? Вроде бы и спрашивать ни к чему, ясней ясного. Потому, что чище тот, красивее, равновеснее. Полнозвучный, век-симфония. Век-зачинатель, и нет такого поприща для ума и духа, где бы он не совершил прорыва. И еще: век-

мартиролог. Может, тем и люб, что и чист и гибелен, покоря соединением этим, отвращая от нынешнего, какой весь в крови и в грязи, отделишь ли одну от другой?

А не мираж ли? Из ямы все, что наверху, — вершина. Из собственного небытия все тогдашнее — Жизнь.

Проверяю собою. Пытаюсь возобновить события, даты, когда звал его, тот век, и он являлся, входил в меня. После школы, впервые испытал душевный недуг, открылся спасительному пушкинскому слову. Потом годы, когда перечитывал в каждый от корки до корки "Войну и мир", и князь Андрей отодвинул навсегда Овода... Так оно потянулось — неприметное, а затем все более осознанное влечение — к тем, кто погибал начиная. Кто собственной судьбою распознал русский рок — нескончаемое, недовершаемое Начало.

Повторить их? Не дано. Дотянуться, но как?

Гасую, будто карточную колоду, свои привязанности и свои отталкивания. Перемена не в лицах, хотя и она. Главная перемена — не тот расклад. В привязанностях — отталкивания, и это бы понятно. Странней привязанности в былых отталкиваниях. Всеядность? Нет, как будто не грешен. Терпимость, добытая жизнью, в которой все растут потери? Вероятно, так. Но еще что-то сверх. Как назвать его? Родством с противоборствующими, у кого невидимо общее проблемное поле?

Не замеченное ими — открывшееся нам. Либо это-то и искать, это-то еще открыть.

Конец их Начала — столетием позже...

Заново прочитываются слова, строки, фразы. А тексты? А все тексты, как один?

Из уст в уста — не семиотический код. Но тайна. В каждой биографии она, однако из каждой в отдельности не выудишь. За текстом — контекст, что за наименованием более точных обозначений именуем "среда". Ибо не просто класс, сословие, слой. Больше. Даже если только "голубая кровь" — больше. Что же?

Общество, прообраз его. И не дальше прообраза. Дальше не получается. Мнилось: от "тайного общества" к обществу — лишь претворенное намеренье. "Президента без дальних толков!" Не вышло. Картечь ли взяла верх или в случайности неудачи — предвосхищение: обществу вся Россия не быть. А если не вся Россия, то что взамен?

Застрявший перегон: продирающиеся к вопросу. Собраться, удержаться, отстоять себя — задача, но не цель. А цель, ради которой все это, — за чертой. Цель — порешить рабство. Особое, российское. Не "пережиток" — новообразование. Этому не мало и не слишком много — шесть, пять столетий. От Иванов на

престоле, унаследовавших пространство и флюиды монгольского нашествия, от Евразии, пришедшей в мировую историю и "застрявшей" в ней. Спазмом-перескоком: от княжеских уделов, от вечевых свобод к державе, в титуле которой не уместить уже все завоеванное, присоединенное, удержанное ("и прочая, и прочая, и прочая"). От вируса ли экспансии само-державие или движение это в обе стороны — с меняющимся побудительным толчком и с коченеющим результатом: *на вершине место лишь Одному?*

...Убывающее и вновь накатывающее рабство. Множащиеся лики его. Низовое, "земельное", мужицкое — и вертикаль: сквозь все страты. Наверху еще отчетливей и неискоренимое.

Мертвые души — старые и те, что на место их, совсем новые, вчерашние, эмбрионы завтрашних. Мертвый дом — чем ближе, тем обширнее, тем невыносимей. Власть над судьбой и над памятью: двуглавая, неделимая. Возрождающаяся от схваток будущего с прошлым. Самая неожиданная, страшной изначальной — от величайшей из этих схваток.

У "вперед и вверх" нет настоящего. Конфисковано, в кандалах, либо те, кто в пути, сами поступились им; уступили в помыслах, поелику не нашлось там оседлого места сиюминутному, обиходу жизни. И оттого настоящее — это Бенкендорф, Победоносцев, Катков. И снова они — по сей день.

На круги своя... Все же не вполне так. Не "чистая" поступательность, не "чистый" циклизм, а кентавр. Живущий отчасти человеческой, но непременно и бесчеловечной жизнью. Как вырваться из-под гнета его, если в кентаврах и ты сам?

Ты — и история российская, "завязанные" на Одном. На превращениях его, на его перелицовках. Сначала человек — призвание, а другие — целина. Затем страна — призвание, целиною же Мир... Напрямую — Один и Мир. (Кто больший солипсист: хрестоматийный Беркли или из ночного-дневного кошмара — Сталин?)

Впрочем, иной образ не уходит из головы, когда всматриваешься еще и еще, вдумываешься в это — сквозь века — путешествие из Москвы в Москву. Шлагбаумов-рубежей не счастье, а водораздел один.

Океанический хребет — человечество. То, что есть. И то, что в "проекте". В еще не осуществившемся до конца — или неосуществимом? Приговоренном к неосуществимости?

Вопрос всех вопросов. И в первых вопрошателях — Россия. Начала спрашивать в XIX-м, не кончила в XX-м. Вопрошатели сшибались и гибли, а вопрос выжил. Разветвился судьбами, окреп плотью Слова, усугубился смыслом.

Не за это ли плачено веками-соперниками, веками-противниками, веками-побратимами?

Выбор – встреча.

Кого с кем? Потомков с предками? Тех, кто ищет, с ищущими? Или шире: всех обеспокоенных – друг с другом?

Без парадной залы, без списка наперед допущенных. Правда, есть недопускающие: "кого-то", а в итоге всех.

Что же делать сегодня – ищущим, обеспокоенным? "Карфаген должен быть разрушен". Трудно, если дословно. Табу. Крестьянский Рим спасал себя (и других!), не зная еще, что ждет его и им спасаемых. Мы же – в ядерном Мире – в силах, спасаясь от собственной державы, ненароком погубить всех и вся.

Тогда что: уберечь отвергаемую? А если с нашего несогласного согласия останется Карфагеном, то ради чего жить – в нем, им?

Сомнение старое, сценарий новый. Выбор – пустой звук, если он не начало. А начало? Тоже пустой звук, если не переначать себя. Но чем и где начинается этот непреклонный предвыбор? *Где и чем* – разведенные в стороны столь далекие, что, сдается, уже не соединить их.

...Легче начать в одиночку. Есть время обдумать, и есть надежда, что ничто "постороннее" не принудит к тому, к чему не пришел своим чередом. Легче и тяжелее. Ибо можно и потерять себя. Потерять самым что ни на есть благородным и красноречивым образом: открещиваясь, отмежевываясь, пополняя свой лексикон словами, что не сходят с уст ожесточившихся молодых и тех из отцов, которые не хотят оказаться в памятной тургеневской ситуации.

Но мы ведь не братья Кирсановы. Вроде бы заведомо (возраст, родословная) не рабовладельцы. Не собирали бабочек в собственном парке. Так что же вяжет нам мысль и речь?

Нам – нашему поколению, обломкам его. Боязнь признать себя банкротами? Естественное право человека увидеть, уходя, свою жизнь ненапрасной, тем паче когда она вся в шрамах, кровоподтеках, неотделимых от того в былом, что принято именовать "звездными часами"?

А впрямь ли – *звездные*? Не самообман ли – из самых горьких?

..."Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя покорителем бесконечности. Если бы только не мои дурные сны!"

Ах, этот Гамлет, запутавшийся в обете верности и в своем "безродном космополитизме", – выпутаться ли ему, пока не примет всерьез дурные сны? Те самые, которыми открылась "объективная реальность": Мир – тюрьма.

Объективная, реальная – лишь для него. Так бывает? Именно так и бывает. В начале, которое и есть Начало. До поры до времени, что и есть Время.

Глаз бежит, не задерживаясь на титуле: "Трагедия о принце Датском". Но отчего — трагедия? Оттого, что герой обречен? Потому, что втянул в свою гибель и любимых и ненавистных, всех, кто, лучше ли, хуже ли, прожил бы отмеренную ему эльсинорскую жизнь?

Многие годы прошли, как околдовала меня потаенность этого Текста, побуждая искать отгадку (одну, другую, третью), невольно примеряя ее ко всему, о чем думал, к судьбам будто совсем несхожим. Слабого, бессильного Гамлета для меня никогда не существовало. Да и кому в веке XX он мог бы привидеться таким? Значит — острый ум и душа-недотрога, сомнение с обнаженной шпагой в руках? Если бы так, откуда непокидающее чувство бездонности, смещения критериев, сомнение в возможности для человека — любого, будь он гений, — воплотить этот образ, не утратив постоянно меняющегося смысла неизменных слов?

Давно расстался с принцем, прозревшим первой же своей репликой. Нет, он вовсе иной — "мой" Гамлет. Чтобы пробиться к нему, снял шоры выученного восхищения. Предпочел изначального Клавдия, короля-сангвиника, короля-миротворца, устроителя нации. Увидел врага в Призраке — вымогателе кровавой клятвы. И лишь тогда к нему: уже не принцу и не виттенбергскому любомудру, чемпиону игры в двусмыслие. К притворяющемуся умалишенным — на грани истинного помешательства, в преддверии безумия-откровения.

Внешнее действие — антагонист подспудного. Первое устремлено к развязке, второе же длит и длит пролог.

Трагедия противится хронометражу. Часы? дни? годы? вечность?.. Протагонист раскрывается бегством от несвоего действия, изменой несвоему слову. Да, именно так, только так — изменою, бегством. И что же — удались они ему, бегство это, эта измена? Смотря чем мерить. Если жизнью, то — нет. Если смертью — да, удались.

Сцилла и Харибда трагедии — мысль и поступок. Гамлет мнимого начала в плену их единства. Дальше — разлом, дальше — загадка совместимости. Мысль обгоняет муками внутренней речи, доискивающейся собственного предмета и обнаруживающей с пронзительной силой, что предметом-то и является поступок. Буквальный, неотложный. Единственный и неизвестный — никому на свете... Какой из замыслов Гамлета отмечен бесспорным благородством, а какой сомнителен? Любой раздвоен, разорван изнутри. И любой — сомнителен, когда в судьях ревнители "чистой совести".

"Так небеса велели, им покарав меня и мной его". Им, человеком по имени Полоний. Им, заколотым, покаран! Оправданное убийство влечет за собой повальное. Небеса — та же неизвестность: синоним Вренени, "вышедшего из своего сустава".

Это оно, Время, взваливает на Гамлета ношу, непосильную одному: перевернуть **без-время** в **между-время**. Это оно предписывает ему — стать “бичом и слугою” небес. Тем и другим вместе, хотя вместе невозможно. “Бич” неумеен. “Слуга” теряет себя — не только тело, но и дух: Слово.

“Дальнейшее — безмолвствие”. Странное наследство. Главное наследство. Гамлету нужна все-таки не добрая молва о нем. Одинокому противопоказана одинокость. Тем, кто вслед, он оставлет опустевшее поприще.

Кто ж в продолжателях? Всегда открытый вопрос. Всякий раз открываемый по-другому.

Разве не он сейчас? Разве не **между-время** жаждем? Чтобы не жижка под ногами, а хотя бы островок тверди. Чтоб свободной невнятицей уйти от нынешних словесных руин.

...Дурные сны мои (моих однолеток, товарищей по судьбе) — и наши иллюзорно-реальные, сберегаемые нашими мертвецами “звездные часы”: не одина ли суть?

Не бояться их! Не стыдиться их!

И что же — цыц, молодые, цыц, отвергающие с порога?

Смешно. Смешно по самой простой, непререкаемой причине: им жить, нам уходить. И некого любить, кроме них. Надо договориться. На каком же языке “договор”? Их? Нашем? Слитном? На новом эсперанто? Тоже не выйдет. Остается одно: встреча, где в переводчиках Время. Встреча-спор. Спор равных, равный спор. Спор, а не диспут с регламентом, обязывающим каждого предполагать, что иной взгляд столь же правомерен, как и его собственный... но лишь до той минуты, когда раскроются уста. Нет, диалог, если неподдельный, — всегда дебют. Как ни репетируй, готовым не будешь. И спазмы в горле — от воспоминаний. И потеря речи — в разгар спора. А может, наш дебют на прощанье, именно он, и только он, убедит молодых больше, чем что-либо другое?

... С ними, но оставаясь собою! Заново обретая детей, но не ценой утраты себя!

Малый ли срок прошел, чтобы сказать мозгу: откройся, чтобы заговорить нечужими словами, понятиями, смыслами. Пора. Давно пора. И пусть в XXI-м разыскивают, кто первый произнес “э...”. Наше дело — говорить. Заново учиться говорить. Учиться и учить друг друга.

И тогда если не проще, не веселее (откуда ее взять — веселость?), то бодрее. Всяким утром — себе: твой день впереди, так скорее начни его, полнее наполни: удачным словом, пойманной мыслью, добытым фактом. И пенсия твоя всего лишь план без планкарты...

Неужто не хватит этого на остаток дней?

Перехлестнувшиеся, смотрящиеся друг в друга знаки времени.

Торжок.

Распределитель для раненых, куда привезли поздно вечером. Лежим на полу на соломе. После тяжелой дороги (весна, грузовики — по бревнам) спать невозможно. Всю ночь говорим с соседом. Не вижу лица, помню только голос — глуховатый, мягкий, неторопливый. Рассказ о войне (был он под самым Витебском в феврале 42-го, новость для меня), но больше — о жизни до.

Не помню, что говорил я, да и говорил ли, или вопреки привычке только слушал его. Весь его рассказ, в котором каждая деталь — со вкусом, с особым толком. Он краснодеревщик, где-то служил, но любимейшую работу делал дома. Не торопился кончать, не спешил отдавать заказчику. "Поставлю — и смотрю, люблюсь..." Нет у меня дара-слуха, чтобы воспроизвести все интонации его, но голос, которым произнес: "Если б ты знал, как хорошо я жил", — звучит в памяти звук в звук.

Его ли, в Торжке, вспоминаю или свое воспоминание, застрявшее, но не утрамбовавшееся? Не зависть это была и не умиление, что-то вовсе другое: скорее прикосновение к чувству, которого у себя не знал, которым обделен.

"Если б ты знал, как хорошо я жил". А мне, уже прожившему жизнь, что мешает так сказать?

Между мною и им — клоч соломы, и оба рядовые — были, есть (жив ли он?), и ни превосходства задним числом, ни самоумаления, а сказать то же самое не могу. Не могу...

* * *

Этот день не забыть.

Сейчас я думаю, что он был просто необходим, что ради него-то я и приехал под Ригу той осенью 75-го, чтоб побыть наедине со своими тревогами, горечью от недавнего поражения, мыслями о предстоящем.

То, что вызрело внутри, вероятно, не смогло б дорешиться в буднях. Дорешилось тут. В Саласпилсе.

...Я ошибся дорогой, вышел из поезда двумя станциями позже и шел пешком. Долго, один.

После нескольких дождливых дней распогодилось. Солнце, прохлада. Дорога шла вдоль убранных полей. Хуторок в кúпе деревьев, рядом поле, затем снова такой же хуторок. Со всех сторон, вблизи и вдаль, — лес. Скромно выкрашенный в осенние цвета — без багрянца, лишь оттенки желтого. Тихо. Чистое, без единого облачка небо. Чистые поля. Земля, ухоженная... Место для жизни без перемен и потрясений. Кажется, ее и нет другой; только такая, какая здесь, была и будет. Без мос-

ковского мельтешения, без слов, которые там не сходят с уст. Разрядка, "революция гвоздик", Голанские высоты — здесь просто лишние. Если произнести их вслух, они подымутся, как упущенные детские шарики, ветром уносимые к солнцу.

Переезд. Аккуратная железнодорожная будка. Свежепокрашенный шлагбаум. Я шел не оттуда, откуда приезжают на экскурсионных автобусах, и потому не встретил стрелок, надписей. Просто ступил на мощенную гравием, посыпанную песком дорогу — с каменными плитами по сторонам.

Дорогу эту сделали люди-скелеты, узники Саласпилса. О том, что за дорога, я узнаю по спешившимся, идущим впереди женщинам и мужчинам. Все с непокрытой головой.

А затем обвал.

На том месте, где сто тысяч отстрадали за всех, кто был и будет, за Землю и Вселенную, с вами начинает говорить чудо, известное только людям, — искусство.

Лишь оно может и только оно вправе говорить здесь. Но чем должно быть для этого оно само?

Тем, что сделали семеро: четыре архитектора и трое скульпторов. Это вообще не искусство. Это — искупление.

...Одним краем приподнятая, будто огромным домкратом вздыблена — бетонная стена. Вход, сообщающий нам своим давящим и торжественным обличем: только для вас это еще и выход. Другого, запасного — нет. Только этот.

Двадцать три десятины. Считанное время нужно, чтобы все обойти раз, другой, третий. Как же здесь существовало множество тех, кто, как и мы, в привычной жизни ценил удобства, тянулся к радостям, умел и хотел любить?

Сосенки с двух сторон посажены узниками. То там, то здесь кусты вереска и шиповника. Их не выращивали. Они выросли сами на руинах бывшего лагеря: единственное, что застали на этом поле люди, которых привела сюда память.

Двадцать три десятины. Разделенные на внутреннюю и внешнюю части дорогой-петлей — такой же, какой она была в лагере. Сейчас гравий неподвижен. Узники же с утра до ночи переносили его с одной стороны на другую. Это было кем-то придумано, внесено в реестр, аккуратно соблюдалось, как и все остальное, известное по книгам и фильмам, но здесь зримое — до галлюцинации.

И начисто исключенное: не небом, не теплом солнца, не живописью леса, а Миром, заново сотворенным людьми. Здесь — на этих десятинах — и сотворенным.

Злодейство и гений: два полюса, и оба человеческие, оба "искусственные". Оба! Всякая попытка смягчить эту истину, смазать ее любыми словами ложна, опасна. Да конца я понял это здесь.

Мне это сказали семеро — языком, в котором нет ничего лишнего, а есть великое чувство меры. Как догадались они, что безмерность была бы тут кощунственной?

Шесть фигур. Четыре группы. Не каменные истуканы, поражающие величиной, уродством голой абстракции. Люди. Ж и в ы е м е р т в ы е. Здесь дышит бетон. Он вобрал всех, и он портретен: несхожестью с прежней жизнью и общностью судуб.

Это жизнь памяти.

...Слева — направо. Изваяние девушки. Не нужно путеводителя, чтобы опознать ее. Изгиб шеи, движение тела красноречивей рассказа. Она кажется громадным медальоном. Как назвать ее? Грация, стыдливость? Но вот мы рядом. Лицом к лицу. Это не плач — стенание. Руки, приподнятые даже не ради защиты, — отодвинуть бы на миг страшное. И глаза, говорящие: надежды нет.

Нет надежды — для нее, для таких, как она. И ни для кого на свете.

Сколько веков этому слову — "надежда"? В нем самая суть человека. Не сила, а слабость выделила его из мира живого. Слабость, которую возместил он тем, чего еще не было, тем, что он вообразил: уверил себя, что сможет. Надежда шла рядом со знанием и умением и вырывалась вперед, возвышаясь над миром добытого, освоенного. Несбыточное одухотворяло — и оно же обрекало на муки.

Исконная пара: торжество и падение. Трагедия самоутверждения, трагедия самоутраты человека (не врозь — вместе!).

Но все лагеря смерти на Земле — уже вне трагедии. Они за пределами ее. Ибо трагедия — это осознание гибели, предшествующее гибели. Это — действие предугадывания, предупреждения. Это — вызов. Гибнущий раздвигает собою границы Невозможного. И тогда сызнова начинается жизнь: доступная уже не одному — всем.

Начиналась до Саласпилсов. На этом поле не отпускает: что же дано удержать из добытого человеком и что навсегда утратили те, кто — в несводимой совокупности — XX век?

Это наш вопрос. Мы уходили от него — и забвением, и расхожим "судом истории". Теперь от этого вопроса уйти нельзя. Не даст.

...Снова и снова — по саласпилскому кругу. Скороговорка гидов, перебор родословных, любопытство смотрящих: кого было больше тут? Евреев? Всех остальных? Простое, однозначное — братство обреченных — не вмещается в вопросы, ускользает от ответа. Но там, где пасует сиюминутность, берут слово бетон и ваятель. Это они оспаривают "гены".

От кого к кому — мученичество? От кого к кому — Сопротивление? Дословность — тайна. У четырех, что в центре, —

имена многих. Двое, как бы слившиеся в одного: обессиленный прижался всем телом к собрату-спасителю (падавших от истощения убивали на месте...). Сбоку — узник с бульжниками в руках, одна рука на весу, другую поднял вверх. Предваря ли каждосуточный ритуал перекладывания, удел мощения дороги в Никкуда, или готовясь к скоротечной смерти — мятежу? Не подтверждая и не отклоняя — тот, кто шагом вперед: торс и лик "Рот фронта".

Что говорит этот человек-символ, этот сжатый кулак, этот зов и обет ("И если гром великий грянет над сворой псов и палачей"), — что говорит он людям, зачатым в Пятидесятые, в Шестидесятые? Хожу и думаю о разомкнутой цепи. Понимаю, что иному не быть, понимаю — и отказываюсь от того, что принимаю за неизбежное, заслуженное нами. Может, потому и не ухожу отсюда, что дожидаясь, чтобы кто-то сказал мне: нет. Не навсегда разомкнулась эта цепь. Еще сомкнется.

...Далекое, книжное, мудрое: выше надежды — Надежда. Парадокс? Мираж?

Но вот она. Здесь. Всмотрись. Хорда — от Девушки, начинающей круг, к Замыкающему. Кто это? Что сумеет добавить это существо к уже произнесенному — без звука? В первый момент, когда подходишь сзади, в нем трудно угадать человека. Ящер, чревоземный? Нет, человек. Распластанный, ноги уже не оторвать от земли. Человек! Последнее усилие — чтобы, упершись руками, поднять голову.

Поднять, удержать!

...Не было б чуда Саласпилса, чуда искупления, если бы не он — Замыкающий. Это он сделал вход без выхода выходом для тех, кто остался жив.

Для нас.

Для меня.

* * *

С тех пор — полгода, больше. Почему ж не ушел сразу? Что держало?

Самое естественное, как будто сродни саласпилскому: нет возврата.

Не в институт, это само собой. Нет возврата в прежнюю жизнь. И опять-таки не в том смысле, что с утратой места в жизни теряешь и ее. Хотя отчего не в том? Ведь место и жизнь, они у нас, как сиамские близнецы. И еще неизвестно, какая из времен доступнее, чему быть раньше.

Если, конечно, оставаться историком, притом в разгаре неоконченных розысков, застрявшим в развилке тем — кусков прежней жизни, и только нащупавшим внутреннюю связь между ними, их скрытые переходы друг в друга, выводящие к

чему-то центральному, меняющему не только взгляд, но и поле зрения.

Еще бы потянуть. Еще бы раз-другой в Питер, в дом с облезлыми львами у входа, который сам — легенда, в дом, где в 1950-м испытал впервые счастье открывателя, и пусть невелики были открытия, но ничем не восполнишь блаженство это, когда на листке пользователей, прикрепленном к архивному делу, ставишь свою подпись первым (а сентябрь тот был сказочный, без дождей и туманов, с солнечной рябью на Неве и с неторопливым вживанием в этот город, в котором история сама, без спросу, входит в тебя, чтобы остаться...). И еще бы в один питерский дом, в хранилище писем и книг, умственный обиход Георгия Валентиновича Плеханова, единственный в своем роде домашний архив, куда привели занятия ранним Лениным и где произошли неожиданные, "незапланированные" встречи, многое объяснившие мне, но еще больше наградившие сомнением и зовом: ищи. Его — и себя, врозь не выйдет...

А сегодня пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить отложенное, какое теперь — упущенное. Прощаюсь с тем, что еще недавно было, хотя и не вполне доступно либо вовсе не доступно, но не без надежды, что изменится к лучшему: откроются сейфы и "храны", ослабеет запрет... Но вот уже годы, как надежда слиняла; для меня же прощание это, по всему видно, навсегда.

Однако разлука ли эта держала, да и сейчас держит, или что-то важнее этого, сверх него?

С юности привык — вместе. Менялись вместе: сутью, близостью. Но никогда не было, чтоб без них. И последнее вместе — наше "методологическое братство", наше институтское противостояние: мы и Старая площадь, — из самых кровных. Теряя его, правда также вчерашнее, но еще свежее: воспоминанием, горячкою незавершенных схваток, болью разочарований, — его теряя, чем заместить накотившую пустоту?

Отказом от вместе? От любого вместе? Поздно. Не по силам. И против "нутра"... Из госпитальных "будней" — фантомные боли: сосед-партизан с ампутированной рукой и не оставляющими его ни днем, ни ночью болями в пальцах; знаменитый хирург пытался вызволить его из страданий, разрушив какой-то нервный узел под лопаткой...

А какой узел иссечь мне? Где он — под какой лопаткой?

..."И, спотыкаясь, мертвый воздух ем, и разлетаются грачи в горячке — а я за ними ахаю, крича в какой-то мерзлый, деревянный короб: "Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б!"

Осип Мандельштам. Год 1937-й.

Далеко ли уши? Или наваждению этому разрешено посещать лишь поэтов? Занятие же историей все-таки ученая проза, защищающая от избытков субъективности, от непрошенных вторжений злобы дня, от мук заброшенности, отгороженности.

История — "точная наука". Поелику способна "использовать законы развития общества для практического применения", притом такого именно, какое сулит "лучшее будущее человечества". "Краткий курс". Без сомнения, рукою Сталина. Год 1938-й, год распятого Мандельштама.

Полюсы — люди. Мысли — полюсы. Намертво сцепленные, исключают друг друга.

А сегодня? Та сцепка вроде не к смерти уже, может, и полюсы уступчивей? Нет, скорее, что-то срединное, что-то похожее на сделку между разнесенными в стороны осьмушками правды.

Так не в один присест ведь... Не в один, не в один, но одному,начальному, себя б до себя дотянуть. Обновив применение, либо его, прежде всего другого, — под откос?

Смыслом переболевши. "Детским" вопросом: ныне — к чему та история, что пишется, какую учат? Утешать или заново взбадривать? Человеческие гибели оправдывая сохранением рода человеческого или в меру сил своих его оберегать — от все более опасных приступов финалистской горячки?

"На лестнице колючей разговора б!"

Встречи без встреч.

Обыденное, столь укорененное, что и не задумываешься — откуда оно и что такое?

Куда достигает глаз — соприкосновения с ушедшими, перевоплощения в другие существования. Осколок эллинской мудрости: человек в ночи себе зажигает свет; умерев, он жив.

Жив, оттого что выучился зажигать свет. И в свете памяти видеть связь.

История, выломившись из первозданности, сделала связь эту и непреложное и затруднительней. Как будто бы нет уже Атлантид, незаполненных промежутков, начисто исчезающих цивилизаций. Непрерывность! Те, кто позади, — не больше чем предшественники. А жизнь их — черновик для переделки и исправления следующими.

Связь из магии, из ритуала превратилась в журнал входящих и исходящих. И историк не дальше, чем искусный коллежский регистратор... Но поперек этого — уже не таинства, их время прошло; не таинства, а тайна. Тайна несовпадения, непохожести, разрыва. Замечаемая, когда гаснет свет. В темноте сбиваются с такта поколения и эпохи, рушится очередность. Абсолют "исторического закона" — уже не регулировщик всемирного движения, скорее — могильная плита, отделяющая

мертвых от живых. И с коллежских регистраторов сдирают шинель, а то и шкуру.

Свет все-таки зажигается — ими, встречами без встреч...

Не будь этих встреч, окончился бы во мне историк. И еще вопрос: сохранился ли бы — человек?

Приходят неопознанные, остаются сроднившимися. И до поры не ведаем ни они, ни я — кто ближе? То, что свои, российские, это естественно, другого языка не знаю. Да и этот — в преполах... К радищевскому "Путешествию" прикладывают перечень непонятных слов. Но разве, не будь их, легко разобрать голос человека, отринувшего российское владение душами — от кроны до корня, — но продолжавшего и после этого (и в силу этого!) спор с собою: как раскрепоститься совокупно, потратив на это меньше жизни и не попавши в силки обновленного рабства? "Нахмуренность грусти" — сутью он. А "хуже Пугачева" — это блудница на троне, не понаслышке знавшая, чем заканчивается двуголосое размышление, метафизический контрапункт. Сама не лишена была умения двояться. Игра, а может — больше? А может, "контрапункт" этот как раз и догадка о природе российских взлетов и падений, тупиков и возвратов?

От учебниковой прописи к монографическому фолианту — лагеря, идейные станы, между которыми распаханная полоса. Неисправимая власть. Революция, рвущаяся — прямиком — из пролога в последний акт. Выморочный либерализм. Конечно, есть взаимодействие, и не без перебежек из стана в стан, не без срывов в несвое, не без перемены ролей и мест: палачи революций — в душеприказчики их, радикальнейшие безгосударственники — в ревнителей насилия, не ведающего "формальных" ограничений.

Да еще спасительные зигзаги... Меня не спасают. Скорее — соль на свежую рану. Освободишься ли от последних самообманов, не распознавши первые, первый?

Первый — несоразмерность проблем возможностям человека: человека у власти — и человека против власти. Сквозная напасть наша. Родовая примета российских маргиналов человечества.

Не остыли еще угли яростной схватки. Началась на Волхонке, продолжилась на Дмитрия Ульянова, 19. Сюжет: предпосылки революций в России XX века. Обратный ход — к родословной буржуазного развития и к мере его. Много или мало его было и каков стаж — века либо только пореформенные десятилетия? Вроде бы вполне академический сюжет, но замеша-

на политика, и арбитры из "отдела науки" бдят: не подрыв ли устоев? Но бог с ними, а мы-то что?

Не на недостатке единомыслия споткнулись и даже не на закулисных "ходах" (кому вверх, кого в сторону). Кроме холостых преград, есть и действительные. Преграда — критерий: получить ли при самой тщательной "перегонке" фактов чистый продукт — чистое крепостничество, чистый капитализм? Преграда — заданность: заданность поступательности, европейски-всемирного шаблона ее (откуда иначе Октябрь, классическая революция, всесветный авангард?). И еще преграда — то бытие, что всегда и повсюду определяет сознание. Разве не так? Правда, нашкодрили "вульгарные социологи", с ними непросто сладить, живучи, ибо не на пустом месте их поиски классового корня; да и все, что прямое, все, что проще, то по неписаному закону сближает с властью (и не только нынешний дух, но и бывший, классическую мысль, бессмертное Слово).

Когда ты уже не казенный человек, то преграды заметней. И себя спрашиваю — ододел? Либо бревно-то в собственном глазу... Не стану выдавать сомнение за истину, но в сомнении продвинулся (вместе с другими и сам по себе). Сегодня ясней, что преграды эти и смысла нет устранять. Напротив. Лишь спотыкаясь, ушибаясь о них, сдвинемся с мертвой точки.

Мертвая точка — прецедент. Уподобление. Их превозмочь! Но если не они, то что взамен? Все та же российская исключительность — с заднего крыльца? Одни в Мире, ни на кого непохожие?

Ни на кого — врозь. И на всех: будущих в прошлом. И тогда не назад к Чаадаеву, а вперед — к чаадаевскому вопросу, близнецу гамлетовского: "Не быть или быть?"

Сначала: *не быть*. Это принимая за естественное. За невозможное "лучшее". И когда себя, свое время этим отмериваешь, то и те, что в предтечах, понятней. Понятнее раздвоенностью, разорванностью, несводимостью своей: а когда понятнее, то и ближе.

Вплотную. Глаз в глаз, рука в руку.

Память хватко держит самые драматичные, непредугаданно "парные" из наших домашних коллизий. Бородинское поле и кронверк Петропавловской крепости, 19 февраля и Екатерининский канал, крестный ход с побоищем, учиненные Георгием Гапоном вместе с Николаем Романовым, и за все долгая расплата: монархией, февральской свободой, октябрьским равенством...

Недостача в "предпосылках" — и избыток в блужданиях. "Моменты истины" — и могилы братоубийц. Не было бы иступленно ищущего духа, откуда бы взяться оборотням его, высасывающим кровь из живых?

Труднее трудного — ухватить целое. Движение целого. В людях, конечно, ибо какая ж история, если безлюдна. Но еще два действующих "лица" не упустить бы из виду: *Пространство* и *Время*. Пространство — российское, которое заведомо не страна, но и империей не исчерпывается. А если империей, то той — особенной, что, доставшись XX веку, не в силах уйти, не прихватив с собою этот век. А Время? Оно и есть время, потребное для такого ухода: когда не от нуля, но — с начала.

Сегодня — это само собою. Так оно только и должно быть. Но не проглядеть бы, как пришло: не от нуля, но — с начала. Как возникло некогда, как уходило и возвращалось. И не непременно большаком, а и проселками, тропами. Малыми человеческими добавками, которыми придвигались (мы — в предках!) к нынешнему порогу.

Четыре десятка лет назад, когда впервые поднялся на истафовскую лестницу и огляделся в этом шумном, тесном двухэтажке с остатками бывшего дворянского гнезда (лепнина, изящные кариатиды), — скажи мне кто-то: а знаешь, говорят, тут кончил дни свои Трубецкой, тот самый, что мог победить 14 декабря, — ты-то как к нему относишься? Если бы уклонился от ответа, то, скорей, от незнания. Да еще от преклонения перед "падшими". Привитое школьным Пушкиным могло ли уйти? А сейчас, когда позади две трети века, сраженные друзья и иллюзии, что скажу о князе Сергее Петровиче?

Из самых близких. Но почему? Разве не смалодушничал он, не изменил долгу лидерства, не бросил на прихоть судьбы тех, с кем прошел от Бородина до Лейпцига, и еще многих иных, кому жить и жить? "...Я не только виновник всех бедствий одного дня и несчастной участи злополучных моих товарищей. <...> Я не только не заслуживаю ни малейшей пощады, но уверен еще, что только увеличением заслуженного наказания должна быть облегчена участь всех несчастных жертв моей надменности, ибо я могу почти утвердительно сказать, что если б я с самого начала отказался участвовать, то никто б ничего не начал".

Никто б ничего не начал. Историк не может не оспаривать. Чересчур долг путь к событию, чересчур грандиозно оно само, чтобы зависеть от человеческой единицы. А между тем — так. Не согласись Трубецкой, вряд ли рискнул бы Рылеев, а без его лихорадочной активности, без его вербовочного азарта оказались ли бы в мятеже мужи совета — Штейнгейль и Батеньков (вход к Сперанскому!), рванулись ли бы в бой из-за переприсяги храбрецы-рубаки, подобные двадцатисемилетнему Щепину-Ростовскому? Впрочем, и по сей день исследователь, просеивая свидетельства, нет-нет да и выловит еще один, не замеченный прежде шанс на успех заговорщиков. Но вот загвоздка — успех чего?

Князь Сергей Петрович был побежден еще до поражения. Ибо был старовером вольности, равно враждебной шапке Мономаха и фригийскому колпаку. Он задержался в пути, в то время как большинство из тех, кто начинал, уже отпало. Теперь ему предстояло решать головоломку: как овладеть "чужим" событием (заварухой престолонаследия), зная либо только догадываясь, что и продолжению не быть, если не уйдет в *не свои* руки. Решился совместить Сенатскую площадь с Россией, не гнушаясь обманом и оберегаясь от произвола. (Успей он уничтожить клочок бумаги, черновик реформ, пункты без заглавия, никогда не узнали бы этой первой отечественной заявки на *исторический компромисс*, великой — неисполнимостью!)

Алексеевский равелин очистил замыслы от тщеты. Человеческая неудача, терзаемая инквизиторами и раскаянием, переросла в поражение. И неосвобожденная Россия стала отсчитываться от него: словом, мыслью, судьбами. Так повелось и уже не прекращалось.

Движение поражениями не русская находка. Оно изначально в историческом человеке. В России же, раздвинувшись масштабом, укоренилось в особом человеческом типе. Обреченном на поражение и превозмогающем эту предопределенность — нравственным максимализмом, у которого нет прямого перевода в Дело и которое поэтому остается без дела... Испытание на поражаемость — из тягчайших. От скрижали до похоронки — один шаг. И от братства одиночек к "злодеям развития" — также один, хотя и длится годами, десятилетиями, эпохами, поколениями.

Каков же выход? Сменить масштаб? И даже найдя "свое" событие, вовремя расстаться с ним (своим!), уступив его "чужим" продолжателям?

Не потому ли так дорог мне князь Сергей Петрович, что был едва ли не первый из тех именитых и безвестных, у которых общее — сомнение в праве вести за собой других, еще не готовых к собственному выбору?

Не отказ, а — сомнение. Всего лишь сомнение. И даже не то, что впереди действия, предвестием гибелей, а то, и именно то, что окуплено собственным уроком. Оплачено собственным действием.

Падением в поражении. И падением в победе. Да — и последним также. Высшее мужество — опознать падение в победе. Скажешь: никогда не поздно... Но так ли? Вся новейшая история, наша и не наша, в оспоривателях. Наша прежде других. Ибо вся в опозданиях. Чем ближе, тем опоздания эти злокачественней. А затем уже и не опоздания. Пустота. Яма. Беспамятство.

И не уходит горечь: откуда забывчивость? Чем держится?

Ритуалом ли торжеств? Либо привыкли гордиться — выше всего — праведными смертями, закрывая глаза на неправедные? Или — все дело в том, что нет уже этого различия? В последнем счете ушло. И не то чтобы поменялись местами: праведные с неправедными. И не то чтобы знак равенства. Иное.

...Ядерный гриб в конце того ряда, где князя и разночинцы, Рахметовы от первого до последнего, где в моей ночной яви — симферопольские Дубки и замшелая, втиснутая в землю плита на Волковом кладбище над останками Веры Ивановны Засулич, открывшей русский террор и употребившей жизнь на избывание его.

Ядерный гриб — уравниватель. Но ведь и он не джин, самоchinно выпрыгнувший из бутылки. Он также — люди. Сам-один, сам-десять, а затем — сразу — миллионы, миллиарды. Без промежутков во времени. Без убежищ в пространстве.

Табу на гибели — запрет на победы. Ни одной, ни над кем!

Даже привычные к обвалам, оказались застигнутыми врасплох — 1968-м. Потому ли, что казалось: хуже того, что позади, уже быть не может? Потому ли, что еще не ушли от себя — верноподданных идеи? Или привычное вместе еще не успело обрести новый лик? А может, сработало то наше забытьё на поражения, на падения в поражениях, без которых не воспрять?

Впрочем, мы и наше — не подходит. Не то чтобы раскол, хотя и он. Раскол — вторичное и даже внешнее. В глубине же — внезапное смещение пластов, сдвиг, подобный геологическому. Уходили неокончившиеся, те, что были еще в зените. Сдвинулись только собравшиеся в путь. 68-й насмерть ранил Александра Твардовского. В 68-м прозвучало первое слово Андрея Сахарова.

А я — где, с кем? Позови меня на Лобное место, пошел бы? Нет, не счел бы за свое. Другим был занят. Накануне танков в Праге — верстка коллективного исповедания веры: "Историческая наука и некоторые проблемы современности". Неосозмеримо, что толковать, даже тогда признавал. Но только-только собственным языком заговорили, прикусишь ли его по доброй воле?.. Никогда не уйдет из памяти постыдное: партсобрание, голосовали одобрение тупости, самоубийству социализма. Рвался выступить, сказать лишь одно слово — трагедия; не решился, не захотел рисковать своим "новым прочтением". Тихо вышел в коридор, чтобы не поднять руку.

Жалею? Сегодня, пожалуй, нет. Тогдашнему унижению надо было дозреть до изнутри не стесненного объяснения с собою. До потребности в одиночестве. До нового вместе.

Встретиться ли вновь с тем мальчиком, который запомнил первый глоток сладкого, свежайшего воздуха?

Как близки ему бесконечно далекие от него слова: "Свободны наконец! Свободны наконец! Великий, всемогущий Боже, мы свободны наконец!"

Псалом американских негров, призыв Мартина Лютера Кинга, равно обращенный и к атеистам и к белым.

Я принимаю их сегодня. Не как свободу от себя. И даже — не как свободу для себя. А то — не от нуля, а с начала, которое вменено всем, кто не может жить иначе, как тут, где нестерпимо трудно жить.

Май—июнь 1976

РОССИЯ И МАРКС

Мы принадлежим к нациям, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы преподать миру какой-нибудь важный урок. Это предназначение, конечно же, совсем не лишнее; но кто знает, когда мы обречем себя посреди человечества и сколько бед суждено испытать прежде, чем исполнится все это?

П. Чаадаев

Жизни русской общины угрожает не историческая неизбежность, не теория... Ну, а проклятие, которое тяготеет над общиной, — ее изолированность, отсутствие связи между жизнью одной общины и жизнью других общин, этот локализованный микрокосм, который лишил ее до настоящей поры всякой исторической инициативы? Он исчезнет среди всеобщего потрясения русского общества.

К. Маркс

Он собрал по деревне все нищие, отвергнутые предметы... со скупостью скопил в мешок вещественные остатки потерянных людей, живших, подобно ему, без истины и которые скончались ранее победного конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных тружеников к лицу власти и будущего, чтобы посредством организации вечного смысла людей добиться отмщения — за тех, кто тихо лежит в земной глубине.

А. Платонов

Россия и Маркс — это все-таки не совсем то, что Маркс и Россия, и вовсе не то, что Маркс о России. Первая тема не то чтобы шире, она иная. Ее предмет не высказывания сами по себе, не оценки и даже не прогнозы. Ее предмет — отношение между двумя равновеликими величинами, самая равновеликость которых трубуется разъяснения и рождает вопросы, выходящие за пределы эпохи: 1848—1883.

В этой теме есть нечто тревожное для современного сознания. И это не только видения недавних десятилетий, не одно лишь стремление разглядеть в истоках результаты (сколько бы ни накладывал профессионализм запрет на ассоциации, на "опрокидывание в прошлое", изгнанные в дверь, они тут же возвращаются в открытое жизнью окно). Но все же не только "призраки" отнимают спокойствие, необходимое исследователю. Тревога и сомнение проникают внутрь, в сердцевину предмета. Не они ли составляют сегодня и сам предмет?

Впрочем, и тут своя опасность — уйти от определенности к риторике. Определенность же требует явственных примет времени и места: пространственно-временных координат исторического действия, которое имеет (поскольку оно действие и пока оно действие) и свой субъект. Эпоха, таким образом, сродни классической драме, с тем, однако, отличием, что ее (эпохи) "три единства" не даны заранее; они неизменно ретроспективны — в том активном и критическом смысле, который сближает прошлое с будущим. Именно прошлое, а не просто "то, что было". И не о сближении, в сущности, идет речь, а о более кровном и хрупком для исторического человека: способен ли он двинуться вперед иначе, как отделяя от себя прошлое — и заново вводя его в себя? В том, что "верхняя" граница эпохи предшествует "нижней", собственно, нет никакой мистики, но нет и самоочевидности. Результат выпрямляет, выстраивает все, что было, в единый всемирно-исторический ряд, и от этого страдают не одни историки. Во времена Шекспира умерщвленных не уносили со сцены до конца спектакля, история же безжалостно очищает себя от "ненужных" людей — ненужных результату. (Не потому ли человеческое развитие всегда также и возмущение против Результата — и не это ли в последнем счете питает гуманизм?)

Однако до поры до времени выпрямление, как бы мы ни сопротивлялись ему, остается законом, и эпохи истории, как бы их ни переставляли, смотрят друг другу в затылок; это та жертва, которую развитие приносило самому себе, чтобы продолжать себя в качестве развития: обновления, пересоздания. Приносило или продолжает приносить? "Вот он — вопрос". Сегодня мы, кажется, вправе сказать, что находимся на переломе: от "отбора" вариантов Единого — Единственного, чем завершался каждый большой этап всемирного процесса, к рождению альтернативы. Я не утверждаю, что альтернатив не было раньше. Я лишь предполагаю, что им не дано было дорасти до всеобщего закона. Мировой историю делало — и удерживало — противоположное. Но, раз возникнув в виде зачатков, прообразов, намеков на будущее, альтернативы не исчезли вовсе, и если отнестись строже к этому понятию (не означающему ничего другого, кроме **разнонаправленности человеческого развития** — в виде правила, которым исключается всемирное выпрямление), то не только многое из вчера "ненужного" становится самым необходимым, но и новый, пронзительный смысл обретает всегдашняя человеческая потребность в памяти, нужда в прошлом.

В историософии этот перелом ощущается как утрата привычной почвы. Беды конкретного исследования более скромны, но и здесь неожиданные тупики, внезапные провалы там, где вчера как будто царил ясность. Современный историк знает

много больше своих предшественников, но почему известное или вновь добытое не укладывается ни в одну из предлагаемых схем и антисхем? Даже ресурсы наименования мировых эпох, и те на исходе. После "новой" и "новейшей" — современная история (с 1945-го, начала 1950-х), а что же дальше? И не является ли это формальное и даже забавное затруднение сигналом более основательных и глубоко запрятаных помех, предупреждающих нас о том, что "три единства" классической эпохи на исходе?

Если местом действия суверенного исторического действия является отныне вся населенная людьми Земля, а состав участников этого действия — в принципе, как утверждающая себя в конвульсиях норма — не исключает никого (пополняясь лишь за счет вновь рожденных), то не становится ли фикцией и единство времени? Живя сразу в нескольких или даже без малого во всех прежних эпохах всемирной истории, мы, кажется, не живем ни в одной, и, быть может, нам больше и не суждено жить в какой-то одной. Похоже также, что мы уже не в силах отделить от себя "то, что было", превращая его в *прошлое*, во всяком случае, не в силах это делать так, как прежде, — и, страшась осознать размеры и причины этой нынешней своей беспомощности, заменяем ее то спасительными прочерками в памяти, то тщимся отстранить от себя (пафосом отлучений и проклятий) современные вопросы без ответа — сократовские, гамлетовские, фаустовские и совсем другие — те же, но иные.

Не берусь судить на расстоянии, но по крайней мере у нас финалист наизнанку — типичная фигура, а "ретроспективная утопия" является теперь едва ли не распространеннейшей формой сознания.

...И потому — не Маркс и Россия, а сначала все-таки Россия. Пореформенная, не вмещавшаяся ни в одну из эпох истории, какую видел ее — всемирную — Маркс. Россия догоняющая — и не способная догнать. Не просто отставшая, а осознающая себя отставшей: вне мирового движения — и этим осознанием, его остротой, его болью (и умственным складом этой боли!) вырывающаяся вперед. Куда? Открытый вопрос. Вопрос, который еще должно было открыть. Суждено ли было открыть его самой России — ищущей?

Вот почему лишь затем — но непременно затем — Маркс и Россия. Россия, вошедшая внутрь "Мира Маркса", доискиваясь там своего, еще не названного точными словами вопроса... Выдержал ли эту встречу Маркс?

Мы очень бы облегчили себе задачу, если бы, руководствуясь установленной иерархией ценностей, стали изображать дело так: Россия предьявляла вопросы, Маркс отвечал; Россия во-

площала "вопрососпособность" в той же мере, в какой Маркс воплощал "ответоспособность". О легкости приходится забыть, когда начинаешь заниматься подобной темой. Ощущая вес ее — со всеми слагаемыми и со всеми следствиями (из которых главное: "те, кто тихо лежит в земной глубине"), — пытаешься заново разглядеть соотношение исходных величин: пореформенной России и Маркса. Тогда заново ощущаешь не вымышленную, не нарочитую, а создаваемую и обновляемую историей условность превосходства и отставания, в сфере духа еще менее очевидную, чем в так называемой материальной жизни. И тогда "Маркс и Россия" — это уже не ответы на вопросы, а вопросы в ответ на вопросы. Диалог вопросов. Заостренные одними других: испытание на разрыв.

Равновеликость — в этом. Выход за пределы 1848 — 1883 — в этом. И выход за пределы всемирной истории — в этом.

...Я начал заниматься диалогом Маркса и России не вчера. К Россике Маркса пришел от генезиса ленинской мысли, от предыстории рождения идеи "двух путей" ("американского" и "прусского"), — идеи, которая завершила движение Владимира Ульянова к Ленину, продолжая и внутри Ленина жить как проблема: с "забываниями" и возобновлениями, притом не непременно в изначальной форме. Мне представляется, что всю духовную одиссею Ленина можно представить в виде превращений этой главной его идеи, и самые превращения эти объясняют, быть может, больше всего другого взлеты и падения действия, в центр которого ввел себя Ленин, сделав "своим" и это действие. Чем больше углублялся я в тему, тем больше раздвигались ее рамки и тем больше сомнений вызывала у меня возможность сколько-нибудь однозначно соотносить данную концепцию, как и создателя ее, с классическим марксизмом. Нетрудно представить ее конкретизацией, продолжением на деле. Еще проще это же представить обеднением, провинциализацией ("то же, но в другое время, в другом мире"; "совсем иное, поскольку — другие корни, другое наследство"). Слишком узки подобные объяснения, даже если не лишены интересных наблюдений и неожиданных, будящих мысль аналогий.

Мало ли времени прошло с тех пор, когда Н.А. Бердяев ввел "русский коммунизм" в состав Апокалипсиса? Иные из современных продолжателей бердяевской традиции забывают даже упомянуть родоначальника. Что и говорить, для исследователя-историка Бердяев излишне метафизичен; для того, кто отрицает без всяких околичностей, недостаточно последователен и даже уклончив, ну, а для казенной апологетики — конечно же, фальсификатор из худших. В моих же глазах его книга ценна и сегодня, и не столько отдельными страницами и даже общей постановкой проблемы, сколько пронизывающим ее ощущением: понять "русский коммунизм" — значит понять

Мир, и если не дается понимание первого, то причину следует искать в мнимости понимания второго. (Фактом моей биографии, хотя, полагаю, и не чисто индивидуальным, является то, что я прочитал "Истоки и смысл русского коммунизма" сравнительно недавно; для меня это свежее слово, в чем-то созвучное тому, к чему пришел я, идучи в совсем другой колее. Я имею в виду не только даже свои попытки пробиться в родословную и "запасники" ленинской мысли, но и как будто иную, вне науки находящуюся потребность осмыслить духовный кризис, едва не катастрофу, в календаре обозначенную датами 1956, 1968. Говорю "катастрофу" не без стыда и не без обращенного на самого себя удивления; почему обнаружение полутайн, превратившихся в полуправду, оказалось не меньшим потрясением, чем то, что обнаружилось, — и эта устрашающая странность ждала, да и по сей день ждет своего объяснения.)

Так от рождения "двух путей" я заново шел к Ленину, будто неизменно тождественному самому себе, и от преодоления этого огосударствленного мифа шел к загадке действительной цельности: к его, Ленина, закрытой постороннему глазу тяжбе с собой; а от его внутреннего мира шел к Миру по тем мосткам, чье безусловное и условное имя — Россия. Россия, безусловная своими пределами и судьбой, своими исканиями и поражениями ищущих; условная — несводимостью (прежней и новой) к чему-то одному, единоосновному: не страна, а мир в Мире, существованием своим запрашивающий человечество: быть ему или не быть?

Между Лениным и Марксом — эта Россия. Лениным она вступала в спор с классическим, "универсальным" Марксом, и Лениным же классический марксизм вступал в схватку с Россией, какова она есть и каковой еще ей предстояло стать... От "двух путей" к одному. От предвосхищения альтернативы — к действию и торжеству действия. От торжества к трагедии беспутья. "Простор отсутствия", который открылся русскому эмигранту Герцену в европейской революционности 1793 — 1848 годов, стал новым простором России, пережившей свою великую революцию: простором нашей России.

И только ли России?

* * *

То, что я предлагаю сегодня, не больше чем заметки на данную тему. В какой-то мере (и, разумеется, самым сжатым образом) я пытаюсь воспроизвести свое и своих товарищей движение к нынешнему пониманию ее. Сначала — "новое прочтение" текстов, обнаружение в них, многократно читанных, того, чего не замечали раньше. Например, Россия Маркса и отношение к ней Ленина. Бросающееся в глаза созвучие в том, что

относится к рождению собственно ленинского, и вместе с тем okolность этой связи. Что-то, видимо, затрудняло прямой контакт, и весьма существенно понять: что именно.

Почему, к примеру, Ленин, живо откликавшийся на всякую новую публикацию Марксова наследства, особенно переписки, вводящей, как выразился он сам, в "интимную" жизнь мысли, прошел мимо такого крупного события, каким явился в 1908 году выход в свет эпистолярного диалога Маркса с Н.Ф. Даниельсоном, который был, как известно, основоположником экономической теории народничества? Быть может, Ленина задела близость этих людей, родство представлений их о том, что касалось настоящего и вероятного завтра пореформенной России? Но ведь сам он проделал к этому времени значительную эволюцию, и его ранний (90-х годов и времени "Искры") и уже тогда далеко не "правоверный" взгляд на народничество не только обрел опору в собственном экономическом анализе и опыте русской революции, но и раздвинулся до границ Мира, поскольку именно Мир — не меньше — виделся за восставшей мужицкой Россией и пробуждающейся Азией. И Мир этот заговорил по-народнически.

Сейчас чему бы удивляться. Этот голос слышен отчетливой других, он недвусмысленно всеобщий — не ограниченный континентами, проходящий сквозь все средостения, отражаясь на экранах самых разных идеологий, вер, научных и ненаучных представлений. А тогда? Его легко было представить атавизмом. В глазах первого русского марксиста народники были "утопистами времен царя Гороха". И в самом деле, что, собственно, могла внести эта периферийная утопия во всемирную историю, закон которой уже открыт и постигнут? Теперь мы вправе утверждать, что от того или иного ответа на этот вопрос зависела прежде всего судьба самого марксизма. У Ленина, правда, она не вызывала ни малейших сомнений. Расширение народнического ареала он готов был истолковать как еще одно доказательство истинности учения Маркса. Но уже эта готовность обязывала. Возрождение утопии в небывалых размерах, в формах самого что ни на есть массового сознания (и действия!) таило вопрос о причинах, об их материальном субстрате. Будущее оказывалось и в практической и в теоретической зависимости от прошлого. Истинность Маркса требовала по меньшей мере подтверждения.

Ленин искал ответ в логике "Капитала". С первых шагов его внимание было поглощено проблемой перехода: превращения докапиталистических укладов в капитализм, притом превращения, совершающегося в особых условиях, когда доминантой повсеместного развития является сам капитализм — зрелый и идущий к своему концу. Всякий переход есть потому частица движения к этому, казалось, осязаемо близкому финалу.

Между логическим и историческим разрыва нет. Нет разрыва, но есть проблема.

На первый взгляд, "народнический" 1905-й и даже "народническое" его продолжение за пределами азиатской России служили свидетельством того, что эпоха классического буржуазного общества наконец реализует себя в масштабах, заложенных в ее основании. И потому Россию можно и должно уподоблять Франции 1789 – 1793 годов, не отождествляя, но и не просто сравнивая, и столь же правомерно, столь же логично видеть в далекой Азии (и во всех остальных частях Мира, еще беспробудно спящих) утроенную, удесятеренную Россию. "Сгнила западная буржуазия, перед которой стоит уже ее могильщик – пролетариат. А в Азии есть еще буржуазия, способная представлять искреннюю, боевую, последовательную демократию..." Что же это за буржуазия? Ее главный представитель, главная социальная опора – и русский и азиатский крестьянин. Он-то и есть "достойный товарищ великих проповедников и великих деятелей конца XVIII века во Франции".

Эти слова, признаться, несколько смущают своей прямолинейностью. Но можно ли сомневаться в их искренности и серьезности? Мы чувствуем здесь больше чем публицистическое заострение – страсть. Страстное желание человека таким сделать увиденный так Мир. И в этом видении оказалось соединенным то, что по своей сути не сливалось в единый образ одного и того же процесса, лишь переходящего от континента к континенту. Между Руссо и крестьянином-монархистом, утверждавшим с трибуны Государственной думы: "Земля Божья – значит, ничья", – разница все-таки не только в пространстве, но и во времени, создавшем цивилизацию, немыслимую вне (и без) личности. И если связью "эпох", разделенных столетиями, была личность (то бишь гражданское общество), то могла ли мысль, нацеленная на единство, в конечном и близком счете обходить эту связь – как проблему, ищущую решения, иного, но решения. Невольно вспоминаются слова Маркса, произнесенные много раньше, при первых сообщениях о готовящейся крестьянской реформе в России. Указывая приметы того, что освобождение сверху, с планируемым сохранением барщины на долгий срок и патримониальной властью помещиков по прусскому образцу, даже если и не вызовет сопротивления дворян (а оно неизбежно), в любом случае развяжет стихию крестьянских восстаний, он писал с надеждой и почти провиденциальным пафосом: "А если это произойдет, то настанет русский 1793 год; господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным в истории, но оно явится вторым поворотным пунктом в истории России и в конце концов на место мнимой цивилизации, введенной Петром Великим, поставит подлинную и всеобщую цивилизацию".

Многое перекликается в приведенных выше высказываниях. Но существенно и несовпадение. Террор полуазиатских крепостных, несущих на себе весь груз пореформенного русского скачка, — этот террор все же не был в глазах Ленина наиболее желанным исходом, по крайней мере он не был таким для Ленина 1912 года. Этот Ленин мог бы согласиться, что Россия, вероятнее всего, начнет сразу с 1793-го, хотя он и говорил о "революции типа 1789". И он безусловно рассчитывал, что здесь она будет такого именно типа; и накануне 1905-го, и впоследствии на этом строил всю тактику большевизма, более того, сам большевизм строил на том, чтобы сделать Россию XX века способной произвести на свет "крестьянскую буржуазную революцию". Крестьянскую, но буржуазную. Особый вариант (и даже больше чем вариант) европейского и североамериканского прецедента — со многими его атрибутами, из которых важнейшие: "левый блок", демократическая диктатура всех классов, составляющих народ, и со многими его результатами, главный из которых — расчистка почвы для нестесненного, свободного, "низового" буржуазного развития. Кредо 1905 года: "Гигантское развитие капиталистического прогресса..."

Сомнительно, чтобы Маркс в 1858 году имел все это в виду. "Невиданный" террор крестьян, которые окажутся один на один с "мнимой цивилизацией" русских императоров, виделся ему скорее гигантским выбросом, своего рода протуберанцем истории, чем непреодолимым следствием всемирных законов товарного производства. Спусти два с лишним десятилетия он и метательные снаряды народовольцев называет "специфически русским, исторически неизбежным способом действия, по поводу которого так же мало следует морализировать — за или против, — как по поводу землетрясения на Хиосе". Конечно, между преддверием крестьянской реформы, да и между Первым марта, и временем Ленина немало воды утекло. Однако различие, которое мы ощущаем, относится все же не столько к обстоятельствам, сколько к логике движения мысли.

Мы замечаем, что крестьянство для Ленина не совсем та категория, что для Маркса, по крайней мере Маркса "Капитала". Русский и азиатский крестьянин в роли революционного буржуа — это уже не символ и даже не только мысленный аналог. Это, по Ленину, реальный, живой соучастник всемирного преобразования, не единственный его субъект, но субъект. По условиям задачи — один из создателей мирового буржуазного общества. Другой задачи данный субъект и не может сейчас решать и потому, что не созрел, и потому, что для другой — там, где он субъект, — просто нет места. Первая посылка: человечество способно прийти к социализму, только исчерпав все

возможности капиталистического прогресса. Вторая посылка: всемирное и всеобщее — синонимы; различие между первым и вторым не больше чем в сроках и формах. Не больше, но и не меньше. Ибо формы и сроки врозь и особенно вместе — отнюдь не мелочь. Это величайшая из "конкретных истин". Восток потому и сумеет завершить собою XVIII век, что располагает не просто опытом тех, кто оказался впереди. Опыт — особый фактор: идеал, привносимый извне. Парадоксальным образом буржуазность русско-азиатского миллионного субъекта производна от европейского социалистического идеала — в процессе переработки этого идеала в действие; производна от небуржуазного способа этой переработки, призванного дать максимально буржуазный, всеобщеклассовый результат.

Что же в таком случае народничество? Только ли иллюзия, только ли мечта о том, чтобы миновать капиталистическую фазу развития, только ли реакционная теория о "предупреждении" капитализма (реакционная, утверждает Ленин в том же 1912 г.)? Так что же: только это? Нет. Что не только это, Ленин догадывался много раньше, доказывал в яростных спорах, отводя упреки ортодоксов и убеждая собственных сторонников. Похоже, однако, что ему приходилось каждый раз убеждать и самого себя. Иллюзорно-ложная оболочка, скрывающая демократическое, прогрессивно-радикальное ядро, — его любимый образ. Но так ли он убедителен, так ли диалектичен? Не раз, полагаю, всплывала эта трудность в его сознании — и после 1905 года, в преддверии другой революции, которая уже не могла быть буквальным повторением первой: переменялась Россия, и не только "низовая", но и "верхушечная"; изменился "тот" мир, уходящий от свободной конкуренции, к которой еще не дошла вся Россия и тем более — Азия, внезапный человеческий океан. И что же — прощай, народничество: реальность и проблема?.. Задолго до тех рубежных осенних месяцев 1917 года, когда Ленин принял в качестве аграрной программы грядущей пролетарской революции крестьянский, народнический, эсеровский земельный наказ (принял — и потому, и тем победил!), и еще раньше этого разве не вступал он в противоречие с собой, с особенной решительностью подтверждая всемирно-историческую истинность народничества? Истинное — вопреки "ложности" его в "формально-экономическом смысле".

Правда, произнося эти широко цитируемые слова, Ленин апеллировал к авторитету Энгельса. Но Энгельс говорил о ранних утопистах, имея в виду, что в их нравственном протесте против капитализма, только подымающегося и еще далеко не выполнившего своей работы, заключалось предвосхищение его гибели. А Ленин? Что понимал он под "формально-экономическим"? Если оставаться в пределах данного текста, то же самое. Крестьянская демократия XX века ценна своим отпором феодала.

лизму и крепостничеству, беспощадностью своей борьбы за объективно-буржуазный прогресс; но потому и смешение этого объективного смысла с субъективно-социалистическими симпатиями, с элитарными вожделениями лишь "слова, слова, слова...", притом небезопасные слова. Ибо класс-могильщик уже стоит лицом к лицу с "умирающим" капитализмом. В этих условиях способна ли быть последовательной любая революционность, если ее носители не становятся в один строй с пролетариатом, и может ли не быть реакционным любой социализм, если он ненаучный, немарксистский? Ответ — для Ленина — очевиден. Правда, у этого ответа есть и оборотная сторона: **обязательства гегемонии**, ее первоусловие — подчинение классом-могильщиком своих непосредственных требований всеобщим, а стало быть, и "чужим" интересам. Сначала им. Раньше всего им. Нет лидерства без самоотречения. Конечная цель — ничто, если промежуточная (новая республиканская Россия, свободная страна свободных людей) не "своя", не кровная цель.

Не слышится ли здесь в Ленине кощунственный Эдуард Бернштейн? Что и говорить — различие более чем велико, если помнить об обстоятельствах и о цене, которую авангарду в России предстояло уплатить за "промежуточную" цель. И все же не столь уж фундаментально это различие, чтобы оно не настораживало. Сегодня многое из тогдашнего очевидно — благодаря исподволь нараставшему упадку ортодоксии, отбрасывающей с "революционного порога" бернштейнианскую проблемную ересь. Но тогда, тогда... Не призывал ли один из самых твердых антибернштейнианцев — Георгий Валентинович Плеханов — к "марксистскому порядку" Ленина? Плеханов ведь тоже не был против крестьянской войны за землю, он лишь против возведения ее в теоретический принцип. Ему, Плеханову, легче было принять террор полуазиатских мужиков, который в конечном счете (и только в конечном) приведет — и не сам собою — к замене мнимой петровской цивилизации "подлинной и всеобщей", чем поступиться ради этого текущего успеха (важного, но текущего) "логическими ценностями" марксизма. Логическими — то есть всеобщими; всеобщие же знают отклонения, но не дальше того, ибо идти дальше — значит ставить под сомнение универсализм этих ценностей либо незаметно заменять их иными, которые эвдемо не способны стать всеобщими, ибо не может же быть двух всеобщих, вселенских истин.

Спор — действительный, хотя и недоговариваемый, по крайней мере с одной стороны, шел именно об этом. Ленина вели шаг за шагом, точнее, скачок за скачком, его же несовпадения. Даже не противоречия — противоположности. "Формально-экономическое" равно капитализму до его апогея — монополии. В каком же смысле истинен по отношению к этому капитализму (другого Ленин 1912 года не знал) народнический нравственный

протест? Какое всемирное будущее предвосхищает он собою? От догадки — к концепции, от нее — к контурам миропонимания. Суть развертывающейся исторической драмы — конфликт двух капитализмов внутри одного. Буржуазная цивилизация расщеплена. Ее единство задано прошлым, но реализация его — в будущем. И потому "воссоединение" единства — открытый вопрос. Ответ — в способе преодоления вековых, укорененных преград, из которых ближняя, "своя" преграда: господствующая азиатчина.

Способ — вот проблема проблем. Ленин был чересчур верным марксизму, чтобы возлагать надежду на "Хиос", и чересчур русским, чтобы верить в крота истории, который вопреки всему и вся хорошо роет. Ленинские "два пути" — это, если вчитываться внимательно, не только две тенденции и две возможные перспективы аграрно-капиталистического развития. Это также два постреволуционных прогресса. И еще — две утопии: либеральная и крестьянская, народническая. Равноценны ли они? Для Ленина-тактика, разумеется, нет. А для Ленина-теоретика? "Американский" путь — ключ к "прусскому". Народничество — ключ к либерализму. С либерализмом идет нещадная борьба — за мужика, за "американский" путь. И за Мир, за способ вхождения в Мир. Либерализм "хуже" народнической утопии, поскольку исходит из данного: и не столько даже данной, полукрепостной России, сколько из наперед данного, предустановленного Мира. А марксизм? В каком отношении его "идеальный" выход за пределы Мира находится к утопии "времен царя Гороха"?

Концы с концами не сходятся. И в этом несхождении — завязь будущего, будущих вершин и будущих котлованов; завязь альтернативы, которая выходит за пределы страны и региона. Если альтернатива — разнонаправленность искомого всеобщего развития, то что иное ее зародыш, как не способ, несущий в себе протокапитализм, протоцивилизацию России и Азии — необходимую интегральную часть Мира-человечества? Второе нереализуемо без первого, а первое? В народничестве угадывается преодоление раздвоенности, и в нем же кроются новые разрывы. **Биполярный Мир — биполярный субъект.** Достижимо ли это практически и оправдано ли теорией? Ленин (пришедший к себе!) утверждал: и достижимо, и оправдано. Конечно, не сразу и не прямо совпадет интеллектуальный импульс с многократно усиленным действием. Совпадение — финал эпохи. В финале совместятся цивилизация и социализм, но это значит, что и каждый шаг движения к финалу призван быть этапом совмещения их. Как "моментом" сближения, так и конфликтом взаимопонимания! Не эти слова, конечно, употреблял Ленин. Но логикой собственной гипотезы (и нарушая заданную себе логику) выстраивал образ альтернативы: невозможности единого и возмож-

ности всеобщего субъекта. И потому бросающаяся в глаза ортодоксальному марксисту двуликость сознания "наинизших низов" для него — симптом приближения к истине. В последнем счете все сойдется. Истина и миллиарды сомкнутся в Мир Маркса. Именно в него. Только в него.

На исходе XX века как не спросить себя: так ли обстоит дело? Сошлись ли человеческие миллиарды и истина, сошлись ли в Мир Маркса? И могли ли, могут ли сойтись? Надо полагать, Ленин не принял бы нашего вопроса ни в 1912 году, ни позднее, до самого конца. Для нас же этот вопрос — из первейших. Мы не обсуждаем в данный момент, в какой мере и какой платой оправдались прогнозы и расчеты Ленина. Мы ограничиваем себя (пока) движением его мысли. Нас занимает близость и расхождение Ленина и Маркса, притом в центральном пункте, который является решающим и для того и для другого. Этот "пункт" — всемирность в ее соотношении со всеобщностью.

* * *

Вольно или невольно мы снова возвращаемся к старому-престарому сюжету: к русским корням Ленина. С одной стороны, почти запретная, с другой — почти банальная тема. Я же ощущаю здесь не разгаданную до конца тайну. Это действительно русская тайна, но ее предмет надроссийский. И какое доказательство сильнее, чем "русское народничество" в Марксе, — отчасти в раннем, но главным образом — в позднем, уходящем; в Марксе, для которого открытие первобытной общины было не единственным, но одним из самых важных стимулов к пересмотру собственных исходных посылок (только ли по времени совпавших с "тактической" переориентацией на подпольную Россию?); в Марксе, который убеждал — и кого? — русских революционеров: "...не следует особенно бояться слова "архаический". Так стоит ли взвешивать (да и на каких весах это сделать?), в ком больше было "народнического": в Ленине всей его жизни или в уходящем Марксе? Более продуктивно, мне кажется, сопоставить "народнического" Ленина с "народническим" Марксом — равнозначны ли; или там, где максимум близости, — там и максимум различия?

Для Маркса народничество неотделимо от России, а Россия — от судеб европейской революции. Две полосы отношения. Первая окрашена воспоминаниями 1848-го, 1849-го. Россия — жандарм Европы, другой нет. Все, что по ту сторону границы, едино своей несовместимостью с революцией — развитием — цивилизацией (понятиями, принципиально тождественными для Маркса со времен "Немецкой идеологии"). Быть или не быть европейски-всемирной революции — значит быть или не быть Российской Империи. Приговор Маркса: империи "москов-

тов” — не быть. Все усилия — сюда. Если сама эта революция неизбежно откроет эпоху и классовых битв, и сражений наций, то ее оптимальная форма — революционная война против империи. Форпост — Польша, ближайшая цель — освобождение ее, а вместе с тем и демократическое объединение Германии вопреки прусской претензии на гегемонию; в начале и в итоге — консолидация Европы и цепная реакция перемен, производимых консолидированной революционной Европой в Мире — ближнем и дальнем. Любые факты, включая те, что свидетельствуют о надвигающихся социальных потрясениях внутри России, рассматриваются под этим — главенствующим — углом зрения. Читая (в 1870 году) ”Положение рабочего класса в России” Н. Флеровского, Маркс резюмирует в письме Энгельсу свои впечатления: ”Из Флеровского, как мне кажется, во всяком случае следует, что крушение русской державы должно произойти в ближайшее время”.

Перелом — ближе к концу 1870-х. Европа превратилась уже в континент крупных национальных государств. В двух крайних ”точках” — Северной Америке и Японии — утвердился буржуазный строй. Сошел со сцены Интернационал, уступая место национальным социал-демократиям. Мир становился в одно и то же время и теснее и неподатливее к единству. Болевая точка — неподатливость. Покинуло ли Маркса сомнение, которое он запечатлел на бумаге в тот самый год, когда приветствовал террор полуазиатских крепостных: ”Трудный вопрос заключается для нас в следующем: на континенте революция близка и примет сразу же социалистический характер. Но не будет ли она неизбежно подавлена в этом маленьком уголке, поскольку на неизмеримо большем пространстве буржуазное общество продельывает еще восходящее движение?” С тех пор прошло без малого два десятилетия. Оставило ли Маркса гложущее сомнение, почти уверенность в ”неизбежной” гибели континентальной революции, и уже не в результате столкновения с ”монголом”, с окаменевшей, неподвижной Московией, а как итог столкновения с буржуазной цивилизацией, неукротимо движущейся вширь?

Сегодня нас волнуют не столько конкретные шансы, которые взвешивал Маркс, сколько сам вопрос, сама обозначенная им проблема. Назовем ее: **схватка разнонаправленных развитий**. Уже не только ”вторая борьба” (сражение передовых и консервативных наций) рядом с первой — классовой — и внутри нее, а еще и третья борьба, сверх этих двух и над ними: **восхождение против восхождения. Поступательность против поступательности. Развитие против развития.**

Тут впору говорить именно о схватке, а не только о конфликте, поскольку исход ее — на грани жизни и смерти. И мы

допытываемся, какова судьба проблемы, мы пытаемся нащупать ее движение внутри Маркса, внутри его главного труда, внутри его публицистики, его эпистолярного наследства. Нить теряется, если искать дословность. Подспудное выходит наружу "неожиданно" с середины 70-х к началу 80-х благодаря встрече с русскими народниками и русским народничеством. Именно: не только с ними, но и с ним — внезапно замеченным. Встреча—признание самого факта его существования и более того — его равноправности. Последнее, мы знаем, смущало многих из близких к Марксу и к его кругу людей. Не взяло ли верх нетерпение революционера над строгой мыслью ученого? Не станем отвергать соучастие нетерпения. Но им одним не объяснить крутизны перелома. Смысл этой равноправности приходится реконструировать и даже угадывать; поздний Маркс скуп на слова. Соблазнительно представить его изменяющим собственному материалистическому пониманию истории. Он действительно не был ортодоксом. Однако и одной этой утешительной констатацией не исчерпать громадной темы его духовного кризиса, в котором Россия играла роль, подобную Германии эпохи "Коммунистического Манифеста" и Англии эпохи "Капитала", а быть может, и качественно иную роль, ибо она ставила под сомнение первообраз: Мир — единое буржуазное гражданское общество, одна-единственная "экономическая общественная формация"; Мир — единое отрицание ее, одна-единственная эпоха унитарной революции, результатом которой явится **человечество в коммунизме**.

Не о сроках как таковых уже шла речь. Не об одном только выигрыше времени, который даст социалистической Европе русская революция. В том ли дело, что на Западноевропейском континенте (плюс Северная Америка) стрелки мировых часов идут быстрее, или в том, что и часы эти теперь разные? Формула 1845 года, которой следовал Маркс без малого всю жизнь: «Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов, произведенное "сразу"...» — требовала уже не уточнения, а радикального пересмотра или, вернее, отказа от нее.

Народничеством к Марксу пришла иная Россия. Держава-чудовище не укладывалась в схему. Как рудимент средневековой эпохи она отличалась чересчур высокой отрицательной (и неизменной, на чем Маркс настаивал) активностью, что нуждалось в анализе, выводящем данный феномен из всемирно-исторических оснований. Задним числом мы можем сказать, что те проницательные суждения, которые по этому поводу высказывал Маркс, если брать их в историософском разрезе, обнаруживали скорее недостаток в понятийных средствах, невозможность уместить Россию в одну из существующих схем (будь то, например, "азиатский способ производства"). Следуя за Марксом, мы

видим, как все четче проступают у него контуры уникального кентавра: почти первобытный земледельческий фундамент и надстраиваемая сверху, а затем проникающая вниз (и тем разлагающая целое) буржуазная цивилизация. Однако проблему для Маркса составляла все же не оценка и тем паче не дефиниция, а устранение опасности. Достаточно ли для этого антироссийская революционная война, даже если в нее втянется вслед за континентом и Англия? (Действие "господствующих народов" действительно должно было быть произведено сразу в силу ряда причин, среди которых эта — одна из главных).

Проще было бы предположить, что мельница капитализма перемелет и евразийский массив застывшего времени. Ведь Мир уже стал космополитическим, утверждалось в "Манифесте"; буржуазия накануне того, чтобы переделать по своему образу и подобию все, "даже самые варварские нации". И позже, в 1858 году, как раз Россию имел в виду Маркс, когда говорил о восходящем движении буржуазного общества на "неизмеримо большем пространстве", чем готовый к социализму уголок Западноевропейского континента. Однако между этими двумя суждениями не только годы, в числе которых 49-й (а еще будет 63-й...). Отступал в прошлое, менялся исподволь и Марксов образ Мира. Уже закончившееся буржуазное общество, каким видел его автор "Манифеста", "вторично пережило свой шестнадцатый век". Вторично! В этом суть. Капитализм начался заново. И именно этот, вторично начавшийся капитализм исследует он в "Капитале". Могут ли быть законы его теми же, какими они представлялись раньше? И мог ли остаться без изменений и его генезис: не ретроспективно воссоздаваемая картина возникновения буржуазного мира в одном из регионов, а генезис — движение его самого, полного и зрелого (генезис как форма преодоления, "момент" самоотрицания)? Полагаю, что Маркс отдавал себе отчет в том, что капитализм не только не исконен как таковой, но что он не исконен и в качестве всеобщей стадии, предпосылки которой будто неумолимо заложены во всех человеческих общностях. Лестница, ведущая вверх, к нему, достаточно узка. Широкой делает ее он сам. Его "абсолютное движение становления", и только оно, создает "формы, существующие капитализму", на всем пространстве Земли. Но так ли это в конечном счете? Как позже спрашивал неутомимый петербургский корреспондент Маркса и Энгельса Николай Францевич Даниельсон: "А теоретически? Куда мы идем?"

Пореформенная Россия обнажала зазоры между мыслью и действием. Капитализм, раздвигающий свое историческое основание, в принципе нарушил искомую синхронность коммунистической революции. "Сразу" становилось все более иллюзорным. К старым препятствиям прибавились новые — со стороны "восходящего движения". Но и это еще не все. Главное — не

противостояние стадий само по себе, а появление новых могущественных источников квазицивилизации. Именно капитализм "второго шестнадцатого века" сумел вооружить архаические режимы орудиями и средствами, достаточными для осовременивания, притом в размерах, которые до того требовали глубочайшей революционной вспашки, всеобъемлющей духовной и политической перестройки. Квазицивилизация поэтому не только сокращение и даже не только осложнение пути. Она — другой путь. Альтернатива со знаком минус. Не то чтобы "вещи" без "вещных отношений", но и больше чем ограничение сферы последних. Подчиняемые старой и обновленной личной зависимости, вводимые в систему власти, эти отношения приобретают отныне свойства, противостоящие цивилизации. Теперь она стопорится ими. Ими также. Там, где они возникли, на своей прародине, вещные отношения принесли личности отчуждение, но они предусматривали личность, а стало быть, и возможности сопротивления со стороны личности, возможности объединения сопротивляющихся личностей. Квазицивилизация вооружалась отчуждением: без личности и против личности. Что могла противопоставить этому личность? Экономическая проблема не просто увенчивалась, надстраивалась коллизиями человека и общества. Коллизии эти становились "базисными" там, где процесс встраивания со спазматической быстротой входил в полосу распада "докапиталистических монолитов", в полосу дезинтеграции, а эта последняя приобретала странное свойство перехода с неизвестным направлением — к чему и от чего. Именно: сначала — к чему и затем уже — от чего.

Мы не станем настаивать, что обозначенная выше ситуация так именно вставала в сознании Маркса. Но у нас есть достаточно оснований утверждать, что эти мысли приходили к Марксу. Приходили с разных сторон и в разном обличье. Встрече с Россией и с народничеством предшествовали логические, теоретические трудности завершения "Капитала", а также плюсы и минусы европейского движения, уроки Интернационала и "немарксистской" Коммуны. Но Россией и народничеством все остальное как бы заострилось и собралось в одну точку. Теперь уже было бы анахронизмом говорить о господствующих народах. Означало ли это, что в составе тех, кому предстояло осуществить коммунизм, Маркс нашел бы теперь место всем без исключения? Такое предположение спорно. Сентиментальность была чужда Марксу во всем, включая самые его кровные — интернационалистические — симпатии и чувства. Напротив, стоя на этой почве, он был особенно требовательным и даже жестким. Поворот к русским — не от прекраснодушия. И если слова о надвигающейся "российской Коммуне" — до известной степени патетика, то патетика, отражающая не только надежды, но и новый взгляд на Мир.

На что же все-таки надеялся Маркс? На то ли, что русской революции и этим "парням", которые делают ее реальной, удастся прервать (!) "восходящее движение" буржуазного общества дома и тем развязать социалистическую революцию в Европе? Либо он действительно полагал, что, избрав точкой опоры замлельскую общину (в которой абсолютизм и "капиталистическая горячка" сделали проломы, но не больше), русская революция способна внести нечто совершенно новое в эволюцию Мира — и этим новым будет особое движение (из разных концов, с разных уровней развития) к заново найденным всеобщим основам "естественноисторического" развития? Иным, чем прежде, но также естественным и даже еще в большей мере естественным. И тогда не волюнтаристское безумие — прервать "восходящее развитие". И тогда не столь важно, кто начнет. Этот вопрос утрачивает прежнюю однозначность, а вместе с ней и жесткое условие исходной зрелости. Зрелым явится Мир. Мало того: само понятие зрелости подлежит обдумыванию заново. Обдумать надо, как соотносится материальная зрелость с духовной, и что содержится в каждой, и как они смогут соединиться, дабы разноосновный, разнонаправленный Мир нашел внутри себя новую связь, новое единство. Не к первоизданности, утраченной навсегда, но к первоосновам, найденным заново: к единому будущему-прошлому. И тогда впрямь: стоит ли бояться слова "архаический"?

В любом случае то, что роилось у него в голове и лишь частью отражено в почти закодированных черновиках так называемого ответа Вере Засулич, может быть вполне отнесено к числу "безумных идей". Их, во всяком случае, трудно уложить в русло политической экономии. Да и увлечение историей, "голым фактом" — это поиск единственной двери, в которую мог к нему — монисту, мыслящему и живущему Целым, — войти человек. Русские разночинцы и в этом отношении представляли для него "эвристическую" ценность: не привязанные к твердо закрепленным за ними социальным позициям и местам в жизни, даже к отечеству, они были просто людьми, действующими в истории — и вопреки ей. Не вспоминал ли при этом Маркс слова своего учителя: во всемирной истории развитие является не просто спокойным процессом, совершающимся без борьбы, а тяжелой недобровольной работой, направленной против самого себя?

...Кто-то остроумно предположил, что, если бы Ньютоны предъявили теорию относительности, он понял бы, но очень бы удивился. Гегель, возможно, понял бы сомнения Маркса, хотя его удивление было бы, наверное, еще большим. Но, во всяком случае, он с сочувствием отнесся бы к усилиям Маркса: удержать — мыслью — целое, пересоздав его. Но заметили ли и поняли ли сомнения и искания уходящего Маркса его современ-

ники и единомышленники? И понял ли бы его — такого — и принял ли бы его — такого — будущий продолжатель, Ленин?

Мне кажется, что сдержанность Ленина в отношении России Маркса, в частности упомянутой переписки с Даниельсоном, не была все-таки случайной. Быть может, Ленин чувствовал здесь нечто, способное нарушить последовательную логику в учении, пронизанном единым принципом, соответствующим единству самого предмета? Я затрудняюсь сегодня ответить уверенно на этот вопрос; внутренняя жизнь ленинской мысли и по сию пору terra incognita. Я мог бы сегодня добавить к этому, что не знаю многого и там, где все "известно" — выявлено, опубликовано. Впрочем, вникая в то, как Россия и Маркс "приглядывались" друг к другу, я стал лучше понимать Ленина.

* * *

Так выросла тема диалога: России с Марксом, Маркса с Россией. Впрочем, еще требуется выяснить: был ли диалог? Со стороны Маркса это как будто не вызывает сомнений. А со стороны России? Вообще вправе ли мы говорить о диалоге страны с мыслителем, представляя первую некой совокупной человеческой единицей, будто способной выразить себя одним голосом? Думаю, что вправе, если этот голос не утверждает, не усредняет разные ответы, а спрашивает, настаивает на праве спрашивать, зовет к вопросам, чувствуя, что от этого зависит многое, едва ли не все.

"Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения <... > — и как она захватила потом более и более и дотрагивалась до святейших достояний души? Это-то и есть страшный суд разума. Казнить верования не так легко, как кажется; трудно расставаться с мыслями, с которыми мы выросли, сжились, которые нас лелеяли, утешали, — пожертвовать ими кажется неблагодарностью". Эти слова принадлежат Герцену, сжигающему корабль после июньской бойни 1848 года, Герцену, обрекающему себя на эмиграцию для того, чтобы не оборвался его "логический роман", чтобы не скомканным, не цензурированным извне и изнутри, а полным, додуманым до вывода дошел он до родины. "В том-то и дело, чтоб отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно".

Я привожу эти слова не ради пресловутого подтекста и даже не ради совпадений, говорящих многое моему поколению. В данном случае меня привлекает, однако, больше всего "логический роман" — его особая историческая роль. Собственно, не об одном "романе" следует говорить, а о двух — русском и европейском. В русском Герцену довелось написать одну из первых

глав, по крайней мере первых на русском языке. Маркс заключал собою целую эпоху новоевропейской культуры. Нуждался ли он в том, чтобы казнить "верования" и мучиться этим? Но что вообще значит в этом смысле нужда? Ничего другого, кроме как невозможность иначе начать. Лютеровское "Здесь я стою и не могу иначе" — это звучало в XVI-м, но в XIX-м было бы едва ли не дурным вкусом. Акцент на "я" плохо сообразовался со строгой понятийной архитектурой зрелой западной мысли. Между Герценом и Марксом барьеры более существенные. Различие между ними глубже различия идей. Оно — в личностях и в языке. Думы Искандера неотторжимы от повести жизни. Индивидуальная "мутация" или больше? Тургенев говорил Герцену, что тот гениально коверкает родной язык, имея в виду свободу, с которой последний обращался с синтаксисом. Мы же чувствуем, что только после герценовской ломки да еще вулканических писем-тетрадок Белинского русская речь окончательно перешагнула рубеж, отделяющий образ от понятия. Мы догадываемся: другим способом им бы не соединиться, и эта одновременно философская и лингвистическая революция была необходима и одиночкам в России, позволяя первым увидеть Россию в человечестве, а России — войти в него, осознав себя и его частью, и преградой к нему. Но прежде всего — преградой. Через осознание преграды — к вхождению.

Тут не идиллия, а трагедия со многими актами. У 40-х годов XIX века, у этого "замечательного десятилетия", свой исток и долгое петляющее продолжение. В прологе — 14 декабря, унесшее в небитие целый пласт людей и сверх того — иллюзию, что Россию можно европеизировать по-европейски. Именно катастрофой это было, а не просто поражением. Масштаб ее определялся не числом жертв, не варварством кары, а разрывом времени. В поисках будущего мысль обращалась к прошлому. Пушкинский "Пророк" — призыв и обязательство протагонизма — несколькими страницами отделен от "Стансов", обращенных к Николаю. Идея второго Петра, "революционера на троне", появилась сразу же после катастрофы и окрасила целую эпоху. Наивно было бы относить "примирение с действительностью" к числу благих, а на поверку пустых пожеланий.

Не окажется ли потомок, подобно предку, способным сверху цивилизовать почти беспредельное пространство, соединяемое воедино лишь властью? Сколь разные умы имели в виду даже не какую-то строго определенную форму социального и политического устройства, а скорее цивилизацию — воспитание и процесс — в том примерно смысле, как понимал ее XVIII век, но без его наивного оптимизма и рационалистической телеологии. Правительство намерено действовать "в смысле европейского просвещения", — с одобрением сообщает Пушкин Вяземскому спустя пять лет после воцарения Николая — и в том же году,

по прочтении "Истории русского народа" Полевого, ставит автору в вину желание "приноровить" к России систему новейших историков (например, Гизо). "Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы... Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астрономом и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения".

Согласимся, что и сегодня эти слова звучат свежо: мысли о судьбах России связаны с критическим отношением к идее заданной наперед истории. Он нее не уйдешь, но это не равносильно слепому преклонению. Есть еще и случай. В глазах Пушкина это и Наполеон и Полиньяк, также и Петр и Пугачев, и молодой помещик Дубровский, и мелкий чиновник Евгений, беззащитный перед лицом "кумира на бронзовом коне", однако в своем мимолетном бунте достигающий до чудотворного строителя, на мгновение становясь равным ему. Случай персонифицируется в отдельном человеке, но он же становится "орудием провидения", олицетворяясь в народе.

Постдекабризм тем и открывает Россию, что народ, как и история, из данности превращается им в проблему. Два полюса, две крайности. Один: "народ безмолвствует". Безмолвствует в самые критические моменты своей истории. Полная ли это покорность, тупая апатия или также неясная нравственная позиция, которая не приемлет покоряясь, а покоряется не только грубой силе, но и мнимому знанию, традиционному и казенному, чужому и своему фатализму? И потому — внезапность, мгновенность перехода к другому полюсу: "русскому бунту, бессмысленному и беспощадному". Особой бунтующей беспощадности, которая обнажает потаенную слабость самой могущественной власти и ставит под сомнение успех любых цивилизаторских усилий, если они не доводятся до смысла, не способствуют независимости мысли, если они — наперекор становлению общества личностей.

Верхушечная цивилизация и неподвижный народ — это одна сторона медали. А другая? Можно ли помимо власти, в поединке с империей цивилизовать "бунт", можно ли просвещенным "бунтом" открыть заново окно в Европу? Если же нет, то существует ли другой выход? Иначе говоря: способна ли стать (и способна ли остаться) вся Россия обществом личностей?.. Стоит взглянуться заново в генезис еще одной внезапности — не-

посредственного превращения постдекабристских отчаяний и исканий в "русский социализм". Если отказаться от соблазна сведения его к российской экономике, будто неумолимо идущей к буржуазной формации, и — соответственно — к классической борьбе классов, то что это? Филиация идей, ориентализация последнего слова Запада? Беспочвенность, судорожно ищущая себе почву, прибегая для этого к крайним словам и действиям?

Старый, бесконечно возобновляемый спор. Доводы, по сути, одни и те же, вновь заостряемые обстоятельствами. Позволю себе лишь одно замечание методологического свойства. Оно относится прежде всего к поборникам "обыкновенного марксизма", но, полагаю, безразлично и для оппонентов, провозглашающих примат или полную независимость духа, как и абсолютную неподвластность происходящего в истории любым законам и правилам. Я имею в виду сейчас не общие принципы, а наш действительно загадочный случай. Наш "черный ящик" — *Россию невозможностей*. Есть ли ключ, чтобы войти в него изнутри?

"Ключ" ассоциируется со схемой, схема со схематизмом, но деваться некуда. Схематизация — горькая, но нужна; опасна и недопустима лишь подгонка. Различие между тем и другим почти неуловимое, но фундаментальное. Замечаем ли и в данном случае, что пытаемся доказать нечто, молчаливо предполагающееся доказанным еще до начала исследования? Именно: совпадение оснований всеобщего процесса с экономической, "вещной" цивилизацией, с "Миром товаров", как и вездесущность делений и конфликтов, без него невысказанных. Занимающий нас вопрос можно разделить на два. С одной стороны, предусматривает ли единство мысли единство истории, единство исторических судеб, отражается ли в первом второе? Вопрос как будто праздный. В самом деле, не потому ли мигрирующий дух и способен преодолеть любые границы, не потому ли он повсюду дома, что в любом "доме" он застает в том или ином виде (развитом или эмбриональном, стиснутом, задвинутом — вторжениями ли извне или "временным" торжеством собственной рутины) те же начала, те же посылки, что обеспечивают всемирно-историческую поступательность?

Разумеется, идеи безразличны к обстоятельствам (как и обстоятельства к ним). Вульгарный социолог забывает об "обратном действии", мы же нет. Мы знаем, в частности, что мировое настоящее и даже мировое прошлое может заявиться будущим, и это локальное будущее, конечно же, не будет простым повторением. Адаптация — обоюдоострая вещь, она не только обновляет, но и отбрасывает назад, не только выдвигает острых критиков "будущего в прошлом", но и родит чудища упрощения, выпрямления пути за счет человека и человечности. Идеи не просто страдательный элемент в этих кол-

лизиях, которые, чем ближе к нашему времени, тем жестче и масштабнее. Вправе ли современное материалистическое сознание относить все это к исключениям из закона, не принося в жертву вместе с фактами и свою приверженность детерминизму? Легко написать: исключения — симптом существования более широкого закона; особенному наречено быть больше общего — и не только потому, что оно многоцветнее, прихотливее, "живее". Оно больше еще и своей **сопротивляемостью общему**, а эта сопротивляемость в истории существенно отличается от ситуации в "чистом" знании. Там схватка умов и характеров, а тут еще и наций, держав, социальных асимметрий, "голосов крови", тут сталкивается высшее — нравственность мозга — с низшим — "геном", и всякая теория истории, отказывающаяся включить все это в свой предмет, сама становится безгласным орудием господствующих страстей и людей. Наш случай именно такого рода, хотя нам по многим причинам трудно это признать, еще труднее понять. Трудно признать: всеобщность и всемирность не только не тождественные понятия, они еще и антиподы; прогресс — лишь одна из составляющих, один из "векторов" человеческой эволюции. И то, что вне его, им разбуженное, им сдвинутое, осваивающее его и сопротивляющееся ему (в том числе и все сильнее как раз за счет освоения, "внедрения"), весит не меньше на весах этой эволюции, чем "всемирно-историческая поступательность". От этой мысли хочется отгородиться; кто отгораживается словами, а кто — бомбами и танками, кто пытается притупить остроту вопроса благотворительством, а кто подыгрывает нетерпению, в равной мере справедливому и слепому. Есть еще "возможность" сказать: моя хата с краю. Но земной шар чересчур мал, чтобы спрятаться от неприятных истин. Или от того, чему еще предстоит стать истиной. И что может ею стать (если успеет...). А пока это вопрос без ответа; в нем как раз заключена тяжба разнонаправленных "векторов" человеческой эволюции и особо — материальность сопротивления "вещному" прогрессу (другого не было и нет), — прогрессу, рожденному новоевропейской цивилизацией со всеми своими pro и contra, которые очертили пределы этой цивилизации, ее границы не только в пространстве, но и во времени.

Сопротивление, рожденное ее планетарной экспансией и происходящее внутри ее самой, относится к contra. Но это лишь на первый взгляд. Материальность этого сопротивления и похожа и не похожа на прогресс. Это все-таки другая "материя". Она и более плотская и более духовная. Она ближе к земле и Земле. Это материальность одновременно миллиардов и одиночек, и нет ничего трагичнее, чем взаимосвязанность этих полюсов, чем их сожительство и схватка, своим рисунком

и своим существом весьма далекая от классической борьбы классов (что не делает ее ни более мирной, ни менее значительной в смысле воздействия на всеобщие судьбы). Это *contra*, из которого растет новое *pro*. Это критика основ истории, продуктивная в меру критики самой себя. Тем, кто ищет выход, миновать ли — мыслью — вход?

Рискну утверждать: на входе надпись — Россия. В наиболее широком смысле, охватывающем все ее столетия, и в концентрированно узком — несколько десятилетий XIX века. Самый резкий вызов прогрессу — Николай Павлович, притязающий на роль хозяина Европы. И первый вопрос без ответа, первый набросок *pro* — весь в тумане, но выраженный с невероятной будящей силой, — "Философические письма" Чаадаева. Он сам, воплощенный вопрос без ответа, безумец, от которого отшатнулись без малого все, вечный сумасшедший, до сих пор не реабилитированный государством... Спустя двадцать лет Герцен, из головы и сердца которого вырвалось то, от чего пошел "русский социализм" — "С того берега", — напишет (споря, а на деле прощаясь с московскими друзьями): «Покажите Петру Яковлевичу < ... > он скажет: "Да, я его формировал, мой ставленник"» Еще десять лет, и Чернышевский в споре с Герценом и своими молодыми единомышленниками призовет в союзники автора "Апологии сумасшедшего". А само название этой последней рукописи Чаадаева, ее будто оправдательные слова, к современникам ли обращены они или через их голову к нам?

...От Чаадаева — сквозь весь XIX век одна мысль, одна генерализующая идея: нет другой возможности для России включиться в человечество, как "переначать для себя все воспитание человеческого рода". Не повторить, а переначать. Для себя, но все, не опуская тех "чужих" страниц, которые не просто поучительны, но неприменимы, поскольку ими заложены основы развития: преимущества через отрицание, через критику самой историей. Чаадаев не видел, как решить им поставленную задачу. Можно ли "выучиться" критике историей, если нет истории? Можно ли начать историю, если нет стимула к критике, навыка к ней? Заколдованный круг. Круг, однако, разрывался. Сначала "странными", "лишними" людьми, затем — "нравственными разнотинцами". От кружка к движению. От одиночек к среде: протообществу внутри социального и политического организма, не признававшего иных связей, кроме тех, что исходят от власти и возвращаются к ней. Бесконечная череда схваток: социума власти с людьми, людей с историей. Новые и новые разрывы времени. Историческая Россия двигалась вперед поражениями. Герцен в 1850 году — Моисею Гессу (тогдашнему стороннику Маркса): "В России мы страдаем только от детской неразвитости и от материальной нужды, но нам принадлежит будущее". И он же: "*Будущего нет, оно делается людьми, и,*

если мы будем продолжать гнить в нашем захолустье, может из России в самом деле выйти avortement. Тут-то и является наше дело, наше призвание”.

Какое бьющее в глаза несоответствие: нам принадлежит будущее и будущего нет. Но какая прямота и обнаженность этой антиномии, без малейшей попытки обойти ее. Такой складывалась русская традиция критики историей. И история же вступала в схватку с традицией, тесня ее не только извне, но и изнутри. Все чаще — изнутри. От ”Апологии сумасшедшего” к апологии призвания, к апологии почвы, к апологиям духа, к апологиям дела — и к огосударствлению почвы и призвания, духа и дела, будущего и прошлого. Схватки разыгрывались на новых поприщах — и расширение поприща ожесточало схватки.

* * *

...Через весь XIX век к XX. От одиночек к миллионам. От миллионов к одиночеству. Не странно ли — одинокий Ленин? Уходящий одиноким. Один на один со своими вопросами, на которые снова нет ответа. Просчитывал шансы удержания вырвавшейся вперед постреволюционной России: удержания России в Мире, удержания революции в России, двойного удержания, какому (понимал) не сбыться, если не произойдет развития на почве цивилизации. И нэпом возвращался к замыслу ”двух путей”, пытаюсь преобразовать его в еще не опробованную модель революционного реформизма, социалистической ступеневщины (с двумя ипостасями — российской и западной). И снова опирался в своем прогнозе на Восток, на Индию, Китай ”и т.п.”, чье движение (был убежден) ”направилось окончательно по общеевропейскому капиталистическому масштабу”. И, задавая — себе и другим — вопрос, изменилась ли после Октября ”общая линия... мировой истории”, он не давал на него прямого ответа, но явно склонялся к отрицательному. Нет, не изменилась. Общая и мировая — та же. Она просто не может быть иной. Ей не дано быть иной. Если бы она была или стала иной — и ему надо было быть или стать иным. А стать иным — поздно. Для него — поздно. А для других, для ближних и дальних — еще рано?!

Уходы — огромная тема. Уходы людей, наложивших свою печать на историю, безразличны для истории. За ними долгий тянется след, и то, что следует, отнюдь не непременно продолжение. Часто или даже чаще — отрицание, частью продолжающее, частью имитирующее, и все чаще — низвержение, бессознательное и нарочитое; низвержение-эпигонство и низвержение-убийство, но и это последнее мнит себя продолжением. И даже не просто

мнит, а мнимость превращает в действительность, где вместе догмат и бесовство, имитация и преклонение. Существует, видимо, жесткий и жестокий закон: подлинные продолжатели не прямые наследники. Великую французскую революцию продолжила все Европа (и не одна она), в то время как Франция расплывалась за свой "скачок" отставанием от тех, кто уходил вперед, превращая "свободу, равенство и братство" в технологию, в постоянный капитал, в навык машинного труда, в фабричное законодательство, в триумфальное шествие "всеобщего эквивалента" и опытного знания. Так ли просто распознать за этим продолжением агонию якобинства, несостоявшиеся проекты Сен-Жюста, кровь Бабёфа? Термидор, разумеется, не равнозначен прогрессу, но он и не противоречит прогрессу. Если согласиться с тем, что есть разные прогрессы (типы, степени, формы), то следовало бы признать, что есть и разные "термидоры". И тогда сущетнейшим становится вопрос: кто и как превращает прорыв истории в новую норму, в новую повседневность, в новый "консерватизм"?

Этот сюжет один из самых сокровенных у уходящего Ленина. "Сумеем ли мы доделать наше непосредственное дело или нет?" Или нет? Он спрашивал. Он не был до конца уверен. Быть может, сомневался... На заключительных страницах этого "логического романа" образы, как и прежде, предшествуют понятиям, и последний ленинский расчет напоминает нам герценовское: "Отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно..."

На расстоянии более полувека зазоры в движении мысли едва видны. Пробриться вглубь, очистив и верх и низ от "хрестоматийного глянца", едва ли не труднее, чем сквозь средневековый палимпсест пробраться к первоначальному тексту. Стоит ли удивляться, что подлинный предмет размышления остается тайной за семью печатями, хотя этот "предмет" уже не в спецхранах, а на домашней книжной полке? Иероглифами — слова последних диктовок, фрагменты, не сведенные воедино. Не сведенные или несводимые? Что мешало ему: склероз, разрывающий сосуды, или также внутренняя связанность — вето на додумывание до конца? Отсутствие условий для воплощения новой, своей, многоукладной "нэповской России" или условия для рождения ее — в качестве формы и предпосылки для всемирно-всеобщего развития? А может быть, все вместе — и преждевременность, и монистический запрет, и неотступная злоба дня, налезавшие друг на друга тревоги, прежние — сквозь всю жизнь (не размягчат ли революционного натиска доктринеры буржуазной демократии, сторонники уступок за счет коренного принципа?) — и совсем новые тревоги, вырастающие из бескомпромиссной эпохи и олицетворенные в людях власти, в новых якобинцах, для которых не было и быть не могло преобразований, осуществленных иначе, как массами и государством,

массами в государстве (вплоть до того заветного момента, когда оно "отомрет", самое себя упразднив)?

Мир Маркса, уплотненный в организацию, в революционную власть "на время", — разве это не его архимедов рычаг? И разве не этот рычаг сдвинул с прежнего, насиженного места всех на свете? А теперь — в чьи руки попадает, как распорядиться им? Уже не заторы в движении мысли, а кажущиеся провалы, невидимые стороннему взгляду мостки. Единство тех пятидесяти (или ста: велика ли разница?), которым суждено сменить его, и единство общечеловеческого развития — без промежутков, вне видимой цепи строго последовательных превращений. И снова задаешь вопрос: почему? Потому ли, что отступала жизнь? Что не наступило время? Наступит же оно — не самотермидоризацией, а Термидором, совсем новым Термидором — антимиром Маркса, анти-Россией Ленина.

"Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход". Согласимся ли мы сегодня с примиряюще безнадежной кодой пастернаковской "Высокой болезни"? Пожалуй, менее всего согласятся сторонники крайних взглядов. Для одних действительность — сбывшаяся, тождественная себе надежда. Другие не примут ни "гения", ни скрытой в строках идеи рока. Им ближе вина — в буквальном, непереносном смысле. Да и какой "рок" в рациональном XX веке? Фигура красноречия либо увертка от ответственности. Карающая рука Немезиды? Проще и вернее звучит сегодня присловие зэка — бог долго ждет, да крепко бьет.

А все-таки рок! Рок древних и Шекспира. Губящий и тех, кто переступил предел идеальностью задуманного. Тех, кто начал против течения. Анахронизм понятия лишь оттеняет глубину феномена. Феномена, в котором сплетены воедино великое и банальное, инерция впервые завоеванного людьми и его особенные оборотни (в словах и в людях!). Справятся ли с ними обновленной власти, календарному "будущему", справятся ли иначе, как "посредством организации вечного смысла людей"?

Вчера мы еще могли сказать: тот, кто убежден, что феномен этот, заявленный нашему веку Россией (и не ею одной), не является ни неизменным, ни всеобщим, должен объяснить также его неслучайность. Сегодня этим уже не ограничиться. И вероятно, не только потому, что предложенные объяснения не удовлетворяют. Сами эти объяснения стали частью современной истории; их "недостаточность" производит в свою очередь новые коллизии, образуя замкнутый круг, из которого, кажется, нет выхода. Прошлое не уходит от нас, поскольку для него не находится места, и если бы в одном только догматизме, не изжитом и не отступающем, либо в явной и полускрытой апологетике; так ведь нет места ему и в испытанных ячейках

классического сознания... Пресловутый "зигзаг" или выпотрошенную до конца "отсталость" России сегодня неловко называть даже прокрустовым ложем. Удастся ли одну из величайших трагедий Мира заключить навсегда в региональный загон?

Размолвка идеи и факта сродни самому феномену. Понимание Мира разошлось с Миром. Не в первый раз. В последний ли? В этом все дело.

1977

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ 1977 ГОДА*

I

Несколько тезисов к размышлению

1. Конституция 1977 года приходит на смену прежней. Нельзя определить отношение к новой и прежде всего необходимость замены ею "Основного закона" 1936-го, не уяснив природы и степени преемственности свежее испеченного проекта со старым текстом.

2. Была ли сталинская конституция действительно сталинской? Сегодня одинаково удобно ответить и "да" и "нет". Раз жили при ней, претерпев и 37-й, человекоубийственный, и 39-й, "договорной", чреватый великой кровью войны, и все, что после, вплоть до 53-го, то числить ли эту конституцию иначе, как тождественной режиму, который, если и не укладывался без остатка в преступления, без них не смог бы быть собою? Не исключен, однако, и другой взгляд: конституция 36-го осталась на бумаге, послужив вначале прикрытием террора, а затем превратившись в ничто. Сама же по себе она не только не сталинская (называют же ее бухаринской), но даже, хотя и потенциально, была *противосталинской*: существенным шагом к демократизации политических институтов, а стало быть, и всех общественных отношений. Держась этой точки зрения, допустимо и сам террор представить средством, направленным — не в последнюю, а быть может, в первую очередь — на то, чтобы выхолостить заявленную конституцией перемену, лишить ее энергии претворения. Отсюда — и календарь террора, и его размеры.

Сколько ж людей "надо" было уничтожить, дабы первый набросок иной жизни не успел не только войти в повседневность, но и в этом опережающем качестве начисто выпал из сознания? В безумии цифр скрыт расчет: обеспамятить не только то поколение, но и следующие за ним. (Расчет не исключал и стихию рвения, своего рода повтор "головокружения от успехов" со свойственным Сталину выходом из мертвой петли — зачинатель вновь в роли избавителя, и оргия 37-го просльвет ежовщиной.)

* Написано летом 1977 года. Предназначалось для сборника, готовившегося тогда для "самиздата" по инициативе П. Г. Григоренко. Тезисы превратились в отдельную рукопись; опубликована свободным московским журналом "Поиски" (1987, № 1). Авторский вариант под заглавием "Есть ли выбор"; "Рабочий класс и современный мир" (1990, № 3).

Исходный текст тезисов и предложений публикуется впервые.

3. При всем различии названные точки зрения совместимы друг с другом, конечно, при одном условии: отказе от предустановленности, которой будто отмечена вся постоктябрьская история. То, что задним числом видится прямой — с нарастающим приближением к тотальной катастрофе, — на деле — череда развилок, подспудный смысл которых в попытке остановить маховик революции, прервать ее самоувечивающую инерцию. Не удалось. Вопрос вопросов — почему? Ответ — пучок гипотез, нуждающихся в разборе каждой из развилок. Вправе ли мы отнести к их числу 1934 — 1936 годы? На расстоянии очевиднее: убийством Кирова предрешиено было все последующее, а сам перводекабрьский рубеж с неумолимостью проистекал из январского "съезда победителей". Но тогда, в середине Тридцатых, завтрашний день представлялся большинству (хотя были и провидцы) все-таки иначе.

Нужду в умиротворении — после "революции сверху" — испытывало не только пережившее этот катаклизм простонародье, но также авторы и соавторы "сплошной коллективизации" и форсированного возведения лесов индустриально-военной державы. Результату, добытому энтузиазмом и насилием, надлежало теперь придать регулярную форму с упором на качественное освоение, развитие знаний и умений. В этой позиции не было ни тени оппозиционности, она вполне увязывалась с моносоциалистической идеологией и отвечала потребностям функционерского корпуса, особенно деловой его части, непосредственно ведавшей хозяйством и вооруженными силами.

Эта нормализующая тенденция была представлена и в верхах партии. Ввиду осведомленности о реальном положении вещей, а также и в силу других причин (среди них — близость к интеллигенции, чей вклад в пересоздание России, какими бы движущими мотивами он ни диктовался, был исключительно велик), часть лидерской группы склонялась к своего рода коммунистической "смене вех". Правда, уже не о возврате к многоукладному нэпу шла речь. Нэп был похоронен еще раньше, чем это было возведено в символ веры, и итог этот разделялся как отправная точка всеми нормализаторами, по крайней мере теми, от кого зависела политика. Потому и искомое умиротворение не только не именовали (вслух!) реформой строя, но в данной среде оно и не осознавалось таковым. Достаточным полагали лишь снижение темпов и поворот к жизненным потребностям населения, возврат к советской законности и отмене классовых ограничений и привилегий (поелику были "ликвидированы" и сами классы), сочетание материальных стимулов труда — как в деревне, так и в городе, — с возрастающими вложениями государства в науку и культуру и поощрением лояльного разнообразия в этих сферах. По существу, однако, минимум этот был вовсе не так уж мал, чтобы не оказаться

шансом перехода в новую ситуацию: не революционную, но и не противостоящую "классической" революции.

Что же она такое — та ситуация? Терминологическая трудность, испытываемая нами, вводит в *пролог развязки*. Ибо коррекция вчерашнего образа социального действия таила в себе отход от самой глубинной установки правящего (и не мыслящего себя вне власти) коммунизма, — установки на единственность выражения человеческих интересов. Если эти интересы уже не классовые (тождественные миссии и воле "класса-гегемона"), то какими же надлежало им стать, чтобы заново оправдать собою всеобъемлющее респорядительство — масштабами и результатами деятельности, ресурсами и судьбами людей?

Вопрос заведомо перевернутый. Но перевернутой в этом смысле была и жизнь на всем гигантском пространстве СССР. От этой перевернутости не уйти было и ответу.

Разумеется, речь не шла об отказе от политической монополии. Ни малейшему сомнению не подвергался и догмат единства партии, заново освященный коленопреклонением бывших "уклонистов". Да и сама конституция, замышленная в 1935-м (!), призвана была закрепить триумф "генеральной линии", достигнутый диктаторским прожектерством и возведенными в норму чрезвычайными мерами. Однако достаточно было признать эту "норму" утратившей практическую надобность, чтобы исподволь вернуться к исторически начальному пункту: хотя и не прямо к природе власти, а лишь к ее персонафикации, к феномену Ч Е Л О В Е К А У В Л А С Т И. Но именно этот, будто обратный ход взламывал равновесие не в меньшей, если не в большей степени, чем во времена внутрипартийных баталий 1923—1929 годов, когда призыв к демократизации, исходивший (с роковым разрывом во времени и в аргументах) от Троцкого с его единомышленниками и от "правых" во главе с Бухариным, не простирался дальше средств, соподчиненных *непеременной конечной цели*.

Нормализаторы середины 1930-х, конечно же, не осмелились бы повторить злополучный афоризм Эдуарда Бернштейна, но как раз он точнее всего выражал их речевой обиход и человеческий нрав. "Движение — все" означало (здесь и теперь) культ сиюминутного результата. Каноническая "переходность" социализма замещалась могуществом как таковым. Но тем самым не могла не вставать, пусть неявно, проблема употребления этого реального и желанного могущества: во имя чего и против кого?

Неизбытый вчерашний день заслонял вход в будущее, притом уже не в доктринальное будущее, а в заявленное ломкой жизненного уклада миллионов, вторичной (и еще более массовой, чем постоктябрьская) социальной миграцией снизу вверх. Новый — "БЕЗ-КЛАССОВЫЙ" — индивидуум вовсе не был

пропагандистским вымыслом. Обозвать его "черню" столь же неисторично, как изображать воплощенной в телесную оболочку заявкой на гармонического человека. Этот субъект был еще, по сути, "ником": неизвестным самому себе. И в этом смысле — главным козырем в близящейся схватке между господствующим ВЧЕРА и еще анонимным ЗАВТРА.

Между тем и другим — ситуация выбора.

4. Сегодня мы знаем, что предпочел Сталин. Но следует ли отсюда, что сам выбор был предрешенным даже для него? Можно гадать: испытал ли он искушение остаться главной фигурой нормализации, со всеми преимуществами отсюда проистекающими. Нельзя исключить, что ускорителем выбора послужили для него загадочные (по обстоятельствам того времени) результаты голосования на XVII съезде. И уже вполне очевидно, что замести следы убийства Кирова можно было только с помощью новых убийств, как очевидно и то, что, став заложником репрессивной машины, Сталин мог сохранить власть над ней лишь с помощью множимых ротаций террора. Наконец, и на этот раз сыграли свою роль его свойства оборотня-плагиатора. Мимо Сталина, конечно же, не прошли ни взлет антифашизма, ни родственник ему (и питающийся им) "экзистенциальный" подтекст нормализаторства: мосты, которые пытались навести последнее от социально-культурной конкретики СССР к его политике. Но Сталин не просто утилизировал и то и другое. Он внес решающую "поправку", подменив безымянный позитив (очеловечивание постоктябрьского бытия) беспрецедентным негативом: небытие за пределами всечеловеческого данного. "Паранойя" опередила и здравый смысл и воображение. Она раньше их вышла на проблемное поле!

Оставим пока в стороне фундаментальный вопрос: располагало ли "прогрессивное человечество" интеллектуальным заданием, способным противопоставить тайному сближению (а в неисключенной перспективе и сращиванию) двух разногенезисных режимов — "национал-социализма" и "национал-большевизма" — свою программу мирового развития, удовлетворяющую как его суверенов, так и париев его — непременно тех и других?

Но, даже не развертывая этой темы, мы не вправе опустить ее вовсе. Ибо — в последнем счете — все упиралось в это.

5. Сорок промежуточных лет внесли гигантские перемены во всю человеческую жизнедеятельность. Сплочение Запада на кардинально обновленной экономической основе и постнацистский ренессанс "буржуазной демократии", самораспад колониальных империй и становление "третьего мира", взлет науки и драматические последствия непосредственного вторжения ее в политику, — все это и многое другое, взятое в совокупности, придали буквальность Миру, одновременно поставив под вопрос его тождественность человечеству.

Планетарные сдвиги, бедствия и страхи стучатся в нашу дверь. Хрущевский приступ к десталинизации приоткрыл эту дверь. Однако "оттепель" захлебнулась — в немалой мере оттого, что сохранился без решительного пересмотра анахронизм *взаимоисключаемых универсальных будущих*. Связь тут и прямая, прослеживаемая в перепадах внешнеполитического курса (от Берлинской стены до исхода Карибского кризиса), и более глубокая — окольная. При Хрущеве произошел своеобразный ход назад — к "конечной цели"; цитатная и харизматическая ностальгия подстрекала к рассогласованной череде изменений, которые, нарушая аппаратную стабильность, рикошетом ударили по человеческой массе даже в тех случаях, когда имелось в виду ее ближне-дальнее благополучие. То, что затем нарекли "волюнтаризмом", столь же далеко от сути дела, как "культ личности" — от Сталина. Падение первого властного антисталиниста — симптом проблемы, скрыто присутствующей во всех наших мысленных и практических тупиках: *невозможности переделать "систему", ориентированную на смерть, без "системного" же переоткрытия жизни.*

6. С этой точки зрения прошлое — но уже не как возврат к "незамутненным истокам", а как диалог опытов и потребность в историческом самоузнавании — не может не входить в любую попытку, в любой проект обновления. При этом меняется самый масштаб и психологический статус "подключения" прошлого. На равных правах соучаствуют в нем давнее и совсем близкие к нам процессы и события, свидетельствуя, что разнопутье, созданное веками и даже тысячелетиями, аритмия цивилизаций обретают ныне новый смысл: столь же тяготеющий к общечеловеческой норме, как и связность в различиях. Красноречивейшее из свидетельств — 1968 год. Казалось бы, что общего между сорбонским "запрещается запрещать" и танками в Праге, между еще не остывшими пепелищами в негритянских кварталах Штатов и кровавым антибюрократическим карнавалом в китайских городах, между триумфальным шествием по Миру "Ста лет одиночества" колумбийца Гарсиа Маркеса и "Размышлениями о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", вышедшими из-под пера творца советской водородной бомбы? Что общего между "экспортером" всесветной революции Че Геварой, который нес в себе гибельное бремя разочарования и надежды, и семерыми инакоживущими, нарушившими "общественный порядок" на Красной площади Москвы, приветствуя человека, — человека "с человеческим лицом"?

Общее не поддается ни одному из расхожих определений. Тем не менее оно существует, отличая рубеж Шестидесятых —

Семидесятых от событийных "сгущений" конца первой мировой войны и постоктябрьских лет, а также (и, быть может, особенно) — начала и середины 1930-х. В нынешний перелом втянуто все политическое, экономическое и духовное пространство Мира. И уже поэтому он многомерен. Но главное все же в другом: в разрыве классического пролога с "неклассическим" продолжением. Уходит фантом мировой революции, оставляя наследие нерешенных проблем и надежд всемирному реформизму: *детизи противоборствующих "лагерей"*. Место предупредительного и обезвреживающего преобразования занимает опережающая реформа, которая меняет теперь не только способы исторического действия, но и его исторический склад. Мотив спасения рода вплотную смыкается (здесь, в этом) с потребностью индивидуального самовозобновления, утверждая новую реальность: троицу "информации", экологии, суверенности.

Результаты — неясны, промежуточные, тревожны. Баланс плюсов и минусов неустойчив. Из самых недавних обретений — демонтаж авторитарных режимов (Греция 1974-го, Испания после 1976-го), обрыв "культурной революции" в Китае (1976). Из самых драматических и поучительных неудач — чилийская катастрофа 1973-го, побудившая Энрико Берлингуэра выдвинуть идею *исторического компромисса* как необходимости, которая лишь отчасти проистекает из текущего соотношения сил, по сути же, содержит в себе призыв к отказу от идеальной единственности Мира, составлявшей символ веры и дисциплинарный обет коммунизма. Означает ли содеянное им — раньше и ныне, — что коммунизм утратил право на существование? Открытый вопрос. Его уже не удастся закрыть частными поправками и анафемой историческим мертвецам. И он заведомо нерегионален. Ибо сохраниться коммунизму дано лишь в том случае, если в качестве соавтора всеобъемлющего "исторического компромисса" он принесет в жертву этому призванию свое классическое первородство.

Как тут не обратиться памятью к развилке 1930-х: к тогдашнему пред-выбору (или недо-выбору) и к памяtnому его знаку — конституции, которой подошло бы лубянское: "Хранить вечно". Ведь и в ней судьбы мертвых обращены к судьбам живых.

7. Обременительна ли эта конституция для нынешних правителей СССР? Вопрос на первый взгляд риторический. Разумеется, в этом заживо похороненном "основном законе" нет для них ничего неперемного. И сама потребность в замене его носит по преимуществу геральдический характер; однако этим она все же не исчерпывается.

Внешнее действие — покров внутреннего. "Тихий путь" 1964-го не произвел сколько-нибудь существенных перемен в высшем эшелоне власти, тем паче — в фундаменте ее. Status quo?

Даже если бы это было единственным пунктом "программы", средства достижения ее (после Сталина и после Хрущева!) не могут быть чисто рутинными. Эпигоны эпигонов поставлены перед псевдодилеммой — *реставрация или новая фаза переналадки "системы"*? В соответствии со своей натурой они полусознательно идут к смешению первой со второй. Судьба экономической реформы показывает, чем это способно окончиться. По сути, таков же пейзаж внешней политики: половинчатые шаги к разрядке в сочетании с новыми спазмами миродержавия. Общий итог — в любом случае исключена действительная равнодействующая и потребна мнимая.

Но и мнимая оказывается недоступной. Производство теоретических новинок на госдачах не способно дать ничего, кроме пустых слов и дурного вкуса. А диссидентство самим фактом своего существования разрушает видимость единства и воссоздает **ситуацию выбора** — уже за пределами существующих институтов и устоявшихся межчеловеческих отношений. Развороченный муравейник проявляет склонность к самоорганизации, притом в самых разных направлениях: от экономической предприимчивости до издательского дела, от систематической защиты отдельного человека до упорного противостояния национальной дискриминации. Сейчас трудно предсказать, сколь далеко способен продвинуть себя этот процесс и в силах ли он дотянуться до целого. И дело тут не только в разительных несовпадениях ориентиров, в идейных атавизмах и размытости программных установок, не только в зазоре между домашним нравственным протестом и его мировым контекстом (кто "там" — союзник и заступник?).

В той мере, в какой инакомыслящие и инакоживущие выламываются из границ нашего *социума власти*, они возвращают не только самих себя, но и огромную массу людей, фактически находящихся вне политики, к роковой проблеме России: недостижимости общества и государства — отделенных друг от друга и "дополняющих" друг друга. Нет одного, нет и другого. Опустим здесь историческое объяснение этого феномена (за плечами — века). Отметим лишь как тему, требующую отдельного разбора, конфликт между правостроительством и народоправством, врозь заявленный реформами 1860-х и первой революцией (с их зачинами и эпилогами), чтобы потом войти внутрь новой России в виде творческого начала и глубиннейшего источника разрыва и вырождения. Еще предстоит, в частности, осознать, какую роль в авторитарном взлете сталинизма сыграла идея "отмирания государства", входившая в самое ядро Марксовой классики и Октябрьской программы Ленина. История, однако, предпочитает обходные пути, и забытье играет в ней не меньшую роль, чем эстафета памяти. Диссидентство сильнее там, где оно меньше теоретизирует. "Верхи"

отвечают ему вычерком, запретом, карою. Фрагменты про-тообщества консолидируются тюрьмой и лагерем. Потребность в государстве выявляет себя стремительно нарастающим рас-падом властных структур: в лицах, в подспудных превра-щениях "общенародной собственности" в иерархически-част-ную. Могут ли эти два негатива породить совокупное "отрица-ние отрицания"?

Сомнение ближе к фактам — и к катастрофе. Современный status quo обладает непредсказуемой разрушительной силой, действие которой легко может быть направлено изнутри вовне. К искомому же "историческому компромиссу" не прийти от-дельно от других миров в Мире. Беспрецедентность нынешней ситуации выбора нуждается в беспрецедентном субъекте его — всемирном в собственном Доме.

Что же у нас — раньше, впереди: *субъект, выбор, Дом?*

8. Сказанное освобождает от детального разбора проекта новой конституции. Он опасен своей бесполезностью. Его мно-гословность, соответствующая речевому стандарту власти, вместе с тем — производное от попытки регламентировать все стороны жизнедеятельности. Такова же и подоплека назой-ливости, с которой употребляется (в виде существительных или прилагательных) "социализм". И то и другое — внешнее выражение "сверхзадачи": *принуждения к единственному обра-зу жизни*, что ставит вне закона иные мотивы и жизненные уста-новки, не исключая и неортодоксальную интерпретацию самого социализма. Если добавить к этому сохранение в фактически неиз-менном виде унитарного строя, державы как формы не только политического, но и социального устройства, то в виде общего итога можно бы назвать этот документ активно и даже агрессивно отсталым, изоляционистским по своему духу и назначению.

Воздавая (сравнением) должное конституции-1936, я не думаю вместе с тем, что реанимация ее, дополненная улучшаю-щими вставками, явилась бы выходом из положения. Если рас-сматривать "основной закон" как закрепление процессов, ко-торые пришли к своему финалу, то любая конституция была бы сейчас фикцией и обманом. Лучше бы без нее вообще? Как ни парадоксально, но так. Однако возможен и иной подход, продиктованный мировыми переменами и острой потребностью в их одомашнивании, — при суверенном участии в решении этой задачи как разумных сторонников существующего, так и радикальных реформаторов, стоящих на позициях ненасилия. Суверенность при этом — и предпосылка и результат. Выбор, создание для него условий оказываются в таком случае регули-рующим принципом, облекаясь в правовые нормы и законотвор-ческие институты. Можно бы назвать такое состояние переход-ным, еще точнее — предваряющим. Предваряющим общество, го-сударство — и не в единственном числе. Предваряющим взаим-

ность и развитие цивилизационных различий в пределах советского мира в Мире.

Я отчетливо понимаю, какие трудности возникнут на этом пути и сколь сильным будет сопротивление комплота корысти и предрассудка. Но если не сделать решающего шага в сторону социума Выбора, то последствия могут выйти из-под контроля любой из сторон нынешнего непризнанного (и непризнанием подхлестываемого) раскола. Кто может сказать наперед: способно ли будет "ядерное устрашение" предотвратить нашу отечественную катастрофу, которая неминуемо затронет всех на Земле?

Эти заметки призваны пояснить, что побудило меня к составлению нижеприлагаемого проекта, который (в чем можно быть совершенно уверенным) никакого практического применения не найдет. Некоторые мои друзья назвали этот проект утопическим. Что ж, вполне вероятно. Но я не воспринимаю эту квалификацию как хулу. Идея **общественного договора** — не из сундука, где ее проела моль. Она, мне кажется, пережила трагедии, которые сама же вызвала, и ныне вернулась к людям — не похожей на себя, изначальную, и тем не менее столь же обращенной в будущее, как и в прошлое. Итак, вперед к Руссо?!

Лето 1977

II

Основные принципы конституционного строя и главные меры, направленные на приближение к нему

А. Суверенитет народа и общества. Законодательная власть

1. Единственным источником власти и права в СССР является народ как совокупность граждан. Любая попытка ограничения и ущемления народного суверенитета является тягчайшим преступлением.

2. Свой суверенитет народ осуществляет в качестве самоорганизующегося и саморазвивающегося общества.

3. Только общество как целое может определять, изменять и уточнять социальное и политическое устройство, генеральную перспективу развития СССР, основы внутренней и внешней политики, полномочия государственных институтов, права и обязанности граждан, их добровольных объединений и союзов.

4. Общество реализует свои суверенные права в формах прямого волеизъявления и посредством свободно избранных представителей.

5. Первичную ячейку суверенной демократии в СССР составляют Собрания трудящихся и граждан.

Собрания происходят регулярно и по мере надобности как по месту работы (на предприятиях и учреждениях), так и по месту жительства. Цель Собраний — открытое обсуждение вопросов, представляющих общий интерес. Таким образом достигается двойной результат: гражданского самовоспитания и создания нормальных условий для развития законодательной инициативы со стороны всего общества.

Нет ни одного вопроса, который мог бы быть изъят из рассмотрения на Собраниях трудящихся и граждан.

Главная функция Собраний как наиболее широкого политического форума получает дополнение и развитие в их критической и конструктивной деятельности, направленной на решение вопросов, встающих в непосредственной сфере производственных, социально-культурных и всех иных жизненных интересов данной группы населения.

Статус Собраний трудящихся и граждан, включая их организацию, создание руководящих органов (в виде избираемого на определенный срок Президиума Собрания), а также их взаимоотношения с Советами народных депутатов, государственными институтами, администрацией предприятий и учреждений подлежат разработке в виде особого законодательного положения.

Отношения между Собраниями и добровольными объединениями и союзами регулируются соглашениями между ними на основе Конституции и в пределах Положения о Собраниях трудящихся и граждан.

6. Законодательная и распорядительная деятельность общества осуществляется от его имени и под его контролем Советами народных депутатов.

7. Депутаты Советов ответственны перед избирателями и подотчетны им, и только им.

8. Вносятся следующие изменения в порядок избрания Советов народных депутатов:

а) Депутаты местных Советов (деревень, поселков, городских районов) избираются Собраниями трудящихся и граждан, причем половина депутатов избирается Собраниями по месту работы, а половина по месту жительства. В обоих случаях количество депутатов пропорционально как численности коллективов предприятий и учреждений, так и числу жителей. Выборы — тайные. В тех случаях, когда предприятие (учреждение) и место жительства территориально совпадают, гражданин, располагая лишь одним голосом, добровольно избирает место его подачи.

Предусматриваются два этапа избирательной кампании: предварительный, включающий выдвижение кандидатов в де-

путаты и выработку наказов им (в составлении которых призваны принимать деятельное и инициативное участие сами кандидаты), и завершающий этап — принятие наказов и избрание депутатов. Право выдвижения депутатов не ограничивается. Процедура выработки наказов определяется в Положении о выборах, причем допускается и поощряется составление соревнующихся наказов с последующим согласованием их особыми комиссиями, выделяемыми Собраниями трудящихся и граждан.

б) Депутаты вышестоящих Советов народных депутатов избираются наполовину нижестоящими Советами и наполовину населением по месту жительства.

Избирательная кампания также ведется в два этапа. Право выдвижения кандидатов предоставляется Собраниям трудящихся и граждан, всем добровольным объединениям и союзам, а также любой группе избирателей, численностью не менее 15 человек при выборах в региональные Советы и не менее 50 человек при выборах в Верховные Советы республик и в Верховный Совет СССР.

в) В качестве принципа допускается как образование единого избирательного блока, так и голосование по разным спискам (и соответственно — разным избирательным платформам). Конкретные формы осуществления этого принципа подлежат решению всенародным референдумом.

9. Избиратели имеют право вносить дополнения и изменения в наказ депутату в течение всего срока полномочий соответствующего Совета.

10. Наказ депутату носит обязательный характер. В случае несогласия с требованиями, сформулированными в наказе или дополненными к нему, кандидат (депутат) обязан открыто заявить об этом своим избирателям. Если избиратели не принимают доводов кандидата (депутата), заново производится выдвижение в депутаты либо производится отзыв его с досрочными выборами.

11. Депутаты всех уровней обязаны не реже одного раза в год представлять избирателям письменный отчет о своей деятельности. Отчет публикуется и должен быть доступен всем избирателям. Обсуждение отчета производится в соответствии с порядком избрания депутата.

12. Подлежит выработке Статус обязанностей и прав депутата с указанием, в частности, процедуры отзыва депутата в случае нарушения им Конституции и наказа избирателей, неудовлетворительного выполнения обязанностей и недостойного поведения.

13. Для выполнения возложенных на них обязанностей депутаты всех уровней получают дополнительный денежный оклад.

Депутаты Верховного Совета СССР освобождаются на срок

избрания от трудовой деятельности, приносящей заработок. Оклад депутата Верховного Совета СССР должен быть единственным источником его существования, достаточным для независимого осуществления депутатских обязанностей.

14. Местные Советы народных депутатов полновластны в пределах своей территории. Ограничение прерогатив нижестоящего Совета передачей части их вышестоящему Совету определяется особым законом при условии, что принципом является сужение сферы осуществления власти по мере восхождения от низших ее органов к высшим.

15. Советы народных депутатов нижестоящих уровней обладают правом неограниченной законодательной инициативы во всех вопросах, составляющих компетенцию СССР.

Собрания трудящихся и граждан, добровольные объединения и союзы, группы граждан и отдельные граждане могут вносить проекты и предложения, касающиеся всех сторон законодательства и государственной жизни СССР, как непосредственно, так и через депутатов.

16. Верховный Совет СССР осуществляет (именем общества, на основе полномочий, переданных ему Советами народных депутатов нижестоящих уровней, и в результате добровольного соглашения союзных республик) высшие законодательные и распорядительные функции, охватывающие всю территорию СССР и его отношения с другими государствами и народами.

17. В целях действенного использования своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей Верховный Совет СССР обязан работать постоянно.

При этом:

а) Сессии Верховного Совета СССР происходят не реже трех-четырёх раз в год, продолжительностью не меньше месяца.

б) Ежегодно Верховный Совет рассматривает подробный отчет Правительства СССР, охватывающий все стороны его деятельности, с приложением соответствующей документации и статистики. По мере необходимости и по требованию депутатов Верховный Совет может затребовать этот отчет досрочно. Отчет подлежит предварительной публикации и должен быть доступен гражданам. Все соображения и замечания, высказываемые по отчету правительства печатно и устно, на Собраниях трудящихся и граждан, сессиях нижестоящих Советов и т.д., а также получаемые в адрес Верховного Совета от граждан и групп граждан, подлежат изучению и в виде свода основных мнений должны публиковаться не позднее чем за месяц до обсуждения отчета Верховным Советом.

в) Все проекты законов, вносимых в Верховный Совет СССР, предварительно публикуются в "Ведомостях Верховного Совета СССР", а главные из них также в "Известиях Советов народных депутатов", с тем чтобы Собрания трудящихся и гражд-

дан, добровольные объединения и союзы, группы граждан и отдельные граждане имели достаточное время для изучения проектов с внесением своих замечаний и предложений через депутатов и непосредственно.

г) Процедура согласования расхождений, возникающих при выработке законов, — между депутатами, между палатами Верховного Совета и в обществе — подлежит особой разработке с учетом интересов и прав меньшинства. В особо ответственных и конфликтных случаях голосование в Верховном Совете СССР производится поименно.

д) Верховный Совет СССР образует постоянно действующие комиссии по основным отраслям общественной жизни и государственного управления, не исключая обороны, общественного порядка и государственной безопасности.

Членами комиссий не могут быть министры СССР и другие лица, занимающие высшие государственные посты. Председатели комиссий не имеют права совмещать эту деятельность с любой другой. Деятельность комиссий подлежит систематическому освещению в газете "Известия".

е) Верховный Совет образует временные и чрезвычайные комиссии для подготовки отдельных законов, расследования деятельности тех или иных государственных органов и отдельных лиц, занимающих любые государственные посты, а также в случае стихийных и иных бедствий и катастроф, требующих быстрого и согласованного действия общества и государства.

ж) Депутаты Верховного Совета обладают правом обращения с любыми запросами к Правительству СССР и другим государственным органам. Запрос обладает конституционной силой. Неполный и неправдивый ответ соответствующего лица и учреждения влечет наказание вплоть до судебного. Запросы и ответы публикуются полностью в "Ведомостях Верховного Совета СССР" и в виде подробного отчета в газете "Известия".

Нижестоящие Советы и Собрания турдящихся и граждан, добровольные общества и союзы, а также отдельные граждане и группы граждан имеют право запроса правительству и государственным органам СССР через депутатов Верховного Совета СССР.

з) В ходе обсуждения отчета Правительства СССР, отдельных законопроектов и запросов может встать вопрос об отставке правительства. Для принятия решения об отставке требуется, чтобы число голосов, поданных в пользу отставки, превысило половину числа членов обеих палат Верховного Совета СССР. Голосование может производиться как раздельно, так и на совместном заседании палат.

и) Министры СССР и их первые заместители, а также председатели государственных комитетов СССР и их первые заместители назначаются по представлению Председателя Совета Ми-

нистров СССР Верховным Советом после тщательного рассмотрения кандидатур соответствующими комиссиями Верховного Совета СССР. Данные о кандидатах вместе с мотивами назначения публикуются заблаговременно, дабы дать возможность обществу высказать по ним свои суждения.

к) Все международные соглашения и договоры с иностранными государствами подлежат гласному обсуждению до ратификации их Верховным Советом СССР. Все другие ответственные акции внешнеполитического характера должны получать санкцию Верховного Совета.

*Б. Социальные и экономические начала.
Проблемы, подлежащие разработке*

1. СССР конституирует себя как общество трудящихся, единство которого основывается на признании законности и необходимости различий в способах и формах человеческой жизнедеятельности.

Развитие общества определяется принципами свободы, равенства и братства.

2. Общество является полноправным распорядителем исторического наследия России и СССР.

3. Земля, прочие естественные богатства и ресурсы СССР, основные производственные фонды и строения, главные средства сообщения и связи составляют общественную собственность, то есть такую собственность, единым и единственным субъектом которой является общество.

4. Общество в свою очередь определяет законом, какая часть всенародной собственности и на каких условиях передается в распоряжение государства и его органов.

5. Общество, непосредственно и через государственные институты, регулирует условия пользования другими частями всенародной собственности, передаваемыми на время или постоянно добровольным объединениям и союзам, группам лиц и отдельным гражданам. Законодательным путем устанавливается статус коллективной, групповой и личной собственности.

6. Все виды собственности сосуществуют в рамках общественно-экономической целостности.

7. Основным принципом, регулирующим отношения общества, государства и граждан к собственности, является недопущение эксплуататорских и других привилегий, хищений и утрат в результате бесхозяйственности, бюрократизма, нерадивого отношения к делу; создание оптимальных условий для развития производительных сил, научного, технического и культурного прогресса на основе обеспечения всем слоям и группам граждан равенства возможностей, преодоления нужды, полноценной заботы о нетрудоспособных — при условии разумного

использования природных ресурсов, защиты и усовершенствования среды обитания.

8. Экономическая деятельность строится на сочетании принципов централизации и децентрализации. Оба принципа являются равноправными, конкретные же формы сочетания их определяются соглашениями интегральных экономических и административных единиц всех уровней.

9. Плановое начало экономической деятельности обеспечивается предусмотренными в пунктах 6, 7 и 8 нормами, регулирующими отношение к собственности, и определением ключевых показателей экономического, социального и культурного развития на всех уровнях, а также осуществлением совокупных общественных программ, созданием (за счет отчислений из прибыли) фонда развития СССР, необходимых страховых фондов и резервов.

Механизм планирования и прерогативы соответствующих институтов устанавливаются особым законом в результате научного исследования и широкого открытого обсуждения.

10. Подлежат открытому, непредвзятому исследованию и обсуждению назревшие вопросы, относящиеся к сфере рыночных механизмов и связей, как и товарно-денежных отношений в целом, с тем чтобы результатом их явилась принципиально новая концепция многоукладности, отвечающая условиям и историческому наследию народов СССР и вместе с тем ориентированная на высшие достижения научно-технической революции XX века.

11. В целях надзора над совокупной экономической деятельностью и соблюдения принципов рациональности и справедливости, для устранения возникающих диспропорций и преодоления вызываемых ими конфликтов и разногласий создается на смешанной общественно-государственной основе Экономическая ассамблея СССР. Участие в ней принимают на равных правах представители Советов, плановых и других государственных институтов, научных учреждений и ассоциаций, добровольных объединений и союзов трудящихся, а также полномочные представители Собраний трудящихся и граждан.

Статус Экономической ассамблеи и ее взаимоотношения с Верховным Советом СССР, Верховным судом СССР и с Правительством СССР подлежат обсуждению и определению законом.

В. Межнациональные отношения. Переустройство Союза ССР

1. СССР преобразуется в Союз Советских Республик Европы и Азии.

2. Политическая целостность СССР зиждется на добровольном согласии всех наций и народностей.

Каждой нации и народности принадлежит ничем не ограниченное право определять свою судьбу, включая право на отделение.

3. Сфера самостоятельности национальных составных частей СССР охватывает все вопросы законодательства и текущей жизни. Переуступка части суверенитета может осуществляться лишь на основе добровольных соглашений между высшими органами СССР и соответствующих республик. Все эти соглашения должны получать санкцию граждан каждой республики в результате референдума или иным путем, обеспечивающим полноту волеизъявления.

4. Выносятся на обсуждение вопрос о целесообразности членения Российской Федерации на ряд республик, кроме уже существующих (например, учреждение Центрально-российской, Северороссийской, Южнороссийской, Уральской, Сибирской, Дальневосточной республик). Такое членение, отвечая прежде всего потребностям интенсивного экономического развития, призвано также содействовать демократизации власти и переориентации ее местных структур на реальные нужды населения.

Дабы не нарушать межнационального равновесия, представительство РСФСР и его составных национальных частей в Совете Национальностей Верховного Совета СССР может остаться без изменения.

5. Посредством специального конституционного акта подлежат немедленному и окончательному искоренению все последствия насильственного перемещения народов и национальных групп, сопровождавшиеся незаконными изменениями административно-территориальной структуры СССР. Одновременно допускаются и поощряются добровольные соглашения непосредственно заинтересованных народов и республик об условиях сожительства без какого-либо нарушения имущественных и человеческих прав граждан, включая право выбора родины. Ущерб от последствий депортации должен быть возмещен всем пострадавшим без исключения за счет государства.

6. Для того чтобы придать действенную силу статье Конституции, исключающей всякую дискриминацию по национальному, расовому, языковому и иным признакам, устанавливается, что лица, занимающие административные посты любого ранга и повинные в том, что они либо содействовали, либо потворствовали дискриминации, подлежат суду с запрещением навсегда занимать государственные должности.

7. Свобода развития национальных культур и языков является непреложным принципом.

8. Великодержавие как во внутренней, так и во внешней политике объявляется вне закона.

9. В своих политических, экономических и военно-защитных отношениях с союзными и дружественными странами

СССР выступает как государство, не претендующее ни на какие особые права и привилегии.

10. Исключается раз и навсегда всякое вмешательство, прямое и косвенное, во внутреннюю жизнь союзных и дружественных стран и тем более применение с этой целью Вооруженных Сил СССР.

Г. Охрана прав граждан. Судебная власть

1. Исходный принцип — безоговорочное устранение насилия во всех сферах жизни. Всякое насилие, как и подстрекательство к нему, наказуется по закону.

2. Отменяются без промедлений судебные приговоры и административные кары, направленные против правозащитников и "инакомыслящих". Запрещается преследование и ущемление прав верующих, а также лиц, отстаивающих суверенитет наций.

3. Подлежат пересмотру уголовное законодательство и процессуальные нормы. Выносятся на обсуждение вопрос о возвращении к суду присяжных.

4. Как мера неотложной защиты граждан от произвола вводится (еще до окончания судебной реформы) участие адвоката в следственно-судебном процессе начиная с момента задержания и предъявления обвинения. Посягательство на независимость адвоката влечет за собой пожизненное запрещение виновным занимать должности в органах следствия и правосудия.

5. Ликвидируются лагеря в качестве мест заключения. Таковыми могут быть только тюрьмы, которые передаются в ведение Министерства юстиции.

6. До всенародного референдума о смертной казни резко сужается сфера ее применения, исключаящая все, кроме самых зверских разновидностей насилия, особенно в отношении женщин и малолетних.

7. Судебной власти вменяется в одну из главных задач контроль над законностью действий государства и лиц, его представляющих, без малейшего исключения. С этой целью учреждается Конституционный суд.

8. Прерогативы Комитета государственной безопасности ограничиваются областью разведки и контрразведки. Вмешательство КГБ в общественно-политическую жизнь страны признается преступлением. Следственные службы КГБ подлежат немедленному упразднению.

9. В качестве важнейшей нормы конституционного строя вводится право гражданина на беспрепятственный выезд за пределы СССР и возвращение на родину.

10. Отменяются анкеты при поступлении на государственную службу. Условием занятия любой должности признаются лишь знания и профессиональные навыки.

ВРЕМЯ
“ПОИСКОВ”

ПРИГЛАШЕНИЕ*

Нашему замыслу соответствовало бы название слишком длинное для журнала — ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ. Нисколько не урезав замысел, мы сократили лишь название, и к участию в наших "ПОИСКАХ" приглашаем всех, кто за взаимопонимание. Всех, кто убедился, что нет ничего сейчас рискованней и неотложней этого: полноты понимания, которой нельзя достичь, к которой не пробиться иначе, как совместной работой мысли, не ограничивающейся одной-единственной позицией, заведомым углом зрения, единственно возможным способом ставить вопросы и доискиваться ответов.

Сказанное, разумеется, чересчур общо. Призыв к взаимопониманию уместен в любое время и при любых обстоятельствах. Разве мыслимо такое время, когда отпадает нужда в понимании, поскольку на все вопросы уже даны окончательные, "исчерпывающие" ответы? Да и потребность во взаимности, в движении от многообразных начал к проблемам жизненно важным для многих, если не для всех, — эта потребность, далеко не всегда и не всеми признаваемая, сегодня не покажется и новинкой. Призыв к взаимопониманию — либо общее место, либо он нуждается в разъяснении.

И тем не менее мы рискуем утверждать, что сегодня этот призыв ясен без долгих обоснований. Нам, в Советском Союзе, вероятно, это ощутимее, чем где-либо. Мы пережили с 1953 года целую полосу надежд и крушений, избывания старых и новых иллюзий. Надо полагать, это время дало многое, и не нам одним. Но теперь виднее, что, переломившись в 1968-м, оно пришло к концу. Теперь заметнее не только сделанное, но и то, что не сделано и сделано быть не могло. И это последнее не менее, если не более важно, чем первое. Глядя на собственные наши тупики, кто рискнет сказать с полной уверенностью в правоте: я знаю лечение, я вижу выход?! Каждая неувязка в отдельности, каждая несообразность, взятая врозь, кажутся устранимыми — было бы только желание, умение и "соответствующие люди на соответствующих местах"... Но идет время, и все ощутимее, заметней: пропущенные в свое время возможности — самая неподатливая реальность сегодня, как и связь между всеми диспро-

* Опубликовано без подписи в № 1 "свободного московского журнала", принявшего название "Поиски".

порциями и напастями, как и отсутствие "соответствующих", и беспомощность тех, кто желает перемен, не ведая, с какого боку за них приниматься, не накликав беды хуже нынешней. Тупики наши потому и мысленные, потому и нравственные — разрывы между поколениями и внутри поколений, которые, похоже, не только не сглаживаются, но делаются все глубже и раздражимей. И вряд ли оттого, что яснее стали ныне ответы, предлагаемые отдельными течениями и людьми. Скорее наоборот: ожесточенность, вражда — от застревания на чем-то первоначально отрицающем. Но даже тут, и именно тут, мы оказались неспособными пробиться к причинам причин, дойти до корней трагедии, образовавшей эпоху, и до природы тупиков, составляющих русскую злободневность, уклад жизни и быт: самое обиходное и труднее всего выносимое.

Прежде говорили: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сегодня это следует дополнить и уточнить, сказав: не может быть ни свободен, ни уверен в будущем народ, притязающий собою одним — своими успехами ли, глубиной ли своего отчаянья — определять всесветное будущее. Эта истина не так проста — и не только потому, что задевает государственные престижи, национальные самолюбия, претензии первенства, богатства, силы. Она огнюдь не проста и по существу.

Взаимная уступчивость и терпимость — превосходные качества. Право оставаться собой — великое право, становящееся новой международной нормой: суверенитетом Мира, где впервые за всеми народностями, за всеми человеческими сообществами признано право на независимость в решении своих внутренних дел, как и право на равную причастность к судьбам Мира в целом. Два права — нераздельных и вместе с тем все мучительнее совмещающихся в Мир миров, стремящийся стать человечеством.

Вправе ли мы допустить, чтобы "правом оставаться собой" распоряжалось многоликое насилие, принуждающее к единомыслию, ставящее владетельный запрет на идейные искания, на движение проблем, не знающих кордонов?!

Таковы самые общие основания к тому, чтобы сделать поиски взаимопонимания исходной позицией для согласной работы. "Только" поиски — оттого, что на пути к встрече исходно разноначального не одни внешние препятствия. Поэтому мы приглашаем к дискуссии без ограничивающего регламента и с этой, сугубо предварительной заявкой, которая может стать более четкой программой лишь в процессе поисков.

ВСЕ МЫ ЗАЛОЖНИКИ МИРА ПРЕДКАТАСТРОФ...

Письмо американскому историку
Стивену Козну

Дорогой друг!

... С удовольствием прочитал всю подряд рукопись русского перевода Вашей книги и убедился, что эта работа в высокой степени интересная, притом не только в качестве первой (и пока, кажется, единственной) на эту тему. Не только — и потому сенсационные скороспелки ей повредить не могут. Ибо Ваша привлекает не одной проблематикой, но еще больше своей проблемностью: внутренним приглашением к размышлению и к спору. Злободневность ее не только в том, что многие из вопросов, разрабатывавшихся Вашим героем* и волновавших его, не утратили своей остроты по сей день, а некоторые (и очень существенные) обрели ныне вторую молодость. В не меньшей мере актуальна вся коллизия ищущей мысли — ее взлеты и ее спуски, ее победы и ее трагедии. Можно ли объяснить финал лишь действием обстоятельств, находившихся за пределами мысли и оказавшихся сильнее серого вещества? Так думать было бы легче, но вернее ли?

Я имею в виду не столько те или иные положения, выводы, даже концепции, сколько то, что можно вынести за их общую скобку. Именно: движение к альтернативе.

Впрочем, от нынешних злоупотреблений этим понятием оно стало расхожим, самоочевидным, между тем если оно что-то значит, то это не просто выбор между двумя "есть" — двумя наличными возможностями, и даже не только выбор между двумя "будет", двумя "может быть"; здесь нечто среднее — и совсем иное; здесь — выбор между известным и неизвестным: неизвестным в принципе, то есть еще недоступным сознанию. Трудно ли выбрать — на словах, разумеется, — жизнь либо смерть? Настоящий выбор внутри жизни, предполагающий, что нет одной-единственной Жизни, а есть (множественное число) жизни. Поставьте на место Жизни и жизней Историю и истории, и это будет в примитивно-телеграфном виде мой взгляд. В заметках "Россия и Маркс", которые, я надеюсь, Вы прочтете, я предлагаю такую — условную — редакцию этого заезженного и, увы, неустранимого понятия: альтернатива не означает ничего другого, кроме **разнонаправленности всеобщего человеческого развития** — в виде правила, которым исклю-

* Речь идет о Н. И. Бухарине. — *Прим. авт.*

чается и "воспрещается" всемирное выпрямление... Обсудим? Где? Весьма альтернативный вопрос — и не в практическом, а, так сказать, метафизическом смысле, одновременно умозрительном и весьма злободневном.

Я отделился от предмета Вашей книги? Мне кажется, что, напротив, приблизился. В судьбе (и за судьбой!) "последнего большевика" я вижу трагедию альтернативы. Еще не созревшей — и погубленной. Вместе с ней была погублена, распята, затоптана альтернативность: потребность, склонность мозга, человеческий облик, характер. Да, и характер. Политическая инфантильность Н.И. (я употребляю не свое выражение, а слова самого близкого Н.И. человека — прекрасного и справедливого, в чем Вы сами могли убедиться), эта его человеческая слабость, склонность к совестливой рефлексии, столь, по общему мнению, непригодная в политике и, действительно, сыгравшая пагубную роль не только в жизни самого Бухарина, — так только ли личным качеством его это было или также производным от "нежности" серого вещества у обыкновенно-крупного, обыкновенно-незаурядного человека, у нормального человека?..

Личные судьбы, конечно же, не только отражение общих, они и преддверие их. Суровая правда истории: жертвы ответственны, особенно если они добровольно взяли на себя ношу лидерства, руководства. Мозг тоже ответствен, и нравственность мозга не пустой звук.

Вы знаете, что для нас здесь эта тема — неугасающая. Отклоняя "суд истории" как нечто, предполагающее, что кто-то имеет право выступать в роли прокурора, мы лишаем себя и претензий на адвокатуру задним числом. Не в оценках суть, а в понимании. Но в понимании трагедии, а не простого зигзага, "временного" отклонения в сторону. Самое сложное — и если бы только для исследователя — измерить масштаб необратимости происшедшего.

Гибель Бухарина — эпилог поражения Ленина. Это мост к Вашей теме от моей. И вместе с тем — полагаю — мост ко многим сюжетам с гораздо более конкретным и преходящим (будто преходящим) содержанием: старым и новым... Сталиным исключалась и альтернатива и альтернативность. Можно ли вернуться к первой, созревшей, к 1945-му (и дозревшей после — в 56-м, 68-м, 74-м...), не возродив второй? Это наш поворот мировой проблемы: может ли нынешний Мир миров стать Миром-человечеством, неединым единством всех без изъятия?!

Для этого, скажете (и говорите) Вы, нужно время. Время и есть разрядка. Это-то и делает ее неумолимой: категорическим императивом 70-х и дальше, сколько видит глаз. Само собой. В этом прежде всего ее смысл. Ведь если даже иные весьма консервативные люди (умные консерваторы отнюдь не лишние), если даже они понимают, что разрядка — ныне — не может ог-

раничиться уменьшением риска ядерной войны, что ограничиться этим также рискованно, как и применять силу в мировой политике, — если к этому пришли консерваторы, то как же отставить от них не-консерваторам? Стоит ли им быть глупее?

Но беда в том, что у не-консерваторов есть свои заботы, превосходящие сохранение статус-кво. Они потому и не-консерваторы, что стоят за преобразования, за перемены — настолько фундаментальные, чтобы результатами их могли стать заметные и прочные улучшения для большинства, для всех людей, причем такие улучшения, которые не обернулись бы ухудшением условий жизни и жизнедеятельности всех следующих за нами поколений. Пренебрегающий этим радикал сегодня хуже консерватора. Доказать это проще простого. А предотвратить? А предложить иной путь — радикальной умеренности? Это — просто? Это доступно нынешним мудрецам-экстраполаторам?

Мы уже как будто привыкли жить в Мире предкатастроф. Мы даже приучили себя к мысли, что из каждой, из любой должен быть выход. Должен быть, а стало быть — есть. "Ведь всегда налицо та или иная возможность..." Нет, вся история учит, если она вообще учит (натаскивает, указывает...): не всегда. Так, может, человек исторический, собравшись с духом и силами, преодолет былую свою склонность к импровизации, от которой многие триумфы, но и все беды? Вероятнее всего — не преодолет! Да и если смог, остался ль бы человеком? Такой же мираж, как и не-событийная история, как раз навсегда "осознанная необходимость" в качестве свободы...

Повторяем, убеждаем друг друга: нет выхода у современного человека, кроме выбора. Выбор — единственная допустимая свобода в Мире предкатастроф. Но разве ими же не сокращается, не сужается до минимума поле и попроще выбора? Разве ими не диктуется срок: решай, пока еще "только" предкатастрофа?! Самое очевидное оказывается самым сложным, к чему не готов, перед чем пасует мозг.

То, что выше, — отчасти заметки на полях Вашей статьи (давнишней — 77-го, но очень своевременной, еще более уместной сегодня). И не то чтобы спорю с Вами, и не то чтобы соглашаюсь. Скорее: заостряю то, что Вы сглаживаете. Ставлю вопросы там, где у Вас ответы.

Две "цитаты" из Вас. Первая (о диссидентах): мы должны помнить, что в политической истории бывает так (хотя в истории России и не столь часто), что ересь гонимого сегодня становится мудростью завтрашнего реформатора. И вторая (о близоруких, склонных привязать американскую политику к "специфическим событиям" или к "выдающимся диссидентам" в СССР): они — близорукие — втягивают нас, американцев, в такие сложности, в такую путаницу, которая не поддается конт-

ролю, в такие морально неоднозначные ситуации, которые "мы" не в силах разрешить.

Я не собираюсь сталкивать — лоб в лоб — эти Ваши соображения и тем паче ловить Вас на несоответствиях. Я предлагаю лишь поразмыслить: откуда они, несоответствия? Субъективные, Ваши, или "объективные" — общие, всеобщие?

Предлагаю Вам обсудить следующую "модель". В силу сложной цепи исторических событий и обстоятельств, которые мы оставляем сейчас вне рассмотрения, в некоей стране, в некоем социуме совместились могущество (реальное!) и груз неразрешенных проблем. Проблем, в отношении которых трудно, если вообще возможно, утверждать: они разрешимы. Не исключено, что не-разрешимы при данных условиях и обстоятельствах. Не исключено, что не-разрешимы посредством всех наличествующих в Мире "рецептов", опытов, прецедентов. Не исключено, что как раз это более всего другого и делает данную страну (в нынешних условиях) самой потенциально альтернативной. Судьбы Мира оказываются накрепко связанными здесь — и чем? Не просто сочетанием силы и слабости, что само по себе опасно и способно порождать опасные отсрочки и соблазны, но еще и сочетанием того и другого с альтернативностью, не находящей себя: свою суть и свой "статус". Именно — всем этим вместе и в никем не предвиденной пропорции. Из всех проблем самая трудная и наименее доступная — выбор. Приступ к выбору. Потребность в нем. Доступность его. Возможность его осуществления способами и средствами, исключающими нелокализуемую катастрофу.

Не ради осторожности я не называю своим именем страну. "Модель" не этикетка. Это гипотеза. Такой нашу ситуацию вижу я (то, что выше, — предельно сжатый тезис), не исключая других подходов и гипотез, если только они гипотезы, а не вывернутые наизнанку вчерашние прописи и самодовольный оптимизм, выдающий минимально желаемое за единственную действительность. Вера в "аппаратный прогресс", которой Вы явно отдаете дань, — это, на мой взгляд, даже не увлечение, не инерция вчерашней возможности (особый вопрос: была ли она вчера?), это самообман, быстро перерастающий и уже переросший в обман. Даже в банальный.

Вопрос, таким образом, состоит в следующем: если не это, то что? Что — в качестве способа, делающего достижимым выбор и недостижимой насильственную перетасовку? Ответ — Ваш: ересь сегодня гонимого может стать мудростью завтрашнего реформатора. Прекрасно! Но из этой посылки следует по крайней мере два вывода: чтобы стать такой мудростью, ересь должна быть действительно ересью, а не подделкой под нее, и для этого нужно, чтобы завтра появился реформатор, то есть человек, способный не на паллиативы, а на преобразования, объем

и характер которых — открытый вопрос. Итак, снова альтернативность, притом с двух сторон. От альтернативной ереси к альтернативному реформатору!

Вы отдаете должное нравственным качествам ряда известных диссидентов, но, как видно, не очень высокого мнения Вы об их интеллектуальном потенциале, об их реализме и способности противостоять искусам — включиться в мировую политическую игру, рассчитывая потеснить "свою" силу посредством чужой и становясь "заложниками" чужой. Этот пункт столь серьезен, что его нельзя обойти. Голое отрицание и эмоции здесь мало что дали бы, как и пережевывание известных и неизвестных фактов. Больше таких фактов или меньше, они не могут не быть. Но — почему?

Я уже сказал выше, что отклоняю превращение истории (старой и самой свежей) в судилище. К тому же я не диссидент в привычном смысле, я, если угодно, аутсайдер или, по Вашей терминологии, еретик. Я не знаю ответов наперед и пробиваюсь к вопросам, всегда готовый сделать посильное, чтобы помочь в этом другим, более молодым, — тем, кто хотя и не обладает известными именами, но живет (сейчас) напряженной и весьма интересной духовной жизнью. Их, быть может, не так много, но и совсем немало (да и кто считал?). Их трудно разместить по клеточкам "номенклатур", предлагаемых западному читателю (движение № 1, № 2 и т.д. и т.п.). В качестве профессионала-историка, надеюсь, Вы не очень доверяете подобным картинкам, хотя они в чем-то и верны, а в чем-то симптоматичны (как не появляться еретическим номенклатурам в номенклатурном социуме с господствующим — номенклатурным — "здравым смыслом"?).

Еще раз: я не прокурор, но и не адвокат. Я знаю лично некоторых диссидентов и уважаю их. Я позволю себе произнести имя Ларисы Богораз, в которой вижу образец нравственности, демократической русской нравственности, интеллектуальной в такой же мере, как и реализуемой в поступке. Как историк и как современник, я склонен видеть в А.Д. Сахарове не только идеалиста — убежденного, бескорыстного, мужественного, — но и реалиста, каким бы странным это утверждение ни показалось кому-то, — человека, являющегося живым воплощением потребности, необходимости и даже возможности выбора (повторюсь: единственно возможной свободы в Мире предкатастроф...). Убежден: существование и деятельность такого человека, "просто" человека, столь же переломны для нас в 70-х, как на рубеже 50 — 60-х деятельность и слово А.Т.Гвардовского.

И тем не менее я не отвергаю серьезности и уместности поставленного Вами вопроса. Я даже склонен его заострить. Ибо — если бы даже внешняя политика Запада, особенно же США, — разумная политика, к какой Вы призываете, и была бы способ-

ной облегчить и ускорить процесс "либерализации" у нас (если бы... если бы...), то никакая политика сама по себе — прямо ли, косвенно ли — не в силах восполнить и заместить собою то, чего нет в ней самой. Нет способности предложить действительно альтернативу: неединое единство Мира — развитие, имеющее исходным пунктом (целью и самоцелью) различия; развитие различий — обновленных, пересозданных прежних, "очищенных" от шлаков великодержавия, расизма, своекорыстия, национальной узости, мании исключительности. И совсем новых различий, создаваемых диалогом культур, цивилизаций, миров, региональных и локальных всеобщностей, а не просто общностей...

Если этого нет в политике (пока?), то может ли она заметить собою нечто, от нее весьма далекое и по сравнению с ней столь хрупкое, как "ересь сегодня гонимых"? А без политики, вне политики удастся ли добиться превращения ереси в "мудрость завтрашних реформаторов"?

Если бы были на эти вопросы готовые ответы, то о чем бы спорить?.. И не отсюда ли диссидентство? И не потому ли столь неоднозначно оно? И не оттого ли склонно соблазняться доступным, клониться к известному, вроде бы опробованному за счет неизведанного?

Полагаю, что в этом смысле феномен диссидентства истине всеобщий, универсальный. Не берусь судить на расстоянии о непосредственных причинах нынешнего "брожения умов" у вас — по проблемам разрядки (и всего, что около, вокруг нее...), но так ли конъюнктурны эти причины? Только ли сегодняшние они? Или то, что происходит сейчас, — лишь внешнее выявление тектонических сил, пришедших в движение вчера и даже позавчера?.. В моих глазах это — испытание постуотергейтской Америки (не администрации, а именно — Америки), испытание ее на способность понять Мир и принять его — со всеми его коллизиями — в себя. Ибо: человечество — пустой звук, если все народы не станут им, человечеством, внутри себя.

Станут ли? Смогут ли стать?

Простите, что мое письмо вылилось во что-то, похожее на исповедание веры. Но не так легко и просто для нас самое простое — сесть рядом, как сидели Вы у меня в гостях, и за чашкой чая излить душу... Нет, дорогой друг, мы все заложники Мира предкатастроф и не станем свободными врозь. И если не сможем сообща преодолеть запрет на вопросы, на вопрошание (на любой такой запрет, идущий извне или изнутри каждого из нас), то в "лучшем" случае будем продолжать балансировать на краю бездны, незаметно соскальзывая вниз. Не думаете ли Вы, что праву на вопросы ныне противостоит (как мнимая перспектива, как квазивыбор!) даже не тот или иной возраст, даже не та или иная попятность — неосталинистская ли, неомаккартистская ли, — а "импровизация", ведущая в никуда, а потому гибель-

ная — для всех? Может быть, не "голый остров", но лучше ли?..

Вопрос вопросов — как избежать этой "морально неоднозначной ситуации", которую мы не в силах будем разрешить? (Я снова "цитирую" Вас, но на сей раз объединяю словом мы и вас, и нас, всех.)

Я начал писать Вам это письмо 21 июня, а кончаю 22-го. Памятные дни. В 1941-м Вам было, если не ошибаюсь, три года. А я, моя жена и мой друг, погибший на войне, готовились к последнему университетскому экзамену. Теперь мы сравнялись — не годами, разумеется, и даже не опытом, а ответственностью.

На днях перечитывал письма Томаса Манна. Посмотрите написанное им 15 мая 1941-го Вашей соотечественнице. Там есть прекрасные строки и верные мысли. Он пишет Агнес Э.Мейер: "Как приятно слышать Ваши уверения, что мы понятия не имеем о том, что произойдет! Повторяйте их как можно чаще; я пью их, как сладкое вино. Однако в Вашей фразе "Полагайтесь на Америку в мрачные часы!" есть какая-то логическая погрешность. Ведь мрачные часы — это как раз часы сомнения..." И — в конце письма: "Я не требую "любви к отечеству". Но я требую порядочности и глубокого уважения к великим решениям человечества".

Разве не об этом идет сейчас речь?

Желаю удачи.

Крепко жму руку.

Ваш М. Гефтер

21–22 июня 1978

ЖИТЬ ЛИ НАМ ОДНИМ ДОМОМ, ЕСЛИ ЖИТЬ В ОДНОМ ДОМЕ?

Заметки о сегодняшнем и завтрашнем дне диссидентства*

Кому Бог дает должность, тому дает он также и ум — так гласит старая шутивая поговорка, но вряд ли будут серьезно отстаивать ее в наше время.

Г.Ф.В.Гегель

Не клеветайте на себя, не обрызгивайте себя слюною, не проклинайте вашего прошлого.

М.Е.Салтыков-Щедрин

То, что ниже, не резюме и не комментарий "со стороны". Комментировать вроде нечего. Внимательный, заинтересованный читатель разберется сам, ему и документы в руки. Но что-то изнутри толкает: еще раз вернуться к происшедшему — вопреки естественному желанию махнуть рукой и забыть...

Что же?

Неожиданность эпизода? Царапающий своей грубостью, даже вульгарностью его "внешний" рисунок? Вероятно, и то и другое, и еще что-то в осадке, возвращающее к вчерашнему дню, к целой полосе, пройденной и пережитой нами, — к нашим Шестидесятым. Неужто там исток? Неужто не случаен этот *казус Медведева***, а нечто закономерное и оттого неизбежное? А если так, то и взгляд на нынешний эпизод иной: печалься, сетуй, негодуй, но принимай за должное: не так, так этак, не тот, так другой... И какое общественное движение избежало этой участи — где, когда?

...Еще вчера диссидентство только нарождалось у нас: не познавшее себя, с неотделившейся пуповиной. Отчасти — движение по инерции, продолжающее взывать к "верхам", прислушиваясь к мало-малейшим шорохам в коридорах власти с надеждой на очередной поворот: нельзя ж ему не быть... Отчасти же (и все большей частью) — нравственный протест в самом широком спектре помыслов и целей, не вполне одинаковых, а то и вовсе не совпадающих.

* Первоначальное название "Pro Domo Suo: Заметки о пессимизме, о самодовольстве и завтрашнем дне инакомыслия". Статья предназначалась для свободного московского журнала "Поиски". Машинописный текст с рукописью последних разделов был изъят при обыске в редакции 25 января 1979 года. Текст был восстановлен автором по памяти.

Опубликован под заголовком "Pro Domo Suo: Заметки о пессимизме, о самодовольстве и завтрашнем дне инакомыслия" в зарубежном сборнике.

** См. прим. 1 с. 116

Так было вчера. А сегодня? Сегодня оно — *неустрашимый факт*. Сегодня оно признано — правда, в весьма своеобразных формах, но признано и здесь и "там". Сегодня у него свои, известные Миру лидеры, средства массовой информации и даже свой "дипкорпус". Сегодня принадлежность к нему — шанс обрести срокá, но вместе с тем и возможность создать собственную пресс-конференцию, обратившись через многие неповоротливые головы к совсем другим головам. Сегодня... но разве уже и это не новинка, не современное чудо, к которому привыкают с такой же почти быстротой, как к регулярной космонавтике или человеку в пробирке? Итак, диссидентство уже не просто вызов — и господствующему сознанию и господствующей бессознательности, не только обязательство отстаивать каждого человека, отстаивающего свои права. И не один лишь разрыв с казенщиной, не одна лишь утрата прежнего статуса и места, в "обществе", но еще и возможность приобрести первое и второе, статус и место способом совершенно невероятным по прежним меркам, а ныне не только не исключенным, но даже вполне доступным.

Жертва, по меньшей мере готовность к ней, а рядом — искуc: обменять горечь и беспокойство на многое, что прямо или косвенно котируется. Правда, горечи все-таки избежать нельзя. Ведь там, где игра на повышение, — там и неизбежные черные дни, когда акции начинают катиться под гору.

Об этом, в той особой среде, о которой речь, — не принято вслух, откровенностью ограждая себя от грязнящей подозрительности. Да и самое вслух, оно ведь наперед абонировано теми, кто морализирует по заказу либо, еще проще, за плату. В этом последнем качестве как-то даже естественно, что и в "отщепенцах" они зрят ждущих оплаты наемников (а уж откуда оплата эта, то наперед известно...). Оставим, однако, всех исполнителей и всех заказчиков наедине с собой. Забудем на минуту о существовании "Литгазеты", "Недели" и им подобных органов со специфической репутацией и специфическими связями.

Мы между своими. И речь идет о нашем общем доме, о диссидентской коммуналке.

А в этом доме братья Медведевы не последние. Напротив. Они из первых не только по времени. Уже давно не двое молодых людей, смело и деятельно вступивших на тернистую тропу инакомыслия. Теперь они — без малого "фирма", притом весьма заметная и как будто влиятельная. Она публикует и свидетельствует. Она на страницах прессы, на приемах в посольствах; она раздает политические прогнозы и реестры направлений с точным определением — кто, где... включая единственного, который значится "вне направлений" (не вытянул на направление А.Д.Сахаров, что ж поделаться?!).

С "фирмы" же спрос не тот, что с неоперившихся новичков. Тут мерка иная, и старинный вопрос: кому это выгодно? — бывает нелишним и даже неперменным.

Однако и это еще не все и, быть может, даже не самое главное. Главное все-таки общее. То, что затрагивает в равной мере и близких и не близких. То, что обязывает выйти за черту, отделяющую нравственность — в чистом виде недвусмысленную и даже абсолютную — от неоднозначного, нечистого Мира. Выйти без гарантии, что и тебе не избежать на этом пути опасности из наихудших: потери самого себя; и зная, что от опасности этой не уберешься никакими заклинаниями, никакими обетами правдивости и исторической прямоты, ничем, кроме тех самых "низких истин", которыми продирается человек к Смыслу. И даже если продирается один, то не в одиночку, а рядом с другими, в споре с другими.

...Когда познакомишься с тем, что выпустил в свет автор "Письма к Р.Б. Лерт", притом в двух (или все-таки в трех?) вариантах под одной и той же датой, первое чувство — недоумение: зачем? На защиту своих ли принципов встал Р.А. Медведев или, напротив, избрал сей повод для пересмотра их? Правда, тут же пропадает охота говорить вообще о каких бы то ни было принципах. Ни шага навстречу сюжетам и проблемам, которые затронул на страницах "Поисков" его добровольный оппонент. Ни логики, ни достоинства. Странная смесь уязвленного самодовольства с декретированием образа поведения остальным.

И какова форма: письмо, адресованное одной по поводу другого с прицелом в далеких третьих, у большинства которых — кляп в устах! И каковы доводы, каков стиль, каков язык: его, "Роя А. Медведева", осмелился, видите ли, критиковать некто, пытающийся так "хотя бы в собственных глазах оправдать свою творческую неполноценность", "как-то заглушить свой комплекс неполноценности". Ну стоит ли это опровергать? Ну надо ли ссылаться на то, что осмелившийся не новичок в письменном деле и, хотя не издал "вместе с братом" 20 книг, мог бы таже предъявить библиографию собственных работ и рукописей? (А может, на всякий случай ему следует срочно обзавестись справкой об отсутствии комплексов: не дай бог, где-нибудь и впрямь сочтут реплику Р.А. Медведева за компетентное свидетельство...)

Легко представить, что было бы, если бы критиком выступил совсем начинающий, вовсе не известный, тогда... Какие громы услышали бы мы со сплоченного семейного Олимпа! Но пожалуй, тогда и громов-то никаких не было б, скорее — снисходительно-равнодушное молчание; даже в пресловутую папку, куда Р.А. Медведев аккуратно складывает "открытые письма", адресованные ему с братом или каждому порознь, такой кри-

тический голос из глубин России вряд ли попал бы. В папке все-таки место известным и знаменитым, имена коих рассерженный автор не забыл перечислить.

Нехорошо все это. И дурно вяжется со стократно заявленной приверженностью Р.А. Медведева демократии, свободе убеждений, к терпимости, плюрализму и прочим прекрасным вещам, которые, конечно же, не заведешь и не узаконишь — сепаратно — в собственной квартире. Но если им нет места в индивидуально-гражданском обиходе, то появиться ли им в общественном бытии?

Здесь уместно задержаться, хотя как будто и не сами по себе эти сановные повадки (к тому же не единственные в своем роде), не сама по себе эта наивная демонстрация рукодельных эполет больше всего отвращают от писем Р.А. Медведева, хотя и невооруженному глазу видно, что квазиполемика для него не больше чем повод, чем оперативная возможность самоопределиваться. Вроде и нам бы следовало ограничить свой "предмет" теми непосредственными причинами, которые побудили автора с такой торопливостью, с такой неразборчивостью в приемах объявить: я не с вами, я совсем другой!

Так-то оно так, но все же не вполне так.

У наиболее внезапных человеческих поступков есть своя предыстория, нередко скрытая от постороннего взгляда, но не реже — от самого человека, одним движением вдруг отрезающего себя от собственного прошлого. Навсегда ли — это уже следующий вопрос. Немаловажный, что и говорить. Но все же вторичный, и ответ на него придет лишь тогда, когда зададим себе первый и основной вопрос: что за внезапность эта? Откуда влечение, даже больше — страсть: обрубить канат, бросить его конец в лицо своему прошлому?

Первое, что приходит на ум: обыкновенное человеческое — слабость. Испугался человек, захотел отстать от дела, к которому приковался, и не какими-то формальными узами, а изначальным движением ума и сердца, лучшими страницами жизни. От такого уйти ли в открытую? А слабость умело (и тем умелей, чем бессознательней), вернее, недоосознанно драпирует себя то разочарованием, то ожесточением, вытесняя "предмет" изнутри вовне.

Глядишь: уже будто и не слабость это, наоборот — сила, источающая направо и налево уверенность в себе, а вместе с тем обретающая и стимул, позыв: усилить напор отторжением былого, влачащегося по следам, отвержением тех, кто ищет, как сохранить себя обновлением. Или, наконец, к тому обретающая позыв, чтобы, изловчившись, совместить одно с другим, себя представив равным и себе прежнему, и себе нынешнему, иных же — запутавшимися и путающими остальных...

И снова соблазн, уже нас одолевающий, — отнести сии пре-

вращения на счет имярек. Оно вроде и справедливо, поскольку фактам соответствует. Однако удержимся от избирательности, и не только из-за прежних заслуг и даже не из существеннейшего соображения: легко вычеркнуть человека из списков, да и из памяти нетрудно, но легко ли заполнить опустевшее место?..

Все же есть нечто, что перекрывает и первое и второе. Это нечто — вчерашний и сегодняшний день движения, с которым наше завтра связано узами возможного и невозможного, допустимого и запрещенного. Кто тот, кому они загодя и наперечет известны? Кто знает все "сезамы", относятся ли они к трудному праву ухода (для нашего ли лексикона "ренегат", "отступник" — слова с запекшейся кровью...) и к еще более сложному праву, к еще более тяжкому долгу — критики движения, в которое вступил "не ради славы, ради жизни на Земле". И еще одно, заставляющее осмотреться по сторонам: ко времени ли они, право и долг? Когда под обстрелом, уместны ли?

Сверх того ж неизбежное, вечное: лишь задним числом узнает человек — кто прав, кто в заблудших. Да и тогда очевидно ли это?..

Так было, так будет? И нет спасения? Может, и нет — раз и навсегда. Выход же все-таки есть, каждый раз вновь, похожий на предыдущий и совсем другой, обманчивый и действительный вместе. Наш — в чем? В перебеленных прописях? В заново выученных наизусть заповедях? В повышенной беспощадности к взаимным промахам или, наоборот, в повышенной терпимости к ним же?

Открытый вопрос. Открытый — и зовущий к открытости. В открытости ищущий выход. В открытости мыслей и слов, обращенный к другим и к себе, прежде всего к себе. В прошлом сказали бы — интеллигентские штучки, гамлетизм, Достоевщина, Чеховщина... Сейчас — кто же отважится с порога отвергать это, все вроде за диалог, но если не показуха он, не игра в поддавки, то как осуществить, чтобы вошел в быт, стал жизнью?.. Тут поперек уже не запреты, тут — отторжение. Тут не одна идеология на дыбы, но характерология, нравы, манеры, стиль...

Не оттого ли, кстати, такой напряженный интерес ныне к личному — к мотивам, к побуждениям, не потому ли и жизнеописания нарасхват, и хоть сплошь и рядом это по-прежнему не больше чем ходули, с которых исторические персонажи вещают и распоряжаются, но все-таки и тут — нет-нет, а прорвется что-то подлинное, какой-то отзвук из самых глубин человеческой нормальности, а по ней и жажда — по человеческой нормальности, не погибающей даже среди ужасного и ненормального... Эту жажду испытывают сегодня и отцы и дети, но, разумеется, прежде всего дети, в том числе вчерашние дети, незаметно для себя ставшие отцами. Им, этим вчерашним детям,

как раз выпал нынешний "злой жребий" — на ходу чинить, латать порвавшуюся связь времен, но одолевает сомнение: осилить ли это им, не узнавшим все, что до... не получившим, недополучившим в наследство весь — без изъятия — опыт сработанной и переделываемой человеком истории, включая то, чего делать нельзя, если даже делать можно (допустимо, сподручно...).

Это последнее подобно книге за семью печатями, а скорее — древнему пергаменту, первоизданный текст которого выскребен либо тщательно смыт, а поверх — новые письмена. Если даже страстной и праведной рукой пишутся, то вытравленное все равно мстит за себя — мнимостью единственной правды. И даже если противостоящее также ложь, этой, что притязает на единственность, тоже от лжи не уйти: от особенной лжи авторитарного судилища, которое допускает слушателей, но исключает несогласных оппонентов... Может, тогда лучше подчистки, добродушные, аккуратные, бесстрастные, незлобивые подтирки, поправки, уточнения, разъяснения — та смесь прокурорства с адвокатурой, что вполне в наших противоестественных нравах, а нынче даже в моде, — и опять-таки (и много больше чем страсть выскребывания, чем ненависть голого устранения) не мыслит себя без благодарной... и молчаливой, загодя согласной, снизу вверх с умилением и благодарностью глядящей аудитории?! Так что же лучше или, верней, хуже? Вроде бы риторический вопрос, но вот ответ не дается. Нет золотой середины, а на ее месте призрак, кошмар исключенного третьего.

Там, где узаконена драма (приходите, вкушайте, аплодируйте в подготовленных искусной режиссурой местах), — там уместна и комедия, разрядка смехом — над другими, да в меру и над собой. Но чем заместить солидарно изгоняемую, измельчаемую, отчуждаемую вовне трагедию?

Неизменное — и злоба дня. Везде и всюду, особенно же там, где личность в ущербе, в загоне, где ощущение этого и боль от этого тем более острые, чем глубже сознается: от той, что в ущербе, — отсчет, движение к будущему и к прошлому, единственное, что, может быть, выведет из тупика, из ступора, из безвременья.

Личность самоценна (все к ней, все в ней...) — и она же "только" условие, условие всех прочих условий (не больше этого, но и не меньше...). Соединимы ли, соединимы ли в дело, делом?

Не новые вопросы, но вновь пришедшие к нам. Сдается, что ныне нет новее, как нет и неподатливей их. Неподатливость эта не с одной очевидной стороны, с той, что давит, стесняет, преследует, но и с другой, противоположной, давимой, теснимой...

Всесветная проблема: извне к нам и от нас вовне. Ничего не попишешь. Слишком многое в Мире от нас зависит. Как ни противоборствуем, как ни раскальваемся, в глаза и особенно за глаза понося друг друга, для Мира мы целое. Не-единое одно. Ответственное за себя и за всех остальных... Тоже вроде пропись, однако худо запоминается, да еще приобретает странные очертания: чем больше выпирает "личное", тем меньше места личности. А кого винить? Людей или обстоятельства? Людей, которые обстоятельства, или обстоятельства, что в людях — и поперек их?

Больнее больного: эмиграция. Наша эмиграция навсегда. "Мы" здесь и "они" там, что это: расчлененное единое или разрыв, начало разрыва "навсегда"? Снова закрытый открытый вопрос. Нелепо, дико предписывать: не трогайтесь с места. Но так же нелепо и не менее сомнительно в нравственном отношении — отлучать колеблющихся, исключать из диалога добровольных отказников. А ведь не единственный это "сюжет" из тех, что разводят в стороны, разлучают, ожесточают, обесчеловечивают. Не единственный из тех, что одним концом имеет личность, а другим — Мир, заостряя и обновляя тревогу — старую, новую: *если дома, у себя, не можем, не в силах стать сообщая личностями, то в силах ли сообщая отвечать за дом-Мир?*

Легко спрашивать это, рефлексировав, резонируя, но как прийти к ответу бездействуя? Умозрение сродни личности, но само по себе не делает личностью. А действие? И действие тоже, само по себе — тоже.

В доказательство — вся история. И наш собственный опыт, баланс наших Шестидесятых, в коем самое важное, самое ценное и самое безусловное — поступок. И самое недостаточное, самое хрупкое, самое спорное тоже поступок. А как иначе — у нас, награжденных таким наследством, какого, пожалуй, нет в нынешнем Мире ни у кого, нигде. Хотя не из наидревнейших оно, но, кажется, содержит все, что только можно выдержать, испытать, проверить собою, — все из известного людям... и ничего из того, чем можно бы жить, быть — сегодня, завтра...

Да и как иначе в нашем особом *социуме власти*, в котором всеобща отставленность от власти (в главном, коренном, отчего зависит сегодняшняя и еще больше завтрашняя жизнь), но всеохватна и причастность к власти, поскольку в каждом жизненном акте она: не только кормит, но и возвышает, открывая "возможности" не одной лишь номенклатуре должностей, но и номенклатуре "духовной", "личной", "творческой".

Определишь ли здесь, где кончается дискриминация, где начинается привилегия? Зыбко, зыбко и как будто нет ничего

посредине. Либо одно, либо другое, либо такая смесь того и другого, что запутывает пуше всего.

Примеры теснят друг друга, иной раз сдается: все, что ни возьми, — пример! Попроше либо поузорчатей. Раскрываем, к примеру, десятую книжку "Нового мира" за текущий, 1978-й, год. Проза, поэзия, публицистика — все на месте, и в своем месте "круглый стол"*. Темой же — не какое-нибудь там семейное воспитание или даже экология. Горячей, горячей! "Права человека: суть спора, суть проблемы". И состав отыскивающих эту суть как на подбор — мужи науки, служители муз. Каждый не просто философ, поэт, юрист, публицист — даже перед малюсенькой репликой обозначено звание, степень, должность, чтобы ясно было — не из случайных... Читаем, торопимся узреть и проблему и спор. То есть, разумеется, не станем на себя напралину возводить, прибегая к заезженным фельетонным приемам; конечно же, не ожидаем ни настоящего спора, ни действительного интереса к действительной проблеме. Но все же любопыствуем: удалась ли видимость, а вдруг кто-то под сурдинку и намекнул на истинное, вышел хотя бы на обочину его или просто-напросто постарался приличие соблюсти... "Я думаю, что наша беседа с точки зрения техники ее ведения будет носить характер свободного обмена мнениями". Это — Сергей Наровчатов, поэт и главный редактор "Нового мира" (мы умеем хранить традицию — был же во время оное главным редактором здесь тоже поэт). Итак, с точки зрения техники — свободный обмен! Умней не скажешь. И конечно, не обмолвка, ибо выше подчеркнута цель: *"Показать те явления в нашей жизни, которые утверждают подлинный демократизм и гуманизм советского государственного и общественного строя..."*** "Показать" "подлинный" — это прекрасно, лучше быть не может, но к чему тогда "круглый стол" и зачем тогда спор и "суть проблемы"?

Наивный вопрос. Ясно, для кого проблема и с кем спор. Но чтобы не оставалось малейших сомнений, тут же, в первых строках, разъясняется — ведущим оратором, также не из случайных: Генрих Боровик, "специальный корреспондент Правления АПН".

"Я не хочу делать какое-то ветупление, но как журналист-международник, долго живший в Америке, писавший о ней, я хочу отметить несообразность той нынешней ситуации, что *Соединенные Штаты Америки* — страна, которая вошла в историю чудовищными преступлениями против прав как отдельных людей, так и прав народов, — эта страна сейчас по различным

* См. прим. 2, с. 117

** Курсив повсюду наш: винимся, не утерпели...

политическим, пропагандистским мотивам пытается встать в позу защитника прав человека в СССР и других социалистических странах и поучать не кого-нибудь, а страну, которая первая в мире совершила социалистическую революцию, впервые проложила путь к социалистическому обществу, в котором наиболее полно выражаются и соблюдаются права отдельной личности и всего общества”.

В наш век принято считать: важно не то, что говорят вслух, а о чем умалчивают. Такой уж стыдливый век, каждому приходится озиаться по сторонам. Выходит, не каждому. Г. Боровик, к примеру, не озирается. Да и к чему? Ему незачем. И потому побочку всякие ухищрения. В лоб, прямо. У одной страны на счету (весь ее счет!) преступления — только чудовищные, у другой же — полный демократический ажур и, конечно, никаких таких преступлений!

Смеем заметить, однако, что самому товарищу Сталину этот пассаж не вполне понравился бы. Что звучит не бог весть как (которая... который), он бы, может, и простил усердия проявленного ради, да и за то, что “с точки зрения техники” — лажа, не стал бы чересчур строго взыскивать, но вот за недосмотр с содержанием... Ведь не по-марксистски звучит. Классовый подход явно нарушен. Не о “стране”, как не запомнить, надо бы — об эксплуататорских классах ее, о господствующей олигархии и плутократии. И преступления — на их счету, ибо у страны той — как-никак две революции были и лучшая из тогдашних буржуазных конституций; ее-то и упоминать, ею же и стукнуть тех самых, что ей изменили, а изменивши, естественно, лгут и клеветают... Усмотрев своевременно этот просчет ведущего, “первый заместитель главного редактора” М.Б. Козьмин напомнил о соответствующих декларациях, даже процитировал, а в критической части подкрепил себя... А.С. Пушкиным. “Не дорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится голова...” Если Александр Сергеевич недорого ценил, то нам ли с М.Б. Козьминым — переоценивать, заново кружа ихними словами собственные головы? О Пушкине молчим, за него есть кому заступиться*. А за права, за громкие и негромкие, за те самые, что синонимом “счастью”, за них — кто нынче слово замолвит?

Конечно же, Федор Михайлович Бурлацкий. Человек в Москве известный, прогрессистом сльвет, к тому ж из самых

* Впрочем, Пушкин тоже ведь — казенная собственность... Хотя почему и не прозвучать за “круглым столом” голосу поэта? Не сам, скажем, Александр Сергеевич, а — устами собрата или там правнука по Парнасу Е. М. Винокурова. Взял бы писатель, заведующий отделом поэзии “Нового мира” томик с полки и прочел бы если не все подряд “Из Пиндемонти”, то по крайней мере заключительное, итоговое, стон души и завет: как жить, — и о потребной поэту свободе.

просвещенных у нас — профессор, доктор философских наук.
Читаем:

“Колоссальная пропагандистская машина США и других капиталистических стран показала зубы, свою способность вести психологическую войну. Кампания произвела впечатление на определенные круги общественного мнения в США и в Западной Европе. Причина прежде всего в ее масштабах и ее организованности. Но дело не только в этом. Есть и другая сторона, которая заключается в том, что империалисты ловко пытаются оседлать действительно важную проблему — проблему прав человека, которая остро поставлена XX веком... Интересно, что именно в последние десятилетия она встала как проблема прав личности. А в предыдущие десятилетия — особенно в начале века — она с большой силой стояла как проблема прав народов, масс. Проблема перешла в новую плоскость, ибо это отвечает интересам общественности, настроениям прогрессивных кругов во всем мире, в том числе и коммунистической общественности. Следовательно, нам надо разграничить империалистическую пропагандистскую кампанию и проблему прав человека по существу”.

Разумно? Разумно. Чувствуется, что Федор Бурлацкий не вполне согласен с Генрихом Боровиком. В качестве профессора, само собой, нажимает на проблемы. Не то чтобы с размаху: я, мол, думаю так-то и так-то, а — надо изучить, разработать.

“Первая проблема — концепция прав человека”. Есть их, оказывается, две: “буржуазно-либеральная”, она же — “элитарная”, и другая — “демократическая, социалистическая”, защищающая “права большинства”.

Понимать нужно: буржуазной и демократической быть не может. Если и была такая, то сплыла. С этим, пожалуй, и товарищ Сталин бы согласился — сам не раз высказывался на сей счет, многое памятное на этом строил, например “социал-фашизм”*...

Странно, конечно (либо, наоборот, совсем не странно), что из поля зрения главного теоретика новомирского “круглого стола” выпала такая деталь, как вторая мировая война, в которой “элитарная концепция” обнаружила некоторые свойства,

* Писатель, член редколлегии Александр Рекемчук не удержался и заметил философу: вы-де обозначили четко две формы трактовки этих прав, но есть и нечто третье, что свойственно тотальному фашистскому режиму, также имеющему свою историю. Ф. М. Бурлацкий милостиво согласился: да, такая форма существует. Но, не сходя с места, добавил: “Что касается либерально-буржуазных прав человека, то это буржуазная концепция, которая делает акцент на свободу мнений и агитирует за свое мнение”. Очень толковое и профессиональное определение, не правда ли? А чтобы яснее было, как близки указанные формы, оратор разъяснил, что обе они — и либеральная и фашистская — имеют корни, которые уходят в Древний мир. Да здравствует наука!

позволившие не только меньшинству и даже не только большинству, а, прямо скажем, всем людям — выжить и остаться людьми. Среди памятных дат есть особая — 1940-й: год падения и год воскрешения. Не им одним, не им сразу была подведена черта фашизму, но что было бы без этого — рокового — года, без единого английского противостояния, без первых шагов Сопротивления, без человеческих "единиц", бросивших вызов тысячелетнему рейху? А на счету "элитарной концепции" еще и рузвельтовский "арсенал демократии", и Атлантическая хартия, и первозамысел Объединенных Наций... То, что не сплошная, не однородная эта "либеральная" или "правовая", "представительная" или еще иначе как именуемая демократия, то, что и ныне, возрожденная, сотрясается изнутри, сама себя вновь и вновь ставя под сомнение, — всеми наблюдаемый факт. Но значит ли это, что накануне конца она, и только силой и ловкостью умудряется снова и снова отсрочить назначенные историей сроки?

Что и говорить, длительность существования не аргумент в пользу. Добавим — в любую. И повторим еще раз за ученым мужем — *проблема*: то, на что не только нет готового ответа, но нет и готовых средств, чтобы ответить. Проблема и для политики, и для работающего мозга. Проблема, которой жизнь подбрасывает самые прихотливые pro и contra: Чили и Испания, "новая левая" и "новая правая", низвержение святых и светский апостолат, диалог Север—Юг и пароксизмы колониалистского, расистского, миродержавного чванства и зверства вперемежку с пароксизмами совсем иного зверства, истоки которого одними "анти" не выразишь, как и неотторжимость их от того "Запада", который нынешний "Юг" все чаще и все неистовей отвергает, избывает, сокрушает в себе... Такая же не-региональная, такая же всемирная проблема, как и конфликт "реального социализма" с "реальной демократией" — столь затянувшийся и столь острый, что далеко не одних антикоммунистов (действительных, а не измышленных), не их одних, а совсем из другого теста людей заставляет мучительно размышлять о совместимости и несовместности результатов социальной революции XX века с суверенностью человека: выраженной, закрепленной, охраняемой особыми правами и правом вообще. Ибо если не узаконено оно, если не стало и не сможет стать реальностью — неустранимой и необходимой каждому из всех, — то, в самом деле, много ли цены самым "громким правам" и что они тогда, врозь и даже вместе, как не вывеска, в лучшем случае — паллиатив, не больше чем начало начала, какое легко запнется и даже обернется вспять, если не найдет своего непредуказанного продолжения. От прав к праву, но и к ним от него, сегодня — от него; в Мире предкатастроф не иначе, как от него, хотя и не опробовано это, хотя и не доказано, что удастся...

Проблема? Но не для профессора Бурлацкого. Дабы не уп-

рекнули нас в предвзятости, процитируем из Федора Михайловича: "Надо серьезно разработать вопрос об этих двух концепциях и этих двух опытах, которые сложились в мире — в странах социализма и в странах капитализма". Значит, не так уж очевиден каждый опыт, если еще предстоит "серьезно разработать вопрос"? А не намек ли? Не подтекст ли? Что-то похожее, вероятно, промелькнуло и в голове самого философа-правоведа, через 15 страниц (часик спустя!) подавшего неожиданную реплику: "Я хочу поддержать формулу, прозвучавшую в выступлениях. <...> *Нашей стране не присуща "проблема прав человека": у нас есть другой вопрос, который ставит наше государство, наша партия, — постоянное развитие личности и все более широкое удовлетворение экономических, социальных и других потребностей, а также — развитие социалистической демократии. Здесь мы имеем огромные преимущества, демонстрируем действительно социалистический подход в осуществлении прав личности, — подход, основанный на *постоянном развитии, на динамизме*". Не проблема — только вопрос. Окажись она *проблемой* для Федора Михайловича, мы вряд ли увидели б его за упомянутым "круглым столом". А если увидели, то должны же понять, что не властен он — в одиночку, напролом принятым правилам игры... И должны ценить, что призвал все-таки отделить "проблему" от "пропагандистской кампании империалистов". И обязаны согласиться, что иначе, как отлучивши "элитарную концепцию", не смог бы корректно, "конструктивно" подойти ко второй — и важнейшей — проблеме в проблеме, что на академическом языке именуется соотношением "национального законодательства и международных документов"*

Тут уж не горячѣй, горячѣй, тут — жарко. У самого кратера. Отдадим и здесь должное Ф. М. Бурлацкому. Не повышает тон, не бранится с размаху. Выясняет, уточняет, разъясняет. О чем, "к примеру", шла речь в Хельсинки? О безопасности прежде всего. А она нуждается ли в доказательствах того, что сама по себе — цель, какая сейчас как раз превыше всего остального, и если *сама по себе и превыше*, то, разумеется, требует, чтобы остальное не препятствовало и в свою очередь оставалось при своем. Железный закон!

"Иными словами, эта цель касалась международных отношений. Участники Совещания не ставили перед собой целей, связанных с изменением структуры социальных институтов, правовых норм ни в одной из стран Запада или Востока. Каждому понятно, что, если бы участники Совещания ставили перед собой подобную цель, Совещание *никогда не пришло бы к успешному результату*, поскольку в нем приняли участие представители стран с различными, а во многих случаях и противоположными социальными структурами, с различными системами социальных, культурных и политических ценностей".

Опять-таки — дельно, умно... Правда, мелочь одна задевает, царапает. Уж больно категорично разводит наш профессор "ценности": вам, мол, — свои, нам — свои. Однако и статут его надо понять: в противном случае все понятия и категории перепутаются, и все философские учебники, да и собственные его и его коллег монографии, степени, звания, — они тогда тоже вроде не вполне к чему. Нет, уж если "структуры" различные и даже противоположные, то и "ценностям" быть такими же. И тогда порядок. А ежели соблюсти его, то внутри найдется и место уместным отклонениям, а уж завитушкам, и аксиологическим, и (тише, тише!) экзистенциалистским, и вовсе теологическим, не вход, так щель... Все допустимо, если вести себя смиренно, о "ценностях" толковать, но "структуры" не затрагивать и от Хельсинки подальше держаться. От этого — дальше всего. Ибо Хельсинки и философия — какая связь?

А вот с непонятливыми, что как раз в эту дверь и ломаются, настаивая по неразумию на общих ценностях, которые, мол, способны и при "различных структурах" обеспечить и укрепить взаимную безопасность, ибо (упрямствуют) без доверия теперь ни шагу, а доверие, как ни крути, без людей тоже не обрести, а люди — это права и... С этими неразумными, всю игру портящими — и диалектическую, и аксиологическую, и прочая и прочая — с ними как?

С непонятливыми профессор говорит вежливо, но твердо. Иначе нельзя — кратер...

"Можно ли вообще помыслить какую-либо унификацию национального законодательства, и в особенности *реального статуса личности*, в условиях современного, глубоко дифференцированного мира? Можно ли представить себе конвергенцию в этой области при сохранении коренной противоположности двух систем? Достаточно поставить перед собой этот вопрос, чтобы *недвусмысленно ответить: нет*".

Нет! Нет и нет!

Тут уж не рукодельные эпюлеты замерцали, тут, скорей, ПОГОНЫ... С точки зрения "техники свободного обмена" вполне подошла бы реплика: занавес!..

Но так просто, на одной такой ноте не кончишь. Ибо, как разъяснил нам выше сам Ф. М. Бурлацкий, проблема прав человека перешла "в новую плоскость" и уже "отвечает интересам общественности, настроениям прогрессивных кругов, в том числе и коммунистической общественности". Тонкая штука. Лучше всего бы, конечно, и этой общественности такое же недвусмысленное *нет* ответить, но не вышло бы в конце концов, как говорят в Одессе, что "с некем жить". Одним жить трудно, да и невыгодно. Ведь "новая плоскость" — она все же гибкая. И бумеранг, что сам по себе в обратный путь поворачивает, и "моральная сила", которой, как всякой силой, пренебрегать не стоит.

Вот как Федор Михайлович эту проблему излагает, например, применительно к Китаю: там, замечает он, в последние десятилетия "политические, социальные, экономические "эксперименты" руководства довели страну до того, что сейчас для китайца иметь горстку риса, тапочки и чтоб не хватали на улице и не вели на заклание — это уже значит иметь какие-то права".

Понимать так: если есть тапочки и прямо на улице профессор не хватают, значит, все-таки дела неплохи, и при иных соответствующих условиях (своя система и свои ценности, о "рисе" и прочем провианте умолчим) проблема прав человека вполне созрела... для кавычек, а если уж в кавычках она, то колебания прочь: у нас этой проблемы нет, поскольку быть не может.

Не может — и вся недолга!

Сказанным мы вовсе не хотим выделить как-то Ф. М. Бурлацкого, выставить его каким-то обскурантом, каким-то поборником палки и кнута, выглядящим неприглядно на общем приличном фоне. Упаси боже. Чтобы не было сомнения, призовем читателя: не пожалей времени, обозри вниманием весь "круглый стол", не обойдя ни одного из его участников. Если же читатель запротестует, скажет: сыт подобным по горло, — то предложим ему как программу-минимум тоже профессора и тоже доктора, но только юридических наук — С. Л. Зивса.

Читайте Зивса! Читайте Зивса!*

Призываем, а думаем: не скажет ли после этого читатель — а ведь не так уж и плох Федор Михайлович. Конечно же, неувязок много, но у кого их нет, а все-таки куда респектабельней... Не торопись, читатель. Неувязки, разумеется, не лыко, что в строку. Напротив, неувязками-то наш профессор более всего и богат и более всего логичен. Ибо с неукротимой силой влечется ими к своему заключительному слову... В котором он — сам, и уже не просто отбывающий служебную повинность казенный профессор. Нет, тут и о мировоззрении задумаешься, и о характерологии — так сказать, в надличностном разрезе. И совсем понятно станет, что иным ему не быть. Сродни той проблеме, о которой сказано: нашей стране она не присуща; только наоборот: она не присуща, а он присущ. Он-то и присущ.

Опять-таки догадаться можно, что в этом его положении далеко не всякого ближнего возлюбишь. Напротив, как раз и не возлюбишь много из тех, кто все эти ценности и права (в кавычках, в кавычках, конечно) норовит сразу — в жизнь, нахрапом, минуя профессорский анализ и "дальнейшую разработку" — в местах, для того устроенных и под руководством людей для того и выученных, потому и должностями соответствующими наделенных, а соответственно должности и умом специальным,

* См. прим. 3, с. 117.

по рангу... Те же, что без этого ума, и впрямь безумцы, а если кто-то где-то их на щит подымает, то, конечно, не без своего (тоже рангового) умысла. Тут уж как раз пропагандистская кампания "империалистов", против которой "все, кроме..."

Ответ ясен. Ответ не нужен. И тем не менее приведем его изумительным жалобным дуэтом профессора и "специального корреспондента Правления".

"Ф. М. Бурлацкий:

Недавно в беседе со мной советолог из США профессор Хафт сам говорил с возмущением в адрес американской печати: средний американец знает в лучшем случае два-три имени советских политических и государственных деятелей, но он знает не менее десяти-пятнадцати имен "диссидентов". Вот результат буржуазной пропаганды.

Г. А. Боровик:

Я спросил как-то Боба Кайзера (бывший корреспондент газеты "Вашингтон пост" в Москве), как часто он дает корреспонденции в американские газеты. Он ответил, что это зависит от Сахарова".

Вначале показалось нам, что Федор Бурлацкий в несогласии с Генрихом Боровиком. Берем слова обратно. Согласные они. Спаянные неприязнью — и не к идеям даже, не к определенным мыслям и к мыслям вообще. К людям. К человеку. Слитые воедино тем, что, пока они такие, публичный диалог у нас — химера, взаимопонимание не то чтобы даже недоступная вещь, нет, оно без выгоды и потому против выгоды: покушение на привилегии, на особый "интеллигентский" приварок, на комфорт амбивалентности, на всеобщие правила игры...

Но — игры-то во что? В быт или в жизнь? Существеннейший вопрос. Кажется, существенней нет. Сегодня нет.

И впрямь — не раздирать же на себе одежды, не выть же, как несчастный Лир: **все мы поддельные!** "Долой, долой все лишнее!" Такое красиво на сцене и в салонном обиходе, но у нас, нынешних, здесь — что, собственно, лишнее, если всерьез, если из самого нужного, без чего и в мороз, да и в жару, — никак?! Хлеб насущный? И он, конечно, к тому ж и он не без эволюции: и в смысле ассортимента, и в отношении дефицита, то есть именно в насущном смысле. Где тут проведешь грань — это необходимое, а это излишество? Была такая попытка: рецидивом коммунистической ностальгии в смеси с коммунистическим держимордством, а результат каков? Еще сильнее и норовистей рванулись к насущному, правда, уже не совокупно, а врозь, и, смотришь, все иерархии опрокинулись в него, в насущный, деля и передуляя его, насущный... Делений все больше, а грань? Грань-то совсем неуловимой стала.

Может, к примеру, загранка — излишество, так ведь нет, окно и в Европу, и в Азию, и в Африку, вплоть до китов и пинг-

винов, то есть необходимейшее, чтоб узнать (собственноглазно), да и прикоснуться. А что требует оплаты... смирением, поднятием голосующих рук, казенными ответами казенным комиссиям, при случае же — и письмом в "Литературку" (не так, мол, меня там поняли) либо интервью каким-нибудь, либо еще чем, вроде четкого автоматизма отключения, когда кого-то рядом, из своих же, не пускают, — и это не из ряда вон, в последний момент веля распаковывать чемодан... Во-первых, с каждым может случиться, и потому все (или почти все) наперед этим равны, во-вторых же, окупается: и опять-таки возможностью описать случившееся, донести до всех или "почти" всех, то есть тех, кто возрос на подтекстах, на прославленных аллюзиях, вскормлен ими в розовые Шестидесятые, — и это уже для нас как рыбий жир, какой, если даже не из рыбы, а просто химия, то все равно — витамин, без него никак... Так и это побоку, и ради чего? Чтоб заявить (где? кому? как?): не желаем-де привилегий, которыми дискриминации держатся, или снова "Из Пиндемонти" ("По прихоти своей скитаться здесь и там... — Вот счастье! вот права...") — так это, простите, непрактично и старомодно, "высокий штиль", какой действительно нынче излишество. Оно-то, а не та же загранка (в самом что ни на есть широком "смысле" — от депутатий общественного мнения до круиза для доверием пользующихся) — не конформизм, а реализм, и если даже кто постепеновщиной назовет, то что ж — примем не за оскорбление, да и в оскорблениях кто: доморощенные хиппи, акселераты-Митрофанушки, с запозданием, какое в нашем отечестве водится, копирующие "их" недоброй памяти "новую левую"...

Ирония эта — в чей адрес? Легче, кажется, сказать — к кому не относится, да и тут заплнешься; ведь вся история — до горизонта — вопиет: на поравнении скудостью счастье и свободу не воздвигнешь. Революционер Герцен, и тот амнистировал псковский оброк, кормивший независимое вдохновение Пушкина, автор же куда более выдержанный, чем все-таки помещик Герцен, говаривал: без античного рабства не было б и современного социализма. Так это в XIX-м произносилось, когда дух, мысль, слово могли прожить малым: не континентом, а так — островом в человеческом океане. Теперь подвинуться ли к развитию, сделать ли шаг — "вперед и выше" без инвестиций в серое вещество? Вложений и в инструментарий его, и в престиж, непременно и даже прежде другого в престиж. Браниться же престижем — детский лепет, как и "долой, долой с себя все лишнее", ибо престиж — это, другими словами, причастность к распоряжению ресурсами, без которых и вложений в указанный инструментарий не осуществить (даже в минимально нужном размере). А не будет этого размера, страдающей стороной окажутся в последнем счете все-таки не власть имущие, а те же "простые" люди — современные потребители производимого... Обратная связь! А

ежели еще взять в расчет все, что сверх "горсточки рису и тапочек" и действительно на улице не валяется: возможность писать не в стол и изображать не одни только начальственные физиономии, да и просто существовать, не оглядываясь по сторонам — не мой ли черед пришел, — то стоит еще прикинуть, чему отдать предпочтение: нынешним каким ни на есть инвестициям в мозги либо... "диссидентской растрате" того, что, как ни фырчи, а отличает наши Семидесятые и от фонтанирующих энтузиазмом и могилами памятных 1930-х, и от того, что вслед им все в похоронках и победных салютах... И если от "оттепельных" лет отличаются нынешние, то ведь и от "волонтаристских" также, от хрущевского начала, но и от хрущевского финала, когда чуть-чуть не загремели оптом на тот свет, да и свежих могил прибавилось.

Оглянешься и подумаешь: а может, все-таки не Лир, корольниций, без власти и семьи, указка нам и "Из Пиндемонти" все-таки не программа для нас нынешних?

Тогда...

Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Новомирский "круглый стол" невольно напомнил нам "*казус Медведева*". Конечно, за тем столом ему не нашлось бы места. Там прогресс четко кончается на страже прогресса Бурлацком. И само собой, Рой А. Медведев не сказал бы о правах человека: не наша, мол, проблема. Ну, а если не в лоб, а окольной, мягче: не проблема-де, про которую не знаешь, как решить, с какого боку взяться за нее (и есть ли у нас сейчас этот бок), не проблема, а лишь вопрос: деловой, "конструктивный", — и достаточно поднять очи горе, чтобы узреть его в этих его реальных пределах. Так ежели такой вопрос, то...

Полагаем, что и в этом случае Р. А. Медведев воздержался бы от чрезмерного оптимизма. От чересчур благонамеренного, чтобы не сказать липового ответа, полагаем, отказался бы, а от ответа? Как можно на такое не ответить либо отсрочивать ответ до неких лучших времен? И не только потому нельзя ни отклонять, ни откладывать, что собственный путь ("вместе с братом") напомнил бы о весьма прихотливых формах, в которых названный вопрос ставит "наше государство, наша партия". Но вероятно, не только поэтому и даже раньше всего не поэтому. Ведь это только так кажется, что человек держит в памяти себя прежнего. На самом же деле вспоминаем мы себя как бы со стороны, и, хотя эта сторона в нашем же телесном обличье (с отметками времени на нем), это все-таки сторона, и очень существенно — какая именно? Другой ли это человек, верный себе тем, что не похож на себя прежнего, или "вчерашний человек", подгоняющий под себя нынешнее и соответственно от себя отсекающий стороннее, извне пришедшее, тем паче что не всегда то, что внове, лучше прежнего, бывает, что хуже — и там даже, где заявля-

ет себя самым авангардным, впереди всего и всех. А если действительно впереди, разве проистекает отсюда обязанность следовать ему? Авангард ведь оттого и авангард, что не все. Пока, до определенной отметки? Урок истории: задержавшийся авангард тоже напасть, притом из самых коварных и чреватых. Как раз принуждением к всеобщности, этим "благородным" насилием и чревата. Тропа вверх — и в ловушке...

Горькая участь оказаться старовером, да к тому же когда ты еще полон энергии и можешь совершить нечто и чувствуешь себя призванным к этому. А если еще сыр-бор как раз из-за тех самых средств, какими бы можно, можно... ежели бы не спешить, не перескакивать, не пугать самих себя, то вытянуться ли из этой путаницы иначе, как держась если не достижимого сейчас, то по меньшей мере оправданного завтрашней достижимостью?.. Смотришь, и вернулась исподтишка старая, как свет, коллизия, памятная российская распря. Кто ныне вне ее? Кто у нас — вне? Те ли, кто примирился с "разделением труда": между одиночками, мужественно отстаивающими чужие и собственные права (а по необходимости, по роковой необходимости все чаще только собственные), и остальными — разделяющими и понимающими... однако не вслух, а в подушку? Или в запутавшихся — сами одиночки, для кого ненормальность их положения становится — с годами! — бытом, а неприметно и нормой, ненормальной нормой?..

Может, заблудились все мы, раздвоенные между отошавшими "да" и великими "нет", великими вчера, а сегодня все более бессильными изжить собою безвременье? Лиха беда начало. Но как раз начало и не дается. И даже не начало, а начало начала. Пролог пролога. Оттого ли, что не способны договориться между собой: с чего начать, чтобы не сорваться разом в катастрофу, в кровавую нелокализуемую перетасовку? Или оттого, что не знаем, где и как договариваться, и не в силах признать, что само незнание это — "предмет". Предмет мысли и предмет действия. Особого действия — открытым словом. Открытым друг другу, ибо что иное — диалог?

А оно — открытое — не фантазия, а он — диалог — не утопия ли? Может, и утопия. Но тогда нет ничего сегодня реальнее этой утопии, как нет условия, какое было бы действительной, спасительной... Потому не просто подсобить диалогом, а именно: действовать! Им прокладывая дорогу к неизвестному: куда идти? А чтобы продолжить ее, сначала признать — неизвестна.

Вот она — станция назначения. Из самых ближних, но без нее и до дальних не добраться. Правда, сейчас кто помышляет о дальних? И не потому, что не до жиру... Былая очередность порушена, а чтобы к новой пробиться, нужно барьер из прежних "целей" убрать. Не то чтобы принудить друг друга к отказу — от них, от себя, а чтобы по доброй воле за преграду к совмест-

ности не считать. Набраться мужества, дабы признать общим владением — Неизвестность. За точку отсчета приняв, от нее и двигаться...

Трудно? Еще бы. Поперек этого едва ли не все у нас. И если б только неунижающееся держимордство. Так и нутро вопиет. "Кто не с нами..." От этого отрешились? Очистились? Не похоже. Да и как иначе: годы, жизнь. Одним махом к терпимости не добраться. А ведь о большем речь. О большем, чем та самая "лояльность", от недостачи которой (у одного, что наверху), считается, весь наш кровавый сыр-бор загорелся.

Большее — выбор. Свобода выбора... Жажда выбора. И табу на то, что этому препятствует: вне нас и внутри. И внутри!.. Рядом, вместе: открытость диалога — и "то, что делать нельзя, даже если делать можно". (Непривычное "можно", в котором отвердело самое разное прошлое, а "нельзя" — напротив — прообраз будущего, преддверие его...)

То и другое — высота, с которой виднее Мир и благодаря которой Миру виднее мы: наше явное и наше подспудное, наши тревоги и наши беды, а также от нас идущие, в нас заключенные опасности и надежды. То и другое — всесветный полигон, на котором проверяются ныне идеи и люди, и не просто в том смысле, каковы они на вкус и на цвет ("лагери", "направления"), но в том прежде всего, представлен ли ими вчерашний или завтрашний день. И вчерашний-то не в дурном, очевидно отрицательном свете, а, напротив, овеянный воспоминанием о хорошем, о честном, и не в последнем счете — о наших молодых, тогда еще все-таки молодых Шестидесятых, с их нетерпеливым порывом, с их рывком вперед под стягом "назад", с их апелляцией к реформаторам по должности и званию (кому ж и начинать, как не им, кем и начинать, как не ими?!).

Старое и вовсе новое поприще — Выбор. Старое и вовсе новое испытание: на противодействие вчерашним иллюзиям и им же вывернутым наизнанку в горячный клич — круши!.. Испытание на стойкость к соблазнам — самым разным, от соблазна прямизны до соблазна удержаться на поприще за счет... и даже не за счет "чего-то": взглядов, проектов, — а всего-навсего за счет "кого-то", и как всякий "кто-то" небезгрешен, не свободен от того, чем можно даже не очернить его — сплошь, а лишь походя, слегка, подретуширивать черным. И вроде бы в интересах дела, ради и во имя публичного, общественного да и прямо-таки демократического дела, которое всегда было, как ни верти, в окрестностях политики, а сегодня неотторжимо от нее, — и по необходимости, по нужде должно держаться ее же правил, ее же нравов.

Ах, если бы только по нужде... Но если и по нужде, то допустимо ли? Ныне — допустимо ли? С самой что ни на есть практической точки зрения, имея в виду злобу дня и самое злое, тревож-

но-всеобщее в этой злобе,— допустимо ли? И, даже озабочиваясь сохранением указанного поприща и соглашаясь заранее действовать "ради и во имя" завтрашнего реформатора (чтобы пришел, чтобы смог, чтобы преуспел...),— допустимо ли? Практично ли? Вперед ли уведет или, наоборот, неприметно назад — и уже не во вчерашний день, а в позавчерашний, когда не только страх, не сам по себе страх управлял человеческими поступками, а еще и **безвыходность от без-выборности**? Вот почему решился я, начав с эпизода у инакомыслящих, ввести в сюжет и новомирский "круглый стол", сказав себе: а ведь и это мы. Ибо все — **мы, кто в нашем доме.**

И как же иначе, когда другого дома нет?

Но сверлит мозг — сомнением, болью: жить ли нам одним домом, даже если жить в одном доме?

От редакции "Поисков". Машинописный текст статьи М. Я. Гефтера вместе с рукописью последних ее разделов изъят при обыске в редакции 25 января 1979 года.

Вместо послесловия, но не на месте его

Для автора исчезновение работы, да еще со значительной частью рукописи, конечно же, беда. В широком, так сказать, историческом смысле — привычная, но, когда этаким образом подводится черта под только обдуманной и выношенной тобою, под тем, что торопился сообщить читателю не без надежды получить отклики от него, то привычность эта не утешает. Напротив, она сама заостряется в качестве темы, созвучной той, о которой писал. По сути, та же тема и "оборвалась" на том самом месте.

Жить ли нам одним домом, даже если жить в одном доме?

Сначала приходит в голову умозрительное: образ первого читателя — по долгу службы. Кто он? Моего ли возраста либо, вероятнее, ближе к возрасту моих сыновей?.. Обыкновенный человек, у которого, вероятно, и неказенные интересы есть, какие-нибудь хобби, сходные с теми, что и у других людей, от которых это инкогнито отличается не больше чем специальными погонями и особой "корочкой".

Только этим? Язык не поворачивается сказать: да. За утвердительным ответом ощущаешь этакое... "спасибочко" (все-таки лишь рукопись увезли, не самого тебя...) — и потому наперерез другой, противоположный ход мысли, уже не о нем, о том "читателе", а о себе и о себе подобных: как держаться, чтоб не потерять лицо, чтоб не уйти от заявленной программы? И чтобы просто-напросто — не осрамиться. Знаешь — про себя — вопрос риторический, знаешь и взвешиваешь: какова степень перемен, тех, что снаружи человека и в нем самом; какие сильнее, необратимее?

Вся суть-то в последнем. Кажется, и не пересчитать аргументов в пользу необратимости. Аргументы: факты, имена. Женщины и мужчины. Молодые и старые. Знаменитые и пока еще нет. Честолюбивые и скромные. *Разные* — и это также на пользу, это тоже достоинство, тоже завоевание. Как и многоязычие, интернационализм, взаимовыручка внутри демократического движения и сменившего его, более тесного и вместе с тем более глубокого правозащитного.

Собственный скромный опыт общения подсказывает: версия об иссякании диссидентства, о вырождении его — в лучшем случае аберрация, в худшем же и говорить не станем... Если и обмелело прежнее общее русло инакомыслия, то обводнились *русла* (включая незаметные, подпочвенные течения), где рядом с одиночным протестом — разлитая тревога, многоликая обеспокоенность, переходящая от частного к общему; где упорство в защите собственного человеческого достоинства отражает более глубокую, ищущую выход и прорывающуюся то там, то здесь потребность *стать собою*, потребность, которой все труднее ужитья с любым диктатом.

Пик отчуждения от лжи, от суесловия? Пожалуй, даже не отчуждения — оно и в Шестидесятые выявляло себя — и ярко, и энергично. Сейчас же, скорее, иное привлекает и вселяет надежду: заново растущий интерес к прошлому, ближнему-дальнему, ко всему, что содержит память, позволяя вступающим в жизнь поколениям разобраться в *наследстве*, вновь ощутив себя *наследниками*. И потому не только жутко им, но тесно в этой кипящей протоке: между "славься, славься" и анафемой. К большой воде тянет...

А если добавить к этому превеликое множество разрозненных и влекущихся друг к другу приватных "культурнических" инициатив и начал, порою наивных, порою даже раздражающих своим желанием во что бы то ни стало быть "навыворот", но несущих в себе стремление изнутри преодолеть блокаду — официальных ограничений и казенщины всякой, вообще... А если взять в расчет еще и совсем необъятное, "экзотическое" (и традиционное): геометрическую прогрессию лишних людей, всех этих садовников, истопников, плотников, сплавщиков леса, разнорабочих и т.д. и т.п. — с университетскими значками, а ныне даже и с кандидатскими дипломами; а взяв в расчет — удержаться и от снисходительной усмешки ("перебесятся"), и от поверхностной аналогии с былым, ибо все же о большем свидетельствуют эти факты, чем о сказочной повторяемости русского цикла.

Всматриваешься, стараясь уловить новое в прежнем, и, поражаясь даже календарным совпадениям, задумываешься о природе различия... Больше ли в том, что ныне, бегства от постылого, меньше ли либо вовсе нет ничего подобного столетней давности "хождению в народ"?!

Или с совсем иной стороны надо взглянуть на теперешний феномен, не его один включая в поле зрения, и тогда — потребность эта — стать и остаться собой, и тогда эта тяга — переменить жизнь как таковую, оказываются сегодня (и едва ли не больше, чем когда-то, и едва ли не больше, чем сегодня же, но в "других местах") сродни самой сути проблем, неотступно стоящих перед нами: много ближе к тому великому неизвестному, какое можно в равной мере называть *целью, смыслом, путем* (куда идти? с кем и за чем?), ощущая слабость, безжизненность каждой из привычных дефиниций. Ближе, чем многое из того, что заявляет о себе, что изысканней, — ближе и в большем согласии с мудростью, классической без кавычек...

Так как же просчитать, измерить, обмыслить это разное? Даже надзирающим и пресекающим не под силу сосчитать и измерить. А пресекаемым — как? Посчитать немислимо. А обдумать?

... Это наше *завтра. Завтра*, которое может и не наступить.

Понимаю, что сказанное звучит чересчур "красиво" либо вовсе мрачно. Надо бы поделикатней, с оговоркой, что одна из "тенденций", может, и есть такая, но есть-де -и другие, совсем противоположные. С одной стороны... с другой стороны... Не получается. В силу многих причин, объединяемых ощущением порога, неотвязным и все нарастающим ощущением: мы — на пороге; и "неизвестное", что не уходит из дум и строк, — оно там — за н и м... Причин много, а удельный их вес сугубо неодинаков и переменчив, как неоднозначен и "механизм" их сцепления, слипания. Бьют в глаза житейские неурядицы и недостатки, затрагивающие сегодня почти каждую семью. Существенное, правда, и все более существенное "почти", но в нем ли одном закавыка? Бьют в глаза и иные приметы, относящиеся к сфере **высокой и далекой политики**. Ни для кого не тайна, что сфера эта герметически закрыта для "посторонних", имя коим — страна, Россия, СССР: наш мир в Мире. Но так ли ясно, что сама по себе закрытость эта — источник неудач и провалов, способных нанести ущерб уже не только нынешним, но и следующим за нами поколениям?

Так ли ясно или все менее ясно, поскольку эта "высокая и далекая" не от нас одних в Мире зависит и поскольку те, другие, сегодня вроде почти друзья, а завтра почти враги (а некоторые же и без всякого "почти"), — как с этим не посчитаться? А посчитавшись, как не убедить себя, что и закрытость "высокой и далекой" оправдана, и даже если не оправдана, то время ли теперь — открывать?! И, даже решив, что время, быть может, с этого-то и начать (тем самым обретая шанс справиться и с нашими домашними недостатками и неурядицами), все равно прикидываешь: ведь и для неотложного нужно время, ибо тихо-спокойно, без страстей и без схваток не произойдет, в один день

не завершится; и даже в этом наилучшем и весьма проблематичном случае ("поднятием рук") неизбежна пауза, особенная, как раз способная подстрекнуть тех, кто вне...

Страшно начинать. Страшно тронуться с места. И только ли чужим голосом, тебе в лицо: сначала почву надо иметь для "завтра" — а где у нас иная, кроме той, что создана нашей историей и неотрывна от нашего же могущества: почва — великая держава?!

Голос и голоса — разные. То шепотом молящегося, а то срываясь на грязную филологию алкаша. То голосом Ивана Денисовича, державшегося правды-справедливости в наименее справедливейших условиях, а то голосом его шукшинского двойника-однолетки, сытой близостью к власти утвердившегося в незыблемости права и правила: палить чужими руками во всякую человеческую тень...

Это — по памяти, из конфискованной рукописи, что теперь доводится читать тому, кто, вероятно, также имеет что сказать, и, поскольку не "лишний" он человек, а из самых нужных... естественно, к чему будут клониться его суждения. Да хотя бы — к "осторожности", к "ответственности". К тому, чтобы преждевременностью не сгубить почву-державу. Вот мы с ним и обсудим... Не новомирский "круглый стол", и вообще не круглый — один с одной стороны, другой — с другой, а все же — читатель с автором. Обсудим поспорим, и — ничего не напишешь, — всего вероятней, разойдемся. На "неизвестном", может, и не столкнемся круто, туманная материя, а вот на статус-кво, на равновесии, на условиях некатастрофических перемен, на принципе "радикальной умеренности" и т.д. и т.п. — на этом, пожалуй, и разойдемся, равно принимая за тему, за сюжет из серьезнейших, но расходясь в понимании его, пуще всего же в способе добиться этого самого взаимопонимания.

...Очень бы я упростил себе задачу, заявив: ничего такого, разумеется, не будет. За противную сторону не скажу, а сам в дискуссию за тем столом вступать не стану. Это даже не декларация, смешно декларировать то, что давно уже стало нормой, правда, у "лишних", но не грех даже на старости чему-то поучиться у них. И таким манером отучиться раз навсегда — капитулировать, априори соглашаясь с чьим-то "правом" врваться в жизнь, распоряжаться мыслями и судьбой, играть человеческими слабостями (да, и этим также, и не в последней степени также).

И тем не менее — упрощения хочется избежать. Не того стола вроде касается, где один с одной стороны, а другой — с другой, и не новомирского "круглого", но — отчасти и их, а более всего — тех столов, что дома: круглых и некруглых, чайных и письменных. За ними кто — "лишние" или нужные? А если не те и не другие, кто же они? Сегодня — кто? Именно сегодня, по-

сколько от этого в немалой и даже решающей мере зависит: будет ли завтра.

...Те же сто лет назад было в ходу изречение — теперь сказали бы амбивалентное, поскольку имело две будто исключающие версии. Первая: "Мало постоять за убеждения, надо еще за них посидеть". Вторая же: "Мало посидеть за убеждения, надо еще за них постоять". Афоризм этот, как сон в руку. Правда, современность вряд ли остановит свой выбор на первой редакции. И не только потому, что тень ГУЛАГа неотступна от совести каждого, у кого есть совесть. Не потому только, что обесценение множества прежних ценностей остереглось коснуться главной — *ценности человеческой жизни*; напротив, к концу XX-го, в преддверии XXI-го все требует: больше ни одной досрочно прерванной, скомканной, опустошенной жизни — *ни одной и нигде!*

И все-таки не только поэтому отклоняем первую версию. Есть еще причина — из самых важных. Мы живем в Мире, где удивительным, ни на что прошлое не похожим образом соседствуют рациональность с абсурдом, прогноз с внезапностью, внезапность с бесповоротностью. Одно это придало новые очертания и новый смысл *политике*, обязывая ее ввести себя в границы, поддающиеся контролю, воздействию человека и человечности. Не оттого ли так возросли требования к политике и к политикам и не оттого ли так остро и гневно реагирует современный человек на грязь и глупость в политике, на себялюбие и ограничение политиков? Однако и те — люди, и от того, какие они люди в самом прямом, самом обычном смысле слова, с каждым днем зависит все большее, даже — парадоксально — великое...

Наивно искать выход из этой квадратуры круга в питомниках для высоколобых, в лабораторной селекции руководителей, вообще искать один-единственный выход, единый-универсальный рецепт. Универсальна проблема. Универсальна ответственность. Вот почему также мы отклоняем первую версию старинного уже изречения. Ибо даже наш нынешний, полусвернутый, в численно малых (кто безразличный, бессовестный скажет — ничтожных!) размерах ГУЛАГ развращает как власть, так и всех, причастных к ней людей. А кто у нас непричастен к ней — прямо ли, окольно? Все — сверху донизу. Нет, сегодня не только нелепо и позорно ждать, когда раздастся стук и в твою дверь. Теперь "сокращенный" и будто только потенциальный ГУЛАГ опасен непосредственно. Он уже — у всех дома. У нас всех, не-лишних и не-нужных. За каждым круглым и некруглым, чайным и письменным столом — он.

Можем ли жить одним домом, если даже будем жить в одном доме?

"Если" — условность. В одном доме и будем. Таков диктат

истории и ракет. Но ими же, историей и ракетами, определяется поле выбора. Чтобы жить — стать одним домом. Вход же в этот дом, сегодня забитый вход, — открытое слово. Спор равных. Диалог.

Он — как право и возможность. И даже больше чем возможность. Невозможность иначе познать самих себя: кто мы, взятые в целом, кто мы как искомое целое?

Невозможность иначе преодолеть взаимное непонимание, взаимоотчужденность, растущую во взаимную ненависть и вражду.

Невозможность иначе увидеть собственную и общую беспомощность, без чего не сделать и шагу к ее преодолению, — преодолению самой опасной из всех наших нынешних всеобщих угроз.

За это убеждение и постоять...

26 января 1979

Примечание 1

Данную статью следует воспринимать в контексте полемики среди диссидентов, затрагивавшей как смысл их деятельности, так и ее нравственную сторону. Началом послужила "Молчаливая уния" П. Абовина-Егидеса, который опубликовал ее в самиздатских "Поисках" (ноябрь 1978 года, №1—2) с подзаголовком "Открытое письмо Рою Медведеву". Под молчаливой унией автор понимал эволюцию взглядов и поступков Р. Медведева. "Суть Вашей тактики <...>: поскольку сейчас реакция наступает, поскольку взят курс на истребление диссидентства, нужна сугубая осторожность <...>. В этом пока ничего предосудительного нет: умная предусмотрительность, и только. Но практически Вы идете гораздо дальше: от призыва "не давать легкомысленных поводов" к предложению вообще "не давать поводов" — а это, по существу, является призывом отказаться от борьбы, тем более что, как Вы хорошо знаете, изобрести "поводы" у нас умеют". Критика позиции Р. Медведева сопровождалась в "Открытом письме" осуждением выпадов Р. Медведева в адрес А. Д. Сахарова ("окружил себя экстремистами", "изолировал себя от академической интеллигенции"), а также аналогичных обвинений, адресованных П. Г. Григоренко (и тогда именно, "когда он сидел даже не в тюрьме, а в психиатрике"). На статью П. Егидеса Рой Медведев ответил своим "Открытым письмом", адресовав его Р. Б. Лерт. В этом произведении, распространявшемся "в различных, существенно отличающихся друг от друга вариантах, — отмечала редакция "Поисков", (№ 3, ноябрь, 1978 года), — обойдены молчанием все <...> принципиальные вопросы — и спор свелся к личным выпадам. Еще существеннее то, что свое письмо Р. А. Медведев использовал как повод, чтобы включиться <...> в клеветническую кампанию по дискредитации недавно осужденных членов Хельсинкской группы и всего правозащитного движения в целом". Более всего возмутило, при том самых разных людей то, что недостоверные обвинения предъявлялись Р. Медведевым людям, которые не могли ему ответить, будучи запертыми в лагерь. В защиту их выступила Хельсинкская группа (документ № 62), к которой присоединились "Поиски", личные заявления в этом же духе сделали Р. Б. Лерт, Е. А. Гнедин и др.

Примечание 2

"Новый мир", 1978, № 10, с. 185–216. Права человека: суть спора, суть проблемы. Новая Конституция СССР. Современный мир. Социалистический гуманизм и развитие личности. Правда и ложь о правах человека – темы бесед за "круглым столом" "Нового мира".

Примечание 3

С. Л. Зивс: "...обратимся... к тем материалам, которые были выпущены на орбиту информации в дни проведения в ноябре–декабре прошлого года в Венеции скандального "биеннале несогласия". Разве не чистойшей акцией дезинформации, рассчитанной на элементарную неосведомленность публики, являются попытки организаторов биеннале преподнести в качестве виднейших представителей современной русской поэзии Иосифа Бродского и недавно умершего Галича? Надо, наверное, рассчитывать на абсолютную неосведомленность публики, если осмеливаешься (наподобие итальянского критика Сандро Скабелло) назвать этих двух отщепенцев "идолами советской молодежи". А попытки изобразить как зеркало современной русской литературы "Континент" – этот орган эмигрантов-ласквильянтов, издаваемый на деньги небезызвестного короля желтой прессы Акселя Шпрингера!..

<...> И в этой связи я думаю еще об одном явлении. Кампания "о нарушении прав человека в странах Востока" стала новой объединительной платформой для разношерстного антисоветского сброда. Люди, которые раньше выступали с воинственно махровых антикоммунистических позиций, сейчас рядятся в тогу защитников прав человека в СССР. Среди них и отвергнутый верующими в западных областях Украины униатский кардинал Слипый (нашедший убежище на задворках Ватикана), и обитающие в Мюнхене недобитые бандеровцы, и издатель опусов Андрея Сахарова Е. Янкелевич. Все они избрали модную ныне роль – поборников прав человека в СССР.

К этому хору свой голос охотно присоединяют и наши доморощенные "диссиденты". Эта кучка людей, игнорирующих общественное мнение по вопросам права и морали, законности и демократии, готовых с легкостью переступить через черту дозволенного нашим обществом, претендует на лавры "правопоборников".

Но здесь мы сталкиваемся с поистине парадоксальным явлением. Советская политическая система развивается в плане дальнейшего расширения всего комплекса прав гражданина, дальнейшего развития системы их материальных и правовых гарантий. Этот закономерный процесс нашел свое блистательное отражение в новой Конституции СССР. Таково магистральное направление решения проблемы прав человека в реальной действительности социалистического общества. Помогают ли те, которых органы буржуазной информации рекламируют как истинных правопоборников, в решении конкретных вопросов дальнейшего укрепления советской законности? Нет, никак нет, понятно, что нет. Из тупики истории, куда их загнали самовлюбленность и претензия на популярность (хотя бы заморскую), они не видят и не знают действительности. Постоянная забота Советского государства о дальнейшем укреплении правового статуса советского гражданина их не интересует и не волнует. Так же как правдивая информация об этом не интересует и организаторов кампании о мнимом нарушении прав человека в СССР. Нет, подобная информация им не нужна. Она для них попросту опасна..." (с. 200).

Тексту, который ниже, исполнилось больше десяти лет. Нужен ли он сегодня кому-либо, кроме автора? Это всегда щепетильный вопрос. Желаемое "да" теснится многими "нет", среди которых самые необидные — движение времени, обилие перемен, отодвигающих даже сравнительно недавние события за кулисы памяти, чтобы одновременно извлечь оттуда на сценическую площадку ожившие призраки, тени былого. Современная ностальгия по прошлому особенно склонна к таким перемещениям, и эта склонность нередко и все чаще, по умыслу и без него, подменяется выборочным возвратом назад — со своими полускрытыми табу и скоропалительными прозрениями, которые только по видимости сближают читающих (и смотрящих) с той "незнакомой землей", где обитали их предки. Как бы не угодить в эту избирательную память.

Но как раз внутреннее отталкивание от нее, от ее выборочности, разорванности и раздерганности, и явилось тем решающим мотивом, который побудил меня вернуться к написанному некогда в горячке чувств и мыслей, обгонявших друг друга и оттого придающих этому тексту вид довольно загадочный ныне даже для меня самого. То ли это бесконечный, с прерывами, ночной монолог, то ли односторонний разговор с другими, притом сугубо разными другими, с какими хотелось не только и даже не столько спорить, сколько объяснить, невзирая на то, что у иных из этих разных, вероятно, не было (да и нет) встречного желания. **Откровенность без расчета на откровенность** — это в детском возрасте, разумеется, странно. А так как эта странность наверняка затруднит читателя, то я хотел бы ему вкратце рассказать, при каких обстоятельствах моей и общей нашей жизни родились эти разросшиеся заметки на полях давнишней и по теперешним меркам незначительной схватки.

Надо бы изложить все по порядку, но что-то мешает сейчас это сделать. Тут и тоска, и память об уже ушедших, и еще нечто, вызывающее образ детских лет: жюльверновскую бутылку в море, обросшую тиной и ракушками, просолоневшую от дальних странствий. Что там, в этой бутылке? Весть о пропавшем? Последние слова гибнущего, кому, вероятней всего, уже нельзя, уже поздно помочь?.. Однако то, что именуют совестью, а, может, также и страсть вмешаться в неумолимое, оспорив его, подталкивают: спешите на выручку, скорей, скорей!

Моя бутылка совсем не вековой давности, но вода времени, просочившаяся внутрь, уже порядком попортила текст. И оттого читается он отдельными фразами, словами, междометиями. Догадываешься, что речь идет о "дискуссии", мелькает таинственное ЦДЛ, и даже дата сохранилась, наводящая на хорошие ассоциации. Одно за другим возникают: "Объединение критиков и литературоведов", "Классика и мы", "Председатель – Е. Сидоров", "Вступительное слово – П. Палиевский", а сверху: "21 декабря". Проверки ради смотришь в лупу: нет, действительно так – этот день этого месяца, столь памятный по еще не истлевающим календарям и прочей отечественной атрибутике. Так ли захотелось устроителям, либо просто сошлись дата с намерением – обсудить "художественные ценности прошлого в современной науке и культуре", – так оно или иначе, но из совокупления даты и темы (позволим себе предположить это в иносказательном смысле) и народилась дискуссия, какая в иных местах именуется "творческой", в других "экспериментальной" ("Нам позволили ее провести, так как хотят посмотреть – способны ли мы на такую дискуссию, зрелые ли мы". Кто "хочет" не прочтывается, а может, там и не требовалось сие, и так было понятно, но имя говорившего – почти всеми буквами: "Ф. Кузн...в"). А дальше слова, слова, слова, складывающиеся в строчки: "Как бы ни относиться к 30–40-м годам с политической точки зрения, но следует помнить об историческом повороте к русской классике, который произошел именно тогда. Был, по-видимому, написан самый великий роман XX века "Тихий Дон". Писал Булгаков, да-да, я подчеркиваю – писал и написал, это гораздо важнее, чем напечататься". "...Именно в 30–40-е годы и произошло слияние классической традиции с народной культурой". И еще – об "авангарде": "Новый метод – умелый захват общественного мнения. Умелое применение к власти, кнут и пряник..." (Расшифровываешь и смекаешь: раз в 1930–40-е на смену "авангарду" пришла классика, "именно тогда" слившаяся с народной культурой, то, стало быть, ушли за ненадобностью и "захват общественного мнения", и "умелое применение к власти, кнут и пряник...")

Судя по расположению в тексте, упомянутые мысли принадлежат автору вступительного слова. А дальше – пестрое, но равно "творческое" и "экспериментальное": "Мне неинтересно, какой национальности были Мейерхольд и Татлин... Я не за то не люблю Мейерхольда, что он еврей (реплика из зала: "Мейерхольд – немец!")... мне неинтересно, какой национальности те режиссеры, которые извращают русскую классику..." **Сидоров:** "Ты не можешь судить об этом, Вадим. Признайся, ведь ты не ходишь в театры". **Кожин:** "Я не хожу, но моя жена недавно пришла с постановки Эфроса вся заплаканная оттого, что этот режиссер сделал с Чеховым... – а от театра до нашего дома 15 минут ходьбы, у нее вот такие слезы катились..." И после

обрыва (то ли кто-то перебивал с места, то ли вода, что в бутылку просочилась, сделала свое дело): "Недавно я рецензировал работу, посвященную испанской литературе XVIII века. Там было написано, что в этот период был разгул реакции, поэтому мало хороших писателей и нет великих произведений. Но между прочим, в это время в Испании было тихо и спокойно, правил какой-то король... А вот XVII век в Испании как раз и ознаменован страшными насилиями, но в это время были Сервантес, Кальдерон, Лопе де Вега". (Иной читающий сейчас, спустя десять "застойных" и "перестроечных" лет, может, и вскричит: вот они когда начали... А я, разбирая тот отрывочный текст, признаться, даже не озлобился, подумавши: тут-то бы и настоящему спору – и о человеческой трагедии вообще, и о том, отчего в ней так часто самое высокое приходится на времена обвалов и падений. И наши собственные "страсти-мордасти", в этом свете рассмотренные, многое бы нам разъяснили.)

Дальше – строчка за строчкою из уцелевших. Смотришь – не одни ретрограды, захватившие инициативу, в атаку тогда шли, была и "активная оборона". Была, была и оборона, правда, бескровная и не шибко активная, а уж о "контрнаступлении" и говорить не приходится, не было его, поелику и плацдарма для него не нашлось... Разбираю, переносу на лист: "Палиевский – критик талантливый, я люблю его читать. Но мне кажется, что разговор у него был зашифрован... Зашифрованы были прежде всего нападки на Маяковского... Сказал бы честно о желтой кофте. Я был у мамы Маяковского, она мне сказала, что Володе не в чем было выступать и из куска старого занавеса соорудили пресловутую желтую кофту... А в действительности он с юности был истинным большевиком". А вот из другого говорившего: "Мне интересно читать Палиевского, нас объединяет общая страсть к рыбной ловле... А в его сегодняшнем докладе меня поразила робость. Нежелание определиться на площади". Впрочем, не произвол ли так – кусками – цитировать? Но бутылка ведь; к тому же и другие строки у тех же ораторов расшифровке поддаются – и уверенные строки, и даже оптимистические. У второго из ораторов, например, концовкою: "Я пришел сюда с ощущением великолепно меняющегося времени (год 1977-й. – М. Г.), времени, которое дает разным режиссерам, вне зависимости от состава их крови, право по-своему ставить классику. Времени, когда повернуло на "ясно", когда все хорошо! И в такой момент докладчик, к моему удивлению, бросает в зал некий мрачный литературный SOS". И еще – из первого из тех двух ораторов, что от "зашифрованного" Палиевского открещивались: "Среди левых на Западе распространено представление, будто патриотизм – последнее прибежище негодяев. Против него всегда выступала русская культура". Тут уж, согласимся, вполне хорошо, не правда ли? Так откуда же тоска, не только

тогда меня охватившая, но и нынешняя, в совсем будто иной год?

Она, тоска эта, от слов, и даже не от отдельных знаков смысла либо без-смыслия, а от склада этих слов, от их звучания, от рекущих уст. Конечно, по былой мерке, той, с которой в жизнь вступил и в ней существовал многие годы,— по той мерке все ясно: кто здесь ретроград, кто — прогрессист. По той мерке — да. А если и сама мерка сдала, треснула, и от нее отваливаются уже не какие-нибудь второстепенные слова, а корневые, заглавные? На чью сторону встать? И может, этот "мрачный литературный SOS" именно тем, что SOS, оказывается ближе мне, хотя и из вовсе не близких уст раздается?

И одно место из того текста особо запомнилось. Оно даже не место, а вопль, и хотя на бумаге вопль от шепота не отличишь, но именно таким оно врезалось в память, отделяясь и от натужных громкоговорящих, и от вслух от молчавшихся. "...Начиная с первого выступления меня начало трясти. Второе было продолжением первого. Если эту линию не прервать, то третье будет чудовищным... Ваша воинственность замешана на чем-то дурном... Опасно, опасно играть такими вещами. Я молюсь на наше время за то, что оно перестало играть такими вещами". Помогли ли ему (и нам) эти молитвы, смахивающие на заклинание, на самовнушение? Сегодня вроде бы и ответить нетрудно, и в ответ войдет судьба молившегося, злокозненная судьба, какую также в одну рубрику не загонишь. Этот человек не знал тогда, что ему осталось жить считанные годы. Имя его уже упоминалось выше, он тот самый режиссер, с постановки которого жена другого, ныне весьма активно существующего оратора уходила, не прерывая рыданий в течение тех пятнадцати минут, какие отделяют их дом от театра... И его, того режиссера, речь, речь-стон, звучащая ныне как завещание, она для меня — где-то рядом с тем "мрачным литературным SOS", и это уже не он, покойный, а я, еще живущий, спрашиваю: отчего же рядом, а не вместе — стон и SOS?

Понимаю, что никак им вместе не быть, но почему-то вопрос этот не уходит, беря старое, незаживающее. Оттого бутылка в море — не игра, а всерьез. Как весть о пропавшем, кто не дождался спасения. Как боль за тех, кому грозит гибель живо... Что остается сказать? Хотя я слегка сократил прежний текст, но изменить его строй, его лексику уже не в силах. Не в силах очистить его от темных мест, будто закодированных ссылок на события и людей. Доверься, читатель,— не от цензуры спрятаны они. Так писалось. Писалось как раз для внецензурного **свободного московского журнала**, который назывался "Поиски". И "сей журнальный лист", упоминаемый в начале статьи,— это именно поисковский, тогда преследуемый, с уже заведенным на него уголовным делом...

Вероятно, столкнувшись в тексте с "блаженным академиком", читатель без труда опознает в нем Андрея Дмитриевича Сахарова, уже ушедшего от нас, уже потерянного нами, но боюсь, что в "безумном генерале" не все узнают уже отбывшего также на тот свет замечательного человека наших Шестидесятых — Семидесятых Петра Григорьевича Григоренко. Впрочем, уверен: все станет на свое место — раньше или позже. И никого не удивят, например, слова о Лобном месте, ставшем "заново — из музейного историческим". Демонстрация 25 августа 1968 года, устроенная там, напротив Спасских ворот, в честь Александра Дубчека и его сподвижников, устроенная несколькими женщинами и мужчинами, будет отмечаться вселюдно как символ неутраченного гражданского достоинства, как один из предвестников нашей общей победы — над страхом и над бессилием. Да оно к тому и идет, мучительно, правда, но идет, — разве не так?

Сегодняшний день подстрекает: исключи неоправдавшееся, риторические вопросы с мрачным оттенком. Ведь тот "безумный генерал", что не проторил дорогу крымским татарам к домашнему очагу, все-таки достиг этого, хотя и посмертно. А Дело "блаженного академика" дало и всходы, и даже зрелые злаки уже при жизни его: и "холодная война" (с ядерным запалом!) пошла на убыль, и опустели лагеря, предназначенные для узников совести. К чему же те строки в тексте, публикуемом спустя годы? Соображение очевидное: вымарашешь одно, подчистишь другое — уже не тот текст. Быть правщиком собственного духовного опыта, каков бы он ни был, — роль незавидная. Но есть и доводы посильнее. Когда к жизни возвращаются ее права, не дремлет и смерть, обновляясь на свой лад. Я не о естественной смерти, даже если приходит досрочно, тяжко рая живых. Я о смерти-убийстве, об основоположном грехе. Человек — убийца отроду, но и человек он — в меру того, что превозмогает заложенное в нем. Не единым разом, а — эпохами, поколениями, работою духа. Превозмогает, ибо не защищен от возвратов. Ныне в самом разгаре — новый возврат и новый труд превозможания. Везде, и у нас дома также. У нас сегодня в особенности.

И оттого порыв — предать гласности старый текст. С нескромным желанием: может, то, что мучило меня в конце 70-х, найдет отклик не только в согласных со мною, но и в несогласных. Хотя бы в одном из них.

...К первоначальному тексту я добавил посвящение Инге Баллод. Она была мужественным журналистом, неутомимой защитницей гонимых людей. Я убежден: проживи она еще немного — полностью раскрылось бы и ее писательское дарование. Была она настоящим другом. Ей нравился этот текст. А так как была редкостным жизнелюбом, она убеждала меня в самые тяжкие годы: поверьте, время придет, Вас напечатают и поймут.

Я не уверен в последнем. Но лучшего способа отметить память Инги, чем посвятить ей эти страницы, у меня нет. Отпущенные же сроки сокращаются.

30 января 1990

* * *

Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем... Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается, и даже нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться — он прибегает к другого рода упрощению и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий.

Ф. Достоевский

Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме... Вы как хозяин в некотором роде отвечаете...

Изволили выехать за границу?.. Здесь пока что случилась неприятность...

Александр Иванович! барин! как же быть?! Совершенно не к кому обратиться!

О. Мандельштам

Припоминается, что Россия реалистическая страна.

П. Палиевский

Вспыхнул и отшумел спор, который, впрочем, не спор. Спор значит — спорящие налицо, а где они? Нынче — где? То есть вроде бы есть: о двух ногах и с речевым аппаратом без выраженной патологии. Но спорящие ли?

Не узнавши, как продолжить? Однако что, собственно, и узнавать?

И без того известно. Ежели диалог, то две стороны, сторона же — это люди, у каких на лбу не написано: "прав", "не прав". Без инаких, несхожих, к чему и сам спор, тот ли, этот ли? Можно и без залы для поисков, и без журнального листа с той же целью. Но это только так, прибаутки вроде: ни залы, ни листа. Поелику без них никак; для спора также пристанище нужно, и для самого спора, и для равенства в споре. Одно дело самому себе доказывать, самого себя спрашивать, и совсем другое — вслух, разные голоса в ответ различая, голоса и доводы, голоса и сомнения. Но как раз тут у нас и неувязка. Зала-то есть, и не одна, но не для разных голосов, и выходит, что чистый мираж она,

и даже в таком, самом что ни на есть привилегированном месте, как знаменитый Союз при Литфонде, где допускаются и "экспериментальные дискуссии", и иные эксперименты, спланированные и вовсе бесплановые, почти самозванные, — так и там мираж, именно там-то и мираж.

И оттого сей журнальный лист, пожалуй, единственный немираж, чреватый... и обязывающий. К прямой речи, к открытому забралу. И к будто противоположному, перо само выписывает — к терпимости.

Но — нет. И не потому, что не наше это дело, не так воспитаны; пора б и подвоспитаться. По совсем иной причине — мало этого. Вчера вроде достаточно бы было, если б было, а сегодня смотришь — недостаточно, и недостаточность эта — западня из самых скрытых, самых коварных.

Уступить бы рады, но что и ради чего?

Согласиться всем нам, чего бы лучше, — но на чем?

Однако при чем тут все-таки действо, разыгранное на подмостках ЦДЛ? По всему видно, не дискуссия, не диалог, даже не сшибка ответов, а уж о вопросах и говорить неуместно. Не то занятие, не те слова. Развлечение в кругу избранных, маленький светский скандальчик, не первый и не последний дебош "у Грибоедова", неизвестная главка из романа блаженных Тридцатых годов, столь милых сердцу Петра Васильевича Палиевского, — разве не так? Разве больше чем эпизод, на какие особенно щедро наша публичная жизнь? И шум-то из-за чего?

...Классика и мы. Вечная тема. Вечная, а по нужде и дежурная. Неизменные страсти, которые, впрочем, и симуляцией их готовы стать. В самом деле — что более относительно из безоговорочного, чем классика? Назад глядя — в единственном числе, сомкнутая в общий ряд (слева направо, справа налево — равняйся!). Но так ли? Факты вопиют: не так. Чужие факты и свои, свои даже больше: виднее, больней. Пушкин и Тютчев — идиллия? Знаем, что нет. И недоумеваем: что помешало им быть "современниками"? Возможно, в самом вопросе ответ. Пришла пора совпадений во Времени, пора небывалой близости. Потомков с предками. А стало быть, и предков друг с другом...

Так и породнились сегодняшним днем Пушкин с Тютчевым. И разве только они? Школьник не спутает: Достоевский со Щедриным и жили и писали в одно и то же время. Но чем измерить их родство в противоборстве? Темами, "предметами" или силою сердечной и умственной боли? Взаимными прозрениями или также взаимным бессилием ответить на конечные вопросы, а еще — всего больше — невозможностью уйти от них, конечных, раздробив на сиюминутные, частные, прикрепленные к своему стану, обособленные "своей" Россией?

Сквозь весь Девятнадцатый к Двадцатому — великие одно-

сторонники, каких не знала, вероятно, ни одна из человеческих цивилизаций. Великие односторонники, разбившие душу и ум о непостижимость целого, что лишь значитесь отечеством в отечественных границах, на деле же и шире и дальше... Но не до безграничности ведь, а если в самом деле — без границ (вся человеческая вселенная!), то как постигнуть ее, безграничную, чтобы не потерять ее же — в людях: читающих, внимающих, способных внять (не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра); а вместе с ней — не потерять бы ненароком и себя, а с собою... опять-таки ее, все-таки ее — ту Россию, какой несть числа в верстах и людях, великую и страшную, близкую и чуждую, узнаешь ли наперед — кому она ближе, кому чужей?

Размолвки, разрывы, одиночество, секты, вражда... Что породило Блока и Мандельштама, Маяковского с Есениным — смерть или также последнее слово перед смертью, последние муки слова, и снова неподвластность смысла, и вновь измены его?

И потому, и вопреки сказанному — не классики. Классика. Из этих мук и различий — одна, единственная.

Так ведь и это не вполне так. Совсем недавно как будто и в самом деле была она одной-единственной, сегодня же вновь в дележку пошла. Сегодня заново: чья она, классика? Спрашивается — кому принадлежит, а подразумевается — кому принадлежать не вправе.

И потому не случайность, не оплошность, не привычкой к расхожим этикеткам: "Классика и мы". В самую точку: **мы**. И не в том загвоздка — жива ли она (будто может жить и ожить сама по себе), а в том — живые ли мы?

Как ответить, чтоб не соврать, даже наедине с собой (особая ложь, очень облегчающая ту, наружную). Даже наедине — как признать: не живые. Не мертвые и не живые. Посередке; временно ожившие — и середка эта на всю оставшуюся жизнь. Оттого, верно, и с классикой у нас отношения ни на кого не похожие. С одной стороны, любовь и почтение, можно сказать — без удержу. И к собственным, своей эпохи мертвецам отношение сильно улучшилось; даже совсем недавних, досрочно умерших — в классики, и без промежуточных возводящих инстанций. Зато с другой стороны... О, другая сторона эта велика и обильна, со множеством ликов и личек. Тут и сокрытие заговариванием, и забвение посредством телебюстов и юбилейных венков; и, разумеется, охрана. Охрану — к классике! Да понадежней! Анкетой, понятно, в таком деле не ограничишься, старшины сверхсрочной службы тоже не ко времени — огрубят, да и сбегут при первой угрозе. Нет, здесь верные нужны, на верность испытанные. Тут... как не вспомнить невянущее: "прогрессивное войско опричников". Метлы в ход!!

Глядишь, и сама классика как-то изнутри сплачивается.

Олимп тесен. Рука зудит — чистку бы там. Случайных, не по чину выдвинутых, не оправдавших доверие и просто не своих — вон! Классике просторнее, и нам сподручней. Мы ей подмогли, она к нам на выручку, при случае и дубинкой сподобится стать. Притом не просто дубиной, опять-таки — не те времена. По нынешним — она вроде без сучка и задоринки, всеядная что ли, едва не универсальная: ею и "обыкновенный марксизм", и самое рядовое мракобесие, и оно же рафинированное, всё в арабесках, — и те, и другие, и третьи пользуются, а иной раз и вовсе смыкаются в одну нестройную колонну.

А авангардизм, а модернизм чем вам не дубинка? А их будто в ход не пускали, а если и не пускали в их настоящую силу, то все еще в нашей власти (коли власть — мы), надо будет — запустим, самнистировав для того предварительно, — и тоже по темечку, по темечку. Может, и без летального исхода обойдется, но уж одним-то эти дубины и дубинки, классические и неклассические, ГОСТовские и самоделки, всегда наградить готовы: немотой.

Особенной — нашей. Говорим, а немые. Шумим, заглушая иной раз друг друга, а слов — человеческих — не слышно. Онемели на те самые слова, которыми бы к тому самому смыслу пробиться, какой вроде бы и наличный, но нет его. Присутствует отсутствием. Ухватили было, однако удержишь ли, коли руки дрожат? А как не дрожать им, когда ум измучен и снова — все вопросы разом? Либо один, остальные в себя втянувший...

Подходит ли: что делать? Пожалуй, нет. Репутация у вопроса неважная. Делать что-то, разумеется, нужно, вот как нужно, но самое деланье под вопросом. Может: как жить? Так и жизнь уточнения требует, и не просто данная, а сама по себе — Жизнь. Скорее: кто мы такие и что же мы такое? Откуда — и зачем? Мы все. Здесь. И ответ будто рядом, совсем рядом с тем, чтобы "просто-запросто пулю в лоб", однако знаем, что не по-человечески это, против естества, и одним маршем к... "трогательной простоте", которой и вопросов этих треклятых не нужно, и слов особенных, на худой случай одними междометиями перебеется. Трогательная, она и есть немая.

Тогда решиться — и заговорить! В споре, спором!!

Спору приоритет, поскольку в спорящих нужда. Им — в "Доме Герцена" тот спор впрок, и нам. Спор — переспоривание. Жизнь идет, продолжение следует. Так. Но...

Запах смущает. Чем-то смрадным, дурным потянуло. У обоняния своя память. И она нынче лихорадочно перелистывает календари назад. 1963-й? Эрнст Неизвестный, Манеж и Хрущев? Нет, пожалуй, страница не та, она сама не своим отрывает. Еще назад... 1952-й? 1949-й? 1946-й? Да, здесь. Мы на месте. Мимо не пройдешь. Чересчур много примет. Меньше, правда, много меньше крестов и безымянных могил, чем в 30-м, 37-м.

Но скованных уст, но раздавленных душ, но сызмальства совращенных — меньше ли?

Последних особенно. Совращенных у порога так называемой сознательной жизни; тех последних, кто у нас сегодня кандидатами в первые, их черед подошел (закон природы!), а что без совести они (именно: не бессовестные, это уже второй очередью, и тут свой ранжир, а без совести — за неприложимостью ее, а раз неприложима, значит, и ненадобна, и это уже поголовное, неперемное, селекцию направляющее), то опять-таки не их тому вина, а давнее, проклятое время виною. Оно — и Он. Он, что также был на пороге — своей ли смерти или общей, вселюдной? Впрочем, 46-й, 49-й — лишь преддверие. Лишь вступление к 52-му, которому также бы быть прологом или уже развязкою?

Анафема Зошенко и Ахматовой, отлучение Василия Гроссмана — это все-таки лишь отработка сценария, репетиция главного акта. "Холодная война" — она ведь по самому зачину своему в горячую рвалась. Извне вовнутрь — оно вроде бы заметней (и надо было, чтоб заметней!). А изнутри вовнутрь — тут какая цель?.. Ждал пополнений Архипелаг. А может, уже и не сам Архипелаг, а особое, в новинку и в устрашение всем, заполярное гетто? А может, и это мы так говорим лишь потому, что дальше воображение нас не пускает, "экстраполируя" привычное; дело же шло к непривычному (даже для Него), к неподконтрольному — ни для кого в державе, ни для кого на свете.

Началось же, помнится, у нас с этого самого: "Классика и мы". И не на тех ли самых подмостках началось? Или ЦДЛ нынешний еще не остроен был, после безобразия, учиненного Коровьевым с Бегемотом, не оправился? Да нет — самый расцвет. Старые имена снова цвели, новые распускались, самое время препятствия цветущему убрать. И почему б, в самом деле, А. А. Фадееву не порадеть за обижаемый формалистами или даже антиреалистами, едва не масонами, Художественный театр? Гордость наша, наша классика, и если даже охромела, то позволительно ли было, вторя уже небывшему Михозлсу, поддразнивать чайкой, якобы навсегда улетевшей со старого заслуженного морозовского занавеса? Что же касается способа, к которому прибег Александр Александрович, то тоже изобрел ведь не он, интеллигенты всех толков по сей день пользуются, когда на их мозоль наступят (или когда заветное слово надо произнести): "Москва, Кремль, Имярек". Куда выше? Потому и за последующее в ответе уже тот, кого выше нет, по крайней мере в наших пределах и в данный момент. В защиту же тогдашнего главы Союза писателей заметим, что и он, искушенный, вряд ли знал, чем окончится начатое уже не вполне им, и для начала не столь уж незаурядное дельце, не слишком невыносимое для совести. Нет, скромное, частное. Всего лишь безымянная статья в "Прав-

де”, и посвящена-то была ”одной” (!) группе театральных критиков.

Много ли? Не разбиваться же в лепешку из-за нескольких, да еще, возможно, не вполне невинных? А дальше... дальше разверзлась инициатива снизу — правда, по спискам, спущенным сверху, но опять-таки не ордера же на арест спускали. То есть — не спускали сразу. Согласно обычаю нашему (а мы бережем обычай), и это действие эшелонировалось. С перерывами, чтобы перевести дух, чтобы гонители и гонимые освоились с новыми ролями. Чтоб и те и другие вошли в роль!

Да, и гонимые тоже. По мудрому рецепту государственного ума человека, без пяти минут гуманиста и уж, во всяком случае, патриота без сучка без задоринки — незабвенного Порфирия Петровича: ”Да пусть, пусть его погуляет пока, пусть; я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня! Да и куда ему убежать, хе-хе! За границу, что ли? За границу поляк убежит, а не он, тем паче что я слежу, да и меры принял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, посконные, русские; этак ведь современный-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить, хе-хе! Но это все вздор и наружное. Что такое: убежит! это форменное; а главное-то не то; не поэтому одному он не убежит от меня, что некуда убежать: он у меня психологически не убежит, хе-хе!”

Вроде бы деталь, заострение стиля и еще — приемчик, дабы преступника расколоть, не вполне обыкновенного преступника, убийцу без корысти, хотя и не без расчета, а какой расчет — не сразу поймешь, не поняв же — к признанию не принудишь. А тут все дело-то в том, чтобы к признанию принудить, к раскаянью, какое с УК совпало бы, а если б и не совпало с тем кодексом (”уголовным”), что есть, то другой, какому еще быть, явило бы, оправдало б собою.

А может, и вовсе не в этом дело, может, совсем в другом оно. Может, и убийства-то не было. Не то чтобы чистая видимость, но и не то чтобы очевидность. Не то и не другое. Лишь намеренье. Наваждение. Фата-моргана. Вот тут-то и не проморгать. Момент не пропустить. Сей позыв и довести до собственной его полноты, поскольку преступник-то как раз сам и не доведет, и не то чтоб до исполнения, так и до замысла не доведет. И даже не на замысле споткнется, а на замысле замысла. Оттого и надобен нам с Порфирием Петровичем (и с тем, чтобы упредил, и с теми, кто в след ему), — надобен обратный ход: сначала злодея соорудить и лишь затем, душу его ухватив, до замысла злодейского ее и довести. Ею самой и довести. Исступлением до преступления.

Собственно, государственное здесь как раз и начинается. Профилактика, профилактика! Иначе нельзя. Россия ведь. И не в том только дело, что велико пространство и людей немало; как усмотреть за всеми, чтоб не отклонялись, чтоб все на одно лицо были — для удобства управлять. Но все же не вся суть в этом, а в том она еще, и в том особенно, что развитие есть, и это — развитие, оно не столько в учреждениях специальных, в них-то его немного или совсем мало, и даже не в слове изустном, хотя им-то прежде всего другого и движется оно, им клокочет, в смятение сердца и умы приводит... Так даже не ими самими развитие это самое на этом самом пространстве себя заявляет, да еще кособоности тянется, на исключительности своей настаивает. Но ежели не ими, не ими самими, то чем — сверх? Смешно сказать: человеком. Голеньким. Одна только видимость высокопарная — субъект. Посмотришь же, что у него за душой, кроме древними придуманного и отечественным, с позволения сказать, Искандером повторенного: *omnia mea mecum porto*, — так истинно: только то и носит, что самого себя, только с тем и носится, что с собою. Весь из гордости с манией реформаторства впридачу. Гордится тем, что лишний. А потому и лишний, что гордый. Потому и ненужный, что всем себя навязывает. Ему, видите ли, мало себя и себе подобных, на всю Россию притязает, на все пространство — людское; лишь отъявши его у тех, кто суть держава Российская, обещает не-лишним стать, на меньшее не согласен. Умствует: Пространство это на Время обменяю. Не может в толк взять, что и то и другое у нас, как у всех, неотделимые, и если чем от других и отличаемся, то тем только, что друг от друга неотделимые, они и от власти не отделяются. У кого пара, а у нас троица: Пространство, Время, Власть.

Сказано ведь: умом Россию не понять. Классикой-то и сказано, и хоть после тысячу раз повторено, но, по всему видно, не всеми освоено. Выгучить выгучили, а смысл пропустили. Смысл же этот не в России, которую будто не понять, а в уме, какому понять не дано. Вот этому-то, на особенность, на исключительность притязающему, как раз и не дано. Рубикон. Перешел — и России нет. России нет — ум потерял... А развитие-то, оно в таком случае чье? Кому принадлежит? Ежели России, то опять глазомер нужен. Такой, чтоб одним разом всю ее охватить, и Тихий океан и Кушку наперед исчислив, и чтоб Воркута с Магаданом в нужное место и в нужное время вошли. Глазомер этот опять-таки — Власть. Наша, с любой несхожая. И в том именно смысле несхожая, что **недолжному развитию способна должным развитием предел положить**. Им держится, поелику им держит. Отчасти, правда, видимостью его, однако и видимость эта и головы и усилия требует, а то и вовсе наоборот: не для показухи оно, должное развитие, а для дела, и опять-таки — державного, вся Русь...

И эта-то часть особенно нуждается, само собой, не в ухищрениях, не в рефлексиях разных, а в рвении и еще — в таланте служить, в воображении для исполнения; тут бы этого голого человечка — и к делу указанному, вицмундиром наготу его прикрыв, так ведь не хочет, в ключья рвет, за насилие принимает и грозитя насилем же ответить. С таким каши не сварить. Совсем иной нужен. Надо б особую породу вывести, а как выведешь, когда матерьяльчика нет, а тот, что есть, — порченый. Отроду порченый. Всякими там преданиями, клятвами на каких-то горах, барской праздностью, тягой неистребимой — к изгойству, к отщепенству, к вселенской панибратчине, что вкупе такой гибридик, какой ни лаской не проймешь, ни силою не урезонишь... "А нервы-то-с... вы их-то так и забыли-с!" Кто забыл, а Порфирий Петрович помнит. У него всё на учете — и предания, и клятвы, и панибратчина эта, и нервы, и желчь от гордости и ненужности. "Да ведь это, я вам скажу, при случае своего рода рудник-с!"

Случая — не ждять! Лучше, надежней того: самому этот случай сотворить. И не раз, и не два. Творить и творить!!

Далеко вперед глядел Порфирий Петрович, куда дальше своего времени. Прямо в наше. И в полно-кровные Тридцатые, и в пусковые Пятидесятые. Куда убежать, скажем, ветерану Октября, хотя бы это уже не призвание было, а просто звание, и не столько обязывало, сколько позволяло? В этом-то последнем случае и вовсе не к чему убежать, но и в первом, остаточном-чистом, непритворно-чистом случае, — к чему убежать, с чем и зачем?

В глубину отечества, что ли? Так ведь не спрячешься ныне, все как на ладони. Сам себя не свяжешь — другие свяжут. И хотя вроде совсем не та эпоха, но не оттого ли "современному-то развитому человеку" не спрятаться в собственном-то развитом отечестве, что в той же глубинке те же люди живут, каким не до Родиона Раскольникова и его, раскольниковского, "дикого и фантастического вопроса", не до спасения униженных и давленных — всех до единого и единым махом! Впрочем, почему это им не до, это еще доказать надо, ибо есть и от прогивного доказательства, то бишь от истории. Там, правда, Родион Раскольников прямо не фигурирует, он и его вопрос, он и Сонечка Мармеладова, без которой и не тот роман, и не тот вопрос, поколения мучивший... Но ежели пристальней — в историю: ближнюю, нашу, — и опять-таки зрачком классическим, платоновским ли, мандельштамовским ли, шаламовским ли, то как раз в этом ближнем пристальном случае снова тот же вопрос, и вновь не прямо, еще подспуднее, — и в том ли тайна, что врозь они стали, Родион Раскольников и Сонечка Мармеладова, а если тайна (тайна!), то что самое тайное в ней, как не помеха к встрече их, как их непересекаемость: судьбами, душами?

Если это поймешь, то считай — в самое сокровенное проник:

России и Мира, мира России... расплатившись за это. Не расплатившись, не проникнешь.

Вот он где — смысл. И опять-таки не в метафорическом значении, а в самом непереносном, от какого ход и к хлебу насущному, и к той самой земле, что для мужика всюду Земля, в России же в особенности; смотришь, и проблема проклятая — ”в глубину отечества убежит ли?” — каким-то другим боком поворачивается, тем самым, по какому история свой маршрут и прокладывала. В нашем отечестве и прокладывала, то заявляя его, глубинного человека, хозяином этой самой земли — Земли,— то во имя его же, глубинного, отнимая ее начисто. Или только так грезилось, что ”во имя”, а на самом деле подмена состоялась, и как состоялась, то уже по иному (не Порфирием ли тем же подброшенному или только в ход пущенному?) сценарию все пошло, и от раскольниковской ”дикой, фантастической” идеи лишь то в него, в этот окончательный сценарий, попало, что соседней, кровнородственной — наполеоновской ли, ротшильдовской ли, батыевской ли — идее соответствовало, какая позволяет ту же кровь, но ради **власти размахом в Мир?**

Нет, от этого — и после этого — не убежишь, как раз в остаточном-чистом, непритворно-чистом случае менее всего убежишь. В отечестве — ”социалистическом” — укрытия нет, а вне его тем паче. И впрямь: с чем и к чему **туда?** Чтобы оттуда к прежней чистоте воззвать, ее предъявив Миру как вызов домашнему нечистому? Один-то воззвал, как не вспомнить, да еще один, ныне в память возвращенный, и еще, не столь приметные, но все-таки не в том только суть — сколько их было, **оттуда** воззавших, а в том, что ответила бы им ”глубина отечества”, если б даже и дошел их голос... Тем же, у кого на убежать от себя — запрет, какой выбор оставался? Ту самую ”пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом”? А если не это, если не успел кто, если не решился, а если и места уже нет для ”всех вопросов разом” и от былой изначальности осталась лишь ”трогательная простота” (простота преданности, простота рвения), — то ею что выберешь или уже не выбор это? Нет его уже, выбора, ни вне тебя, ни в тебе самом. Ни в тебе самом — вот где твой ”рудник”...

А другому человеку, кто вроде бы и от раскольниковской и от батыевской идеи за версту, а к этому сценарию прикосновенный так лишь по временному увлечению, а больше по нужде, какую, однако, закон той жизни (весь свет включающей и избавляющей) в добродетель переименовал, в добродетель перевернул,— и вот она пошла, пошла добродетелью на разные лады и манеры: тут и гомологической добродетели **до поры до времени** местечко нашлось, и яфетической, и звездоплавательной, а об атомной и говорить нечего, тут уж не до поры до времени, а на веки вечные вместилище,— впрочем, как и тем, кто в ”ин-

женеры человеческих душ” произведен был и утвержден. Этим, особо произведенным и утвержденным,— куда? Уже обвыкшим, уже незаменимым?

Психологически не убежит, хе-хе!

Не правда ли: превосходная тема для диссертации, лучше бы для докторской (кандидат, пожалуй, не потянет), либо для симпозиума — внутреннего, но попредставительней, а для научно-практической конференции так краше темы и не сыщешь. Одна беда — необозримая она. Не поймешь — где ей начало и быть ли концу?

Для удобства хорошо бы сузить. Сказать себе: пройденный день, поскольку отчасти уже и разрешено убежать, в главном же — “психологическом” — разрезе сами себе разрешили. И никаких больше добродетелей этих, что утопиями именуются. Сыты ими по горло. На этих самообманах и самообманчиках жирную точку поставили. Как раз на том, собственно, и сошлись, точкою этой и соединились ныне. Чем еще?

И ведь не по своекорыстию сошлись, а, если угодно, из сознания долга: перед собой и перед жизнью, перед всем, что хлебом насущным зовется; и хотя понятие это весьма расширительное, и сказано даже: не хлебом единым,— но когда о нас, нынешних, речь, то и буквальный смысл кстати, он-то прежде других. И тут уж не до земли, что Земля — одна на всех и для всех. А о той речи, что просто земля, и для того просто человеку дана, чтобы родить ему же — и хлеб, и речь, по которой только и узнаешь: кто ты и откуда. Околица, не околица, но свой предел. Предел — то бишь граница. А ежели кому-то невольно, что граница эта с той совпадает, какую предки нас наделили, то прощения просим. Не по пути. Не по пути-с.

Хорошая вещь — ясность. Ради нее и пострадать не грех. Когда бы ясность! Если б не крючок с наживкой, заглотишь и каюк, поскольку воздуха нехватка. Кому-то Раскольников по ночам с топором окровавленным является, а к кому-то Порфирий со сладкой улыбкою и со словами умильно-жалостливыми: “Припадочек у нас был-с!”

Был-с... и весь вышел-с? Точно не скажешь. Про нас, здесь, не скажешь, пока не пробил час. И чему час не угадаешь, но есть знаменья. И хотя больше тех, в последнее время как раз больше тех, что сулят не добро и не милосердие, но ведь и иные знаменья есть, какие не то чтобы сулят и даже не то чтобы обещают заслонить от тех, что сулят, однако же...

Сохранило ли Дубчека Лобное место, заново — из музейного — историческое? Не сохранило, не уберегло, да и могло ли? А раз не могло, то стоило ли тому событию быть, что ни в каких календарях нынешних не отмечено? И опять-таки не в шкурном смысле — “стоило ли?”, а именно в историческом, поступатель-

ном, прогресс сулящем. Вопрос иронией отдает, но в чей адрес она? В тех ли, кто в тот памятный день на том памятном месте "правила уличного движения" нарушил; так об истории ли думали, на сохранение ли Дубчека рассчитывали? Нет ведь. Проще, проще. Совсем просто: по-другому не могли. Не они, конечно, те танки двинули. И против танков опять-таки бессильные, однако же... Ниточка незримая протянулась — от Высочан к Лобному, а от Лобного к... Не вполне ясно, куда, к кому?

Ответишь ли, не испробовав сызнова, не рискнув? И не одними напастями сроком в добрую часть жизни, но и совестью — выдержит ли, когда на начале нить эта и прервется, как уже бывало в истории нашей не раз не два (и 19 февраля на памяти, и те судебные уставы, и многое другое, что после, что, начавшись, в обрыв пошло). С другой же стороны... С другой, сдается, лишь на один зубок нам, теперешним, и былой прецедент утраченный, и даже ближняя эта "пражская весна". Что-то сверх требуется — неведомое, неназванное, и чтобы опять-таки уместились в этом сверх и "исконные" земли, и те, что уже веками в "присоединенных" ходят, и те, кого при нашей жизни в лоно вернули (и еще с прибавкою), — все они, да и нынешние "вольные" Воркута с Магаданом.

Разгадку всем загадкам нашим это самое **сверх**: отечественное и всесветное — врозь и вкупе...

В знаменитом пушкинском стихе, или притче, или покаянии с присказкою — там сначала бес-одиночка, и не очень страшенький — так, забулдыга, дебошир, пересмешиник, любитель розыгрышей. Сначала один — и лишь затем во множестве, считать не пересчитать, и уж иного свойства они. "Бесконечны, безобразны, / В мутной месяца игре / Закружились бесы разны, / Будто листья в ноябре". Бесы разны — какое из слов в курсив просится? Кто-то "бесы" тремя чертами подчеркнет и пальцем укажет... Мы же — **разны**. А как иначе? Как иначе, когда: "Все дороги занесло"? Бесы-то, они все-таки производное. Истоком же, причиной причин — все дороги занесло.

Это не признавши, выйти ль на большак? А может, не нужно — большака? Может, иначе: разными тропами... И каждый сам по себе. Сам себе хозяин, распорядитель судеб. Так нет ведь; и не потому только, что из распоряжения выйти значит у нас — вовсе вон! Есть загвоздка и посильнее, покруче. Хоть и разными тропами, но — куда? И сойдутся ли тропы или так и останутся, и уже не разными, а одинокими и от одиночества безнадежными? Внутри себя уйти, то и туда, памятуя бывшее, войдешь ли сам по себе? Без других, без "чужих" войдешь ли, не запнувшись, не ушибившись — об них? И не то чтобы горесть или сладость от этих ушибов, а опять-таки: без этого ты не ты... А тем,

кто после нас, им что оставим: душу ли, ничем не запятнанную, или ту, что вся в ушибах? А они, кто вслед, от чего свой счет поведут – от нашего ли чистого безнаследья или от спотыканий наших, каким счет потеряян?

От того ли безумного генерала, который, как ни бился, не проторил-таки дорогу крымским татарам – к дому-родине? От того ли блаженного академика, что ни мыслями своими, ни страданиями не остановил-таки ни ядерный марафон, ни лагерный?

Старый русский спор: одна простота против другой простоты. Сколько "эпох" между пушкинским ясным восходом и рассветом во тьме Федора Достоевского? Нашей Минервы сова вылетает безумной, блаженной...

Спасти ли, заслонить ли одного, одну, оставив спасенными, незащищенными остальных – без единого упущения? Сомнение в этом. И взлеты и падения от этого же. И раньше и позже – ненависть, "раскольниковская", задыхающаяся ненависть к Петру Петровичу Лужину, к прекрасномудушному попечителю, к рыцарю избирательного спасения, что всегда не без выгоды, и главною выгодою сама избирательность; согласись, руку протяни – слопает, улыбаясь, по головке поглаживая, сердечным союзом награждая. "А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена; об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть..." Впрочем, не в Лужине одном напасть. Лужины – нуль без Дунечки. "Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не продаст... за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина". Чем же берет Лужин-то? Жертвенностью Дунечкиной, для какой, однако, иметь нужно – чем поступиться. Последним остатком комфорта, обиходом человеческим – мало ли?

Ответом, да не ответом вовсе, а ударом – в душу и в мозг: Сонечка Мармеладова. Вечная, "пока мир стоит". Пока стоит Мир. Пока Мир стоит... Чтобы ее сохранить – не те слова нужны и даже не те дела. Слово. Дело. Единственное, до какого не добраться ни единому Петру Петровичу Лужину... Нет этих пресловутых золотых середин – и благо, что нет! Одни полюса на свете – и благо, что одни! Сдвинуть их! Сдвинуть ими! И вот уже в отставке стоячий Мир расписанных обстоятельств и ролей. Отныне быть всеобщему броунову движению: исканий и волю, рвущихся к абсолютной – между людьми – гармонии. В каждый данный момент! В каждый, ибо иначе всякий "момент" – ложь, и любая истина – ложь, поскольку за чей-то счет.

"Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?" Это Мармеладов, пропащий человек, вопрошает, настаивает: "Надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти..."

Куда-нибудь... Русское, российское Здесь. Место, которого нет, если не в пути все. Но еще и время, которого нет: замерло, омертвело – в тех, кому некуда идти. У-топос. У-хронос. Простор безвременья.

Какими же силами перевести без в между? Кто – поводырем к обездоленным дорогою?

...Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

С юности множество раз читанное, а вдруг задело. Третьим, последним "блоком" и задело. Неожиданной переменою, хотя как будто не из чего б ей и взяться. То же небо мутное, те же ночь и бездорожица, и бесы, что едва не отняли у путника рассудок. В самый бы раз им торжествовать, празднуя победу над человеком. Так нет же, все иначе. Уже не на снежной равнине они, а в полете. Стенающие, скорбящие...

Кто же даровал им эту вышину беспредельную? И Слово, пушкинское, отчего и их участью мучило?

Загадка. Искать ли ключ в ней в окрестных стихах, в собственных, автора, напастях и тревогах? "Перелом в существовании" – словами лучшего из биографов Пушкина. Позади вольная жизнь, впереди – семейная и государственная. Добровольная несвобода... "Отец мой, ради бога, оставь меня!.. Спаси тебя господь!" От "Бесов" до "Пира во время чумы" – два месяца и два дня, а от Болдина до Черной речки – неполных семь лет. И еще полтора столетия, вопрошающих, уясняющих: кто ж погубил Поэта, кто и чем? Вроде бы уже докопались – кто. А чем не уходит, втягивая в себя и новые имена, и свежие строки. И заново возвращая к одной, к его судьбе: не добровольною ли несвободой погублен, и той именно, "николаевской", **своей**, без какой не быть бы и вершинному Пушкину, а стало быть, и всему на Руси, что после?

...От тех "Бесов" к бесовщине – так ли? Корень общий, а смысл? Сказано некогда и во все прописи вошло: две культуры. И впрямь две, только не те, что в "цитате". Ибо – культуры. Одна дворянская, другая – разночинская. Различие же не словное только (дворян и в разночинской не счесть). Не это в глубине. Там иная смена – облика речи, строя поступка, стили жизни. Не шлагбаум, не пограничье. От декабристского равелина, от каторжанской общины "падших" – к Мертвому дому, к той России, какая вся – пре-ступающая... Вот откуда она – бесовщина. Не отменю нравственности, это вторично, это затем. А первичное: абсолют ее! И вериги и диктат. Диктат и диктующие – себе и другим. Всем. Всем в собственном Доме, и оттого

он уже не просто Дом, а домашняя Вселенная, непременно русское человечество.

Дерзость ли помыслить — Пушкин против Достоевского? Мера против безмерности?! Не окончилась первая с первым, все переживши, что было у нас и с нами; но и вторая не отступает, приступ за приступом, в неразъемной схватке чудищ добра и зла — для других, сдается, тут и места нет. И хотя не поймешь — века ли прошли или вчерашний день напрямую ломится в завтрашний, но спор этот, встреча и схватка — меры с безмерностью (и добровольной несвободы с земным чистилищем?) — сквозь все, что культура и что много больше, чем она: жизненный обиход, наш человеческий нрав.

А нынешние мы — на каком перегоне у этого спора либо сам спор уже устарел? Либо по-другому: застряли. От безмерности — былой — откачнулись, а к мере — собственной — не пришли, ибо неясно, что она нынче, в чем и в ком? Не исключишь, что передвижка произошла. И *меру*, ее как раз ищи в безумных, в блаженных, а бесовщина — она к тем перебралась, в тех вошла, кто ею инаких судит, с них взыскивая, чтоб не смели ни колебнуться, ни оступиться, не обязательно, правда, к Мертвому дому шагаячи, но и не уклоняясь от него...

Да ведь и соблазн велик — снова, и по доброй воле, преступить. В безмерность власть, душу в нее вложить и заложить. На всесветных прилавках — муляжи мучеников и пастырей. Сличай с собою, примеряй! Вещай, пиши, учи!.. Но где место тому, кто тщится свести нечистую совесть (а если чистая, то к чему она — совесть?), свести ее с предвечными словами, — свести в поступке, который из чистоплотности не соглашается передоверить никому?

Друг мой, давно неживой, неизвестно где захороненный друг, повстречайся мы, с чего бы начали — после долгого мужского поцелуя и долгих мужских слез?

Ты бы выпрашивал: как мы и что мы, а я б в ответ — тебе о тебе. О нас, здешних, сложно, можешь и не понять, да и стыдно. О тебе нестыдно, и не о том ведь речь, *что было жизнь тому назад*, а о том, что будет... из того, что было. Как познакомились в 36-м, как шли по Горького, и ты, рядом, своей милой припрыжкой. Помню угол и помню поразивший меня вопрос — даже не сам вопрос, а интонацию, серьезную, мучительную. "Как правильней — подавать нищему или нет?" Ты видел настоящую нищету — раньше, в голодные Тридцатые в Иванове, и теперь, на Шепелюгинской (что в двух шагах от шоссе Энтузиастов), — в развалюхе, куда выписал маму, где спасал соседскую девочку — от дебошей, от непросыхающего мата, от оскорбительной бедности. Зачем же спрашивал? Хотел быть правиль-

ным — не напоказ, не для собрания, не для карьеры; ты и карьера — смешно подумать, и, знаешь, настолько смешно, что я даже представить не могу тебя на службе, а ведь у нас нет занятий, какие не служба, где не служат...

Ты был веселым и даже беззаботным, и только самые близкие могли догадываться, какие кошки с детства скребли твою душу. Мы говорили и о себе, и обо всем на свете, но многое я узнал лишь после: из старых писем, из дневниковых записей по случаю... Прекрасный, когда был слегка навеселе, когда ты уходил из-под власти неверия в себя и в свой особый талант быть человеком, талант не ко времени, если он вообще бывает ко времени, — кого ты напоминаешь сегодня, в день нашей встречи? Без всякой натяжки, без малейшего намека на нимб и даже с этой дурацкой песенкой, которую я ненавидел ("У меня есть тоже патефончик"), ну кто же ты, как не булгаковский Иешуа — недоступно слабый, необъяснимо сильный. Готов поклясться: ближе нет к этому, чем ты...

Не сердись, мы просто долго не виделись, и ты многого, к счастью, не знаешь из жизни "добрых людей": что с ними делали, что с ними сделалось. Не поручусь, что если б был ты где-то один, без нас, в 52-м, то не накинул бы на себя петлю, как Нина Разумовская*. Нет, нет, ты этого б не сделал, ты чересчур любил жизнь и близких... Давай лучше вспомним, как расстались в 1941-м, на рассвете 14 октября, за несколько минут до того, как немцы начали бомбить Малоярославец, прежде чем войти в него. Я боялся думать, что тебя нет. А когда спустя год в госпитале меня догнала твоя похоронка, я сразу понял, еще не откровши, и сразу поверил. Мы же привыкли потешаться над тобою — в студенческой бане, когда ты снимал диоптрии и ничегошеньки не видел вокруг. Изрядно же ты надоел райвоенкому весной 42-го, пока не угодил в автоматчики. "Ваш товарищ Валентин Вайсман пал смертью храбрых с оружием в руках". Тот лейтенант не был стилистом, но он прибавил — сверх привычной формулы: "Вы можете гордиться своим товарищем". Они и сегодня, эти слова, — как упрек... Я любил его, я привык к его верности, но гордиться стал позже. Я опоздал. Я обделил его этим при жизни. Впрочем, не все ли мы, тогдашние, отучились либо вовсе не выучились — гордиться?

"Сохраню ль к судьбе презренье, понесу ль навстречу ей непреклонность и терпенье гордой юности моей?" Знаешь, я часто думаю: была ли наша юность гордой? Непреклонной — да. Терпеливой — да. Но гордой?! А может, это удел немногих? Может,

* Нина Разумовская (1922–1949), окончив аспирантуру исторического факультета МГУ, преподавала в Ивановском пединституте. На собраниях, где избобличали "космополитов", выступила против и осталась в одиночестве. Вернувшись домой, покончила с собой. Похоронена матерью и друзьями в Москве.

с этого и начинается особое – классика? Может, без этого не было б ее, а без нее и не-гордых нас?.. Тогда, в 41-м, когда топали от Десны, ты все спрашивал дорогу, а я сердился (и заплатился за это). Меня, вероятно, одолевала дурацкая уверенность, что все неудачи (наши!!) временны, как же иначе, и потому надо держать голову выше, поверх голодухи и вшей. Но когда за Калугой мы увидели первый наш ястребок, слезы были на твоих глазах.

...Не подумай, что, вспоминая тебя – вслух, – я хочу тобою что-то кому-то доказать. Я знаю, ты был бы против, ты просто возмутился бы. Так зачем же – о тебе сегодня, здесь?

Изволь. Я хочу тобою спастись от мрачной метафизики, от слов-призраков. Давай, как некогда, пустимся в бесконечное плавание общежитейского разговора. Давай обсудим: вероятно, раньше, чем всеобщий предок наш открыл жизнь, он открыл смерть. А свободу (смысл, цель, воздух) человек открыл рабством. С каких-то древних времен рядом то и другое. Смертию смерть поправ – это ведь не только звучно. Это серьезно. Был Рим – Мир. Невыносимая жизнь, жизнь-рабство, которой вызовом смерть-жизнь: единственный свободный – тот, на Голгофе. ...Образ, знак, катакомбы, гибели в муках – и лишь затем уже втесненная вера. Она и ереси. Ереси и инквизиция. Для учеников, по коим учились и учили, большего и не требовалось. А что еще – большее?

Ты не дожил до Победы, когда не только верилось, но и виделось: все на свете начинается сызнова. После Голгофы Двадцатого века снова – смертию смерть поправ... Не получилось. Не вышло. Жизнь стала совсем другой, а люди? Где они, где поправшие смертию-жизнью жизнь-несвободу?

До жути открытый вопрос. И закрываемый – страхом, расчетом. И неведением, и цинизмом. Союзом их, сделкой их, их симбиозом. Что же – в противовес? Ты молчишь. Ты подавлен, милый друг мой. Я отвечаю. Мой противовес – ты.

Самый родной из тех родных, с кем прожили пять истфаковских лет – на Моховой и Стормынке, под Едьней и Москвой; из тех, кто убежден был, что если и погибнет, то не зря... Самый родной из них, кого потомок, не злобствуя, а с состраданием назовет – слепые. Из них, про кого потомок, преклонив голову, скажет: чистые.

Слепые и чистые: первые ли, последние ли? Смею утверждать, что в летописи Гомо на самых достойных страницах – они. На самых достойных, но на самых ли понятных, способных быть понятыми в нашем веке – веке-последьше или веке-зачатии?

Да, вот еще: стал думать о тебе, и вдруг само выскочило нелепое, смешное. То ли в последний, то ли в предпоследний наш

университетский год забавлялись тем, что писали на доске: "О себе скажи!" В адрес чванных, болтливых, скучных, да и просто в шутку. Страшное, что навязывалось, без расчета переделали в смешное — от себя. А теперь вроде в самый раз. Каждому — жалующемуся, ждущему манны небесной: о себе скажи!..

А что сказать — о себе? Что годы идут, не уменьшая мета-ний, сомнений? Что растут груды черновиков — и на любой строке вопросительный знак? Что нет сил отречься от наших Воробьевых гор, которые даже клятвы не требовали, лишь звука горна, лишь заветной строчки: "без России, без Латвии"? Отречься от Мира, равного человечеству, от человечества, какое не меньше, чем Мир, — нет сил отречься, даже когда догадываешься: не быть ему, единому, себе равному человечеству.

С каждым годом и днем — ближе оно и дальше. И в каждом ближе-дальше. От нас, здешних, так пошло. Нами "придуманно", мы сотворили это ближе — дальше. А может, только такому человечеству не быть, которое выучили назубок?.. "Теория не вексель, который можно в любой момент предьявить действительности ко взысканию". Недурно сказано, а? А кем, страшно вслух произнести, — в молодости нашей не было чудища страхолюдней, чем тот апостол мировой революции, которого ледорубом по черепу, чтоб навсегда умолк. Он ли оказался прав либо и он банкрот?

Ни "в одной стране" — ни во всех.

Одно одинаковое, одинаковостью единое — нигде. И разное, непохожее, неединое: то ли? То ли, о котором мечтали, ради которого гибли, мучили близких и истязали себя?

Туман, туман, а время не ждет, и твое собственное раньше другого. От времени не убежишь ведь. Или сегодня иначе, или сегодня наоборот: не убегая убегаем?!

Припадочек у нас был-с!

Однако в 46-м, когда только началось*, и даже в 49-м, когда стало разворачиваться, не те все-таки сны снились. Не Раскольников с топором, не Порфирий со сладко-жалостливой улыбкой. Не преступление, не наказание. Не тем вроде жили. Не к тому вроде бы и наяву шло... Всего-навсего очередная идеологическая приструнка. Просто: дискуссия широких кругов общественности с литературными отщепенцами, а затем — их

* Начало-то это, конечно, не изначальное, у него своя предыстория, в которую если не столетия входят, что по меньшей мере десятилетие — от рубежа 20–30-х, с их первыми заявками на коммунистическую "Россию для русских", к каковой уже придатком (коминтерновским, антифашистским) полагался "остальной" Мир; поставив перед каждым из коммунистических прилагательные "квази" и "псевдо", мы, конечно, облегчили б себе душу, оставив нетронутой суть.

же, широких кругов, полемика с кучкой безродных космополитов (и хотя пополнение списков допускалось, но лишь до определенного предела, иначе – не кучка). Не попал в список – живи, рождай, дерзай!

Да и кому, кроме испытавших страшное и угадавших неискоренимость его, пришло бы на ум, что возобновление – за дверью. "Если верить пифагорейцам..." Хотелось не верить; даже тем, кто догадывался, хотелось не верить; что уж говорить об остальных – среди оставшихся жить, среди вернувшихся в жизнь. Кто из них, едва снявших шинель либо только отпоривших с нее погоны, – кто и в какое зеркальце глядя мог узреть себя ж, одним махом превращенного из сильного, уверенного, блаженно-счастливого, безмятежно-открытого (всем, всем!) – в постыдно-слабого, в мучимого и в мучителя, и без всякой вооружбы, безо всякого колдовства, даже без особого понуждения.

Один только списочек к началу... Тайна, тайна из тайн, и пока не разгадали – глухие, даже когда говорим, и слепые, когда разглядываем: кто-то, к примеру, с трибуны ЦДЛовской сидящих в зале, а сидящие – трибунов, рифмотворцев ли или тех, у кого звучное имя "критики"; и, кажется, раздайся вновь свисток... А может, он и раздался уже, но не расслышали, может, есть такой, ультразвуком, слышимый лишь посвященным?

Нет, как ни толкуй о беге времени, что ни говори о разительности всесветных перемен, существует вчерашний человек: один на другого непохожий, как все мы, теперешние, непохожи на того послевоенного (и прическа, и штаны, и меню, и прочая семиотика вовсе другая), а колупни, а случись, а замаячь не то чтобы даже беда, а маленькая беденка, смотришь: вот он – вчерашний.

Но впрямь ли он? Он или все-таки лучше того: памятьливей, совестливее? Или хуже, но иначе: изворотливей, выученней, самодовольнее? А тот – кто ж он был? Позволивший себя, победителя, в грязь втоптывать, позволивший себе, победителю, топтать – победителей же?

Во всем этом, конечно, был свой неблизкий, но и не очень далекий прицел. И не то чтобы смысл, совестно как-то о смысле говорить, памятуя и то, что было, и то, что быть могло. Не смысл, но и не бессмыслица – очевидная, банальная. Именно банальная, банальностью зловещая и непонятная. Сзади той экспериментальной дискуссии, тогдашней "Классика и мы", смысл-оборотень. За слегка высунувшейся верхушкой толща айсберга с обманчиво прозрачными краями. Погибнешь ли от толчка или захлебнешься в ледяной воде – конец один, но от чьих рук? Рук нет. То есть, конечно, есть они – руки. И те, что подтолкнул, и другие, что разомкнутся в этот самый момент. Но

чи — руки? Как опознать — по мозолистости либо, напротив, по ухоженности? Не тот теперь признак, устарел, как и соответствующая графа в анкете; ведь не нос они и даже не уши, самое главное-то у рук не узнаешь. Руки — это тоже "форменное", такой же вздор, как и "убежит". Не руки чи-то — стихия. Своя кровинка, родная речь, по которой себя узнаем и от других отличаем, — и все остальное, без чего не больше мы чем беспачпортные бродяги в человечестве (и кем сказано: умри, Виссарион, — лучше не напишешь, а если что иное писал, то теперь — не к месту; к тому ж блуждал, разным Западом соблазняемый, совращаемый).

Оно, конечно, все это — вчерашнее и даже позавчерашнее, нетрудно бы списать его, благо есть на кого, и объяснить вроде бы несложно, благо есть объяснители.

Объясняющие есть, но вот объяснение не дается. И если бы еще только тем, кто жил тогда, жил, а значит, видел, слышал и... молчал. И не то чтобы вовсе лишенный чувств и не то чтобы вне сознания, но с каким-то специальным устройством ума, наперед готового объяснить, а объяснивши, успокоиться — на том, что объяснимо и, стало быть, не поперек законов истории, а если не поперек, значит: так и надо. И ведь не только тем концы с концами связать не дается, кто тогда жил и повязан тем, что жил и выжил, — но и следующим за следующими; и факты вроде почти все налицо — главная тайна, она уже не в тайных архивах и даже не в спецхранах (хотя и там, конечно), но — тайна ли?

Кто-то в ужасе отшатнется, когда услышит: не менее всемирен 1930-й, чем 17-й. Не менее всемирен 1937-й, чем 21-й, а 1939-й — чем 45-й. Не менее всемирен 1968-й, чем 56-й. Кто-то отшатнется в ужасе, а кто с ухмылкой, с презрением: а разве могло быть иначе? Чего добивались, то и получили. По заслугам. По заслугам-с.

Крючок с наживкой. Сорваться с крючка многим ли лучше, чем заглотнуть? И что опасней — на месте стоять либо решиться на самый трудный, на самый рискованный шаг: опознать и принять прижитого совместно уродца с генетическими задатками Голиафа?.. Чем свирепей бьет — неудачами, потерями, дурными приметамы — окрестная жизнь, то самое бытие, что не обойдешь, не обскачешь, тем сильнее гвоздит сознание безумная мысль, отечественная наша беда — и беда и дар. Ею, быть может, мы не беднее, не исключишь, что и богаче других. Не зарыть бы, не погубить это странное, это страшное богатство, не затоптать, не заплевать бы его суесловием (обычным и навыворот), экстравагантностью — на вынос, перстом указующим для согласной паствы.

Не погубить, а отстоять: спором, делом.

Пока не поздно. Не разучившиеся жить по сценарию не попали бы в новый...

Спокойней, спокойней. Поучимся этому, например, у автора со столь благополучной судьбой, как Михаил Афанасьевич Булгаков. Писал в собственный стол, умер в собственной постели от собственной, отчасти даже по наследству доставшейся болезни. А сейчас читаем, обсуждаем, даже цитируем. Классик — без лишних слов. И главный труд его не только не опоздал, а можно сказать, в самую пору пришелся, раньше б и не нужно.

Оно, конечно, жалко, что автора нет, что умер досрочно. Но возлагать вину на "кого-то", тем более на время, на эпоху, — не мелковато ли? Теперь как раз эпоха его именем, в ряду, разумеется, других имен, будет именоваться. Она, скажем, и булгаковская, и шолоховская, и... а этих двух разве мало? Не числом ведь, а умением, как истари повелось. Примеров — достаточно. Опять-таки николаевщина, уже упомянутая, сколько в себя вместила — от Пушкина и Гоголя до нечаянной смертью прерванного Лермонтова, до недорасстрелянного Достоевского, не считая Белинского и прочая и прочая; каждое из их имен не прочее, а величина, самобытность, прорыв народности в самые верхние этажи художественного узнавания и освоения. Те 30-е, те 40-е — и наши, восьмерку на девятку поменявшие, разве не схожи?.. Кто-то морщится, а кто-то даже с места рвется, восклицая: вот именно схожи — себе и нам на пагубу! Что ж, есть кому среди нас принять этот вызов, поелику бояться совпадений (история ведь) — занятие, простите, для кисейных барышень. Да и классика сама не на том ли выросла, себя закалила, что от собственного прошлого не отворачивалась, вообще в раж не впадала, зная, что раз Россия жива и вопреки всему живой осталась, значит, и впредь живой будет, а раз она, то и мы — те, кто она...

Булгаков как раз это и знал. И нам поведал. Того ради и знаменитый роман свой написал. Сомневаетесь? Напрасно. Зрите, внимайте...

"Он весел, беспечен и мил во всех описаниях шайки, за которой следит чуть ли не с репортерским удовольствием. Его тон спокоен и насмешлив. Отчего это? Первая мысль, естественно приходящая в голову, — от отчаяния. Ударил себя в лоб, как пушкинский Евгений, и "захохотал". Но, кажется, здесь никакой истерии не слышно. Речь быстрая, но ровная и четкая. От равнодушия? Может быть, это уже безучастный смех над тщетою человеческих усилий, с астральной высоты, откуда и Россия-то — "тлен и суета"? Тоже как будто не так.<...> Отчего же тогда?"

Эти весьма занимательные строки принадлежат примасу новой "экспериментальной дискуссии" Петру Васильевичу Палиевскому*. Статья его — "Последняя книга М. Булгакова" —

* Цитируем тут и ниже программный сборник "Пути реализма. Литература и теория", вышедший в издательстве "Современник" в 1974 году.

помечена 1969 годом: первым после памятного предшественника. Однако долой намеки! Дата как дата. Написалась статья, и слава богу. Наше же право — предположить лишь, что нынешняя позиция автора находится хотя бы в некотором логическом отношении к его былым высказываниям. Поэтому нас не может не заинтересовать ответ, который он дает на им же поставленный вопрос. Булгаков, читаем мы, совершил странный поворот,— странный "для серьезной литературы XX века", которая привыкла уважать дьявола. А автор "Мастера и Маргариты" уважением к нему, к дьяволу этому, не страдал. "Он (Булгаков.— М. Г.) смеется над силами разложения вполне невинно, но чрезвычайно для них опасно, потому что мимоходом разгадывает их принцип". Принцип же этот весьма несложен, каким только и мог быть у шайки — спянной, хорошо вытренированной, но все же не больше чем шайки. Этот принцип — подражательство. Воланд со свитой вторят, утрируют, влезают в чужие роли, квартиры, одежды; им невтерпех — у всякой такой гастролы есть свой срок,— и потому они нагромождают одно похождение на другое, одно наглей другого, набивая себе цену в растленном воображении обывателя. На деле же их сфера предельно узка. "Заметим: нигде не прикоснулся Воланд, булгаковский князь Тьмы, к тому, кто сознает честь, живет ею и наступает". Итак, нечистой силе, как бы ни изголялась она, не ухватить у "подлинного" его начал. И значит, всем своим коварством только чистит, выжигает его слабость. "Безжалостное исправление того, что не пожелало само себя исправить. Собственное же положение ее остается незавидным; как говорит эпиграф к книге: Часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо". Все разоренное ею восстанавливается, обожженные побеги всходят вновь, прерванная традиция оживает и т.д."

Ну, разумеется, так. Именно и только так, как объяснил нам критик. Оно, конечно, под "прерванной традицией" должно разуместь здесь нечто весьма положительное, тем паче что "обожженные побеги всходят вновь". Не вполне ясен только источник вышеприведенной сентенции — вытекает ли она из "недосоставленной книги", как именует булгаковский роман автор выше названной статьи, либо это собственное дополнение к этой книге, хоть отчасти выполняющее ее обидную "недосоставленность" (восхитительное же "и т.д." лишь вносит еще штришок в ставший отныне полным и разъясненным смысл романа). Читатель, однако, в недоумении. По своему простодушию или благодаря собственной "недосоставленности" иное вычитал и за педагогически-гигиенический комикс никак не хочет принять прочитанное. Уперся этот влюбленный читатель, зачитавший до дыр журнальные номера (нет хода в "Березку" иль недоступен тебе черный рынок — на книгу не рассчитывай), уперся и даже

позволил себе рассердиться на именитого критика. И по той же простодушной склонности к вопросам так и сыплет ими!.. Куда ж девался у вас сам Иешуа, он и его дотошный верный Левий, где пряткий изменник и нетерпеливый любовник Иуда, где всадник Понтий Пилат и опекаемый им Ершалаим, великий город, который накрыла тьма, пришедшая со Средиземного моря ("Пропал Ершалаим <...> как будто не существовал на свете")? Где это все — то, без чего, как полагает читатель, и романа нет, а есть лишь некий огрызок его, осевший то ли в архиве известного литературоведа, ныне покойного Латунского, то ли в какой-то редакционной россыпи, то ли просто один из фрагментов, с феноменальной протокольной точностью воспроизведенный (по памяти) менее известным и как будто еще непокойным Алоизием Могарьчем? И уж, конечно, это кто-то из них (либо уже дело рук цензуры?) выщипал из экземпляра, доставшегося П. В. Палиевскому, страницы, какие одни могли бы сделать бесмертным булгаковский роман, — страницы о любви, о единственной спасительнице гонимого и травимого, заживо убиваемого художника.

Прошедший школу Шестидесятых годов, читатель наш может прямо-таки обрушиться на ни в чем не повинного критика: отчего о гонителях он ни слова, почему к убийцам внимания нет? Где ж, завопит этот "оттепелью" подмоченный читатель, в каком именно месте, уважаемый и даже многоуважаемый Петр Васильевич, происходит восстановление разоренного и оживление прерванной традиции, как изволите выражаться, имея в виду (из текста вашего следует!) свидания Мастера с Иваном? Образцовую психушку профессора Стравинского за Литинститут принимаете либо даже за заповедник, где воскрешение особое производится — из бездомных нелюдей в человеки, у коих почва под ногами, твердь на веки вечные? Не дурно ли: психушкой к тверди, психушкой — к вечному?!

И даже за шайку готов заступиться этот чрезмерно буквальный читатель. Чем-то она ему любя — своими ли набегам на Торгсин и "Грибоедова", своей ли неуловимостью, завидной неуничтожимостью в схватках, каким и быть бы не должно по нашим нравам и обстоятельствам, — а может, не уходят из памяти поэтические строки финала, в свете которых и слово "шайка" как-то произносить неловко, да и покрупнее слова в этом ряду, вроде как мафия, клан кем-то избранных, чем-то отмеченных, имеющих вход "наверх" и выход отдельный, — так даже эти слова на языке застревают, чем ближе к развязке ("На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью поводя, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. <...> Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья

по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутком, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны...”).

Видно, в том все-таки раздор между этим нашим читателем и этим нашим критиком, что неспокоен читатель и автору побывшегося романа готов отказать в том самом спокойствии, которое столь обрадовало и прямо-таки воодушевило критика. Не замечает этого самого спокойствия, упрямятся читатель, и заново — к книге, беря и врачую ею себя. Всей — от начала до конца и от конца к началу, в конце ища не столько разгадку, сколько надежду. За Начало (за собственно человеческое начало) беря булгаковский исход, булгаковскую коду — с ее тревожной непонятностью, с ее нарастающей от такта к такту серьезной торжественностью, с ее окончательными расправами и последними прощениями, обоснованность которых не столько подтверждается, сколько перечеркивается прощением навсегда.

Прощанием с жизнью, какая она есть, в чем-то самом главном несправимая — и неповторимая. Прощанием со словом и даже со звуком (“Слушай беззвучие <...>, слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной”). Прощанием с Городом, со вторым ли Ершалаимом, с третьим ли Римом: с городом, “который ушел в землю и оставил после себя только туман”...

Не раздражайся, читатель. Тревожься, совестись, за счет погасшей души художника оживляй собственную, но не сердись. Критик ведь тоже человек. А раз человек, то, значит, вправе иметь свои привязанности и свои неприязни, любимые и, наоборот, нелюбимые страницы. Свое поле зрения. И хоть не классик он, но все-таки тогда лишь читаем и уважаем нами, когда мы замечаем в его “поле” то, что в наше не попало; не исключено, что и попасть не смогло б, если бы сначала не замечено было бы им. Вот мы с тобою, к примеру, наслаждаясь романом и переходя не раз, не два от смеха к раздумью, удивились бы тому, что переходим — так легко и без всякой задержки, без внутреннего сопротивления — от этого раздумья к этому смеху (“...над чем смеетесь, над кем смеетесь?..”). А критик остановил нас, привлек внимание, разъяснил, уверил: потому именно нам так легко, что не о нас речь. Мудрость великая в том и состоит, что смеемся не над собой, а лишь над тем в себе, что не-наше, извне внесенное, и смехом же освобождаемся от этой застрявшей в нас “слабости”, укрепляясь в подлинном, разложению не подлежащем “начале” (“Классический русский смех”, — разъясняет наш критик). Странно, правда, замечает читатель, что выправляется

Коровьевским или Бегемотьим нагличаньем то, что "не пожела-ло само себя исправить"? С чего бы это нежелало, если подлинное? И почему это Воландовой шайке, эпигонам этим, этим шутам гороховым, плагиаторам, перевертышам, дано то, что нам — с нашей подлинностью — не дано? (Впрочем, еще Макс Волошин, коктебельский кудесник, внушал молодой Цветаевой, чтоб никогда не произносила: "подлинное". "Почему? Потому что оно похоже на подлое?" — Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, а подлинное, подлинная правда, та правда, которая под лиськами, а лиськи — те ремни, которые палач вырезает из спины жертвы, добываясь признания, лжепризнания. Подлинная правда — правда застенка").

Оно сомнительно, конечно, чтоб П. В. Палиевский из этого исходил. Подлинное у него именно и только подлинное. То есть действительное, то есть истинное, другого он (критик) не знает и знать не желает. Как человек сведущий, не один год русской словесностью занимается, о лиськах, разумеется, слышал и вовсе не за лиськи стоит, а уж чтоб из собственной его кожи вырезали, то наперед, осмелимся предположить, исключает, не для того она ему отпущена — кожа... Не за лиськи стоит, а за народ. За неискоренимый, единственный. Здесь — единственный, а "там", за кордоном, свои единственные. И каждый раньше ли, позже ли, но лиськи и иные напасти, из коих лиськи еще не самые страшные, одолевает, отодвигает; однако не все сам, не всегда сам, и тут особая роль у тех, кто вчера лиськами распорядился, сегодня же, историей выученный, действует по возможности более цивилизованно. Ими-то, собственно-ручно ими, или по заданию, по команде ихней, наши слабости и выжигаются! Больно, но для здоровья — народного — полезно. И на месте выжженного — цветенье заново. По закону природы, как говорил все тот же неумирающий и неутомимый Порфирий Петрович...

В согласии, видно, они, Петр Васильевич с Порфирием Петровичем. А почему б и нет? Кто запрет на это согласие наложил? А может, в согласии этом и заложено то самое начало, которое и подлинное и истинное, поелику истории соответствует, тем, собственно, и отделяясь от разных интеллигентских забав и смут, от этого мельтешения зряшного, бросков из крайности в крайность — от чванства (мы-де готовы "построить все иначе, без народных иллюзий") к амикошонству самому что ни на есть вульгарному, в обнимку с любым бродягой... Историю же то отличает (и согласие упомянутое как раз на этом и держится), что она, история, не мельтешит, не чванится, не бродяжничает и даже когда раздирается надвое, полюсами сшибаясь, то не к пресловутой середине идет, тоже гомункулюсами придуманной, исподтишка навязываемой, а к "центру" — устойчивому, непоколебимому. Слушай, читатель, хоть и из другой статьи, но

того же автора излюбленные мысли, слушай и на ус мотай: "Эта "середи́на", которую никак нельзя путать с межеумочной, — основа. Она не середина, а **центральное**: и это центральное в шолоховском мире есть. Мощный ствол, соединяющий в целое, казалось бы безнадежно распавшееся, восстанавливающий с помощью пробившегося вперед передового общий рост".

А ты, читатель, неужто не за общий рост? Или сомневаешься, что именно так история шла — от будто безнадежно распавшегося (подставляй, если хочешь: революцию, войну гражданскую, подставляй, но знай — ответственность на тебе...), от этого, казалось, навсегда разделившегося на станы, классы, — к возрождению: и не просто там единства, о котором каждый в любой газете напишет и прочтет, а к возрождению мощного ствола?! Мощный ствол сам себя восстановил, правда, опять-таки не вполне сам, а "с помощью" передового, какое как побилось вперед, так с тех пор впереди и находится, вперед себя ставя тех, кто еще родней стволу (и этим выгодно отличается от начальных передовых). Закон природы-с. Этим-то мир и держится, любой — человеческий. Булгаковский и шолоховский. Шолоховский и фолкнеровский*. Да и как иначе, не против же естества им, всем трем, идти, не против того, что вечное. Вечное, но не неподвижное. С неперменным строгим движением, где компасом безотказным — народный характер. «Эта безмолвная сила, неуклонно разворачивающая свой план, производит самое странное и в то же время очень реальное впечатление. В каждом характере, изображенном им (Фолкнером.— М. Г.), она доказывает — как он выразился об одной из своих героинь — "безразличие природы к колоссальным ошибкам людей"».

Вот он, вот он — ключ, разом и к истории и к классике. Вместе с П. В. Палиевским мы на пороге разгадки: не частной, а всеобщей и оттого применимой к каждому отдельному казусу. Еще шаг — и булгаковская веселость, булгаковская беспечность, его "репортерское удовольствие" станут нам до конца понятными; да и он сам со своим едва ли не единственным героем, с Иваном Николаевичем, сбросившим в психушке клоунский наряд Бездомного и вернувшимся в человеческий, народный облик Понырева ("нового Ивана"!), займут подобающее им место во всемирном классическом ряду. И тут уже не родство даже (Булгакова с Шолоховым, с Фолкнером), а полное единство, едва ли не тождество. Уместна поэтому еще одна выдержка из Петра Васильевича, из статьи его "Мировое значение М. Шолохова" (написанной спустя четыре года после отклика на булгаковский роман): "Все мертвое горит, выгорает до пепла, и языки этого пламени задевают, коречат живое. Но как будто для его

* Каждому из этих писателей посвящены статьи в названном сборнике П. В. Палиевского.

же пользы; *в исправление того, что оно не могло или не пожелало само в себе исправить...*" (курсив мой.— М. Г.). Не правда ли, слово в слово? Что о Булгакове, что о Шолохове... Может, кто-то заподозрит нашего критика в бедности лексикона. Напрасно. Писать он умеет, и очень складно, и если на дословность сбился, то оттого лишь, что идею свою хочет покрепче в читательское сознание внедрить, дабы иные, пустяшные или вовсе ложные идеи это сознание не соблазнили, не заполонили.

...Поставь, читатель, здесь дату — 1941, отступи от нее к поздней осени 29-го, а потом отсчитай еще пять лет — до декабря 34-го и еще без малого пять до дня, когда "ненападением" назван был вход в Войну, — и неужто не станет у тебя все на место, и в делах, и в поступках, и не в последнем счете — в настрое. Спокойствие придет, вера в завтрашний день и в то, что если, не дай бог, вновь "критический момент" возникнет, то с честью выйдем и с поднятой головой, и если даже не сразу с честью и не непременно с уцелевшей головой, то в последнем счете только так. Неужто во имя одного этого не претерпеть, что "языки... пламени задевают, коречат живое"?!

Тут бы и кончить, но читатель недоволен. Чем-то ему не удружил критик. Мало сказать: не удружил, крепко насолил. Не только к спокойствию не привел, но окончательно из равновесия вывел. Чем же? Тем, что в один ряд Шолохова с Фолкнером поставил? Либо тем, что о каждом из них написал как-то избирательно: в Америке Фолкнера, в фолкнеровском космосе Юга, опустил негритянскую тему (разрушающую "белую" душу и возвышающую ее же встречей с "черной" душой, — встречей, про которую не скажешь, в последнем счете как раз не скажешь, — состоялась ли или еще призвана состояться: полной-равной); а в оде Шолохову упустил финал "Тихого Дона", вносящий, что ни говори, резкую диссонирующую ноту в столь крепко выстроенную критиком концепцию благодетельного центра, торжествующего народно-государственного "ствола"?! Однако все же не прямо это вывело из равновесия нашего читателя, хоть и не прошел мимо, отметил авторскую избирательность, даже собрался написать о ней, в эпиграф вынеся из Фолкнера же: *только проблемы борющейся души рождают достойную литературу*. Даже первую строку написал: критика тоже литература и также требует человеческой души, сражающейся с собою за себя... Написал и запнулся, бросил. То ли безгласность одолела, когда вспомнил о смерти "в виде нянечки" ("...смерть у Шолохова — это какая-то метла в жизненном доме. Так и представляешь ее не с косою, как сколько раз рисовали, а в виде нянечки или уборщицы"), то ли побоялся на фельетон сбиться, выясняя с критиком нашим, как при наших-то обстоятельствах ее, досрочную смерть, лучше изобразить: "нянечкой" либо уборщицей без всяких сантиментов, которой и метла, выметающая жизни,

больше подходит; да и как весь "жизненный дом" наш представить, чтобы был он и дом и "ствол".

Не исключено, что и по другой причине запнулся читатель. Озноб его одолев, когда о "прерванной традиции" задумался, и реализм всеобъемлющий П. В. Палиевского как-то иначе глядеться стал. И реализм — и народолюбие, которое тем большее любие, чем больше "центрального" в названном доме-стволе.

"Революционный сдвиг создал аппарат, рассчитанный, подобно клеткам человеческого мозга, на долгое заполнение вперед". Сколько тут восклицательных знаков ни ставь, а вроде недостаточно. Об отмирании "аппарата" впору говорить сейчас лишь в шутку, а если всерьез, то не в психушке ли, и уж, вероятно, не в такой, как у профессора Стравинского: пожестче, построже, голоднее, больше... "Аппарат" этот, правда, не давнишний, но со вчерашнего дня в самом расцвете: и материя он, и сознание, и этика, и эстетика, и вся прочая гуманитария. Наш космос. Без границ — в границах. И ежели веру в народ блюдешь, как святыню, то путь один: в "аппарат", в тот самый, что подобен "клеткам человеческого мозга". А поручкой, что всему этому прочность и даже вечность обеспечена, она — Россия: "реалистическая страна"!

Как не понять (ведь так хорошо Петр Васильевич растолковал нам), что и писатели — подлинные — сплошь реалисты, и именно в упомянутом смысле, только в нем, строго в нем. И автор "Мастера и Маргариты" лишь в этом самом смысле — подлинный, подлинно русский. "...Булгаков никогда не думал, что мы гибнем". "От превращения Бездомных в Поныревых слишком многое зависит, чтобы автор мог отнестись к этому несерьезно..." "А трудности своей судьбы он умел преодолевать..." Взъярился в этом самом месте читатель, вспомнив из биографии М. А. Булгакова те "трудности судьбы", про которые принято говорить, что вопиют; сообразил даже под Фагота реплику: "Поздравляю вас, гражданин, соврамши", — но тут же скис, снова в озноб ударился. Галлюцинации одолели. Себя вспомнил — в незабываемые Шестидесятые. И как открыл впервые Булгакова, и как захлебнулся им. Как с Иешуа породнился. Как Иуду задним числом проклял, как влюбился в Маргариту и Мастера оплакал. Как повторял убежденно, уверенно: рукописи не горят, не горят!! И уж, конечно, отлучил презренного Пилата. Оно ведь и понятно: такими уж убежденными, в себе уверенными были те наши (уже в прошедшем времени) Шестидесятые; миловать ли им было Пилата, кто в иную эпоху — Людовик XIV, а если поближе, то Дантес, как пояснил тогда в самом читаемом журнале самый прогрессивный критик. Ясно без лишних слов: какая там Голгофа после XX съезда...

И еще вспомнилось читателю (как льдинки друг на друга — полуявь, полусон): детская надпись в посетительской книге на

Мойке: "Жаль, что Пушкин не дожил до наших дней". Вот бы славно! Но нереально. А Михаил Афанасьевич — по законам природы — вполне смог бы. И после XX-го — в президиум "у Грибоедова", кандидатом на госпремию, а то и полным лауреатом, а в конце, если бы конец на эти годы пришелся, — бюст в том самом ряду, что начинается лучистым Никитой на черно-белом постаменте, а кончается Твардовским. Славно бы, да нет. Загрустил читатель: и это, ближее, нереальным представилось ему. Подумал: и без Черной речки загубили бы. Либо собственной борющейся душой замучился бы, как тот — последний в том новодевичьем ряду.

"Помоги, Господи, кончить роман. 1931 г." Думал написать Евангелие от Мастера, а выросло, а выписалось Евангелие от Пилата... Читатель наш даже во сне от удивления воскрикнул: о Пилате-то молчок (на критике заикнулся, статья его из читательской головы не выходит). И впрямь — молчок. Но вроде бы и не обязывался о всем, о всех. Вроде бы и не к чему Пилат. Вот если бы какую роль мог сыграть он в обновлении, в перерождении — Бездомных в Поныревых, вот если бы появлению "нового Ивана" поспособствовал!.. Так нет, проходная фигура, почти что лишняя в "недосоставленной книге". Что ж, а ведь по-своему прав он, Петр Васильевич, в логике ему не откажешь. Истинно: в "реалистической стране", где у Порфириев Петровицей хлопотам ни конца ни края, — там не до Пилатов. "Ведь этот мир ни секунды не колебнется перед таким понятием, как личность. Не отвергает ее и, без сомнения, чтит, *но, если надо, свободно перешагивает*". (Признаюсь, и тут курсив мой, не выдержал!) Вот он — реализм, и не на подножном корму. Вот она — мудрость, превзошедшая пустопорожнюю, к делу неприложимую совестливость. Личность не отвергаем, так сказать, с порога. И даже чтим (что мы, хуже других?!). Но чтобы колебнуться "перед таким понятием" — это уж слишком. А если эта самая личность "ствол" задумает оспорить, на "аппарат" покуситься? А если — и того опасней, недопустимее — сам "аппарат", рассчитанный "на долгое заполнение", начнет заполняться такими, которым невмочь свободно перешагивать? Беда! Смута! Тогда уж и аппарат не аппарат, и ствол не ствол, и таким манером не заметишь даже, как Россию растеряем... Не оттого ли этот самый Рим погиб, что запнулся о личность, дрогнул, увидев ее воочию, Пилатом-то и обмяк? Прав был великий инквизитор: сначала цари единые, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей.

Но по всему видно, Михаил Афанасьевич на тогда не соглашался. Деления этого не ведал. Конкретный вроде бы человек, знал, казалось, цену всему земному, а искал нечто — земное же; всю жизнь подряд искал его и терял. Нечто приходило Образом и уходило Образом, чтобы вернуться и не уйти — до последнего вздоха... Сквозь всю жизнь — мост. Обыкновенный мост, а на

мосту трое. Один в кровавом хмелю изничтожает другого — потому что не-свой и еще оттого, что безропотный, жалкий. Но есть третий. Он видит. Видит, чтобы не забыть: тех двух — и себя. Не забыть кровь и безропотность. Не забыть собственный страх. Сквозь всю жизнь они — мост и страх. Память о них. И искупление словом. Но дано ли избыть словом страх, — страх перед человеком и за человека?.. "Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что теперь он в безопасности — осужденных он видеть уже не мог". "Мы теперь будем всегда вместе, — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга. <...> — Раз один — то, значит, тут же и другой!" "Кто это сделал? <...> Это сделал я. <...> Этого, конечно, маловато, сделанного, но это сделал я".

Так почему же не продолжить это, почему бы не продолжиться этим?! Мысль-надежда (пушкинская, булгаковская): о власти добра над властью. Глядел кругом, содрогался — и надеялся: на то, что кровь взойдет добром — изнутри, внутри. Взойдет человеком власти. Никто не безнадежен, даже мертвые. "Михаил Александрович, — негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза". Даже к мертвому Берлиозу возвращается — вместе с мыслью — и способность страдать. Неужто не дано сие живым? Крупица человечности у того, чья власть безмерна, может сотворить чудо. Как же не подвинуть его — словом и близостью? Слово открывает дверь, близость к тому, кто всевластен, делает его человечней и... Мольер многому научил Мастера. Но есть еще свой, родной кудесник. И горный ангелов полет, и гад морских подводный ход — не по отдельности ведь, не врозь. Узнаешь ли наперед, что в этом Мире, в мире России, что тут самый верхний верх, а что — самый низкий низ?

Не исключить, что создатель Евангелия от Пилата, всматриваясь в Сталина, вспоминал веру предка во "второго Петра". Неудавшееся тогда — не удастся ли теперь? Ради этого стоило жить и творить, творить — и расплатиться жизнью. Измучивший себя Мастер не выдержал этой пытки, — надеждою, да и пронизательная критика (были ведь и в Тридцатые пронизательные критики) недаром травмила его пилатчиной...

Придется поминать того, кто, полный сил
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

Не время ли возвратиться к спору, который не спор, к схватке, какая не столько на сцене, сколько за кулисами ее (и

даже не схватка еще, а лишь разминка)? К аукциону особому, где в распродаже наследство?

Вперед — на плечах предшественников! Вперед — по трупам их! А в конце — мир между оставшимися в живых. Равнодействующая. Загробное единство. Так было — так будет? Либо уже так нельзя? Либо начинать нужно, уже сегодня начинать с равнодействующей: равной и действующей?!

Начинать ею — с себя. Не в особой чести ныне письмо, с каким чембарский разночинец, ставший столичным критиком, обратился к вчерашнему своему кумиру. Может, и прав был, но форма, форма... "Кто поверит, что, когда Белинский писал его, он был уже не прежний боец, искавший битв, а, напротив, человек, наполовину замиривший и потерявший веру в пользу литературных ошибок, журнальной полемики, трактатов о течениях русской мысли и рецензий, уничтожающих более или менее шаткие литературные репутации", — свидетельствует П. В. Анненков, наблюдавший внутренний перелом в критике, который судорожно и страстно искал "новую правду": истину общественного долга, долга ничем не стесненного слова, свободного и от произвола и от всякой узости, пророческой нетерпимости, менторского очернения "чужого". "А что же делать? — сказал он (Белинский Анненкову — первому слушателю знаменитого письма). — Надо всеми мерами спасти людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер".

Тяжко читать, а надо. Но не для мелкого сплетничанья, не для дешевого осуждения. Читать, двигаясь вперед и назад. От 1848-го к 1840-му, например. От письма Белинского Гоголю к письму, которое хоть и адресовалось другу Боткину, но писалось-то себе. Многократно цитированное, вроде известное — строками, абзацами, фрагментами. И не самиздат николаевский, бери с полки том в тисненном переплете, читай... Почитаем же сплошь, без выпусков.

"В прошедшем меня мучат две мысли: первая, что мне представлялись случаи к наслаждению, и я упустил их, вследствие пошлой идеальности и робости своего характера; вторая: мое гнусное примирение с гнусной действительностью. Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всюю искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения! Более всего печалит меня теперь выходка против Мицкевича, в гадкой статье о Менцеле: как! отнимать у великого поэта священное право оплакивать падение того, что дороже ему всего в мире и в вечности, — его родины, его отечества, и проклинать палачей его, и каких же палачей? — казаков и калмыков, которые изобретали адские мучения, чтобы выпытывать у жертв своих деньги (били гусиными перьями по <..>), раскладывали на малом огне благородных девушек в глазах отцов их — это факты *европейской* войны нашей с Польшею, факты, о которых

я слышал от очевидцев). И этого-то благородного и великого поэта назвал я печатно крикуном, поэтом рифмованных памфлет! После этого всего тяжелее мне вспоминать о "Горе от ума", которое я осудил с художественной точки зрения и о котором говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это — благороднейшее гуманистическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар-развратников, против нашего онанистического светского общества, против невежества, добровольного холопства и пр., и пр., и пр. О других грехах: конечно, наш китайско-византийский монархизм до Петра Великого имел свое значение, свою поэзию, словом, свою *историческую законность*; но из этого бедного и частного исторического момента сделать абсолютное право и применять его к нашему времени — фай — неужели я говорил это?.. Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото,— а если этого нельзя было писать, то долг чести требовал, чтобы уж и ничего не писать. Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны человечества au drapeau tricolore— проснулся я — и страшно вспомнить мне о моем сне... А это насильственное примирение с гнусной расейской действительностью, этим китайским царством материальной животной жизни, чиновобия, крестолобия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности, разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности,— где все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетение, страдание, где цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах, где свобода мыслей истреблена до того, что фраза в повести Панаева — "измайловский офицер, пропахнувший Жуковым", даже такая невинная фраза кажется либеральною (от нее взволновался весь Питер, Измайловский полк жаловался формально великому князю за оскорбление, и распространился слух, что Панаев посажен в крепость), где Пушкин жил в ниществе и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляют всею литературою, помощью доносов, и живут припеваючи... Нет, да отсохнет язык, который заикнется оправдывать все это,— и если мой отсохнет — жаловаться не буду. Что есть, то разумно; да и палач ведь есть же, и существование его разумно и действительно, но он тем не менее гнусен и отвратителен. Нет, отныне для

меня либерал и человек — одно и то же; абсолютист и кнутовой — одно и то же. Идея либерализма в высшей степени разумная и христианская, ибо его задача — возвращение прав личного человека, восстановление человеческого достоинства, и сам Спаситель сходил на землю и страдал на кресте за личного человека”.

А теперь немного вперед — от 1840-го, от 1848-го к 1855-му. Герцен в Лондоне впервые печатает в “Полярной звезде” переписку Гоголя с Белинским. Заметьте: переписку, все три письма (два гоголевских, одно — Белинского). К публикации — сжатое примечание, стоящее того, чтобы воспроизвести его слово в слово:

”Обстоятельства, давшие повод к этой переписке, известны нашим читателям. В 1847 году Н. Гоголь, бывши за границей, напечатал в России свою ”Переписку с друзьями”. Книга эта удивила всех. Дух ее был совершенно противоположен его прежним творениям, которые так сильно потрясли всю читающую Россию. Была ли это внутренняя психическая переработка, один из тех болезненных возрастов развития, которыми человек достигает окончательного совершеннолетия; было ли это следствие физического недуга, негодования, долгой жизни за границей или просто кружение ума? Во всяком случае, обнаружение такой книги таким великим талантом должно было вызвать сильную полемику.

Почитатели Гоголя, принимавшие за правду мнения, ярко просвечивавшиеся в его сочинениях, были оскорблены его отречением, его защитой существующего, его принижением — по выражению неославян; они подняли перчатку, брошенную им, и на первом плане, разумеется, явился боец, достойный его, — Белинский.

Он напечатал в ”Современнике” сильную статью против новой книги Гоголя.

Отсюда переписка. Давая новую гласность этим письмам, всякая мысль осуждения и порицания далека от нас. Пора нам смотреть на гласность глазами возмужалого. Гласность — чистилище, из которого память умерших переходит в историю, в единственную жизнь за гробом.

Ничего не надобно скрывать; в гласности — покаяние, страшный суд и неперемнное примирение, — если примирение есть. Сверх того, и нельзя ничего скрывать; забывается, пропадает без вести одно безразличное, пустое.

Вопрос весь в том: Гоголь и Белинский принадлежат ли нам как общественные деятели на поприще русской мысли?”

Не худо бы поучиться. Ведь — классика и мы. Неужто не сподобимся, как они? Неужто не способны — хотя бы не ниже?

Ради России, какая одна на свете. Такая ли или сякая, но одна. Но и свет этот, именуемый Земля, тоже один. Такой ли или сякой, но один.

Не согласуются? Вот он – предмет спора. Спора признающих наперед спора – равенство в споре. Сознующих, что если этому равенству не быть, то не быть не только спору.

Не быть и спорящим...

1978–1979

ЭТОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО*

Женщина в Лефортове — факт чрезвычайный. Мимо него пройти — значит согласиться с ним, признав, что такое может быть: сегодня в единственном числе, завтра под копирку; сегодня в таком обличье, завтра в любом.

И оттого защитить Татьяну Великанову равносильно тому, чтобы сделать такое недоступным, чтобы отстоять принцип: ни этого, ни подобного этому быть не должно.

Причитаниями, однако, делу не поможешь. Защита должна превратиться в обвинение. И это также пора утвердить как норму, — норму совместной жизни разных людей, разных народов, разных цивилизаций, из которых состоит сегодняшнее "мы". Протестовать нужно — и протестовать недостаточно. Недостаточно даже, когда речь идет просто о вызволении человека. Тем более недостаточно, когда речь идет о жизни всех без малейшего изъятия.

Женщина в Лефортове — симптом и символ. Симптом беды и символ надежды. Всеми сегодняшними напастями и недостатками заострена до предела наша главная беда: отсутствие общества. Надежда же не что иное, как превращение того, чего нет — в масштабе России, СССР, — в то, что есть. Для кого "отщепенцы", а для нас — общество.

Общество начинается тогда, когда разные люди солидарно берут на себя ответственность. Общество начинается с того, что заявляет: то, что вне коридоров и кулис власти, то, что с ней в споре, — не менее суверенно. Как дважды два: пока не поставлен законный предел власти, не спадет произвол: "законный" и из подворотни. Аксиома — и наш заколдованный круг. Расколдовать ли его в одиночку? Расколдовать ли, оставаясь в границах слов и жестов после свершившегося?

С того дня, как правозащитное движение назвало себя Хельсинкским, с того момента, когда оно взялось быть соответчиком за исполнение государством его важнейшего международного обязательства, — это движение стало и обществом: зачатком, прообразом современного общества. Здесь, у нас, а стало быть, и в Мире, для какого мы по меньшей мере не чужие.

* Опубликовано в "самиздате": Комитет защиты Татьяны Великановой. Информационный бюллетень. М., 1979, 12 декабря № 1 с. 25–26. Напечатано также в зарубежном сборнике "Поиски и размышления" (1980, № 1).

Сегодня у нас хотят отнять **начало**. Замысел прост: закупорить зародыш общества, отъединить его от своих и от Мира, обречь его на разлад, прозябание, вырождение. Кого-то, вероятно, больше устроило бы "диссидентство в подполье". Кому-то, видно, и в самом деле мнится, что почин открытого слова, **свободного общения и общественного действия без утайки** доступно упрятать в Лефортове. Легко ответить, особенно оставаясь в стороне: пустой расчет. Нет, к несчастью, не пустой...

После пережитого, перед лицом совершающегося неужели не ясно: "зигзаги" — роскошь, которую люди уже не могут себе позволить. Нигде! Тем более там, где история в один роковой узел связала нерешенные (и нерешаемые) проблемы, вопросы, на какие пока нет ответа; связала их с силой, с мощью, которая на исходе XX века сама по себе — вызов жизни.

Еще и еще раз: утраченное не только трудно и с каждым обрывом все трудней восстанавливается. С возобновлением можно опоздать. Сознание этого подвигает на решительные поступки, на спокойное мужество таких людей, как Татьяна Великанова. Их пример обязывает — не непременно к повторению того же. Но обязательно к **продолжению**.

Сегодня никто не имеет права уклониться от ответственности, которой он лишен. Если мы хотим выйти из ступора, если мы хотим сделать действительный шаг вперед — **без катастрофы**, мы обязаны сами заявить себя соответчиками. Форма, мера — вопрос открытый. Но раньше всего его надо сделать открытым. **Открыто сделать открытым!**

И пусть само движение в защиту Татьяны Великановой станет рубежом в отвоевании открытости, в обретении полной ответственности. Хочется верить, что такая защита будет не только достойна ее, но и принесет ей свободу.

6 ноября 1979

НАКАНУНЕ ...

Что же вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

А. Пушкин. Борис Годунов

Собственные ошибки нас хотя бы чему-то учат, но нельзя допускать, чтобы твои ошибки делали за тебя другие, отбрасывая твои идеи, в которые ты по крайней мере веришь, и заменяя их чужими, в которые ты не веришь.

Дж. Болдуин. Имени его не будет на улицах

“... Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!”

Народ безмолвствует. Так начальным эпизодом Смуты определяется ее финал – у Пушкина, вперед чувствующего 14 декабря и многое из того, что после.

Мы знали время (и собой являем время), когда не безмолвствовали, когда кричали. Все – сцепленные воедино. Все – разъятые на одиночек.

И что ж – еще испробовать: Смуту заново – и заново расчет “за отцов”, кровь по инстинкту и покаяние по команде?

Еще раз: “...да здравствует царь Димитрий Иванович!”?

И – безмолвствие в ответ?..

* * *

У самой простой, банальной привычки непростой контекст. Человек поднимает руку – голосует. Обычный наш ритуал. За что – не так важно, много существенней: что будет, когда человек откажется это делать. Не спрячет в кармане кукиш, высунув его затем дома или в другом относительно безопасном месте, а скажет: не хочу. Откажется от ритуала. Спокойно и просто – не хочу.

Что это? Сотрясение основ. Другая жизнь. Даже больше чем голосование против (в “данном”, “конкретном” случае).

Человеку невмоготу – от дискриминации, от стеснений, каких не перечеть, от бессмысленных рогаток на каждом шагу. Человек напрягается, чтобы преодолеть их либо обойти. Но знает: “преодолеть” при наших обстоятельствах – значит отхватить кус привилегий. Раз не-стеснение, не-недостача, то привилегия. Нищая, крохотная, даже нелепая, но – привилегия. Деваться некуда. Необразованному и образованному – некуда.

Тут и проблемы вроде нет. Это будни, обиход, всероссийская наша привычка.

Так отказаться от привилегий? Спокойно и просто: не хочу. Сотрясение основ. Другая жизнь. Но где в нее общий вход? Общего, кажется, и нет. Пока только личный.

А он — не мираж? А только личный — в самом деле другая жизнь? Не вторая, не третья — другая...

"Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами".

Давненько написано, лет сто пятьдесят назад. Правда, автора объявили сумасшедшим. Тем ближе сегодня и сами слова, и пояснения к ним: "Вы, пожалуй, могли бы думать, что я требую от Вас монашеской замкнутости. Но речь идет лишь о трезвом, осмысленном существовании, а оно не имеет ничего общего с мрачной суровостью аскетической морали. <...> Такое существование прекрасно мирится со всеми законными благами жизни; оно даже их требует, и общение с людьми — необходимое его условие".

Не спириты мы, и дух Петра Яковлевича Чаадаева тревожить нам не по силам. А то, пожалуй, услышали б очень крепкие выражения на изысканном французском, либо признался бы Басманный философ: не знаю! Не знаю, как и с какого края вам начинать, знаю только: давно вам пора начать.

Начать — и начаться.

Каждому, не лишенному чувства жизни.

Каждому, кто из всех законных благ самым законным и самым благим почитает общение с себе подобными. Общение во имя, общение ради... и просто общение, что как ходьба для человека — если ноги без особого изъяна, то вроде и нет их, вроде само собой вышагивается.

Вот и "просто общение" — разве не всегда при нас, не всегда — само собой? Да, да, конечно же, так... пока не встала стена. Пусть без проволоки и сторожевых вышек, но стена; и ноги, что сами вышагивали, уже непослушные: не ведут — к кому-то, а уносят — от кого-то.

От "кого-то" — от себя.

От себя — ото всех.

Но ведь не это на очереди у нас... А отчего, собственно, не это? И почему только на очереди?

Еще доступно: отдать на заклятие ближнего. Еще доступней: поступиться дальним. "Не тот, так другой". Но сохранится ли человек, здесь, как и всюду, принося в жертву самое б л и з о с т ь?

Первый шаг к Концу — это.

Первый или, напротив, последний?

"Трагедия не тогда, когда враг умерщвляет врага, а когда брат убивает брата" — так полагали мудрые греки. Но то траге-

дия: действие, в котором жертвы окупаются не успехом, всегда односторонним, а всеобщностью катарсиса — очищения причастностью (и беззащитностью, и открытостью — особенной своей судьбе и Миру без предела...).

Не этой ли беззащитностью, не этой ли открытостью — очищением причастностью — началась и пошла История? Поединком с "до-историей": вовне и в себе? Схваткою, сотворившей личность?

"Брат убивает брата" — это уже не до. На шкале эволюции — почти сегодня. Не станем лукавить, посмотрим правде в глаза. Путь к личности вымощен трупами. Сначала открытие жизни смертью, затем открытие свободы рабством. А следом? Превозмогание смерти — узаконенное убийство. От универсума неосознаваемого рабства к членению на авторов прогресса и доноров его. (Дальним выплеском, случайным подобием — памятные слова из букваря: "Мы — не рабы. Рабы — не мы".)

Помнит ли личность, не забыла ли — откуда? и какой ценой досталась?.. А благороднейшая ответственность — всех за всех и каждого за любого — она не нуждается (по сей день!) в приношениях людьми? Кровью плачено за равные права, но даже самой большой крови, века XX, не достало, чтобы утвердить, сделать всеобщей нормой — равенство в ответственности. Коренную свободу — *знать, понимать, решать*.

Чем сильнее замах, тем неумолимее поражение: ищущих свободы, жаждущих ответственности. Чем крупней рывок, тем страшнее и необратимей последствие.

И расплата — оборотнями. И наказанием — фарс.

Он не смешон (впрочем, на чей вкус), он даже не непременно кровавей трагедии, хотя чаще именно так. Но прежде всего бездарнее. Исключая катарсис, делает доступными мелкость измен и распродажу подвига, замещает ужас страхом, а страх трусостью, себялюбием пародирует честолюбие, самодовольством же — веру в неуклонно победный и справедливый конец (веру и иллюзии...).

Тенью трагедии истории — исторический фарс. Вопреки естеству: чем выше трагедия, тем тень длиннее. И есть ли какая выше и есть ли длиннее — русских, российских?

...После обвала 14 декабря — фарс выдачи, фарс забвения, фарс судилища. 63 голоса из 68: четвертовать главных злодеев (виселица — милость царя!). И только один: "...полагаю: лиша чинов и дворянского сословия и положив голову на плаху, сослать в каторжную работу". Как будто вовсе не доблесть, а обессмертил адмирала Мордвинова, породнив с повешенными. Но рукодельница история (та, что пишется), подменяя черновики чистовиками, сблизает и выравнивает не одних лишь неподкупных, верных себе, она не брезгует и подчистками, проявляя неизменную заботливость о государственных репутациях. Вот и

числиться Михайле Михайловичу Сперанскому, выходящу из "низов", реформатором и законником, а то, что режиссировал николаевский фарс и был из первых энтузиастов четвертования, — в петит, завитушкой в биографии. Да и сохраниться бы иначе на державной вершине лицу, которое (ему ж на пагубу!) мятежники прочили во временные правители нерабской России?

Стоящее ли вообще дело разглядывать, сколько таких, именитых и незнаменитых, в той долгой тени? Скользкое занятие, душу бередит, а толк — где он, в чем он?

Поторопились вот прогрессисты 1862-го отринуть от себя "поджигателей" из нетерпеливых, так понять их должно: ведь эра реформ только в зачине, к тому же как не взять им было в расчет и в испуг — глас народный (Иван Сергеевич Тургенев, тот лично слышал из мужицких уст: "Профессора жгут...") Кара, правда, не заставила себя ждать; и кара-то необычная, по доброй воле — к Каткову в ноги (благо, что свой, просвещенный...). Особенная кара — российско-державным патриотизмом, каковой без публично высказанной ненависти к изменникам-полякам за истинный и сойти не смог бы.

Но стоит ли листать календарь, отступая столь далеко назад? Ближе, еще ближе!

В самой густой тени — мы, нынешние. Отдельными персонами и скопом. Участвовавшие и отстраненные. Активные и равнодушные. Те, от кого пошло, и те, кто народился от эпигонов эпигонов.

Мы, какими стали — и какими остались? Сначала все-таки стали (не забыть бы!). Стали *не-рабами*. Стали зовом, слышимым повсюду. Это-то и сшиблось друг с другом, это-то и обернулось расплатою. Расплатою за то, что недобрали свободы, а недобранную выпустили из рук. И расплатою за "зов", за вселенскую ношу (кому удержать такую?). И не в том даже расплата эта, что упустили свое, не осчастливив остальных, а в том, что позволили собственный исход (то начало, что сродни концу) обратить против. И против несогласных, и против неукладывающихся.

Расплата жизнями — за все, что против Жизни.

...Кто сегодня, пребывая в здравом уме, сочтет за календарную прихоть: сразу за 1930-м (сквозь 37-й, 38-й) год 1939-й, убийцы-побратимы. Наш, а не только "их" Мюнхен; наш, а не только "его" союз с Гитлером, оплаченный кровью все той же Польши.

Сегодня — здоровый, честный — никто.

А тогда — лишь те, кто жил по лжи?

"Ничто не повторяется".

Не повторяется нами, если не повторяемся мы.

Иначе — возврат. Нежданный, негаданный, непохожий — тот же.

Не имеющий точного названия.

Только имя: очередное, случайное. От случайности — злое... и уже не отменяемое.

А все-таки существуем.

Верно — существуем. Сколько ни теряли, а существуем. И у кого право укорять ближнего, что не за решеткой, что не в зоне? И у кого право требовать — следуй за... а если не в силах прямо, то следуй в обход, "медленным шагом, робким зигзагом", но следуй!

Нет сегодня такого права — укорять и требовать. Ибо когда на острие ножа — в ы б о р, не символический, метафорический, метафизический, а буквальный и неотложный, то что непременно, чем свобода выбирать?! А еще и потому нет такого права, что больно узко поле нашего выбора. Первый шаг "в сторону", первый всерьез, и без всяких там промежутков и пересадок — ты отщепенец, изгой, чужой дома, навсегда лишней...

Первый наш шаг — не самый ли заколдованный на свете?

Опять-таки: не вновь и вопрос и страсти. Память, память!

Совсем вчера. — XIX-й. Сто лет как миг. Будто с дагерротипа — патлатые, очкастые, прямоглазые, прямодушные. Они — и их "быть" или "не быть", где "быть" означает — на вольный воздух! к себе подобным! А "не быть" — рабство: неизбывное, всегда рядом, всегда с тобою, способное сожрать с потрохами... и подвигнуть на небывалое. Тебя-то и подвигнуть — одного лишь ради, чтобы не сам-два, не сам-десять, чтобы вместе с теми, ради кого и собственное "быть". Ради них — в народ! И ради них — из народа, в партионную тесноту, в когорту п е р в о г о ш а г а!

Так, выходит, не столь уж они далеки от нас, те, столетней давности, "быть" и "не быть"; и не словесная гримаса: из рабства к рабству, а, скорее, участь, добровольная судьба, неподвластный рок. И — в оправдание перед будущим: шире круг свободных "на время"; с каждым первым шагом, с каждым порывом и даже с каждым отливом все-таки шире...

А если вовсе не так: не тот выбор, не та "альтернатива". Не рабство позади и впереди, а благодать. И нет нужды — в народ! и нет нужды — из народа, а одно лишь надо — с народом! С тем, что есть. Его (а заодно и себя) от порчи оберегая, от самопотери, от самоуничиженья!

Стан против стана. Не на жизнь спор, а...

Нет, на жизнь!

И тогда все-таки был на жизнь. А сегодня?

Тем паче — сегодня. Тем труднее — сегодня. Выше ценность человеческой жизни, даже там, где ни в грош ее. И много больше самообманных игр и простых обманов. Неясность в главном, в

привычно: куда? Говорится: куда? — а думается: зачем? Выговаривается: куда и зачем? — а подразумевается: за чей счет?

Кто твой напарник, кто твой союзник — и кто твой противник, кто кандидат в побежденные, в подлежащие устранению? Но может, по-другому надо, но может, иначе спросить: кто твой напарник-разномышленник, кто твой союзник-оппонент?! Даже противника — в свои! Непривычно, неосвоенно, вроде и не для нас. А тут та же жизнь донимает, тут на каждом шагу стычки, где пока, правда, не кровь, а чернила, прибавки, убавки, самолюбия, престижики...

Сегодня еще не "брат убивает брата", а завтра?

Спасет ли то, что не только горести общие, но даже зона — и та совместная для разномыслящих?

... "Если враг не сдается, его уничтожают".

Отменено? Преследуется законом? Отлучено навсегда умом и душою? Или в общем запаснике, дожидаясь своего часа?

Первая линия обороны — себя от себя же! Неказенная, внеказенная связь: живая цепь, в которой место каждому. Никто не исключен!

Первое звено — взаимность в понимании. И раньше в нем нужда, теперь же без него зарез. Везде, всюду. Везде, где жизнь. Всюду, где жизнь под ударом.

"Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами".

Дух Чаадаева, сегодня — плоть. Тревожимся о воздухе — не загрязнен ли. Боимся за почву — не перестала бы родить и кормить. Знаем, что для воздуха, которым дышим, нет ни закрытых распределителей, ни государственных ловушек. Загаженный в одном месте, отнят у всех на свете. А почва — в прямом и окольном смысле — она распределена ли на веки вечные, со своими соками и плодами, изобилием и недородами? Или все-таки может, или все-таки сможет стать твоею Земля?

Если не сумеет "она", если мы не сумеем — худо. Если останутся препоной для близости тот же паспорт и та же неуходящая графа в анкете, прононс либо картавость, óканье или áканье — худо. Тогда и общению не быть свободным, и воздуху чистым. Тогда и почва приговорена к худосочию и бесплодию.

Не мистика это, злоба дня. Не-наша и наша. Сдается, самая злая — наша. И нет чувства понятней отчаяния.

Понятней — и оправданней.

Оправданней — и запретнее.

Сегодня отдаться ему чрезмерная роскошь. Непростительная, даже когда наедине, когда не навынос и не на продажу.

Все-таки недаром женского рода она — надежда. У нас вдвойне "сударыня": надежда на надежду. Так исстари повелось, и традиция эта прочная; как ее ни мяли, ни шпыняли изменой,

ни отлучали словом и делом — вынесла. Пересилила эшафот и нагайки, пережила "тройки" и особлаги.

Израсходовалась и — воскресла. Именем собственным — Лариса Богораз, Татьяна Великанова. И не единственные они. Гордись женщинами, Россия!

Гордись и ответствуй — себе, Миру: почему разрешаешь гнать их и травить, отчего заточаешь в Лефортово?

Немало дурного предрекали 1979-му. Что там гороскопы, по Чижевскому вполне обоснованный был прогноз. Оправдал год — и с превышением.

Еще не сосчитаны убытки и жертвы. Даже там, где статистика на уровне, неясен баланс. Счет родившихся и счет умерших вроде проще других, хотя и он тревожит — несоответствиями, перепадами. Но войдут ли в баланс живые трупы и нынешняя их всёсветная поросль: террористы-самоубийцы, суперрадикалы, замахнувшиеся на Жизнь?

И для нас — особый год. Многое им открылось, а сколько закрылось!.. Сверх "обычного" провалов и нехваток, а поверх них — тревоги: осмысленные и недоступные разумению (отчего сразу дефицит во всем? почему сразу всем не по себе? и с какого рубежа супостата ждать?).

Превыше ж всех тревог — бессилие. От неудач, которые случатся почти в каждый дом. И от ускользающих причин. Кажется, не пересчитать их, даже заложив все до одной в ЭВМ (каких также недостаца).

Тогда разумней, может, "забыть" все беды, все напасти и искать — и найти ту изначальную одну, что обрекла, стреножила, загнала нас в угол? Не это ли: деградирующая деревня, великорусская или иная; собственным ходом и несобственным ходом неспособное выкарабкаться сельское хозяйство? Вроде бы здесь. Поистине — кандалы на ногах. Но кандалы эти откуда, кем склепаны? Наследство ли незабываемых 1930-х либо уже от других "великих десятилетий", с их нелепой, разорительной смесью импровизации и рутины? Недовложили вовремя — в машины, в удобрения, в озеленение либо в человека недовложили, человека обделили? И вот он был, человек земли, и сплыл. Исчез, сбежал, вымер.

Теперь исторический вроде сюжет, ан нет, держит за горло, предвещая сокрытую тайну...

Выбор — тайна. Поручить ли до конца то, что само рушится, — и к спасительной ферме (ей, издалека манящей, — миллиарды!). Или еще разок, еще могучим, еще народным рывком — из пепла в феникс прародину общую: деревню — кормилицу, нравственницу, языкотворицу?!

Ответа нет. Да и откуда взяться ему, пока кляп во рту (и нет поприща для испытания), а если даже и полукляп: сверху

спущенная квота на "обсуждение", — то по нынешним обстоятельствам не больше это чем замазка, какую можно бы на время трещину прикрыть, но не пропасть... А тут и другая либо та же пропасть, только иначе именуемая: кто обзовет пьяню, кто заклеймит разгильдяйством, а кто, опершись о "политэкономиию социализма", с жалобой, что был-де тоже и сплыл-де тоже стимул к труду (источник всякого блага и добра!) и пока не возвратим, пока не возродим его, то ни с места — нигде и ни в чем. Ни в городе, ни в деревне, ни в столичной академии, ни в захолустном продмаге!

И снова неясность: к труду ли, всегда определенному, этот искомый стимул или к жизни, какая всегда открытый вопрос?

Впрочем, это только так выговаривается: "всегда". На самом же деле — изредка. На перепутье. В безвременья. Тогда, когда смерть всякую допустимую норму нарушила, сделав жизнь недосыгаемой — желанной. И еще когда цель под сомнением, и не только та, которой служили, а всякая, любая, поскольку требует, вымогает: служить. И еще когда задачи не даются, обыкновенные задачи (решил одну, взялся за другую...); не даются, поскольку потерян порядок — какую вперед, а с какой можно и повременить; все задачи вопиют — решайте ж! — и оттого соблазн не решать ни одной. Да что там соблазн, соблазн этот не сам по себе, не от себя (уютом отсрочек, развратом деятельной показухи), нет, тут глубокая глубина, здесь под засолоневшей коркой высохший источник...

Но чего источник?

Один скажет: все-таки цели. Высох этот источник, и оттого кругом пустота, пустырь — величиной в "одну шестую".

Другой же: от цели до зоны хоть и не один шаг, но одна дорожка, и вместо камней — кости, тех именно, кто умел трудиться, любил трудиться и без специальных стимулов, призывов, клятв, вахт, а просто — от дедов, от бога, от почвы.

Один скажет: без цели — гнет обыденщины, обезлюживание покорством и в конце речь из одних междометий, ибо ни к чему тогда ни Понятие, ни Образ.

Другой: да разве не от нее, не от этой ли самой цели, и вдохновенные соблазнители и профессионалы обмана (из первых же, вслед первым же), не от нее ли обезлюживание пустословием — газетным заголовком, заполонившим оба "полушария": и то, откуда Понятие, и то, что колыбель Образа?

Кто же прав?

А может, ни тот и ни другой. Может, вообще нет сегодня правых. И оттого нет, что и первый и второй — во вчерашнем дне, которому не удастся стать вчерашним.

Помним даты, помним предание и обычай, помним анафему и акафист. Забыли же прошлое-сомнение; оставили

”там” вопросы, от которых зачалась цель (и отрицание цели от них же!), — те самые вопросы, что роятся в Образе и ждут от Понятия не столько разгадки (разгадки-теории, разгадки-программы, разгадки-задания), сколько догадки: о желанном и недосягнутом, как смысл...

Нет, не тот отныне счет — кто древнее на Земле, а кто старше. Тяжко признать: старше мы. Тяжко, а надо!

А вот клиника (наша), и диагноз (нам): паралич власти, захватившей право решения.

Но тот ли диагноз? Дошел ли клиницист до корня?

В старину считалось: когда тяжело болен, зови врача-пессимиста. Если от него услышишь, что есть хотя бы маленький шанс, тщедушный шансик, то держись!

Что же записал в истории нашей болезни сей мрачный надежный эскулап? Его диагноз: ”склероз ответственности — общий удел и стыд”.

Этим-то и повязаны, этим скованы поряд все. Цепями? Или все-таки бечевками, полузаметными и вовсе не видимыми, вроде тех, какими лилипуты обессилили Гулливера? Богатый ассортимент их у нас. Сокрушение идолов, к примеру. Идолов — героев без страха и сомнения. Идолов — избавителей, заступников, поводырей. Только освободились, только вздохнули полугрудью, а тоска заново. Пустое место болит. Где они — заступники, избавители, поводыри?..

Еще одно место, столь же пустое и так же болит: политика. Ну что она нам, лишенным возможности не то чтобы решать, но и просто узнать: кто решает, и почему в том или ином случае так именно сподобился решить, и что после того решения останется в балансе нашем (и уже не только для нынешних детей, но и для их детей)? Да разве не лучше, да разве не плюсом обыкновенная аполитичность — в сравнении с огосударствленным и околоказенным лицемерием и ханжеством?! Вроде бы плюс. Да почему вроде? Плюс. Шаг вперед, неизбежный перегон. Пройдем его, а там и завиднее, там, смотришь, и просвет.

Не светлеет. Выходит, не плюс эта наша аполитичность. И не перегон даже, а волчья яма, и мы ее сами роим, а вместо заступа — лучшие намеренья. Лучшие — вчера. И даже не так важно, в какую графу их занесли: заблуждения, прозрения. Даже те, что будили и воскрешали, даже они — заступ, если всего лишь вторят, если даже благородно вторят себе же.

Сегодня самый мелкий подтекст плох уже тем, что не текст, что не выговорен полными словами, что приучает к недоговоренности и развращает не до говаривания. Сегодня самая златоустая проповедь — мимо ушей, если не добирает до разных

будней всех. Сегодня самый изысканный монолог, инкрустированный мудростью всех времен и народов, неистинен уже по тому одному, что — монолог; диалогу же, даже неуклюжему, даже корявому, со срывами в немоту, в заиканье вопросами (какие еще не доросли изнутри до Вопроса), даже этому приготовишке, диалогу-новобранцу — самое время, поскольку тогда и нужен он, когда нет ни готовых ответов, ни не-готовых, когда все — и люди, и идеи, и направления, и секты — все кругом в ч е р а ш н и е, и неоткуда взяться завтрашним, как из согласия разных оставаться разными: *разными вместе*.

Нравственность — здесь, тут. Осмелюсь настаивать: в другом месте ее нет, нет вообще. Кто вправе призвать к ответу глухих и немых? Лишь тот, кто переборол немоту и глухоту в себе. Тот, кто заговорил вслух, и тот, кто научился слушать других, слышать других.

Тот, кто решился защищать говорящих, отстаивать слушающих и даже неслышащих, не слышащих сегодня.

И что же — без взаимности этой, вне этого свободного общения (неказенного, открытого, без коего не быть и "казенному" открытому), без этого диалога всяя Руси — и ей, Руси, не быть, не быть России — СССР?

Знаю, что будет. Тут выбора нет. И не потому только, что история в сделке с ракетами, но и по множеству иных причин, среди которых и родные могилы, и власть родного слова. И, не впадая в риторику, — долг. Перед теми, кто рядом, и теми, что родятся завтра. Здесь и рождаются, где ж им еще? Рождаются, не зная, что рождением прикреплены навек... Крепостное право — не странное ли словосочетанье? (Ухо, правда, привыкло, и учебник разъяснил: о феодализме речь.) Сто лет с гаком, как отменили, пало. Шестьдесят с небольшим, как поднялась крестьянская Россия, чтоб довершить отмену — равенством в обладании землею. Совсем считанные годы, как у деревенского человека на руках паспорт.

Еще бы к этому и вовсе без паспорта. Еще бы к этому — и снова: стать хозяином земли (сообща ли, врозь ли, но хозяином). Еще бы к этому и право распорядиться жизнью, — право, символом и условием которого — **открытая дверь в Мир**.

(Свободен ли отъезжающий? Лишь тогда свободен, когда дверь открыта для каждого, когда каждый волен вернуться, и "домой" значит всего лишь: туда, где тебя ждут, где ты нужен, где близость и близкие.)

Еще один шаг... И все иначе? Иначе — и к лучшему? Спадет напряженность, раздоры на убыль — и вместе со слепой враждебностью, вместе со взаимной глухотой убудет и наш несуразный комплекс неполноценности, то наше особое неверие в себя, у

какого в неизменных спутниках миродержавные претензии и замашки?

Гарантий нет. Прямых гарантий нет, что от этого шага все станет иначе, иначе и к лучшему. Может, и опьянеем от странной свободы: открытой двери в Мир, равно открытой партийным и беспартийным, "простым" и избранным.

Гарантий нет. Но есть уверенность, что закрытая, закрытая для каждого, — много опасней, чреватее худшим... И есть догадка: открытая дверь в Мир — это мы: те же и другие. Это Россия, СССР: *те же и другие.*

Другая жизнь. Право на другую жизнь. И если даже не сразу другая, то сразу и для всех — право на другую жизнь; право, от которого быть (или не быть) остальным правам, без какого узки, неполны и обратимы все остальные. Право, от которого и обязанности не в тягосты, право, от которого больше, чем от всего иного, зависит: быть (или не быть) у нас порядку — ненасильственному, и лишь потому *порядку*...

Право на другую жизнь — и без изъятия всем! Согласится ли тот, у кого чемодан в иностранных ярлыках? Согласится ли тот, для кого в России все, кто не русский, на одно лицо: н е р у с к и е?!

Нежданно-негаданно в один узел: судьба и граница, место рожденья и смысл. Куда ни повернешься — об этом. Сближает и разводит в стороны, окрыляет, ожесточает. Может, не навсегда эта сцепка, но развязать ли, разорвать ли ее нам, нынешним? И не то чтобы — по силам ли, это все-таки вторичный вопрос, а первый и главный, первый и роковой: подлежит ли она разрыву?

Спорно, спорно...

Этому бы спору годами раньше. Так стеснялись, таились. Сегодня же спор этот, как острие бритвы: не порезаться бы, не изувечить бы. А куда откладывать? Он ведь и так рвется наружу — от литературных подмостков до подворотни, забегая с заднего крыльца в политику, исподволь наполняя собою быт.

Рвется словом и сквернословием, масонами в бульварных чтивах и в ученых записках, ностальгией иных отъехавших, завистью иных "оставшихся", и еще — гимнами первородству, и еще — счетами по крови (и не заслуг даже, не пресловутых приоритетов, нет, ныне в счет и в пересчет смерти идут: у кого их больше, у кого и от кого...).

Оно, конечно, нет здесь подлинного предмета. Можно делить достаток, но как — достоинство? И поделишь ли — жизнь?.. С одной стороны, раз Россия, так, без сомненья, от русских она, и если наречено остаться ей — Россией же, то опять-таки за русскими она, правда, уже не за одними русскими, но — не забыть, но — понять: раньше всего (и всех!) *за ними*. С другой же

стороны, в явном ущербе сегодня она, русская Россия, и так ли просто узнать — отчего бы это, и так ли легко признать, что гнездится (от веку!) в этом нынешнем ущербе это самое з а н и м и — и зовет ищущих узнать и понять, зовет вдаль, за пределы: в самый что ни на есть давний, глубинный, изначальный Мир,— и в нынешний также, в черный, желтый и в белый,— в неустроенный, ищущий, страждущий, мертвый и живой Мир... Нам ли попасть т у д а — мыслью, сердцем, в обход внешнего цензора, минуя внутреннего? Попасть ли — разделенным на тех, кому дано и кому не дано, попасть ли ведущим счет по крови, даже если у кого загранпаспорт без срока, а у кого — место в очереди на вечный отбыв?..

И опять-таки вроде и нет здесь предмета. С одной стороны и для одной стороны, которая себя одну за всё и считает, эта-то открытая дверь (человеку, слову!) не вопрос, а просто-напросто крамола. С другой же стороны, тут как будто и спрашивать не о чем; и впрямь: есть же отечества, где все иначе, и нет нужды переходить границу, чтобы думать вслух, и не надобно паспорт менять, чтоб обрести судьбу и смысл.

Да, да, конечно же, есть — и немногого надо, дабы самим в ту же колею. Совсем немногого... "Только" воздух для дыхания и почву под ногами.

"Слушайте, слушайте! В такой-то час, на такой-то волне, от такого-то Голоса узнаете о новой оттепели!"

Так прямо, вероятно, не выговорят и те, кто про себя именно этого часа и ждет, ради этого слушает и прислушивается. Но и те, что наоборот, что всех иных за *сторону* не считают, даже они — и, уж во всяком случае, не каждый из них — решатся напрямик: "А попробуйте только замахнуться на эту самую сцепку — судьбы и границы, так собственными руками душить станем". Вроде бы не те времена, когда такое вслух. Где ты, приснопамятный Ермилов, что, подписывая корректуру славной своими традициями "Литературки", приговаривал на рубеже 40 — 50-х: маразм крепчает...

И не пожалеешь, что от той откровенности ушли. Но по откровенности соскучились. Но *откровенности жаждем*.

Объясниться бы нам давно уже — в самую пору, а теперь не упустить бы последний шанс... "Круглый стол" — и без лимита на сюжеты, и без кадровых ограничений в составе!

Не одних только знатных инакомыслящих сюда, но и безымянных. И не одних лишь уважаемых либералов, но и рядовых обеспокоенных — дельных, немногословных. И "работяг" и "образованцев". И полномочных представителей эков, и депутатов от тех, кто надзирает над эками, и от тех, кто надзирает над надзирателями.

Всех сюда! Всех за стол!

Где-то, быть может, и лишний этот стол, для кого-то, вероятно, и чересчур круглый. Нам же без него — никак. И оттого, что палец на кнопке, хотя одного этого достаточно б. Но еще и потому, и прежде всего потому, что нет для нас места в Мире, если не сделаем миром собственный дом: миром в Мире.

Яснее ясного: сегодня не быть тому, что ищем, не зная, как назвать искомое, где найти безымянное ("другая жизнь" — на какую букву и в каком словаре?). Яснее ясного, что сегодня доступнее молчание и Лефортово, а если местами поменяешь — сначала Лефортово и лишь потом молчание, то сумма-то не изменится...

Но отчего же — сумма и справедливо ли — в один ряд?

То, что не равные они, Лефортово и молчание, о том спору нет. И больше чем разные. *Но меньше чем несовместимые*. Меньше, вот в чем беда.

Противовесом молчанию — безмолвие. Молчащий сегодня, завтра — в хоре дежурных восторгов: "Да здравствует царь Димитрий Иванович!" Безмолвствующие же не принимают ни проклинания, ни здравицы — по свистку. Безмолвие таит силу отказа... и "бунт бессмысленный и беспощадный".

Сюжет со стажем. В наследство от Пушкина, хотя наследники разные. Кто проклинает, кто в расчет берет. А было, что и смешивались расчет с проклинанием, готовя гибель угрызающим, сомневающимся, колеблющимся. От финала "Что делать?" до финала "Братьев Карамазовых", от "Вех" до "Скифов" — велик ли шаг?..

Правда, мы вправе сделать поправку на время, все-таки утекло немало. Бунты с бунтовщиками ныне не в моде. Что у держиморд так, у скалозубов на взлете, то само собою. И что Молчалиным, повсюду в рост идущим (от закоулков власти до голубого экрана — они, они...), — что этим Молчалиным нашим всякие возмутители спокойствия поперек горла, так это само собою, хотя по-молчалински не всегда вид соответствующий и подашь; скорее, напротив, другой вид нужен, с оговорочкой, с присказкою, с соловьиной трелью — и курсивом заботу, заботу и старание: как бы сохранить душу — отечественную и внеотечественную, от идущих и грядущих хиппи (не позабыв также грядущих и идущих гуннов...). Но если б одни Молчалины, если б одна ловкость и расчетец, то стоило ли бы голову ломать: откуда молчание наше, особенное — все в словах и все в не своих (и "за" не свои, и "против"), и не от этого ли самого — молчание нынешнее и Лефортово нынешнее больше чем разные, но меньше чем несовместимые?

Но откуда ж прийти *своим словам*, когда кругом не свои? Оттуда ли — с тех исторических кладбищ, где сплющ памятники, или из еще большего (верстами, жизнями) далека, где ни

памятника, ни даже обозначенного места — для захороненных мыслей, для задохнувшихся в утробе слов?

Между ними и нами — распаханная полоса. По вступившему на нее — огонь! С двух сторон — огонь! И платить придется если не сроком, то по меньшей мере репутацией... Так, может, лучше оставить ее, эту полосу, в почетном забросе, не доискиваясь: в чей адрес (ныне) те прерванные и недородившиеся мысли-слова? В адрес нынешних ли завсегдатаев интеллигентских по-сиделок, ожидающих манны небесной, либо, напротив, адресованы они безмолвствующим, в ком тщимся вычитать, вычислить — быть или не быть "бунту" — еще одному на Руси (и против былых "бунтовщиков")? Либо они в адрес совсем третьих, которые не то чтобы посредине, между первыми и вторыми, а скорее, внутри: оспариванием и сомнением, оспариванием бездействия, сомнением в действии, — тем третьим адресуются они, кому наречено, быть может, небывалое, провозмогающее и бунт и молчание: шаг, шаги — со смыслом и с пощадою?

Им-то, "третьим", и не открыться (сначала себе), не вступивши на распаханную полосу, не вызвавши огонь — на себя!

Им — нам.

Нам всем, для кого диалог не мода, не прописи хорошего тона и даже больше чем условие перемен. Теперь он сам — перемена.

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Так и эпохи, так и поколения — сходные триумфами и разные в поражениях. Но разве не несчастья больше другого роднят и близких и близких?

Родство поражениями — особое, особенно тесное, когда между сродненными разрыв во времени. Родство — мистерия: то, что отнято у людей, прибавлено к Человеку... Что трагичнее этой добавки?! Лишь трупоеды смакуют "ограниченность" предков. Дело же нормальных живых — быть не ниже мертвых. Не ниже, чтобы не повторить их, чтобы не повториться ими.

И потому: во имя свободного слова живым — свобода слову, обращенному к мертвым, к разным мертвым, к равным мертвым!

Мимо казенных апокрифов, вопреки антиказенным — к диковинному неповторению: к равноразным живым!!

Иное же — суррогатом надежды, заурядбессмыслицей: молчание вслух и издевка в подушку, проходимые иллюзии и цензорский вопросик на полях, предупредительный шмон и поощрительное снисхождение, — все это, хочешь или не хочешь, наш родной чужой дом — а в нем, коренником, сызнова и вновь, в натуре и окольно, — Лефортово.

Против тебя — т в о е.

Против меня — м о е.

Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа?

Осия, 13; 14

Мне даже и смерти не страшно,—
Она, как и жизнь, позади.

А. Твардовский

Если попытаться в одном слове собрать все чувства, переживания, мысли уходящего, но еще не ушедшего года, то нет, пожалуй, более точного слова, чем **н а к а н у н е**.

Мы — накануне.

К этому клонится и то, что рядом, и то, что вдали, на деле же близко и все ближе, если еще — не тут.

...”Национальный по форме” Хомейни не наш ли, даже если против нас? И куда зачесть Пол Пота, проштрафившегося первого секретаря, его и эту некогда благополучную, а сейчас самую несчастную на Земле страну? А кому примирить (и на чем?) суверенов нефтяной скважины с социумами бензоколонки?

Не до зубоскальства. Чужие беды подступили к горлу: заложниками-дипломатами, заложниками-народами. Тем подступили, что и от нас пошло, и тем, что возвращается к нам: с прочерками, с усугублениями. С иными возможностями — **с х в а т и т ь с я** с бедами. Но и синой невозможностью — **с п р а в и т ь с я** с ними.

Все на Земле — накануне.

Накануне перемен, касающихся не частных и не разновидностей жизни, а ее самой.

Ее в ”в целом”.

Что среди самых исконных, самых ”допроблемных” проблем не возродилось за тридцать пять лет с конца последней из классических мировых катастроф? Кажется, к чему не привыкнешь, с чем не стерпишься ради предотвращения ничейного ядерного (и иного) финала? Но день приходит, и то ли устал человек, то ли к концу подошли ресурсы приспособления к обстоятельствам, им порожденным и его же тиранящим,— так это или не так,— но эта особая ”добавка” обратила и в расхожее и в бесплодное все, проверенное вроде и словом и временем.

...Разоружиться ли разом: всюду, всем? Освободиться ли разом — от всего, что уносит жизни и обесмысливает Жизнь?

Разом не выйдет. Если что сегодня можно сказать с полной убежденностью, то это. Разом не выйдет, и за каждой попыткой — срыв: кровь, тоска, безумие. И эксплуатация безумия, и бизнес на крови, весьма плюралистический бизнес и часто на одной и той же крови. И лидеры на час, тянущие в могилу тысячи, миллионы...

Разом не выйдет. А не-разом?

И снова нет ответа: подлинного, убеждающего — нет. Либо ответом то же: кровь, тоска, безумие. И трезвые деспоты, соревнующиеся в пролитии крови с романтиками. И третьи радующиеся, хотя в проигрыше и они.

Любой проигрыш отныне — прямо общий. Кто не понял этого после 1968-го, после 1973-го, после 1979-го, тот безнадежен.

На к а н у н е — это сумма бед и угроз, возведенных в степень и поражениями и отсрочками.

На к а н у н е — это зазор между утраченной целью и непомерностью "простых" задач.

На к а н у н е — это неспособность богатых миров прийти на выручку бедным, не отказавшись от накопленного веками (лучшего, что создал мозг вместе с руками и за счет рук!), — и неспособность бедных миров встать вровень с богатыми, не расплатившись утратой себя: тем, что даже не быт, а бытие, способ жить и воспроизводить жизнь.

На к а н у н е — это кентавр из отказа людей передоверить "кому-то" решение своей участи и всеобщего неумения распорядиться всеобщим суверенитетом.

На к а н у н е — это капитализм, переставший быть "капитализмом", и социализм, переставший быть "социализмом" не потому, что сблизились и того гляди сольются, а оттого, что ни тому, ни другому (ни третьему, ни четвертому...) не стать в одиночку Миром — единственностью человечества; не стать — и не отказаться, не стать — и не поступиться: местом и заявкой, рефлексом и мифом единственности, норомом и нравом ее.

На к а н у н е — это схватка между Единством и Различием, неприметное повсюдное сражение их — чему из них быть точкой отсчета и как им ужиться, чтобы выжил человек.

На к а н у н е — это ультиматум, который нетерпение предъявило и разуму и силе, апеллируя к крайностям силы и питаясь крайностями разума.

Вот почему не исключены ни бездна, ни избавление. Вот отчего и то и другое вместе — неразличимые, неразделимые. Разделит же их, если это вообще суждено, только действие: ответственное и осмысленное, согласное и нетрадиционное человеческое действие.

Сегодня не о том спор — не повременить ли с усилиями, не отложить ли их на другой раз, не переложить ли на кого из более властных, из более знающих или на тех, кому "нечего терять"? Неравнодушным есть что выбирать лишь внутри действия.

Выбирать, отвечая и зову и требованию: решительности, нераздельной с самоограничением, умеренности, которая, исключая самообманы доступных сделок, отвергая любой перст указы-

ющий, любой аятолизм, ищет свой смысл и образ в тех "невеликих", в тех будто малых делах, какие сегодня — не ниже вчерашних *немалых и анти-малых*, а требуют — нередко — и большего мужества, и даже большей смелости от человека.

Не на рубеже ли столетия "невеликих", "малых", неожиданных, ни на что не похожих — все мы на Земле?

И не от нас ли — нынешних, и не от нас ли — здешних, им: "невеликим", "малым" — пойти в великие, в главные, в сильные?

Нет, все-таки не красное словцо: братство народов и людей, заново уравненных смертью.

Смертию смерть поправ — уже не только из уст верующего... Кому не грезилося в мае 1945-го, что наконец смирили ее: смерть человека от руки человека? Не тут-то было. Не только не смирили, а отдались ей заново. И уже в новых ролях она, и не последняя из этих ролей — защита человека от наследника Освенцима, от хозяина ГУЛАГа.

Но самый преткновенный из всех камней: дано ли ею, поголовной смертью, заново открыть Жизнь?

...За 45-м и оспариванием, и продолжением его — 1953-й, 1956-й. Ворота сталинских лагерей, распахнутые настезь, — такое не забудется. Такое встало во вселенский ряд, где несопадающее символами, речью, родословной и — соединенное (неуловимо) новым смыслом, что едва ли мог появиться до этой метки, до этих рубежей. Как не мог бы появиться на папском престоле Иоанн XXIII и стать лауреатом Международной премии мира Мартин Лютер Кинг, как не мог бы осуществиться испанский и иной демонтаж. И советскому зрителю не донесла бы свою надежду в отчаянье великая Мазина, и всемирному читателю не открылось бы булгаковское Евангелие от Пилата...

Хрупкое начало. Нестойкое в исходном пункте и все более шаткое, чем ближе мы к сегодняшнему дню.

Сегодня сомнения разбирают — да было ли то *н а ч а л о м*?

Сегодня досрочная смерть берет, похоже, реванш. Сегодня она собирает обильную жатву, и не только людьми (и ими, ими!!), но еще и близостью людей и народов.

А завтра? Сдается ли завтра? Сдается! Но лишь людям, которые делают нормой, бытом *д о в е р и е*.

Сегодня доверие это — и чудо, и особого рода деятельность. Это упражнение на зрелость — для вступающих в жизнь, и испытание на пригодность — для мужей совета. Это залог рачительного хозяйствования. Это свобода риска там, где риск — творчество, и сведение к минимуму риска там, где действует закон и законная власть. Это — выход в политику, который надо либо расширить (ежели он есть), либо соорудить (ежели его нет).

Это — уступка по собственной воле, уступка там, где издревле основой договора и компромисса признавалось лишь "временное" равновесие сил: у классов ли, у наций ли, у государств. Это (и итогом и первопосылкой) — **неединое единство**: завтрашний день Мира, какому быть совсем другим, оставаясь тем же...

На месте искомого тождества — единосоставных, равно отвечающих критериям истины, достатка, справедливости — разные, непохожие, несводимые к одному основанию, к одному набору признаков?! Цивилизации-разномышленники, нации-оппоненты, миры-соперники, даже противники, но **не враги**: достижимо ли?

Ответом — выбор: либо это, либо ничто.

... "Народы и государства, не присоединяйтесь!"

Может, и отмечено будет в веке XXI: этим-то и началось оно — неединое единство. Началось и остановилось. На время? Навсегда? Числом ли тут взять — вот уже половина, вот уже три четверти их, вот уже пять шестых, еще, еще... вот и все на Земле "неприсоединившиеся", все народы, все страны — кроме двух, каким вроде и некого тогда к себе присоединять! А сами? Огороженные носители единственной истины (номер один и номер два) не обезумеют ли от этого одиночества, не сочтут ли за благо — всех порешить и разом??

Бред. Оруэлловский бред Невозможности. Но именно — Невозможности.

Бред, таящий явь. Неопробованную, спасительную. И тогда что иное "со-существование" (людей, миров), как не *запрет на победу, как несводимость всех к одному?!*

Сказать: "без этого не выжить" — не вполне точное выражение мысли: без этого нам, людям, не б ы т ь!

Не быть отдельному человеку — отдельным и человеком. Не быть унаследованным человеческим общностям — самими собой и всеобщностями (всеобщностью-семьей и всеобщностью-общиной, всеобщностью-нацией и всеобщностью — миром в Мире...).

Замечали ли, сознавали ли — до конца XX-го — тайну неумирающей трагедии: зазор, брешь между жить и быть?

Жить или не жить — нет, кажется, такого вопроса, такого, на который не то что нет ответа, а самого вопроса нет или, верней, есть он, когда речь идет об отдельном человеке и даже об отдельном народе в какой-то особьей, из ряда вон выходящий момент их жизни, но момент уходит, и вопрос исчезает. Задним числом уже не вопрос он, а память — о страшном и о победе над страхом.

А "быть или не быть"? Разве и тут не самоочевиден ответ? Либо здесь-то как раз и ждешь не ответа, а Вопроса? Либо уже позади и он и то время, когда искали его, продирались к нему

сквозь чащобу ответов, сокрушая направо и налево "ответчиков", и, напротив, пришло время от него убежать сломя голову, от этого — ненормального — с рождения, с первых гамлетовских слов??

...Нет, герой Шекспира все-таки безумен не изначально. Безумие приходит: достоверное, разрывая оболочку мнимого. Безумие — не от страсти (сходят ли с ума от разделенной любви?). И даже не от пресловутого сыновнего комплекса. И даже не от мрачных подозрений, питаемых воздухом Эльсинора: полных винных паров и кладбищенского тлена. Он ведь живчик, умница и озорник, немного циник, немного комедиант, этот вечный студент, принц в хронической отлучке, свой среди виттенбергских любомудров, но и не чужой в кругу "людей датской службы". Двуликость эта совсем рядом с двуличием, но у Гамлета спасительное свойство: он и наивен и серьезен, его скепсис в странном союзе с прекраснодоушием, а высокомерие естественно уживается с той чуткостью к любому человеческому страданию, которая заставляет принимать любое на свой "личный" счет...

И что ж: еще одно душевное движение, еще одна схватка "книжных слов" с предрассудком, еще один поединок сердца с книгой — и перед нами друг человечества, легко и свободно (свободно, а потому легко) перешагивающий границы, поставленные державами власти и разума? Как бы не так. Легкости нет и в помине. И свобода уходит — с каждым порывом, а ноги вязнут, а язык немеет. Позади уже не свобода, позади — жизнь: виттенбергская наравне (отныне наравне!) с эльсинорской. Ужас, врученный Гамлету, имеет десятки наименований — и ни одного общего. В этом своде есть место всем ordinарным и всем чрезвычайным человеческим бедам и сверх того особому бедствию, у которого нет еще имени. Назвать ли его идеалом — узаконенным и систематизированным, втесняемым узаконенной и систематизированной "клавдиевой" властью, назвать ли его искушением неосуществимости — идеала же, только противящегося систематизации и не дающегося узаконению, но тоже подстрекающего втеснять его в слепых и глухих, в упирающихся, в отговаривающихся (карманом, рассудком, телом, суетой сует), — как ни назовешь — любое из этих имен на вратах ада... Гамлет бежит из "чужого", чтобы угодить в свой, чтобы застрять в своем (своем — для всех?!).

Это — ад одиночества среди человечества, которого нет. Ад внутренней речи вслух. Ад монологов, чья логика непостижима, ибо она — против логики (против разума, выстроенного — от Я до А, прежде чем — от "а" до "я"...).

Это — Мир прерванного бытия: "время, вышедшее из своего сустава". А кому принадлежит Время, какой державе, какой кафедре? Кому под силу распорядиться им, сочленив неустанное

движение маятника с неполнотой, обрывчатостью каждой жизни, каждого отдельного существования?

Принц Датский не изменник людям, он "только" отступник. Он отступает от клятвы, вырванной у него зовом крови, тем самым "плотным сгустком мяса", с каким он столь красноречиво расставался в своих первых строках, чтобы затем испытать — на себе же — его свирепую хватку. Он отступник Слова, обманного не по употреблению лишь, а по самому веществу изреченности, у которой всегда налицо прописка: отчий дом, датский ли, английский ли, русский ли... Так чем же все-таки люб нам этот отступник от людей во имя Человека? Тем, что, увлекая в пропасть всех, виновных и невинных, всех, кто дал себя вовлечь в его сомнение, в его безумие, он не пытается отклонить развязку от самого себя? Тем, что, озаботившись о репутации — в глазах потомков, — он не силится занести потомков в свою духовную, оставляя за собой "молчание", "тишину", на бегу остановившуюся мысль?.. Или это только кажется, что люб он нам, на самом же деле — не люб, и терпим его лишь на сцене, лишь на час, лишь обставленного подвохами и розыграшами, правда губящими и его, но зато позволяющими (нам!) не подпускать к себе это "страшилище, что бродит нестреноженным"?

Уж больно он буквален. Гамлет, буквальностью тревожащий, пожалуй, больше всего иного. Вот он с кровью, с сердцем вырывает из себя любимую, вот он тщится спасти ее от его судьбы — и чем иным, кроме как проклятием: буквальностью разлуки ("В монастырь, в монастырь!"). А где укроешь остальных, а чем спасешь "просто" людей: отлучением от Мира или, точней, заточением в Мир? Впрочем, "Мир — тюрьма" — это ведь не он, это друг-предатель Розенкранц подбрасывает ему реплику — колкую и безопасную. (Университетский турнир в разгаре: укол, ответ, еще укол, еще... ну, дражайший принц, острота за вами.) Но Гамлет уже отшутился. Он принимает реплику всерьез и буквально; эта буквальность — только что умиротворенная отчизна: уже не поприще импровизированных дружин и тиранов с воображением, это уже без пяти минут государство — нация и... *наихудшая из арестантских?! "Мы не согласны, принц"*. Конечно же, они не согласны, Розенкранц с Гильденстерном, лауреаты "датской службы". Они — нет, а мы? Мы, помнящие кое-что из происшедшего после, из осуществленного после — т а м, и из происшедшего после, и несостоявшегося после — т у т. Правда, это различие потом как будто стерлось, чтобы возродиться, заостриться, перепутаться концами и началами, и уже вроде сказания или притчи — "их", послегамлетовские, затмения ума и трясения земли, все эти реформации, контрреформации, долгие парламенты и славные революции, анабаптисты, кальвинисты, левеллеры просто и "истинные", монтаньяры 93-го года, коммунисты 94-го года и термидорьянцы того же года... Но если

не миф они, поскольку во всех учебниках, то и не вполне истинное, а нечто вроде Призрака: ирреальное пугало, жаждущее крови, но затем, но в конце концов усмирненное, образумленное, введенное в пределы "естественного права" и гражданского закона, облеченное в представительные учреждения, обретшее твердую и трезвую почву в национальном кредите и национальной машинерии, в национальной ферме и лавке. Отрицанием буквальной крови, превозмоганием буквального безумия — буквальная Европа: бытие, обращенное в быт; Время, ставшее просто временем — мерой будничных усилий, и потребностей, и действий, и возвышенного, и низменного, всего и во всем; Человек, осуществленный просто в человеке, в отдельном — датчанине, и отдельном французе, и в англичанине, и в янки врозь, и если не сразу в немце без всяких партикулярных курфюрстных остатков, то сразу в немце — по идее и вдохновению...

Так, может, оглядываясь назад, не такими уж дурными покажутся эти Гильденстерн с Розенкранцем? Может, правы-то оказались они? Соглашающиеся, аукнитесь! И в соглашающихся ныне как будто недостатка нет. И что же — в ответ им: "как аукнется, так и откликнется"? Неубедительно. Что-то иное нужно. Оно, конечно, кесарю — кесарево, Шекспиру — Шекспирово. Не тревожь, не терзай он себя (явью и сном, гамлетовской жизнью, гамлетовской смертью), не ввапший в безумие сам, сам не отвергший ложь-правоту и правоту-ложь укорененных гильденстернов и розенкранцев, — не будь он таким, этот гений из "простых" актеров, *быть ли Человеку в "просто человеке"*, а *Времени в просто времени?*.. Ах, спросили бы нас, таких, как я, если и не полвека назад, а много ближе, почти вчера, но все-таки уже не вчера, — ответили бы без запинки, перешагнув через вульгарную социологию, но не выплеснув драгоценного истматовского дитяти: ну конечно же, не удалось бы без него, без таких, как он, "титанов", бунтарей и страдальцев, — не удалось бы ни свершиться буржуазной Европе, ни ей же обнаружить (на духу с собой) неполноту, незавершенность, несовершенство добытого — и тем снова пришпорить прогресс: вперед и дальше, без передышку, без остановки, пока остается не захваченной этим неуловимым движением, не включенной в него хоть одна душа, хоть одна плоть на Земле. И что же — докатился, добежал, дошел этот неукротимый поток: от тронувшегося Гамлета, от голого Лира, от черного Отелло до каждой души и каждой плоти?.. И снова (мы, такие, как я) — без запинки: если и не докатился еще, не допер, так допрет; не при нас, так после нас состоится, утвердится, обстроится этот однажды начатый Мир — европейстский лишь зачином, составом же, множественностью речений, "форм" и самой сутью своей — всеобщий: не принадлежащий никому в отдельности, без главных и неглавных, без ведущих и ведо-

мых, без обеспеченных от рождения и без обездоленных от рождения же...

Почти вчера, но все-таки не вчера — *без запинки*. А вчера — с *запинкой*. А сегодня — с сомнением, которое одолевает и требует: вслух! вслух! Однако в чем оно, сомнение: в сроках, в одолимости преград? Или дальше: в осуществимости как таковой? Или еще дальше: в том, что желанное-неукротимое оказалось на деле *неукротимым-нежеланным*, опасным для Человека, исконного обитателя Земли?

Всяким вопросам подразумеваются ответы: нет их сегодня, так будут завтра... если есть кого спрашивать, если есть жаждущие ответов. С этим же — к кому обратишься? И не вообще, а сегодня, а дома, на том языке, на каком только и умеешь думать и писать. Себя спрашиваешь, да еще таких, как ты? Тогда к чему — вслух?

Нет, любезный, ежели на этом языке, то не вполне те слова и далеко не тот отсчет. Уже не от принца в привычном нашему взору черном трико с неизменным черепом все того же Йорика в руках. Нет, здесь у безумцев в дальнем прологе вместо изысканного королевского шута-мудреца — пророк-юродивый, в положенных ему рубище и струпьях. "...Нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит". Для разума ли выбор: между тенью Грозного и царем Иродом? А для безумия? Отклоняя упорядоченную опричнину, обратишься ли — в поисках смысла — к Смуте, втянувшей и перелопатившей всё во всех, чтобы вернуть их на круги своя? Впрочем, недалеким прицелом — Петр. Впрочем, уже позади удельная, междоусобная Русь, а на пороге Россия, "единая и неделимая". И прогресс, впряженный в абсолютную власть, какой равно исключается и личность и нация. И затмения ума и трясения земли, но не в преддверии абсолютистского восхождения (к могуществу, к всевропейской славе), а следствием, вызовом *этому состоявшемуся уже восхождению*. Вызовом мыслью, ищущей собственное бытие: какого еще нет, нет нигде. И оттого еще буквальной гамлетовский вопрос, и уже не гамлетовский он — много земнее и много безумней...

Быть Россией или не быть России?

Полюс: русское человечество.

Полюс: русское отщепенство.

"Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу: увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму". Чего же не принимает этот носитель "человеческого эвклидовского ума", творящего Мир согласно собственной геометрии? Мира и не принимает. Даже допуская для него блаженный финиш, даже при условии, что исчезнут — *тогда* — все человеческие напасти. Даже соглашаясь, что сойдутся — *тогда* — все мировые параллельные линии. Сойдутся ближние и дальние. Сойдется свое и

чужое, сойдется зло и добро. Сойдется человек-особь и человек-человечество. "...А все-таки не приму". Ни от бога, ни от социализма не приму гармонии. С двух концов – к "бунту": отрицание идеального финала. Одним решающим отводом: загубленное дитя, неначатая, неосуществившаяся жизнь, прерванная, растоптанная раньше, чем она открылась – себе и Миру. *Ничего нельзя исправить, если непоправимо это.*

И потому – запрет на прощение (всякое, любое). Но выход ли – возмездие, не утлаемое ничем, прижизненным и пожизненным? Если нет ему иной меры и иного поприща, чем Мир, то как исключить из этого возмездия и как обойти им самого себя? Капкан. Капканы. Один вослед другому, каждый в каждом. Капкан бескомпромиссного сомнения. Буквальнейшие: от невозможности найти (для себя!) достаточного поступка. Ни во времени, ни в пространстве.

Принц Датский добывает будущее всем – и никому в частности. Будущее – бытие, очищенное от прошлого, от всех прошлых; но они, совокупившись, догоняют и приканчивают его. А что – и кто – по пятам у экстремиста "европейской" совести с монголо-татарским "геном" в прозвище (Карамазов!). Тут за спиной не одно сокрушенное Возрождение (всеевропейский Мир – тюрьма), а еще и вся Россия – Мертвый дом. Тут позади не прожитое, которое подлежит пересмотру, тут в прожитом – смерть; и не встреча с загробным пришельцем – начало, а с самим собою, с собою – вернувшимся из могилы, чтобы заново жить; жить – в том первоизданном смысле, какой забыт, либо утрачен, либо еще не достигнут, не добыт... Тут позади Судный день, впереди же – Голгофа. Голгофа возвращения. Встреча-искус: не обмануть бы живущих притворным уподоблением. Встреча-открытие: тут не сам, не один со своей неповторимой судьбой, а *все*, все до единого – еще до колыбели, еще в замысле. Тут Прошлое (и прошлые!) – еще впереди. Их тоже нет, им тоже еще "быть или не быть", как и предкам: не по нисходящему родству, а по исходу-началу. И еще впереди – Слово: первый звук неистязаемого ребенка. Не отменой поступка, не заменой его, а веригами на нем...

Скажешь ли, и не на юбилейном торжище: кесарю – кесарево, а Достоевское – Достоевскому? Не скажешь. И не потому только, что действительный, непридуманый, не разделял, смешивал, путал и путался. На расстоянии знаем: путаница путанице рознь. Впрочем, даже если не знаем, то репутация великих выручает; ежели великие и ежели путались, то или промолчим, или возведем в заслугу, или снисходительно простим им их маленькие (и даже большие) слабости. Но нуждаются ли те в нашем притворстве и снисхождении? Сомнительно! А мы? Так ли уж не ко двору нам самообманы Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова? Самообманы Пестеля и Чаадаева, Бакунина

и Герцена, Зайчневского и Чернышевского, Ишутина и Писарева, Сергея Нечаева и Веры Засулич, Александра Михайлова и Льва Тихомирова... Самообманы жизни для других, ради "чужих" (на помощь и в бой — без оглядки, без отсрочки!), и самообманы ухода в себя, и самообманы бегства — от тщеты неокончательного поступка? Будто совсем разные самообманы, на деле же близкие, на расстоянии в столетие — в одном "безумном" ряду, где связью буквальность главной мысли, буквальность центрального действия. Буквальность человечества — в том она, чтобы стать ему русским: воплотиться в Россию, отменив Россию, какая только и может существовать, пока она Россия: пространство-империя, "снизу доверху — одни рабы"!

Отменить ли ее, Россию, так, чтобы сверху донизу — одни вольные, чтобы снизу доверху — "просто" жизнь, жизнь-деятельность, не требующая указки, как рожать и как сеять, что оспаривать и кого читать!..

Нет, ее — такую — не отменишь. Тогда иное: *не отменить, а преступить*? Даль разъясняет: "преступить" — выходить из пределов законов, прав своих, власти. Достоевский раздвигает границы отечественного "глагола" до границ света: *выходить из пределов Человека*... Отрицанием самоубийства — своеволие, достигающее каждого. Отрицание "лишних" — излишние, но сначала самые нужные, самые смелые, самые бескорыстные и... неспособные признать это, по доброй воле и в нужный час уходящие из "самых". Отрицанием же кесаря — кесарь: власть, могущая учредить прошлое и ввести в будущее, прекратив для того (и во имя этого) настоящее. Не по престолу кесарь, а по призванию... и по каре, источник которой он сам.

Русская, российская триада: от преступления к наказанию и от наказания к воскресению, к праведной "новой жизни".

...Сбылось ли пророчество? Как судить и кого судить?..

Мистика, мистика...

Либо — без клейма, без страха впасть в ересь — "нерациональное". "Нерациональный" Достоевский. А без малого три столетия до того — "нерациональный" Шекспир. А если еще с добрый десяток (и больше...) столетий к началу — "нерациональная" Книга: Библия.

Три знака, три вехи, три круга. Повторением, возвращением к себе; либо и тут — оспаривание, и тут диалог сквозь века?!

От клочка земли, от "апостола необрезанных" — вот откуда оно: ч е л о в е ч е с т в о. За рамки полиса. За пределы древних (и обновленных эллинским наследством) теократий и деспотий Востока. Человечество — движение: нарушившее границы прежних социумов — и неспособное разом, одним приступом создать свой. А потому обратившееся к кесарю... От антимира Рима —

к Миру Константина, к Миру пап и императоров, дальше, ближе, совсем дома ("два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть").

Отрицанием этого — разум: разум-опытник, разум-скептик, и бунтарь, и даже конформист. А отрицанием этого разума (и конформиста, и даже бунтаря) — революция. Классическая революция, в свою очередь отрицаемая нацией: нацией-обществом, нацией-государством. Всеми же этими отрицаниями вкупе заново утверждается Мир — притязующий не только и даже не столько на рядом лежащее, сколько на дальнее, на части света, на ойкумену; Мир вырвавшихся вперед и тем обреченных остальных (и вызвавших остальных!) на *отсталость*. Странно как будто включать ее в новизну, а между тем — так! Новое — в ряду всемирно нового. И отрицающее нормальность его, его право на универсум.

Второй и третий круги вместе — в схватке, в споре. Не одна Россия место действия. Но и она. Натяжка ли сказать сегодня: прежде других — она?.. Рождался и оспаривался Мир-человечество. Патологическая беременность, затянувшиеся роды, воды сошли, а ребенка все нет.

...В поисках выхода — сближения через разрывы. Через размахи маятника — от кесаря к кесарю. Либо "второй Петр" и им открытая дверь в Мир — открытая внутрь и наружу. Либо народ, равносильный кесарю, мир-община, открывающий себе дверь в Мир, открывающий Миру вход в человечество. (Оттого и народ — в единственном числе, оттого — и сфинкс: справится ли?... — оттого и "в народ!", чтобы возвысить его до кесаря, оттого и Террор, чтобы перевязать заново все связи, очистив самый "верх" для дела связи...) И не из уст скифомана, а от ученика Чаадаева — эти звуки, этот рефрен: "Народы западные выработали тяжким трудом свои зимние квартиры. Пусть другие покажут свою прыть".

Но Запад ли, что позади, или Мир с Россией впереди виделся Герцену, когда рисовал он его вертикальный срез: "Вверху страшные сновидения, мертвецы в старых доспехах и старых тиграх и фантастические, несбыточные светлые образы, мучительные страдания, безумные надежды... Внизу бездонная пропасть стихийных страстей доисторического сна, детских грез, циклопической, кротовой работы; на это дно и голос человеческий не доходит, как ветер не доходит до глубины морской; иной раз только слышится там военная труба и барабан, зовущие на кровь, обещающие убийства и дающие разорение"?!

Следующие говорили проще, хотя не были проще ни в надежде, ни в отчаянии. И, совсем иного корня, Дмитрий Писарев заявил — о себе и сверстниках: "В практическом отношении они так же бессильны, как и Рудины, но они осознали свое бессилие..." А затем появились сильные, превозмогшие и отчаянные, и

отщепенство, мнившие, что навсегда. А затем вернулись сызнова — отчаянье с отщепенством — к тому, от кого счет сильным, к нему — на пороге его смерти, чтобы (спустя десятилетия) — к нам, к тем нынешним, которым еще предстоит осознать такое бессилие.

...А впереди Прошлое — собственное и всех? И снова к Мир-человечеству? И снова — в поиски кесаря?

Не выйдет.

Так не выйдет.

Больше не выйдет. Ни у кого. Нигде.

Октябрь—ноябрь 1979

Постскрипtum

Этот текст предназначался для последнего номера самиздатских "Поисков". Он писался второпях. Торопили не только обстоятельства, но и чувства. И предчувствия: беды, стучащейся в нашу дверь. Я употребляю слово нашу и в самом ближайшем смысле, и в самом общем.

Ближний: конец "Поисков" и судьба, ожидавшая тех, кто их начал и продолжил. За тюремной решеткой уже был Валерий Абрамкин — душа "свободного московского журнала". Его участь готовились разделить другие. Дело диалога не иссякло. Но оно запнулось — и не только в результате преследований. Так думалось не мне одному. Меня же мысли об этом уводили в глубь отечественных веков и за пределы того Мира, в котором я жил с детства и который уже перестал быть, продолжая существовать.

Тем не менее, перечитывая сейчас этот текст, я мучительно напрягаюсь, чтобы восстановить то ощущение предела, порога, каким он весь проникнут. Почему 79-й? Так остро поцарапали душу домашние напасти или к этому прибавились, на это помножились сигналы, идущие из разных уголков Мира? Вероятно, и то и другое. Я никогда не ощущал себя провидцем. Пророческими, однако, оказались герценовские слова о военной трубе и барабане, зовущих на кровь и обещающих убийства.

27 декабря того года советские войска вторглись в Афганистан.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "ПОИСКИ"*

К нашим читателям

После выхода первого номера "ПОИСКОВ" прошло двадцать месяцев. Сейчас мы предлагаем читателю последние номера: шестой, седьмой и восьмой — и хотим подвести некоторые итоги.

За это недолгое время мы стремились строго следовать принципам, выраженным в "Приглашении", которым открывался первый номер свободного московского журнала. В самом сжатом виде они гласят: **диалог во имя взаимопонимания**.

С этим мы адресовались ко всем. Мы не оговаривали участие в журнале ни предварительными условиями, ни тесными программными рамками. Равно ответственные, мы отказались от предпочтения какой-то одной позиции, одной точки зрения, одной системы взглядов.

Не скроем: держаться этого стиля работы было нелегко. Через многое в самих себе приходилось переступать. Многие сочтут, наверное, что нам следовало больше преуспеть и дальше продвинуться. Но ясно одно: дело диалога пустило корни и в наш солончак. Лиха беда начало!

Но и мы начинали не с пустого места. Незачем перечислять все попытки, всех предшественников поименно, притом разных. Укажем только двух: "Новый мир" Твардовского и легендарную "Хронику". "Новый мир" тех, уже давних лет не только шел в ногу с ростом общественного самосознания, но и в том лучшем, что он передал читателю, опережал и его, и его время. Он отвоевал место для открытой мысли и открытого слова. Его поражение из тех, что не забудутся; поистине — зарубка на века.

Следующей зарубкой стала и продолжает быть "Хроника текущих событий", неотъемлемая от самиздата, как и тот неотъемлем от инакомыслия, от движения в защиту прав всех наших соотечественников — и, стало быть, каждого из них.

Высоко цена старое доброе наследство 60-х годов, мы отдавали себе отчет в ограниченности сделанного тогда. Кто поставит в вину Шестидесятым, что они запнулись, что оказались не в силах остановить попятные стремления и закончились всеобщим застоєм? Не вина это, а беда.

* В соавторстве с Г. Павловским.

Беда разобщенности. Беда взаимного недоверия. Беда от незнания: куда идти? Но именно тогда, в 60-х, многие были подвигнуты на важное — на свободное слово, несущее страшную правду, освобождающее совесть от накипи фальшивых оговорок и утешительных софизмов.

Это было лишь начало. Разбуженная мысль продолжала работать. Настала пора ДИАЛОГА. Доверие и взаимопонимание ищут себе попроще, приложения к делу — и признания их делом. Эта идея носится в мировом воздухе, у нас же она — прямо на острие ножа. "ПОИСКИ" лишь дали этой идее имя, журнальный переплет; стали для нее испытательным полигоном.

Нам ли судить о качестве опубликованных материалов? Главной заботой инициаторов и редакторов было и остается: дать выход всем ищущим голоса. Нашим рабочим кредо было и остается: нет неважных идей, пустых мнений, лишних подробностей, когда речь идет о кровном, касается ли это России или Мира, всех наших соотечественников или немногих из них — и даже судьбы одного. Все оттенки и все "детали" смысла так или иначе соучаствуют в создании той структуры живых различий, какая если еще не общество, то его прообраз. Дверь в него, открытая всем живым.

Этим мы начинали "ПОИСКИ". И сегодня вправе сказать: дело, которое мы делали, не отдаляло и не отдаляет нас ни от одного дельного и думающего человека — на каком бы "месте" он ни находился и как бы ни относился он к нам сегодня. Конечно, мы далеки от мысли, что сам по себе диалог достаточен, чтобы оградить от худшего — нас, детей наших и детей их детей. Но мы уверены, что нет иного начала у пути, способного предотвратить общую беду.

Этим мы начинали, но здесь нас вынудили остановиться. Систематически ужесточающиеся гонения лишили нас большинства средств, необходимых, чтобы продолжать эту работу. За попытку прорвать блокаду диалога, за открытость своих имен и действий мы уже заплатили арестом одного из редакторов — Валерия АБРАМКИНА. Горько думать, что человек необыкновенной душевной энергии и нравственной надежности — за решеткой Бутырок... Поставленные перед насильственной и лживой дилеммой: смириться с чьим-то правом ставить пределы для ищущей мысли или уйти в подполье, — мы отвергаем то и другое как равно ложное. Мы оставляем за собой простое право — определить самим форму и срок продолжения дела, равноценного для нас смыслу жизни.

Мы отказываемся сегодня и в дальнейшем — прятаться и спорить шепотом.

Мы не вели игры в "политику" — и не согласны на условную ничью, чего, видимо, от нас ждут. Адресуясь к читателю и соотечественнику, мы признаем лишь его критическое верхо-

венство. Мы повторяем, что готовы все вместе с Валерием АБРАМКИНЫМ отстаивать законность "ПОИСКОВ" и необходимость честного диалога для страны, граждан и государства.

Мы не ставим риторического вопроса: "Кто виноват?" — предоставляя его суду читателя вместе с восемью томами "ПОИСКОВ". Сами же мы сосредоточиваемся на действиях в защиту наших коллег В. АБРАМКИНА и В. СОРОКИНА — в уверенности, что начатый нашим журналом *диалог во имя взаимопонимания* неискореним из общественной жизни.

Мы благодарны всем, кто своей бескорыстной помощью и активным участием сделал возможным выход свободного московского журнала — в течение двадцати месяцев труда, сопротивления, диалога.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ПОИСКИ"

Москва, 31 декабря 1979

КОЛЛЕГАМ ИСТОРИКАМ

Неделю назад арестован мой соотечественник и коллега, мой молодой друг — Арсений Рогинский.

До сих пор его знал сравнительно узкий круг людей. Теперь пришло время обнародовать и его имя, и его дело.

Филолог — питомец тартуской школы, влюбленный в русскую культуру XIX века, он избрал своим поприщем собственно историю отчасти по призванию, но прежде всего по зову совести. Как и его сверстники и единомышленники — несколько советских граждан, основавших (лет пять назад) историко-документальный альманах "Память", — он не мог мириться с подлогами и умолчаниями, вошедшими у нас в привычку, и сознавал, что забыть — опасность из самых страшных, в особенности когда в его зоне оказываются наиболее трагические события новейшей российской (и всемирной!) истории. И еще одно чувство руководило ими, еще один принцип был заложен в фундамент "Памяти": история не всеядна, но она не терпит предвзятой избирательности, оценок, предшествующих свидетельству, бесцеремонности в обращении с человеческими судьбами.

Арсений Рогинский не просто следовал этим принципам, он сделал их своим смыслом жизни. Славившийся с первых шагов в науке умением добывать факты, он делал это теперь с удесятеренной энергией и вдохновением, заражающим других. Его отличала в то же время твердость в щекотливейшем для историка-публикатора испытании добытого (документа ли, мемуаров ли) на достоверность. "Ничего сомнительного". И это в условиях, когда каждый шаг в этом деле — по самой сути своей просветительном и законном — мог стать (вопреки этой же сути!) последним.

Свидетельствую: Арсений Рогинский вырос в своем деле в подлинного профессионала. Свидетельствую также: не стихийно, а в меру интеллектуального и духовного роста создателей "Памяти" росло и их детище, раздвигая поле общественного зрения. И хотя многое из опубликованного — открытие неизвестного, не в сенсациях главная заслуга "Памяти", а в обогащенном фактами сознании. Если б меня попросили "сочинить" девиз этой деятельности, лишь частично реализованной в вышедших номерах, я бы произнес слова: ПРИЧАСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАДЕЖДА; ибо — и содружество с молодыми меня в

этом особенно убедило — только причастность к прошлому, только ответственность за мертвых и перед мертвыми способны сегодня пробудить надежду. Так везде, но больше всего здесь, у нас дома.

...Арсению Рогинскому незадолго перед случившимся предложили выезд "за пределы". Он знал, что отклонение равнозначно аресту. Но он оттягивал решение, повторяя: "Это как смерть". Считавший, что день потерян, когда не поработаешь в родной ленинградской Публичке, он не раз говорил мне: "Если уж суждено, что меня возьмут, то пусть это будет у входа в библиотеку".

Случилось не вполне так. Сначала у него отняли (в прямое нарушение закона) работу в школе, а он любил преподавать, устное слово — его стихия. Затем у него отобрали библиотечный билет. Какого-то сценариста осенила, видно, "идея", вполне заслуживающая повышения по службе, — превратить редактора "Памяти" в мелкого жулика, специализировавшегося на подделке документов! Замысел понятен: так легче обойти (на суде) смысл этой человеческой жизни, оборвав вместе с тем ее на долгий ряд мучительных лагерных лет. Изначально неравная схватка — памяти с ее гонителями! В самом деле, кто и где способен предъявить у нас встречный иск: обвинение, адресуемое тем, кто ввел и удерживает явные и скрытые запреты на допуск к прошлому, осевшему в архивах и рукописных отделах публичных библиотек?*

Я не скрываю, что в данный момент меня сильнее всего тревожит судьба моего тридцатипятилетнего друга. Однако я считаю себя вправе обратиться к коллегам историкам с призывом о помощи ему и в силу причин более широкого свойства. Там, где в ущербе память, там не пустота, а разгул беспамятства. А у него свирепая хватка: оно и обезнадеживает, и ожесточает, открывая дорогу атавистическим предрассудкам и страхам, толкающим на безумства. Вот почему защитить одного из защитников памяти значит ныне — обеспокоиться судьбою великого множества живущих и еще не родившихся граждан Земли.

Москва, 18 августа 1981

* Оставим (на минуту) кровный вопрос — о праве человека "с улицы" вплотную заняться историей. Но многим ли легче дипломированному профессионалу, особенно если он исследует события не столь отдаленных времен? Напомню, что в нашей стране нет сейчас официального историко-документального журнала. Дважды после войны открывали и снова закрывали "Исторический архив". Отчего бы?

ЖЕНЩИНА ИЗ СТРАНЫ ПАМЯТЬ

Анне Михайловне Лариной.

Да будет камнем камень,
Да будет болью боль.

А. Твардовский

Нет, кажется, ничего более очевидного и ничего более таинственного, чем память. Человек помнит, что было минуту назад, вчера и в детстве. А если не помнит, то напрягается. Мучается, страдает от провалов, рвется восстановить утраченное, жаждет несбыточного — прикосновения к тем, кого уже нет. Что современнее (сейчас, у нас), чем воскрешенные родословные? В котировке духовных ценностей у выцветших семейных фотографий, у пожелтевших листиков писем — одно из самых верхних мест. И впрямь: не единственная ли это связь, которой дано пересилить разрушительные действия времени, руины буквальные и духовные? Время, правда, не против памяти. Оно, скорее, нейтрально. Оно оставляет место и забвению. Мы вправе спросить себя, сохранился бы Гомо, достиг ли б того, что имеет, если бы не выучился оттеснять из будней в сон, и в юбилей и в поминальник погубленное и непереносимое? На расстоянии и ставшее непереносимым, отторгаемым задним числом — и не только слабыми, инфантильными, но и мужественными, жизнестойкими...

Но мы знаем также, что, кроме этого простительного и даже спасительного забывания, есть еще забывание — профессия и промысел. В какой же зависимости они друг от друга? И развести ли их, разорвать эту сцепку? Либо всякая попытка учредить "чистую память" наподобие "чистой совести" не только обречена, но и опасна: как бы, удаляя дикое мясо, не повредить плоть, не оскотить душу?!

Если идеология — это притязание идеи на единственность, власть над человеческими хотениями и поступками, то разве достичь ей желаемого, не поставив под контроль память, не сделав ее орудием своей власти и в этом качестве **наперед избирательной** — и даже работающей на беспомыслие?! Разброс широк — от абсолютной лжи до незаметных пропусков, от карающего запрета до добровольных смягчений, деликатных отточий и будто безобидных подчисток. Сначала пафос разрыва и самоутверждения за счет предков (как предшественников, так и противников), затем команда: хулить и славить, а потом привычное словоблудство, небезвыгодное не только для заказчика, но и для исполнителей... Но — нет, тут все-таки сложнее и прихот-

ливей. И не одна лишь уловка, не один лишь расчет на то, что **свои** концы удастся спрятать в воду. Это сама История следует правилам игры, согласно коим все нынешнее суть воплощенное прошлое, а прошлое — всего лишь пролог к тому, что есть.

Впрочем, существуют еще "упущенные возможности" — зверь, нуждающийся в укротителях, как священный результат — в пьедесталах из покойников. Последние, однако, способны стучаться к живым; призраки сообщают о призрачности обретенного, ставя под сомнение не только данный результат, но всякий: предысторию как таковую. Не оттого ли культ результата и страх перед результатом подобны сообщающимся сосудам и ни одна бурная эпоха, особенно на своем спуске, не смогла обойтись без сокрушенных кумиров, без перечеркнутых репутаций, без загробных ответчиков?! Так термидорианцы из числа вчерашних поклонников Робеспьера предлагали отправлять в тюрьму (!) каждого, кто осмелится употребить слово "гора" и даже слово "равнина" и "болото". "Вместо воспроизведения печальных воспоминаний я желал бы, чтобы следующее поколение могло быть в неведении о том, что Францией некогда управляли короли и, что особенно важно, о том, что у Республики были дети-отцеубийцы". Автор этих слов, сказанных на исходе XVIII столетия, вполне мог быть призван в конец XX-го, у него только один недостаток: для нашего современника он чересчур откровенен. К тому же он все-таки воспитанник века Просвещения, веривший, что слово могущественно (само по себе), поэтому достаточно отнять у человека те или иные дерзкие, пробуждающие и возбуждающие слова, чтобы лишить его страсти к неведомому, посягательств на недоступное: свободу, равенство, братство...

И тут мы подходим к самому существенному и самому тяжкому — для нас. Согласимся ли мы слыть "детьми-отцеубийцами Республики", и не только слыть ими, но и **быть** — спустя десятилетия? Согласятся ли непричастные и тем паче те, кто тогда еще просто не существовал? Вопрос можно перевернуть. Тогда он прозвучит так: вправе ли мучимые совестью вовлекать других — близких, дальних, всех — в свои длящиеся сны и кошмары? Не здоровее ли отдаться инстинкту, не уместнее ли прибегнуть к выработанным столетиями табу? И — перечеркнуть "ту" эпоху, отлучить ее и — уже отлученную — вычеркнуть из собственной памяти?! Было: хранить вечно. Стало: забыть навсегда. Но выйдет ли? Выйдет ли — **не избыть, а забыть?**

Кажется, уже испробовано все — от проклятий до подчисток, от выстраивания всех в затылок Одному (не имеющему равных в мире зла) до разведения остальных по полюсам добра и скверны. Не получается — ни то, ни другое. Ближе к истине — дальше от согласия, от мира детей с отцами. Ближе к покою, к комфорту непричастности — дальше от истины. Память мсти-

тельна, она любит наказывать впавших в забвение не только тем, что является к ним жуткими и до жути нелепыми и глупыми повторами, но и тем, что заявляется в их душу соблазнами-оборотнями. Оборотнями могущества и оборотнями возмездия. Оборотнями возвращения к истокам и оборотнями переиначивания человека. Оборотнями обрыва и оборотнями профилированного тракта. Нашептывающими совокупно: больше не будет ошибок, несбывшееся сбудется, и уже без жертв, без срывов в бездну. Одни начала, начала, начала... Пророчества, сигналы "оттуда", дурные сны... С юности (и навсегда!) запомнившаяся схватка будто близких (Верховенский-младший — гражданину кантона Ури): "И застонет стоном земля: "новый правый закон идет", и взволнуется море и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы. — Неистовство! — проговорил Ставрогин. — Почему, почему вы не хотите? Бойтесь? Ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли? Да ведь я пока еще Колумб без Америки; разве Колумб без Америки разумен?" Из уст едва ли не самого страшного из персонажей Достоевского, легко вроде прикрепляемого к "революции", легко включаемого во "всемирный коммунизм" — да так ли? Так ли выборочны сей персонаж и слова его, как в этом нас стократно убеждали? Либо всем родствен он, всем некорыстным, жаждущим "поставить строение каменное" — и справедливое и прочное, на веки веков? Всем, кто не смеет отклонить от себя ни заботы, ни тяготы возведения его? И тем более тем, чей зодческий пароль: "одни мы"?! Но это еще не все, даже не главное. Главное же — соблазн неразумия, безумства отправляющихся в путь, не ведая, что заветное — иной свет, все тот же старый-новый, только с утратой его исканий и иллюзий, с утратой его всеобщих братских могил. **Облегченная ноша — кладезь оборотней.** Прописными буквами: Петр Верховенский, не первый, не последний — и русскими буквами и нерусскими, и над отечественной строкой он, и над "чужой". Длинною в историю тот оборотнический реестр, и, чем ближе к ее развязке, тем больше имен, тем многоязычней они. Перечислить ли всех — и тех, кто ныне почитаем, и тех, кто ныне прогибаем, — всех, не желающих счесться ни предками, ни потомками...

Глаз задерживается на вчера увиденном снимке. Кто она, вот эта Ульрика Майнхоф, — русская ли дальним родством и только ли немка ближним? Красавица, блестящие ум и перо, нежная мать, начавшая с того, что бросила вызов "вечно вчерашним", с тем чтобы спустя несколько лет уйти из жизни с потухшими глазами и с опустевшей душой, где было начисто сожжено собственное **вчера** и оттого не осталось места для **завтра** всех людей на свете.

Не наша — отечественная забота, не правда ли? Не наша потеря — эта женщина, да и потеря ли вообще? Не смею отвечать за других. Отвечаю за себя: моя потеря. Моя, хотя и не самая кровная. Но как узнать, какая из потерь кровней? Какая завтра обойдется дороже — тебе и твоим потомкам?

Чтобы ответить — снова обрести "вчера". А раньше узнать — где оно, наше "вчера", у кого и с кем?

Отвечаю: ни у кого в особенности и у всех во взаимно открытом споре, тем самым будто уклоняюсь от четкого и недвусмысленного ответа. Призывая живых к диалогу, к встрече равно с живыми и мертвыми, я как будто впадаю в риторику. Повторяясь годами, начинаю и в собственных глазах походить на безумца. Не в оправданье, не в утешенье, а в некоторое разъяснение самого себя самому себе: иначе не смог бы жить. Иначе бы онемел, оглох, ослеп, заточенный в себя — потерявшего себя. Иначе бы не понял заново ближними дальних, дальними — самых близких. Иначе не услышал бы, минуя расстояние в вечность, предсмертный шепот творца Евангелия от Пилата: "Пусть знают, пусть знают!" Иначе не разделил бы прозрение и смятение Александра Твардовского, открывшего внезапно, что он и при жизни — "на том свете", но не желавшего принять это свое открытие за свой и всех ("своих" и "чужих") конец без начала. Иначе... О, этих "иначе" не так уж мало, тут наряду с известными известно-безвестными именами и те, кто известен только друг другу — и этим счастлив в несчастье, какое не от личных стеснений и утрат, не от них одних, и не от них в первую очередь. Я живу на этом пятачке, где свободно уживаются восьмидесятилетний с сорока- и тридцатилетними, куда вход открыт любому, свободному душой, любому из подданных Земли, — и где мне посчастливилось встретиться с особенным человеком: с женщиной из страны Память.

Как часто мы произносим, сожалея: "Ах, если бы встретиться раньше..." Я готов применить эти слова и к нашему с Анной Михайловной случаю и тем не менее смею утверждать: это случилось вовремя. С первой минуты первого троллейбусного разговора мы заговорили о главном — о том, что я стремился узнать и что на всем белом свете знает она одна. Что же именно и отчего одна? Знание ли это запретных, замурованных фактов, изгнанных из общественной памяти, не существующих для казенного летописания, — это ли знание выделяет ее среди нас либо также прикосновенность к утраченному смыслу этих, и иных, и потаенных, и мнимо открытых, квазидоступных фактов? Отвечаю: и то и другое... Великая вещь — деталь. Одним штрихом художник придает человеческому лицу ту неповторимость, в какой скрестились гены и судьба, прожитое и предстоящее, и, относя эту способность к таинству, именуемому искусством, к дару, которым наделены немногие, не упускаем ли

мы самое существенное, относящееся уже не к отдельным, не к избранным, а к феномену Человека — к его жажде постижения, к его наклонности предполагать, превращая догадку о "сокровенной сути" в особую человеческую реальность, какая вне человека, без человека — пустота, незаполненный пробел бытия? Нет, деталь — не просто подробность. В этой "частности" целое целее своего общего вида, особенно в тех случаях, когда общий вид — не праздничное панно, а сгусток желаний и воля, осуществленных и несбывшихся замыслов, скрепленный воедино человеческой кровью — именитой и анонимной.

Естественно думать, что, чем дальше мы от нашего времени, тем больше нам могут сказать фрагменты, обломки навсегда ушедшей жизни. За доказательствами дело действительно не станет, но другой раз кажется, что совсем рядом, на расстоянии одного-двух поколений, простирается величайшая из исторических пустошей; некогда населенная, а ныне обезлюженная и мучающая нас загадкой: кто были те, исчезнувшие, на каком языке говорили и о чем думали молча? Я жил там, но часто чувствую себя инопланетянином, которому если даже и известен синтаксис того языка, то уж вовсе не доступен способ, каким сочетались (и разъединялись) движения умов и душ, наполняя страстным и страшным смыслом кажущиеся ныне столь простоватыми (и даже просто смешными, просто дикими) "знаки" — приметы их существования в открытом ими и в замкнувшем их Мире. Мире, где публичное, общее, всеобщее не только заполняло все поры, уравнивая лозунг с объяснением в любви, ставя отлучение и проклятие в один ряд с самоотречением и жадной гибели во имя всечеловеческого братства, но и самому быту, всем аксессуарам человеческой повседневности придавало ту искомую прозрачность, какая обладает свойством исчезать столь же стремительно, как и возникать на "звездный" миг...

Женщина из страны Память предстала передо мной хранительницей единственных в своем роде подробностей этого именно смысла. Она рассказывала, возвращая из небытия слова, эпизоды, встречи, и спорила, отвергая (смело и прямо) версии, с которыми мы уже свыклись как с лучшими из мыслимых объяснений того, что, кажется, не поддается никакому разумному объяснению. Что поразило меня больше всего — она не поддавалась при этом ни соблазнам законной ненависти, ни еще более законным соблазнам мученичества, требующего признания и поклонения... Отчего ж такое? Оттого ли, что довелось ей начать жизнь в кругу рано ушедших, освобожденных смертью от падения на самый низ раболепства, что, вдохнувшая в детстве воздух почти свободы, она удержала его в груди? Оттого ли, что, проводившая в крестный путь любимого, чьим именем и мыслью пытаются ныне спасти, обновивши, окровавленный и растоптанный коммунизм, она не только сберегла его последние

слова — буква в букву, — но и сумела сохранить то ощущение человеческого равенства, которое окрашивало их многолетнюю дружбу, перешедшую в любовь. А без этого особенного равенства, где юная и наивная в чем-то сильнее умудренного и знаменитого, — далось бы ей сохранить его образ свободным и от навета, и от добронамеренной ретуши, от непрочного и унижающего нимба? Оттого ли, наконец, что пройдя Архипелаг от первых ворот до последних, не смогла и не захотела согласиться, что жизнь замерла в его пределах? Да, оттого, вероятно, оттого, но еще и сверх того.

Перебираю расхожие слова: талант, жизненная сила, независимость, привязанность к людям... То, да не вполне. Может, просто память? Да, разумеется, и завидная. Но все-таки не в ней одной суть. То есть в ней, но иначе понятой. Записываю — после первой встречи: "Человек ведь не просто помнит; помнит и животное, вероятно даже лучше человека запоминая то, что было; человек же **вспоминает**, включая в "то, что было", **себя — вспоминающего**, заново переживающего бывшее включением уже в другую жизнь (и ради того, чтобы она была другой!). Так он, человек, всегда субъективен? Конечно. Но еще и знает это. И преодолевает свою субъективность. Явно и неявно, рефлексией и нравственностью, а что на свете мудрее, что нравственнее этого человеческого спора с собой, что важнее его — везде и всегда, сегодня же в тысячу раз важнее, чем всегда!"

И еще о ней — о женщине из страны Память. Благодаря ей мне стал ближе тот, кого напугивала она (прощаясь и чувствуя, что навсегда) словами: только не лги! Словами любви и веры в него, чистыми словами из обихода нечистого мира, который еще не ведал, сколь близок он к своему падению... Сегодня я принимаю их и на свой счет, не сами по себе эти слова. Не голым призывом к не-лжи они ныне, а скорее, оспариванием чего-то другого, что трудно назвать, еще труднее понять. Назовешь ли это тайным признанием еще не до конца ушедшей веры, спазмом химеры вселенского спасения? Правдою, покинувшей тех, кто пытался втеснить и удержать ее — одну на всех, одну для всех? А может, и ложь и правда здесь вообще не те слова, и не врагом спасению Человека было и остается то, чего "они" не простили другим (и друг другу) и чего мы так часто стыдимся, именуя слабостью.

Человеческой — человеческой слабостью. Слабостью тела в ожидании пытки. Слабостью духа, отказывающегося спустить курок. Слабостью человека и беззащитностью мысли, которая стремилась обнять и понять каждого и всюду, до последнего уголка планеты... и споткнулась о собственный замысел, и оскудела, и сошла на нет от непосильности его. Слабость этого человека и беззащитность этой мысли — в осуждение или в оправдание *post factum*? Не знаю. Ибо — слаб и беззащитен

и сужу себя страшным судом наедине с собой и втайне жажду оправдания. И потому так близок мне этот далекий человек, узанный через женщину из страны Память. С риском ошибиться полагаю: не только мне он нужен сегодня, нужен узанным и таким именно, каким его знала и знает на всем белом свете она одна.

Легко ли ей самой дается это знание? Не берусь судить. Оно, мне кажется, и давит ее и бережет, придавая силу быть и оставаться собою. А что выше этого в Мире нашего уходящего века?

27 января 1982

День рождения А.М.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

от историка Гефтера М.Я.

Причины серьезнейшего свойства побудили меня прибегнуть к этому обращению.

Лишь отчасти эти причины касаются непосредственно меня. Имею в виду обыски дважды (4 декабря 1979 г., 6 апреля 1982 г.), произведенные у меня по ордерам, которые выдала Московская прокуратура. Я не стану задерживаться на подробностях. Они более или менее стереотипны, да и то, что весьма ощутимо для отдельного человека, не в любой момент злободневно для всех. Поразишь ли тем, что люди, представляющие органы правопорядка, сами открывают входную дверь в квартиру (как было во время первого из упомянутых обысков) или вовлекают в процесс обыскивания понятых (так было во второй раз)? Но человек — живое существо и, даже достигши моих лет, не утрачивает "наивного" свойства — удивляться. В данном же случае удивляться абсурдности действий, особенно задевающей сознание, когда эти действия наблюдаешь в натуре, когда на твоих глазах укладывают в мешок твои рукописи, книги и выписки, заметки, предназначенные для друзей, иначе говоря, обиход умственной работы и ее итог, который даже для того, кто производит эту работу, чаще всего неоднозначен, оставляя место сомнению и побуждая возвращаться вновь и вновь к будто решенной проблеме, к, казалось бы, законченному тексту. Что же, как не абсурд, вторжение в эту сферу людей, априори уверенных, что этот самый текст, эта рукопись, эти заметки не более чем улика преступления?

Я не сделаю никакого открытия, сказав: презумпция виновности в любом случае страшная вещь, распространенная же на мысль — вдвойне. Это было правильно и вчера, тем более это правильно сегодня. Частные случаи бросают свет на ситуацию в целом. Можно, правда, пренебречь этим. Может показаться, что ущерб, наносимый отдельным людям, выпавшим из "общего строя", не вредит остальным. Но это тот же абсурд, только взятый с другой, не менее самоубийственной стороны. И что красноречивее в этом отношении, чем уроки последнего полувека, а внутри них — особо, отдельно — уроки 1930-х с их чересполосицей подвигов и злодейства, удивительных прозрений и чудовищной слепоты, с их новорожденной идеей неделимости Мира и с их роковой неспособностью преодолеть барьер различий — и с судьбой еретиков того порогового десятилетия: отпавших и

отброшенных, загубленных и потерпевших поражение из-за собственной слабости, которая едва ли не родственной нам сегодня, чем все остальное в нашем неедином всеобщем наследстве. Я позволяю себе утверждать это, поскольку потратил годы на уяснение и этих уроков, и этой судьбы; и мои возражения против произвольных действий, нарушающих мою работу, проистекают прежде всего из взгляда, внутри которого я сам занимаю достаточно скромное место.

И еще одна, решающая причина моего обращения к Вам и в данный момент: тревога за участь молодых людей, к духовной жизни которых я прикосновенен, равно как и они прикосновенны к моей духовной жизни, к моим интересам, к моим сомнениям. Этой счастливой связью я дорожу больше, чем нормальными условиями для независимой профессиональной деятельности; в сущности, она (эта связь) и составляет главное из названных условий, и всякий принудительный обрыв ее я воспринимаю как посягательство на меня самого. Поэтому я считал не столько даже непременно, сколько минимальным ходатайствовать о вызове свидетелем на процесс В.Ф. Абрамкина в 1980 году (Мосгорсуд мне в этом отказал). Сегодня же я просто не простил бы себе, если бы ответил молчанием на арест Г.О. Павловского.

Поскольку все, о чем сказано выше, имеет отношение к делу, значащемуся под номером 50611/14-79, считаю необходимым изложить ниже то, что я думаю об этом деле.

Заведенное три года назад и не закрытое и по сей день, оно расшифровывается (следствием) как дело "Поисков". Таким образом, обыски, аресты и судебные приговоры, затрагивающие отдельных лиц и вносящие крутые перемены в их судьбу, направлены против них **в меру их причастности** к журналу, издание которого было прервано волеизъявлением редакции в конце того же 1979 года.

В этой связи возникает два не частных вопроса. Первый: характер журнала, преследуемого много спустя после того, как появился на свет его последний (8-й) номер. Второй же вопрос касается самого незакрывания дела — правового и общественного смысла этой акции (ибо это, конечно, не простое затягивание во времени).

Что касается первого вопроса, то мне уже приходилось формулировать позицию свою — в заявлении, внесенном в протокол допроса 9 июня 1981 года. Там говорилось, в частности:

"1. Я считаю незаконными любые действия, препятствующие гражданам СССР (каждому из граждан) выражать устно или письменно свои убеждения и взгляды, — естественно, при условии, чтобы эти публично высказываемые взгляды не содержали призыва к насилию.

2. С этой точки зрения я рассматриваю преследования, кото-

рым подверглись редакторы журнала "Поиски", как необоснованные и противозаконные".

Сейчас уместно дополнить этот текст следующим: моя причастность к "Поискам" не составляет тайны. И не потому, что нечто ранее скрытое оказалось разоблаченным и теперь его нет резона утаивать. Нет, этой тайны не было с самого начала. Более того: тайна была отвергнута **как таковая** — всеми, кто решил учредить "Поиски", положив в основание их принцип **открытой мысли и диалога убеждения** (не ограниченного ни составом вопросов, ни составом участников). Мое добровольное и обдуманное решение участвовать в "Поисках" было обусловлено активным согласием с указанным принципом. Оно документируется текстом "Приглашения", написанного мною и опубликованного в первом номере журнала. Я подкрепил эту свою позицию (не считая статей, в которых она отражена) в письме редакторам "Поисков", преданном гласности на страницах заключительного номера 1979 года. Сегодня следует вновь подчеркнуть, что именно приверженность принципу открытости и систематического диалога могла объединить людей разных поколений и взглядов, принявших то или иное участие в "Поисках"; моя духовная близость к молодому талантливому публицисту Глебу Павловскому (близость, которая тоже не составляет никакой тайны) разрешает мне заявить со всей решимостью: в деятельности, расходящейся с этим принципом, в деятельности, проникнутой духом безразличия к идеям, духом сектантской нетерпимости и **любого ненавистничества**, он, как и другие его сверстники и друзья, участия бы не принял.

Здесь не место разбирать, в какой степени самим "Поискам", то есть людям, их создавшим и выпускавшим, удалось воплотить заглавный принцип. Со своей стороны могу лишь выразить (точнее: не могу не выразить) глубочайшее свое убеждение — нет ныне другого способа сдвинуться с "мертвой точки", чем Диалог. Под "мертвой точкой" же я понимаю не только масштаб и остроту проблем, нависших над всеми нами, но и нерешаемость этих проблем (как домашних, так и мировых) опробованными в прошлом действиями и приемами. Под "мертвой точкой" я понимаю также противостояние — и внешнее и внутреннее. Все знают, что в ядерный век не может быть ни победителей, ни побежденных. Но разве эта истина относится лишь к геополитике, лишь к отношениям держав, располагающих средствами уничтожить жизнь, и не относится к жизненным отношениям между людьми — и прежде всего в этих державах? **Мы все равно ответственны за завтрашний день**, и даже не за то, каким он будет — это, конечно же, важно, гигантски важно, но все-таки вторично, первично же: добиться, чтобы он (завтрашний день) **был**.

Рискуя показаться ломящимся в открытую или, напротив,

в прочно закрытую дверь, я утверждаю: ни один человек, наделенный властью, не смеет лишать мыслящего иначе, чем он, права на соучастие в этой высшей ответственности, — соучастие, предполагающее не только равенство действительных возможностей, но и нечто (сейчас) более важное и более трудное. Именно: совместность в завоевании и утверждении доверия. Вчера представлялось очевидным — к доверию приходят, им заканчивают, а не начинают. Сегодня же **все** (страны, миры, люди) обязаны сделать возможным невозможное: начать с **доверия**, наперед зная, что доверившиеся останутся разными (разномыслящими, разно-живущими). Таково веление времени, неотделимое от разгорающейся вселенской схватки за недопущение "обыкновенной" — узаконенной и практикуемой — ядерной войны; схватки, в ходе которой уже рождаются совсем новые критерии и нравственные ценности, новые импульсы к консолидации умов и воли. Счет идет на этот раз даже не на миллионы, а на человеческие миллиарды — и в счет идет (вновь, но еще резче и настоятельней, чем в 1930-е) на единицу: человека. Теперь никто не должен отпасть и никто не должен быть отринут.

Во имя успеха в борьбе, где на карте жизнь, нужно (и незамедлительно!!) вернуть в жизнь всех добровольно и мучительно ищущих.

Я начал с сюжета наиболее кровного мне и свернул сразу на то, что является ныне проблемой всех проблем, поскольку ощущаю здесь неконъюнктурную связь, отвлечься от которой не может даже человек, оказавшийся в условиях, когда его только спрашивают, а он ("по закону") обязан отвечать, и только отвечать. Даже в этих условиях я считаю и правом и долгом руководствоваться ответственностью перед всеми людьми — и теми, кто рядом, и теми, кто далеко, и перед "своими", и перед "чужими". Это право и этот долг продиктовали мне как участие в "Поисках", так и отказ (в 1981 и 1982 гг.) давать показания по делу "Поисков". Ибо включиться в него в качестве свидетеля на тех условиях, которые диктуются следствием, означало бы с моей стороны не только признание законности преследования идей и преследования людей, стремившихся нащупать живые контуры **некатастрофического выхода**, но и признание правомерности затяжек (на годы) этого дела — с явной тенденцией использовать его как средство давления и что-то вроде запасника при новых набегах на "инакую" мысль и неотделимые от нее формы человеческого общения. Оно означало бы, наконец, то, что для меня абсолютно неприемлемо и в данном и в любом случае: фактическое приспособление к обстоятельствам, которые обращают людей с даром и энергией духовных исканий в уголовных преступников, чьи силы уходят на выживание в тюремных камерах и лагерях. Я спрашиваю: логике каких общественных интересов может отвечать эта растрата ума и самоотвер-

женности, которая, подобно цепной реакции, захватывает, втягивает в себя и тех, кто "на воле", множа симптомы равнодушия и поощряя (на деле) неконтролируемые страсти и позы-вы к насилию?

Если бы я считал этот вопрос только риторическим, я бы не стал обращаться в одну из высших инстанций власти. Но как историк я знаю, что бывают такие минуты в политической и народной жизни, когда вчера еще недоступное, отвергаемое с порога становится и достижимым и обязательным. Мне кажется, что такая минута уже наступила, что Мир и все мы в Мире подошли к такому краю, врозь отвернуться от которого не удастся никому. Сознание остроты момента и обусловило в конечном счете данное обращение.

Конкретно я призываю Вас во исполнение Вашего конституционного долга:

1. Взять под особый контроль дело "Поисков", способствуя скорейшему прекращению его в форме, соответствующей закону, принципам и нормам международного сообщества, а также — и особенно — велению времени.

2. Исходя из наиболее широких соображений как нравственного, так и государственно-политического характера, возбудить перед Верховным Советом СССР вопрос об амнистии в текущем, 1982 году, которая распространилась бы и на всех без изъятия советских граждан, преследуемых за инакомыслие (и осужденных, и находящихся под следствием).

*26 апреля 1982**

* Адресат не откликнулся. Ответ, полученный от следователя по особо важным делам Московской прокуратуры Ю. А. Бурцева, впечатляюще краток: "Ваше заявление приобщено к уголовному делу".

ПРОЩАНИЯ

В ПАМЯТЬ О ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ГНЕДИНЕ

Господи! Душа сбьлась, —
Умысел твой самый тайный.

М. Цветаева

В первых числах августа мы расстались. Он сказал: "Я хочу, чтобы вы отдохнули"; а я ответил, что не задержусь. Надеялся застать его живым — хотя бы таким, каким оставил.

Но не суждено было. И сегодня я прощаюсь с ним, уже навсегда безмолвным.

Я прощаюсь с любимым, любимейшим моим старшим другом.

Среди многих утрат — от первых, ранних, до последних лет (когда утратам этим несть числа), эта потеря особая, отдельная, ни с чем не сравнимая.

Я чувствую, что вместе с ним ушла какая-то часть меня самого. Невосполнимо, без возврата.

Однако я попробую превозмочь это чувство в попытке уяснить место и значение его личности и его жизни в общечеловеческом ряду.

Не с горя, а в ясном сознании я утверждаю: Евгений Александрович Гнедин принадлежит не только тем, кто его давно и близко знает, и даже не только тем, кто раньше или позже узнает его: его поразительную биографию и его мысли, уже переданные печатному тексту и оставшиеся пока в рукописи.

Он принадлежит также и тем, кто, быть может, никогда не узнает ни его имени, ни его жизни.

И сейчас он и с нами, и с ними.

Ибо — он из того братства людей на Земле, кто доказал, что человеколюбец и жизнелюбец, даже если он властью обстоятельств обречен на одиночество, попран, загнан в угол, приговорен к безвестности, в чем-то непреходяще важном оказывается не слабее, а, минуя время, и сильнее самого чудовищного систематизированного человеконенавистничества, в ресурсе которого и самоуверенность механической мощи, и фатализм бессилия: покорство людей, уверовавших в предначертанность их итогов, финалов, развязок.

Так кому же в этом разуверить человека, как не человеку?

То, что его не убили в 1939-м и позже, то, что его оставили жить, — все-таки случайность. Но то, что он выжил "там", — уже не счастливо вытасченный лотерейный билет, а равнодействующая в неравном поединке, где его сторону держали и врожденный сангвинизм, и благоприобретенные ум и сердце российско-

го подвижника, и даже своего рода уленшигелевское лукавство, какое также от сердца и от ума. Но для чуда было мало и этого, чуду нужны были еще сотворцы: любовь и дружба, их негласный союз, их взаимность на расстоянии, которое не измерить ни годами, ни верстами...

В награду — жизнь. Свои мемуары он назвал: "Второе рождение". Я не исключаю, что то же вправе сказать о себе многие, но по отношению к нему наименование это абсолютно точное. Его первая жизнь была под стать веку. Сын эмигранта, знаменитого во многих, трудно сводимых обличьях (имя Гельфанда-Парвуса замелькало вновь, обращение же с его биографией далеко не всегда отличается точностью). Евгений Александрович еще ребенком расстался с отцом и вернулся на родину вместе с матерью, социал-демократкой. Революция застала его гимназистом и сразу втянула в свой ненасытный поток. Он был если не в самом эпицентре свершавшегося, то вплотную к нему, что обогащало его сознание столь разными, на расстоянии же трудно отличимыми друг от друга событиями, как наша коллективизация и первые шаги овладевшего властью нацизма. Дипломат и журналист, он был близок к людям, значительность которых определялась не только занимаемыми местами. Он не боготворил ту жизнь, скорее стеснялся ее, и если не всей ее сплошь, то и не просто — эпизодов, застрявших занозой в памяти. Это чувство иной раз брало у него верх над доводами "исторического разума", но здесь таился и нравственный смысл: тот, который не позволяет успокоиться на силлогизме (пусть самом изощренном и разработанном) и вместе с тем не дает человеку застрять в отлучении прошлого от себя — занятии столь распространённом, несмотря на то, что оно давно уже истощило у нас свой начальный освобождающий запал, пафос Шестидесятых. Не стоит, однако, забывать, что живому свидетелю (соответчику, даже если он жертва) куда труднее, чем родившемуся позже, отдать себе горький отчет, что историю не исправишь задним числом и что все попытки этого рода ни на вершок не продвинут к разгадке тех страшных и будто внезапных обвалов, какие хоронят разом целые поколения не готовых к ним людей...

Раз второе рождение, стало быть, и вторая юность, вторая зрелость. Да, именно так и было с ним. Эту его юность и эту зрелость его я уже наблюдал вочию. И вновь, не в порыве горя, а проверяя чувство мыслью, утверждаю: то был подвиг. Подвиг без риторики, без малейшего намека на избранность. **Подвиг понимания. Подвиг непредвзятости.** Вернувшийся из небытия, он не разучился слушать жизнь и слышать другие голоса, узнавать и радоваться узанному. Уцелевший, он жаждал не мести и даже не возмездия, а того, что можно бы назвать **неповторением** — за отсутствием других, более точных слов, и за

открытостью самого вопроса. А доступно ли оно, неповторение? Достижимо ли без крутых перемен и допустимо ли посредством крутых, да еще в том обличье крутости, которое от нас пошло, став достоянием и проклятием других?..

В нынешнем Мире, где в революционерах ходят убийцы и где террорист оспаривает смысл благоденствия за чужой счет, как и благополучия вообще, где все (мерещится нам в горький час) способны и могут стать всем, чем угодно, — он был как бы живым опровержением этих дурных снов наяву. Не словами отклонял он неумолимость еkkлезиастову: все суета и погоня за ветром... Не словами, ибо понял, что в какие-то внезапные моменты слова теряют силу, переставая соединять людей, и что как раз, когда крушатся цели и мельчают намерения, скудеет и Слово. (А может, наоборот? Может, цель покидает человека вслед за Словом? Одно ушло, другое — за порогом, а в промежутке — немота, что чередуется и тасуется с потоками проговариваемого шлака? Так бывало и в далеком прошлом; "словесный" же опыт Тридцатых нашего столетия многому бы научил пришедших после, была б у них охота учиться и не был бы он, этот опыт, отодвинут и смят совсем свежим, как бы вобравшим в себя все пустоты былого...)

Его воспоминания — и на эту тему. Когда я читал их, еще машинописные, то был потрясен, и даже не столько тем, что выпало на его долю, и даже не тем, что он выдержал — и телесные муки, и еще более страшную сухановскую безысходность; нет, все-таки больше всего меня поразило, что, перенесший это, он как бы погасил в себе страдания. Именно — не растерял, не запер. А освободился от них все тем же *Словом*, доказав, что даже тогда, когда оно из всечеловеческой связки становится инструментом разъединения, оборотням Слова не удастся довести эту всеобщую размолвку до исчерпывающего конца.

Вроде бы — не открытие: то, что сеет смерть, несет в себе и семена возрожденной жизни. Вроде бы — не открытие из тех, что познаются вновь и вновь. Кто укажет, когда наступит очередь последнего из них и не наступила ли уже?

Летопись дней и дел второй жизни Евгения Александровича Гнедина пока не написана. Но она будет написана. Она должна быть написана. Это наш долг. И когда мы исполним его, я уверен, мы сами будем удивлены, сколь многое уместилось на ее страницах при редкостном совпадении поступка и мысли. Некоторое время назад я бы, вероятно, не задумываясь поставил вместо "поступка" — "действие": понятие более привычное и более солидное, что ли, шире раздвинутое во времени и в пространстве. Но теперь я предпочитаю первое из этих обозначений за его буквальность, адресуемую человеку и подразумевающую как добровольность поступка, так и этой-то именно доброй волей продиктованную обязательность "неожиданно"

совершаемого человеком вкупе с добровольным же отказом его принуждать других к повторению поступка (сколь вдохновляющим он бы ни был) и тем паче перелгать на них следствия, результаты, которые вроде и не твои уже, не тебе принадлежат, не на твоём счету.

Как не добавить к сказанному, что поступку по самому существу его не облечься в белоснежную ризу, что между ним — действительным и искомым — всегда есть зазор. Быть может, все человеческое в человеке измеряется как раз таким зазором, и не столько даже величиной его, сколько тем, замечает ли его сам человек, способен ли он вовремя оглянуться, а увиденным — соразмерить как силу свою, так и слабость; непременно и слабость, без какой человек также — не человек. А соразмерив, удержать себя и от избытка страха, и от избытка отваги, от упоения успехом и от особенного искусства насладиться собственным поражением, собственным падением. Стало быть, где человек, там и поступок? Хочется верить в это, но знаешь, что даже вернее обратное. Прежде всего там, где самый обыкновенный порыв к состраданию, к защите ищущего, домогающегося правды воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, предосудительное либо никчемное: "буря в стакане воды". Эта сегодняшняя коллизия чересчур серьезна, чтобы презреть ее, и чересчур опасна, чтобы смириться с нею. И выхода как будто не видно. Но вот они — люди, убежденные, что есть выход, поскольку не может его не быть.

Ставя Евгения Александровича Гнедина в этот ряд, я пытаюсь тем самым объяснить тайну человеческого превосходства в человеке, которому оно было и чуждо, и просто не нужно. В поступках его, как и в словах, не обнаружить никаких нарочитостей, никаких "слишком", ничего "сверх". Поступок мог опережать мысль либо отставать от нее, но в конечном счете — они брали друг друга за руку. И шли навстречу людям с неизбежаемой гнединской улыбкой...

Это отступление — не только о нем, но, смею предположить, и ему принадлежащее. Мы часто говорили на эту тему, и перед нами возникали человеческие лица — знакомые очно и понаслышке. Возраст и жизненный опыт Евгения Александровича придавали особую зоркость его взгляду. Может быть, я и преувеличу, сказав, что он не ошибался в людях, но в доказательство смог бы привести не один случай, когда печальные казусы подтверждали его прогноз и оценку. Но все же не это мне хотелось бы выделить, а другое и даже противоположное. Именно — доверие, которое он питал к человеку: не обязательно исповедующему то же, чего держался он сам, и не непременно праведному в своих помыслах. Проще бы всего объяснить это его до-

верие доверчивостью, природной доброжелательностью и снисходительностью. Мне самому в начале нашего знакомства казалось, что Евгений Александрович не свободен от слабости, несуразное прозвище которой — "всеядность". Впоследствии я убедился, что не прав, и не столько фактически, сколько принципиально. И даже не столько не прав был я, сколько прав был он — в своей презумпции доверия к людям.

Презумпция доверия — не нарочита ли эта смесь юридической латыни, настаивающей на строгости истолкования, с чудесным словом, которому дано впитать в себя все лучшие намерения? Не произвольный ли слепок это со знаменитой "презумпции невиновности", в пользу которой столько было сказано слов во время оно, что пора б, кажется, и призабыть ее ввиду самоочевидной азбучности. Но нет, не так это, и забыть не удастся, поелику не дается названная азбучность, и, может, оттого и не дается — в будто узкой сфере параграфов и "статей", соблюдений и пресечений, что нет простора у доверия, что доверие не свободно, не в чести у нас, под подозрением? А как хорошо бы довериться любому, поверить в человеческую надежность каждого, проснувшись в одно прекрасное утро с этим всепоглощающим чувством.. И с риском ошибиться, дорого платя за каждую ошибку? Что ж, и с риском этим, едва ли не единственным, про который можно всерьез сказать: "Риск — благородное дело". И ведь знаем, что у недоверия риск больший, что за недоверие платим дороже: недобором хлеба насущного и всего остального из самого насущного — вплоть до конца жизни или, вернее, начиная с нее. Сегодня — с нее. Но знаем ли это, либо только догадываемся, либо и на пути к догадке этой — завалы, какие не разобрать в одиночку, не разобрать, не напрягши совместно память, считающую назад — эпохи и поколения, надежды и преступления, общие взлеты и провалы в небытие?

Заколдованный круг. Из всех кругов нашей истории недоверие — наибольший рецидивист, самый неисправимый, самый скрытый. Причины заколдованы следствиями, запрещающими себе (и другим) вспомнить и понять, откуда, от кого они, эти подложные страхи, эти призраки бродящего предательства, привидения перманентной измены? Правда, — уже поблекшие, без фосфорического блеска, но зато и послушно меняющие лик и лексикку, легко перебирающиеся из присутственного места в подворотню и салон, кочующие от казенного рго к противоказенному contra и даже обратно, все чаще обратно. Да уже, собственно, и не привидения, а привычки, а нравы, обыденная и даже стихийная (этими-то нравами и привычками и направляемая) селекция равнодушных и двоедушных, в свою очередь латающих и подновляющих то самое недоверие, которое, не брезгуя грубым исконным кормом, предпочитает ныне блюда с приправами из гнева по инерции, из ненависти в угоду моде...

Не ново вроде. Подтверждено паки и паки. А выбор каков? Довериться сеюшим недоверие, промышленяющим взаимной подозрительностью — или, напротив, всем ненавистникам из расчета ли или по мнимому вдохновению, всем им — в лицо: "Иду на вы!" Тогда где же презумпция доверия, не знающая исключений?

Вновь заколдованный круг. Круг в круге. Не расколдуешь второй, не расколдовать и первый; не расколдуешь в одиночку, не расколдовать и сообща... Что это — притча или надпись на двери, ведущей в никуда? Произнесешь с убеждением, но убедишь ли и побудишь ли — к особенной **деятельности доверия**, у которой не только способ неясен, но и "предмет" не очевиден? Убедишь ли, неспособный подтвердить ни одним из великих исторических прецедентов, поелику нет ныне доверия к ним, и ведь по заслугам это им — и прежде всего тем, какие из фондов Утопии, из запасников, где хранятся пророчества и наметки "золотого века", проекты и графики его. К этим-то графикам как раз недоверие самое злое — и не за совращение химерами, а именно за осуществимость, неполнота и хрупкость которой лишь одна сторона медали. Другая же — насилие введения и еще страшнее: насилие удержания — и уже не Платон с Мором, и не Оуэн с Фурье именем нарицательным, а мелкий эпигон Пол Пот, убийца с сорбоннским проносом и с антиутопическим партбилетом.

Итак, утопия — не в подтверждение. Прагматика же просто — мимо. Впрямь: что непрактичней, чем одиночка, берущийся вручную собрать всех короедов доверия; и не вообще непрактичней, а сегодня — в Мире, где отдельный человек — "ничто" и где он же — "все", когда ненароком оказывается у кнопки! И что сей одиночка, сей рыцарь доверия, что он в силах предложить власти и этносу, этим двум неустрашимым персонам мировой трагедии, и опять-таки не вообще предложить, а у себя Дома?

Не наивно ли, не ребячеством ли отдает — ждать спасения, поскольку о спасении речь, ждать его от отставника действующей истории, от доброхота-пенсионера, в лучшем случае не потерявшего интереса к жизни за пределами собственной квартиры, но даже в этом лучшем случае обреченного быть нулем в "реальной политике"?

На вопросы, которые задаешь себе, отвечать и легче и сложнее. Легче, ибо можешь — наедине с собою — миновать иные из логических ступенек и брать главным доводом сердце, и держать в козырных тузах, побивающих любую карту (с высокомерной ли и снисходительной улыбкой обладателей хода "наверх", с цинической ли ухмылкой современного фарцовщи-

ка в двух шагах от власти), — держать в этих всепобивающих козырях "об одном очке" того, кого так ясно видишь, сегодня даже яснее, чем вчера и позавчера, чем годы раньше, про кого твердо знаешь: кому-то надобно быть таким, чтоб остальные были. "Просто" были: людьми.

Как-то, в те уже эпические времена, когда перед зданием суда, где происходил очередной диссидентский процесс, собирались близкомыслящие и сострадающие, Евгений Александрович столкнулся с иностранным журналистом, которого знал еще по своим доархипелаговским годам. Тот спросил (удивленный, вероятно, несоответствием между почтенным возрастом и этим его новым занятием): "А вы здесь в качестве кого?" "Завотделом печати Литвинова", — отшутился Е.А. Шутка соответствовала не послужному списку, а биографии, которая столь часто начинается падениями, разрывами времени внутри человека. Может начаться, а может и вовсе не начаться... Не начался ли "завотделом печати" Литвинова в тот день и час, когда он перестал быть таковым по всем видимым признакам; не потому ли остался им и после, что тогда и до самого конца был человеком без "должности", не вписывавшимся в привычную игру ролей и престижей, ни в одну из нынешних котировок на бирже успеха?

Шутка соответствовала сознанию — в том смысле, что не противоречила ему, хотя и не исчерпывала. Сознание было шире и подвижней, чем любой из импульсов и повседневных жизненных решений. Тут, видно, сказалось и то, что в своей первой жизни, внешне не слишком выделявшей его среди друзей и сверстников, он все-таки чем-то отличался от них, людей того поколения, которое сразу и прямо вступило в революцию, увлеченное ее книжностями и ее пророками. Вступивши же, растворилось в ней, неприметно отождествляя и себя с нею, усматривая в каждом собственном шаге железную необходимость, выступала ли эта последняя в виде права распоряжаться другими людьми или как согласие на то, чтобы нечто и некто, воплощающие "общую волю", распорядились ими и их жизнями. А как же иначе, если революция? Единомыслие было ее условием и предписанием, отречение от себя — производным от единомыслия и санкцией принуждения к нему еще незрелых, "темных", блуждающих и спотыкающихся. Потом и самоотречение стало предписанием, рождая иные санкции — в придачу к прежним...

Он не был ни блуждающим, ни спотыкающимся, не был он и скептиком, однако не был и фанатиком. Веруя в единственную необходимость (заявленную страной-эпохой, державой-Миром), он вместе с тем как бы дистанцировался от ее желез-

ности, от ее единственности, отделяясь от них не столько бытием, сколько бытом и характером, широтою в человеческих отношениях и привязанностью к тем, кого взыскательно числил в друзьях, своей старомодной верностью избраннице сердца и своим "богемным" артистизмом, умением находить мгновенную радость в рифме и звуке и удерживать навсегда эту радость в себе.

Мало этого или достаточно, чтобы устоять, сохранив и плоть и совесть? Не станем торопиться ни с "да", ни с "нет". Мы знаем, что он устоял. И если "дело Литвинова" отменилось не только и, может, даже не столько потому, что "подкачал" главный свидетель, то разве не он выиграл время — во спасение других? Б.Е. Штейн, умерший дипломатическим генералом, считал, например, что своей жизнью обязан Евгению Александровичу.

Естественно, я не знал его в том первом его существовании. Когда мы познакомились, черты людей 20–30-х были в нем едва заметны, и это меня крайне занимало. Я переживал тогда то, что принято называть кризисом. Как историк, для которого и собственная персона является объектом рассмотрения и обобщения (ох, уж эти наши обобщения: темна вода, а ведь тянет — к ней и в нее!), я и себя тогдашнего готов обобщить в качестве одной из разновидностей начавшегося и оборванного перелома. Моя разновидность, вероятно, не лучше, но, надеюсь, и не хуже других. Тогда же мне было не до обобщений. "Персональное" шло горлом — душило нехваткой воздуха, болезнью, у которой были свои медицинские обозначения, не добиравшиеся до сути. Сутью же было (задним числом это выговаривается почти скучно) — поиски некоего равновесия между желанностью перемен и потребностью остаться собою. Второе не просто туго согласовывалось с первым. Тут была трещина с расходящимися краями. Сома расплачивалась за то, что дух не в силах был включиться (привычно выкладываясь) в общее брожение. Меня угнетали **са іга антисталинистов без Сталина**, красноречие разноликих иждивенцев "оттепели". Я не то чтобы не желал им успеха. Скорее, я изнутри противился их бесплатному успеху, не веря ни в его прочность во времени, ни — еще более — в его человеческую ценность. Большое сознание, как известно всякому, пережившему что-то подобное, легко раздражается, и даже не столько от прикосновения к иному взгляду, сколько от созерцания довольных собой; веселые улыбки для него — приговор к выморочности...

Как вышел я из этого состояния — отдельный сюжет. Не стану унижать себя утверждением, что это совершилось само собою, без моего участия. Но не произошло это и по классической схеме "очищения". Катарсис как-никак предполагает однократность, удар, потрясение, закрывающие ход назад. Тут же — годы, и не упражнения, а метания, крушения исходных

непреложностей и пробы ремонта их, сменяющиеся сомнением в непреложностях как таковых, — сомнением во всем, что с претензией на владение могилами и колыбелями. Годы, потраченные на отрыв от себя прежнего, — что же они дали? Не в порядке отчета, а с потребностью не обойти это в этом Слове прощания; в главных, кровных приобретениях — неумолимость и боль возврата. Боль, освобождающая — равно — от предрассудков избирательного превосходства и избирательного умаления. Спор с живущими, спор с ними в себе, приоткрыл мне вход в Мир живых мертвых, в родословную со все более широким и продолжающим шириться основанием. Не в одиночестве я вошел туда. Мне помогли те, кто ныне ближе всего: и они сами, оставшиеся в немногом числе, и их память, сближающая *завтра* и *вчера*. "Завтра" в том обнадеживающем значении, что ему (завтра) все-таки быть, а "вчера" — с предчувствием, что оно то и есть *вход в завтра*...

Что может быть более завтрашним в самом всеобщем и в самом личном, к тебе повернутом смысле, чем Голгофа? Та — первая, что никому в отдельности не принадлежит, ни одной кафедре, ни одному племени. Единственная, хотя и не в единственном числе. Дело рук человеческих и всех, до нее достаточных человеческих слов, — могла ли остаться не множась?

Тысячекратно повторенное, но и сегодня — завет, химера, клятва: "Ни злина, ни иудея". Кто вправе соавторствовать? Любой. Любой из сораспявшихся. Любой, прошедший этим путем раньше или позже, ибо никогда не поздно...

Потому социалистов-космополитов, одесситу нравом и антифашисту верой, — куда ж ему и было прийти, как не в этот долгий ряд простаков и отщепенцев? Им родственный, и особенно тому из них, кто дерзнул назвать себя "апостолом необрезанных" — и, презираемый, преследуемый со всех углов, противопоставил гонителям не стяг ожесточившейся секты, а символы дерзкой, неуступчивой и подконтрольной себе открытости. *Будучи свободен от всех, я всем поработил себя: для подзаконных подзаконный, для чуждых закона — чужд закона, для немощных — немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.*

Надо ли говорить, что ответственность за это сопоставление я беру на себя, ибо, даже движимый любовью и восхищением, не собираюсь заниматься приписками к сознанию своего ушедшего друга. Представляю себе, как улыбнулся бы он, сочувственно и иронически, изложи я сказанное с глазу на глаз. Сочувственно — по существу. Иронически же, поскольку был достаточно строг в самооценке и явно не годился в пророческие

персоны, на которых такой спрос сейчас (впрочем, и предложение немалое).

А между тем кто, как не он, спасал — и "там", и после, ограждая "по крайней мере некоторых" от прямых опасностей, и, конечно же, не посредством попечительских распоряжений и даже не непременно вторгаясь в обстоятельства другой жизни. Спасительной силой обладала его потребность быть на месте в минуту человеческих бед и страданий. В старой Руси, по свидетельству Даля, психологов именовали душесловами. Евгений Александрович был душесловом по складу ума и сердца, щедро и без расчета питающих другие души и получающих от них (в ответ) жизненный ток.

Он не был ни набожен, ни склонен к эсхатологической мистике, оставаясь до конца дней тем, кого принято считать рационалистом, то есть человеком, полагающимся на разум и убежденным, что его источники далеко не истрачены, в том числе — и даже раньше всего — в тех сферах жизни, где человек имеет дело с самим собою; будучи "инакомыслящим", он и это исконное и совсем новое поприще также рассматривал как проявление *разумности*, равно возрождающей традицию и распахивающей человеческую целину. И ее, эту "инакую" разумность нынешнего столетия, искал по крохам и приметам духовной и социальной жизни других миров: и в молодежном движении Запада, и в антибюрократических, антиавторитарных течениях, пытающихся найти способ решения проблем, затягивающая статика которых способна обернуться уже не поражением разума, а распадом его.

Естественно, что он не задавал печальной памяти вопроса: с кем вы, мастера культуры? Он спрашивал себя, ему важно было внутри себя решить — с кем он? И спрашивать было нелегко, и еще сложнее отвечать. Он выходил из этих испытаний не скажу более сильным, но что более мудрым — бесспорно. И если эта его мудрость и не возвращалась прямо к древней спасительной притче, то она все менее походила и на расхожий позитивистский оптимизм, и на деловую самоуверенность либералов и прогрессивистов.

...Ах, Евгений Александрович, я наконец добрался до большого места, позволяйте мне сказать — нашего общего. Я бы постеснялся присоединять свое имя к Вашим преимуществам, но там, где узко и больно сознанию, где ему особенно тягостно, я разрешаю себе встать рядом. А что труднее для сознания, чем сохранить веру в равенство, и что для него мучительней, чем утратить эту веру навсегда? Не раз, не два мы касались с Вами этого "сюжета". Я не стану сейчас воспроизводить наши диалоги. Не теоретические аргументы вспоминаются, не расхождения, а взаимность — не головная, а от того "нутра", которое, видно, и постояннее и упрямее в своих про и contra. И уж как история

ни мордовала это наше нутро (Ваше, разумеется, неизмеримо больше, чем мое), как ни выгрызало в нем прорехи и дыры это самое равенство, которое вроде бы уже и не равенство, а что-то совсем иное, — иное, но сохраняющее и в чудовищном обороте печать своего мятежного происхождения (может быть, оттого оно и чудовищное в своем торжестве: без меры в насилии, без угрызения в творимых смертях?). Предать же это родное и треклятое равенство "чужому" суду, примириться с анафемами ему (и отнюдь не из посторонних уст анафемами) мы не то чтобы даже стесняемся, а проще: не в силах. А ведь знаем, что в contra современных консерваторов далеко не все от корысти и высоколобного чванства, знаем, что во многом, и все чаще, правы они — и не только в наблюдениях своих, но и в том прежде всего, что видят **проблему**: то есть то, что не решается всеми наличными средствами мозга и власти... Да и случайно ли, что среди этих "нео..." многие бывшие левые, и не перебежчики (словцо-то какое гнусное: ренегаты...), а из мучимых ответственностью, как мы с Вами.

Если же отступить на два с лишним века назад, вспомнив "непоследовательного" социалиста Жан-Жака: **"Не терпите ни богачей, ни нищих, из одних рождаются сторонники тирании, из других — тираны"** ("Сблизьте между собой крайние ступени, пока это возможно")... А если еще дальше к все тому же первому из "сораспявшихся", от которого пошла *утопия компромисса*: "Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся".

Притчи эти тем современны, что адресуются нравственности серого вещества, наступая на мозоль услужливости, с какой гибкий ум спешит навстречу весьма невысокого свойства вожделениям и уловкам. Так слава тем притчам! Так в дело те притчи, не разменивая их на то, что не-Дело... Но ведь, с другой стороны, их, эти притчи, не только в компьютер не положишь, но и не перекантуешь в пропись поступка, которому как не быть однозначным? "Лучшим воспользуйся" — мудрость вроде бы невеликая, и, конечно же, с ней охотно согласятся наши столичные знакомцы, мужья и жены науки (всмотришься — крестик на груди у тех, кто твердо держится практичнейшего правила: лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным...). А тут альтернативой не меньше и не больше: в силах стать свободным, пользуйся этим, но помни, что можешь и рабом **призваться**, в рабах застрять.

"Не смущайся". Как понимать сие — и не в 33-м нашей эры или слегка позже, а в 1983-м? Стоит ли всерьез принимать за выбор: по доброй воле — рабом?

Скажем — рабом равенства... Зная, что равенство неосуществимо целиком — нигде и никогда. Зная, что ему не осуществиться частью, если не ставить целью: утвердить полностью, повсюду-

но и навсегда. Зная, что среди препятствий на пути его — развитие, богатства мысли и души. Зная, что и развитие ущербно и может удушить себя богатствами мысли и души (да, и души также!), если не сделает своим смыслом и коррективом — равенство. Думая, что так этому и быть, поскольку было: развитие обороняться от равенства, равенству же — атаковать развитие, а в итоге заново обрывы развития, утраты смысла, новые спазмы рабства...

Ну, а если не так? Если было, но не будет? Ибо — совокупились непредвиденным, сумасшедшим образом прежняя кровь и нынешние орудия уничтожения. Ибо чересчур велик теперь запрос у равенства и чересчур запуталось в собственных несогласиях и заботах развитие. Ибо — вперед выступает и там и здесь слабость, оттого и прибегающая к силе, и не как к последнему средству, а мня, что именно для того, чтобы не было нужды в последнем... Что же делать нам, Евгений Александрович? Как распорядиться своим нутром, ежели нутро-то (без ложной скромности) — не только космополитические гены, но и самовыработка, доросшая до естества, до привычки, которую изменить равносильно тому, чтоб перестать быть собой?

Вон из рабов — или как раз пришел час, чтобы призваться в добровольную несвободу?

Несвободу от всех — несвободу от себя...

Этот вопрос наш с Евгением Александровичем, хотя редакция его моя. Мы шли к нему как бы с разных сторон: я — занимаясь историей, озабоченный проблемой ее "конца", возвращающего всех к ее "началам", он — обобщая и освежая мысли и опыты, обретенные разными цивилизациями в утверждении и развитии прав человека. Такова была тема его большой работы, оставшейся незаконченной. Он искал форму, соответствующую нетривиальному замыслу: он хотел, чтобы в его работе зазвучали разные голоса — живые и мертвые, давние и даже древние, но к концу нашего века заново ожившие, поражающие пронизательностью, пониманием того, что нужно человеку и что ему мешает, что его коверкает — извне и изнутри его самого.

Наш последний разговор на темы его труда был уже в больнице. Слабеющий, с явными приметами страдания, он, несмотря на это, готовился продолжить работу, внося новые оттенки в центральный вопрос: о жизнепоказанности прав, оберегающих достоинство и суверенность каждого человека в его священной частной жизни, как и в неотделимых от нее связях с другими людьми, в пределе — со всеми, кто населяет Землю... На глазах его, человека, родившегося в самом конце прошлого столетия, произошло множество разительных перемен, но одну из них он особенно выделял как наиболее близкую его духовному ми-

ру и интересам. Я бы сказал — кровную по связям с пережитым им самим и им защищенным в поединке с жестокостью и с той ограниченностью, какая сама по себе неумолимо производит и мучителей и мучеников. Это близкое ему и новое, если обозначить одной скупой строчкой, будет звучать так: неприменность в превращении международного права во внутреннее, всеобщих элементарных запретов истязать и унижать человека в открытое попрание национального, государственного и личностного развития, заведомо несводимого к одной норме, к единственному постулату.

...Прибегая к расхожим определениям, его можно было бы назвать и либералом, и демократом, и утопистом, и реалистом в одно и то же время. Но как раз существование таких людей, как Евгений Александрович Гнедин, ("Женечка", как называли его ближайшие друзья и дочь, романтик, вскормленный коренной русской культурой — от Пушкина до "серебряного века", что знал и понимал с удивительной тонкостью и точностью вкуса,) заставляет усомниться в ярлыках и стягах, которыми люди не столько отличают себя от других, сколько отчуждаются от себя самих, от своей действительной тверди, которой у человека не может не быть, если только ее не отнимают у него, не вырывают из-под ног.

Мне кажется уместным коснуться в этой связи еще одного момента в его жизни, столь же биографического, сколь и общезначимого. Я говорю "общезначимого" убежденно и утвердительно, хотя знаю, что касаюсь болевой точки, притом разноточной для людей даже близких, не считая многих, которые и не сочтут за общую болезнь (общую и болезнь) те странные и судорожные поиски самого себя, которые толкают у нас человека на вывоз себя вовне, на решение с оборванной "обратной связью".

Евгений Александрович имел и фактическое и нравственное право уехать. Его звали, и на руках у него был "вызов". Его прошлое, его знание Мира, его человеческое обаяние вместе со свободным владением европейскими языками открыли бы ему широкие двери в тамошнюю жизнь и культуру. Как всякий смертный, он был бы утешен на склоне лет сладостью публичного признания. Но после долгих и трудных размышлений Гнедины — действовали они, как всегда, солидарно — отклонили исход. Они сделали выбор в пользу России. Не просто остались. Они стали жить в качестве оставшихся среди таких же, как они, с достоинством неся тяготы выбора. И опять-таки — без всякой риторики, без малейшего намека на жертвенность, без ожесточения, распространяемого на тех, кто чужд подобным трудностям и чувствам, как, разумеется, и без всякого высокомерия в отношении тех, кто принял иное, противоположное решение.

Говорят, костная мозоль, образующаяся на месте перелома, делает кость более прочной. Хочется распространить это и дальше. Разве не крепче "простой" добродетели нравственная мозоль? Красиво звучит, пожалуй, даже чересчур красиво, чтобы быть правдой, и уж, во всяком случае, тогда, когда позади не одна жизнь и близок ее крайний край. Я бы рискнул назвать последние годы Евгения Александровича его **третьей жизнью**, и даже только началом ее. Чему же была бы посвящена эта жизнь — подведению итогов или попытке выйти за предел, очерченный не собственными только, а вообще человеческими итогами, какими выступают они в это затянувшееся большое лето — тем более трагическими, чем меньше осознается их несиюминутный, неконъюнктурный трагизм?

Спрашивая себя об этом, я ставлю "бы", зная уже, что его третья жизнь оборвалась, и навсегда. Но тем не менее я не считаю поставленный вопрос излишним. Краткость отпущенного срока не занижает значения того, чем была заполнена в последние месяцы его душа. Еще вернусь к этому. Не могу не вернуться. Чем дальше тот день или, точнее, та ночь — его агонии, когда я на расстоянии ощутил невнятную тревогу и какую-то перемену в себе, — тем острее и неотложнее встает передо мной задача осознания того, что я утратил с ним, ушедшим. И того, что я обрел утрачивая. Уверен: не я один.

Он болел долго, но сгорел быстро. Даже опытнейшие врачи, не ошибшиеся в диагнозе, не смогли предугадать, что у человека, которого расхожее представление вправе бы отнести к старцам, смертельный недуг будет протекать по "молодому" графику. Он и не был старцем; болезнь впервые вывела наружу возраст. Он умирал только телом. Он страдал, но не оплакивал себя. И в летописи его жизни закатные записи читаются с такой же болью, но и с той же гордостью за Человека, с какой читаются страницы, на которых стигмы пыточных тюрем.

Внушает эта книга бытия надежду либо отчаянье? Все зависит от того, как читать ее, что связывать с каждым из этих понятий. Если нынешней надежде суждено прорасти из отчаяния, то саму надежду мы вправе назвать его именем рядом с другими родственными именами. Назвать, обязываясь не к выравниванию по этому образцу, что и недоступно, и, как всякое выравнивание, в конце концов больше отнимет, чем прибавит. Другое нужно. К другому зовет его дух: к верности, формируемой памятью и пониманием, к верности себе и близким, ко всем, кто сам не утратил потребности быть близким и верным — другим, иным, всем.

Значит, ко всем... кроме тех, кто утратил эту потребность, кто обделен даром верности и близости, кому поперек дороги "презумпция доверия"?

Нет, все-таки не так. По обстоятельствам вроде бы так. И

даже по справедливости так. Но тогда ничтожно мал шанс на **Спасение**. И потому иначе: **включая в близкие и тех, кто не близок**.

Полагаю, смысл его третьей жизни — в этом. И ее незаконченность, ее смертный обрыв сродни этому смыслу. И оттого также и смерть его входит в надежду. И оттого смерть не антагонист его жизни, а ее продление.

Продленная подобна той, что позади: она горькая и счастливая. И он сам — вопреки этой горечи и благодаря ей — счастливый человек. Счастливый в людях — тех, кто рядом, и тех, кто родится после; и в тех, кто пробудится позже.

Через всю жизнь пронесший любовь к одной женщине, унесший это чувство с собою и оставивший его здесь.

Нашедший в дочери продолжение себя: нежного и умного друга, опору в дни и часы Ухода.

...В моем столе — реликвия: быть может, последнее (или одно из последних), что он еще в силах был написать собственной рукой. Это автограф телеграммы, которую он просил отправить в адрес Тани, Татьяны Евгеньевны, накануне дня ее рождения.

Маленький согнутый листок, неровные буквы, текст без поправок. Вот он: "Шлю отцовское благословение убежден твоих новых успехах как ученого и писателя Как твой поклонник целую ручки Папа Женя".

Это не стиль. Это — срез души.

Поистине: душа его сбылась. Сбылась полностью. Прекрасная и высокая.

Август–октябрь 1983

СЛОВО О РАИСЕ БОРИСОВНЕ ЛЕРТ

Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой <...>
А подо мной распался и потек.

Но верен я строительной программе.
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на ползущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.

Б. Слуцкий

Даже тогда, когда пред тобою старость с явственными приметами физического увядания, предупреждением о недалекой развязке, — мириться ли с ней? Нет, язык не поворачивается сказать: вовремя ушел человек. Кажется, еще бы мог одарить ближнего и улыбкой, и рассказом о недавнем, которое уже было, и советом, вобравшим опыт жизни, где едва ли не самое неповторимое и этим нужное для тех, кто следом, — разочарования, проистекающие из высоких надежд, и ошибки, рожденные действиями без оглядки, без тщеславного и корыстного расчета.

К Раисе Борисовне сказанное относится в очень большой мере. И тем не менее нуждается в поправке. На пороге смерти она не была старухой, к ней это обозначение не подходит вовсе. Но я не стану ради красного словца говорить, что она ушла в расцвете сил. И хотя не старость свела ее в могилу, но и не просто недуг. Трещину дала жизнь.

Последнюю нашу встречу отделяли от ее скоропостижной смерти считанные недели. Меня больно поразил тогда ее вид: худенькая, сколько я ее помню, она как-то особенно съежилась, черты лица стали еще острее. И печаль не покидала глаз. Да, это была прежняя Раиса Борисовна. Перемены не устраняли главного в ней и даже по-своему подчеркивали, обнажали это главное, как бы оттесняя на задний план другие, хорошо знакомые, прелестные свойства ее — человека не только острого ума, но и веселого нрава, гостеприимной хозяйки, любящей и умеющей угостить, и уж, само собой, верного друга своих друзей, участливо и деятельно входящего в судьбы и обстоятельства близких: немногих, с кем связывала ее юность, и тех, много больших числом, кто стал ей в последние годы столь же кровным.

Эти черты ее, конечно же, не исчезли. Они и уйти могли только вместе с ней. Но не их, привычные, сильнее всего ощутил я и запомнил тогда, а что-то другое, не противоположное

названному, но все же другое; также не новое и не единственное в ней, но то, что представляется сейчас главным. О чем нельзя не сказать, думая о ней. И думая об оставшихся, о том, что мы есть и чем еще можем стать.

Когда во время этой последней встречи разговор наш вошел в привычное русло, свободно перебрасываясь от одного предмета к другому, она живо реагировала, соглашаясь либо возражая, а то останавливаясь и уходя в себя. Ее тревожили осечки памяти (долгие годы на удивление безотказной); теперь же, когда Раиса Борисовна сосредоточилась на мемуарах, подводящих итог жизни, она не могла не страдать от забывания, в отношении которого нелегко сказать, действительное оно или только кажущееся.

Ибо — позволю себе высказать это предположение — истинная трудность в исполнении задуманного ею состояла не в самом по себе составе фактов, как и не в том естественном противоречии, которое испытывает каждый воспомянувший, — противоречии между стремлением охватить все, не упустив ни одной памятной, дорогой ему подробности, и неуверенностью в том, что это важно и интересно будущему читателю. А ведь для него, этого читателя, пишется. Даже исповедь, по сути, для других, что уж говорить о мемуарах.

Вероятно, и Раиса Борисовна испытывала затруднения этого рода. Но сверх них она натыкалась на препятствие, уже относящееся не к картине прошлого, не к тем или иным реалиям его, а к нему в целом, отрезанному и непоправимому и возвращающемуся вопреки неподконтрольно властному желанию забыть. Желание это было не только соблазнительным, но в ее случае и оправданным: решительною перестройкой жизни, какую осуществила она в весьма зрелые годы. Но здесь именно и коренился запрет на то особенное беспамятство, которое ныне столь часто норовят обрядить покаянием. И темперамент и ум Раисы Борисовны исключали столь поверхностный ход, но уберечь ее память от страдания былым они не могли. Так сильна была диктуемая ее внутренним миром потребность возобновить поврежденным смысл "жизни тому назад". Вернуть его, чтобы спросить себя: а был ли там, позади, смысл? А если и был изначально, то удержался ли — и не в качестве пожелтевшей фотографии с юными открытыми и восторженными лицами, и не в одной лишь связке писем "оттуда", а как нечто, и сейчас питающее жизнь, ее движение, ее порывы? И напротив, неукротимое, неуходящее **напротив**: чем и как жить человеку, начавшемуся "там", если тот, изначальный смысл утратился, не обретя замены в равносильном, равноценном — по энергии искания и приверженности к идеалу?

Я не утверждаю, что Раиса Борисовна ставила перед собой этот вопрос в такой точно редакции. Но вправе засвидетельст-

воват: это было для нее занозой в сердце. И мемуарные затруднения были лишь следствием трудности, проникшей в глубь бытия. Несчитанное число раз мы касались так или иначе этой темы. Часто наши суждения не вполне совпадали, были расхождения и в подходе. Меня тянуло проверить сам вопрос: законен ли он, и не в том отношении, что можно вообще — без смысла, что будто ушла от нас нужда в энергии искания и идеалу место уже среди "вторичного сырья". Нет, тут и я старовер, однако подозревающий, что и смысл и идеал заново стали проблемой. И если б только те, откуда мы родом, так ведь нет, смысл и идеал как таковые...

К чести Раисы Борисовны: она была и последовательна и беспощадна в своем отрицании извращенного до неузнаваемости социализма, в понимании того, что вернуть его людям можно, лишь войдя на территорию демократии без прилагательных, одомашнив нормы и процедуры, у которых не "безупречное" происхождение. В одной из самых значительных своих работ, написанной к двадцатилетию XX съезда КПСС ("Разговор начистоту"), она, беря в качестве свежего и поучительного примера Уотергейтское дело с его импичментским финалом, спрашивала: "Значит, возможна борьба отдельных групп буржуазии, не затрагивающая основ капиталистического строя, а, наоборот, усиливающая его?" И дальше — к кровному: "Почему же в государстве трудящихся невозможна политическая оппозиция, не затрагивающая основ социалистического строя, но не подчиненная правящей партии, гласно критикующая ее и тем упрочняющая основы социалистического строя? Не только допустимо (это), но и необходимо". Она напомнила слова Пальмиро Тольятти: "оппозиция нужна правящей партии как воздух".

Был ли я в 1976-м большим радикалом, чем она? В том, что касается критики существующего, — пожалуй, нет. А относительно защиты независимой мысли, показанной всякому обществу, если только оно — общество, мы с Раисой Борисовной, конечно же, были солидарны без всяких оговорок; с этого и началась наша близость. Различие же проистекло не столько из несовпадения в возрасте, сколько из не вполне одинакового способа думать. Парадоксально, но, не историк, она была "историчнее" меня в том смысле, что больше доверяла истории, этой великой искуснице начинать и переиначивать, раньше или позже приходя к тому, что определяется (как убеждены были целые поколения верующих атеистов) не сиюминутными обстоятельствами, а социальной пластикой в ее долговременном измерении — с человеком труда в фокусе сбившегося и предстоящего. Я же к этому рубежу (а 76-й был как раз моим рубежом) не то чтобы перемахнул через прогрессистский канон и, отрехшись от "материалистического понимания

истории”, пришел на свой манер к той комбинации пессимизма и иронии, сторонники которой полагают, что история если и учит, то лишь тому, что она никогда, никого и ничему не научила... Нет, я не отряхнул прах от своих ног и не посыпал голову пеллом. Но мой взгляд на связку будущего с прошлым претерпел существенную перемену. Сомнение коснулось не формы всесветного единства, а сути его. Не достижимости его, а отмеренности Временем самого движения к единственности человечества. Я опускаю “фазы” в своих пересмотрах, в конечном счете уложившихся в формулу: конец Истории, но не конец рода человеческого...

Раиса Борисовна с нескрываемой заинтересованностью слушала мои рассуждения. Ее не смущала резкость вывода об исчерпанном пределе, о крае пропасти, на котором не задержаться иначе, как усилием людей и миров, преодолевающих — врозь и вместе — укорененные “символы веры”. **Не социализм, не капитализм, не “почва”, не заимствование...** Но что же, что же? — она настаивала на уточнении, показанном домашнему **сегодня**. “Исчерпан предел, а дальше?” — “Дальше, — отвечал я, — переоткрытие жизни через стучащуюся в двери смерть. Дальше — другая жизнь, возвращающая человека в эволюцию, если у него хватит сил на это великое “вспять”, на эту сверхновую цивилизацию; другая жизнь, заменяющая классическое “что делать?” на **чего делать нельзя**, которое, однако, не к первозданному табу возврат, а к иному запрету, возбуждающему мысль, вызывая “эврики” зрелого действия. И быть может, как раз дома и суждено будет тем, кто после нас (а вдруг — и нам?), сделать решающий шаг к той земле необетованной, где “не свое” навсегда перестанет быть чужим, а с ним, с чужим, с этим роковым спутником человека, уйдет и кровь как аргумент и пьедестал властителей, оккупировавших развитие...”

Моей собеседнице кода эта не могла не быть близкой и по интонации, и по внутренней перекличке с юношескими грезами. Но полного согласия не было — и не потому, что с ее стороны заявлялся отвод по существу. Просто по всему складу своему Раиса Борисовна не могла долго задерживаться на “метафизической” территории. Внимая, она как бы прикидывала: что бы это значило для отдельной жизни и какие обязательства проистекают отсюда для тех, кто с первых сознательных лет привык, что вне таких обязательств, звучащих как обет и как привычка, и жизнь не жизнь, а прозябание, пустота? Нет, она не помышляла о ренессансе максимализма 20-х. От этого она ушла напрочь еще тогда, когда ее партийный статус не претерпел решительных перемен. Добивалась же она ясности, которая удовлетворила бы и ум и сердце. Ясности в пределах замыслов и начинаний, посредством которых человек стремился соединить развитие с равенством, достоинство личности с благом

массы, терпя поражения, но с каждым таким поражением, избывая его новым действием, возобновлялся как творец все той же истории.

Так было; отчего же не быть вновь? Она искала его — творца — и когда читала старых и новых авторов, и когда вслушивалась в разные "за" и "против", надеясь нащупать ответ не непременно в виде стройной, законченной теории либо в образах грядущего, самая привычность которых настораживала: не суррогаты ли? Когда же оказывалось, что именно так или совсем близко к этому, тогда к прежнему духовному разладу прибавлялись горечь свежих узнаваний и крушение на этот раз быстротечных надежд. Вместе с тем у Раисы Борисовны был своего рода инстинкт сопротивления навязчивой и самоуверенной новизне, легкости опрокидываний, растаптываний всего, что составляло содержание жизни целых поколений и эпох.

Между этими полюсами умещалось тогда многое в воззрениях и поступках. И далеко не всеми, кого разбудил и поощрил к действию XX съезд, хрущевская "оттепель", "Новый мир" Твардовского, полюса эти ощущались как вызов, настаивающий на том, чтобы **самоопределиться в прошлом**, воспринимаемом как целое. И воспитание и биографии соблазняли нас миновать рифы несовпадающих гибелей на углу суденышке, именуемом "С одной стороны — с другой стороны". Был отрезок пути в инакомыслие, когда Раиса Борисовна как будто нашла свое место на таком спасительном плоту. Но не удержалась. Рискнула двинуться впласть. Софизмы блаженного уравнивания смущали ее, как мне представляется, больше всего своей скрытой до поры до времени склонностью к политиканству, той нравственной ущербностью, которая в критический момент способна подтолкнуть к уступке и отступничеству, и не за счет одних лишь принципов и внятности в убеждениях, но — что много хуже — к уступке за счет других людей.

Человеческие судьбы — аргумент из сильнейших, и если не всегда неопровержимый, то, во всяком случае, обладающий особой вразумляющей силой. Он подстрекает спрашивать, обращая вопрос к себе и на себя, не уклоняясь от ответственности даже тогда, когда ты очевидным образом лишен права на ответственность.

Думаю, не ошибусь, сказав, что, чем ближе оказывалась Раиса Борисовна к людям, сделавшим нравственный выбор, руководствуясь нередко другими побуждениями, тем уверенней она отстаивала собственные взгляды, тем свободнее чувствовала себя на поприще, которое издавна избрал ее душевный талант. Она была публицистом божьей милостью, особенно ярким в полемике. Живость отклика на происходящее не означала, однако, в ее случае легкости пера. Она мучалась каждой своей темой, готовая десятки раз переделывать написанное, дабы

найти точные слова, могущие не просто пощекотать читателя завитушками стиля и даже дерзостью прикосновения к запретным сюжетам — этаким кокетством эпатажа, — а такие отыскать слова, которые бы убеждали совесть — ее ведь также надо не только пробуждать, но и убеждать.

Я надеюсь, что наш отечественный читатель получит вскоре возможность познакомиться с написанным ею — уже не в разрозненном "самиздате", а отдельной книгой. Не сомневаюсь, что он воздаст должное ее писательскому дару и одновременно убедится, что верность себе отнюдь не исключала развития ее убеждений и широты в восприятии духовного пейзажа тех лет, когда шел подспудный процесс выяснения: *что же мы такое, в отдельности и совокупно?* Убежденная до конца дней социалистка, она написала на одном дыхании слово признания "Зияющим высотам" Александра Зиновьева. Не странно ли? Ничуть, если вникнуть в этот страстный монолог. Лишь два места из него. "Читать эту книгу безмерно тяжело. Дышать нечем. Дух перехватывает от квинтэссенции подлости, зла, лжи, устрашающей безнравственности и глупости... Неужели никакого просвета нет в этом "темном царстве"? А оторваться все-таки не можешь. И когда прочтешь, становится почему-то легче. Почему бы? Может быть, потому, что отступать — некуда". И еще: «На заре моей молодости люди бесстрашно отдавали за идеалы жизнь. Были ли они, те идеи и идеалы, живыми, героическими и прекрасными? Да, были... Но их больше нет. Они не изменились, как полагают одни, не родились неизменными и античеловечными, как утверждают другие, не остались святыми и непорочными, как думают третьи. Их просто нет, они не существуют вживе. "Умер Великий Пан"».

Считанные месяцы после того "Разговора начистоту," а сколь велика разница в интонации. Именно — в интонации, которая не только не безразлична смыслу, но и движет его. В самую глубь произносящего, и там, в глубине, позволяет зазвучать струнам, которые еще ждали своего часа.

...Жаль, что зачин к посмертному слову о Раисе Борисовне — строки Бориса Слуцкого — я услышал от своего друга уже после того, как ее не стало. Она прекрасно знала русскоязычную поэзию — и давнишнюю и новую; весьма вероятно, что и это стихотворение не миновало ее. Мне же было бы более чем интересно узнать отношение Раисы Борисовны к этим горьким и умным словам, которые, само собой, и нам с ней адресовались, да и нам ли только? Что сегодня буквально "уходящего из-под ног песка"? Пусть укажут мне несогласные: из-под каких ног он не уходит? Думаю, поразмыслив и посоветовавшись с собственной совестью, согласятся: нет таких "ног" у "прижатых к стене", у "висящих на волоске"... Не берусь предсказывать, многое ли мы, столь разные и даже противоположные, извлечем

из этого признания. Однако убежден: не начав с него, не начнемся вовсе. Не поймем друг друга, не поняв же, не сможем не только сделать и шага вперед, но утратим лицо, а тем самым и право быть нелишними в собственном доме, как и не чужими для всех иных домов на свете.

Быть собою! Вот она, сегодняшняя "строительная программа". И если не вся, то, уж во всяком случае, непременная составляющая ее, тот крутой порог, который суждено перейти людям XX века, ибо иначе как попасть им в следующий?

Другая тема, отдельный разговор: почему нам, в нашем доме взаимность в понимании дается особенно тяжело; и раньше было так, а теперь не менее, если не больше. Но все же дается. Все же не на одном месте мы стоим, каким бы скупым ни был перечень "наших достижений" на этом поприще и как бы ни отбрасывали нас назад обстоятельства и люди... Еще не пришло время для подробного рассказа о "Поисках" — прожившем короткой срок "свободном московском журнале". Но слово о Раисе Борисовне было бы неполным и неправдивым, если не напомнить сердцевину этого почина — **двойную открытость** его: открытость проблем и суждений и открытость самих участников, исключивших утаивание своих намерений и игру в конспирацию. Кому-то это казалось и тогда — представляется, возможно, и сегодня — наивностью в духе Рыцаря Печального Образа. И доказательства вроде налицо: пресечения, жертвы, тюрьма, лагерь... И тем не менее поживем — увидим.

Правда, Раисе Борисовне Лерт уже не дано узнать дальние и косвенные результаты того, что, думаю, было самым значительным свершением ее жизни. И именно потому, что таким оно мне видится, я считаю себя обязанным сказать, что ее доля участия не ограничивалась только замыслом и неустанной деятельностью в качестве автора и редактора. Были еще один, совсем непросто исчисляемый вклад и еще одно препятствие, уже не внешнее, а внутреннее, преодоление которого составляло работу не меньшего значения. Диалог, к которому призвал "самиздатовский" журнал, остался бы пустым звуком, если бы разные люди, прикосновенные к делу "Поисков", — разные возрастом, знаниями, жизненным опытом — не обращали этот призыв прежде всего к самим себе, если бы они не сделали усилия перебороть "врожденное" противодействие диалогу, позыв к отторжению **иного**.

Многое — и не только в жизненном пути, но и в характере Раисы Борисовны — делало для нее это усилие сложным, а в некоторые моменты и драматически трудным. Но тем выше мужество самооспоривания и самоограничения, какое проявила она в критическую фазу существования "Поисков" — на грани разлома. Мне еще потому представляется необходимым сказать об этом сейчас, что я боюсь, как бы этот истинно человеческий

опыт, как и многое близкое, родственное ему в нашей жизни здесь, не оказалось забытым и погребенным среди пустых похвал и претенциозных нравоучений.

Раиса Борисовна была вправе считать сполна исполненным свое жизненное призвание; но будь так, мы говорили бы о другом человеке. Для нее же обрыв деятельности был однозначен обрыву жизни. Нравственное страдание не в ладах с доводами практического разума — мы знали это из житий вековой давности, теперь узнаём из судеб современников. "Измучен казнию покоя", — повторял я про себя пушкинские слова, когда возвращался домой после последнего свидания с Раисой Борисовной.

Смерть освободила ее от страдания. Но это не прекращение жизни. Этот уход — из тех, которые помогают жить живущим.

ОН ЖИЛ ЗДЕСЬ, ОН БЫЛ ТАМ

Алексей Владимирович Эйснер

Гамлет. Чья это могила, любезный?

Первый шут. Моя, сударь...

Гамлет. И в самом деле твоя, раз ты в ней и лжешь из нее.

Первый шут. Вы, сударь, не в ней и не из нее лжете, стало быть, она не Ваша; что до меня, то я в ней и не лгу, стало быть, она моя.

Гамлет. Вот ты и запутался, потому как говоришь, что в ней ты, а она твоя; она ж для мертвых, не для живых.

Первый шут. Это, сударь, путаница проворная; возьмет да и перескочит от меня к Вам.

В. Шекспир

Я дочитал эту его книгу*, посмертную книгу, и два чувства, очень разных, но чем-то близких друг другу, охватили меня — грусти и удивления.

Грусти оттого, что не смогу уже рассказать автору ее то, что думаю по поводу его работы.

Удивляюсь же я... Впрочем, удивление это не выразить одной фразой, оно само нуждается в разборе, в выяснении: откуда оно и что его предмет?

Читая, я слышал голос. Он был спокоен и даже, казалось, отрешен от событий, от подвигов и злоключений героя и окружающих его людей. Это был именно голос, который раздавался будто совсем рядом, но вместе с тем в нем ощущалась какая-то преграда, отделяющая того, кто говорит, от тех, кто слушает. И голос был явствен, и все слова простые, однако мелодию не ухватить разом, и даже много после спрашиваешь себя: отчего она так тревожит?

Мелодия эта не металась от forte к pianissimo и обратно, как принято нынче в описании (звуком и словом) страстей человеческих; тут больше подошло бы старинное mezzo, благородная срединность, уравновешивающая пафос сердца юмором, а необратимость гибелей — подробностями, свидетельствующими без всякого морализаторства о длящейся жизни и о времени, но не календарном, а ином — времени, у которого далекое и близкое обладают таинственным свойством меняться местами, вводя нас в заблуждение и нас же обучая мудрости.

* Эйснер Алексей. Человек с тремя именами. Повесть о Матэ Залке. М., 1986.

То, что я слышал, вернее бы назвать не повестью, а сагой. Сагой о генерале Лукаче, сложенной его адъютантом Алешей Эйснером накануне ухода из жизни.

Сага — разновидность эпоса. А эпос не жанр; это и восприятие Мира человеком, и самый Мир его — в своей целостности и в своей единственности. Он, этот Мир, движется, оставаясь неизменным, неизменно сущим. Его жителя может постичь досрочная смерть, но сам Мир заведомо убережен от обрыва, от уничтожения. Он вечен — весь.

Это Мир, которого больше нет. И сага — напоминание о нем, доказательство того, что он не вымысел, что он был.

Я вырос в таком Мире, в Мире генерала Лукача и Алеши Эйснера. Но порой мне сдается, что оптический обман — и он и я в нем.

Теперь я заново знакомлюсь с ним. С ним, а тем самым и с самим собою.

...Генерал Лукач уже служил легендой, когда началась моя вполне сознательная жизнь. А Алеши Эйснера я вовсе не знал.

Человека, с которым я был знаком, звали Алексей Владимирович Эйснер. Не возраст мешает мне называть его иначе. Он был на удивление моложав — почти до самых последних дней. Нет, между ним и тем, из саги, не годы и даже большее чем жизнь.

Я не знал ни мальчика, отданного, по обычаю голубой крови, в питерский кадетский корпус, ни русского эмигранта, зарабатывавшего на жизнь мытьем магазинных стекол, поэта и друга Сергея Эфрона, вместе с ним менявшего веру на веру; не знал я ни парижского антифашиста, ни испанского республиканца с тем же именем. Не знал и кандидата в советские Лоуренсы, как не знал и ээка из советской Воркуты.

Человек, с которым я сошелся на исходе 60-х годов, был гражданином особенной страны — Памяти. Верным подданным ее.

С тех пор как он очутился за воротами зоны — без паспорта и места в жизни, — началось его второе существование. Сначала только существование, а затем и снова жизнь: любовь, семья, ширящиеся круги дружбы и дружеского признания. Хорошая, добрая жизнь, со своими напастями и своей суетой, однообразием деятельных буден и похожестью застолий. Но она, эта жизнь, имела и свои прерывы. Прерывы-уходы. Иногда короткие, но и долгие также. Уходы отсюда, из этой жизни, туда — в страну Память.

Его ждали там. Его любили там, в этой стране, столь существенно отличающейся от нашей — устройством и нравами. Отличие это не то чтобы в том и состоит, что наши про там суть contra либо наоборот. Пожалуй, в той стране нет contra в нашем привычном толковании, а стало быть, нет и про, которые нуж-

дались бы в торжественном провозглашении или втеснении в человеческое сознание тем или другим способом. Там нет ни охраняемых душ, ни их охранителей. И нет нужды вводить "свыше" равенство смыслов — оно естественно, как дыхание. Там не противоборствуют и не снисходят друг к другу, там **встречаются**.

Встреча есть жизнь Памяти — единственного владения, в отношении которого каждый не только хозяин "своего", но и суверен "иного", — суверен, добровольно связанный обетом понимания.

Встреча есть жизнь, свободная от уз, накладываемых историй — ее избирательностью, ее склонностью к "моно": к одной версии, к одному пути, к одним мировым часам. Память же не выравнивает и даже не уравнивает. Она лишь делает совместимым несовместимое во времени. Она соединяет несоединимое без нее, разделенное происхождением и разностью ритмов бытия. Как во сне можно увидеть себя ребенком и старцем, умирающим и полным сил, мучимым кошмаром и побеждающим страх, так и в Памяти, в этой стране необетованной, всё рядом и все рядом, а рядом — значит, вместе.

Там в однолетках потомки, начиная с того первого или с тех первых, которые догадались, что они не просто дети и дети детей, а **потомки**: наследники и опровергатели; все генерации их там, немислимые без предков, которые потому и **предки**, что они общие. Там концы всех эпох встречаются со своими началами, и начала, вглядываясь в собственные концы, испытывают потрясения, оборачивающие страсть отказа, энергию отрицания, на самих изначальных отрицателей, — и уже не отрицание это и не отказ без оговорок и снисхождений, а превозмогание себя, а совесть, которая всегда имеет дело с прошлым и оттого всегда нечистая, если совесть.

Концы же — зрелые, поседевшие концы, добытчики и растратчики в одно и то же время, также принимают "на себя" и иллюзии, и торопливость юных начал, их убежденность в своей правоте и их первородные грехи: все, губящее их, принимают "на себя" и тем возвращают жизнь им. И тогда уже не прологи — начала, как и концы — не развязки, а те и другие — собеседники, оспаривающие друг друга.

Идиллия? Царство всеядности? Дистиллированная утопия? О нет. Совсем другое: жизнь после смерти. Но не той бессловесной смерти, не того прекращенного существования, какое природой уготовано каждой отдельной особи. Нет, это жизнь после смерти, **открытой человеком**. Может, это открытие и есть человек? Может, так оно и было: сначала открыл он смерть и лишь затем ею — открытой — открыл жизнь? Не в один присест, не раз навсегда. Сквозь всю одиссею человека — **это**. Как бы расщепленное, разведенное к полюсам: ужаса и просветления,

абсурда ожидания, когда вся жизнь видится одним остатком, — и творимого словом, творимого разумом, творимого поступком бессмертия; **бессмертия рода в отдельном человеке**, который не единица уже, а личность. В меру этого (и только в эту меру) — личность.

В меру осуществленного и — неосуществимого, во плоти — и в ожидании; проект, разбитый на куски временем, "распределенный" между цивилизациями, странами, мирами. В бессмертие рода человеческого — вход через очеловеченную смерть, которой люди овладели наряду с огнем, металлом, речью. Через смерть, вошедшую в самую жизнь, и через жизнь, сопротивляющуюся этой природе неизвестной смерти. Сопротивляющуюся смерти-убийству и смерти-подвигу. И той и другой, только не сразу той и другой, а лишь в конце концов.

...От "убей его!" к "не убий!", не убий **каждого, всякого**, — путь длиной в многие тысячелетия: до того рубежа, когда Человек, ибо это был человек, поднял мятеж против этноса и против секты, двухголового чудища, жаждущего крови, — не своих и потому чужих. И что же — он победил, Человек? Нет однозначного ответа. Сказать ли — он потерпел поражение и тем именно породил продолжателей, "сораспявшихся" на века? Сказать ли — вновь отправился в путь — на этот раз длиной всего лишь в два неполных тысячелетия, в путь, где мы, нынешние, в замыкающих?.. Да один ли это путь либо два, и оба рядом, то сходящиеся, то в стороны, с узлами пересечений, воскрешениями, взлетами, падениями?!

"Дело прочно, когда под ним струится кровь" — кто дерзнет назвать этого русского поэта кровопийцей, вурдалаком?.. "Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был не прав" — кто рискнет призвать автора этих знаменитых слов, этого выкрика душевного, этого карамазовского бунта, — призвать в адвокаты на Нюрнбергских процессах, на тех, что были, и на тех, какие еще не состоялись, — там, где мучают людей неотомщенные гибели, неутоленное страдание?

Нет однозначного ответа. Вчера еще, быть может, и был. Сегодня — по всему видно — нет. А есть — спор. Прежний — новый. Спор между "убей его!" и "не убий!". Не злодей и мститель в главных спорящих, а справедливое возмездие и нечистая совесть — ответчица за все и всех, ответчица в каждом из людей, требовательная, неутомимая, с эпитафией-паролем: "...хотя бы я был не прав".

Поприще спора — личность. Поприще спора — Память.

Старая вроде истина: чем неожиданней происходящее, чем непредсказуемее то, что будет, тем показанней человеку взгляд назад, тем больше способно сказать ему "то, что было",

превращаемое Словом и поступком в прошлое: прошлое будущего.

Испытанная истина, но не забытая ли сегодняшним человеком? Не кочует ли по свету амнезия, опережая числом жертв рак и инфаркт, а размерами бедствий — радиоактивный выброс? Впрочем, утрата памяти тоже выборочная. Ныне оживают родословные — семей и народов. Ближнее теплит очаг и душу... и возрождает тягу утвердить свое, заново соорудив из не своих — чужих.

Тяжко от этого жителям страны Память. Чуждость стучится в их окна и двери, перебираясь из сумерек в день. Сказать ей — прочь! — так не послушается. Криком не одолеет, возьмет шепотом. Ибо есть и корень и резон. Корень — кровь, которая выдает себя за родство. И в резонах также кровь, та, что пролита в избытке — и не только во имя "своих" и против "чужих", но и ради того, чтобы не было ни "своих", ни "чужих". И какой крови пролито больше — кто считал, да и как считать? И кого в наибольших виновниках числить — тех, кто почвеннее, домашней, отечественней, или тех неукладывающихся, чаще лишней, что норовят раздвинуть свою единичность до пределов рода, на меньшее не согласны?

"Это, сударь, путаница проворная; возьмет да и перескочит от меня к Вам".

В значениях слова "quick" — и быстрый, и живой. Проворная путаница — живая путаница. Живая — оживляющаяся смертью. Но не прямо, а посредством Слова. Особенного, "шутковского" слова — сиюминутно-вечного, единственного, какое без оглядки и без притворства.

Что ж он такое — Гамлет, чем стал и предстал у края могилы любимой, — тут, на этом краю, встретившись с единственным, кто в силах его понять, кто нечаянно превзошел его Словом? Уже все прежние личины сброшены Гамлетом; и им самим, и обстоятельствами, какие оказались сильнее его как раз тогда, когда он (как будто) овладел ими, изблещивши ложь и тайный замысел. И вот он уже не наследный принц и не странствующий любомудр, не мститель, отказавшийся исполнять "злые приказы" Призрака, и не несчастный любовник, даже не сын, потерпевший поражение в борьбе за душу матери, — так кто же он? Перестающий быть кем-то способен ли остаться человеком: не датчанином в Виттенберге и не виттенбержцем в Эльсиноре, но и не человечеством в единственном числе? Отклоняющий равно и жизнь-небытие и досрочное бегство в смерть в силах ли найти такое "быть", которое не утратило бы запахов и таинств жизни, не принадлежащей никому и открытой всем? "Вот он — вопрос". Да и вопрос ли или еще только пролог к нему, лишь вопрошание, не оставляющее ни на миг, сродни безумию?

”Живая путаница” — на выручку. На выручку Гамлету, чтобы успел довершить прозрение — и не там, за последней чертой, а на пороге. Здесь. Чтобы смог, обернувшись назад, разом узреть все отринутые им, им погубленные и не спасенные жизни, увидеть их и понять, что они все, все до одной, — его. Его ноша и его достояние... И если все они — ты, а ты — все, то быть ли тебе ”чистым” от роду, даже если по метрике ты чище чистого, или иначе надо: собственной волей податься, рвануться умом и поступком — в нечистые, в гибриды, в мутанты, в полукровки, в маргиналы, в ”бездородные космополиты”, во ”внутренние эмигранты, обуянные манией реформаторства”, и в ”почвенники”, жаждущие невозвратного возврата, — всех, кто смел не задним числом и не за чужой счет, кто не лжет ни из кровной, ни из не своей могилы, — во всех этих ”чудиков”: деревенских, городских, в очках и без оных... И как там будут еще называть их в далеко-близком от начала века Семнадцатого исходе Двадцатого?

...Два финала у трагедии: зычная команда Фортинбраса, уверенного в себе распорядителя судеб (”Пусть Гамлета к помосту отнесут... С военной музыкой, по всем статьям церемоньяла”) — и предсмертное гамлетовское: ”Дальнейшее — молчание”. Или по-пушкински — безмолвствие.

Да, мысль человеческая умела влиять и не оглашая себя. Оборванное слово — продленная мысль, связкою же — уход протагониста, гибельный впрямую либо окольно: забудем при жизни. Этому благодаря те, кто следом, обретали вместе с преданием и тайнописью предков поэзы и право, право и долг начинаться заново. Заново — но без пустоты позади.

Так было (было!). И есть? И будет?

Сегодняшняя ”живая путаница” — от кого к кому норовит перепрыгнуть? Кого отяжелит, кого обогатит собою, кого подвигнет в **потомки**?

Скажешь: любого, каждого, кто захочет, кто сможет, кто решится; и верно это, и сомнение берет: достижимо ли? Достижимей ли сегодня, чем вчера, чем жизнь тому назад? Знаешь, правда, что все истинные возможности — от человеческой Невозможности: замеченной, открытой человеком же. Да, да, так это. Но и другое ведаешь: дикую власть штакетников — тех, что вне нас, и тех, что внутри. Одолеть ли их, одолеть ли в отпущенные людям сроки?

Сказано некогда: мы все, в нашем Доме, из гоголевской ”Шинели”. Оно так и есть, по нынешний день. И кого не гнет к земле безотчетный страх, — страх отроду, владевший несчастным Башмачкиным? Но разве он только в предках у нас и у всех на Земле? Разве не соплеменники мы Андрея Болконского и князя Мышкина, не побратимы принца из лондонского ”Глобуса” и того из боннских Шниров, который клоун? И разве не

соблазняют нас недоступным примером Иешуа и Пилат, протянувшие друг другу руки?

...А Вы, мой дорогой Алексей Владимирович, Вы, у кого в родичах едва ли не целый Мир, Вы — счастливое русское дитя, европейский бродяга, добровольный солдат антифашизма, научившийся умирать и оживать и под оливами, и в родных снегах, — воскресший, чтобы поведать нам хотя бы частицу **правды** **всесветных братских могил**, — разве Вы не "живая путаница" во плоти и крови своей, нужная нам и ныне и после, если только будет **после**, если сумеем добыть его — из всего, что есть, и из всего, что утрачено без возврата: в людях, в людях, в людях!

Спасибо Вам, Алексей Владимирович.

Спасибо за это.

24 мая 1986

ПЕРЕСТРОЙКА

ИЛИ

ПЕРЕПУТЬЕ?

СТАЛИН УМЕР ВЧЕРА...

Беседа с журналистом Г. Павловским

М. Гефтер. Я хотел бы предварить нашу беседу некоторыми соображениями, которые я адресую себе прежде, чем другим. Наша тема — день сегодняшний в свете прошлого. Точнее: возможность и необходимость переосмысления пути, пройденного нами за семьдесят лет. Правда, в иных устах эта нормальная процедура знания вроде жупела. И тут мы сталкиваемся не с одним лишь противодействием "вечно вчерашних". Все сложнее, перепутанней, в разладе — и разлад этот не спадает, напротив. Жажда исторической правды подобна прибою: гребень следующей волны выше предыдущей. Но как не заметить и пены, и грязи, поднимающейся со дна. Корысть ищет напарника в честном испуге, неистраченные мифы наскоро подновляются лицемерами, рвущимися в правофланговые правдоискательства. И горечь, и радость очищения — если не вместе, то рядом. А могло ли быть иначе? Не при прежней же "ясности" оставаться...

Положение историка, само собой, не из легких. Идти навстречу фактам — без страха, но с сомнением, без которого какое же исследование обходится? Да, конечно же, так, но это лишь подступ к главной работе: из подробностей, из деталей — и "вопиющих", и "обыкновенных" — восстановить историческое целое в его непредуказанном движении. А результат доступен, близок? — спросите Вы. Не знаю. Знаю только, чем он не должен быть. Ни анафемой, ни "слався", ни пресловутым судом истории. Хотим приблизить искомое, десятилетиями не дающееся прояснение собственной исторической судьбы, так миновать ли нам то, что и трезвее, и трудней: нестесненные искания, равноправный спор течений, научных школ, предоставляя равный голос в этом споре и зарубежным исследователям, отрешаясь от дурной привычки всех несопадающих зачислять в "фальсификаторы"?

То, что монополии на истину нет, стало лозунгом дня. Но пробьешься ли простым повторением этих слов к пониманию того, что самый предмет наших изысканий ждет обновления? И ведь не скажешь заранее, что за предмет. Лишь ощущаешь все острее потребность опознать "что-то", разительно отличающееся от нашего же первофеномена: историей вылепленное и замкнутое в нас состояние, у которого даже названия строгого нет, одно лишь коллективное "местоимение" — мы...

Вот на чем споткнулись — на непрерывности процесса, отождествляемой с прямизной пути. Наше пионерство представлялось (целым поколением) вечным, неисчерпаемым. И поныне здесь же спотыкаемся, заметно либо неявно, меняя знаки и уходя от вопроса: а кто мы, сегодняшние, в Мире — в том, что вне нас, и в том, что дома, в Мире дома?

Для исторического сознания, какое заведомо шире профессионального занятия прошлым, — это не только одна из предпосылок *перестройки*, но и его неперемнная составляющая. Будем последовательны: если нет этой предпосылки, нет и самой перестройки. В лучшем случае запнется, а в худшем?..

Г. Павловский. Связь исторического сознания с перестройкой вводится Вами в чрезвычайно широкий контекст, но создается впечатление, что эта связь не прямая, а, скорее, окольная. Так ли?

М. Г. Ваш вопрос может звучать и упреком. Что ж, я принимаю его. Я действительно думаю, что "окольная связь" естественней и действеннее, ибо она соответствует и призванию историка, и, если угодно, его социальному статусу. Оставим сейчас в стороне проблему "перестройки" внутри самой исторической науки, включая сюда давно назревшие (и перезревшие) проблемы образования и самоустройства, раздвижения и на профессиональной и на общественной основе круга людей, для которых открыт доступ к любым источникам, документам всех эпох, включая и ближние к нам, и т. д. и т. п. Могу лишь присоединиться к тому, что об этом страстно и неутомимо говорит мой коллега Юрий Афанасьев. Но я сейчас не о том. А о другой, так сказать, внешней коллизии: о взаимоотношении историка и политика. Полезно ли для последнего иметь в советчиках человека, знающего прошлое и умеющего мыслить им? Конечно же, и уместно, и на пользу делу. Но не будем предаваться иллюзиям. И хотя я не поклонник ходячего афоризма "история учит тому, что она никого и ничему не учит", но не стану утверждать и противоположного. Ведь прошлое, которое воссоздается задним числом, — это и "голый факт", добываемый немалыми усилиями, и вместе с тем это по самой природе своей гипотеза (как проверить *событие*, которое всегда в одном "экземпляре"?).

Да, умная политика, тем паче в эпохи, когда неумолимыми становятся изменения, касающиеся не частных, а оснований человеческой жизнедеятельности, не вправе оставаться равнодушной к тому, что достается ей по наследству. И сейчас так, быть может, больше, чем когда-либо до нас. Концепция перестройки, не включающая собственный генезис, не только неполна, она ущербна — и сама лишает себя иммунитета к незримым подвохам, к внезапным проломам. Но генезис — это не готовый продукт. Это и происхождение, и возникновение — выход нару-

жу, перевод "предпосылки" в действие. Мало того. Чем радикальнее переустройство, тем неизбежнее: главные свои предпосылки оно создает собственным ходом. Именно к этому, критическому "пункту" мы сейчас подошли. Генезис становится злобой дня. Это уже не только старое, но и совсем новое, чуть больше чем тремя годами исчисляемое, откуда? — без которого не узнать, куда?

Тут место включению историка в современное ему — в его — действие. Не с подсказкой, не с нравованием он приходит (если вхож!) в политику, а с теми своими размышлениями вслух, которые питаются всем его профессиональным и жизненным опытом, свободным от начальственной опеки, от спущенной "сверху" генеральной схемы. Независим историк — в выигрыше политик. И тогда он в свою очередь становится способным мыслить не одними лишь заданными, "заказанными" иллюстрациями и аналогиями и даже не только упущенными в прошлом возможностями. Перед ним открывается (может открыться!) самое глубинное и самое сокровенное — Невозможность: запрет, рождающий еще не изведенные, принципиально новые возможности.

Г. П. Однако то, что происходит сегодня, имеет свой зачин — Пятидесятые, Шестидесятые годы. Вы думаете, что начатое тогда не дотянулось до "генезиса" или само обрубил его?

М. Г. Пожалуй, что так. И можно лишь пожалеть, что сейчас столь мало обсуждают уроки этих памятных лет. Пора, разумеется, воздать должное Н. С. Хрущеву. Падкие на юбилеи, мы не отметили сколько-нибудь заметно тридцатилетие XX съезда. Это все-таки поправимо. Но не опоздать бы с осмыслением того, что мы тогда обрели и что (и почему!) потеряли. Первый шаг или даже первые шаги названных лет вселили великую надежду. Но каким могло стать продолжение? Каким призван был быть второй шаг? Хрущев этого не ведал. Он метался, обуйанный горячкой перемен, на ходу рушил, на ходу вводил и отменял. Притом любое нововведение — повсюду и одновременно. Но его ли это только недуг или у этого недуга корни поглубже?.. Вынимаю из конверта памятный документ, осколок родословной. "Дело по вновь открывшимся обстоятельствам прекращено за отсутствием состава преступления". Состав — не было. А обстоятельства открылись вновь. Задумывался ли изобретатель этого стандартного текста, что он обнажил большее, чем нежелание назвать правду в ее полном объеме. Да и как выразить ее на языке юриспруденции? А на языке истории? В кажущемся противоречии со сказанным выше замечу: чем беспрецедентнее ситуация, тем существеннее для людей взгляд назад: заново обретаемое прошлое. Если и не учит оно прямо, то помогает людям увидеть свет в конце тоннеля... Мы не обрели тогда прошлого, не обрели поэтому и будущего. Не сподобились к совместности,

к доверительной взаимности в обретении его: будущего в прошлом. И вновь возобладало недоверие — наследие Сталина; сначала на верхах, а затем обратным ходом — снизу.

Г. П. Не случится ли это вновь? Критическая мысль, относившая в названные годы большинство наших бед на счет "культ личности Сталина", все-таки наложила отпечаток на поколение, только вступающее в сознательную жизнь. А ныне каково, по Вашему мнению, место разоблачений и критики Сталина в перестройке, замысленной как перестройка не только дел, но и людей?

М. Г. В иные минуты нет ничего важнее, чтобы кто-то решился сказать: король гол! Но проходит время, и оказывается, что эта простота мало что объясняет. Не то ли произошло у нас? Сначала миг прозрения, приоткрытая тайна. Еще бы усилие, еще бы совсем немного смелости... Решись в те годы Хрущев на обнародование сохранных временем обстоятельств убийства С. М. Кирова, может, и ходы назад были бы если не вовсе закрыты, то неизмеримо труднее. Не исключаю. Но остается затруднение — узнали ли бы мы (тогда!) в "до конца" разоблаченном Сталине самих себя? Дошли бы сообща до *второго шага*? Сюжет не уходит, а поколения меняются. Молодой человек конца 50-х — начала 60-х годов ощущал себя сильным и в пределах существующего. "Дети XX съезда" — это, разумеется, не пустая метафора. "Дети", переставшие быть детьми — по крайней мере с рубежа 1968 года... Нынешние же юные как будто изначально не обольщаются ничем, но властны ли они определить свою (и не свою!) участь?

Г. П. А как у "взрослых", у бывших молодых?

М. Г. Не ответишь однозначно, они ведь разные, а то и поляризованные. Одни оказались на вершине успеха, другие — "лишние" (чей результат оправданной?). И духовная многоликость: верующие открыто и под сурдинку, упорные или стыдливые материалисты, люди, преданные революционной легенде, и "новые правые" на свой, отечественный лад и т. д. и т. п. Общее между ними тем не менее есть, хотя не так легко оно разгадывается, да к тому же все эти разные отнюдь не озабочены выявлением общности. Параллель с прошлым бьет в глаза, но все же нового сегодня больше, чем повтора. Даже откровенно ретроспективные утопии (воспользуемся давним выражением Чаадаева) — скорее доказательство от противного того решающего, хотя еще и не осознанного до конца факта нашей жизни, который кратко, одной фразой, можно бы определить так: после Сталина нам некуда вернуться — в досталинских временах нам уже места нет.

Г. П. В таком случае актуален ли вообще Сталин?

М. Г. Да, и в двух смыслах: в меру его присутствия в нас и в меру нашего освобождения от него — и обе эти меры неиз-

вестны! Сталин — фигура историческая, но по сей день спорят о "сталинизме", и разве только как о пережитке? Мы чувствуем: к былому здесь примешано грядущее. Расхождение же не в одной оценке, но и в избранном масштабе. Пытаются ли, например, рассматривать Сталина в таком ряду, как "большая тройка", с Рузвельтом и Черчиллем (и теми, кто заместил их)? Это что — не актуально? Ялта, Потсдам — перевернутая страница? А Воркута с Магаданом лишь географические малости, несопоставимые с планетой?

Г. П. Вы полагаете, что и нынешние обвинители Сталина боятся говорить о себе?

М. Г. Тяжкий вопрос. Для кого-то длящееся годами мучение, но трудный и для каждого человека, спрашивающего себя: что же там произошло, в этих роковых Тридцатых, и сколь необратимо прошедшее — и не просто в буквальном календарном смысле? Если необратимо, то и непоправимо — не так ли? Но что-то мешает поставить знак равенства, что-то держит. Капкан. Попадешь в него и не вырвешься... Стоит ли повторять, но как не повторить: Сталин и кровь нерасторжимы. И не просто кровь человеческая, на которой история (вся!) зиждется. Нет, со столь избыточной кровью он весь, во всех своих действиях связан, что это крушит всякое рациональное объяснение — и его самого, и нас, и истории *как таковой*. Созаем ли, что именно этот шаг, это раздвижение вопроса до пределов истории нам как раз и более всего не даются? Почти бессознательное табу останавливает на полпути. И даже когда обнаруживаешь в себе этот запрет и силишься высвободиться из него, остается неясным — чего боишься: того ли только, что вместе с другими подошел к краю истории своего отечества, или та пропасть, что открылась, готова всех на свете принять без возврата?

Г. П. Вы всерьез полагаете, что феномен Сталина (назовем это так) столь обширен, что затрагивает Мир в целом — и не только тот, прежний, но и нынешний и даже будущий?

М. Г. Кому-то, вероятно, сказанное покажется мистикой. А отчего? Не то же ли табу мешает нам увидеть в натуральную величину феномен, о котором речь?.. Принимаем же мы если не за священное, то по крайней мере за то, что не подлежит пересмотру, наше отечественное пространство, наши державные пределы, самое державу, со всеми ее богатствами и ресурсами, с ее местом в Мире, которому живые считают себя обязанными тем, что "просто" живы. А это все, все нынешние наши заботы и тревоги, и потребность освободиться от них, и застарелое покорство судьбе, очистишь ли их от Сталина? И не в этих ли историей сотканных и в истории не умечающихся пределах настагает нас его тень, как и призраки мертвых, не успевших прозреть, сгинувших с кляпом во рту? Что же, державу эту — нам, гибели и призраки — ему одному?

Г. П. Такой подход таит риск: в обозначенных пределах может раствориться (и ускользнуть) "персональный" Сталин.

М. Г. Риск налицо, и немалый. Но давайте разберемся: чем именно мы рискуем? Рисуем забыть преступления или рискуем не понять их (непонятое-то и забывается всего основательней)? Отступим в те же Шестидесятые, вспомним человека, которого я без колебаний назову центральной фигурой духовного раскрепощения, и не только тогда, а, как бы это ни звучало парадоксально, и по сей день — Александра Твардовского. Опередил? Да, конечно. Достаточно вспомнить продолженного "Теркина". Но опередил не только "тем светом", что наша жизнь. Не только мужеством отречения, но и сомнения. Спотыканием, без которого раскрепоститься ли? Разве легкость отказа от наследия (а там были и родные ему могилы) отвращала его не меньше, чем козни и лицемерие "наследников Сталина"? И сам Сталин, Сталин-человек и Сталин — распорядитель всех человеческих судеб, был для него как вызов чести. Стоит подумать, чего бы мы лишились, если бы Твардовский не принял *этого вызова*.

Г. П. Но тут в основе лежит моральная ответственность. Для многих, уже родившихся позже, происходившее в "те" годы вызывает скорее недоумение.

М. Г. И я, живший тогда, нередко ловлю себя на странном сомнении: да было ли то, что было... вроде бы было... а может, и вовсе не было. Это ощущение утраты целого, потери связи. Мы довычеркивались, доигрались в подтексты, в "проходимую" память. Мы привыкли жить разрешенным, торопиться использовать "миг свободы" — в привычном же ожидании новых запретов на факты, имена, обстоятельства, на мысли, идущие дальше казенных прописей... Пора самим открыть дверь и войти неслесно в Дом, всем принадлежащий лишь тогда, когда он принадлежит каждому. Принадлежит! Не иначе, не меньше. И только тогда "моральная ответственность" перестанет быть чистой риторикой. Это ведь тоже неприметное, вросшее в быт наследие Сталина — отчужденная ответственность. Лишенные права на нее, мы сумели даже это, быть может, худшее из современных лишений превратить в своего рода комфорт.

Г. П. Не тут ли подоплека столь жгучего внимания к фильму Тенгиза Абуладзе?

М. Г. Вы думаете, что именно это затронуло миллионы зрителей? К "Покаянию" можно относиться по-разному. Ведь чем сильнее произведение искусства, тем менее однозначно и восприятие... Случайно услышанная фраза: "Подумайте, что у них, в Грузии, творилось, а мы ничего не знали" — уже стала хрестоматийной. (Не смейтесь! Вот и популярный критик усмотрел в фильме обличение "культа Берии".) Меня удивляет другое: отчего не вызывал этот фильм спора по главному своему существу? В самом деле — о чем он?.. Синкретизм "Покаяния",

его хронологическая разноголосица принципиальны. Хотели ли авторы показать, что насилие над душой и телом человека, капитуляция его перед злом, его беспомощность — явление вездешнее, не миновавшее ни одной эпохи, ни одного континента? Однако место действия не зашифровано. Это о нас, это мы. Это мы о себе — и не то чтобы своей судьбой исчерпавшие земной ад, он неисчерпаем. Неисчерпаем, но остановим. Кто-то призван остановить. Почему же не мы? Разве не хватит для этого у нас страсти и ума? Первый порыв: хватит! Но трудность (прежняя и новая) в превращении порыва в поступок, в непереносимость поступка. И еще сомнение: не значит ли остановить — остановиться? Действие в "Покаянии" движется по двум календарям сразу, однако это — мнимое движение. Время уничтожилось в бывшей вотчине Варлама. Его сожрало беспамятство, активное, воинственное. Беспамятство мертвит инстинктом самосохранения, питается контрастом между тем страшным (и уже непонятым), что заполняло собою жизнь, и тем, что после. Пустотой после. Нет ничего, способного вновь заполнить и быт, и бытие — все. А привычка к такому существованию пережила смерти и страх: оставшиеся жить играют в жизнь, во всезаполненность ее. Быть может, лишь одной из выживших удастся нарушить игру — воспоминанием, зовущим к возмездью? Вместе с Абуладзе мы хотели бы, чтобы это случилось, и вместе с ним догадываемся, что и этому не должно быть места — даже в мыслях. Забвение грозит возобновлением ужаса. А месть — крушением юных, гибелью и виноватых без вины. Где же выход?

Г. П. В равенстве мертвых, поскольку мертвые?

М. Г. Договаривайте: в уравнивании палачей и жертв... Можно бы и не произносить этих слов, обойти их (мало ли для этого есть приемов!), но я не посчитал бы самую тонкую и услужливую околичность отвечающей долгу человека, прожившего жизнь, перед теми, кто начинает ее в достаточно смутное время. Совесть ведь великая загадка — как пришла она к человеку и чем удержалась, чем держится, невзирая на все? Не была бы она загадкой — удержалась ли бы? "Мы никогда не должны становиться глухими" — это сказал человек, которого все на Земле считают эталоном нравственности, — Альберт Швейцер. И добавил в разъяснение своих слов: "Чистая совесть есть изобретение дьявола". Я не стану комментировать эту близкую мне мысль. Я знал и в юности и позже людей, не совершивших ни одной, даже мелкой подлости, но которые сегодня отказались бы считать себя невиновными по самому большому земному счету. Мои погибшие друзья студенческих лет — из их числа. И я хочу думать, что они согласились бы со мной: *неправедное уравнивание*, о котором речь, — это испытание, через которое нам нельзя не пройти, чтобы вылечиться от глухоты, препятствующей

щей (сегодня!!) услышать друг друга, и не только за "круглым столом" избранных...

Г. П. Боюсь, однако, что такое толкование не примут даже те, кто свободен от пиетета перед генералиссимусом. Есть немало порядочных людей, которые, желая восстановления справедливости, не хотят, однако, считать себя лично причастными к совершавшемуся им и при нем.

М. Г. Как и лично причастными к происходящему после? И Сталин для них как вымершее чудовище, которое занятно разглядывать в книжке, зная, что не увидишь в окне. Во всяком случае, в текущих делах, из которых состоит жизнь, он их не беспокоит, и это ведь естественно? Я не собираюсь читать кому бы то ни было проповеди — занятие не по мне. Но вот эпизод, врезавшийся в память: Смоленщина, начало октября 1941-го, удивительная голубизна неба и еще более удивительная тишина, бредущий по обочине красноармеец, один-единственный впереди и позади, — и мое упрямое, злое нежелание довериться его словам: там, в роще, немецкие танки...

Такое не повторится. Что бы ни произошло, та война — последняя. И вроде бы люди не нашли (нигде!) средств от собственной беспомощности, и сегодня не меньше она, а в чем-то сильнее той, и Чернобыль занозой в сердце, но так, как случилось с нами, больше не будет. Лучше ли это или хуже — нет у меня готового ответа. А перед глазами — человек, брошенный на произвол судьбы, и он же, этот человек, внезапно, на кромке смерти, обретающий свободу распорядиться собой. Именно — свободу. Конечно же, не добровольно принял он на свои "одинокие" плечи груз безмерного бедствия и отпора сверх приказа (сверх и даже даже без...), по крайней нужде взвалил, а добрая воля пришла потом, пришла и утвердилась. Я не о юных энтузиастах, а о коренном человеке, из самой толщи, вернее, о тех и других, едва ли не слившихся в одно — в одну власть над самими собой. Как очевидец и как историк свидетельствую: 41-й, 42-й множеством ситуаций и человеческих решений являли собою стихийную десталинизацию (и до сегодняшнего дня не вполне оцененную в этом ее сквозном, но нестойком качестве...). Да, это наше — русское, российское, советское, но это еще и Мир, вошедший в нас тогда. Теряя же то, что обрели в эти два страшных и великих года, теряли вновь и себя, и Мир. Неприметно, не сразу, а затем зримо, с беспощадной очевидностью.

Г. П. Вы в прошлом солдат, инвалид войны — и Победа, разумеется, была для Вас незабываемым днем. Но Сталин тоже причастен к этому торжеству, а если так, можно ли сохранить торжество, удалив его?

М. Г. Вопрос подразумевает ответ; заведомо ясно, что в центре тогдашнего ликования был он. А что сам я чувствовал

9 мая 1945-го? Кроме радости – горечь; в этот майский день я понял: мои близкие не вернутся. И было еще одно странное ощущение – какой-то опустошенности. Кончилась война, в которой мы привыкли жить, и к довоенному нет возврата. И это чувство, что придется как-то заново устраивать все, думается, тоже соединяло со Сталиным. Но если нами владела неуверенность вместе с жадной жизни, то Сталин в этом же чувствовал опасность для себя. Видел ли он в этих молодых людях в шинелях без погон будущих декабристов, овладел ли им прежний страх оказаться ненужным, подстрекавший его искать и создавать чрезвычайные ситуации, вернулся ли он к эйфории 1939 и 1940 годов, когда, казалось ему, Мир становится его единоличным поприщем?.. Так или иначе, движимый причудливым смешением разных поползновений и угроз, мнимых и действительных (мнимых, которые становились действительными!), он заново привел в действие механизм *перманентной гражданской войны*, составлявший, полагаю, самый существенный его вклад в то, что именуется сталинизмом. Так начала разворачиваться не описанная еще по-настоящему послевоенная трагедия: разлом поколения. После такой веры друг в друга, после такого братства люди вставали против людей, страна вновь кишела “изменниками”. Масштаб человеческих утрат был, правда, меньше, чем в Тридцатые, но кто сосчитает потери душ и их не только ближние, но и куда более далекие следствия? Карьера становилась жизненной программой начинающих. Все проникалось и лицемерием, и худшим из самообманов; впрочем, то, что различало их между собой, теперь, на расстоянии многих лет (и человеческих превращений), не столь легко различить – так близки “диалекты” патриотизма, требующего ежедневного поклонения, и ксенофобии, непризнание которой могло стоить жизни... Справедливости ради нельзя не заметить, что у Сталина были достойные партнеры на Западе; “холодная война” не один исток имела. Но об этом надо говорить особо, ибо сегодня мы все расплавляемся по многим послевоенным счетам.

Г. П. Это какое-то малозаметное время...

М. Г. Не замечаемое по тому же навыку играть в прятки со Сталиным – неправомерно отделяя себя от него.

Г. П. И все же человечеству известны “кредо” главных действующих лиц мировой сцены, и, верно или неверно, оно представляет, чего ждать от них, а чего ждать от нас, “представляемых” Сталиным?

М. Г. Не забывайте, мы лишь начинаем пробуждаться после долгого времени, когда мы не смели (и не умели) быть откровенными в отношении самих себя, как и в отношении Мира, окружающего нас. Отделишь ли одно от другого? “Железного занавеса” вроде бы уже и нет, но инерция *окруженности* живуча. Преодолеть ли ее только дипломатическими средствами и

культурными контактами, как они ни существенны? Раньше или позже нам придется выяснить совместно: куда мы идем — врозь и вместе. Отныне только так — врозь и вместе. Такого история не знала и знать не могла. Ведь *трудность главная* же же не в недостатке доброй воли. Она в том, что именуют миропониманием. Вот Вы употребили слово "человечество", и, казалось бы, ничего удивительного в этом нет. Разве мы все на Земле не из одного корня и разве не на то люди потратили самые богатые мыслью и словом, самые энергичные столетия, чтобы достроить связь до единства? Получилось же иначе. Связь стала теснее и жестче. А единство? В конечном счете оно пришло ко всем угрозой прекращения жизни, и, мне кажется, было бы упрощением сводить причины к злым намерениям одних и с опозданием признаваемым ошибкам других... Я вырос интернационалистом. Затем в этом оптимистическом монолите появились трещины — сомнения. В какой очередности нарастали они — долгий рассказ. Но в финале вопрос: не в самых ли подспудных ошибках "человечества" — идея (и практика!) всемирного единства, признающего лишь варианты самого себя? Разные течения мысли сходились (и сходятся) в том, что представляют развитие человека восхождением, а "эпохи" — ступенями единственного в своей завершаемости прогресса. Кто-то ушел вперед, кто-то догоняет, ощущая себя отставшим, а кому-то еще предстоит и это последнее. "Формы, предшествующие капитализму". А затем — и формы, предшествующие социализму, не так ли? Но вот на наших глазах произошла разительная перемена. "Эпохи" из смотрящих в затылок друг другу стали одновременными. Мировая вертикаль перевернулась в горизонталь. И не в том соль, что "постиндустриальное" сосуществует с "традиционными" укладами и цивилизациями, а в том, что все наличные способы человеческой жизнедеятельности становятся, если еще не стали, *суверенами как собственного, так и всемирного процесса*. Однако совпадает ли второе с первым? Совместимы ли, когда *в суверенах все*? Открытый вопрос. Нет рецепта, есть лишь все более отчетливое понимание того, что ненайденный ответ сулит величайшие распри и не исключает всеобщую гибель.

То, что нас это затрагивает, не требует доказательств. Но до конца осознали ли мы, что речь идет и о нас самих, о Мире дома, о Мире внутри нашего дома?.. На уроке географии школьник узнает о существовании Евразии. А что скажет ему в этой связи учитель истории, а тому — господствующая историческая доктрина? Считается ли она с тем, что историей (не-нашей и нашей) мы сложились в нечто, и большее и иное, чем страна. По сути, в конечном счете — мир в Мире. *Один из миров*. В отношении дооктябрьской России нет хотя бы трудности в наименовании, она сама называла себя империей. Правда, была ею на особый лад: сплошная территория, смешение рас и цивилизаций,

межнациональный рабочий класс. Особая чуждость — и особая близость... Но есть ведь и постоктябрьское наследство. Мы верили, что оно полностью заместит собою прежнее. Так не вышло и, думается, в любом случае выйти не могло. А ныне? Не то же ли у нас, что в Мире вокруг? Все, что раньше разъединялось и соединялось (сквозь века!) преданием и традицией, диалогом потомков с предками, сегодня — встреча при жизни. Встреча вер, убеждений, нравов, отношений к труду, к собственности и власти... Но ведь можно и не встретиться. Входит ли это в перечень катастроф, подстерегающих нас, как и людей повсюду, или это внутри каждой из нынешних, "чужих" и собственных предкатастроф?!

Г. П. Вы пессимист?

М. Г. А Вы, вероятно, полагаете, что пессимизм противостоит оптимизму? Я думаю, что это ошибка. На самом деле пессимизм в споре (и в схватке) с самодовольством. И разве я пессимист, когда говорю: Сталин умер вчера?

Г. П. Не испугают ли мир такие новости?

М. Г. Я и сам себя об этом спрашиваю. Ведь мы знаем, нас страшатся или по крайней мере страшились настолько, что готовы были не раз подойти к черте ядерного самоубийства — оказывается, страх перед нами больше! Конечно, тут вмешаны и корысть, и спекуляции политиканов, и неизжитые воспоминания. Но если существует что-то сверх этого, что-то иррациональное, то ведь это тоже факт, с которым нелепо и грешно не считаться. И оттого я спрашиваю себя: неужели мы действительно опасны другим людям, другим народам?

Я ищу ответ, не подвергая сомнению ни миролюбие своего правительства, ни отвращение молодых соотечественников к войне. Я хочу понять, в каких корнях гнездится не осознаваемая нами возможность — вдруг стать опасными... Свойства народов, наций — зыбкая тема, в обсуждение этого вносится немало произвольного, но сами эти свойства — не выдумка. Тут скрещиваются и география, и история, и строй речи, и укоренившийся способ обращения человека с человеком. Преувеличу ли, сказав, что последнее едва ли не важнее остального и что у него в свою очередь есть свой орел и своя решка, и если орел — это социальность, спрессованный событиями итог в людях, то решка — способ их обращения с прошлым! Несовпадение в этом — едва ли не самый скрытый источник взаимного недоверия государств и миров.

Г. П. А в данном случае — источник страха?

М. Г. Да, если даже испытывающие страх прямо этого не высказывают... Так, между дорузвельтовской и послерузвельтовской Америкой различие в высшей степени резкое. Американец либо помнит о прошлом, если он участник событий или профессиональный историк, либо, что чаще, пребывает в неве-

дени, погруженный без остатка в настоящее. За эту односторонность своя расплата — то манией величия, то манией преследования. Не похоже ли это на нас — в нашем отношении к Сталину (как и к тому, что после него)? И да и нет. И мы в тревожном конфликте со временем, но все же иначе. Былое не отпускает нас. Призраки его то исчезают, словно по мановению руки, то вновь появляются, столь же неожиданно, и мы, еще вчера как будто пришедшие к согласию, сегодня обнаруживаем глубину несовпадений, "зов предков", невысказанные обиды, инстинктивную потребность отгородиться друг от друга, обустроив свой собственный "угол". Справедливо ли это желание, это стремление привести жизненный уклад в соответствие с родословной, которая всегда своя, особенная? Вопрос законный. Отчего бы не признать право на суверенность в мировом смысле, если только нет тут поэмы к насилию, угрозы кровью? Но будем откровенны (острота вопроса запрещает недомолвки): в какой степени достижимо это? Многие против. И нынешняя экономика, и ракеты, гиперцентрализация власти, далеко зашедшая культурная ассимиляция... Наш, и нынешних и завтрашних поколений, мир в Мире — это то, что надо еще открыть (себе!), то, что еще предстоит обрести, материализовать. Мы не знаем пока, как нам устроиться, чтобы *единство заново было в согласии и ненасильственном споре со старыми и новыми различиями и, более того, органически проистекало из них*. А между тем как будто не лишены некоторого опыта по этой части. Но сдается, забыли и то, что знали.

Г. П. До Сталина?

М. Г. Да, разумеется, демаркационная линия здесь. Сталин начал свою карьеру с наркомнаца, а в его политической агонии "национальное" заняло едва ли не решающее место. Но и здесь не все так просто, каким представляется на первый взгляд. Сталин, равный себе, тоже не сразу. Для историка трудность не фактическая только — уяснить, как из "случайного" (не непременно) Сталин становился все более необходимым, отчего эта его "самодетерминация" превзошла и исключила иные возможности...

Г. П. Вы считаете Сталина неизбежной фигурой нашей истории?

М. Г. Представьте себе на миг: мы вычеркиваем его из списка вождей в 1924 году. Что ж, другой, занявший его место, был бы таким же? Понятно, что нет.

Г. П. И тогда развитие пошло бы другим путем?

М. Г. Я бы не решился утверждать это столь категорически. Речь все-таки идет не только о Сталине, а и о нас. Переформулируем вопрос: чего могло бы не случиться с нами, если бы не было его? Тут двойная зависимость, от которой не отговориться проклятиями или "сбалансированными" разведениями в сто-

рону — процесса и его центральной фигуры. Сталин не был неизбежен изначально, но его неизбежность нарастала из года в год. Не сама собой, это очевидно. Он строил, и весьма искусно, свою нужность. И, утверждая ее, придавал всему совершающемуся такие черты, которые делали именно его все более необходимым. Его политическое поведение, его лексику, весь его инструментарий нагнетания напряжений, дабы ими усиливать свою нужность и выходить из каждой такой экстремальной ситуации все более непременно: победителем и вызволителем из бед, и тем и другим...

Зададим себе кощунственный вопрос: он, Сталин, не ближе ли нам, нынешним, чем Ленин? Я не сопоставляю личности, это нелепо. Но вот два понятия, как будто отвлеченные: революция и мировая держава. Революция, которая перевернула жизнь в России и, как бы ее ни оценивали, сдвинула мировую ось. И держава, которая способна "физически" покончить со всем на Земле и пока еще бьется над тем, как устроить свои домашние дела. Разве по степени близости к нам держава, эта держава, не ближе?

Г. П. Пожалуй...

М. Г. И не в силу ли этого ближе к нам человек, если не творец, то бесспорный режиссер-постановщик того чуда, что после жертв и наигорчайших бед, которым он же был первый виновник, Советская Россия, прежде не бывшая "сверхмировой" державой (*таких мировых и не было вообще!*), после 1945-го ею стала? И мы, которых нельзя представить вне этого целого (я, во всяком случае, отказываюсь от такой благородной дистанции) — мы — те ли самые люди, отсчет существования которых идет от памятной даты 1917 года? Страшноато спрашивать себя об этом, а надо. Надо узнать — исследованием и спором: в самом ли деле непрерывный этот ход событий или же это два ряда событий, связанных внутренне, но все же принадлежащих разным жизням, двум нравственным и политическим мирам. Не узнавшие этого, мы можем стать невзначай опасными. Себе, а постольку и другим. Ибо бывшее без дум реанимирует худшие из предрассудков, плодит своего рода достоверную неправду и — что, быть может, тревожнее всего — закрывает историческому сознанию вход в политику. Человек у власти ведь тот же человек, который в свое время учил историю по нашим учебникам, узнает ее по фильмам, романам, пьесам.

Правда, книга фильмему рознь. Я говорил о "Покаянии". Но вот лента, которую можно было бы зачислить в оппоненты тому фильму. Я имею в виду "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа. Действие происходит где-то в 1930-х, быть может, вскоре после убийства Кирова. Провинциальный город. Бандитизм и люди, которые с ним борются. Не на жизнь, а на смерть. Вы видите их, преданных своему делу, странных и смешных — человеческих. Вы знаете, что они не останутся и

перед самым жестоким. Они могут сами пасть жертвами жестокости, лишённой смысла, но могут быть и ее исполнителями и находить в ней смысл. И все это — глазами тогдашнего ребенка. Теперь он, взрослый, знает, что это было лютое время, но он видел тех людей прекрасными и такими запомнил навсегда... Не отдельные кадры, не игра актеров затронули меня до глубины души, а эстетика Германа, его естественная "бинокулярность". Я, признаться, даже позавидовал ему — уже в качестве историка, от которого ждут и требуют определенности без всяких криво-толчков. Историк лишен, что и говорить, тех возможностей быть собою, которыми обладает искусство. Но обречен ли он поэтому на одномерность? Или у него в резерве свои средства преодоления ее и, может быть, все дело в том, чтобы обонить, усовершенствовать, развить эти средства — и не только применительно к тому, что на дальнем расстоянии, а именно в том "месте", где главная трудность и нестихающая боль... Удивляться ли нам тому, что разоблаченный Сталин в 1980-х не менее загадочен для нас, чем четверть века назад?

Г. П. Но вернемся к Вашему исходному тезису. Выходит, что Сталин и есть тот человек, который приготовил нам нынешнюю роль в мире конца XX века?

М. Г. Я удлинил бы фразу: в том контексте его, где сегодня мы ставим здесь, у себя дома, вопрос о новых основаниях жизни. Не о новой жизни даже и тем более не о "новых людях", а о той, что есть, и о тех, что есть: *той же — и другой, тех же — и других*. О жизни, на перемены в которой есть один категорический запрет, — запрет на катастрофу от незнания себя, от нежелания узнать себя в другом. Запрет на политический, национальный, социальный Чернобыль... Я спрашиваю: в те считанные мгновения, в которые оператор у четвертого реактора еще мог (если мог) прервать смертоносную внезапность, какие мысли, какие приказы из его собственных недр успели пронестись в его голове? Не о профессиональной выучке его я думаю, а о его (о моей, о нашей!) человеческой квалификации. О нашей *альтернативности, альтернативности, воплощаемой в жизнь*.

Г. П. Итак, "сталинский" образ жизни — это прежде всего утрата альтернативы?

М. Г. Я бы предпочел говорить не просто об утрате, а об уничтожении ее. Вернее, и о том, и о другом. Но сначала о самом понятии. Альтернатива — это ведь не просто одно из двух: либо — либо. Это еще и *выбор*. Без выбора "либо — либо" пустой звук. А сам *выбор* — что он значит, дабы опять-таки не был пустым звуком? Пусть иероглиф, еще подлежащий расшифровке. Именно подлежащий: событиями, действиями, даже иллюзиями и превозмоганием их... Вопрос из краугольных — был ли выбор в 1917 году? Как человек, много думавший об этом,

позволю себе высказаться решительно: выбора не было. Свершившееся тогда — единственное, что противостояло неизмеримо большей кровавой перетасовке, развалу без смысла. Выбор — позже. Не исторического пути, а уже внутри "пути". Больше, чем варианты, иное, чем ступеньки, сами ведущие — вверх от первой. Развилка. Развилки...

Я вступаю в спор с прописями, утверждающими, что Октябрь — раз и навсегда. Разумеется, не о календарном дне речь. Не об Октябре-событии, а об Октябре-эпохе со своим прологом и своим эпилогом. Камень преткновения — эпилог. И даже не камень преткновения еще. Еще не "преткнулись", а пора. Пора потому, что раз и навсегда — не только дань догматизму, но еще и живучее наследие Сталина. А его прежде, чем отклонить и избыть, надо "принять" — в смысле: понять. Понять, как возникло оно. Как возник Сталин. Тут отсчет не от "генов" и не просто от его подпольного бытия со всеми извивами и темными пятнами. Исток — в громаде "военного коммунизма". И даже не в буквальном переживании продиктованных временем форм и способов "военно-коммунистического" действия. Шире, дальше — в возобновляемости его. Рискнем сказать: в его неискоренимости, "родившей" Сталина и им уже вносимой в человеческую толщу — вопреки иному началу, в борьбе с тем, чтобы начаться сызнова.

Второе начало — нэп. Сейчас о нем много говорят, главным образом в экономическом, хозяйственном разрезе. Это понятно. Разные люди спешат найти палочку-выручалочку, им кажется: повторим то же — и будет у нас, притом сразу, и довольствие, и рвение, и общественное согласие. Но так ли? Ведь и мы другие, и Мир иной. А между тем именно этот довод, это признание присутствовали тогда, свыше полувека назад. А имею в виду даже не сам по себе феномен нэпа в его неожиданном, бурном и кратковременном протекании. Я имею в виду нэп как главу жизни Ленина, ее завершающий взлет — и предсмертную схватку ("Le dernier combat de Lénine", как назвал свою книгу известный зарубежный историк Moshé Lewin*). Если опять-таки ограничиться прописями, то причины и следствия следуют друг за другом в должном порядке. Пришло время менять политику. И Ленин всю мощь ума, всю энергию и авторитет положил на чашу перестройки, одержав бесспорную победу. Однако не только профессиональная честность, но и кровная заинтересованность в узнавании "концов" обязывает историка вернуться к исходному пункту. Обязывает спросить: почему опоздал Ленин? Просчитался ли в сроках, думая о голодающих городах, перевесил ли трезвые советы практиков его расчет на признательность крестьянина Декрету о земле? Либо главный источник

* Левин М. Последняя битва Ленина.

сопротивления скрывался все-таки в нем самом, в недрах его духа?

Я склоняюсь к последнему. Я думаю, что ленинское опоздание — сигнал, выходящий за пределы конкретного сюжета (при всей его громадности). Опоздание из ошибки, из срыва росло в политику, обесмысливая ее, ибо если политика не опережает, то стоит ли ее называть политикой? Здесь, однако, кроется и другое, даже противоположное: *опоздание как предвосхищение...* Еще не ведал, что "военный коммунизм" — самоубийство. Еще был в плену антирынка (и все больше в этот плен втягивался). А подспудно росла догадка: если начать отступление, то первым шагом не ограничишься. За здравым почином продналога — иное целое. Иная Россия? Иной социализм? А Мир? А Октябрь в качестве начала всемирного начала? Они также иные: ритмом и смыслом?

Для ученого догадка — эврика. Для лидера восторжествовавшей революции — испытание на разрыв. Медлил, поелику был не готов. Готовность пришла протестующим, бунтующим мужиком, которого поддержали рабочие обеих столиц. И тогда наступила полоса выбора — уже не между продразверсткой и продналогом. Действительный выбор — между "коммунизмом на базе нищеты" и цивилизаторской работой с азов, *с заново открываемых азов!* Общий выбор, но с разными ипостасями — проблемными и человеческими. Выбор — это и Ленин, и его оппоненты на постоктябрьской почве. Это — и кронштадтские мятежники и X съезд. Это — грузинские коммунисты, изгнанные Ноя Жордания и унаследовавшие проблему его в иной редакции (вместо независимости среди держав — независимость внутри одной, *всем равно принадлежащей*), — между ними выбор и теми из коммунистов "центра", мирового революционного центра, для которых независимость этносов, языков, культур если и была больше чем тактикой, то заведомо не осозновалась их собственной судьбой и всесветным Завтра, тем и другим вместе...

Г. П. Где же тут место Сталину и какая из ипостасей — его?

М. Г. В том и парадокс, что он отсюда, а выбор не его, поскольку всякому выбору, выбору как таковому, он неизменно чужд. Деталь биографии: неучастник введения нэпа, где-то на обочине перелальных событий, в центр же их выдвинутый прихотями внутрипартийного соперничества. За этой "частностью" — контуры того явления, которое нас занимает. Достаточно ли оцениваем мы непредуказанность нэпа? Если Октябрь не был лишь "неклассическим" вариантом Великой французской революции, то сколь велика новизна *нэповской альтернативы Октябрю...* Отсчитаем от весны 1921-го четыре года, вернемся к лету 1917-го. Разгар революции, все более явные признаки неминуемой гражданской войны и нарастающей угрозы (как выразился Ленин впоследствии) "сплошной поножовщины". В сознании

спорящих, пишущих, охваченных страхом витают призраки Конвента и Коммуны, Жиронды и Горы, якобинского "максимума" и не знающей отдыха гильотины. Ленин не был оригинален, обращаясь для понимания грядущего к тому веку, к тому опыту. Но в его сжатых репликах на обвинения противников есть одна нота, которая не может не привлечь внимания и сегодня. Смысл сказанного им: как истинно великая, Французская революция в своем эгалитарном порыве вплотную подошла к социализму, лишенная, однако, материальных возможностей его осуществления – крупной, "синдицированной" промышленности, железных дорог и банков (вдобавок окруженная застрявшими в феодализме странами). Террор – и от остроты борьбы, и от беспомощности! У якобинцев же XX века – Ленин не без гордости принимал это наименование – есть шанс пробиться к социализму, минуя гильотину. Цитирую: «"Якобинцы" XX века не стали бы гильотинировать капиталистов – подражание хорошему образцу не есть копирование».

Гильотина, отказ от нее здесь все-таки не одна буквальность, а еще и символ. Слагаемое ленинской мысли: Россия может начать новый Мир, *не вводя* социализм, но и *не минуя* его. Для Робеспьера гильотина – равнодействующая непрерывной революции, отсекающей и "правые" и "ультралевые" головы, дабы согласовать равенство с собственностью. В России такой равнодействующей (по Ленину 1917-го: "летнему" и "осеннему") призваны стать радикальный аграрный переворот и обобществление, ограниченное "командными высотами", экономический контроль над мелкотоварной стихией, укрепляемый и корректируемый участием самой широкой народной массы (и рабочей и крестьянской) во властвовании. "*Госкапитализм*" в блоке с "*государством типа Коммуны*". Но – повторим еще и еще – история не график. Она производит отбор идей и переиначивает принятое. Так и у нас. Всеобщая национализация оттеснила концепцию "командных высот". Государство типа Коммуны стало в спазмах гражданской войны замещаться "главкизмом", импровизируемым аппаратом управления, властью функционеров. А российский "максимум" – продразверстка – подстегивал равенство, самодвижение его, достигшее безумной кульминации к концу 1920-го...

Г. П. Гильотина восторжествовала?

М. Г. Да, почти так. Но оставался просвет: обретенная массой полусознательная, полуинстинктивная воля решать – и червячок сомнения в ленинском мозгу. Из глубинных заделов сознания, скрещиваясь с грозными событиями, вышла обновленной его прежняя доминанта – "американский путь", – подкрепленная и надстроенная идеей многоукладности, унаследованной и *вновь творимой!* Отыскался ключ к иному целому, еще неизвестному и России и Миру. Но обстоятельства переменились

(сравнительно с 1917-м). К лучшему? К худшему? Считать ли за лучшее превращение бывшего эмигранта, известного лишь сотням людей, в вождя мирового пролетариата, в главу отвоєванного государства? Кто усомнится, кроме него самого, на грани смерти... "Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России" — первая фраза последней по времени диктовки. "...Я возложил чрезмерные надежды на свое выздоровление". Это — о национальном вопросе: проекции и сердцевине целого. И границе его, Ленина, воздействия на будущее, пределе его "вмешательства". Но это позже. А раньше, а до того? Ведь нэп стал реальностью, "военный коммунизм" — законченной главой. Общая опасность сплотила партию, но переменяла ли людей? Искомому якобинцу без гильотины противостоял теперь якобинец, сросшийся с ней: реальная, властвующая, командующая фигура. Свыше века назад рубежом явился Термидор: смена лидеров, предательство и расправа, из которых не сразу, не в один присест пришли империя и кодекс Наполеона. Буржуазная цивилизация, кровью кровь поправ, вводила себя в новую норму, какой не могло бы явиться на свет без революции — и без прекращения ее. Кому из сподвижников Ленина пришло бы на ум помыслить о своем Термидоре как о необходимости, как о неумолимой *норме*? А ему самому? Свидетельство Жака Садуля — слова, сказанные ему Лениным в мае 1921-го: "Рабочие-якобинцы более пронципательны, более тверды, чем буржуазные якобинцы, и имели мужество и мудрость сами себя термидоризировать" (интуиция подсказывает историку: текст подлинный!).

Самотермидоризация — вот он, ленинский выход. Выход — и выбор.

Г. П. Сделанный им одним?

М. Г. Сначала опоздавшим, затем опередившим. Нет, я не собираюсь приписывать Ленину мысль о прекращении революции. Но превращение ее в реформу, но принесение уже внесенного в жизнь социализма в "жертву" культурничеству, охватывающему и экономику, и политику, и верхи, и низы, — так ли просто было усвоить этот язык, заговорить на нем в *деле, деле*? То, что социализм ("пока") один из укладов — это куда ни шло, это реальность, с которой трудно примириться, трудно, но должно. А дальше, а впереди? Даже ближайшие к Ленину шарахались, когда слышали из его уст: госкапитализм выше социализма. (Что это — полемическое заострение либо уже и плод разрушительной болезни?..) Я оставляю в стороне конкретную подоплеку тогдашней коллизии. Меня приковывает к себе непростой, непрямолинейный путь освоения Лениным нэпа: пики осени 1921-го и последних статей и диктовок, между которыми и паузы, и провалы, и шаги назад. Разорванная целостность его мысли, открывающая другую эпоху — и переходящая в схватку

наследников. Его выбор – и их выбор: совпадают ли не буквой, а сутью?

В свете последующего доступней увидеть эту первую по счету альтернативу. Первую, не доросшую до себя. Первую развилку: спор без диалога. Спор, переходящий в разрыв: между естественной исторической стихией (не от нее, а к ней, к ней!), между стихией развития, идущего и утверждающего (не раз, не два!) свой новый предмет, между ней и самоувекочивающейся монополией: монополией власти, монополией хозяйствования, монополией духа, кредо которых – могущество. Могущество любой ценой...

Г. П. Не приходим ли мы таким образом к известному взгляду, сводящему "сталинизм" к реставрации имперского прошлого России?

М. Г. Если говорят это наши оппоненты и даже противники, это еще не значит, что тут все чистая напраслина. Надобно, полагаю, разделить разные вещи. Одно дело – преемственность, навязанная обстоятельствами (границы, например), другое дело – переживания старого патриотизма и шовинизма, и совсем иное – свежая традиция, растущая в новые, постреволюционные "комплексы". "Даешь Варшаву, дай Берлин..." – это не от Романовых. И один лишь здесь замах на мировую революцию? Да и в самом замахе весьма неодинаковые импульсы: от мессианизма в буденовке до своего рода теоретических вериг – начать, зная, что те, кто продолжит, неизбежно опередят. "Россия делается (...) опять отсталой ("в советском" и в социалистическом смысле) страной". *Опять отсталой!* А ведь это сказано Лениным еще до того, как "врезались в Крым", до того, как потерпел сокрушительную неудачу замысел – общий, цеккистский: сквозь Польшу подвинуть вперед немецкую (= европейскую) революцию. Замысел не удался. Но это также еще надо было признать, введя в контекст "регулярных" домашних дел. Увидеть, что Европа в любом случае, при любых сроках созревания готовности ее к социализму пойдет к нему иначе, непременно по-своему. Увидеть, что у пробуждающихся человеческих миллиардов Азии еще впереди свои азы "буржуазно-демократического развития"...

Г. П. Так что у нэпа были сугубо разные соавторы?

М. Г. Один из самых опасных мифов на свете – о единственном авторе у единственной истории. Коллективный ли это автор либо единоличный – разница мифологем существенная, но все же не коренная. Напротив, признание соавторства – верная примета реалистического мышления, нравственного, политического здоровья (а подчас и мужества). Я не стану утверждать, что Ленин и в указанном отношении действовал безупречно, но настаиваю на его мужестве, мужестве как раз этого рода. *Нэповская альтернатива Октябрю как новая мировая политика* –

это не только заключительный аккорд, но и лейтмотив его прикидок, решений, расхождений и столкновений с ближними. Мысль, разраставшаяся в одиночестве, предшествующем безмолвию.

...Мир у себя дома и дом как Мир — двуединый образ, рожденный мозгом уходящего Ленина, образ, отклоненный тем, что восторжествовало затем, и лишь теперь вернувшийся к нам, диктуемый сегодня той "жизнью после смерти", какую мысленно уже прожили люди ядерного полувека.

Г. П. И все-таки — разве не имели бы мы то же самое: державное место в Мире и без такого "режиссера-постановщика", как Сталин? Разве не к этому все шло?

М. Г. Так думать легче. Но я не верю в эту гипотезу. И именно потому не верю, что вижу в прошлом не профилированную магистраль, дополняемую пресловутыми зигзагами, а куда более сложную картину движения. Помните, у Герцена: концы и начала. Непрерывность мирового процесса достигается сменой их — во времени и в пространстве. Нет концов, нет и начал. Но с какого-то момента этот закон (а это закон истории в строгом смысле) становится трудноисполнимым. Концы "застревают". И это не простая инерция. Тут все запутанней и хитрее. За видимостью "ускорения истории" скрывается перемена в ее коренных свойствах. Меняются все, но более всего те, кто включается позже, кто силится догнать ушедших вперед. Происходит своего рода переворачивание классического прецедента: его конечный счет становится инструментом начала, как будто бы не нуждающегося в продолжении. И пропуск этапов, фаз, ступеней кажется преимуществом, превосходством... Здесь и ловушка. За это также надо платить, и цена не только растет. *Цена обретает ранг смысла.* Она исподволь замещает и цель, и средства (средства, исторически приуроченные к цели). Новоевропейская поступательность вступает здесь в брак с циклизмом, унаследованным от ранних цивилизаций. И концы, принимая крайние, разрушительные формы, вместе с тем отвердевают, окостеневают в способах, приемах, нравах. Несостоявшиеся развилки режиссируют гибелями...

Мы еще не вчитались, не вдумались как следует в судьбу наших предальтернативных лет. Что говорят нам такие даты, как 1923-й, 1928-й или 1934-й — до 1 декабря и даже после? У каждой свой "сюжет", свой список действующих лиц, свои вычерки из него. В каждом случае мы можем прощупать наметку выбора, близость его, и в каждом — сужение поля его. *Нарастающее сужение поля выбора.* Мы останавливаемся в недоумении: отчего потерпел неудачу последний ленинский замысел перестановок лиц у власти, неотрывный в его сознании от изменений политического строя в самой болевой его "точке" межнациональных отношений? Мы пытаемся уразуметь причины бан-

кротства поборников нэпа — поражения большинства среди лидеров, нанесенного им режиссируемым большинством функционеров. По смутным фрагментам из документов, воспоминаний, лагерных легенд мы тщимся реконструировать наиболее загадочную из наших развилок, плодом которой явились Конституция 1936 года и террор 1937-го...

Г. П. Но выбор — со все более суживающимся полем — был во всех случаях тот же, "нэповский"?

М. Г. А все-таки что понимаем мы, озираясь назад, под нэповским перевалом? В самом широком и далеком смысле — переход от гражданской войны к гражданскому миру. Не просто — на время; окончательный запрет — отказ, открывающий путь принципиально иному разрешению всех конфликтов, любых социальных драм. "Кулак не Колчак", — говорил Сталину Бухарин... Двоякая зависимость: выбору нужен гражданский мир, последний же получает в выборе прочность и развитие. Вот где фокус — *развитие гражданского мира*. Современность вглядывается в прошлое, чтобы лучше увидеть себя — свои напасти и свои возможности. Разве не время задуматься об исходе нэпа, о причинах его обрыва на восходящем витке? Мог ли бы один человек, каков бы он ни был, совершить такое? Катастрофа — коллективное действие, в главных субъектах которого — слабость. Изначальная слабость. Еще раз: нэп был всемирно нов, и эта новизна относилась не только к введению его, но еще больше — к удержанию. Удержание-то и альтернативно. Теперь это понятнее, хотя и тогда кое-кто понимал и из марксистов, и из тех, кто говорил другим языком. По-разному выражалась эта мысль, общее резюме которой: если нет движения у нэпа, если его основания, не получив развития, не приведут к созданию целого, достроенного до самого верха, до *государства, сознательно опекающего и творящего многоукладность*, то велик ли шанс сохранения самого нэпа и не обречено ли наперед "голое" удержание его?.. "Из России нэповской будет Россия социалистическая". Ленин верил в это "будет". Полагал, что "Россия нэповская" уже налицо. Сегодня мы вправе спросить себя: не ошибался ли он, не в плену ли утопии был? Мы вправе спросить: нэп и нэповская Россия — одно и то же? Или тут, именно тут — зазор, в который и вошло все, что против, все, что в конечном (близком конечном) счете сосредоточилось в одном — в Сталине? О недостроенность (недостраиваемость?) и разбился замысел. Разбился о боязнь выйти за предел первоначальной дерзости. Замысел дробился на куски, каждый из которых легче было заземлить неисполнимостью, скомпрометировать расхождением с железным законом классовой борьбы. Кооперативный фермер; союз наций и этносов, основанный на договоре — *возобновляемом и обновляемом*; суверенность ищущей мысли и автономия культуры — это ведь "частности", буд-

то частности. Будто утрата одного куска не умаляет, не обезличивает искомое целое — социализм?

Г. П. Так в итоге — поражение умов?

М. Г. Одни "поражались" посредством силы, другие сами соорудили себе свивальник из цитат и прописей примерного революционного поведения. Успех и победа Сталина питались поражениями зачинателя и продолжателей, продолжателей-ортодоксов, продолжателей-эпигонов. А он, что говорить, был мастер утилизации поражений — и не только в плане срамливания разномыслящих, превращения магии единства в аутодафе из идей и людей. Поражения, питаемые слабостью "преждевременных", оборачивались (временем — и им!) в его единоличный, единодержавный "позитив". Плагатор, перелицовщик? И это и даже больше — архитектор своеобразного (и также нового!) циклизма...

Сюжет из самых драматичных и животрепещущих. В самом деле, как разделить мощь, измеряемую тоннами, киловатт-часами, и развитие, выраженное в людях, в их словах и поступках? И как соединить во времени "культурническую" программу, рассчитанную на десятилетия просачивания в деревенскую и городскую толщу, с горячкой сооружения того, что старая Россия не имела вовсе? Трудность величайшая — по сей день. Взгляните на циклы и судороги "третьего мира". Мы — предтечи его. Ему проложившие путь — и мощью, питавшейся развитием, и мощью против развития. Что же — по-иному быть не могло? Предмет обсуждения, дискуссии, но прежде всего — факт. Простое (и кажущееся простым) взяло верх над неопробованностью и робостью сложного и еще тем взяло, и, может быть, особенно тем, что сложное не нашло своей антропологии, своего миро- и человековедения (распознавания Мира в человеке!). А между тем однозначность, с "рукой, зовущей вперед", набирала силу, втеснялась в мозг, привлекала и увлекала... В моем родном городе был популярный оратор, культпроп горкома, у него были такие маленькие, высохшие ручки, и он на каждом митинге, взмахнув ручками, восклицал: "Догнать — значит победить! Перегнать — значит уничтожить!!" Это же сидело внутри целого человеческого среза, разбуди меня ночью, и я бы сказал то же. Если Хрущев в избытке чувств крикнул: "Мы вас закопаем!" — то он не грубил — просто из него выпрыгнула вторая половина этого уравнения, сделавшего эпоху.

Г. П. Ну, а если без крайностей, то не заложена ли была в этой формуле непреложность задач, от которых никто не смог бы уйти?

М. Г. Я предпочел бы сказать — неумолимость. Сталин, конечно, не единственный автор ее. И капиталистическое окружение — не бред маньяка. Но я — историк, пытающийся взвесить реальность и сознающий, какую невероятную силу набрала при

Сталине *власть слов*. Слов, которые распоряжались судьбами, руководили жизнью и смертью.... Вы имеете дело с множеством социальных и иных конфликтов, разногласий, несовпадений внутри, а вовне — с целым спектром любопытства, и сочувствия, и враждебности, и вот вы вминаете все это в два пароля: "реставрация" и "интервенция" (стучащаяся в дверь двоящая, согласованная опасность их!) — и вся картина меняется. Меняется соотношение задач и самый состав их. Вслед за политикой и даже опережая ее — перемены в поведении, в нравах. Или другой пример, уже затронутый выше. Слово-знак — отсталость. В устах Ленина не один смысл, а несколько, связанных и противоборствующих. В них — и прошлое, и предстоящее; последнее притом не в результате поражения, краха, даже застоя. "Опять отсталая" — мерило движущегося человечества. Миру (догадывался, прикидывал он) суждено после войн и революций войти в нормальное русло, очищенное и раздвинутое не в последнюю, в первую очередь нами... "Отсталость" — знак обретения (знаний, умений, достатка), своего рода залог устойчивости, защиты от бюрократического монстра, преследовавшего его, как дневной кошмар. Но вышло не по Ленину, и "отсталость" превратилась в слово-клеймо, слово-улику. Им изобличали, подхлестывали друг друга...

Г. П. Коллективный испуг?

М. Г. Лишь отчасти. Но в неизмеримо большей степени — подъем чувств, страсть отпора, приливы самоотречения... И будто оправданная, заведомо оправданная жестокость по отношению к себе самим и к себе подобным. Ведь мы изначально были людьми, убежденными, что раньше или позже за нами пойдут все. И уже идут. Всюду, все! Отсюда склонность, вторая натура: определять собою иных. Иных, которые если не в данный момент, то вскорости будут, станут точно такими, как мы. Повторят нас в главном. Последуют за нами. Соединятся с нами. Разве дурно или тем паче — преступно? Но просмотрим эту цепочку до конца и в конце обнаружим утрату — себя же самих. С ужасом перечтем императив: вычеркнуть из жизни тех, "за кем не пойдет Мир"...

Г. П. И вы полагаете, что в истоках этого — нереализованный выбор, несостоявшиеся социалистические альтернативы?

М. Г. Попробуйте устранить этот вопрос, и вы окажетесь снова у разбитого корыта "зигзагов", "инфернальной личности", "всемогущества аппарата" и т. д. и т. п. Нет, чтобы понять ту однозначность, нужно преодолеть нынешнюю — собственную. Надо встретиться с теми, кого нет не только в силу их физического исчезновения, и сделать усилие, чтобы их понять. Встреча с потерпевшими поражение (в 1923-м, в 1928-м, в 1934-м)? Да, и на равных, и без всякой бессмысленной и оскорбительной снисходительности, без извинений и поклонов позорно запоздалой

”реабилитации”... И со Сталиным рандеву? Вопрос жизни для нас — принять его в свой круг, разговорить его, попытаться проникнуть в тайну близости к нему миллионов образованных и полуграмотных (банальности ли благодаря эта близость, или для объяснения нужны какие-то другие, глубинные понятия...). Может быть, он и есть для нас, для нынешнего нашего ищущего духа предмет мысли — несмотря на то, что именно это — способность к независимой мысли, к нравственности серого вещества, к сомнению, без которого нет истины, — он вытравлял и выбивал из нас и настолько преуспел в этом, что и сегодня мы чаще членораздельно мычим, полагая, что думаем вслух...

Г. П. Но вернемся к еще не состоявшимся развилкам. Ведь тут, как Вы выразились, фокус проблемы — исток необходимого Сталина. Почему же были обречены на неуспех предальтернативы — одна за другой? И не слишком ли индивидуализированы даты: 1923-й, 1928-й, 1934-й?

М. Г. В общем виде, мне кажется, я уже сказал об этом выше. У альтернативы, конечно, есть своя объективная основа, но не больше. Выбор до известной степени возможен всегда, но опять-таки только до известной степени. И мера этой возможности либо возрастает, либо, напротив, идет книзу и способна дойти до нулевой отметки. Ведь выбор — это люди, совершающие его либо неспособные совершить. Самая неспособность — проблема. Ибо в лапы ее попадают и умные, и совестливые, и не лишённые воли. Добавьте существеннейшее: каждая из предальтернатив, не доросших до самой себя, не исчезает. Неосуществленный выбор включается в следующую попытку, сужая и отягощая ее. А если учесть, что речь идет об одном-двух поколениях, то уйдешь ли от того, что отягощение приобретает и индивидуальные черты. И несостоявшаяся развилка — это биографии, это человеческие судьбы. Сугубо разные, но в чем-то итоговом близкие, родственные. Судьбы Троцкого, Бухарина, Кирова... Историческую вину не определить ни уголовным кодексом, ни бранным словом. Да и уместно ли здесь само понятие ”вина”? Троцкий уклонился от исполнения последнего ленинского замысла, обрекши этим себя на поражение. Но был ли он внутренне готов к тому, чтобы глазами уходящего Ленина увидеть по-новому *Россию в Мире*? На вершине славы он превращался в ”лишнего человека”, таким я вижу его. А Бухарин 1928 года? Что для него было в ”последней инстанции” важнее — отстоять от Сталина нэп или сохранить, даже ценой собственной капитуляции, единство партии? Он тоже унаследовал незавершенность новой теории социализма, вынашиваемой Лениным, незавершенность в ключевом пункте — политическом эквиваленте многоукладности: как достроить ее до целого, чем и кем?

...Задним числом мы вправе разглядеть в последних тек-

стах Ленина не только завещание, но и вызов. Самому себе и партии — своему детищу.

Г. П. Вызов самотермидоризацией?

М. Г. Если не прямо так говорил, то, по сути, об этом думал уходя. Думал "спрашивал": сумеет ли партия, взявшая и удержавшая власть, уберечься от искуса внедрить самое себя во все поры жизни, несводимой к одному, к единственному? Сумеет ли внутри самой себя представлять *иное*, вслушиваясь в его голоса, как в *собственные*? Понимал, что любое "да" — не идиллия. Скорее невозможность, чем возможность, если только последнюю измерять лишь тем, что в наличии, что в наследстве — чужом и своем, своем теперь даже больше, чем в чужом... Прошло свыше полувека, а с какой неистовой силой звучат слова диктовки, обращенной к мучительнейшему — национальному — вопросу: «... *очень естественно*, что "свобода выхода из союза", которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный российский бюрократ. Нет сомнения, что *ничтожный процент советских и советизированных рабочих* будет тонуть в море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке». Я позволил себе выделить курсивом не самые взрывчатые слова, но те, которыми он отличал опасность "естественную", преграду которой искал в другой — новой естественности... Если не станет партия решающим соавтором ее, этой новой-другой, то не превратится ли в "пустую бумажку" и коммунистическая первоуродность, его партии естество?

Г. П. Вызов всем? Или только перечисленным в "Завещании"?

М. Г. А разве перечисленные — в его глазах — не самая верхушка гигантского айсберга?.. И Сталин был тем, кто, пожалуй, раньше и острее всех ощутил предсмертные ленинские слова как вызов или, точнее, угрозу, адресованную ему даже и там, где о нем прямо не было речи. Кто с уверенностью прочитает в тайниках его души ненависть, которая питала с тех пор его расчеты (и его прозрения)?

Если из незавершенности ленинской *революции реформ* он сотворил трамплин к личной власти, то Бухарин, загнанный им в "правый уклон", лишенный места на Олимпе, продолжал бескорыстно действовать и без борьбы, находя и смысл и радость жизни в том единственном месте на Земле, где он только и мог жить, оставаясь собою и даже переставая быть собою. Осудим его за это? Пожалеем? Не те слова... "Вот возьмите Бухарина, например. По-моему, пел как будто по нотам, а голос не тот. (Смех, аплодисменты.) Я уже не говорю о товарище Рыкове, о товарище Томском... Тут даже и мелодия другая. (Смех,

аплодисменты.) И в тон не попадают, и в шаг не поспевают". Это из речи Кирова на XVII съезде, из раздела, названного им "О тех, кто просидел в обозе". Меньше года оставалось жить этому человеку. И его слова я напоминаю не для того, чтобы пощекотать нервы обывателю. Они человечнее, слова эти, чем иные, произнесенные на том же съезде, который и делегаты его, и все мы, кто постарше, кто помоложе, называли съездом победителей. Теперь его с основанием именуют съездом приговоренных к смерти. Но будем честны перед ними и перед собою — это был еще и съезд самоубийц.

Г. П. В смысле — упустивших выбор?

М. Г. Да, в этом смысле. Но задумаемся: в чем же он состоял тогда? Позади — коллективизация, голод, гекатомбы, люди, вырванные с корнем из земли. И стройки. И обретаемая сила. И рвущееся вперед молодое поколение. И перемены, чуть не сказал: перестройка... Один благородный человек, талантливый историк, прошедший все круги недантова ада, говорил мне с улыбкой, вспоминая и 1934-й и 1935-й: "Это была весна". Весна писательского съезда и отмены карточек, ликвидации "политотделов" и передачи земли в "вечное пользование" колхозам, снижения темпов индустриализации и упора на благосостояние, весна воскрешения забытых историков вместе с реабилитацией избранных эпох и фигур из "проклятого прошлого", весна готовящейся новой конституции и упразднения жестких классовых барьеров. Самокритика была в разгаре. От партийных и беспартийных (совместные активы!) доставалось и наркомам. А там, за кордоном, нацизм. Там — консолидация левых, всех, кто вступал в схватку не без надежды и с верой, что решит эту схватку прямое вступление в борьбу Советской державы. Литвиновское: мир неделим. И VII конгресс Коминтерна. И Испания, Испания!.. Так в чем же состоял выбор? В очеловечивании, в антифашистской демократизации *сталинского результата*, вводимого в строгие, недвусмысленные конституционные рамки? Или еще дальше: в осознании того, что главный выбор уже "по ту сторону" несовместимости капитализма и социализма? Не дошедшие *до этого* могли ли поднять руку на победившего Сталина, Сталина-кумира?

Г. П. Итак, механизм "больших процессов" уже был, по сути, запущен?

М. Г. Очередность фактов обязывает ответить согласием. Но у кровопролития был все-таки свой пролог. Не сделавшие выбора отдали его в руки Сталину. И тому надо было решить: остаться ли в лидерах начавшейся нормализации, стать хозяином новой гласности? Либо верх взяли и не могли не взять верх страх утратить нужность (без "чрезвычайного" удержится ли абсолютом необходимости?!), позыв сделать демократизацию заранее застрахованной от опасностей, адресуемых *ей ему* —

даже если эта переадресовка еще не приходила в голову большинству сподвижников и тем более большинству "сталиноподобных" функционеров. Он и осуществил эту "демократизацию" на свой лад — выравняв смертью... А где-то под спудом зрел соблазн, разбуженный фашизмом (и антифашизмом!): неожиданным ходом выйти на мировое поприще.

Г. П. Вы считаете Сталина трагической фигурой?

М. Г. Шекспир бы ответил утвердительно. Но не изменилась ли природа трагедии за протекшие с тех пор века?.. Вместо ответа — коротенький рассказ. Время — 1940 год. Памятный для меня год: последний раз я видел родных; год отчаянных споров в студенческом общежитии, впервые мы так раздирались — до прекращения отношений (кто "за" Германию, кто "за" Англию); и во мне самом какое-то внутреннее смятение, загоняемое вглубь несогласие. Хотели ли мы с моим другом-единомышленником войны с Германией? Вряд ли — в буквальном смысле, исчисляемом близкими сроками. Но союз с Гитлером был все более невыносимым для нас, а мужество и единство англичан и восхищали и удивляли (откуда мужество — после Мюнхена? Откуда единство: не от неразвитости ли классовых антагонизмов, не от вошедшей ли в плоть "их" нереволуционности?..). И вот спустя почти четверть века я держу в руках книгу "Бисмарк. Мысли и воспоминания". Год издания тот самый — 1940-й. Сигнальный экземпляр. Единственный, принадлежавший Аркадию Самсоновичу Ерусалимскому — автору вводной статьи. В тексте ее и на полях пометки и замечания Сталина. Да, это его рука. Его почерк — человека, привыкшего много писать, беглый, но ясный, легко читаемый. Писал, вероятно, не в один присест — цвет карандаша разный. Я всматриваюсь — подобно археологу, открывшему древнюю надпись, старающемуся разгадать и смысл и судьбу, заключенные в буквах... Сталина уже нет. Страшное о нем мы не боимся говорить вслух, правда, это еще вновь, еще не стало расхожим. Я ищу в книге страшное. Нахожу же разумную редакторскую правку, свидетельства недурного вкуса и понимания истории. Рассказ А. С. Ерусалимского о встрече в Кремле дополняет зрительную реакцию. Мы задерживаемся на самом крупном из исправлений. В статье, которую поручил написать профессору-историку нарком иностранных дел, финальные абзацы прозрачно доносили главную мысль. Бисмарк, не раз высказывавшийся против войны с Россией, боявшийся ее пространств и повторения участи, постигшей некогда шведского короля и французского императора, призывался в советчики настоящему, в наставники Гитлеру. Казалось бы, и Сталину финал должен был бы прийти по вкусу (статья ему вообще понравилась). А встреча состоялась осенью — много после поражения Франции и Дюнкерка, изменивших ход мировых событий. Но как раз концовку Сталин

решил изменить. Он снял патриотические курсивы, сократил размер предупреждений и весь русский сюжет согласился оставить под условием переноса его куда-то в середину (заключительным же аккордом избрал текст о старом юнкере, отставном канцлере, который незадолго до смерти посетил Гамбург и, с удивлением взирая на гавани, верфи, океанские корабли, промолвил: "Другой мир, новый мир"). «Что это было, — спрашивал я А. С., — каприз, хитрость или инстинкт человека, мерившего политику "эпохами"?» И автор и заказчик — Молотов — были тогда обескуражены. Последний не произнес ни слова (как и присутствовавший на встрече Жданов), А. С. же робко возразил, упирая на актуальность. Сталин — в ответ: "А зачем вы их пугаете? Пусть попробуют..."

Г. П. Вы точно воспроизводите его слова?

М. Г. Еще бы. Я их запомнил навсегда, как и весь рассказ А. С., содержащий немало красочных подробностей. Слова же эти... Уже в зрелом возрасте, потеряв многое и многих, я возвращался к ним, работая над незаконченной рукописью "1940-й". Я пытался реконструировать и ситуацию, и историческую фигуру, за просчеты которой уплачено по минимальному счету двадцатью миллионами жизней (и целым поколением, из которого я сам)... Что думал он в тот момент, произнося эти слова? Отдавал ли он отчет в том, что договор 1939 года уже утратил смысл для партнера, вкусившего в Европе победы и жаждающего выйти на мировой простор? Стремился ли спокойствием — на грани равнодушия — вселить тревогу в Гитлера и тем выиграть время? Пытался ли из демонстраций силы сделать аргумент в пользу продления и обновления союза, сумевшего обеспечить своей державе "бескровные" приращения? Днями позже Молотов поедет в Берлин, а накануне встречи с историком Сталин впервые ощутит военное давление немцев на Балканах. Но сейчас я не об этом. Я знаю, что вариантов рационального объяснения немало. Но меня в данном случае занимает не столько политика Сталина, сколько он на переломе собственной судьбы... Вот он, достигший "высшей власти". Повержены все, с кем когда-то ему приходилось быть по меньшей мере вровень (а то и ниже, именно — ниже...). История — большая искусница связывать разное значением и ценой в один нерасторжимый узел. И тут она соединила днями: уничтожение Троцкого — и явный надлом столь невероятно до тех пор складывавшегося в его, Сталина, пользу соотношения сил во всемирной схватке. Сладость личного триумфа — и явный сигнал бедствия. Услышал ли? Или торжество от достижения сокровенного (Троцкого нет, нет навсегда!) притупило его чутье? Любой ответ — гипотеза. Однако гипотеза в рамках неумолимого. Рок стучится в дверь — в его дверь, в наш общий Дом... Нет соперников — нет оппонентов. Нет возражений — нет "обратной связи".

Все отныне замкнуто в нем самом, и абсолютная независимость одного оборачивается абсолютной зависимостью от его вождельней — и от кошмаров, к которым неприменима обкатанная процедура расправы. Раб любого камешка, застрявшего в зубах. Нет, все же Шекспир...

Г. П. Если подвести итог, то вправе ли мы считать, что не состоявшиеся в прошлом альтернативы — если не все наше наследство, то его неотъемная и существеннейшая часть? И как в свете этого выглядит наш сегодняшний — перестроечный — день?

М. Г. Помните, у Чернышевского в "Прологе", одной из любимых моих книг, продлевающей тему романа о "новых людях" и вместе с тем в чем-то и оспаривающей его, первая часть именуется — *Пролог пролога*. Название как название, но в нем важная для автора мысль.

Он, которого обвиняли с самых разных сторон в идеализации будущего (из "хрустала и алюминия"), в выпрямлении пути к всеобщему счастью, еще в изначальном романе подводил молодое поколение к мысли: то грядущее, чистое в помыслах и свершениях, оно — в природе вещей и в силу этого достижимо. В него войти легко. Но нет ничего труднее и запутанней, чем пролог пролога. И потому нет ничего ошибочней для поборников коренной перемены, чем пренебрегать "нечистыми" современниками ("злыми" от нужды и по привычке), своим радикализмом и своим чистоплюйством отбрасывая их, и даже не к закоренелым стражам рабства, а к едва осовремененным бюрократам, игрокам в реформаторство, тем, для кого люди были и остаются "куклами", лишь ставкой в борьбе за власть.

Это не аналогия, скорее — ассоциация. Мы сейчас где-то на исходе своего пролога пролога. Нынешнего, многим непохожего не только на тот век, на судьбы "новых людей", но и на оборванные, проигранные, растоптанные *пред-альтернативы* своих 1920-х — середины 1930-х годов. Непохожего — и наследующего их, непохожестью наследующего. И родословными живых, от которых зависит, какой быть нашей перестройке. И — опасностью для них, для нас всех попасть снова, хотя и по-другому, в капкан взаимного отталкивания и инспирируемой распри.

"Вы за социализм или против?" Это нас спрашивают или мы себя, не догадываясь, что *социализм, вероятно, именно то общественное устройство, для которого допустим — и неприменим — выбор самого себя и не один раз?!*

Г. П. И потому мы задержались именно на нэповской альтернативе?

М. Г. Да, она самая отчетливая в этом кровавом смысле. Ибо выбор — это все же не только диктат экономического и социального развития. Это еще и свобода человека XX столетия.

Лишенный выбора — не свободен. Но и лишаящий других теряет ее. Не сразу осознается это, но, когда осознается, возникает снова стимул к выбору как условию жизни. И — как самой жизни. Поэтому в разгаре 1987-го я спрашиваю: Сталин умер? И отвечаю себе: Сталин умер вчера.

1987

Существуют такие мгновения в жизни, такие дни и даже часы, когда вступает в действие неписанный закон, запрещающий молчать. Тогда отходят на задний план многие вчерашние страсти и антипатии. Нет, они не уходят вовсе, но и не просто отодвигаются на время. Они как бы испытываются временем — на верность той же жизни, какая принадлежит всем людям без изъятия, на верность отдельному человеку, непохожему на остальных, этой-то непохожестью живому.

Для нас таким испытанием явились события истекших дней. Правда, на первый взгляд в том, что произошло (и происходит), нет ничего сверх обычного. На памяти и более страшные "эпизоды" с неизмеримо большим числом жертв. Но в нынешних есть нечто, заставляющее сказать себе: дальше некуда. И спросить себя: не та ли это капля, которой суждено переполнить чашу?

...На исходе второе тысячелетие с того рубежа, от какого в обиход людей вошло само понятие "человечество". Вошло именно потому, что древнему наказу: не убий (не убий своего, близкого племенем и речью) — был придан тогда новый смысл: не убий любого. Какая сложная судьба у этих слов. Их запрещали, чтобы затем ими освящать — и новые посулы, и новые табу, и мятежи, и казни. Их оспаривали и переиначивали, этим сохраняя. И все дальше уводили от первых слов, тем подтверждая переломную сущность их. Каков же итог? Он разный. В итоге — высокие творения и катастрофы. Имена, которые не забыть. И также какие хочется не вспоминать, но не дано, ибо забывать их опасно. В итоге — мысли: за и против человечества. В итоге — кровь, пролитая за и против.

Неужели все это — зря?

Если измерять то, что предстоит, тем, что мы видели и пережили в последнюю неделю, приходишь к заключению, колеблющему всякую надежду. В самом деле, что перед нами — злостное ли это, с обеих сторон, нарушение международного права? Выкидыш ли это "холодной войны", совокупившей "обыкновенный" террор с "обыкновенной" вылазкой в чужой дом?

Нет, нарушением права, норм мирового сообщества тут не отделаешься, ибо право это, нормы эти оттого и нарушены, что

* Текст явился реакцией на американскую бомбардировку Триполи (Ливия). Задуман как проект коллективной акции. Замысел остался нереализованным.

здесь и не здесь нарушаются изо дня в день. Нет, это уже не "холодная война". Это вообще уже не война. Это — убийство. Снова — убийство: вторичной первозданностью своей.

Убийство наступает с разных сторон и окружает людей повсюду. Все дальше раздвигает оно свои пределы, путешествуя изнутри отдельных государств и миров вовне и вновь возвращаясь извне вовнутрь. И кажется — нет уже на него никакой управы, кроме силы, которая сама по себе способна лишь умножить ненависть и страх, совместно готовящие новые и новые убийства.

Мы знаем, сколь остры проблемы, встающие ныне перед разными странами и народами, — проблемы, диапазон которых простирается от хлеба насущного до опасностей и невзгод, порождаемых лавиной технических новшеств. Выживание и развитие стали в равной мере камнем преткновения для людей. Такого не было в прошлом. К этой одновременности, к этому несовпадению и даже несовместимости задач и нужд никто не готов в отдельности, ни одна держава, ни одно из идейных течений, ни одна из научных школ, ни одна из религий. В зазор этот с неизбежностью устремляются страсти и вожделения, унаследованные от веков избирательного прогресса и неравенства.

Трудно удержаться от признания: человек слаб перед лицом вызова, в свете которого все мы и жертвы и виновники происходящего.

Но слабость не оправдание, как и сложность Мира не аргумент в пользу покушения на жизнь, совершает ли его отдельный человек или государство, вызывается ли оно отчаянием или жадной возмездия, прикрывается ли законом или сам закон превращается в орудие человекоуничтожения (внезапного либо действующего исподволь, открытого либо тайного).

Не преувеличение, не домысел — все жизненные коллизии Мира уперлись сейчас в одну точку: в необходимость остановить убийство. Пока не поздно — преградить дорогу ему. Все законы наций и все помыслы духа должны сойтись на этом. Такова современная "нюрнбергская" норма. Она затрагивает всех, от нее не волен уклониться никто.

У нынешних событий есть и особый аспект — они последовали за Женевой. Сейчас еще рано судить, сколь обоснованы были надежды, которые повсеместно пробудила встреча руководителей двух мировых держав, и могла ли она действительно стать вехой во взаимном выяснении возможностей и условий сближения, ведущего к демонтажу ядерно-ракетного мира. Очевидно одно: шансы такого сближения в эти апрельские дни резко снизились. Мы не располагаем сведениями, позволяющими с достоверностью выяснить причины поворота, инициатором которого в данном случае был президент США. Входило ли это в его сценарий Женевы или явилось результатом давления разнообразных

сил — внутриамериканских и внешних, равнодействующей геополитического атавизма и бессилия удержать Мир 1980-х в рамках, установленных в момент окончания второй мировой войны? Конкретный анализ очень важен, но все-таки недостаточен. Сегодня уже недостаточен. Сегодня вопрос о причинах этого поворота не может не ввести в широкий круг проблем, которые не только не решить в один присест, но даже не сформулировать сразу — на языке, понятном всем и достаточно точно употребляемом. Еще только в зародыше этот новый язык, еще долг путь к взаимности в понимании, а события торопят, угрожая непоправимыми и необратимыми следствиями.

Чем помешать худшему? — вот первый вопрос, за которым сразу же встает следующий: можно ли воспрепятствовать обвалу, не двигаясь вперед? Если нет сейчас неотложнее и всеобщей задачи, чем уберечь жизнь на Земле, то нельзя не видеть и иного — человек не может жить ради голого самосохранения. Отнимите у него цель, и он погибнет и без ядерного пожара. Но и единственность цели — химера, способная губить и погубить. Каков же выход? Нет рецепта, пригодного для всех. Но есть единая ответственность. И она диктует: вопреки всему вчерашнему (более давнему), вопреки всем фактам, и не только мнимым, но и действительным, фактам, подстрекающим к подозрительности, ненависти, вражде, вопреки всем позывам "своего", рефлексам этноса, голосам крови — вопреки всему этому делать шаг за шагом к доверию. Один за другим — к доверию! Во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило — к доверию!

Ибо доверие — это уже не только средство; это — смысл, смысл жизни; это — дело, какое впереди всех дел, их все в себя вбирающее. Ибо — любая цена за доверие будет исчезающе мала по сравнению с ценой, которую Мир уже платит за недоверие, и тем паче по сравнению с той, какую он заплатит, если блокада недоверия не будет прорвана.

Несомненно — с одной стороны ее не прорвать. А для совместности в освобождении от недоверия нужно само доверие. Квадратура круга. Нерешаемая проблема, если смотреть на нее умозрительно. Но люди умели в прошлом находить выход из ситуаций, которые полагали безвыходными даже могучие умы. Будет ли так сейчас? Для положительного ответа мало одного желания. Надо отдать себе отчет в трудностях, с какими не идет в сравнение все прежние. Кажется столь безусловным: современные средства умерщвления исключают чью-либо победу в каком бы то ни было планетарном конфликте, и столь же доказанным представляется, что всякое "местное" противоборство, вышедшее из-под контроля, способно детонировать Мир. Отсюда вроде бы рукой подать до вывода: война как таковая исчерпала полностью и без возврата ресурсы решения любых человеческих задач. И потому даже проекты частичного разоружения

грешат отставанием, и не только от опасности, физически угрожающей человеку. Невольно вписываются они в абсурд, владеющий людьми, потворствуют уловкам перекидывания на будущее решений, к которым род человеческий подведен его нынешним обессиливающим могуществом. Оно-то и держит в лапах безумия. Оно-то и режиссирует убийством. Оно-то и поощряет импровизированных лидеров к попыткам выпутываться из домашних неурядиц посредством "чужой" крови и подталкивает ученых, чей мозг служит (прямо или косвенно) тому же абсурду, изобретать вселенский намордник для непокорных и безумных.

Там, где верх берет злая воля, — там в истоках беспомощность и страх. Это было верно всегда, сегодня же особенно. Человек 1980-х годов, даже зная, что будущего может не быть, отклоняет от себя эту чересчур абстрактную для него истину. Его больше страшит незащитность сегодня, чем гибель завтра. Им владеет боязнь лишиться своего образа жизни, оказаться принужденным жить по чужой указке либо быть растоптанным миллиардами людей, которые впервые обрели равное с другими право на владение Миром. Кто осмелится утверждать, что у этого страха нет оснований? Но если даже и безотчетный он, этот страх, множащий недоверие в Мире, то слишком велик его груз, чтобы позволить себе отнестись к нему с мало-малейшим пренебрежением.

Вот почему нет ныне ничего труднее, чем первый шаг к доверию. Доступный шаг и достаточный. Тот минимум, который по самому существу своему не может не превосходить все былые максимумы.

Мы говорим об этом не в качестве людей "со стороны", отмежевывающихся от любого стана и от собственного подданства. Нет, мы говорим об этом как граждане СССР, которые не вправе отклонить от себя упрек в том, что и наша страна повинна в недоверии, господствующем в Мире. То, что вину эту не усреднить, так же очевидно, как и то, что от нее никто не свободен. Никто — в этом суть дела. Смелость, адресующая вину лишь историческим мертвецам, смелость задним числом, сама по себе не плоха, но сегодня она даже не то чтобы недостаточна, она опасна: тем, что усыпляет совесть.

Спрашиваешь себя: мог ли бы ты предотвратить вторжение в Чехословакию, мог ли бы помешать вводу советских войск в Афганистан? И можешь ли побудить тех, кто властен, к выводу их оттуда? А если не можешь, то как быть, как жить? И вместе с тем ставишь себя на место человека или нескольких считанных людей, участь которых — принятие решения. Что думали они, каковы были мотивы каждого в момент, когда надо было поднять руку, выказавши этим свое "за" или свое "против" (если были такие, кто против!). И что думают их преемники, и достанет ли им мужества отказа от принятого до них решения, мужества примирения и ухода по собственной воле, руководимой

собственным разумом? Не любопытство требует узнать это, а сознание сопричастности и ответственности. Знаешь: то, что произошло, трудно исправить. Трудно, но должно — мерами разумной, взвешенной (и своевременной!) политики. Ведь не сенсации людям нужны, а мир, покой, уверенность в завтрашнем дне. Не менее и даже более важно — не допустить повторений, опираясь на уроки прошлого, но прошлое учит лишь того, кто хочет учиться у прошлого, кто не боится предать его гласности, кто не останавливается перед публичным признанием и анализом ошибок. Оглашенная, осмысленная ошибка — шаг к доверию. Сегодня, вероятно, самый важный и самый неперемный.

Если убийство в современном Мире шагает изнутри вовне, то таков же маршрут его антагониста — доверия. **Изнутри вовне!**

В качестве граждан СССР мы обращаем внимание всех на серьезность усилий нового советского руководства — изменить и по существу и по форме отношение к странам и народам с несовпадающим общественным и государственным строем, сделав эту перемену отправным пунктом долговременной и конструктивной политики. Если бы это было лишь вынужденное признание действительности, признание неподвластности Мира любой притязающей на монополию идее и воле, то и в таком случае оно было бы много лучше, чем противоположное. Но мы склонны думать, что теперь, в середине 80-х годов, речь идет о большем: о стремлении обрести новый образ Мира и овладеть новым языком межчеловеческих отношений. Разве не признаки, не многочисленные симптомы этого больше, чем все иное, приковали внимание к речам М. С. Горбачева во время его зарубежных поездок, к его заявлениям 1986 года, даже к внешнеполитическому рисунку нового политического курса, отвечающего и неумолимой логике обстоятельств, и (как нам видится) самой натуре советского лидера?! Во всяком случае, было бы непростительной ошибкой истолковывать его действия как притворство или игру, рассчитанную на выигрыш времени для возврата к традиционной политике. Это, вероятно, не значит, что внешнеполитическая практика пришла уже к полному совпадению с внутренним импульсом. Не исключены, возможно, и какие-то возвратные движения — в силу ли непроясненности общего замысла, в силу ли власти, какую призраки былого имеют над душами людей, которые из него вышли (откуда же еще им выйти?), наконец, в силу сопротивления, которое, надо полагать, обладает своими резервами, как и своими корнями в сознании (и в "коллективном бессознательном" также).

Но если чувство ответственности и память о прошлом не позволяют забывать о неисклченности отступлений от взятого курса, то это же чувство и эта же память обязывают к личному вкладу в начавшиеся и обнадеживающие перемены. Роль пассивного наблюдателя теперь недопустима и даже постыдна;

всякий же явный либо тайный расчет на успех, на неудачу политики, пытающейся придать действительную силу ускользающей формуле "мирного сосуществования", — такой расчет является ныне много большим, чем ошибка; много большим по существу и по тем результатам, которые в нынешнем Мире обладают страшным свойством слипаться в один нераздельный ком. И хотя помыслы людей, желающих такой неудачи, весьма далеки друг от друга — одними движет слепота, инерция, предрассудки всемогущества, амбиции отставников от политики, другими — самообманы возврата к светлым истокам на руинах нынешней жизни, третьими — обиды и воспоминания о перенесенной несправедливости, и даже (сплошь и рядом) не воспоминания о ней, а эта самая несправедливость, еще не устраненная и силящаяся удержаться, заново выпустив когти, — не смешивая это отличие в помыслах, что было бы и безнравственно и непрактично, мы берем на себя тяжесть одностороннего утверждения: даже наиболее оправданные из этих помыслов, оправданные в чисто человеческом отношении, сегодня уже, и именно в человеческом отношении, теряют оправдание.

Каждый из нас в большей или меньшей степени прикосновенен к тому явлению умственной, культурной и общественной жизни в СССР, которое получило название диссидентства. Это явление многослойно и многолико. Неодинакова и участь людей, думавших и действовавших в этом русле. У диссидентства есть своя родословная, уходящая в отечественную духовную традицию, самые же близкие его истоки приходятся на Пятидесятые и Шестидесятые годы, на время после смерти Сталина и XX съезда КПСС, — время, которое еще ждет разбора и осмысления его опыта, включающего как взлеты, так и заблуждения, неустранимые сдвиги и упущенные возможности. И то и другое относится к людям широкоизвестным и оставшимся неизвестными. И то и другое составляет наследство или, точнее, одну из составных частей обширного, сложного и противоречивого наследства, переходящего ныне от "разных" отцов к детям, у которых — таков ведь закон жизни — будет свое начало, свой духовный старт. Стоит ли им отказывать в праве на знание и этой части всем принадлежащего наследства, на независимую и самостоятельную оценку ее? Думаем, что это было бы досадным упущением. Но столь же ошибочно было бы и нам застревать на том, что уже позади. И позади не только по календарному счету, но и по особому счету — Времени, меняющего свой ритм и если не отстранившего прежние ценности, то в существенной мере видоизменяющего место их в общем ряду.

Утверждая, что доверие стало средоточием жизни, что, минуя его, не удастся различия и несовпадения, ныне раздирающие Мир, превратить в источник совместности в развитии, много

большей, чем простая совместимость, — утверждая это, разве мы не обязываемся к доверию в своей собственной жизни? Разумеется, не к слепому доверию, не к риторике доверия и тем паче не к притворству, призванному таким способом вернуть себе жизненную нишу. Речь идет о работе доверия. О самодисциплине, без которой трудно, да и просто невозможно, услышать, понять других, непохожих, иначе думающих, иначе чувствующих.

И еще об одном нельзя не сказать в этой связи. Диссидентство не могло остаться безразличным к воздействиям "холодной войны", приливы и отливы которой определяли панораму Мира и преломлялись по-своему в жизни Советского Союза, дополняясь и заостряясь причинами внутреннего свойства. Это воздействие было также разноликим и неоднозначным. Самое тяжкое из последствий — обрыв перемен, начатых с середины 50-х годов, утрата тех зачатков идейной и духовной консолидации на почве перемен, вне которой едва ли возможно понять и эволюцию инакомыслия, и нарастающий конфликт его с государством (из сферы идей стремительно перешедший в сферу административного пресечения со всем тяжким, что отсюда проистекло). Чересчур свежи эти события, чтобы их забыть. Не забыть их надо, а преодолеть, превозмочь совместными усилиями. Провести черту под прошлым ради того, чтобы был завтрашний день. Мы говорим во всеуслышание, что не хотим быть заложниками убийства, делающего ныне заявку на Мир, и в данном отношении также надеемся на понимание со стороны всех, кому равно дороги и собственный дом, и дом-Мир.

У нас нет склонности к мессианству. Мы чересчур хорошо знаем, что за всяким über alles стоят невиданных размеров братские могилы. Но у нас есть вера в то, что стране, в которой мы живем, выпала доля занять место в первом эшелоне людей всех языков, цветов кожи и форм человеческой жизнедеятельности, — эшелоне прорыва вселенской блокады недоверия. Это сегодня главный долг, — долг государства и долг каждого гражданина. Наш долг.

Долг перед соотечественниками. Долг перед всеми страждущими на Земле. Долг пред всеми обеспокоенными гражданами планеты. И долг перед своими друзьями и близкими, людьми одной судьбы, и раньше всего — перед теми из них, кто ждет еще возвращения в нормальную жизнь и призыва к деятельности на равных со всеми основаниях: доверия и ответственности.

18 апреля 1986

ПИСЬМО ГОРБАЧЕВУ

Уважаемый Михаил Сергеевич!

К Вам обращается человек, который вправе сказать, что жизнь его уже позади. В этой жизни были и счастливые университетские годы, и дороги войны, десятилетия, отданные изучению прошлого. Вероятно, кое-чего я достиг, кое-что понял, не исключая собственных заблуждений и ошибок. И хотя историк бывает особенно беспомощен, когда пытается подытожить себя и свое время, привычка мыслить прецедентами сплошь и рядом подводит его, однако у людей моей профессии есть и преимущество: оглядываясь назад, они могут яснее различить происхождение проблем, стоящих в центре современности. А это важно уже не для одних историков. Без этого и корабль политики останется как бы без лоций.

Я пишу Вам после Женевы и накануне XXVII съезда КПСС. Не с целью поучения, это было бы нелепо. И не с просьбой, касающейся меня самого. И тем не менее это — глубоко личное письмо. Оно написано потому, что я не мог не написать его. Мой исходный мотив отнюдь не оригинален. Чувства, двигающие мною, разделяет сейчас множество людей как в нашей стране, так и за ее пределами. В этих чувствах сплелись в один узел тревоги и надежды. Тревоги, естественно, осязаемей, чем надежды. Ибо никогда еще — за десятилетия, отделяющие нас от конца мировой войны, совпавшего с началом атомной эры, — с такой остротой не обнажался источник опасности для всех: то, что нынешним поколениям проще уничтожить друг друга, чем научиться сожительствовать на Земле. Именно — не только сосуществовать, этого уже мало, это уже не спасет, а научиться сожительствовать, взаимно озабочиваясь убережением иных способов человеческой жизнедеятельности, чем тот, о каком законно сказать, что он — свой. Нет сегодня ничего нужнее такой взаимности в различиях. Но нет и ничего труднее, кажется, даже недоступнее. И не этот ли призрак недоступности владеет ныне множеством душ, не им ли питается тот безотчетный страх, который делает миллионы людей заложниками средств всеобщего уничтожения?

Этот страх нельзя упразднить, его можно лишь изжить. Взаимность начинается с этого — и здесь коренится надежда. Внимательный наблюдатель не мог не заметить не только то, что предлагали Вы в Женеве (и позже), но и как говорили об этом, призывая тем самым к смене тона, к изменению "языкового поведения" и другую сторону, точнее: стороны. Да, сами

по себе слова недостаточны, но ведь и дела человеческие не могут прийти в порядок, если не будут найдены и приведены в действие другие — новые — слова.

Мы (я имею в виду людей моего возраста, чье сознательное существование началось еще в 30-е и 40-е годы) привыкли полагать, что историческая инициатива находится в наших руках уже в силу тех непреложных фактов, имя которым — Октябрь 1917 года и победа над фашизмом. Однако опыт, оплаченный утратами, среди которых самые непоправимые — это жертвы жизнями, обязывает к признанию горькой истины: инициативу, которая отвечала бы коренным интересам человечества, можно и потерять в силу ошибок, отступлений и преступлений, которые тем более необратимы, чем больше масштаб, заданный этой же исходной инициативой.

Разумеется, только всесторонний анализ способен обнаружить, насколько неминуемы были катастрофы, пережитые нами в 1930 и в 1941 годах. Но уроки эти, хотя, думаю, и не извлечены до конца, все же не прошли даром. Обозревая послевоенное время начиная с 1953 — 1956 годов, мы вправе заключить, что сохранением мира с тех пор и до сего дня люди обязаны не только равенству опасностей, порожденных новым оружием, но и зарождению нового взгляда на Мир, — взгляда, отвергающего любой вариант планетарной монополии и исключаящего победу даже самой высокой идеи и самого справедливого общественного устройства через катастрофу, а стало быть, ценой человеческих гибелей.

XX съезд КПСС был событием прежде всего для народов СССР и государств, связанных с ним прямыми социальными и военными узами. Но цепная реакция этого события не оставила без воздействия всех на Земле, создав, в частности, важные моральные и политические преграды для реакционных и своекорыстных сил. Такая оценка документируется не только публичными признаниями. Есть еще более веское подтверждение. Именно — Карибский кризис 1962 года. То, что столкновение США и СССР, чреватое войной, было купировано тогда совместными действиями высших государственных руководителей, не может не быть поставлено в связь с переменами, которые с советской стороны олицетворялись в Н. С. Хрущеве. Законно спросить себя: а был бы этот человек способен в тот момент на столь быстрые и непривычные действия, если бы за его спиной не стояли столь же непривычные действия, решительные по сути и по срокам исполнения, — действия внутри страны, вернувшие жизнь тысячам людей, лишенных свободы, и в свою очередь потребовавшие перемен в людях, преодоления (без крови!) консервативного эгоизма, страха ответственности и отставания в политическом мышлении?!

События тридцатилетней давности принадлежат уже прошло-

му. События — да, но не уроки их. А среди этих уроков не последний — неустойчивость тогдашних начал. За эту неустойчивость также заплачено — и материальными потерями, и моральными утратами. Я не стал бы в этом по необходимости кратком письме затрагивать тему, не уходящую из моего сознания, — судьбу самого Хрущева, если бы не ощущал столь остро связь между финалом его бурной деятельности и тем положением, в каком находимся мы ныне. Есть немало охотников осуждать его за проволочки, непоследовательность, неразборчивость в людях. В этих упреках много верного. Но отдают ли себе отчет критики в более глубоких и неличных причинах падения тогдашнего нашего лидера? Его первый шаг был поистине историческим. Но каков должен был быть второй его шаг (или, вернее, сумма шагов, объединенных единым замыслом) — это, пожалуй, мы не вполне знаем даже сегодня. Скороспелые импровизации, которыми он пытался восполнить пробел в идеях преобразования, лишь множили число его противников. Человеку, далекому от центра политической жизни, трудно оценить, какую роль играли при этом внешние мотивы. (В жизни немало случайных совпадений, лишь задним числом воспринимаемых как неизбежность, но и иное известно историку: даже "незапланированные" совпадения способны обрести со временем неумолимый характер, накладывая тем самым печать на все дальнейшее. И разве не такие последствия имело для Мира то, что вскоре после Карибского кризиса с политической арены оказались устраненными руководители обеих ядерных держав, каждый из которых по-своему и в разную меру искал нетривиальные пути к снижению порога международной напряженности?)

Виднее, однако, влияние событий 1962 — 1964 годов на нашу внутреннюю жизнь. Был упущен момент для закрепления политического курса, заявленного XX съездом и подтвержденного XXII-м. Фактически оборвались сами перемены, натолкнувшись на сопротивление — явное и особенно неявное, — рождаемое инерцией и бюрократической процедурой (только "сверху вниз"). Достаточно напомнить в этой связи об участии совнархозов. Не менее, если не более, существен был сдвиг в общественной атмосфере. Конечно, эйфория Шестидесятых годов и сама собой пошла бы на убыль. Но многое, очень многое зависело от того, перельются ли критический пафос и пробужденные надежды, окрылившие целое поколение, в совместную конструктивную работу либо эти чувства и намерения, будучи загнанными в традиционное русло, сменятся равнодушием или начнут пробивать себе боковые, окольные ходы. Произошло, к сожалению, это последнее. Зачатки идейной и духовной консолидации на почве перемен сменились разногласием, которая была бы более или менее естественной, изживаемой в открытой дискуссии и практической деятельности, если бы не возобладала

ли тенденции, породившие раскол во мнениях и противостояние со всеми тяжкими и препутанными следствиями их. Я не стану сейчас утверждать, что при другом ведении дел можно было бы вовсе избежать конфликтов, переходящих из сферы идей в сферу административного пресечения (с очевидными нарушениями законности, каждое из которых порождало новое, круша судьбы и превращая немало поборников преобразования в соперников и даже противников государства). Я не стану утверждать также, что, если бы дела велись иначе, расхождения эти всецело остались бы в пределах нашей страны, не выливаясь в полупринудительную эмиграцию "инакомыслящих", которую своим чередом все более затягивала в себя коллизия "холодной войны". Наверное, вовсе избежать обострения, эксцессов, отрыва от родины не удалось бы. Но нельзя исключить, что все эти явления могли бы быть и меньшими по размерам, и менее мучительными для отдельных людей, а их отрицательная "обратная связь" свелась бы к минимуму.

В убеждении, что теперь пришло время подвести черту под этим прошлым, я обращаюсь к Вам. Сама жизнь потребовала вновь открыть проблемы, искусственно закрытые с конца 60-х и в 70-е годы. Как гражданин и как историк, я выделяю этот момент в усилиях, предпринимаемых новым руководством СССР, в качестве особенно ценного. Конечно, ничто не повторяется точь-в-точь. Время изменило и усложнило сами проблемы; грозно укоротились сроки, отпущенные для перемен. Теперь оставаться в стороне по меньшей мере легкомысленно. Ответственность сегодня не может быть избирательной. С разных сторон нам следует идти к одной цели (столь же внешней, сколько и внутренней) — сохранению жизни на Земле.

Поэтому — я убежден — вернулась и нужда во внутренней консолидации на почве перемен. Вернулась и обновилась. По всему видно, что общественного согласия сейчас достигнуть труднее, чем в 1956 году и сразу после него. У одних свежи еще воспоминания об оборванном начале, о не осуществившихся тогда надеждах, а в жизнь входят поколения, для которых послевоенные десятилетия (да и многое до того) — книга за семью печатями. Приобщение к неурезанной истории становится условием осознанного соучастия. Но прошлое — это не только события, это и люди, и не только мертвые, но и живые. Если требование ответственности адресуется сегодня без изъятия всем, то и доверие должно быть оказано каждому, идущему навстречу переменам. И если скажет кто-то, что, когда счет идет на миллионы, нет необходимости думать о возврате и включении в деятельную жизнь отпавших единиц, отсеченных событиями, какие уже не переиначить, я отвечу на это Вашими словами, которые были обращены к человеку более чем далекому от нас, чужому и чуждому: "Мы смотрели друг другу в глаза". Правда,

этот человек — президент США. От него многое зависит. Но ведь Вы могли и не говорить этих слов. Когда я слушал Вас, я отметил как симпатичного, искренний глубокого смысла, самую тоналность сказанного — искренне и с волнением.

Мне хотелось бы повторить эти слова, обращая их к своим друзьям, близким мне по образу мыслей, и к людям, с которыми я расхожусь во многом, кроме решающего: мы все жители одного Дома, тут начали и здесь кончим свою жизнь. Давайте же посмотрим друг другу в глаза, нет ничего более своевременного!

Доверие, которое мы окажем друг другу, не только окупится сторицей на родине, но и аукнется в Мире, и, вероятно, раньше всего и больше всего в Европе. В истекшем году Вы сделали принципиальный шаг навстречу Европе — думающей и заново ищущей самое себя, шаг к преодолению стойкого недоверия, которое составляет едва ли не основной ресурс противников мировой взаимности. Можно быть абсолютно уверенным, что всякая действительная мера, направленная на согласие внутри нашей страны, во много крат ускорит начатый процесс.

К числу этих мер относится, по моему глубокому убеждению, и пересмотр судеб людей, которые оказались вне общественной жизни или за пределами СССР в силу тех же, по существу, причин, которые породили в прошлые пятнадцать-двадцать лет срывы и отяжки в развитии, тяжелым грузом давящие на день сегодняшний. И точно так же убежден я, что эти будто частные меры укрепят перемены, начатые ныне, и по-своему предохранят их от пароксизмов сопротивления и взрывов неконтролируемых эмоций.

Я прошу извинения, что столь затянул мотивировку призыва и предложений, ради которых я пишу Вам. Призываю же я к следующему:

1. В предельно короткий срок освободить из заключения и ссылки и вернуть в нормальную жизнь советских граждан, осужденных фактически за их взгляды — по статьям 190 и 70 УК РСФСР и соответствующим статьям УК союзных республик. Будет ли это сделано в виде амнистии, что было бы, наверное, легче и скорей или в другой форме, не так важно, как единовременность этого политического шага, его человеческая сторона и его международный резонанс.

2. Одновременно приступить к тщательному анализу соответствия нашего судебного законодательства конституционным принципам, что позволит устранить расплывчатость и двусмысленность тех статей УК, которые в их нынешнем виде содержат лазейку для преследования по мотивам идеологического свойства.

3. Следующим шагом представляется мне государственный акт, разрешающий вернуться на родину всем бывшим советским

гражданам, которые, разделяя почин перемен, начатых в стране, намерены содействовать им. (Я не вхожу здесь в обсуждение более широкого вопроса — о праве каждого гражданина на постоянный или временный выезд из СССР, неотделимом от права возвращения. Можно не сомневаться, что такое двуединое право, утвердись оно у нас — с некоторыми изъятиями, продиктованными соображениями обороны, — весьма оздоровило бы всю обстановку, подвинув в сторону доверия широкие круги, и прежде всего интеллигенцию в Европе и Америке, а нас освободило бы от навязчивой проблемы избирательного выезда, в которой парадоксально переплетаются ныне странные привилегии с комплексом дискриминации и гражданской неполноценности. Но, вероятно, требуется пройти еще солидный отрезок пути, чтобы назревшая потребность превратилась в законодательную норму. Те же меры, о которых говорилось выше, и неотложны, и реализуемы в границах действующего законодательства и текущих политических решений, принимаемых руководством.)

Нет сомнения, что меры эти в случае их осуществления наложат бы серьезные обязательства на тех, кого они коснутся. Я имею в виду не только и даже не столько юридические обязательства, сколько обязательства нравственные и политические. Эти последние видятся мне добровольными акциями, открытыми и публичными, которые (при всем мыслимом разнообразии их) совокупностью своей весомо вошли бы в мировое движение, ставящее своей целью прервать сползание к всеобщей катастрофе. Разумеется, действия эти в свою очередь нуждаются в тщательном продумывании и увязке во времени.

Михаил Сергеевич! Я отдаю себе отчет в препятствиях, на которые, вероятнее всего, натолкнется и с той и с другой стороны принятие названных мер, и как бы наяву слышу голос: "Нельзя уступать". Он не нов, этот голос, и уже принес в прошлом, в том числе в совсем недавнем, немало бед нам. Впрочем, надо сказать — не голос, а голоса, хотя и поразительно схожие. Сегодня они не только помеха взаимному пониманию, они враг ему. И напротив — сегодня нет ничего новее и непредуказанней, чем инициатива в уступках, возрождающих доверие в самом широком человеческом диапазоне. Сегодня компромисс уже не тактика, а много больше и даже иное: искомый образ единства неединого Мира, солидарно освобождающегося от страха и лишений, и действительный путь к нему, если не считать судорог к примирению, когда пробьет без считанных минут двенадцать. Но тогда будет поздно, даже если компьютеры и не дадут команды на взлет ракет.

Мой возраст и трудный опыт жизни позволяют мне призвать Вас, человека, уже завоевавшего на свою сторону многих и многих смелостью перемен, — призвать и к особенной смелости

сти — в уступках, и к высокому мужеству компромисса, равно имеющего в виду как дальних, так и ближних. Прошу Вас воспринять этот призыв как выражение надежды, связываемой с Вами.

Не рассчитывая на личную встречу, я просил бы открыть возможность для дополнительных разъяснений и для содействия предлагаемому в этом письме.

21 февраля 1986

Министерство юстиции СССР

г. Москва,
гр-ну Гефтеру М. Я.

109830, ГСП, Москва
Ж-28, ул. Обуха, 4
17.07.86, № 11-4360

Сообщаю, что Ваше письмо, поступившее из ЦК КПСС, рассмотрено в Министерстве юстиции СССР.

1. Предложение об освобождении из заключения (следовательно, от наказания) всех лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст. 70 и 190 УК РСФСР и соответствующими статьями других союзных республик, по нашему мнению, неприемлемо.

Мы откровенно удивлены Вашим, по существу, утверждением, что эти лица отбывают наказание за свои взгляды (инакомыслие).

Указанные статьи предусматривают ответственность за агитацию или пропаганду, проводимую в целях подрыва или ослабления Советской власти, распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй и т. п.

О каком международном резонансе (по-видимому, положительном) в результате такой акции Вы говорите, нам непонятно. Как историк, Вы, конечно, знаете, что и ранее и сейчас все страны сурово наказывают лиц, проводящих идеологическую подрывную деятельность.

2. На наш взгляд, Ваше утверждение, что некоторые статьи УК двусмысленны и содержат лазейки, позволяющие незаконное привлечение к ответственности, бездоказательно.

3. И наконец, Вы предлагаете подготовить законодательный акт, разрешающий вернуться всем бывшим советским гражданам, "которые, разделяя почин перемен, начатых в стране, намерены содействовать им".

Данный вопрос, на наш взгляд, не требует дополнительного законодательного регулирования, так как вопросы утраты советского гражданства, как и приобретение гражданства СССР полностью урегулированы законодательством, в частности Законом о гражданстве СССР. Этот закон допускает возможность восстановления в советском гражданстве лиц, ранее утративших его, в том числе и лишенных гражданства СССР.

В ст. 19 закона конкретно указывается: "Лицо, утратившее гражданство СССР, может быть по его ходатайству восстановлено в гражданстве СССР решением Президиума Верховного Совета СССР".

*Заместитель начальник Управления
законодательства о государственном
строительстве*

В. Ф. Корягин

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Обращение

Руководствуясь конституционными правами граждан СССР, мы входим в Верховный Совет с предложением: объявить амнистию всех лиц, ранее осужденных по политическим и идеологическим мотивам, — с применением к ним по преимуществу статей 190¹, 70, 142 УК РСФСР (и соответствующих им статей уголовных кодексов союзных республик).

Эта мера давно назрела. Сейчас она стала и осуществимой и не терпящей отсрочек.

Естественный довод в ее пользу — справедливость. Справедливость требует вернуть свободу людям, лишившимся ее за ненасильственные действия, вызванные нравственными побуждениями, заботой о благе и будущем своих соотечественников. Обществу пора воздать должное женщинам и мужчинам, выступившим годы назад с критикой и обличениями тех ошибок, пороков и прямых преступлений, о которых сегодня говорят во всеуслышание, которые ныне караются законом, — воздать им должное самым простым и человеческим способом: без промедления возвратив их к семьям и прерванной профессиональной деятельности.

Вместе с тем, как бы вопреки сказанному, мы предлагаем не отмену приговоров "по вновь открывшимся обстоятельствам" — не реабилитацию образца 1956 года. Мы призываем к амнистии: к акции прощения и доверия.

Нас могут упрекнуть в половинчатости. Что ж, мы действительно искали форму, которая, облегчая быстрое решение вопроса, в то же время явилась бы своего рода залогом неповторения событий недавнего прошлого с их памятными исходами.

Мы отдаем себе отчет в том, что люди, о которых речь, — разные люди. Различаются они между собой и взглядами и поступками. Не будь они лишены свободы, мы о многом с ними, вероятно, поспорили бы. Не исключено, что, поспоривши, и разошлись бы, если бы ощутили в таком споре то, что считаем для себя неприемлемым, и прежде всего то, что таит в себе опасность духовного междуусобия, вред отчуждения неугодных — не той крови, не той веры, не того стана людей. Но разве лагерь — надежный способ предотвращения разлада в обществе, разве тюремная решетка — защита от идейной нетерпимости? Наоборот.

Весь опыт истории свидетельствует: отказ от гласной дискуссии, от испытания взглядов в открытом споре и в ходе конструктивной работы, к активному и суверенному участию в которой допущены все, тормозит и уродует общее развитие, тем умножая и частные коллизии, изломанные судьбы, "лишних людей". Бюрократическая глухота к проблемам, равно как и к мотивам людей, пытающихся их разрешить, — оборотная сторона неуверенности, и именно той неуверенности, которая норовит прибегать к силе за отсутствием других аргументов. Нам хочется думать, что эти повадки неуверенных — уже вчерашний день у нас и что назад ходу нет.

Пришел час — в самую гущу жизни ввести принцип: всякое несогласие в нашем доме может и должно примиряться дома. Перестанем отбрасывать обеспокоенных и оспаривающих, признаем: они не только наши сограждане, они наш общий ресурс. Этот принцип доверия, принцип компромисса, обладая правовыми достоинствами, сулит не меньшие преимущества делового свойства. Но он сугубо своевременен и в наиболее широком смысле, поистине объемлющем Мир.

Сегодня уже никто в отдельности, ни одна держава, ни один народ не способны отвести от Земли угрозу прекращения жизни. Раскол человечества с нарастающей силой обнаруживает скрытую в нем гибель. 1986 год — явственно пороговый. Языком внезапных катастроф, конвульсий ненависти и террора, стартовых усилий военного и технологического соперничества, питаемого бредом превосходства "навсегда", этот уходящий год предупреждает, что ситуация в целом выходит из-под контроля разума и совести.

Положение, однако, небезвыходно. Есть проблески пробуждения. Но надо выиграть время. Без этого не удастся даже приступить к строительству Мира, основанного на взаимности жизнетворящих различий, — того ненасильственного мира, который возвестила Делийская декларация 27 ноября 1986 года. Все страны, сообщества и отдельные люди обязаны сделать сегодня больше, чем когда-либо, и прежде всего перешагнуть через страх и подозрения, доставшиеся в наследство от прошлого. Только мужеству и риску доверия дано взять верх над риском неизмеримо более опасным — попытками спастись в одиночку.

Мы поддерживаем действия нового советского руководства, направленные на поиски компромисса в международных делах и преодоление таким образом нынешнего противостояния государств и миров. И потому, что мы кровно заинтересованы в успехе этих начинаний, мы призываем, не теряя ни дня, подкрепить их доверием дома. Усилить их добровольным движением навстречу друг другу.

По нашему глубокому убеждению, амнистия, с предложени-

ем которой мы обращаемся к Верховному Совету СССР, отвечает высшим интересам момента. Мы призываем осуществить ее именно как акцию доверия, то есть без каких-либо изъятий и скрытых ограничений, осуществить по собственной инициативе нашего государства, не разменивая ее на частичные процедуры выпуска отдельных людей под давлением обстоятельств.

Мы просим еще до принятия общего решения незамедлительно вернуть свободу женщинам, находящимся в лагере или в ссылке.

Мы обращаем особое внимание на важность того, чтобы все люди, освобождаемые по амнистии, приобрели сразу же полностью гражданских прав и проистекающих отсюда обязанностей, благодаря чему они сумели бы включиться в деятельность, наиболее отвечающую их знаниям и жизненному опыту.

Мы также просим Верховный Совет дать поручение правовым ведомствам и ученым-юристам: подвергнуть тщательному анализу практику применения всех тех статей Уголовного кодекса, которые благодаря расплывчатости и недостаточности своего содержания давали возможность при разборе дел так называемых диссидентов употреблять эти статьи расширительно и произвольно. Будучи логическим следствием амнистии, такая работа, думается нам, внесет свой вклад в общее дело приведения нашего судебного законодательства в соответствие с конституционными принципами и с начавшимися теперь в стране переменаами в сторону действенной демократизации.

Мы верим, что это обращение не останется без ответа и понимания.

*Гефтер Михаил Яковлевич,
кандидат исторических наук,
инвалид Отечественной войны*

*Буртин Юрий Григорьевич,
член Союза писателей СССР*

*Чаликова Виктория Атомовна,
кандидат философских наук,
член КПСС*

6 декабря 1986

ПИСЬМО ГОРБАЧЕВУ

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Я счел себя вправе ознакомить Вас с текстом Обращения в Верховный Совет СССР, одним из авторов которого я являюсь.

С моей стороны это вторая попытка привлечь Ваше внимание к вопросу, поднятому в Обращении. Письмо, направленное мною на Ваше имя 21 февраля с. г., до Вас, судя по всему, не дошло; копию его вместе с копией ответа Министерства юстиции я прилагаю к этому письму.

Поверьте, не простое желание быть выслушанным побуждает меня вернуться к той же теме. Она — неотложна, и все более очевидно, что решить проблему руководство страны может, лишь исходя из соображений, простирающихся дальше привычных взглядов и укоренившихся процедур.

Не стану повторять доводы в пользу освобождения политических заключенных. К тому, что уже говорилось, добавляю всего один аргумент, существенный для меня как человека и как историка. Впрочем, это тот же аргумент, которым укреплял я себя, когда писал Вам впервые. Этот аргумент — Вы, Михаил Сергеевич, лично Вы.

Сегодня я спрашиваю себя: сами ли Вы, из безразличия или по каким-то текущим соображениям, отклоняете необходимость и срочность амнистии либо Вы бессильны (пока?) вернуть свободу людям, о которых речь? Не скрою, многое в моих суждениях изменится от того или иного ответа. Многое, но не все. И даже не главное.

Ибо если причина — бессилие, то оно едва ли менее тревожно и нравственно уязвимо, чем безразличие. И корни у них общие, и уж больно глубокие, до неразличимости глубокие эти корни. И наш сюжет, если позволительно назвать так судьбы людей, изъяты из нормальной жизни из-за того, что иначе, чем те, кто их изъял отсюда, судят о том, какой может и должна быть наша жизнь, — сюжет этот, он не только не частный, он и не местный. В самом деле: разве бессилие в паре с безразличием не грозят ныне самому бытию человека?

... Рукой подать от последних дней февраля 1986-го к его же декабрю, а событий, тревог, обманутых надежд — сколько их! День вычеркнешь из памяти — в общей картине провал. Но есть две точки, прямо вводящие в суть целого: Чернобыль, Рейкьявик.

Трудно разглядеть, что без первого не было бы второго.

Трудно, но это так. И если даже скажут: это для вас так, в России, в Советском Союзе, — не станем отвергать. Поскольку для нас — в данном, поистине решающем отношении — значит, для всех. Без изъятия всех на Земле. Чтобы не оставалось это риторикой, разрешите уточнить.

Чернобыль — трагедия наша и наша вина. Есть, конечно, персональные виновники, подлежащие наказанию. Но кто накажет в с е х н а с — сопричастных к вырвавшейся наружу радиации? Расхожий толк: вот, мол, к чему ведут расхлябанность и показуха, внесенные в обыденную жизнь вирусом безответственности, каковой границ не признает, — разит повсюду. Но следует все же отделить происхождение болезни от ее эпидемического натиска.

В истоках чернобыльской безответственности — недоверие: то самое недоверие-принцип, недоверие — политическое кредо, навык и нрав, что завещаны Сталиным, который также не одиночка злодей.

Споткнулись мы еще на перевале от гражданской войны к г р а ж д а н с к о м у м и р у (идея и само слово рабочего-коммуниста Гавриила Мясникова, поддержанные в 1921-м Лениным, не сумевшим, однако, либо не захотевшим оградить пермского вожака от преследований, к которым приложили тогда руку разные из соратников, не исключая ведь и Николая Ивановича Бухарина...).

Споткнулись сообща — и не поднялись. Не справились. Принося в жертву немногих прозревших, всего лишь несогласных и просто лояльных, — сделали возможным невозможное, когда зачинатель и эпигон, энтузиаст и скептик, землелашец и функционер и просто всякий мог стать и становился жертвой абсурда, который, впрочем, умел и выворачиваться и выгодно отоварить себя... Так не кажется ли Вам, что и Чернобыль у нас уже был — давно и не однажды?

”Нарушения социалистической законности”, правда, осуждены. А к г р а ж д а н с к о м у м и р у — пришли? Не видно. Нет, он все еще предстоит стране — неперемнным условием душевного оздоровления, да и дисциплины также, залогом служебной ревностности и социальной правды. И — ничем не заменимым условием доверия к нам других: непохожих, тех, кто близко, и тех, кто много дальше.

Говорю об этом не для того, чтобы тревожить исторических мертвецов и укорять современников. Да и кого укорять: самого себя? Проблеск надежды верней всего там, где не притронешься от застарелой боли. Без такого — откуда бы взяться Вашему Рейкьявику, развязка которого проторила в свою очередь Ваш путь в Дели. От последнего ли Чернобыля шли и пришли туда либо и Двадцатые, и Тридцатые, и Сороковые с последующим неслышно свое слово сказали?

Вам теперь, вероятно, не приходится заполнять анкету. Она как бы исчерпалась постом, выше которого у нас нет. Но кроме анкет и биографий, для изучающих и голосующих есть еще память, а она не то чтобы раз и навсегда; она в единоборстве с беспамятством: вне человека и внутри его, — угадаешь ли заранее, что возьмет верх?.. В детстве Вы собственными глазами видели убийство, шагающее по родной земле. Ваша юность пришлась на время, когда свергались монументы и возвращались выжившие, чьи имена были под запретом. Странное, непредвиденное, славное время, но какое же короткое, непрочное, само себя остановившее и повернувшее вспять — к распрям, дававшим пищу для расправ, которые, как прояснилось ныне, сеяли вместе с будто добродушным цинизмом и весьма прагматизированную и вовсе не добродушную вседозволенность: сверху вниз. И опять и снова — факты и имена под запретом и вновь изломанные жизни...

Вспоминали ли Вы об этом, когда подписывали, вместе с Радживом Ганди, декларацию со словами отказа "от стереотипов мышления категориями врага в отношении других стран и народов"?

А в отношении своего собственного народа, наших народов?

Подразумевается — подавно так. Ведь о народе речь, а не об отдельных лицах, среди которых находятся и такие, кто, в силу ли пережитков капитализма, а то и собственной неполноценности, портит общую картину, оказываясь, прямо или окольно, в услужении у тех, кому лучше, кому доходнее, чтобы нам — России, СССР — не верили и не доверяли. А недоверие сегодня — не дипломатические ноты, не отъезд послов, не "письма Зиновьева" в обновленных вариантах. Нет, теперь это "Першинги" и крылатые ракеты, атомные подлодки с боекомплексом, достаточным для ликвидации Англии или Чехословакии...

Как быть? Проще простого: договориться б несогласным с государством про то, как им жить и действовать — врозь, но в согласии, дабы не помешать главному, *рейкьявикскому делу*. Но знаю: к истинно простому путь через сложное; не нами это открыто, но к нам пришло заново. Ведь и Рейкьявик-то запылся на пороге великой простоты. Еще бы миг — и люди вошли бы в мир. Что ж задержало?

Думаю, не одна корысть; да и были там двое — Рейган и Вы. И не очень сложно устроенный президент отшатнулся от простоты открывшегося на миг Мира, — Мира, который, потерявши ядерный каркас, остался бы начинен страхами, угрозой отовсюду (и в первую голову, чего греха таить, угрозой для тех, кому есть что терять).

А нам эта простота вовсе не опасна? А Вы, Михаил Сергеевич, разве не дрогнули Вы в этот драматический миг?

Не берусь читать в душах, хотя много бы дал, чтобы услы-

шать из Ваших уст рассказ — и не о том лишь, что произошло в исландской столице, а еще и о том, что пережили Вы там. Очень бы это приблизило Вас к соотечественникам. (Застрявшее в памяти навсегда: наш эшелон, движущийся к фронту, и в радиопорупоре на сгоревшей станции: "Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои". Много простилось в этот день. Так это Сталин — непоправимый, неизменно возвращавшийся и нас с собою возвращавший на круги своя...)

Но я все-таки не об этом. Я — о несбывшейся простоте Рейкьявика. И о Вас там. Вас проверяю собой — какой еще способ доступен? Не скрою: я бы тоже дрогнул. Дрогнул, вспомнив, кто у меня за спиной. Дрогнул бы от ответственности за то, что именуют по-прежнему безопасностью своего отечества. Дрогнул бы, даже зная (в соответствии со сценарием "ядерной зимы", обчитанным и выверенным специалистами, здесь и у них): атомное оружие неприменяемо, оно неприменимо вообще, даже в узких, избирательных пределах, так что его, по сути, и нет больше, хотя оно на старте и наведено на цель.

Дрогнул бы от неизвестности. Убежденному, что нет сейчас ничего насущней доверия, — доверия превыше всего, даже такого, которое назовут безотчетным, — как перевести ему сие на язык политики? Дабы на этом языке произнести: в след за односторонним мораторием — одностороннее разоружение!

... Все нынешние проблемы и напасти — не из одного источника. Но целое — то, что образуется из добытого повсюду и из повсюду же утрачиваемого, из неумолимостей и случайностей разной прописки, — такое целое уже не раздробить. Оно — всех и никого в отдельности. То, что всем принадлежит, обычно внушает надежду (исключение — крайние пессимисты). А вот то, что оно ничье в отдельности, — с этим как примириться? Как примириться тем, кто привык первенствовать, и тем, кто вместе с независимостью обрел право (и волю) предъявить заявку на Мир? Перед этим пасует мысль. Каково же тому, кто должен принимать решения, к этому призван, для того и существует?

Когда-то Макьявелли написал книгу "Государь". Обращенная к одному лицу и несвободная от средневекового авторитаризма, она готовила нацию, предвещала новоевропейское гражданское общество. Дерзну предположить: современное сочинение о Лидере имело бы прямое отношение к человечеству. К искомому человечеству. Уже не к тому, какое хотели видеть единым в единственном же, идеальном виде (все "местное" — лишь вариант!) духовные вожди прошлого, да и нашего, века. Но и не к многоликому человечеству, управляемому и охраняемому от самого себя всемирным правительством. (Вам не кажется пресловутая СОИ переводом этой мечты старого гуманиста на диалект маньяков контроля, которым видится подслед-

ственность всякого квадрата Земли лазерному лучу, заменяющему правителя-мудреца?)

Не так и не этак. Не всесветное общежитие и не всесветное подданство. Из двух "не", однако, не сложить фундамента Мира без насилия, Мира жизнетворящих различий, Мира, которому еще прийти на смену ядерному, ракетному, изобильному и голодному Миру конца XX века. Чтобы только начать строить другой, чтобы только приступить к началу, нужно время, и немалое. А времени, нужного для действий, способных удержать от катастрофы тот Мир, что есть, — этого времени, как видим, в обрез. Вот оно — минное поле: поприще Лидера.

Он, само собой, реальный политик. Но реальный в меру того, что знает (и обязан знать!), чего делать нельзя. Это во-первых, и лишь затем уже — что можно и должно делать. Он, разумеется, лидер своей страны. Но знает (и обязан знать!), что не свои отныне и вовек не чужие. И еще. Он знает (и обязан знать!), что не суверен он сам по себе, не калиф на час, но и не слуга кого бы то ни было, включая собственный народ, и тем паче не прислужник его.

Однако вернемся домой. Поговорим о своем сегодняшнем дне. О своих хозяйственных нуждах, для которых военные расходы — чистый разор. О своей потребности — с головой уйти в запущенные дома дела. И о тоске по моральному первенству... Кто мы — Миру 80-х годов? Не станем лукавить, отметим как очевидное: для большинства людей на Земле Вы не столько миротворец, сколько "человек у кнопки". Один из пяти (сегодня — из пяти, а завтра?). И еще теснее: один из двух. Это, спору нет, та сторона мировой ситуации, что делает ее всю, в целом невыносимой для людей, и оттого будущее в огромной степени основано на надежде ослабить подобную зависимость.

Но раз она есть, нелепо ее не замечать либо недооценивать. Скажу рискованней — не станем торопиться с ее устранением. Признаем: в нашем отечестве, при наших обстоятельствах роль лидера страны достигла — именно сейчас, к 1986 году, — предельной точки. И столь же предельной стала зависимость лидера от себя.

От самого себя — в этом суть.

...Пока я обдумывал это письмо Вам, начинал и не мог кончить, все переписывал его, доискиваясь точного и по необходимости краткого слова, стряслось несчастье. Погиб человек. Близкий мне и не только мне; смею думать — всем, не исключая Вас.

Не Вашей судьбы человек и все-таки кровный Вам — истоками, началами той почвы, которая роднит разные злаки, и для того именно разные, что врозь им не выжить и лишь в совокупности они способны прокормить человека.

Погиб Анатолий Тихонович Марченко, крестьянский сын, один из достойнейших людей века. Чистый, прямой человек. Мало того: человек, сотворивший самого себя. Таких людей не так уж много, и это еще не все, что о нем следует сказать. Ведь выстраивают себя и на свой манер тоже разные люди — ученые, умельцы, артисты, одинокие мыслители. Анатолий Марченко принадлежал к тем из этих людей, кто думал и жил для других, не поступаясь собою.

Я подчеркнул последнее, поскольку знаю: нет ничего труднее этого и нет ничего важнее. Так оно было и раньше, но наш век предъявил повышенный спрос на подобных людей. И прежде они наиболее глубокий след оставляли в потомстве, а при жизни их чаще всего не слышали, а если и слушали и даже следовали за ними, то исподволь обрекали на одиночество, — одиночество в славе и одиночество в гибели. Наш век и в этом отношении особенно изощрен, особенно искусен в прославлениях вслед гибели, как и в мучениях, которые он щедро раздает по дороге к ней. Но, даже перелистывая тяжкие страницы своего века, застываешь перед только что оборвавшейся жизнью...

Не сомневаюсь, что, если бы запросили Вы о нем соответствующие инстанции, они доложили бы совсем другое; представляю себе и то бойкое перо, которое, попади в нему мой текст, тут же — откликаясь на "почву и злаки" — поспешит напомнить о "сорняках". Но я не вычеркиваю тех строк. Я настаиваю на них.

Я не могу сейчас ни передать Вам мои знания об этом человеке, ни обосновать свое понимание его. Согласно прописям нашего времени, он — "диссидент". Но потому и опасно жить по прописям, что они и жизни, как видите, укорачивают, и каждую личность норовят втолкнуть в ей уготованный отсек. Отсек для Марченко: *инакомыслящий*, а раз *и н а к о*, стало быть, не наш, а раз не наш, стало быть — "их" и дома — чужой, ежели только не смирится, от самого себя не откажется. Может, в том и задумка была, чтобы выбор предъявить: хочешь обратно к живым, к теплым, к любящим тебя, стань для того (и до того!) лишним, навсегда ненужным остальным — всем?

А упорствующий разве не сам избрал себе эту участь?

В порядке полемики прошлых лет я ответил бы: чтобы действительно, не напоказ быть *инако-мыслящим*, надо сперва стать мыслящим, научиться мыслить. Мог бы пустить в ход и более современный аргумент, сославшись на Вас, на Ваш призыв к "новому мышлению". В самом деле, если дню нынешнему, глядящему в завтра, нужно, и позарез, *новое мышление*, то, значит, и старое еще держится — и не на пустом же месте оно, не только что завелось, коли не уходит, не сдается и даже знать не хочет про то, что оно "старое"...

Но и этот аргумент я не пушу сегодня в ход. Перед лицом

смерти потребны другие слова. Их чудовищно трудно найти. Но их надо искать. Искать врозь и сообща.

И так же — врозь и сообща — оглянуться назад, на ту долгую полосу нашей жизни, которую и изжить пора, и изжить не удается, ибо изжить, по смыслу своему, — не отменить, а освободиться, заново открыв (и приняв!) это общее прошлое, а как открыть, когда дверь на замке? Полуправда, говорите Вы, хуже лжи. Верные слова. Но лишь тогда верные, когда их применяют не выборочно, тем паче адресуясь только к "тем". Верность их уясняется раньше всего в собственном доме, и то не в один присест; правда всех требует согласия всех, а его не добудешь, пока "полуправды" о прошлом не оспорят друг друга гласно и неестественно.

Еще один (или все тот же?) камень преткновения. Мой, поскольку и я носитель одной из "полуправд", годами ищущий дорогу к полной. Но разве он только мой, этот камень? В ушибах сегодня даже те, кому привычно — вчера славить, сегодня хулить, вчера помалкивать, сегодня мчаться впереди прогресса, боясь остаться незамеченным. Не отрицаю: всякий говорящий дельно и впадет в эпоху перемен. Но ведь кто-то говорил и тогда, когда другие молчали...

Они были вовсе не на одно лицо: кто чище помыслами, кто ближе к честлюбию, а кто и с расчетом предварить шумной известностью дома — жизнь вне его. И качество мысли, как везде, было неодинаковым. И общие нам, в нашей жизни кочующие полюсы отталкивания не своих и присоединения к не своему кочевали и тут, в этой среде. Но лицо отечественного инакомыслия 60—70-х годов нынешнего века определяли люди, которые и в заблуждениях своих служили истине. Ей одной.

Два имени рядом — Андрей Дмитриевич Сахаров и Анатолий Тихонович Марченко. Академик и самоучка. Человек, который своей жизнью инакомыслящего, правозащитника, поборника согласия государств и народов избывает свое нравственное страдание, боль от того, что делал раньше и что не мог не сделать и по зову совести делал, когда создавал для своего отечества орудие всесветного уничтожения. И другой человек, который с той поры, как покинул отчий дом, ищет правду в человеческих отношениях и, столкнувшись со злом в его самых злых, разрешенных проявлениях, стал искать выход, изучая зло, уясняя себе и другим его родословную, его живучесть, его приспособляемость, как и беспомощность людей перед лицом этого тайного зла, которое и сохранить можно лишь в тайне, опираясь на молчаливый сговор неисправимо равнодушных с равнодушными по инерции.

Прочитавши написанное, я заметил, что говорю об А. Т. Марченко в настоящем времени. Но ведь это же верно. И оттого верно, что сознание еще не свыклось с его уходом навсегда.

И оттого, что нет этого ухода, нет этого "навсегда". А есть лишь перемещение во времени: вступление в ряд, где все близкие нам, разные близкие, все, чьи голоса не смолкли после смерти, но стали явственней...

И далекое прошлое, и даже самое недавнее не содержит ныне никакой подсказки — кроме одного пункта, решающего. Этот пункт — человек. И былое — его, и беспрецедентность происходящего также его. И камень преткновения тоже он сам. Так какой же иной может быть выход из современного тупика, кроме того, который в нем и нигде больше?

"Человеческий фактор" — Ваше любимое выражение. Оно испытывается в эти дни жизнью, испытывается на разрыв; могут и разорвать, Михаил Сергеевич, превратив в клочья розовой бумаги. Сопротивление лицемерным содействием — вот что Вам угрожает. Какой от него заслон — кары лицемерам, изгнание неповоротливых? Маловато, да и то ли средство страх и персональные пенсии?.. Много действенней, конечно, призвание свежих голов и рук. Но и обновление номенклатуры, видно, недостаточная защита от оборотней вчерашнего дня.

Призовите на подмогу неизвестных — из глубины отечества, тех, кто там и останется, даже будучи призванным. Но отыскать ли их, не расслышав, а как расслышать, если голоса еле доносятся сквозь хоры славящих и травящих (да и травящих, у которых сегодня на заметке не одни лишь стрелочки Семидесятых, но порой и честные, трезвые консерваторы, к кому грех не прислушаться в прологе перестройки...).

Однако есть еще незримые поводыри и помощники — наши мертвые, живые мертвые. Они не подведут Вас. Посоветуйтесь с ними один на один. У них добрые мысли, нестареющие остережения. "Переходные эпохи очень тяжелы, односторонние проявления истины очень мудрены, но полная истина вовсе не такова: самые слабые имеют довольно сил, чтобы обнять ее, когда она наконец открыта".

Это — Николай Гаврилович Чернышевский. 1860 год. Уже заявлено освобождение крестьян, и бой шел вокруг условий, бой с участием немногих. Стороны считали мужичьи деньги: кто сообразуясь с карманом и саном, а кто ради самого мужика, чтобы не разорить его, чтобы сумел развернуться новым хозяином — общинным ли, единоличным ли. Считая деньги, проникали в будущее — свое, России, Мира, — и снова разница: кто от своего — к Миру, а кто в обратном движении. Но никто из них, противоборствующих и соперничающих, не мог обойти важнейшую из переменных — власть. Даже если против нее, все-таки не без нее. Метафизика и ближний расчет сошлись вплотную. От вхожего во дворец Николая Милютина ниточка протянулась к либералу Кавелину, а там — к эмигранту Герцену, чтобы вернуться в Россию увещеваниями царя, обличениями домашних плантаторов, словами, ободряющими молодую смену. Черны-

шевский оппонировал Герцену, на свой лад пестовал юных и также пробивал ход "наверх"... Все, в сущности, потерпели поражение — а Россия освободилась, хотя в конечном счете только упразднил с крепостным рабством и деление на черную и белую кость. "Мудреные" искания одиночек затонули в учебниках, "полная" же истина не далась никому — ни тогда, ни впредь; да разве способна она стать и остаться достоянием кого-то одного, тем паче такого, кто не готов, кто не желает внимать с а м ы м с л а б ы м, сбрасывая их со счетов — в котлован, в лагерь, в кровавую мясорубку неподготовленной схватки с настоящим врагом...

Да, времена теперь не постникаевские — и все-таки уже и не послесталинские. Они — просто другие. Иные дела, иные люди "внизу" и "наверху". Ныне и в переменах нужна большая осторожность (не детонировать бы Мир) вкупе с крайним риском превентивного доверия. Повторюсь: порочный круг мировой ситуации могут разорвать солидарно только все государства и народы, однако потому он и порочный, что нужны для этого все, а все не могут ни собраться вместе, ни сговориться. Логикой или абсурдом времени (что совсем близко и в самом жизнеположенном смысле рядом...) решение, касающееся бытия, бытия как такового, поднимается с основания человеческой пирамиды к вершине, к острию, на котором трудно уместиться и д в у м. Уместиться и удержаться.

Быть столкнутыми в бездну либо самому, собственной оцепенелостью или неловким отшатыванием сорваться вниз — как будто разницы нет. Телесной — да. Духовное же различие огромно. Миру противопоставлено самоубийство, следовательно, оно запрещено и лидеру. Его удел, его нравственный долг перед верящими ему — удержаться на вершине... Банальный вроде оборот речи "быть на высоте положения" обрел сегодня пронзительный смысл — к каждому обращенный, а ими совокупно — к одному. По-человечески это не очень справедливо. Ведь и тот, кто на вершине, — слабый человек, и даже более уязвимый, чем все мы, длящие свою жизнь, не ведая, что она может обрушиться в одночасье, подобное чернобыльскому.

Что же, и это — черта времени, непохожего на все, что было до него. Слабые требуют от слабого, ставшего их лидером, чтобы он набрал силы, решительно отличной от той, которую привычно отождествляют со словом "политика". Слабые чувствуют, что им не стать заново сильными: способными распорядиться жизнью и судьбой, если этого не сумеет сделать лидер в отношении самого себя. (Память тут же подсказывает: 68-й. И если верно, что трагические августовские события были предрешиены в Политбюро большинством лишь в один голос, — есть от чего содрогнуться, помышляя о будущем, когда для ответственных ходов не будет и часа!)

...Итак, вместо современного порочного круга — первозданная круговая порука. Один отвечает за всех. Но и все отвечают за то, чтобы один, оставаясь одним, не только действиями своими, но и своим внутренним миром соответствовал Миру, которого еще нет, но которому быть, если только сохранится человек.

Как жаль, что Вам уже не удастся поговорить об этом, как и обо всем другом, с Анатолием Тихоновичем Марченко. Мне хочется думать, что Вы бы многое извлекли из встречи с ним. Велико расстояние между Барабинской степью, где началась его жизнь, и Ставрополем, но наибольшая дистанция — биографии. К счастью, Вас не били до утраты сознания в лагере строгого режима. Но если бы Вы услышали об этом из первых уст, о чем подумали бы? И что сказали бы, узнав из сводки важнейших событий — августовской, сентябрьской, октябрьской, ноябрьской сводки (подают же Вам такие), — узнав о том, что в Чистопольской тюрьме голодает арестант Марченко, надеясь таким способом добыть свободу всем, кого именуют политическими заключенными?

Сейчас, когда его нет, почему бы Вам, Михаил Сергеевич, не поделиться мыслями о случившемся с миллионами телезрителей? Я знаю: это нереалистично. Сегодня так, а завтра? Неужели не будет такого завтра — п р и В а с?

Говоря это, я имею в виду не только Ваш возраст и Ваш пост. Вы — соавтор Делийской декларации. И этот документ — Ваше личное обязательство: отныне и до конца Вашей жизни.

Так исполните его, Михаил Сергеевич, чего бы это Вам ни стоило. И начните с того, без чего не стронется у нас ничто другое, когда счет пойдет уже на миллионы и миллионы новых существований. Начните с политической амнистии, с возвращения соотечественников к деятельной жизни.

Своим друзьям, когда они сомневаются в том, что Вы хотите этого или что такое может Вам удастся, я говорю: в пределах времени, отпущенного мне на дожитие, Вы — мой шанс. Не исключено, что последний.

Думал бы я не так, не писал бы Вам, зная к тому же, что этому затянувшемуся посланию предстоит пройти через аппаратный фильтр. В самом деле — не читать же Вам все подряд? Однако ответа подобного тому, который в марте с. г. пришел ко мне из недр Министерства юстиции, прошу первочитающих не присылать. Мне больше скажет молчание.

15 декабря 1986

Михаил Сергеевич!

Из-за болезни я задержался с отправкой уже написанного Вам письма. А тем временем произошло еще событие. Объявлено о возвращении в Москву Андрея Дмитриевича Сахарова.

Событие радостное, как всякое восстановление справедливости — и больше, чем всякое. Столь велико значение этого человека для нас всех. И слишком велико значение того, что в этом — пороговом году — предпринимает руководство страны, предпринимаете лично Вы.

Парадоксальным образом действие это — из тех, что давно надобно было совершить, — воспринимается ныне из ряда вон выходящим, таким событием, которому дано оттеснить на задний план другие факты, иные события.

Что ж, было бы дело сделано, а парадоксам как не быть в сегодняшнем Мире, которому и на пороге страшно задерживаться, и еще страшнее переступить через него. В данном случае Вы решились переступить наш, домашний порог. Честь Вам и слава.

Но не хочу скрывать — благодарность застревает в горле при мысли, что радостному предшествовало ужасное. Догадка мучит: гибель Анатолия Тихоновича Марченко облегчила и ускорила акцию, возвратившую в неестественные условия, в деятельную жизнь А. Д. Сахарова.

И в самом деле, то — последняя капля? Если да, пусть поистине будет последней. Той каплей, которая сделает возможной полную и немедленную амнистию всех политических заключенных, без чего нет нам доступа к действительной демократизации и оздоровлению всей нашей жизни, публичной и частной.

Михаил Сергеевич! Не покривим душой, признаем: Вы (и мы с Вами) взяли не самую высокую, не самую трудную высоту. "Семитысячники" еще ждут нас и Вас. Не сорвитесь. Но и не застряньте в пути. Помогите ускорить шаг всем привыкшим идти только в ногу.

И пусть мысль о судьбе Анатолия Тихоновича Марченко придаст Вам и всем в нашем доме мужество доверия. Высшее мужество конца Двадцатого века.

С уважением *М. Гефтер*

21 декабря 1986

СПОР ИЛИ ПОТАСОВКА?

В "Московских новостях" опубликовано письмо четырех профессоров, занимающихся преподаванием истории КПСС в московских вузах, включая университет. Профессора негодуют. Они жаждут если не крови (такое вслух не произнесешь), то по меньшей мере пресекающего начальственного вмешательства. Причина в самом деле из ряда вон. Их коллега, Ю. Н. Афанасьев, также профессор, хотя и несколько иного профиля, дерзнул на страницах этой же газеты призвать к "пересмотру исторического пути советского народа за 70 лет". Правда, только "по существу" (профессоров цитирую) призвал, но все же впору кричать "караул!".

Я не собираюсь полемизировать с ревнителями канона и защищать от них ректора Московского историко-архивного института. Он из тех людей, кто в силах за себя постоять. Побольше бы таких, и не только тогда, когда разрешено быть смелым. Чувство же, которое я, тоже прикосновенный к исторической науке, испытал, прочитав иск четырех и ответную реплику Юрия Афанасьева, было где-то на грани сна и пробуждения. Снилось что-то из давнего, у которого свой календарь, но во сне нарушенный, со сбитым ходом, прессирующим в один жуткий миг былые стычки, вычерки слов и людей, падения и унижения. Проснуться бы, сказав: слава богу, лишь сон, окончился — и видений нет, ушли бесповоротно...

Нет, не ушли. Хоть и не живые, а живут. И не поймешь — замшелый ли остаток они, повсюдно копошащиеся "вечно вчерашние", или нечто неотменяемое и даже соответствующее соответствующим законам диалектики, и как в нашем случае — с крепким корешком, с неистраченной способностью к размножению и даже перелицовке, то, может, стоит сохранить им право голоса? Либо — окончательный, без обжалования, приговор к забыванию (на "мусорную свалку истории", выражаясь их же языком)?

Вопрос, не скрою, продиктован не заботой о том, чтобы в начинающейся потасовке не оказались помятыми бока обозначенных профессоров и их единомышленников. До этого, пожалуй, дело не дойдет, на то милиция у нас существует. Не те бока, а сама потасовка меня смущает. Она — не анахронизм ли? Не помеха ли спору, который все откладывается (десятилетия уже!)

и никак не обретет истинную свою меру — меру откровенности, серьезности, исследовательского рвения и гражданской ответственности?

Согласитесь, Юрий Николаевич, предмет-то искомого спора Ваши изболочители назвали точнее, пожалуй, чем Вы в своих прогремевших выступлениях. *Пересмотр исторического пути*, и не за последние десять, пятнадцать, двадцать лет, а *за все семьдесят*, — разве не о том речь? А если не о том, тогда, собственно, о чем? Что другое в фокусе у человека, размышляющего о прошлом, не без надежды оказаться полезным людям, которым жить в веке XXI?

Охранники "от истории" уверены, разумеется, что достаточно произнести выделенные курсивом слова, как инакодумающие сразу же съезжаются, поблекнут, заюлят, забормочут что-то привычное о "зигзагах" и станут клятвенно заверять, что у них и в мыслях не было усомниться в том, что путь наш как открылся в 1917-м, так с тех пор и не закрывался; что неизменен главным своим смыслом, ибо если допустить только, что отступили мы от этого смысла либо на иной путь вступаем, то этому нет другого обозначения, как *вспять*. *Вспять* от себя изначальных и *вспять* от мировой истории, которая вся шла к нам, чтобы затем — от нас — и ко всем на свете, прямо ли, окольно ли, но от нас ко всем (нами вдохновляемым, освобождаемым, спасаемым...).

Можно, конечно, возразить, что пересмотр не непременно к этому изменническому *вспять* клонит, что он, пересмотр, нормальная процедура всякого научного разыскания. Когда факты требуют, и не разрозненные, а взятые в той связи, какая позволяет с доступной полнотой и строгостью реконструировать историческое целое в его непредсказанном движении, то как не иметь в результате чего-то отличного от первофеномена и тем более от тех идей, замыслов, проектов, которые питали изначально, входили в самую сердцевину ее? Скажем это — и отобьемся сказанным... Однако сомнение берет, и не столько в том, что удастся отбиться нам от обличителей ереси, сколько в том, что самих себя успокоим собственным доводом. Грозное *вспять* смущает мозг и мучает совесть. Отчего бы? Оттого, что оно, хотя и *вспять*, но не просто назад: к тому, что пресеклось пусть не самим Октябрем, не сразу им, а памятным январем 1918-го?.. Не просто — назад, если за спиной не десятилетия уже, а века, коим стаж велик и произволен; если оно, это тревожное *вспять*, влечет к чему-то вовсе изначальному, где предки ни в чьей анкете не значатся, ибо ни с какими нынешними границами и гербами не совпадают; пожалуй, разнясь лишь цветом кожи да извилами родственных счетов и подробностями обихода — а может, не совпадая еще и отношением к смерти, пред-сознанием Жизни?..

Вспять — но не в повтор. Вспять — в иной путь. Что же сие? Именем нынешних хулителей Ваших, Юрий Николаевич, разрешу сказать: сапоги всмятку. И не оспоришь, на свой лад — правы. Иной путь ведь ничего другого и значить не может, как "вперед", а "вперед", оно заведомо в единственном числе, и тогда — никакого вспять, пусть под этим последним хоть весь род человеческого значится... У них, "четырёх профессоров", — полный ажур. А у нас с Вами? Наш с Вами словник (что уже далеко не их, но еще не вполне другой) — не сопротивляется ли этому самому *вспять*? А если так, коли словарь "упрямится", стало быть, и *иной путь* — тайною. Ибо уже не просто маршрут, кем-то и для кого-то избранный, а заново: от себя — к себе. И под вопросом уже не метафорические "вспять" и "путь", а мы, мы нынешние. Какие есть, без видимого разрыва в календарном времени, преемствующие прошлое, которое наше, даже когда *не прямо*. Особенно когда *не прямо*: то именно, что, произойдя при моем рождении или даже при Вашем, аукнулось — как ни оценивай, какие отметки ни ставь, а аукнулось всюду, где есть человек — думающий и подневольный (раньше всего в этих двух ликах, а затем и в других, не исключая и сугубо разных из правящих, властвующих...).

К этому окольному прошлому, которое уже и наше и не наше, и в схватке нашего с не нашим, и в споре не нашего с нашим, — к нему как отнестись сегодня? И не вообще, а нам с Вами, да и мы-то ведь не сам-два...

...Помню, уже вполне зрелым человеком, перечитывая "Былое и думы", поразился тем герценовским текстом, в котором его философия истории представлена жизнеописанием Роберта Оуэна, практичнеешего из старых утопистов, и тем местом особенно, где Оуэн сопоставляется с Гракхом Бабёфом, яростным сокрушителем и уравнителем. На чьей же стороне русский эмигрант-социалист, Россией думающий и тогда, когда говорит о Европе, о европейском человечестве? Кто не помнит знаменитых строк: удайся Бабёфу заговор, овладей он Парижем (чтобы оттуда приказать Франции новое устройство: "рабство всеобщего благосостояния") — и насилие, которое в этом случае неминуемо развязал бы он, столь же неминуемо вызвало бы в ответ "страшнейшую реакцию, в борьбе с которой Бабёф и его комитет погибли бы, бросив миру великую мысль в нелепой форме, — мысль, которая и теперь тлеет под пеплом и мутит довольство довольных". А Оуэн, которому заговор был не нужен и который окончил жизнь не на гильотине? "Оуэна исподволь затянуло илом. Он двигался, пока мог. <...> Ил пожимал плечами и качал головой; неотразимая волна мешанства росла, Оуэн старелся и все глубже уходил в трясины; мало-помалу его усилия,

его слова, его учение — все исчезло в болоте. Иногда будто подпрыгивают фиолетовые огоньки, пугающие робкие души либералов — только либералов: аристократы их презирают, попы ненавидят, народ не знает...”

Что же поразило меня в этом сравнении — публицистический ли блеск, бьющие в глаза ассоциации с тем, чему еще быть? Это само собой, но главным образом иное: чувство дистанции вместе с близостью — и сердца и ума — близостью к тем, кому уже не повториться буквально и кто этим-то как раз и близок, ибо, кроме памяти окрестной, живет в человеке (пока жив человек) — дальняя, родовая. (“Через века, когда все изменится на земном шаре, по этим двум коренным зубам можно будет восстановить ископаемые остовы Англии и Франции до последней косточки”). И еще поразившее у Герцена, заставившее думать о себе и себе подобных: стоицизм человека, рвущегося к делу, к раскрепостительному делу всяя Руси, но с сознанием того, что результату он не хозяин, что история не принадлежит никому в отдельности, как не принадлежала она тем, преждевременным, тем страдальцам из прошлого (будто чужого, а на деле своего), предвещавшего наши совсем вроде бы те же и вместе с тем ни на что не похожие осуществления (идей и обетов) — и наши же, схожие и ни с чем не сравнимые поражения, обвалы, самоутраты.

”Зато будущее — их!.. — Как случится. — Помилуйте, к чему же после этого вся история?”

На исходе XX века найдется ли место у нас такому стоическому оптимизму? Спросим ли так об уже случившемся, поразмыслим ли так над происходящим? У собственного века XIX не грех бы поучиться, а для того заново открыть сей век, как и предтеч его, которых и нелепо и грешно растаскивать по разным станам и кланам. Мало признать — все они наши; сегодня мало, сегодня нужно не только себя ими “сделать”, но и их собою. Всех — всеми! Трудность превеликая, но потребность еще острее: стать в одно и то же время Пестелем и Никитой Муравьевым, “западником” и “почвенником”, радикалом и либералом, Грановским и Хомяковым, Чернышевским и Кавелиным, Щедриным и Достоевским, Петром Чаадаевым — дальним предком — и Дмитрием Шаховским — ближним.

Иначе — пеняй на себя.

Стоит ли пророчествовать, предвещая худшее — глядит ли оно из шахты со смертоносной ракетой, или из обыкновенной подворотни, либо из респектабельного кабинета, владелец которого с еле скрываемой ухмылкой всматривается сегодня в дежурный портрет над столом: посмотрим-де, что у тебя, новоявленного рушителя основ, выйдет...

Нет, я не рвусь в авторы политологических предвещаний, но и не собираюсь из своего добровольного аутсайдерства вы-

страивать недоброжелательный и даже доброжелательный нейтралитет. Я — заинтересованный. И когда говорил своим близким, своим детям и друзьям, что Горбачев — мой шанс, я вкладывал в эти слова не только тот очевидный смысл, который диктуется отмеренными сроками жизни.

Этот смысл — ”надстройка”, ”базис” же — надежда, почти вера в то, что мы, долго притворявшиеся едиными, мы, из страха ли, по инерции ли заговаривавшие себя единством, а затем из этого единства выпавшие, выламывавшиеся презрением и протестом, но также стремительной утратой иллюзий и погружением в повседневный ил, — мы в силах снова или даже впервые пробиться к живой, продуктивной взаимности. Минуя мстительные счета (даже если оправданные), пуще всего оберегаясь побоища родословных. В результате же — нестесненно войти в многомирный Мир: без мании пионерства и без покаяний на вынос...

Не к бесплодному ли прекраснодушию зову? К согласию, достигаемому ненасилием, и не к одному лишь отказу от насилия, а к его антиподу, избираемому как смысл, как покой и свет?! Ведь не сегодняшним днем призыв этот датируется. А итог? Льву Николаевичу не удалось, как и Махатме Ганди, ровно за год до гибели предрекшему, что ”умрет от пули безумца...” Правда, у нас пока не убивают поборников *Согласия*. Может, оттого, что их еще мало? Или потому, что те, кто верны традиции ”сначала размежеваться”, не рискнут жизнью, беря в расчет и собственную?.. Самосожженцами власти не пахнет, скорее о сохранении и перераспределении постов забота. И хотя не исключишь и кровь, все-таки не тем пока опасны, что останавливают раньше, чем расшифруем сообща иероглиф ”перестройка”. Остановить можно лишь остановившихся. Вот этого, пожалуй, бояться стоит ныне раньше другого. Как бы не замордовали мнимыми (и ”работающими” своей мнимостью) страхами, как бы не подстрекнули к потасовке, затрудняющей спор, сводящей его на половинки и осьмушки проблем, на полуправду, которая не хуже молчания разъедает умы, опустошает души, выводя вперед умельцев отоваривать жажду истины...

Оттого столь нужно заслонить готовых к открытому спору, беззаботных к ”проходимости”. Не откладывая, оборонить их! Ибо время не ждет — по отечественным часам и по мировым, которые двенадцать пробьют одновременно. И мартиролог российский обязывает. Вещь! Реабилитация — юридическое понятие. Справедливость — понятие нравственное. Где же им сойтись, как не в современной летописи, в которой, сдается, ”черных пятен” ныне больше, чем ”белых”? Стыдно (и опасно!) жить с нереабилитированным Бухариным, с Троцким в исконных злодеях. Опасно и стыдно изворачиваться перед лицом фактов, наше великое и страшное достояние составляющих и от нас же

скрытых, хотя их знает (и понаслышке, и в серьезных исследованиях) закордонный мир.

Пишу второпях. Пишу и думаю о человеке, не будь которого и московским профессорам, которые также не сам-четыре, не нашлось бы занятия за неимением самого предмета. Чем бы им зарабатывать на жизнь, если бы не возникла некогда партия "нового типа", не появилась на свет божий идея архимедова рычага, каким — мыслилось в шушенской ли, в женеvской ли безвестности — удастся наконец стронуть Россию и уже ею, стронутой, подстегнуть мировой процесс социального обновления, — короче говоря, ежели не было бы Владимира Ульянова, не в одночасье ставшего Лениным...

Многие годы я посвятил тому, чтобы узнать и понять этого человека: биографию его мысли, как будто полностью совпадающую с действием, замкнувшим на себе всю, без остатка его жизнь. Сначала меня радовали эти совпадения, затем стали приводить в смущение. Вместе с другими сверстниками и особенно более молодыми людьми я пережил кризис доверия к нему. Тот день, когда я прочел мучительные страницы Василия Гроссмана, приводившие бывшее отношение к Ленину в соответствие с той новейшей нашей историей, где столько (знали — не замечали, замечали — искали оправдание...) крови и страданий человеческих, — этот день не забудется никогда... Здесь не место входить в подробности моих последующих занятий Лениным. Рискуя выглядеть старомодным и неисправимым, могу сказать: я пережил тот кризис, вернул доверие к нему. Не прежнее, разумеется; оно повзрослело и даже постарело. И это, полагаю, не увертка, влекущая за собой ту или иную расплату. Тут иное.

В жизни его духа я вижу предвосхищение того, что нам еще предстоит. Один из самых важных, один из показанных людям опытов движения "вспяť — но не в повтор". Это скрытое движение к себе, дабы опять — от себя, и еще, в последний раз к себе, мучимому тайным сомнением: удержится ли дело его жизни или суждена ему, Ленину, духовная могила, опережающая близкую телесную смерть? Мне могут сказать (предвижу говорящих, и это уже не "четыре профессора", а совсем иные люди), что я подставляю "своего" Ленина на место действительного и сооружаю новый миф взамен превратившегося в руины. Что ж, не исключено. Ведь в числе оспаривающих "моего" Ленина мог бы оказаться и он сам, и не только времени своего взлета, когда его неклассический марксизм не просто нуждался в ортодоксальном подтверждении; нет, — исходил из уверенности в полном соответствии истинному Марксу. Пожалуй, и много позже, в 1922-м, к примеру, Ленин, вероятнее всего, наложил бы вето на мою попытку пробиться в глубь его одиссеи: к спрятанным от постороннего взгляда зазорам мысли, к роко-

вым самообманам, рождавшим обманы и подстрекавшим к насилию — в соответствии с "ускорением истории" и вопреки здравому смыслу...

А Ленин полутайных диктовок, перескакивающих от злобы домашнего дня к Миру, ближнему и дальнему, чтобы от него напрямик — к персонам, испытываемым на соответствие этому Миру (что еще весь на подходе, что всего лишь шанс на спасение миража: **мировой революции в одной стране?**), согласился ли бы со мною этот, финальный Ленин? Признал ли бы, что его прорыв в Завтра так и остался сводом набросков, ибо не мог быть сведенным воедино, — и что самая несводимость эта не только не сплачивала отобранных в наследники, но, напротив, еще более разъединяла их, входя изнутри в конвульсии дележа власти? Не берусь судить: согласился ли бы он, признал ли бы? Чересчур многое склоняет к отрицательному ответу. Да и я, риснул бы я такое в лицо ему — обреченному? Впрочем, может, это только на расстоянии в десятки лет сдастся, что приговорен он был к поражению, на самом же деле — совсем по-иному сложиться бы последующему, если бы справилась его натура с недугом... и грянул бой.

С кем? Со Сталиным? С партией функционеров? С гидрой бюрократии? С "красным" великодержавием? Поздно — сказал сразу же после Кронштадта украинский коммунист Затонский, имея в виду в первую очередь национальный вопрос. А в памятные январские дни 1924-го Осип Манделъштам, всматриваясь в заиндевелые лица ходоков со всей России, прибавил: пришли мужики жаловаться Ленину на большевиков, поздно... Что добавит к этому современный исследователь, знающий, сколь неопределенная эта вещь в истории — **вовремя?**.. Раздвинуть бы воображением самые рамки боя, которого бы не миновать воскресшему Ленину. Боя со Сталиным — это без спору. И с унификаторским московским замахом — нет сомнения. А раз с ними, то и со всеми, кто, вкусив от только одержанной победы, не собирался никому уступать ее плоды. Если же с ними бой, то и с **неостановленной революцией**, а стало быть, и с самим собою.

Вот он сегодня — мой последний редут: его неисключенная, желанная схватка с самим собою. Быть бы ей или — не дано? Не дано уйти от собственного поражения, отказавшись от единственного в своем роде триумфа всемирного почина?

...Начал с герценовского "Оуэна". И кончаю им же, его сквозной мелодией, его контрапунктом: раздумьем об отношениях между человеком и историей. Отношениях, в которых на равных правах участвуют и потомки и предки, однако лишь тогда это — **участие** (и достижимое и равноправное!), когда и третья величина — история — имеет свои права, защищенные от произвола любых вершителей человеческих судеб, какими бы

побуждениями, включая самые идеальные и справедливые, они ни руководствовались. Да, люди — суверены истории, но лишь в конечном счете и в меру того, в какой она независима от них.

Послушаем же Герцена. "За все вынесенное, за поломанные кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблуждения — по крайней мере разобрать несколько букв таинственной грамоты, понять общий смысл того, что делается около нас... Это страшно много!" И дальше: "...Не имея ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизация истории готова идти с каждым, каждый может вставить в нее свой стих, и, если он звучен, он останется его стихом, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будет бродить в ее крови и памяти. Возможностей, эпизодов, открытий в ней и в природе дремлет бездна на всяком шагу... Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам; она, продолжая свое дело, бессознательно будет делать его дело. Люди это знают и на этом основании владеют морями и сушами. Но перед объективностью исторического мира человек не имеет того же уважения — тут он дома и не стесняется; в истории ему легче страдательно уноситься потоком событий или врываться в него с ножом и криком: "Общее благосостояние или смерть!", чем вглядываться в приливы и отливы волн, его несущих, изучать ритм их колебаний и тем самым открыть себе бесконечные фарватеры.

Конечно, положение человека в истории сложнее, тут он разом *лодка, волна и кормчий*. Хотя бы карта была!

— А будь карта у Колумба, не он открыл бы Америку.

— Отчего?

— Оттого, что она должна была быть открыта... чтоб попасть на карту. Только отнимая у истории всякий предназначенный путь, человек и история делают что-то серьезным, действительным и исполненным глубокого интереса. Если события подтахованы, если вся история — развитие какого-то доисторического заговора и она сводится на одно выполнение, на одну его *mise en scène* — возьмите по крайней мере и мы деревянные мечи и щиты из латуни. Неужели нам лить настоящую кровь и настоящие слезы для представления providенциальной шарады?.."

Вопрос этот по меньшей мере непродуктивно или вовсе бесполезно задавать "четырем профессорам" и иже с ними (и тем, кто рангом выше, да и умом порасторопнее). Они и в самом деле убеждены либо приучили считать себя убежденными, что вся история — "развитие какого-то доисторического заговора", то бишь законов общественного развития, которые действуют, правда, посредством людей, и оттого безлюдной истории заведомо не бывает, но люди-то, как ни разнятся, все равно не

дальше, чем исполнители, и когда оглянешься назад, то и впрямь видишь одну совокупную "мизансцену". Вариантов, может, и множество, для того и "конкретное" историознание существует, чтобы в них разобраться, устанавливая частные, локальные, на самый большой случай — эпохальные закономерности; "основные" же законы — предмет совсем другой, отдельной и над всеми возвышающейся науки, имя которой — **ИСТМАТ**. Телеологизм — он ведь не только из религиозного, мистического корня; без-божный, как мы знаем, еще почище и от своей первоначальной версии успел протопать до весьма незамысловатого, но отнюдь не безопасного шаманства... Но не о том все-таки речь ныне. Об этом и раньше сказано было немало и резких и горьких, "предосудительных" слов. Сегодня же все-таки о другом. О действительной трудности. О непридуманном минном поле (этот образ часто приходит мне на ум как современный двойник герценовской истории-океана с его пучинами и необозначенными фарватерами).

...Лодка, волна и кормчий — как совместить их, чтоб не оборвалась не только "поэма", но и жизнь? Жизнь в истории либо уже вне ее, за ее пределами?

"Лодку" соорудили до нас, нам досталась. Заданность человеческого существования — штука неоспоримая; и благодетельная и жестокая в одно и то же время. Чего больше теперь? Застрянешь в простом сопоставлении. Столько добыто человеком за считанные десятилетия, что поистине все позади оставленные века кажутся не больше чем прелюдией. Но передвинешь взгляд от кроны к корням, и все предстанет в ином свете. Да и в одном ли взгляде дело? И крона и корни — равно человек. Для него бесследно ли, что самое впечатляющее (силою разума, светом гения!) — наследство кровавейшей схватки и спутник иррациональнейшего из всего, что когда-либо сотворили люди: взаимного "сдерживания" средствами, способными многократно изничтожить живое? Не бесследно это — и не в одиночку, а вместе с другими, родственными "парами". Всеобщий суверенитет — и убийство, перешагивающее через все заслоны и границы. Продление жизни — и обремененность "ненужными" с юности. Возможность каждого на Земле вступить в прямую связь с любым — и бегство человека от человека, диковинный комплот дефицита и ужаса одиночества. Уплыть ли от этого — и куда?

Лодка — она ведь ни к чему без волны. Кто ныне подымет руку на "случайность"? Флуктуации, бифуркация, стохастические "модели", физики, заговорившие языком истории, и историки, наскоро осваивающие новый жаргон. "Волна" признана, из этого признания извлекаем не только новый взгляд на превращения, совершенные человеком — "во имя" и невзначай, — но и новую надежду: на вероятности, рождаемые тем, что еще вче-

ра представлялось невозможным (и в качестве не совпадающего с "провиденциальной шарадой" — запретным, притом отнюдь не только в вероисповедальном смысле, тут и наш родной УК был задействован)... Итак, да здравствует волна? Нет, от здравия лучше воздержаться. Океан хранит затопленные суда, жертвы героических и пиратских кораблекрушений, но он все-таки жив, океан, и даже загрязненная, отравленная человеком волна пока движет, несет его. С земною суши сложнее, трагичней. В любом смысле очеловечена — до последнего уголка. Лучше ли, хуже ли, но до последнего. Оттого и минное поле, а если оно, то как не припомнить: сапер ошибается один раз.

Подходит ли к саперу века XX звучное имя — кормчий? Нет, я не собираюсь выходить на истоптанный сюжет "о роли личности в истории". Меня занимает роль его на исходе истории, в преддверии ее конца. Выросла эта роль, либо ужалась, или стала вовсе иной? Историку пристало выснять это, обращаясь к "конкретным" людям и к коллизиям, с которыми они связаны прижизненно и посмертно. Кто из них — исторический, а кто "за-предельный", не скажешь без такого разбора, но и даже в результате его вряд ли прийти к твердому суждению, настолько неопределенными являются мера и эталон. — А будь карта у Колумба, не он открыл бы Америку. — Отчего? — Оттого, что она должна была быть открыта... чтоб попасть на карту". Приложивши этот критерий к нынешнему столетию, мы, вероятно, станем и терпимее в своих оценках, и требовательней. "Америку" открывать нет уже надобности. Их просто нет. Нужда — в переоткрытиях, спрос на переоткрывателей. И России Мира еще предстояло "попасть" на карту, как, скажем, и Индии Мира, и весь наш переоткрывающийся век допустимо представить в виде диалога: встречи и спора Ленина с Ганди. Но если б только о них речь. Кому бы ни отдал предпочтение, не скроешь: за каждым — след крови. Разница, конечно, превеликая: сам ли пролил ее либо не смог остановить убийц, обуздать зов предков, ввести в русло охраняющего жизнь закона стихию всечеловеческого поравнения. Разница превеликая — и не только в обстоятельствах, но и в личности и наоборот: в условиях, диктующих ей выбор и исключаяющих его...

Показана ли переоткрывателю власть или, лишь наложивши добровольный запрет на свое участие в ней, протагонист может сохраниться в последующих поколениях как укор совести, как обязательство памяти? Открытый вопрос. Вернее — из тех, которые предстоит задать. Но кому? Завещанной лодке? Неисповедимой волне? Кормчим, которые во "всенародных" усыпальницах и в неопознанных могилах? Можно и им. Должно и им. Однако лишь тогда не аукцион, когда они — в нас, когда мы — в них. Герцен спрашивал всех, не стесняя себя адресатом. Нам труднее. Мы прошли школу (и искус) "министерства правды"

и отучились различать показанный человеку пересмотр былого от вмененного переписывания его — с обязательными подчистками, с непременной анафемой. И спрашивать привыкли — в одну сторону, экзаменуя других. Потому и опасна навязываемая нам потасовка, что опустит шлагбаум спору, который ныне не только не праздный, напротив, всей злобе дня показанный... Однако чем? в каком качестве?

То Яна Гуса вспомнишь, притчу о словах, сказанных им старушке, подбрасывавшей дровишки в костер под его ногами: "Святая простота!" То отчего-то невзоровские "600 секунд" в голову приходят... Оно конечно: что рядом (с дровишками про запас — для новых костров — или тем паче со свежим трупом, вызывающим дразнящий интерес) — архивный пожелтевший лист, нечаянно обнаруженный дневник, письма тех лет, не предназначавшиеся печати? Модное "чтово", не больше. В лучшем случае — скоропроходящий стресс. Заблуждение? Нет — топь, провал! Пропустишь миг бытия человеческого, и вся цепь рушится, искажая тех, от кого пошла, и разрушая тех, к кому пришла.

Хотят эти последние или не желают, но если живые и пока не омертвели заново, они — звенья этой цепи, ответственные за нее: *от конца к началу*. Этой ответственностью — независимые. Этой независимостью — призванные: двигаться спиною вперед.

Не страшась призраков. Лицом к теням.

1987, 1988

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

В нашем доме случилось ЧП.

Не из внезапных. Не лавина, в одночасье сносящая селения. И даже не отдельная, хотя и не одинокая трагедия поверженного чиновратией человека, о каких чуть не ежедневно пишут ныне газеты.

ЧП это особое. Затронут целый народ. Не вчера завязался узел, что уже не разрубить, можно лишь распутать — бережными, умными, участливыми, ответственными движениями ума и воли.

ЧП — судьба крымских татар. Беда давняя и общая. Кто не причастен к ней? Только бездушный скажет: не я. Только отравленный шовинистическим ядом изречет: поделом им.

В истоках — 1944 год. Кара без суда. Военные действия против безоружных. Разорение родовых гнезд. Гибель стариков и младенцев. Объяснишь ли тогдашнее спазмом ненависти, рожденным войною, страшнее которой не было? В таком объяснении есть крупница правды и львиная доля фальши. Ненависть инспирировалась, возмездие служило предлогом для неконтролируемой власти человека, снова вошедшего в роль единственного распорядителя наших судеб. Апогей власти его незримо переходил в агонию, и столь же неприметно победители становились побежденными.

Все — в собственном доме (в этом суть).

Из истории не вырвешь горестных страниц. Мертвых не вернуть, но то, что множило их число, те обманы и самообманы, которые пережили события, нужно увидеть заново, чтобы понять себя. Истинное покаяние — исправление бед в меру отпущенного живым. Ложный и опасный "принцип" наказания народа был отвергнут государственными актами конца 50–60-х годов. Изгнанные возвращались в родные места. Отчего же оказались за чертой этого процесса крымские татары?

В том фактическом вычерке нет тайны, если только не считать тайною публичное умолчание. К первоначальному произволу добавилось произвольное геополитическое действие: передача Крыма, входившего в состав РСФСР, в дар Украине. Не станем делать вид, что этот по меньшей мере необдуманный шаг был волеизъявлением граждан РСФСР. Лицемерие способно запутать и так сверх меры запутанный вопрос. А сегодня мы пытаемся возвести в норму правду и гласность. Так будем же называть вещи своими именами.

За двадцать лет причины и следствия сплелись в один клубок. Упорство татар в отстаивании своего права на родину вошло в уголовное деяние. Сейчас пришло время воздать должное "упрямцам", как и тем, кто подымал голос в их защиту. Чего бы проще? Но простое не просто, когда оно затрагивает амбиции и вступает в спор с компшотом догм и предрассудков. Потерянное время — это также судьбы людей, которые заселили в Крыму места, освоенные поколениями крымских татар. Нет потому "крымскотатарского" вопроса. Есть проекция нераздельного большого вопроса: как стать нам сообществом, способным разрешать наследственные и благоприобретенные конфликты и споры?

Число их не убывает. Напротив, множится в ходе задуманного переустройства нашей публичной и частной жизни. С этой точки зрения случившееся в Москве в последние дни июля явилось как бы проверкой при поступлении в "начальную школу демократии". Признаем: мы не выдержали этого испытания. Слово "мы" не дипломатическая уловка. Это, если угодно, призыв к добровольному запрету на уклонение от ответственности, отказу от игр полусмелости и полуправды — модного столичного товара...

Спросим себя: дано ли достичь спокойного и здравого решения проблемы, не признав (формально и фактически!) крымских татар **равной стороной** в обсуждении с верховной властью своей судьбы? "Равная сторона" — значит, и самоорганизация, право на нее, уважение к ней, интерес к ней и к создавшим ее людям. За первым условием второе: открытость переговоров. Отчего не огласили те, кому это положено, все требования крымских татар, как и все подробности переговоров их представителей с официальными лицами? А разве помешали бы делу урегулирования участие в переговорах представителей, избранных нынешним населением Крыма, как и широкая дискуссия в печати и по телевидению, публичный учет суждений всех, кто заинтересован в мирном разрешении ситуации, таящей взрыв, страсть, кровь? Кажется, что на любой из этих вопросов нетрудно бы ответить делом, по-человечески, исходя из высших интересов мировой державы, к которой прикованы сейчас взгляды людей на всех материках Земли.

Произошло же нечто, не поддающееся разумному объяснению. Нечто, содержащее в себе (вольно или невольно?) вызов и праву и совести. Именно — **вызов**. Другого слова нет.

У нас не принято заглядывать в коридоры власти. Досужий репортер не сообщит читателю, как появилось на свет "Сообщение ТАСС" — документ, сквозь текст которого просвечивает водяными знаками: "Ничто не меняется в эпоху перемен". Документ, придавший происходящему драматический характер в неизмеримо большей степени, чем это способны были бы сделать

какие-либо поступки и жесты неуравновешенных лиц из числа крымских татар, приехавших в столицу добиваться бесповоротного решения своей судьбы. Ссылки на экстремистов грешат бездоказательностью и нелогичностью. Экстремизм, что и говорить, небезопасен. Лишь настоящая, неинсценированная открытость снижает его шансы и придает силу и уверенность здравомыслящим и ответственным.

Исправление одних несправедливостей не должно порождать новые — кто посмел бы возразить против такой исходной формулы? Но сначала надо заявить твердо, без малейших кривотолков: первоначальная несправедливость будет полностью, окончательно устранена, и в обозримый, взаимно согласованный срок. Иначе любые переговоры застрянут в софизмах и угрозах. Неравенство между "просителями" и инстанциями подстрекает последних к односторонним действиям. И вот сложный вопрос жизнеустройства народа подменяется на наших глазах милицеейской формулой "наведения общественного порядка". Предоставление же с этой целью "дополнительных полномочий" соответствующим службам — дурная примета, бросающая тень и на день сегодняшней, и на наше завтра.

Из газет не узнать, как именно воспользовались правоохранительные органы своими постоянными, да еще "дополнительными" полномочиями. Но по всему видно, что в финале июльских событий — новая несправедливость, новый произвол: высылка из Москвы представителей крымских татар — и это поистине несчастье.

Их ЧП — и мое.

Мое — в буквальном смысле. Я родился и вырос в Крыму, тогда многонациональной автономной республике. Дружил с татарскими детьми, изучал в школе крымскотатарский язык (кто-то, кажется, сомневается ныне в его существовании). С Крымом связаны и счастливые годы моей юности, и самые тяжкие переживания. Моя мать и брат были уничтожены в первые дни немецкой оккупации Симферополя. Сказанное дает мне нравственное право настаивать на соучастии в решении вопроса.

К тому же я посвятил годы изучению прошлого, и прежде всего России — предреволюционной и постоктябрьской. Профессия обязывает. Историкам, правда, негоже притязать на роль нравоучителей, тем более в делах текущих, где все, даже похожее на бывшее, — вновь и по-другому. Но люди моей профессии — посредники между живыми и мертвыми, погибшими до срока. Историкам известно, как "случайное" и произвольное в общественной жизни обретает страшную силу необратимости, жаждущей все новых жертв. Так было и раньше, но XX век превзошел и в этом — быть может, более всего в этом — предшествующие столетия. И потому также я призываю правительство к

прекращению репрессий в отношении представителей крымских татар и к возобновлению переговоров с ними в Москве — на открытой и равноправной основе.

Еще не поздно. Уступка никого не оскорбит. Признание допущенной ошибки лишь усилит доверие к руководству. Призыв к общественному мнению содействовать конструктивному, взвешенному разрешению конфликта послужит залогом консолидации, в которой мы так нуждаемся сегодня. В один день не научишься конституционному поведению: демократизации сверху вниз и обратно. Но и терять хотя бы один день — опасная роскошь. Да мы и не одни. Мир полон близких и схожих напастей. У кого не сжимается сердце от новостей, приходящих из страны, с которой мы вместе подписали Делийскую декларацию — пропуск в XXI век?..

Отнесемся же к происходящим событиям как люди, ответственные перед потомками.

Равнодушия они нам не простят.

4 августа 1987

ОТ АНТИ-СТАЛИНА К НЕ-СТАЛИНУ: НЕПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

1

Сказать, что человек состоит из силы и слабости, из разума и ослепления, из ничтожества и величия, — это значит не осудить его, а определить его сущность.

Д. Дидро

Так обозначали человека в век Просвещения. Разумеется, не все на один лад. Дидро — из умнейших. Согласимся ли с ним сегодня? Что человек состоит из силы и слабости — никто, вероятно, возражать не станет, однако еще предстоит выяснить: о какой силе и о какой слабости у нас, нынешних, идет речь. Но ничтожество и величие вместе — в одном совокупном, разъединенно-всеобщем лице? Загадка. И не в том ли она, что ощущаем недостатку в фактах, это подтверждающих? Нет, с избытком их. Трудность — в объяснении. Откуда берется, чем держится сцепка ничтожества с величием, почему столь многое значит она в человеческих судьбах? Главная же загадка — природа превращений, переворачивание ничтожества в величие и наоборот. Не исключено, что этими-то переворачиваниями и запомнится дольше всего наш уходящий век.

На глазах моего поколения ничтожество достигло верха распорядительства — и не только обстоятельствами, но и душами и умами людей. Ничтожество слыло величием, но не станем обманываться задним числом: оно и было им, если измерять величие масштабом событий, которые затронули всех и наложили свою печать на все, включая смерть или даже — начиная с нее. Не здесь ли разгадка? Не оттого ли казалось и признавалось ничтожество величием, что заново сделало смерть мерилом всех вещей?

Я употребляю прошедшее время не в виде одной лишь дани профессиональной ограниченности историка. Оно рождено и надеждой. Ибо смертный человек — человек, которого обрекали (миллионами!) на досрочную насильственную гибель, — все же нашел в себе силы, чтобы надломить эту страшную обманную сцепку ничтожества и величия. Если и не разорвал ее до конца то ослабил, поставив под сомнение ее непреложность. Признавши "ослепление", замороженность могуществом отделенной от человека и поставленной над человеком власти, ужаснулся этой своей замороженностью — и ужасом, охватившим его, и действием, рожденным этим ужасом, словом и поступком, вдохновленными им, сделал шаг навстречу новому "разумению". Навстречу другой жизни. Еще нетвердый шаг, однако столь вы-

сокой ценой оплаченный, что как не зачислить его в одно из величайших человеческих свершений?!

...Сюжет статьи вроде и не об этом. Он конкретнее, имея отечественную прописку и сравнительно узкую календарную рамку. Но автора, когда он стал писать этот текст, писать в лихолетье — последний самого свирепого лихолетья, одолевали именно те вопросы, те воспоминания и надежды, которые он сейчас изложил со сжатостью преамбулы.

Писал о только что умершем Никите Хрущеве, думал же и о нем, и о Сталине. О том, можно ли уйти из-под власти последнего, тени его, не уяснив, чем же был его преемник, уже также тень.

Две тени, не спутаешь, но две ли власти? Или все-таки одна, та, что по-прежнему притязает на все в человеческом существовании, обещая взамен попечительство о нем — от колыбели до предсмертного вздоха? Сегодня мы видим, что этому попечительству пришел конец. С каждым днем все явственней его несостоятельность, неисполнимость некогда принятых и возведенных в догмат обязательств. Больше того, неисполняемость их, проистекающая из самой химеры всеобъемлющей, всепроникающей опеки, которая в свою очередь требует для себя власти без очерченного предела. В подспуде нынешних наших напастей и тревог он, этот вопрос, хотя не всегда этими словами выговаривается и еще реже осознается в полном объеме. Оно и понятно. Тут барьер. Тут мозаика из родословных, где неизжитое и обновленное рабство в причудливом соседстве с неутраченной верой в наш "золотой век". Тут неявный сплав убеждений и предрассудков, существенное и даже радикальное несоответствие которых перекрывается вошедшим в плоть и кровь ожиданием перемен — по мановению чьей-то руки, какая и неизменно уполномочена и неизменно в силах производить эти перемены — и, конечно же, к лучшему, к желаемому, к искомому.

Пожалуй, в самом глухом уголке самой религиозной страны на нашей планете не встретишь такого упования на чудо, как в великой державе, которой атеизм многими десятилетиями служил одной из непременных опор государственного мировоззрения. "Не бог, не царь и не герой..." — давно уже только слова из гимна, разжалованного Сталиным.

Значит ли это, что у нас нет инициаторов, искателей, фантазеров и смельчаков, нет людей, готовых любой ценой добиваться успеха правого дела, людей, способных работать, не считаясь со временем, в азарте штурма, ради благородного почина или нужд коллектива? Спору нет, такие люди были и есть, и их не так уж мало. Эпоха революции, изживания разрухи и отсталости породила их в числе, трудно поддающемся подсчету; но со временем потребность в них не то чтобы исчезла, она менялась в самом существе своем: чем больше их становилось (если

держаться определенного набора признаков), тем дальше уходила в прошлое первоначальная естественность той человеческой разновидности, которую можно назвать собирательным именем энтузиаста. Мы говорим "собирательным", поскольку наличие общих черт и сходство проявлений не исключали множества различий, порождаемых прежде всего тем обстоятельством, что поток революции захватил и понес самый разный человеческий "материал", создав в результате столь пеструю картину, что по сравнению с ней экономическая многоукладность могла бы показаться одноцветной.

Доказано, что, чем разнообразнее любое сообщество, чем больше оттенков внутри даже одной человеческой разновидности, тем более они жизненны: имеют больше стимулов к развитию. В этом, кстати, коренное отличие общности от стада — состояния, из которого, считалось, вышло человечество и к которому (теперь это чересчур хорошо известно) оно способно возвращаться при непредсказуемых условиях и в весьма цивилизованных странах. Огромное сообщество энтузиастов, рожденное революцией, как бы его ни судили спустя без малого век, не было стадом. Однако и в своем первичном состоянии оно содержало зародыш иного; само многообразие его несло в себе собственный надлом. Пестрота характеров и побуждений, привлекавшая и ныне еще привлекающая людей искусства, стала помехой, когда возникла — и не в один присест — нужда в подвижной стабильности отношений собственности и власти. Нужду эту можно было бы удовлетворить в свою очередь сугубо по-разному, но считать ее искусственно привнесенной было бы отклонением от истины. Достижение такой упорядоченности в главной сфере жизни стало проблемой еще при Ленине и составило наиболее глубокую подоплеку всей последующей внутрипартийной борьбы, втянувшей в себя и соподчинившей себе жизни миллионов. Проблема же была не только теоретической и деловой, она вдобавок — и это, быть может, самое важное — была человеко-сущностной, "антропологической".

Что и говорить, опасность анархии множества воля, вкусивших от свободы самоутверждения, опасность растворения мозгового авангарда в стихии эгалитарности, распределительного коммунизма, ищущего себе кумиров и накладывавшего свою печать на слова и дела даже самых мыслящих, самых рафинированных лидеров революции, — эта опасность была вполне реальной. Не менее реальным был и ее близнец-антипод: опасность эксплуатации неосознанных (не доведенных до уровня саморефлексии, самоконтроля, самоограничения) социальных устремлений и импульсов человеческой толщи, эксплуатации их честолюбцами, уверенными в своей способности подчинить стихию, именно не овладеть стихией, а подчинить ее себе, встав над разными волями и интересами в качестве их верхов-

ного арбитра. Как выростали одна за другой обе тенденции, как вторая из них впитывала в себя и губила первую, еще предстоит изучить и понять. Тогда яснее станет, мог ли энтузиаст-преобразователь удержаться в исходном, "неиспорченном" виде. Может ли он вообще где-либо удержаться, если его стихийная разнородность не замещается разнообразием личностей: более стойкими различиями, вырастающими в обстановке повседневного "институционализированного" социального творчества?

Современный человек, оглядываясь на опыт истории, вправе усомниться в этом. Но если возможность эта существует, то первое условие ее — демократизм, пропитывающий все сферы публичной и частной жизни, и действенное равноправие, охраняемое обществом. Однако откуда взяться такому демократизму и такому обществу? Они в свою очередь создаются людьми и требуют определенных человеческих свойств и склонностей, а не только "объективных предпосылок". Круг замыкается на личности.

Это, вероятно, самая сокровенная тайна послеоктябрьской истории: судьба энтузиаста, сплетенная из подвигов и падений. Она и мартиролог, и список людей, окруженных загробными и прижизненными почестями. Частично этот человеческий тип выродился в чудака, одинокого искателя истины и справедливости, в подавляющей же своей части усреднился. Жизнь разделяла его по роду занятий и по месту во все более сложной, разветвленной системе руководства и подчинения. "Каждый сверчок знай свой шесток". Но именно потому, что каждый должен был знать свой "шесток", он неприметно и неумолимо превращался в стороннего для других "сверчков" — и все выравнивались по отношению к отделенной от человека цели, которая, сужаясь кверху, воплотилась в конечном счете в Единственном. Энтузиазм рассредоточивался по ступеням этой персонификации, переставая, по сути, быть энтузиазмом — двуединством добровольности и бескорыстия. Разумеется, не в один год и день это совершилось. Были и откаты, и новые взлеты. Да и весь процесс, ведущий к тому, что отлилось в сталинизме, асинхронен. Не забвение ли этого — одна из причин, в силу которой нам по сей день не дается понять, и не то даже, откуда вылезла дьяволиада, а почему не встретила достаточного и своевременного отпора, отчего так легко заполнила все поры жизни?

В исходном пункте большевик-функционер и движимая им масса едва ли не едина суть. Дальше же — подспудное расщепление, затрагивающее обе ипостаси энтузиаста. Функционерство растет в "номенклатуру", а место безымянных рядовых занимает "знатный человек". Что здесь в перводвигателях: хрупкость и недолговечность коллективного самоотжествления в революции, на смену которому приходит потребность в индивидуа-

лизации, чье поприще — жизненная проза, быт? Или это все-таки вторично, а в основе, в глубине — разрастание власти, втягивающей в себя и побуждения и судьбы и с каждым витком этого разрастания воздвигающей как вне, так и внутри человека препоны превращению его в личность, сохранению в нем суверена самого себя?.. Симптоматический штрих: автор «Броненосца Потемкина», вернувшийся на родину после всемирного успеха и долгого заграничного вояжа, не принял нового советского кино, достигшего тогда своего рода пика всенародного признания. Отчего же, по крайней мере сразу, не принял его Сергей Эйзенштейн? Потому ли, что оставался верен своим ранним критериям художественного постижения Мира — в тех его критических точках, субъектом которых является охваченный идеей и страстью действия многоликоединный человек? Расходился ли с молодыми в эстетической технологии кинематографа, в принципах монтажа? Вероятно, и то и другое.

Но поиски причин, способные разъяснить тернистый путь Мастера (начальным и финальным рубежами которого явились "Бежин луг" и вторая серия "Ивана Грозного"), уводят историка за пределы биографии Эйзенштейна. В новом кино и узнавал себя, и утверждал себя новый зритель: *однозначный человек в "отдельно взятой" однозначной стране*. Героический пафос Исхода не исчез, но он, вначале неприметно и лишь затем в виде господствующей тенденции, замещался ритуалом вхождения в единственное русло, каким ставились вне истории все остальные русла, все "неукладывающиеся" формы бытия; и сама отечественная история, которой вернули, казалось, права гражданства, не просто "национализировалась" с включением в *героическое прошлое* событий и лиц, еще недавно числившихся в отторгнутых, подлежащих забвению, — она в целом и с той же неприметностью и неременностью "освобождалась" от всего, что не нужно обновленной державности, что могло бы послужить помехой однозначной единственности.

Замечал ли эти превращения вокруг себя и в себе самом энтузиаст? Тиражируемый искусством, печатью, школьным и внешкольным воспитанием, вытесненный из "большой политики", он все более нуждался для своего сохранения и воспроизведения в материальных подпорках и административно-пропагандистских инъекциях. Именно нуждался, был заинтересован в них, заинтересован не из одних эгоистических соображений (хотя чем дальше, тем в большей мере из них), но также, и даже раньше всего, из интересов дела, которое иначе не могло делаться. Страшно признать, но нельзя не признать, что лишь война своим трагическим течением поставила под вопрос законченность описанной метаморфозы, сделав и необходимыми и возможными действия вне регламентаций и субординаций "мирной" предвоенной жизни. Вне — и вопреки им! Ибо в тяж-

ких испытаниях войны возродился — вместе с чувством личной ответственности за судьбы отечества — и личный взгляд, вернее, зародыш личного взгляда на то, каким ему, отечеству, надлежит стать уже сейчас и тем паче в будущем. Не этого ли так боялся Сталин, когда со свойственной ему проницательностью во всем, что касалось потенциальных угроз его власти, принялся раскалывать поколение победителей и, подавив вспышку "личностного", загнал его в привычное русло догматического послушания и инициативы в исполнении?

Удивительно ли, что и смысл (смысл как таковой) стал у нас крамолкой из крамол как раз тогда, когда ход общечеловеческого развития уперся в потребность перемен, затрагивающих коренные начала всей прежней жизнедеятельности? Этот сюжет также ждет еще своей разработки. Были ли, в частности, памятные "дискуссии", проработки и разгромы конца 40-х — начала 50-х годов лишь новым проявлением безумного страха властителя, добравшегося и до сфер, далеких от политики, или то обстоятельство, что сами сферы эти стали внушать ему опасность, равносильную "покушениям" на его жизнь, свидетельствовало о том, что патологии власти не чуждо своего рода перевернутое опережение?!

Но там, где новейшая инквизиция вершит суд и расправу над жаждущим независимости и сеющим сомнения духом,— там не на что и надеяться, кроме как на чудо, но там и нет места для "чудотворцев": правило, подтверждаемое исключениями... Что может быть убедительнее и драматичнее в этом отношении, чем судьба Хрущева, особенно если к началу ее возвратиться от ее конца?

В течение одних суток человек, арендой деятельности которого был чуть ли не весь Мир, превращается в пенсионера, чей кругозор ограничивается забором персональной дачи. Никаких промежуточных ступеней, ибо их нет, не существует вообще. Вчера еще каждое его слово тщательно изучалось дипломатами всех держав и комментировалось журналистами всех направлений. На другой день ему некому, и уже по этому одному, нечего сказать. Мемуары его, судя по дошедшим до нас отрывкам, представляют собой пестрое собрание экскурсов в прошлое, где существенное перемежается со случайным и мелким в еще большей степени, чем в его публичных выступлениях с теми красочными вставками "от себя", которыми он обильно оснащал связывавший его натуру заготовленный текст. Лишенный власти, о чем он размышлял и способен ли был разглядеть горизонты времени, близ центра и в самом центре которого находился десятилетиями? Говорят, что в последние годы Хрущев много читал и, вкусив от настоящей литературы, открыл для себя, что это не только хороший отдых, но и нечто большее, и заключил из этого открытия, что его руководство отечест-

венной словесностью было далеким от совершенства; в особенности же жалел, что поддался искушению или внушению учинить гражданскую казнь над Б. Л. Пастернаком.

Хрущевский "фольклор" изобилен. Приведу лишь один из отрывков его, поскольку он тоже касается отношения Хрущева-отставника к литературе. Томящийся от одиночества, столь болезненного для него по сравнению с эйфорией его недавней деятельности, он искал встреч и, выходя на прогулку, вступал в разговоры с отдыхающими в пансионате, расположенном недалеко от его дачи. Одна из случайных собеседниц рискнула навестить его и на дому. У них завязалась беседа о недавно прочитанном, в частности о произведениях, посвященных войне. Я записал тогда же, в пересказе, две любопытные реплики Хрущева. "Это все вранье, — сказал он, — я не читаю, вот Нина Петровна, та читает. Симонов лучше других, но и он врёт". Вторая реплика в ответ на рассказ гостыи, только что освоившей текст, где живописалась в деталях измена Власова: "А что мы знаем о Власове? Это темное дело". В подтверждение услышанного — фрагмент из воспоминаний Хрущева. Рука правщика не касалась этого текста, и запечатленная магнитофоном орфоэпия — примета подлинности: "Сталин поднял вопрос вдруг, значит. Почему, говорит, да, вот Власов предателем стал? Я говорю: да теперь уже бесспорно, что предателем. А вот вы его хвалили, говорит. Вы хвалили его, вы его и выдвигали, значит. Я говорю: верно. Я его и выдвигал, назначил его командующим 37-й армией, и была ему поручена защита Киева, и он блестяще справился со своей задачей. И немцы Киева не взяли, значит. А Киев пал уже в результате окружения войск, и значительно восточнее Киева. Это и потом Власов, я говорю, вышел, значит. И я его действительно хвалил вам. <...> Но потом, значит, я говорю, сколько раз вы его хвалили? Вы его награждали, я говорю, товарищ Сталин, за Московскую операцию. <...> Вы, я говорю, мне его предлагали, когда, значит, Сталингр... подбирали Сталинградский, командующего Сталинградским... Вы от меня требовали, чтобы я назвал командующего фронтом, но тут же говорили, что если бы вот или же Еременко, который в госпитале больной, или Власов... Я бы Власова, говорит, рекомендовал, он Власова бы назначил. Но Власова нет". Читатель! Надеюсь, смех, порожденный хрущевскими междометиями и словесным шлаком, застрянет в гортле при чтении этих строк. Абсурд? Да, разумеется. Но и абсурд не простой, не от склерозированной памяти, переставляющей события местами. И не один абсурд, а два, дополняющих, догоняющих друг друга. Абсурд, воплощенный в Сталине, в этом абсолютном солипсисе, для которого все вокруг, все на белом свете — это то, что он принимает за действительное, принимает или уничтожает и, вычеркивая из жизни, возвращает вычеркнутых в свой сценарий, которым жи-

вет сам и жить которым принуждает других. Хрущев уже привык к этому, если к этому можно привыкнуть. Спустя без малого три десятилетия ему также не хватает слов, как не хватало их тогда, в том странном и страшном "воландовом" разговоре. Он оправдывается — и он отстаивает себя, не боясь вернуть упрек упрекающему, не страшась сказать: "Я говорю, не раз говорил о его (Власова. — М. Г.) достоинствах, значит..." А мы с тобой, читатель, отважились бы на это заикание, на это "значит"?

Предоставим будущему неторопливому, взыскательному биографу проверку достоверности этих и других признаний и свидетельств, слухов и легенд, окружающих деятеля, который, что бы ни говорилось о его манерах и стиле поведения, способах выражаться, как и способе действовать, был нестандартен и, оставаясь в пределах системы, раз за разом выпадал из той жестко регламентированной и в то же время все более безумной официальности, которая представлялась неотъемлемой от "советского образа жизни", — и всем, что он делал (во благо и даже не во благо), нанес ей едва ли поправимый урон. Парадоксально, однако, что многие современники Хрущева не склонны чересчур высоко ценить этот итог. И еще в меньшей мере улавливают и принимают они связь между изменением обстоятельств собственной жизни и индивидуальной "мутацией" Хрущева. Напротив, как раз индивидуальность эта была и остается поводом к активной враждебности со стороны одних и к скептическому равнодушию других. Нечего уже говорить о тех сравнительно немногих, для кого деятельность Хрущева была бы неприемлема в любой форме и окраске, о тех, кто не может не жалеть о режиме, который приносил возможность командовать и насильничать во имя вящей государственной необходимости, просто по привычке и из шкурного рвения. Правда, никто не считал, сколько было волковых и русановых; возможно, произведи такой подсчет лет тридцать назад комиссии, составленные из людей, прошедших пыточные тюрьмы и каторжные лагеря, то изуверов неограниченной власти оказалось бы больше, чем представляется нам. Хочется думать, однако, что тип эсэсовца по призванию и вдохновению все-таки не укоренился в благоприятной атмосфере сталинского апогея. Этому как-никак мешали и нравственная традиция России, и традиция завоевания свободы, неотделимая от трех русских революций.

Можно возразить, конечно, что любая традиция, если ее не уберечь обновлением, угасает и может вовсе отмереть, тем более что мгновенная история имперской, властвующей России, России собственных конкистадоров и многоразовых опричников, создала и совсем иные, противоположные традиции, в свой черед влившиеся в русло, проложенное насилем самой революции (остающееся насилем со всеми атрибутами, психическими

сдвигами и нравственными утратами даже в том случае, когда доказана его историческая неизбежность). Спор об истоках той и этой трагедии, столь же упорный, как и спор о средствах и силах для предотвращения новой, непохожей и вместе с тем родственной прежним, — по сути, один и тот же спор с несводимым воедино предметом. Я не собираюсь вторгаться походя в этот страстный спор, где каждая сторона слышит лишь себя, хотя я понимаю, что обойти его вовсе значило бы уклониться и от заявленной темы.

Не сбрасывая со счетов тех, у кого самое имя Хрущева вызывает скрежет зубовой, тех, у кого он вырвал сотни тысяч оставшихся живыми жертв, но не лишил "права" вторгаться в повседневную жизнь советских людей, калеча либо вовсе обрывая ее, — нам следовало бы уберечься от соблазна отнестись всех, кто так или иначе, полностью или частично, не приемлет наследия Хрущева, к разряду сталинистов. Прямодушным из них (прямодушным в кавычках и даже без оных) и впрямь сдается, что у них едва ли не миллионы единомышленников, что с ними по крайней мере всякий, кому близко к шестидесяти или свыше того. К этому бреду, однако, примешана явь. Что-то весьма земное заставляет немалое число людей, переживших страх и кровь, творить миф о добром старом времени. Но разве до конца свободны от этого и люди, мироощущение которых, казалось бы, исключает приверженность к любым мифам?

Лукавый, обряженный в правоверного марксиста, подсказывает им: так это ж яснее ясного — рассечь целое, о котором речь, на две неравные "половинки", из каких одна будет соответствовать историческому закону, неумолимо прокладывающему — сквозь все и вся — путь к совершенному финалу, а другая, заведомо меньшая, будет как раз состоять из временных отклонений на этом пути, которые тоже естественны, поскольку также находятся во власти этого самого закона ("читайте мудрого Гегеля!"). Такое философское рассечение могло бы умиротворить и даже воодушевить, если бы не особые свойства — кровь и могилы "отклонений", размер и стойкость того, что "по дороге" к финалу, — всего, что заставляет усомниться в самом законе и искать объяснения за его пределами. Может, Марксу, который как истинный ученик оспаривал учителя, и удалось бы написать другую диалогию — из "Классовой борьбы", но уже не во Франции, а в России, и из нами подсказанного "Восемнадцатого брюмера". Может, он поставил бы эпиграфом к такому исследованию-памфлету (или уже и исповеди?) собственные, оброненные некогда слова: "Нынешнее поколение напоминает тех евреев, которых Моисей вел через пустыню. Оно должно не только завоевать новый мир, но и сойти со сцены, чтобы дать место людям, созревшим для нового мира". Однако

небезынтересно, как бы прокомментировал он в середине либо в конце советских 20-х эту свою мысль: признал бы химерой самую готовность поколения "завоевателей" уступить по доброй воле место непохожим на них наследникам и продолжателям или повторил бы свое пророчество, лишь отделив сроки исполнения его?

...Сцена, правда, очистилась, но вот вопрос: для кого и в каком отношении к ним находится искомый **новый мир**? Впрочем, Сталин дал ответ на вопрос прежде, чем он возник; дал своим "Кратким курсом", призванным разъяснить и затвердить в качестве непреложного итога совпадение в одной временной точке кульминации измен социализму с кульминацией его завоеваний, принадлежащих народу. Поверит ли кто в эту "истину", кроме фанатиков и властителей, запутавшихся в старонowych проблемах и ищущих заново козлов отпущения? Однако не выдумка, а действительный и тяжкий для сознания факт — совпадение апогея убийств, жертвой которых стали в первую очередь "руководящие", но далеко не только они (особенно если отодвинуть границы времени и назад и вперед), — и все-таки совпадение: "внезапного" террора с выходом — наружу и вверх! — целого пласта вчера еще руководимых людей, вкусивших поздние плоды революции. Если же спуститься еще ниже и даже туда, где недавно бушевал смерч "сплошной коллективизации", то и там совпадение нескончаемого потока гибелей с гигантским выбросом из полупатриархальной, еще и заново общинной деревни миллионов людей, заполнивших хотя и не сразу, но все-таки в небывало короткий срок все поры индустриальной, городской, политической и культурной жизни. Не самый ли это прихотливый и трагический из парадоксов нашей истории? Фактическая отмена Декрета о земле, уничтожение результатов аграрной революции, разграбление деревни закрепили на свой лад ее же, революции, социальный и психологический сдвиг, навсегда покончивший с делением на "белую" и "черную" кость, в том числе и в самой притягательной сфере: знания, образования, художественности, — сдвиг, который тогда, в Двадцатые и Тридцатые, потрясал самых достойных людей на земле и делал их поэтому равнодушными ко многим нашим бедам и страданиям. На стороне Сталина был результат — один из наиболее могущественных и безжалостных идиолов "прогрессивного человечества"; ведь результат — это не в последнюю очередь признание его "результатом" под действием ли пропагандных усилий или в результате самовнушения, себе заданной близорукости.

Жуткая вещь — метафизика "осознанной необходимости"! Ее следствие не один лишь революционный конформизм (да, да, есть и такой), но и производное от него бессилие перед непредвиденным, которое обрекает на поражение в одиночку,

на гибель без следа и ответа. Разве не это случилось с целым поколением марксистов до- и послеоктябрьской поры? С юности уверовавшие, что пролетарская революция шагнет разом за порог "предыстории человечества", что действительности отныне надлежит совпасть с предначертаниями теории, с тем единственно возможным ее толкованием, по отношению к которому другие толкования не что иное, как ересь, как извращение; убежденные — и в этом они опять-таки были едины, — что любые напасти могут и будут преодолены волей "железных диктаторов рабочего класса", то есть суммой решений, правильных в данный момент, а если они оказываются неправильными в следующий, то всегда правильны в принципе, поскольку исходят из одного истинного источника, — что они могли противопоставить словам, которые произносили сами, когда эти же и им подобные слова вошли в лексику обвинительных актов и всенародных проклятий?! Сталинская мифология "совершенного государства"* потому и взяла верх над диалектической словесностью действительных и мнимых его противников, что в глазах последних данная, от Октября идущая действительность была наперед больше, чем одно из "мгновений" человеческого существования, чем всего лишь один из отрезков прямой, проходящей сквозь всю мировую историю. А усомнишься ли в той самой "прямой", что сквозь все эпохи и судьбы, усомнишься в природе этой прямизны, сложилась ли бы иначе их собственная судьба, их и наша?

Если поверить еще одной версии или легенде — о без малого трех сотнях, или даже больше, голосов, которые были поданы против Сталина на XVII партсъезде (и могли быть поданы в таком числе и в то время лишь в результате сговора всемогущих на местах, в областях и республиках, первых секретарей), — поданы в момент коллективно устроенного всей иерархией апофеоза Сталину (маскировка? стремление подчеркнуть единственность политики, осуществлявшейся совместно?); если подумать, что съезд этот в соответствии с этой версией смог бы закончиться смещением Сталина, а не близкой гибелью всех без малого участников апофеоза, то нельзя не спросить теперь уже не их, а себя: а дерзнули ли бы те, а способны ли были они, завтрашние мертвецы, действовать по-другому? Знали ли такой путь (вперед!), такой "возврат к ленинскому наследию", который после событий, равносильных геологической катастрофе,

* Ср.: "История так же, как и познание, не может получить окончательного завершения в каком-то совершенном, идеальном состоянии человечества; совершенное общество, совершенное "государство" — это вещи, которые могут существовать только в фантазии". Так смотрели из прошлого в будущее те, кого называют классиками марксизма; в данном случае — Энгельс, которого нескрываяемо недолюбливал Сталин. Впрочем, может, приверженность к троице подталкивала его к устранению четвертого "лишнего"?"

не был бы, уже не мог быть простым возвратом к мысли, превращенной, как и тело, в освященную мумию? И в сталинской ли редакции этого канона будущие беды и трупы или они в каноне как таковом, в "процедуре" его освящения?!

Оттого Сталин и преуспел на этом поприще, взяв верх над более искусственными и талантливыми. Оттого и удалось ему подменить Ленина саморазвития: движения к себе и от себя и снова к себе, другому, Ленина нэповской "парадигмы" и последнего выбора на пороге смерти, этого Ленина подменить иным, неизменно верным себе и однозначно систематизируемым. Систематизацией преемник-ненавистник и взял верх, втеснив ее в сознание графической твердостью контура, членением целого на равномерные и непротиворечивые составляющие, доступностью и... тиражами "Основ ленинизма", которые сыграли не меньшую, если не большую роль в эпопее самоутверждения (и самоуничтожения!) эпигонов Ленина, чем та роль, какую для новобранцев партии в разгар революции сыграла напрочь забытая "Азбука коммунизма" Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского.

Есть нечто символическое и надличное в этой подмене "коммунизма", рискнувшего начать и зовущего всех, к нему влекомых, — подмене его адаптированным "ленинизмом", сразившим врагов (и оппонентов!) и требующим преданности затверженному составу идей... Что же находилось в запаснике тех, кто спустя десятилетие решился бы заменить Сталина? Тот же канон? "Живой" опыт искоренения уклонов? Усилия сохранить остатки "коллективного руководства"? Но может, и личное мужество и еще — раскаяние в совместно содеянном? Если бы последнее, если бы оно — вслух, вслух!!

Правда, и новое знание, и решимость к самоперемене приходят, когда в них остро нуждаются. Правда, началам (ежели они начала) свойственно творить собственное продолжение. А в середине 30-х еще был жив человек земли и процесс обезлюдивания душ еще не достиг тогда своего края, как и выглаживание местных различий, национальных своеобразий. Одно лишь восстановление институтов Советской власти, одна лишь отмена "исключительного положения", на котором находилась страна со времен коллективизации, одно лишь устранение препон свободному социалистическому слову — осуществить и то, и другое, и третьи такие деятели, как Киров, Орджоникидзе, Куйбышев, Рудзутак (при активном или даже только пассивном поначалу содействии остальных), — могло бы послужить если не возвратом без повторения, то хотя бы исходным пунктом к нему.

Могло бы или нет? Открытый вопрос. Открытый по сей день. Сталин опередил. И хотя вероломному действовать много проще, чем честному, кто объяснит вероломством целую эпоху?

Надобно быть человеком, а не флюгером. Это — важная вещь, это, быть может, важная вещь в истории.

Н. Чернышевский

Тем более не знал, тем более не помышлял о том, чтобы открыть или хотя бы приоткрыть дверь в другую эпоху, человек, которому суждено было это сделать спустя двадцать с лишним лет. Можно, правда, сказать, и не без основания, что не Хрущев открыл эпоху, а она нашла его и подтолкнула, прошептала на ухо: смелей, смелей, теперь уже другое время, теперь получится!

В истории, как на войне: погибнуть можно и от недолета и от перелета. Разница лишь в том, что на войне лучше не размышлять об исходе; история же настраивает на противоположный взгляд — она сурово обходится и с не способным думать о последствиях, и с не желающим рисковать. Ее недолеты и перелеты к тому же не вычислишь заранее. И всегда останется предметом ретроспективного спора: все ли из наличных и будто наличных возможностей перешло в действительность или там, позади, в остатке, нечто весомое, нужное (и даже самое нужное!), что еще ждет своих открывателей и воплощений? Наконец, и сам спор входит внутрь "эпохи", продлевая ее либо обрывая...

Смерть Сталина как будто за пределами такого спора. Внезапность этого события, как и последовавших за ним — вплоть до XX съезда, — могла бы служить едва ли не самым сокрушительным опровержением предустановленности в делах исторических. Конечно, взгляд назад способен усмотреть в последних годах сталинского владычества если не приметы назревшей катастрофы, то, во всяком случае, такую степень вырождения и обесмысливания власти, какая не могла не привести к саморазрушению. Но какой ценой досталось бы это саморазрушение нашей стране и человечеству? Так или иначе серьезность намерений Сталина упростить не поддающийся упрощению послевоенный Мир и увековечить свое господство над всем "лагерем социализма" с помощью новых судорог вряд ли может быть поставлена под сомнение. Правда, Сталин умел и отступить, но до какого предела?

Своим наследством он не успел распорядиться. Да и пришло ли бы это в голову человеку, равно страшившемуся смерти и убедившему себя, что его-то она обойдет? Его сподвижники, представлявшие собой лишь наиболее высоких по положению, но также обреченных на исполнение аппаратчиков, внезапно оказались вынужденными сами решать, решать все. Можно было, конечно, просто влачиться в прежней колее, следуя заведенно-

му порядку, но ничего не менять было невозможно. На руках осталось "дело врачей" и лишь едва зашпаклеванные с помощью антиюгославских и антисемитских процессов трещины в социалистическом лагере, явно назревший раскол в коммунистическом движении, которому — после политических и духовных перемен, рожденных Соппротивлением, и после тяжелых испытаний, выпавших на долю антифашистского единства в первые же послевоенные годы, — грозила в начале 50-х новая и, не исключено, окончательная изоляция внутри воскресающей Европы. К этому следует добавить открытый (и неизбежный) кризис в отношениях с Китаем Мао. О том, что делалось в глубинах собственной страны, вероятно, ведал лучше других в силу своего положения Берия. Весьма возможно, что он был единственным, кто не только радовался смерти Сталина, но и имел план действий на этот случай. Для других же именно Берия, активно и поспешно действующий Берия, был наследством, от которого следовало раньше всего освободиться.

Шли ли помыслы Хрущева дальше этой ближайшей цели, сказать трудно. Во всяком случае, он не побоялся взяться за ее осуществление. Взявшись же, оказался вынужденным делать один шаг за другим. И будем справедливы: не только вынуждался к этому "извне", что бесспорно, но каждый следующий шаг делал со все большим азартом и с уверенностью, которые приходят в настоящем бою. И тут открылась маленькая тайна сталинской иерархии: в ее среде удивительным образом сохранилось подобие *человека*. Может быть, то, что Хрущев сохранился во время прошлых "чисток" и как будто не намечался в новые жертвы во время явно подготавливаемой Хозяином и уже в чем-то близкой к осуществлению перетасовки в верхах, было причудой Сталина; он любил соединять несоединимое, а как иезуит властвования нуждался в том, чтобы в его окружении постоянно клубились интриги и конфликты, питаемые предчувствием разности в судьбах.

На первый взгляд Хрущев мало отличался от других соратников. Как и другие, и в меру занимаемого им положения, он был во многом повинен, в том числе — и прежде всего — в человеческих жертвах (Сталин зорко следил, чтобы никто из его окружения не уклонялся от законов круговой поруки и связанности сообща содеянным). А то, что отличало Хрущева до 1953 года, могло бы даже рассматриваться как недостатки его по сравнению с другими, более высокопоставленными членами иерархии. Хотя Хрущев был хитер и искушен в правилах аппаратной игры, эта хитрость все же не убила в нем непосредственности, которая не принадлежала к числу качеств, позволявших подняться на самый верх. Хрущев был, безусловно, смелым человеком, но и это качество казалось избыточным в политике, пока не пришел его, хрущевский, час.

...Карьера Никиты Хрущева развернулась сравнительно поздно. Его место в номенклатуре находилось где-то между деятелями, поднявшимися накануне революции или в начале ее и достигшими достаточно высоких постов во время "войны диаволов" после ухода Ленина, и совсем новыми людьми, возвращенными в тиши сталинских аппаратов, а то и взлетевшими наверх в одночасье 1937-го. Это его срединное положение многое объясняет. Родословная большевизма если и не была ему вовсе не известна, однако и не сливалась полностью с его собственной биографией, потеснив, но не вытеснив до конца ее "беспартийные" страницы и воспоминания. Вместе с тем он успел пригубить романтики первых постреволюционных, военно-коммунистических лет. И его позднейшая ностальгия по общезитиям вряд ли была только словесным украшением его градостроительных проектов. Различие между ним и остальными из ближних бояр состояло в том, что он — и не только в силу занимаемых постов (в Москве и Киеве), но и по самому складу — принадлежал к категории массовиков. Таковых к началу 50-х годов осталось не слишком много среди партийных деятелей высокого ранга, но их было немало в толще низовых кадров, и им Хрущев своим обликом был ближе, чем вельможи-холопы старого закала и типичные карьеристы третьего призыва.

Сказанное выше, разумеется, далеко не портит Хрущева. Для портрета нужно неизмеримо более близкое знакомство с натурой. Но спросим, добавит ли оно что-то принципиально новое, что способно было бы само по себе разъяснить ту роль, какую ему довелось сыграть после 5 марта 1953 года? Я сомневаюсь в этом. Остается если не загадкой, то, во всяком случае, темой для философско-исторического размышления: почему при данных обстоятельствах простота или даже простоватость (либо то и другое в прихотливом сочетании) сумели стать детонатором событий, которые отнюдь не обязательно должны были получить такой именно разгон и тем более такой масштаб?

Началось же, как известно, с того, что Хрущев бросил вызов Берии. Вероятно, он хотел поначалу немногого: отвести опасность от самого себя и себе подобных. Но становится ли меньше подвиг солдата, который на поле боя спасает свою жизнь, поворачиваясь при этом к противнику не спиной, а лицом? Тут же, на кремлевском поле боя, в считанные месяцы после смерти Сталина, было не до диспозиций. Сторонники вербовались на ходу и далеко не по идейным признакам, само же действие способно расположить нас к себе лишь результатом. Поучительно бы сегодня перечесть обвинительное заключение против Берии — документ, в котором крохи кошмарной правды соседствовали с очевидной напраслиной: в разряд преступлений, например, была зачислена попытка посредством контакта с Ранковичем замирииться с Югославией; что уж говорить о таких пикантных

подробностях, как вменявшееся в вину Берии покровительство "англофилу" Майскому, находившемуся тогда в заточении.

Впрочем, стоит ли удивляться: ведь спустя несколько месяцев давнишнему союзнику и пленнику Берии — Георгию Маленкову, сыгравшему немаловажную роль в коллективном самоосвобождении от него, будут инкриминировать уже не успех изготовленный букет разоблачений, а нечто по-своему цельное и этой цельностью характеризующее господствующее умонастроение в нестройном высшем эшелоне тогдашней власти. В вину Маленкову вменялся не столько былой комплот с Берией, сколько идейное и политическое отступничество в считанные месяцы его (Маленкова) премьерства: тут и стремление развивать группу "Б" в ущерб группе "А", и демагогические уступки крестьянству, и, наконец, или раньше всего, антимарксистский тезис о том, что в атомной войне не будет победителей. Многим ли в таком случае отличался Хрущев от своих обезвреженных врагов и соперников, да и в лучшую ли сторону, если взять в расчет и конечный результат его деятельности? Этот вопрос неприятен, но законен. Можно бы (в ответ) указать на то, что в первую послесталинскую пору Хрущев не мог действовать один, а, стало быть, должен был, дабы добиться успеха и просто не погибнуть, сообразовывать свои шаги с образом мыслей и намерений других соучастников. Надо бы добавить, что он сам еще тогда не дозрел до исторического Хрущева, а когда дозрел, то стал быстро терять самого себя.

В этой добавке суть, и у этой сути было пусть скоротечное, но свое развитие, а у развития — своя исходная фаза. Если не с самых первых шагов, то уже, во всяком случае, в разгар борьбы, начальным эпизодом которой явилось уничтожение Берии, Хрущев стал добиваться освобождения еще живых политических узников и восстановления доброго имени погубленных — почти всех (на всех, включая тех, имена которых поколениями зазубривались в качестве губителей революции и социализма, Хрущева не хватило ни тогда, ни позже).

Спустя годы "реабилитация" видится едва ли не самоочевидной. Последующие события отодвинули ее — и эта акция, беспрецедентная в рамках всей советской истории, в глазах многих ограничена лишь переменами в судьбе людей, большинство из которых уже ушло, теперь навсегда. Между тем речь шла о завтрашнем дне всех, хотя, быть может, так это воспринималось скорее противниками задуманной меры, чем ее автором. Собирался ли вначале Хрущев лишь ответить ударом на удар все тому же Берии, который, возглавив вновь органы безопасности, начал с демонстративного и весьма эффектного прекращения "дела врачей" — последнего из преступлений Сталина? Не располагая необходимыми документами, не станем руководствоваться поздними заявлениями и воспоминаниями

самого Хрущева, рассчитанными на публику. Попробуем рассмотреть факты, доступные нам.

У "дела врачей" были конкретные виновники: конечно же, Рюмин был не единственным, как у "ленинградского дела" не был единственным виновником Абакумов. Ответственность же за все бесчисленные жертвы десятилетий сталинского террора нельзя было взвалить на одного-двух-трех или даже на много большее число непосредственных осуществителей; за это "наверху" отвечали все (не исключая и многих погибших), — все, ставившие свои подписи на списках обреченных, все, произносившие речи—призывы к расправе. Немедленная и поголовная реабилитация означала открытое признание этой общей ответственности. Она не могла обойти, разумеется, Сталина, а назвать его вслух и связать его имя с убийствами без причины и повода означало не только свергнуть кумира. Это значило также раскритиковать систему, обнажив ее сокровенные механизмы, из которых механизм тайны был не менее основополагающим, чем механизм страха. Поэтому лидерам, только что успевшим распределить между собой ключевые посты, любые шаги Хрущева в этом направлении должны были казаться опасным сумасбродством.

В сложившихся условиях добиться своего можно было, лишь овладев всей властью. Нам могут сказать: а не наоборот ли было? Не было ли действительной целью овладение всей властью, а реабилитация — только решительным средством, чтобы это сделать? Пусть так. И в этом случае правота на стороне Хрущева. Допустим даже, что Хрущев поначалу хотел лишь освободить тех, кого помнил, кому когда-то был обязан. Но железные соратники Сталина не дали бы ему сделать и этого, во всяком случае, открыто.

Чтобы освободить немногих, надо было освободить всех. Чтобы освободить всех, надо было действовать напролом.

Восстановить законность можно было только вопреки юридическим нормам и процедурам — "просто" открыв ворота лагерей*. То, что сделал Хрущев, было уже не очередным или даже не внеочередным дворцовым переворотом, а революцией, хотя и облеченной в привычную — верхушечную, распорядительную — форму. Впрочем, привычную весьма условно, если вспомнить, что "секретный" доклад на XX съезде оглашался на бес-

* Конечно, решения, принимаемые в Кремле, диктовались не только расстановкой сил внутри правящей группы. Когда будет воссоздана во всей полноте картина тех месяцев и лет, яснее станет и связь между хрущевским поворотом и подземными толчками, исходившими из преисподней Сталина: нарастающим сопротивлением в лагерях, которое достигло своей кульминации в трагически упорном и вероломно раздавленном Кенгирском восстании (лето 1954 года). Могло ли это остаться без последствий?

партийных собраниях — от гигантских заводов до домоуправлений — и тут же был переброшен за границу, сделан достоянием всего, в том числе "враждебного", мира.

Многое, и даже решающее, в действиях Хрущева было вызвано упрямым и жестким противодействием таких полусоюзников, полупротивников, каким являлся вначале (до казни Берия и свержения Маленкова с премьерского поста) кремлевский старожил Молотов. Кто ныне осмелится сказать доброе слово о Молотове, а между тем и он не был начисто лишен желания отступить от безумия сталинского финала. Вернувшись в дом на Смоленской площади, он стал осторожно приоткрывать дверь в Мир. Не исключено, что он без колебания согласился с антибериевским замыслом. И также не исключено, что выборочная, закрытая, постепенная реабилитация не противоречила его намерениям. Впрочем, выяснение индивидуальных оттенков в замкнутой групповой политике требует особых, "интимных" источников. Но кое-что просочилось. Сам Хрущев обожал детали, а стенограммы пленумов ЦК, по крайней мере в первые послесталинские годы, зачитывались вслух в избранных парторганизациях. Из них-то мы знаем, что Хрущев вначале держался близко к Молотову, и вряд ли только из антибериевских расчетов. Маленков выговаривал ему: что вы все смотрите в рот этому старику? Речь шла в данном случае о берлинских событиях 1953 года; после расправы с демонстрантами и с целью предотвращения повторов Берия и Маленков внесли в Президиум ЦК проект решения, которым осуждался курс на строительство социализма в ГДР (!). Молотов, естественно, не возражал против того, что будущее Восточной Германии решается строчкой московской резолюции; он внес единственную поправку, предлагая осудить лишь форсированное строительство социализма. Большинство, включая Хрущева, приняло его сторону.

Однако вскоре расстановка сил изменилась. Хрущев с каждым днем чувствовал себя все уверенней. Молотову же и присным просто не могло прийти в голову, что столь обязанный им Первый секретарь осмелится предъявить заявку на полноту власти. Но у этого просчета был и более широкий фон. Молотов считал себя теоретиком и выглядел таковым в глазах других. Ему, конечно же, претила самодетальная семантика Хрущева, и, хотя он сам произносил в те смутные времена речи, в которых попадались фразы вроде *наука старше марксизма*, помыслить о приведении ортодоксальной веры в соответствие со всеми опытами и уроками, в числе которых миллионы жертв, было бы сверх всяких его сил и возможностей. Отказ от публичной ответственности, таким образом, не только поощрялся великой буквой, но и служил своего рода доказательством преданности ей. Парадокс это или, напротив, жестокий закон: в эпохи кризи-

сов догматизм не только перестает быть доброкачественной опухолью, но и со сказочной быстротой перерастает в канцероген. Презренная же эклектика, если в упряжке с ней физическая смелость и толика человечности, может, оказывается, принести не только добро, но и свет.

Если схватка с деятелем, которому он еще вчера "смотрел в рот", не была для Хрущева полной неожиданностью, то менее всего он был готов к переносу ее на почву догмата. В том, что касалось "буквы", он, мало сказать, не был силен. Он был верен ей всей душой (и, надо думать, не из одних лишь практических соображений двинул в ход список обвинений, предъявленный Маленкову). Теперь пришла его очередь.

На обвинения в расшатывании основ Хрущеву следовало ответить чем-то утвердительным. Впрочем, к этому в не меньшей степени обязывала его искомая и тем паче завоеванная полнота власти. Оглядываясь назад, мы вправе сказать, что по крайней мере дважды, сразу после XX съезда и особенно сразу после XXII, Хрущев мог сделать все. Действительно мог или это только мнится нам задним числом?

Ответить на этот вопрос непросто. Ведь даже обретя монополию решений, Хрущев не сделался самодержавцем (где такие сейчас, разве что в джунглях?). Его ограничивало прежде всего окружение, оставленное Сталиным, а затем и созданное им самим. До известной, но не слишком большой степени его ограничивали и наличные ресурсы. Гораздо сильнее, хотя, быть может, и не столь заметно, сдерживали и мифы и реалии коммунистического единства (с Китаем ли, как во времена венгерских событий, или против Китая, но в любом случае все-таки не в одиночку). Однако самые сильные ограничители разместились внутри него самого, причем не в качестве даже специальных стоп-кранов, не в виде сомнений, а, напротив, в оболочке непрекаемых истин и почти безусловных рефлексов.

В тот момент, когда Хрущев овладел властью, овладел в результате разоблачения Сталина и противопоставления ему, перед ним — по самой сути вещей — возникла проблема: как уберечь обретенную власть, сохранив вместе с тем первоначальный пафос своей деятельности? Проблема эта, как обнаружил последующий ход событий, была неразрешимой — и для него ли только? Она, собственно, еще не доросла до проблемы, а постольку не могла и переключать с "проблемного" поля в сферу задач, поддающихся распределению во времени, — с прикидкой последовательности отдельных действий и их предварительным взвешиванием. Всякая попытка одолеть сталинское наследство при помощи этого же наследства, главным в котором оставались бесконтрольность и "идеальность" властвования, должна была либо повернуть вспять и нового лидера и страну, либо завести его и ее в тупик. Однако, как это ни странно на первый взгляд,

именно сочетание этих несовместимых начал и открыло эпоху, ныне связанную с именем Хрущева. Именно оно и позволило, отчасти благодаря собственной его воле, а отчасти и помимо нее, в конце же концов даже против его действий и воли, совершиться разительным переменам: не только в политике и даже не столько в политике, сколько в психологическом климате нашей страны, а благодаря ее месту в Мире — и Мира.

Это последнее утверждение может показаться спорным. Оно действительно спорно в свете ближних итогов, а о дальних, каких еще нет, говорить ли историку? С поправкой на это позволю себе высказать лишь некоторые соображения.

Деятельность Хрущева начиная с 1956 года была чересполощицей разных стимулов, менявшихся местами причин и следствий. Многие диктовались обстановкой, потоком событий, телеграмм, входящих бумаг. Немало перешло в наследство от программы Берии—Маленкова, которую легко было осудить, но непросто отбросить. Сомнительно, правда, чтобы вопрос стоял именно так: что "оставить", а что "отбросить". Здесь нам, кроме догадок, особенно бы нужны документальные свидетельства. Мы не знаем, например, когда и как совершился переход от югославской инвективы в адрес Берии к собственным хрущевским примирительным шагам, в свою очередь сделавшим неизбежным открытый разрыв с Молотовым. (Перечень подобных вопросов мог бы быть, разумеется, продлен; в конечном счете он охватил бы подоплеку без малого всех событий того времени. Ужаснуло ли бы нас такое узнавание или, наоборот, приободрило картиной упущенных и возобновимых возможностей?)

Во всяком случае, мы обладаем достаточным правом предполагать, что Хрущеву было чуждо полицейское государство благоденствия, какое для Берии (и Маленкова!) являлось единственно возможной заменой сталинскому тоталитаризму, точнее, сохранением тоталитаризма без Сталина и даже с отлучением его. Сделав же следующий шаг, начав расшатывать самую систему, притом в наиболее незыблемом ее пункте, воспрещающем сострадание к человеку, Хрущев оказался перед дилеммой: поставить во главу угла человека же — с его утраченной, но не исчезнувшей жизнью и судьбой, или же сделать "руководством к действию" унаследованный комплекс могущества с его жесткими правилами, диктующими каждому народу и каждому человеку место и границы дозволенного, и с его иллюзиями, позволяющими миллионам находить смысл и даже счастье в несвободе?! Почти все прошлое Хрущева тянуло его ко второму из мыслимых решений. Но все-таки не все прошлое, поскольку существовал феномен реабилитации, звавший к продолжению, но уж за пределами сталинских лагерей, поскольку вместе с обретенной властью Хрущев сам впервые почувствовал себя сво-

бодным человеком. Вскоре выяснилось, что он был едва ли не единственным ("при Хрущеве"), кто располагал свободой, и уже одно это делало сомнительной и недолговременной его собственную свободу. Но пока он пользовался ею властью.

Человек, каждый шаг которого находился под надзором пекущейся о его безопасности охраны, открыл для себя целый мир. Его заграничные вояжи далеко не всегда диктовались политической нуждой, но и в этом последнем случае он явно нарушил традицию: бронированные поездки Сталина в Тегеран и Потсдам заведомо исключали общение с кем-либо, кроме жрецов высшей власти. Хрущев же рвался ездить и смотреть. Он не скрывал удовольствия от своих путешествий по Европе, Азии и Америке. Он не просто раскланивался и произносил подходящие случаю речи, он еще и искренне поражался: древности Индии, равномерному благоденствию Франции, масштабам американской предприимчивости. Он сделал открытие, капитально важное для нашего общества, — признал непохожесть нормальным состоянием, притом сделал это опять-таки в форме, наиболее отвечающей его натуре.

Поистине символична стычка его с Молотовым, комическая окраска которой лишь заостряет значительность смысла. Посетив Финляндию, Хрущев позволил себе воспользоваться баней, и — о ужас! — вместе с премьером Кекконеном. Кроме вежливости (приглашен ведь был), тут, несомненно, сработала и хрущевская любознательность вкупе с постоянной прикидкой мастерового человека: что бы там, у других, позаимствовать, будь то та же финская сауна или секрет оконных рам (посещению Хельсинки мы обязаны в числе прочего упразднением форточек во всесоюзных Черемушках). Но одно дело — державные забавы в жанре Петра Великого и совсем другое — столь легкомысленно нанести "урон" советскому первородству. Мог ли проглотить это без осуждения непроницаемый и скучный Молотов?

Когда я вспомнил этот эпизод, фигурировавший в баталиях одного из тогдашних пленумов, на память невольно пришла совершенно другая сцена. Дело было в конце мая 1942 года, Молотов находился с визитом в Соединенных Штатах. Поездка была сугубой важности, заинтересованность в Рузвельте — максимальная. Кроме деловых разговоров, устраивались, само собою, и обеды и завтраки. На одном из них Рузвельт поинтересовался впечатлением, какое на Молотова произвел Гитлер, — из всех присутствующих советский наркоминдел был последним по времени, кто общался с фюрером. Сэмюэл Кросс, профессор славянских языков в Гарвардском университете, служивший переводчиком президента, записал: "Молотов подумал минуту и затем сказал, что в конце концов договориться можно почти со

всеми". Он добавил также, что ему ни разу не приходилось иметь дело с более неприятными людьми, чем Гитлер и Риббентроп. Биограф Молотова мог бы расценить его ответ как образец дипломатического совершенства, особенно если учесть, сколь деликатен был сам сюжет (Берлин, осень 1940-го, советско-нацистский альянс, утряска территориальных воцелений, прерванные там и возобновленные затем в Москве и длившиеся многие месяцы переговоры о разделе мира, об условиях присоединения СССР к "антикоминтерновскому пакту"). Однако Рузвельт, похоже, ни на что подобное не намекал. Вероятно, он хотел понять нечто, что могло бы быть принято во внимание как психологический фактор при глобальных политических и военных решениях. Скорей же всего, его занимал — сам по себе — вульгарный антихрист, которому удалось невесть каким образом поставить человечество на грань самой страшной из исторических катастроф. Он спрашивал о том человеке (каков бы он ни был) у человека же и не вполне сознавал, что такая плоскость общения исключена для деятеля, к кому он обратился с этим вопросом.

Описавший позднее этот случай Р. Шервуд, автор замечательной книги "Рузвельт и Гопкинс", замечает: "...Рузвельта вовсе не пугала новая и необычная для него проблема в области человеческих отношений, какую представлял собой Молотов. Напротив, это было для него вызовом, заставившим Рузвельта не щадить усилий, чтобы найти общую почву, которая, как он не сомневался, должна существовать". Молотов тоже искал общую почву и тоже, надо полагать, не жалел сил для этого. Но являл ли Рузвельт для него "проблему в области человеческих отношений"?.. Согласиться с этим было бы равносильно тому, чтобы признать, что для Молотова, как и для его патрона, антигитлеровская коалиция представлялась непредуказанной попыткой преобразования характера всей человеческой истории, а не только известного рода необходимостью наподобие неудавшегося или только частично удавшегося сговора с Гитлером. Правда, в 1942-м об этой частичной удаче, резко продвинувшей границы СССР на Запад, говорить не приходилось; шла война не на жизнь, а на смерть, и от исхода ее зависела и возможность вернуть доставшееся без "своей" крови в 1939-м и 1940-м; путь к возврату лежал через победу, для которой требовался теперь совсем иной союз.

Чему удивляться больше: тому, что Сталин, едва вышедший из прострации памятных июньских дней, оказался готовым к коалиции с ненавистными западными демократиями, или тому, что Черчилль, не теряя ни минуты, первым протянул руку России, которая еще вчера наполняла своей нефтью баки немецких бомбардировщиков, бравших курс на Лондон и Ковентри?! Английский премьер не страдал отсутствием честолюбия. Бри-

танская империя и "я" являлись для него едва ли не синонимами, но вряд ли он подписал Атлантическую хартию лишь оттого, что к этому вынуждало его партнерство с Рузвельтом. В сталинском же "я" страсть миродержавия и исконное презрение к людям сплетались с приспособленным к себе марксизмом, который и в исходной и в ленинской версиях не мыслит полноты осуществления цели иначе, как в масштабах Мира. На это нетрудно возразить: между Лениным и Сталиным — пропасть, на дне которой превеликое множество трупов. Пропасть — да. Но все-таки особенная, с мостками, которыми пользовались так или иначе все из выживших единоверцев. Немаловажное, сугубо немаловажное *так или иначе*, но дотягивает ли оно даже в лучшем случае до отклонения императива борьбы "двух миров — двух систем"?

Этот вопрос может показаться наивным лишь задним числом, да и сегодня он не реликт. Помудрев по части форм борьбы с мировым капитализмом за всемирный социализм, переступили ли разноязычные коммунисты (по крайней мере в то время, о котором наш рассказ) рубеж ее сущности? Бесспорно, они уходили от сталинского переименования того исконного, легендарного образа-зова: разрушить до основания "весь мир насилия", от переворачивания его в образ-приказ: уничтожить все, что не *мы*, что не *наше*, — от этого уходили, но к чему шли уходя? К новой ясности или сначала к новой неясности, проясняемой и запутываемой тактикой, злобой дня, схватками с противниками "справа" и "слева"?.. Казалось, и выученный войною Сталин отрекся от бывшего "социал-фашизма" и т. п., осознав если не ценность, то силу "буржуазной демократии". Не станем обманываться. Уходили одни слова, приходили другие. Место прежних перевертышей занимали другие. Неизменным оставалось одно: Мир — это *поприще*, а раз так, то могут ли быть (внутри самого себя) другие барьеры, чем соотношение сил в данный момент, чем искусство использования его в своих интересах?! К тому же Сталин обожал игру в близость с любимым, в ком нуждался, и до той поры, пока в нем нуждался, был виртуозом этой игры и уже по тому одному роль эту не собирался перепоручать даже самым доверенным из тех, кто рядом, в лучшем случае им позволялось подыгрывать.

Хрущев заведомо не входил в их число. В делах внешних он был к 5 марта совершенным профаном. Легко допустить, что закордонный мир представлялся ему поначалу чем-то вроде ушестеренного своего, только с тем отличием, что тамошние "секретари обкомов" иначе одеваются и по-другому говорят. "Мы считали, — выразился он как-то в 1955, — что это очень сложно — заниматься дипломатией, а оказалось, что совсем просто". Переменил ли он впоследствии свой взгляд? Вероятно, переменил, но не столь радикально, как это диктовалось об-

стоятельствами. Не так легко переходить от изъяснений с "домашними" секретарями к разговору, регулируемому протоколом, но еще труднее согласовывать "марксистско-ленинский" словарь с общением в финской бане: человеку как-то неудобно видеть в другом голом человеке всего лишь персонафикацию навсегда чуждого мира...

Если вдуматься поглубже, речь идет о самой краеугольной проблеме XX века. Эту проблему можно сформулировать по-разному, с разной степенью неточности, поскольку она не поддается строгому определению. Говорят ли о "сосуществовании" или о "конвергенции", взывают ли к нравственности либо к реализму в международных делах, по сути, имеют в виду (конечно, когда не притворствуют, не словоблудят) невозможность достижения даже скромных, но все же продвигающих вперед результатов без установки на максимум: на избавление человечества от содокупной геополитики с ее неизбежным от века составом подходов и приемов. Слов нет, такое негативное определение выглядит и недостаточным и непрактичным. В самом деле, допустимо ли решить сначала, "чего делать нельзя", не выяснив предварительно, что именно и как именно надо и можно делать? Поскольку же последний вопрос заранее предусматривает в корне отличные ответы (сколько миров, столько и ответов), то не безрассудно ли пытаться найти *всеобщее* "чего не делать"? Кажется, что выхода из этого нет, если не считать выходом вселенское самоубийство. Но при более пристальном рассмотрении выход все-таки обнаруживается — и как раз в той самой "проблеме из области человеческих отношений", которую, по мысли Шервуда, пытался некогда решить для себя Франклин Рузвельт. В частных случаях он, по всему видно, достигал поставленной им задачи, в более широком смысле также обречен был на успех.

Время узнавания человека — в иных, в других (во всех иных и во всех других!) — не пришло тогда ни для кого из власть имущих. Ибо преградами на этом пути служили, да и служат поныне, не одни лишь профит и амбиции, милитаристский зуд и рвение доктринеров, но и "преждевременность" и беспрецедентность замещения прежних социальных и национальных стимулов международной политики вовсе новыми: *непосредственно* исходящими от человека и ориентированными *прямо* на человечество. Нет эпохи, когда эта надежда (и иллюзия) представлялась бы насущней, чем в эпоху, ведущую свой отсчет от 1945, 1953, 1968 годов. И кажется, нет эпохи, когда она таила бы большие опасности. Сколько раз убеждались мы за последние десятилетия, что человек "вообще", бросающий вызов политике "вообще", обречен либо на отшельничество или даже на гибель в одиночку, либо на то, чтобы поджечь невзначай бикфордов шнур.

Правда, люди издавна научились запрягать телегу впереди лошади, неизведанным образом опознавая еще не открытую ими цель. Теперь, однако, стало рискованно открывать цель неиспытанным способом. Вот отчего столь злободневен ныне "наивный" вопрос-критерий: дано ли (и кому первому?) отказаться от себя вчерашнего во имя Завтра, которому уже не быть (никогда!) только своим?! Держась этого критерия, надо бы заново рассмотреть все аспекты внешнеполитической деятельности Хрущева, не ограничивая себя лишь рамками "его" десятилетия, ибо узлы, завязанные тогда, стали развязываться позже или, напротив, еще крепче затягиваться в уже изменившихся условиях и при других персонажах.

Сам Хрущев унаследовал от Сталина не только границы и застойные конфликты, но и неуходящие замыслы и средства, способные решающим образом влиять на ход мировых дел. Сталин, к счастью, не дожил ни до "своей" водородной бомбы, ни до первого спутника, начавшего космическую одиссею. Он не дожил и до критических рубежей в самораспаде колониальных империй, и до появления "Острова свободы" в считанных милях от США. Его преемнику фортуна явно благоприятствовала. Она избавила его от ограничений, которые накладывала на внешнюю политику СССР американская атомная монополия, тем самым открыв возможность активизации этой политики в направлении, противоположном сталинскому. Игре в опасность он мог отныне противопоставить добрую волю силы. Мы вправе сказать, что разрядка появилась на свет именно тогда, когда она только и могла появиться. Но за первыми ее шагами (и как результат их) вставал вопрос: прологом к чему явится — и не только в ближнем, но и в конечном счете — сама разрядка? Задавался ли этим вопросом Хрущев? Едва ли.

Если в качестве путешественника он позволял себе открыто восхищаться и удивляться, а в роли премьера не очень считался с дипломатическим ритуалом (своими экстравагантными выходками повергая одних в удивление, а других даже восхищая, особенно в Штатах, где политическая экзотика котируется выше, чем в странах Старого Света), то от главы державы, только что обретшей средства, способные уничтожить жизнь на Земле, требовалось большее. Много большее. Формально говоря, Хрущев располагал программой внешней политики. Достаточно перечсть для этого его доклад на XXII съезде КПСС (1961), задержавшись на разделе "Коммунизм и прогресс человечества". Перед "лицом всего человечества" он заявлял именем партии, что "она видит главную цель своей внешней политики в том, чтобы не только предотвратить мировую войну, но и навсегда исключить уже при жизни нашего поколения войны из жизни общества". Впрочем, это мог сказать, только менее категорично

и менее патетично, и Сталин (что он и сделал на XIX съезде). Что уж говорить о последующем, спустя несколько абзацев, и столь же клятвенном заявлении Хрущева: "Если империалисты бросят нам военный вызов, мы не только без колебания примем его, но и со всей присущей коммунистам беззаветной отвагой и мужеством обрушим на врага удар всесокрушающей силы!" Тут, кажется, нет нужды делать и поправку на стилистику — перед нами предвоенный Сталин. Ему ли по инерции вторил Хрущев или припомнил казус Маленкова, его "кощунственную", "пораженческую" фразу, уравнивавшую судьбы капитализма и социализма в ситуации "удар на удар"? Нет, полагаю. Это было для него уже позади. Теперь — всевластный — он мыслил коммунизмом при собственной жизни и этой меркой мерил все приводящее и противостоящее. К тому же то, что он торжественно провозглашал, вся эта смесь несовпадающих и несовместимых лохмотьев догмы и "собственных" его новаций, было в его глазах писаниной, которую он охотно зачитывал, в делах же склоняясь к тем импровизациям, какие и раньше составляли его натуру, а теперь получили поистине безграничный простор, с тем только отличием, что во внешних сношениях он был не сам-один и существование других действующих лиц и сил не могло не накладывать печать на принимаемые им и им же переиначиваемые решения. Понятно, что для последовательности тут так же не оставалось места, как и в "программных" текстах. Так же, но все-таки на другой лад.

Абстрактный спрос дурен тем, что он крепок задним умом. Представим в роли действующего Хрущева кого-то более последовательного из тогдашних деятелей или тех, кто был на подходе, и мы, вероятнее всего, придем к выводу: "последовательный" был бы еще ближе к эпохе, которая, оборвавшись в событиях, еще продолжала (и продолжает) жить в людях. Прикинув же эти pro и contra, скажем: Хрущев хотя бы был непоследователен. Еще вчера он высмеивал "ничего не понимающего в политике" творца водородной бомбы, предлагавшего раз и навсегда прекратить ядерные испытания, опасные сами по себе для Земли и ее жителей, но пришел день, и "сахаровский" договор (запрещавший эти испытания в атмосфере, космическом пространстве и под водой) стал реальностью, войдя в актив Хрущева-миротворца. И так во многом другом.

Можно сказать, что Хрущев был последователен в своей непоследовательности. Он был верен себе, обещая снабдить Мао секретами атомного оружия, и верен себе, воздержавшись выполнить это обещание. И так же был верен себе, когда то взбдиривал, то слегка осаживал друга Насера, когда поощрял манию величия Сукарно и словом и оружием (в том числе сбывая ему устаревшие военные корабли) и тем самым невольно соучаствовал в его недалеком падении. Собственный закат Хрущева, хо-

тя и не связанный прямо с крахом третьего мирового романтизма, полагаю, находится с ним в той окольной связи, какая выдвигает подчас на мировую арену более или менее однотипные фигуры. Звездные часы послевоенной харизмы, не исключая и европейской (де Голль!), как будто уже позади. Но можем ли мы назвать их звездными?

Будущему биографу Хрущева не миновать главы, где заглавной фигурой станет другой человек — по имени Джон Кеннеди. Американско-советские отношения не входят в мою тему, за исключением все той же "области человеческих отношений", вне которой нет ни Хрущева-зачинателя, ни Хрущева-банкрота. С этой точки зрения можно сказать, что все "великое десятилетие", если смотреть на него, держа глобус в руках, ведет к Карибскому кризису, к этому предфиналу, который мог бы стать и новым началом. Но раз ведет, значит, был и пролог. В пролог же входит и Женевская (1955) встреча в верхах бывших союзников, а затем жестких противников в холодной войне: эпизод, вселивший надежду на взаимное умиротворение (и рядом с Хрущевым — маршал Жуков, боевой сподвижник президента Эйзенхауэра времен всемирной схватки с нацизмом). Но пять лет спустя произошло иное свидание: первомайская встреча отечественной ракеты с американским самолетом-шпионом, окончившаяся торжеством "советских воинов, с честью выполнивших приказ своего правительства и лично Н. С. Хрущева" (из речи маршала А. А. Гречко на заседании Верховного Совета СССР 6 мая 1960 г.). И в том же году, после срыва второй встречи в верхах, начался сенсационный вояж в Нью-Йорк турбозлектрохода "Балтика" с Хрущевым и многочисленной свитой на борту ("корабль надежды", как его уже при отплытии нарекла услужливая команда журналистов). На этот раз Хрущев оборачивался "лицом к лицу" уже не к одной Америке*. Теперь — с трибуны ООН — он адресовался всему Миру, и в первую очередь только что освободившимся странам. Современникам, правда, это событие больше запомнилось колоритными репликами "лично Н. С. Хрущева" и не имеющей, вероятно, прецедента обструкции, учиненной им при посредстве собственного ботинка. Однако этот рубеж, а это был рубеж, имел и куда более существенное значение. Тот был "год Африки" — уходили в про-

* "Лицом к лицу с Америкой" — заголовок летописи визита Хрущева в США осенью 1959 года, которая давно пылится на полках библиотек (если не сдана в мукулатуру). Между тем поучительная в некотором смысле книжка в длинном, подобном ей ряду. Не могу не вспомнить, как тогда же отозвался об этом шедевре мой покойный друг, прекрасный человек и превосходный журналист-международник (он заведовал отделением ТАСС в Нью-Йорке) Леонид Григорьевич Величанский, иронически переназвавший произведение А. Аджубея, Н. Грибачева, Ю. Жукова, Л. Ильичева и др.: "Гулливер среди лилипутов".

шлое самые заповедные из колоний, и уже стучалась в дверь завтрашнего и более далекого дня проблема из проблем: *всеобщность суверенитета*. Чем станет она, с неожиданной силой проявлявшаяся наружу из вековой мысли и векового сопротивления? Шагом к истинно человеческому, "утраченному" равенству или источником нового и самого опасного взаимного отторжения? Тогда на этот вопрос не только не было ответа, но и самый вопрос, если бы кто-то прозорливый и задал его себе, оказался бы в резком диссонансе с чувствами, которые испытывало множество людей в самых разных уголках мира.

Я склонен предположить: то, что происходило тогда, что звучало в ООНовских речах людей, подобных Кваме Нкруме, задело если не юношеские, то по крайней мере раннефункциональные струны в душе Хрущева. О "мировой революции" он прямо не говорил; дома, за закрытыми дверями, строил сугубо державные планы, выслушивая советчиков соответствующего покроя, но фон принимаемых им решений был все же сродни песням и лозунгам, которые хранила его цепкая память. Казалось: старая, времен II конгресса Коминтерна, идея движения к заветной социалистической цели, минуя эпохи, переступая ступени, — эта идея зажила новой, второй, притом невиданной по размаху жизнью (подстрекая его к тому, чтобы и у себя дома переступать ступени).

Со спазматической быстротой меняющийся мировой пейзаж и средства, которые превосходили всякое воображение, — достаточно было проскочить между ними той или иной искре, и мы ощущаем приближение Карибского кризиса. Деталь, которая была бы, вероятно, не более чем заурядной для былого мининдела и его питомцев, но не для Хрущева: тогда, осенью 1960 года, состоялась в Нью-Йорке первая его встреча с Фиделем Кастро; впечатление, надо полагать, было незабываемым: Фидель излучал силу, которая спустя считанные месяцы подтвердилась драматической схваткой с эмигрантским десантом. А в качестве контраста этому впечатлению пришло — с некоторым запозданием — иное, но имевшее поистине историческое значение: поселившееся в сознании Хрущева представление о слабости, более того, никчемности молодого американского президента. Объяснил ли нашему лидеру кто-либо из его советников, что самый исход операции Плайя-Хирон был вызван нежеланием Джона Кеннеди вводить в действие американские силы, а то, что, только вступивший в должность, он принял на себя ответственность за эту неудачу, служило свидетельством если и не мужества его, то по меньшей мере понимания психологии соотечественников, отдавших ему предпочтение на выборах?! Думаю, что, если бы такой советник у Хрущева и нашелся, он бы воспринял его предупреждение так же, как сахаровскую инициативу в момент зарождения ее.

В качестве косвенного доказательства я позволю себе поделиться маленьким воспоминанием. Дело было, вероятно, поздней весной 1961-го, во всяком случае, после кубинской осячки Штатов и до венской встречи Хрущева и Кеннеди. Академик Е. М. Жуков (мы были близки с ним со времен сотрудничества в подготовке десятитомной "Всемирной истории") только что вернулся из командировки в Японию. Там он встретился с американским коллегой, который оказался другом Джона Кеннеди еще студенческих или даже школьных лет. Он пригласил Жукова в ресторан и там "с откровенностью, свойственной американцам" (слова Жукова), рассказал ему, что представляет и к чему чувствует себя призванным его друг — президент. "Передайте своему руководству, — убеждал и даже умолял собеседника американец, — что Кеннеди действительно и больше всего хочет мира. После всего им пережитого в годы войны на Тихом океане он ненавидит кровопролитие. К тому же он умен и совестлив..." "Ну, и вы передали, написали?" — спросил я академика. С привычным выражением безразличия на лице он показал рукой на потолок своего кабинета и сказал: "Кому писать?" Меня это не столько удивило, сколько раздосадовало. Однако нельзя не признать, что Е. М. Жуков был прав, по крайней мере тогда.

Июньская встреча президента с Хрущевым вполне подтвердила это. Когда они остались наедине, Кеннеди сказал примерно то же, что его друг в Токио, и, судя по слышанному, с такой же прямотой. Он не только заверил советского премьера в своей приверженности миру, но и откровенно объяснил трудности своего положения и просил о встречном движении, которое бы помогло ему (не без выгоды и для советской стороны). Не читавши записи этого разговора, не станешь настаивать на дословности. И не столь наивен я, чтобы полагать, что, сын своего отца, член своего клана и класса, Джон Кеннеди исчерпывался миролюбием. Да и Гарвард — вещь неоднозначная, впрочем, как и *миро-любие*. Мне трудно представить себе этого человека, симпатию к которому я испытывал еще до далласской развязки, говорящим вслух и даже наедине с собой: "Весь мир — тюрьма, а Штаты — одно из худших подземелий..." Не тот случай, не та роль. Не тот случай, но все-таки особый: индивидуальный и предвещающий "что-то", чему еще стать типичным, неизменным. Но и хрущевский случай был по-своему особым, в том числе и по части миролюбия, что я пытался показать выше. Правда, он, даже сорвавшись с катушек и вымолвив невзначай (предположим такое), что "весь мир — тюрьма", об отечественном подземелье не помыслил бы либо в лучшем и едва ли возможном случае отнес бы его к "периоду культа личности". Однако еще считанные годы назад, во времена одной из пост-сталинских схваток, где речь шла о возможности выделить

Австрию из заведомо не решаемой проблемы мирного договора, которым союзники решили бы сообща все вопросы, связанные с границами и статусом бывшего "тысячелетнего рейха", Хрущев в запале спора бросил Молотову довод-вопрос: "Ты за мир или против?"

Наивность вопроса (ну кто такое спрашивает в кругу жрецов политики, ведь не на съезде они, не на встрече с избирателями, не на международной трибуне) оттеняла его точность. Именно так, только так надо было спрашивать. Только так проламывать непарадную дверь в жизнь людей без Гитлера и Сталина, но с ядерным запалом, с ракетной доставкой, со всем тем, с чем еще нужно было (*тогда еще нужно было*) сжиться политике, даже если не хотела она стать повторением и умножением человекоубийства. Отложим обсуждение вопроса: могла ли такая политика быть реалистической либо она была наперед обречена на то, чтобы подвести к краю пропасти уже не отдельных людей и даже не целые народы, а весь вид Homo? Не станем тревожить тень Эйнштейна. До Эйнштейна ли было Хрущеву даже лучшей его поры и даже Джону Кеннеди, реабилитировавшему Роберта Оппенгеймера?

Однако мы уже не в середине 50-х, а в начале 60-х. Крошечный отрезок времени; не только для астрофизики, но даже для историка — ничтожная вроде величина. И что переменялось? Нашему брату не пристало вводить в разбор, где властвует факт, пророческие совпадения, и, обращаясь к газетам прошедших лет, тем паче к тому, что в газеты (наши!) и попасть не могло, вычитывать там свое, родное и всемирное, "мене, текел, фарес". Библейская притча сообщает о предзнаменовании, явившемся царю Валтасару: "персты руки человеческой" начертали на извести стены таинственные слова, которые смог разъяснить лишь пророк, — слова, предвещавшие и конец и раздел царства; среднее же из них гласило: "Ты взвешен на весах и найден очень легким". В наше время как будто нет места пророкам, и если оно кем-то и чем-то занято, то на языке XX века это бы следовало назвать *обратной связью*; лишаящийся ее поистине "очень легок", любой сильный порыв ветра, нежданная буря способны свалить его с ног. Пишу это и думаю: поведай тогда Хрущеву пророчество Даниила как адресованное ему, он, вероятно, крайне бы удивился этой древней иностранщине, в лучшем случае рассмеялся. А зря — никакие ВЧ, "вертушки" ведь не заменяют "обратной связи", идущей и снизу и сбоку и содержащей в себе не только то, что иначе не узнаешь, но и то, чему еще предстоит появиться — неожиданным-негаданным, соединяя страшные истоки с не менее страшным предстоящим...

Случайность ли, и если случайность, то только ли календарное совмещение, что на один и тот же год — разница только в три, три с половиной месяца — пришились Новочеркасская бойня,

расстрел забастовавших рабочих и планетарный Карибский кризис?

О первом из этих событий надо бы писать особо. До нас доходили слабые, едва слышимые сигналы его, сигналы человеческой трагедии — доходили и затихали, глушимые как казенным молчанием-запретом, так и тем особым рода безразличием, которое питалось еще не угасшей эйфорией хрущевского анти-Сталина. Только-только отзвучали набат XXII съезда, разоблачительные речи на нем и оглашенные во всеуслышание документы об убийствах и убийцах, которые, правда, не убивали собственной рукой, но этой — собственной — отправляли на тот свет вчерашних друзей, соратников по подполью и революции, сопровождая "визы" на арест и казнь бранью в адрес поверженных (дабы прочел, одобрительно и презрительно ухмыляясь, Сталин или уже просто по привычке?). Все ждали, что не сегодня, так завтра будет торжественно заложен первый камень в фундамент памятника жертвам сталинского террора. До Новочеркаска ли было всем нам, да и было ли там, в Новочеркасске, в самом деле нечто такое, что могло бы разом освободить нас от иллюзий, перечеркнуть надежды?

Спустя четверть века я прочитал рассказ о происшедшем — рассказ активного участника событий, которому, вероятно, удалось сохранить жизнь лишь благодаря тому, что он очутился за решеткой еще до кровавой развязки. Этот человек отбыл свое в комяцком лагере и после того многие годы собирал факты, проверял и перепроверял их, добиваясь оглашения правды и восстановления доброго имени погибших и покаранных. Преувеличивал ли он, Петр Петрович Сиуда, называя то, что случилось в его родном городе 1—3 июня 1962 года, *преступлением*, совершенным "не только против новочеркасцев, а и против трудящихся, народа"? Думаю, что он прав. Прав потому, что "местное" — сколок целого, позволяющее увидеть целое много яснее, чем когда оно предстает в обезличенно-всеобщем виде. Так и здесь. Детали, рассказанные очевидцем-летописцем, и потрясают, и обязывают к размышлению: о причинах неуходящих преступлений власти, — преступлений, имеющих не только "эпохальные" корни, но и всякий раз имя собственное.

...Прозаический зачин: совпадение очередного снижения расценок (нехитрое средство, позволяющее рапортовать о неуклонном повышении производительности труда!) с "временным" повышением цен на мясо, молоко, яйца. Город рабочих и студентов бедствовал уже не один год. Плохо питались, множество людей лишены были мало-мальски сносного жилья. Чаша терпения лопнула. Впрочем, не сразу. В прологе — попытка объяснить с "начальством". И лишь когда к протесту, имевшему ближайший житейский повод, присоединилось оскорбленное человеческое достоинство, раздался гудок на электровозострои-

тельном заводе и волны возмущения стали накатываться — одна за другой, выливаясь из заводских стен на улицу, в город. Автор свидетельствует: ни в момент возникновения забастовки, ни в дальнейшем "не было никаких групп или органов, которые взяли бы на себя обязанность возглавить организацию и проведение выступления рабочих". Стихия протеста действовала согласно отечественному преданию и зарубежному примеру. Забастовка переходила в митинги и демонстрацию; вовлеченные в события люди искали поддержки у себя дома и за его пределами. Собирались захватить власть в городе, овладеть почтой и телеграфом, с тем чтобы обратиться к соотечественникам. Но памятны были уроки Грузии и Венгрии 1956 года. Порыв прислушался к голосу разума. Самостоятельность остановилась перед искусом насилия; начальственных жертв не было. Самое решительное из действий первого дня — задержка поезда "Саратов — Ростов", перерывы железнодорожного движения на новочеркасском участке. Это ли вывело из равновесия Москву или в соответствующей шифровке упоминалась еще и сделанная кем-то надпись на тепловозе — "Хрущева на мясо!"?

Тут мы подходим к наиболее специфическому в тех июньских событиях. Накал человеческого протеста своим острием был обращен, по сути, против одного человека, в котором новочеркасцы видели главного виновника своих бед, поскольку верили в то же самое, во что верил он сам: в то, что он все может. Мифы и реалии всевластия владели умами и определяли судьбы. Те самые люди, которые снимали изображения Хрущева, сваливали их в кучу перед заводоуправлением и "устроили из них большой и чадный костер", на другой день шли в колоннах к горкому партии с красными знаменами и портретами Ленина в руках и с революционными песнями на устах. Остальное — преддверие расправы и сама расправа. Не исключено, что вначале собирались лишь устроить силою. Местный гарнизон оказался для этого непригодным: солдаты братались с рабочими. Введенные извне войска взяли город в кольцо, закупорив все входы и выходы. На требование квартир, мяса и масла ответили танками. Но оказалось, что труженик России, сразивший Гитлера, не боится страшной машины. «...Рабочие стали запрыгивать на танки... и своей одеждой закрывать смотровые щели, "ослеплять" их». Среди "ослепителей" были и дети. И среди погибших при расстреле демонстрации также были дети. Генерал армии Плиев приказал стрелять в людей, двигавшихся «плотной грозной массой, скандируя: "Дорогу рабочему классу!»». Но ведь кто-то скомандовал и Плиеву... Число жертв кинжального огня автоматов неизвестно по сей день. Тела погибших не отдавали для захоронения близким. "Трупы складывали штабелями, а они еще агонизировали. Дергались руки, ноги".

Неизученное, сокрытое от памяти событие обрастает легендами. Мне хочется верить, что не вымысел, а факт: "Лежит девушка в луже крови. Ошалелый майор встал в эту лужу. Ему говорят: "Смотри, сволочь, где стоишь!" Майор тут же пускает себе пулю в лоб". Да будет пухом земля и этому пока безымянному майору! Прибывшим в Новочеркасск посланцам Кремля А. И. Микояну и Ф. Р. Козлову в лужу крови вступить не пришлось. С делегацией рабочих они встретились на территории танковой части, а место событий осмотрели с вертолета. Рассказывали, будто Фрол Козлов плакал. По другим сведениям, он предлагал (поучение всем!) расстрелять одного из каждой тысячи участников безоружного мятежа и не менее тысячи предать суду, однако согласия на это от Хрущева не получил. Так или иначе, но к несчитанным жертвам бойни прибавилось еще семь, у которых жизнь отнял судебный приговор. Свыше сотни получили тюремно-лагерное содержание — со сроками чаще всего от 10 до 15 лет.

Я опустил многие подробности из прочитанного. Тщательное исследование внесет, надо думать, и уточнения и дополнения, включающие главное — реакцию Хрущева, степень и характер причастности его к трагедии. Узнал ли он задним числом о бойне или дал санкцию на нее? Разница, что говорить, велика, но это различие вины. Различие *внутри преступления*. Различие, которое показывает, сколь тесен был тот, середины 50-х — начала 60-х, *анти-Сталин*. И потому тесен, что не могли исчезнуть в мгновение ока люди, заранее исключаящие какое-либо открытое несогласие, тем паче "снизу", как и любую попытку, идущую оттуда, заявить себя стороной, *равной властвующим*. И еще потому, что на смену тем, кому "анти-Сталин" был поперек горла, могли прийти тогда (и это в лучшем случае!) лишь те, для кого свержение кумира служило не началом, а концом перемен, ибо всякое продление — без жестко установленного лимита — мнилось им таящим коварную неизвестность, рушащим устои, грозящим либо анархией... либо "реставрацией" порядков, некогда сметенных победившей революцией. Не этот ли страх перед неизвестным и был главным действующим лицом Новочеркасской трагедии? Не он ли режиссировал ходом тогдашних событий, исподволь отбирая на "роли" и новые жертвы и новых палачей?

Я не отвечаю сейчас на поставленный вопрос. Читатель, если у него хватит терпения ознакомиться с этим текстом до конца, вправе найти нелогичным, что события в одном из южных российских городов вдвинуты автором — без всяких опосредований — прямо в мировой процесс, хотя их уместней было бы разобрать в третьей части статьи, посвященной целиком делам домашним. Не стану возражать. И там для Новочеркасска место. Но я убежден, что Мир присутствовал в Новочеркасске. Присут-

ствовал и в тот час, когда взревел гудок на электровозном заводе, и когда отгремел последний выстрел. Присутствовал незримо и зримо. Незримо — родством всех человеческих страданий. Зримо же — тем одним человеком, которому рабочие сказали: "Нет! Ты — не наш. Ты — против нас!" А этот человек был накануне решающего испытания на решающем для всех на Земле проблемном поле — выживания в ядерный век. Ему, этому человеку, еще предстояло спустя считанные недели вознестись на всесветную высоту. Вперед или назад он пойдет после этого рокового года — еще не было окончательно решено.

Решено не было, но уже было предрешено.

Предрешено двумя событиями, которые сошлись во времени, хотя и не совпали по своему характеру. Впрочем, и это спорно, если взглянуть на названные события, отступив назад — и не на годы, а, быть может, взяв в расчет и столетия. Хотя, казалось бы, к чему они, столетия, когда один спрашивает другого: "Ты за мир или против?" Важно, однако, кто спрашивает и что имеет в виду. Договор с Австрией вполне укладывался в рамки реальной политики, не тревожа и светлое будущее. Осенью же 1962-го, в тринадцать карибских дней, затронуты были и злоба дня, и непререкаемый идеал. Переменились и обстоятельства и люди. Молотов давно выбыл из игры. Теперь Хрущеву надо было адресовать свой тогдашний вопрос самому себе. Теперь ему предстояло согласовать разрядку с идеалом, который, оставаясь без перемен, лишал и разрядку шанса если не вывести людей из тупика, то хотя бы помешать расщепленному атому погубить в одночасье жизнь. Но оказалось, что поднять руку на "светлое будущее" куда труднее, чем на непокорных соотечественников.

Справился ли бы Никита Хрущев с этой головоломкой, не сведи его история с соперником, который добровольно взял на себя роль его союзника? Правда, у Джона Кеннеди были свои "идеальные" предтечи (если опять-таки взять в расчет столетия, отделявшие его от Томаса Джефферсона). Но предки все же помогают лишь тем, кто слышит дух времени, а этот последний производит выбор, не заглядывая в анкету... Прервем на полуслове наш рассказ, предположив, что именно тогда, в том рубежном году, человек планеты Земля ощутил, *пред-понял*, что от осуществимой утопии один шаг до тотальной гибели, что и "светлое будущее" заряжено смертью.

Я слышу знакомые голоса, спрашивающие кто с грустью, а кто и с завидной самоуверенностью: и это нуждалось в доказательствах? Мало ли было предсказаний и предупреждений, из которых Сталин и его наследство — далеко не первое и, сдается, не последнее. Что сказать в оправдание тех человеческих заблуждений, имя которым — *утопия*? То, что утопия — всегда впереди,

манящая и недоступная, хотя ее долго видели покинутым раем? Что надежды, расплатою за которые служат жизни, признавались заблуждениями (и становились *заблуждениями!*) лишь задним числом — после того, как они, обезвреженные петлистым ходом истории, ею же облекались в плоть поступательности, входя в мировую норму? Что в этом великом последствии состояла (состоит??) суть — и только ли утопии, а может, и вообще человека? Отними ее у него, чем станет он? Оставь его при ней, и снова тот же вопрос: чем станет он? Острие бритвы! Все бывшее в свидетелях: и порезаться нетрудно, доступно и резать других. Но спасительно ли само по себе знание этого, пока не стало знанием, *открытым для всех?*

Загвоздка, стало быть, в открывателе: он сам из кого? Из тех, кто презрительно отправляет утопию в бред наяву, или из тех, кто пройдя испытание утопией, не утратил веру в то, что человек в силах еще сделать невозможное возможным, то есть сотворить из Невозможности новые, непредуказанные, очеловечивающие возможности? Оттого, видно, самые пристальные, мучительно тяжкие прогнозы "осуществимой утопии" принадлежат в нынешнем веке людям, остававшимся утопистами до последнего вздоха, как англичанин Джордж Оруэлл и русский Андрей Платонов. Другим же достался путь много длиннее — к *открытию открытого*. Тут и войны, последней из всемирных, не хватило, и Нюрнбергского процесса, и XX съезда. Тот же атом помог? Ядерная смерть, постучавшаяся в дверь? Эпизод, какой перевел "осуществимость утопии" на диалект дипломатических шифровок, на диалект двух Пентагонов, или, что то же, двух Генштабов... и язык диалога "человеческих отношений"?

Вслушаемся в показания Хрущева, сохраняя и тут без поправок стиль воспоминателя (как это и сделал издатель "избранных отрывков" В. Чалидзе). Рассказывая о том, как у него "возникла мысль" поставить на Кубе, ради превентивной защиты ее революционных завоеваний, ракеты с ядерными зарядами, способные "разрушить центры Америки", и как американцы, выявив это, сосредоточили "массу кораблей", авиацию, десантные средства и т. д., Хрущев продолжает: "Все завертелось. Мы тогда считали, что американцы <...> пугают нас, а сами они не меньше, чем мы, боятся атомной войны. Когда американцы обнаружили наши ракеты, мы еще не успели все туда завезти, и наши корабли шли на Кубу через эту армаду американского флота. Американцы их не трогали и не проверяли. <...> Мы поставили ракеты. Этой силы было достаточно, чтобы разрушить Нью-Йорк, Чикаго и другие промышленные города, а о Вашингтоне и говорить нечего. Маленькая деревня". Итак, их "маленькая деревня" могла в любой момент исчезнуть, оставляя на месте гору пепла и трупов. Вряд ли человек, которого осенила эта

”мысль”, собирався привести ее в исполнение, понимая, какая судьба ждет ”большую деревню” по имени Москва. Он тоже хотел *только* напугать, а тут *все завертелось*: ”Нависла реальная возможность начала войны”.

Но она еще не началась. Еще было время. Был шанс, но какой? ”Нам писали, мы им писали. С наше стороны <...> диктовал послания я. <...> Мы демонстрировали свое спокойствие, ходили в Большой театр. Мы хотели показать своему народу, своей стране, что мы в театре, оперу слушаем, значит, все спокойно”. А тем временам в Штатах два брата, президент и министр внутренних дел, не ходили в оперу. Может быть, потому, что их страна знала о происходящем? Советский посол, рассказывает далее Хрущев, сообщил начальству, что к нему пришел Роберт Кеннеди. ”Он сказал, что уже шесть дней и ночей не был дома. Глаза красные, видно, что человек не спал”. ”Красные глаза” того человека так запомнились, что мемуарист и дальше возвращается к этому эпизоду. ”Он (Р. Кеннеди.— М. Г.) оставил послу свой телефон и просил звонить в любое время. Когда он говорил с послом, он чуть не плакал: ”Я, — говорит, — детей не видел (у него было шесть душ детей), и президент тоже. Мы сидим в Белом доме, не спим — и глаза красные-красные”. Нам не узнать, вероятно, какого цвета были тогда глаза у членов хрущевского Президиума ЦК КПСС и виделись ли они в те дни со своими детьми. Еще невозможнее (чур, чур!) представить себе одного из тех, кто тогда правил нашей страной, объясняющимся с американским послом по собственной инициативе и хотя бы в половинную, да что там — во много меньшую, долю столь нестесненно, открытым текстом, как это сделал Роберт Кеннеди. Он сказал: ”Мы обращаемся с просьбой к тов. Хрущеву, пусть он нам поможет ликвидировать конфликт. Если дальше так будет продолжаться, то президент не уверен, что его не могут сбросить военные и захватить власть. Армия может выйти из-под контроля”. Отбросим смешное, по привычке, ”тов.”, вернемся к сути. Хрущев комментирует: ”Я не отрицал такой возможности, тем более Кеннеди — молодой президент, а угроза — безопасности Америки”. Он не отрицал, что ”молодого президента” могут сбросить (о себе в этом смысле, конечно же, не думал). Он не отрицал и того, что безопасность США была под угрозой. А Советского Союза, если принять за достоверное, что отношение ядерных запалов было тогда 17:1 в пользу Штатов?!

В качестве историка я не притязая этой выжимкой из воспоминаний отставного лидера исчерпать историю Карибского кризиса как таковую: для этого недостаточно любых ”контр-воспоминаний”, нужны документы — не выборочные, а все. Я не стану отрицать, что в действиях Хрущева наличествовал и расчет: стремление принудить американцев поступиться хотя бы

частью военных баз, расположенных вблизи советских границ. Однако в том ли только беда и вина его, что действовал он обманно, вводя в заблуждение не только потенциального противника, но и собственных дипломатов? Или сам его обман был не просто нравственно сомнительной и дурно просчитанной уловкой, а чем-то большим, во что вошли природа домашней власти, ее застарелые навыки обращения со *своими*? Новочеркасск в Карибском кризисе — вот что не уходит из сознания.

Отсюда — и законность и необходимость сопоставления. Меня занимает, мало того — мучает вопрос: что бы случилось, если бы у братьев Кеннеди не были красные от бессонницы глаза, что было бы, если бы президент, склонившись к уговорам генералов, соблазнился реальной возможностью покончить одним ударом и с советскими ракетами, и с пригласившей их Кубой? Что было бы, если бы он, выученный поражениями — и своими, и тех, кто был до него, как дома, так и вне его, — не пришел в эти октябрьские дни и ночи 1962-го к совсем иной мысли: опасно и оттого недопустимо ставить другую сторону конфликта в столь унижительное положение, когда она, движимая амбицией и догмой, окажется способной пойти на самоубийство, которое неминуемо втянет в свою воронку всех на свете?! Иначе говоря: что случилось бы, если бы он, Джон Кеннеди, не был "генетически" готов *учиться поражениями*, переводя уроки их на язык политики, внятной и власть имущему, и тому, кто своим голосом превращает (на время!) гражданина в президента?

Но мы ведь о Хрущеве. Да, о Хрущеве, который также сумел отступить — и кому помог отступить Джон Кеннеди, отступить без потери лица, мало того: помог обрести репутацию политика мирового класса и с этой репутацией не только уйти на недобровольный покой, но и сохранить ее в памяти... чуть не написал "целых поколений", но запнулся, ибо последнее было бы неправдой. Мы забывчивы, старый грех, в удержании которого есть также вклад, и немалый, самого Хрущева.

Судьба подготовила лидерам сверхдержав разный конец. Что предпринял бы Джон Кеннеди, которому в его, оборванное пулей, первое (и последнее) президентство не удалось провести через конгресс ни один из крупных законопроектов? Можно гадать, читая американских исследователей и мемуаристов. В отношении Хрущева гадания как будто бесполезны. Спустя два года мировой лидер уходил с отечественной сцены банкротом. Но по сей день нам не хочется признать, что в его лице обанкротились мы сообща.

История не повторяется в каком-то простом круге. Она может, однако, не продвигаться вперед, а застыть на несколько более высоком уровне без всякой надежды достигнуть вершины.

М. Л. Кинг

Классическая традиция призывает проверить внешнюю политику внутренней. Сейчас члены этой формулы по меньшей мере уравнились. Если не натяжка — считать, что нестойкие дипломатические успехи Хрущева производны от "феномена XX съезда", то вполне правомерно задать вопрос о влиянии его дальнейших действий в мировой сфере на развитие внутренних процессов и перемен. Бесспорно, что связь тут есть, но также бесспорны и ее неоднозначность, и ее хрупкость. И дело не в том, что сам Хрущев двулик: можно бы сказать: нет, в каждый данный момент — одно лицо, один помысел. И хотя он был хитер, а до поры до времени и расчетлив, коварным его не назовешь. Но двуликой и даже коварной была *хрущевская ситуация*: ситуация надлома, которому не дано было перейти в преодоление, ситуация монолога, неспособного собственным усилием превратиться в разговор равных, в сотрудничество равных. И мы, вероятно, приблизимся к ответу, если скажем, что в отличие от дел внешних, где темы были обозначены совокупным действием разномыслящих держав и народов, открытым драматизмом коллизий, — в делах внутренних все было изначально не так. И чем дальше, тем в большей мере *не так*.

Возвращение выживших жертв сталинских "чисток" осталось, пожалуй, единственным чистым достижением Хрущева. Остальное либо было споловинено, подпорчено отступлениями и оговорками, либо представляло собою новый произвол, который, правда, был добродушней сталинской мизантропии (если произвол вообще бывает добродушен), но дорого обошелся только возникающему, делающему первые детские шажки обществу. Сказав, что индивидуальность была непредвиденным фактором перемены в обстоятельствах, мы не вправе забыть о той же индивидуальности, говоря о *незавершаемости* этой перемены — в людях. И опять-таки: где тут рубеж между виной одного и общей бедой?..

Если во всех своих проявлениях Хрущев предстает своеобразным гибридом прожектера и прагматика, то перед лицом внутренних проблем его страсть переворачивания, не сдерживаемая столкновением с достойными противниками-оппонентами, все чаще выступала как цель без цели, а его деловая хватка вырождалась в мелочность, навязываемую силой, какая не толь-

ко сковывала, но и уродовала изнутри любую самостоятельность. Правда, и в этих рамках оставалось еще место для действий, подкупающих своей человечностью. То, что называют "хрущобами", конечно же, несет на себе след непродуманности и поспешности, примитива и уверенности в том, что архитектурные проблемы так же просто решать, как дипломатические. Но нельзя забывать, что "хрущобы" пришли на смену подвалам и баракам, что многие сотни тысяч семей стали впервые жить в отдельных квартирах (переворот в жизненном укладе, последствия которого уже сказались). И в иных замыслах Хрущева чувствовались щедрость и простор, противостоящие сталинскому сочетанию помпезности всех вещественных символов Державы с принудительным аскетизмом и серостью быта, предначинанными миллионам.

Но человечность, даже она, обречена быть недолгой, когда остается в первичном виде — стимула, движущего политикой, домогающегося власти и овладевающего ею. Известное выражение "власть губит человека" не лишена смысла. Мне возразят: все зависит от того, каков человек. Нет, не все. Далекое не все. Спорная тема: может ли быть политика человеческой или многое, и самое, пожалуй, существенное, определяется тем — есть ли у человечности свое место вне политики, своя плоть, которая ставит предел и политике, не допуская ее включить в себя, обнять собою (надолго, "навсегда") все жизненные устремления и проявления человека?! Иначе говоря: человечности положено быть "абстрактной" и в этом качестве *оппонировать политике*, а для того иметь и свой статус, свое право, свою законную силу, активно препятствующую неудержимой экспансии неизменно конкретной политики.

Это и есть демократия? Ничто не мешает сказать: да. Ничто, кроме того, что мы обсуждаем эту тему у себя дома, оглядываясь не только по сторонам, но и назад. Ничто, кроме того, что обязуемся ввести в обсуждение наше прошлое — с его удивительным своей повторяемостью отталкиванием демократии в той сугубо определенной (и даже единственной) форме, какая создана не нашей историей, и с его не менее постоянными возвратами к собственной *недемократической человечности*. Странное словосочетание, не правда ли? Но, каюсь, иного не нашел, чтобы выразить свою мысль, не уклоняясь и от того, чтобы найти этой будто побочной теме место в данном тексте. Ведь не о детали речь и даже не об одном духовном течении среди многих; нет, она, недемократическая человечность, — самое общее для сугубо разных потоков. И именно оттого самое общее, что у этого "словосочетания", восходящего по меньшей мере к началу нашего XIX века, есть не только свое бытие мысли, своя пульсация действия, но и свой замах, своя экспансия, притязающая отнять у власти, поставлена ли она

Всевышним или законом истории, все российские человеческие души (дабы из живых не стали "мертвыми"), — отнять их, противостоя власти, и отнять, апеллируя к ней, пытаясь и ее ввести в свою упряжку, притом не пристяжной даже, а коренником.

И что же — гордиться нам этой, нашими предками зачатой "недемократической человечностью", либо проклинать ее, либо вовсе иначе: принять за *данное*, перестав кланяться изъянам ее и... просчитав преимущества, дабы из такого обдумывания-спора вывести некую гипотезу, некий контур жизненного и политического устройства, которое, удовлетворив нас, нынешних, не стало бы оковами для потомков и не вызывало бы опасения и у ближних к нам, и у далеких от нас народов?

Нет работы неотложней, но и нет трудности большей, чем взяться за нее, чем начать ее ныне. Разбуди ночью современного небезразличного соотечественника, задай ему эту задачу, и он сразу заговорит об упущенных возможностях, поставив в пример и бомбу Игнатия Гриневецкого, разорвавшую вместе с Александром Вторым "почти" конституцию, и уж, разумеется, разгон Учредительного собрания; с другой стороны, будут вспомнены и пушкинское "Из Пиндемонти", и отказ Достоевского от любого всесветного прецедента (и проекта!) осчастливливания людей, ежели в цену войдет единственная слеза ребенка... Но зачем же так далеко уходить в воспоминаниях? Ближе, ближе, еще ближе. К совсем недавнему и столь на первый взгляд тривиальному эпизоду вековой российской трагедии, каков казус Хрущева.

Мы знаем, с чего он начал. Мы знаем, чем он кончил. Но что же было посередине? Тоже вроде бы известно; даже по памяти, не заглядывая в документы, нетрудно перечесать: и то, и другое, и пятое, и десятое. И пойдут беспорядочной чередой казахстанская целина со сказочными первоурожаями и с предсказанно-страшными пылевыми (а затем — и соляными) бурями, повсюдная кукуруза, сплошная химизация, отмена обязательных займов и отказ от погашения прежних, то поощрение приусадебных хозяйств земледельцев, то урезка их, миллиарды, вложенные в животноводство, и отнятая у крестьянина корова, ликвидация МТС вместе с их поборами, обеднявшими и без того скудный трудодень, и разоряющее принуждение деревни к выкупу и вовсе не нужной сельскохозяйственной техники, еще и реформа школы, грозившая обезлюдить науку, и полусорвавшийся поход на саму Академию наук... Но многое ли мы извлечем из такого либо еще более обстоятельного перечня, если даже аккуратно разложим результат по полочкам, расставив отметки и сосчитав общее число "плюсов" и "минусов"? Нет ничего более противопоставленного историческому мышлению, чем арифметика подобного рода, и, кстати, далеко не не-

винная, плодящая на месте старой лжи обновленные обманы и самообманы с нарастающими издержками в мыслях и поступках.

Правда, сам Хрущев отдал дань этой домашней политологии. Да и как могло быть иначе? Человек, родословная которого весьма подходила бы для прямой демократии, просто-напросто не знал, как "это" делается. Он не лицемерил, думая и утверждая, что не "вы для меня", а "я для вас". Но как раз последнее уводило его все дальше от тех, выразителем чьей воли и надежд он себя считал от начала и до конца. Он обожал общение с "простыми людьми", но, чем дальше, тем больше эти выезды в народ смахивали на спектакль, на плохо скрытое лицедейство; действовать же он умел (и мог!) только с помощью *нижестоящих*. Он осмелился единоличным решением "открыть" существование автора "Одного дня Ивана Денисовича", но считал себя вправе устраивать разносы людям искусства, чьи творения не совпадали с его вкусами, и, хотя эти дебоши не менее тщательно подготавливались его ближним окружением, чем парадные доклады, сам же он бывал и отходчив, однако его "меценатство" в заслугу ему не поставишь. По сути, он не успел дорасти даже до свьше даруемой демократии. Он открыл ворота лагерей, но закрыл Министерство юстиции, оно показалось ему лишним. И впрямь — для чего оно нам?

"Закон, что дышло..." — это даже несколько старомодно. Во всяком случае, столь любимшему народные поговорки Хрущеву эта вряд ли вспомнилась, когда в мае и июле 1961 под его диктовку вышли в свет два указа, расширявшие применение смертной казни в СССР: один — за хищение в особо крупных размерах, другой — за "нарушение правил о валютных операциях". Кто подсчитал, сколько жизней унесли эти указы, которые мы вправе, по ассоциации, поставить в ряд с незабываемым сталинском законом 7 августа 1932 г., согласно которому на тот свет мог быть отправлен голодный человек, срезавший колосок. Времена, правда, изменились. Не хлебный колосок имелся теперь в виду. Агония сталинской системы множила действительную уголовщину. Коррупция нагнала, хотя до будущего, 70–80-х годов, апофеоза ей еще было далеко. Но по силам ли было справиться с ней кажущемуся всесильным Хрущеву? А по нужде, по народной нужде, разрасталась и "теневая экономика", подчеркивавшая собою беспомощность власти и самой природой своей враждебная нутру человека, мечтавшего об агрогородах и строившего графики всеобщей бесплатности. Неудачи загоняли его в тупик, провоцируя на то, что всегда было под рукой, — запреты, расправы, тюрьмы, лагеря, "психушки". И подобно той бесконечной череде, которой шли его реформы и контрреформы, такой же чередой шли в преступники заядлые ворюги и деревенские бунтари, взяточники в мундирах и строп-

тивные хозяйственники, бывшие соратники Берии и первые из диссидентов. И снова спросим себя: кто из советчиков, кто из них дерзнул бы сказать ему, что, кроме прав, есть еще и *право*, которое выше всякой власти и уравнивает неправые жертвы, будь то колебнувшийся демократ Имре Надь или провалившийся валютный король Ян Рокотов (к которому, как и к его содельнику, Хрущев велел задним числом применить поспешно установленную "законом" смертную казнь).

...Я возвращаюсь к тому, с чего начал эту статью. Отношение к смерти — основа основ человеческого поведения; им с тех времен, что обозримы современниками, люди определяли и переопределяли самую жизнь. В нашем случае речь именно об этом, хотя не так уж очевидна эта основа основ, особенно когда пытаешься перевести ее на язык реального действия. Что глубже, исходнее в том, что именуем мы сталинизмом, чем презумпция недоверия к человеку, прямо или неявно дотягивающая до смерти? Хрущев 1953–56 годов бросил вызов этой презумпции, но вскорости оказался захваченным ею в плен. Иногда он вырывался из него, чтобы снова вернуться туда же. Он назвал Сталина преступником, но не рискнул опубликовать доклад партийной комиссии, выяснявшей причастность Сталина к событию 1 декабря 1934-го — документ, который сам по себе навсегда погубил бы имя Сталина в сознании народа, не прощающего подлого, трусливого убийства человека человеком, который еще недавно называл свою жертву "другом" и "братом".

Боясь излишеств открытости умов и душ, Хрущев наносил ущерб не только тем, кто поверил в него, но и самому себе. Ведь только открытость, вошедшая в привычку, изгладила бы из сознания прежний стандарт вождя, с которым соотносили его самого — к невыгоде и для него, и для его почина. Непосредственность и дозируемая, но все же непривычная для нас откровенность привлекли, хотя далеко не всех, к Хрущеву, пока он перетряхивал реквизит прошлого, противостоя сителльным доктринерам и бюрократам. Но когда, войдя в роль вождя, он решил, что она обязывает его к регулярному произнесению огромных речей, составленных из "нужных" слов, он стал смешон, и, чем самоувереннее при этом держался, тем чаще и резче проявлялось снисходительно-ироническое отношение к нему, притом в самой разной аудитории, уже вовлеченной (им же) в неудержимую девальвацию прежних понятий, ценностей и слов. Смех был реакцией и на половинчатость освобождения, и — одновременно — на самую идею освобождения в ее хрущевской редакции. В этом смехе сошлись человек улицы с рафинированным интеллигентом.

Нет, когда речь идет о внутренних делах, тут не скажешь: он хотя бы был непоследовательным. Не скажешь, имея в виду не фрагменты, а *целое*, которое, начавшись с вторжения человек-

ности в политику, перестало в конечном счете быть и человечностью и политикой. Да, и политикой! Ибо, допустив даже, что едва ли не в каждой из реформ Хрущева, особенно первых лет его лидерства, можно обнаружить тот или иной сиюминутно рациональный мотив, мы вряд ли доберемся до корня банкротства всех этих мотивов вместе взятых, сделав упор на тщету скоропалительного исполнения, на очередной спазм вековой российской нетерпеливости. И это было, безусловно — и это. Но только ли оно? Или само оно — производное от отсутствия общей связи, сквозной идеи?

Хотя человек, чья карьера началась на переломе 20—30-х годов, человек, заменивший Мартемьяна Рютина на посту секретаря Краснопресненского райкома и прошедший политическую школу у Кагановича, должен был бы держать в памяти тот переворот в сознании и нравах, который предшествовал оргии пьют и убийств, самооговоров и чудовищного фарса показательных процессов, — похоже, что как раз пролога он не то чтобы не помнил, но, скорее всего, так и не понял до самого своего конца, как не понял и *роковую связку вождя и губителя*, которую Сталин передал нам неуходящим воспоминанием и вопросом: случайно ли сцепились эти две роли и если даже сцепка эта не была изначально бесповоротной, то не такой ли стала и уже таковой досталось последующим властителям? В свете итога как не сказать — чем бы ни началось вытеснение жизни смертью: скоропостижным ли уходом Ленина и еще более скоропостижной схваткой преемников или чем-то более основательным, что сделало уход смертного человека и свойства всякого эпигонства если не авторами, то режиссерами трагедии с многими миллионами участников, — в любом случае *это* получило собственное движение, крепко осевши и в строе, и в человеческих отношениях (да, и в них, и, поставив в кавычки слово "человеческих", мы далеко не уедем). И уже по тому одному от этого наследия не избавиться было ни свержениями монументов, ни другими жестами отлучения Сталина от "великих свершений". В свете происходящего... А в первый момент? Что упоительней первого глотка свободы? И кому поставить в укор иллюзию освобождения от Сталина, вышвырнутого из Мавзолея?

Хрущев — первый из проклинателей-наследников. Первый, но последний ли? Еще один вопрос без ответа. Да и можно ли ответить на него "заочно", не переживши тот изначальный опыт и не сделав его исходным пунктом любой попытки заглянуть в будущее? И оттого снова к тому пункту, который виделся центральным: отчего же и этот всполох человечности не перешел в политику, не стал ею? Рок ли российской истории это или, рассуждая более трезво, неизбежный возврат к прерванному ходу вещей после кажущегося полного разрыва... и затме-

ния? Чтобы вопрос не повис в воздухе, не миновать того, чтобы "вернуться" к Сталину, переадресовав вопрос ему. А у Сталина была ли политика или с нею он покончил и ее прикончил? Да что, собственно, это значит: прикончить политику? Не его вроде лексика, не на то нацеливался в 20-х, в те считанные месяцы, когда все в его судьбе (и нашей!) зависело от того, заговорит ли Ленин. Не об институтах и учреждениях, не о профессионалах выработки и осуществления политики (где их взять и как с ними быть) думал тогда Сталин, а о себе. О себе, но в контексте того, что становилось (нэп!), запинаясь о самое себя и о все прошлое России — совсем близкое и дальнее, запинаясь и ища опору в том же прошлом ради своего (и всесветного!) будущего. Так приспособиться ли было ему, Джугашвили-Сталину, к этому прихотливому, запутанному, мужицкому и мозговому "контексту"? Приспособиться либо укоротить, упростить, подогнав "под себя"?

О человечности тут говорить не приходится с первого его шага, и Царицын гражданской войны заставляет вспомнить Лион Жозефа Фуше. Заполучив пост генсека, Сталин, однако, еще далек от себя самотождественного, да и если бы и был у него тогда рассчитанный на десятилетия inferнальный график, то был ли в силах он его осуществить? Разделенная власть, популярные соперники — препятствие немалое, но главное ли? А искусство сталкивания противостоящих и даже не противоя, а просто стоящих на пути — преимущество очевидное, но опять-таки главное ли? Эпигоны получили в наследство от зачинателя победившую революцию и черновик жизненного устройства, позволяющего — по задумке Ленина — не только дожидаться, когда сдвинется с места мир созревших для социализма наций, как и мир народов, только пробужденных к историческому движению, но и двинуться навстречу им всем, двинуться дома, меняя для этого и ритм, и форму собственного первоначального рывка. Между двумя слагаемыми этого наследства — зазор: "механизм" перемены ритма и формы.

Вопрос вопросов: кому под силу и кто вправе менять его? "Мы создали рынок", — говорил на XII съезде РКП(б) Л. Б. Каменев. Трактовать можно по-разному, вкладывая разный смысл в слово "создали". Создали тем, что уступили мужику (и нэпману)? Или еще и тем, что сами вступили на рыночную площадь величиной в Евразию: вступили как хозяева главных средств производства и как власть — арбитр между разными социальными волями, власть — регулятор экономической стихии? Разные вопросы — разные ответы. Разные ответы — разные действия. Ибо рынок — непокорное создание. Он жаждет развития (вширь, вглубь), делая свою заявку на соучастие в решении и собственно деловых, и общенародных судеб. И эта заявка рынка не совпала с заявкой революции, жаждавшей — и также в людях — самопродления, самоувековечения. Теперь модно (рука сама

тянется) ставить перед коммунизмом прилагательное "казарменный". Оно, может, и справедливо в отношении второй, или исторически первой, стихии с ее уравнилельной ностальгией, с ее добровольной тягой к бедности, к скоротечному порыву и самоотречению во имя Мира "без России и Латвии". Закрывать бы эту антиэнзовскую ностальгию, упразднить бы эту тягу, ибо не работала и мешала работающим, — так не давалась, тая сопротивление, прорывающееся в ненависть. А может, и имела право стать стороной диалога — коммунистической оппозицией социализму производительного неравенства?

Тут и открывался предмет политики, которая тогда политика, когда имеет дело с неодинаковыми, с разными. Кто ж к этому был готов? Кто из тех, кто выучился и привык лишь побеждать, быть в победителях, а не в побежденных? На многом споткнулся нэп: от неопробованности "механизмов" до неподготовленности человека у власти быть *человеком*. Первое непосредственно переходило во второе. Это понял, хотя и не до конца, немой, бессильный Ленин. Об этом "догадался" вождением власти Сталин.

В одиночку, заимствуя и перелицовывая на ходу идущие в *его* дело идеи? Нет, у него был союзник, готовый оборвать *развитие* во имя *продления*. Вернее бы даже сказать — не союзник, а союзники: окольные и прямые. И недемократическая человечность, вовлеченная в фантом осуществимой утопии, своей вовлеченностью (и саморастворимостью!) готовила вопреки себе собственную гибель, оставляя без защиты — мыслью, словом — только поднимающуюся к сознательной жизни человеческую толщу. Но был и прямой союзник: функционер революции, не мыслящий себя вне политики. Исполнитель ее и "заказчик". Особый человеческий тип, закон бытия которого гласил: не щадя себя, не щадить других. Функционер чувствовал себя демиургом истории, в этом равным своему лидеру — кумиру. Сталин же не просто притворялся, соглашаясь с этим равенством и умело поддерживая видимость его, рождающую рвение (и беспощадность!). Самое равенство это входило в его "антропологию" генеральной линии, позволяя свергать соперников и загонять несогласных в гетто уклонов. Функционер, естественно, встал на сторону бухаринского "социализма в одной стране". Но столь же, если не более естественно он воспринял импровизируемый Сталиным "правый уклон" в качестве своего главного антипода. Дитя Октября, подросток военного коммунизма, функционер принял нэп не по одной лишь ленинской указке, оставляя трупы свои на подступах к Кронштадту. Он смирился с нэпом-тактикой, смирился и воплотил себя в ней, но он перестал бы (в массе своей) быть собою, принявши нэп как *другой социализм*. К тому же этот человеческий тип был не сам по себе, а составлял ядро той более широкой и многоликой, мно-

жащейся формации энтузиастов, с которых мы начали размышления о судьбе Хрущева. Сужая тему, подходим к капитальной важности рубежу — году 1930-му, с его прологом и эпилогом, со всеми муками этого года и последствиями его, далеко выходящими за деревенскую околицу.

"Революция сверху", как назвал ее Сталин, "революция", острим своим направлением против середняков, против собственника-работника, навсегда вычеркнула из нашей истории этот коренной постоктябрьский социальный слой, руша тем и экономическую и человеческую (российскую и — мировую в ленинском смысле) базу "строения цивилизованных кооператоров". В прологе — ступор нэпа, в финале — гибель функционера. А в эпицентре — последний взлет его. "Сплошная коллективизация", неотрывная от *темпа* (смысла жизни!), вернула его к своему первородству. Казалось, наступил момент, когда и Сталин получил возможность соорудить из функционерства краеугольный камень своего, своим замыслом и своей натуре отвечающего политического режима. Таков ли был его расчет? Утверждать трудно, предполагать допустимо. Но события внесли неожиданный корректив. Наступил час, когда равенство-рвение функционеров вернулось к Сталину бумерангом "перегибов". Разумеется, источником их был сам Сталин*. Но когда середняк стал брать в руки обреза, превращаясь в повстанца, автор генеральной линии, предупрежденный ОГПУ (другие не смели; члены Политбюро, разосланные по стране, молчали), столкнулся с непокорством функционеров. Их *не щадя себя, не щадить других* оказалось сильнее его телеграфных приказов остановиться на краю гибели. Тогда через головы "верховных" и "низовых" функционеров он обратился к мужику.

Главный виновник катастрофы предстал единоличным вызволителем. Ощутил ли функционер в этом событии сигнал приближения своего конца?

Я миную промежуток между 1930-м и 1937-м, который, конечно же, не состоял только из тщательной подготовки расправы. Тут не прямая, тут развилка. Я допускаю, что и Сталин 1930-го еще "не знал", что он уравнивает творцов коллективизации, правофланговых темпа, уравнивает их даже не со вчерашними мужиками, ныне барачниками, орудующими тачкой и лопатой, возводя гиганты индустрии, — уравнивает их с погубленными голодом и холодом. Тем паче не готовились к этому и не были готовы к этому — телом и духом — люди в гимнастерках. Есть много догадок (и разгадок), вводящих нас в тайну 1937-го. Если откроются все архивы (когда — в XXI веке?), найдется ли

* После публикации Б. А. Абрамовым материалов "комиссия Яковлева" ("Вопросы истории КПСС", 1964, № 1) этот вывод, напрашивающийся сам собой, получил документальное подтверждение.

там сокровенная запись замысла, сделанная самим Сталиным? Нет, в бездны его души историк может проникнуть, выслушав не только уцелевших современников, но и себя... Рискуя ошибиться, я тем не менее убежден, что суть 37-го не в сведениях счетов с былыми солидерами, с теми, кто имел право считать себя наследниками Ленина. Да, не простой декорум — погубление тех. Месть достигла эпигонов первого поколения и дома, и за его пределами. К сладости расправы примешивался холодный расчет: инсценированная домашняя "пятая колонна" примирит с террором "победившего социализма" левый и даже отчасти правящий Запад. И антифашистская завеса, и сговор с Гитлером — в одно и то же время. Два "Мюнхена" в 1938-м: тот, где премьеры Англии и Франции принесли в жертву нацизму вместе с чужими землями и европейскую демократию, и тот "бухаринский", "рыковский" квазисуд, который, обобщив террор, сделал заложниками Сталина поколения советских людей, — заложниками повального выравнивания и неумного миродержавия. Хитрость ли этого мирового духа или оборотня его — близость роковых дат? А миллионы растерзанных, заточенных в лагеря — не "перегиб" ли по шаблону 1930-го?

Есть основания для сопоставления: январский Пленум того же 38-го, убранный в два приема Ежов, либеральный доклад Жданова и либеральные жесты-послабления (жесты-возвраты одиночек) присланного на Лубянку и надолго задержавшегося там Берии. Своего рода "головокружение от успехов". И параллель в итогах: там, при всех попятных шагах, необратимым оставалось уничтожение середняка, тут — уничтожение функционера. В сущности, не параллель — двуединство в судьбах. Функционер ведь не исчерпался уничтожением середняка; он еще и тем негоден и даже опасен стал главному функционеру, что принялся опекать собственный результат, повернув свое рвение в сторону свежеепеченных колхозов (и первые репрессии, коснувшиеся рядовых функционеров, и уже не в порядке одиночного исключения, не случайно падают на 31-й, 32-й годы, а "политотделы" — только ли против сопротивляющегося новому разорению колхозника были учреждены или также против райкомщика-опекуна?).

Трудный, требующий исследования вопрос: мог ли функционер середины 30-х дотянуться до *своей политики*, переменяв главного функционера? В чью пользу шли тогдашняя "разрядка" и тогдашняя "перестройка", умиротворение интеллигенции и уступки крестьянам, новая Конституция и акты на вечное пользование землей? Казалось, в выигрыше прежде всего был Сталин: ведь все, что ни делалось, связывалось с его именем, да и осуществлялось оно не за спиной его, не в обход. Но может быть, против его воли? Не исключено, что и это имело место. Наш долг — извлечь из небытия все факты сопротивления ста-

линскому *экстремизму власти*, восстановив судьбы всех, кто не совпадал, тем более тех, кто отважился на прямой протест, на попытки изменить ход вещей сменой лиц на самом верху партийной пирамиды. Само собой, Сталин не пропускал ни одного такого намерения, отвечая в соответствии со своей натурой. Однако проблема, нас занимающая, этим не исчерпывается. Ведь и реакция Сталина на действительное, а не измышленное сопротивление состояла не только из сиюминутных, а также отложенных по необходимости расправ. "Позитив" тоже был оборотной стороной этой реакции. До известного момента социальные уступки и политические послабления не только повышали градус восхвалений в адрес вождя, не только укрепляли его положение, но и ослабляли позиции той узкой прослойки партийных работников и мыслящих людей, которая добивалась социализма без *регулярного насилия и систематического обмана*.

Убийством Кирова Сталин освободился от наиболее опасного (для него) из возможных лидеров этой прослойки, которая была далека и от организационного оформления, и даже от идейной консолидации. Единство партии оставалось для нее исповеданием веры, а фракционность — страшнейшим из жупелов. Но, может быть, более всего сковывал ее волю отказ от ревизии собственного прошлого — то, с чего только и мог начаться диалог с тем человеческим большинством, которое именуется у нас "беспартийными". Отдадим должное Сталину. Он перехватил ("блоком коммунистов и беспартийных") почин этого диалога. Чутье действительной и мнимой опасности подсказало ему сверхзадачу: отвоевать у потенциальных противников гигантскую массу испытавшую на себе все тяготы и ужасы "великого перелома". Он понял: ритуал оправданности жертв во имя будущего требует новой подкормки. Опасности извне надо было придать осязаемую близость к бытию каждого. Опасность следовало ввести в любой дом, в любую семью, стравив человека с человеком же, посеяв подозрительность, адресуемую уже не только соседу и другу, но самому себе. Прошлое России "работало" на Сталина, вернее — не все оно, но то в нем, что делало всех чужими порознь, соединяя в совокупность, в единство лишь через державу-власть. Сталин обновил и усовершенствовал традицию. Задним числом допустимо сказать, что он также стоял перед выбором. Он мог бы, сбросив вериги главного функционера, освободиться от функционерства как такового посредством популистской демократии, чистки, производимой на этот раз уже не в порядке одноразовой кампании, управляемой партией, а на регулярно-правовой основе. Но это "мог бы", конечно, не больше чем условность. Я не стану утверждать, что он изначально собирался превратить отнюдь не плохую (сравним с брежневской) Конституцию 1936 г. в клочок бу-

маги. Он к этому шел, или его к этому вело все, что в нем и вокруг. Менее всего он способен был допустить мало-малейшую десакрализацию власти. Атрибуты победившей и не остановленной революции подлежали сохранению. Поэтому, в частности, для него недостаточным было и избирательное вычеркивание из жизни тех, кто эту революцию олицетворял, — вычеркивание способом, подобным "ночи длинных ножей". Как бы кощунственно это ни звучало, у него не было иного выбора, чем выравнивание смертью, чем "всенародный террор", "человекоубийство с тотально фальсифицированным обоснованием" (как с исключительной точностью определил это чудовище XX века Станислав Лем*). Но то, чего домогался Сталин, он и мог превратить из доминанты параноидального персонажа в доминанту *повседневности*. Ибо располагал не только исподволь заготовленной когортой исполнителей, не только ресурсом многоголовой сопричастности, но и свежим навыком привыкания. Обросший бытом и возведенный в апофеоз 1930-й вошел в самое тело — обиход 1937-го.

Из одной необратимости проистекала другая: атомизированный в виде ли колхозника, в виде ли новой рабочей массы вчерашний середняк тянул за собой в историческое небытие романтика и прагматика Штурма. На смену ему шел иной тип человека — иной, если даже в этом телесном облике представлял уцелевший функционер. Менее человеческий? Да, хотя и не подряд, но чем дальше, тем непременно в этом отношении, которое в свою очередь не просто по команде свершалось, не просто равняясь на высший эталон. Увядание человечности производно с тех пор от отбора на безоговорочную исполнительность, неотъемлемую от "системы", составляющей собственность Хозяина — и осознающей себя таковой. "Ленин создал аппарат, аппарат создал Сталина" — слова Л. Д. Троцкого подкупают афористичностью, но так ли верны они? Так ли верны — и в отношении Ленина, и в отношении Сталина? Нет, полагаю я, аппарата Ленин не создал (и стоит ли так умиляться по поводу каждой из бесчисленных записок, касались ли они больших или совсем мелких дел, которые исходили от человека, привыкшего жить "письменной" жизнью, и не кажется ли странным, что, только когда смерть постучала в его дверь, задумался он о распределении обязанностей между своими замами?).

Аппарат — в том смысле, какой понятен без дальних разъяснений каждому, кто жил у нас и в 30-е и позже, вплоть до дня сегодняшнего, — детище Сталина. Отличие аппарата от функцио-

* Правда, Лем в своем эссе "Провокация" (1980) рассматривает антропологию гитлеровского геноцида, но проблема, им поставленная, и самый подход к ней, при всей возможной спорности, подводят нас к родству несовпадающих феноменов гораздо глубже, чем прямолинейное отождествление.

нерства не формальное, оно не в должностях и даже не в иерархии как таковой (тут близость). Коренное отличие — непричастность аппарата к *политике*. Особенная чуждость, которая затрагивала, изменяя и переиначивая то, что суть человека: речь, ее семантику и лексику. Еще вчера над всеми словами господствовали два, произносимые как одно: *генеральная линия*. Теперь (середина, конец 30-х) эти два слова уходят. Бесследно. Навсегда. Теперь и они — лишние, ибо ими все же подразумевалось нечто не-генеральное, но имеющее временное право на существование. Отныне такого права нет ни у идей, ни у людей. И оттого нет больше нужды и в "уклонах", и в "уклонистах", даже покаявшихся. Отныне есть и *могут быть* лишь двурушники, дозревшие предатели, затаенные и избличаемые изменники.

Кодовые слова, слова, с тех пор управляющие речью, сознанием и судьбами: враги народа. Не белогвардейцы (класс!), не вредители (живые пережитки недоразвившейся российской буржуазности!), а именно — *враги народа*. Отсчет — от этих двух, произносимых как одно. От них — к народу. Отныне "народ" — это те, кто не враги, это то, что раз и навсегда едино в своей единственной персонификации. И это уже не просто единство цели и средств, суммированных в политике. Это — "морально-политическое единство", возмещенное Молотовым в ноябре 1937 г. (недаром соответствующее место из этой речи завершает последнюю главу "Краткого курса", а доклад к 20-летию Октября именуется там "историческим"). Черта под *равенством-рвением* подведена. Равенство — вне закона. А рвение меняется исподволь. Суть аппарата — посредничество между единственным вождем и единым народом. Оттого у аппарата как некоего целого нет и быть не может собственного прошлого, а стало быть, и собственного будущего. Он (аппарат) не бессилен. Отнюдь. Но он — эманация всеисилия Одного и потому сам по себе безлик.

Сказав это, мы имеем в виду родовую примету и конечный счет. По сути же, было все сложнее и в индивидуальном смысле, и в общеродовом. Для полного искоренения племени функционеров, их свойств, их стиля требовались поколения. А на пути, до 50-х, была война. Катастрофа звала не только к рвению, но и к равенству — на этот смертельный час. (Два осколка из давнишних воспоминаний. В Ленинграде, у Адриана Владимировича Македонова, "Сократа" воркутян, встреча с женщиной, женой известного поэта, не только перенесшей, но и выстоявшей блокаду. Я допытывался: как же удалось, невзирая ни на что, выстоять? Понятно, говорило радио, слышался голос Ольги Берггольц, но в быту, в повседневности, как объединялись, через что проходила связь коченеющих, добываемых голодом людей? Она минуту подумала, потом сказала: "Ну как, были ведь и

домоуправы, и милиция, и райком...” А летом 45-го — незабываемая единственная встреча с Василием Семеновичем Гроссманом, коего возлюбил еще в студенческие годы, а фронтовые, естественно закрепили это чувство. Встреча была случайной и недолгой. Говорили, в частности, о ”Волоколамском шоссе”. Я сказал: хорошо написано, но герой несимпатичен мне, а авторская симпатия к нему лишь усиливает отталкивание. Гроссман усмехнулся: ”Вот и Поликарпов (тогдашний секретарь ССП) усмотрел у Бека эсеровщину”. Разговор перекинулся на 41-й, на нашу — человеческую — неготовность к трагедии и на тех, кто сумел изготавиться уже в неравном бою (как герои повести Гроссмана ”Народ бессмертен”). Он задумался и ответил: ”Комиссары теперь ни к чему. Их пора на слом. Но в сорок первом они были на месте, без них тот год непонятен”).

...Последующее — не только продолжение прерванного. Оно вносить и новое — в обман, в страх, в обезличивание. Тот, уплотненный во времени, террор уже без надобности. Память о прежнем еще свежа, но и ее надо было подкреплять. Нужен был ”страх перед страхом”, как с лаконичной точностью назвал эту отечественную психопатологию Василий Гроссман в своем посмертном (для нас) романе. Сталин не Макбет и даже не Иоанн Четвертый, его не преследовали тени убитых. Призрак, одолевший его, вознесенного народом до небес, — возрожденное войною *равенство*. Равенство в страданиях, в потерях, не обошедших почти ни одну семью; равенство тех, кто победил, двигаясь по вражеским и собственным трупам с востока на запад, и тех, кого мы называли тогда ”союзниками” и кто с много меньшими, но также с потерями и горем пришел с запада на конечный Запад. Равенство внутри победившего антифашизма и продление его в биографиях вчерашних мальчиков, вступающих мужами в неведомо новую жизнь, — не этот ли Бирнамский лес виделся Сталину, уединившемуся на озере Рица, чтобы, отойдя от *той* войны, открыть новую, также народную?

Вторая половина 40-х — начало 50-х — война против воскресшего равенства, еще не опознавшего себя, поселившегося в Образе и не дотянувшего до Понятия. Безумная стратегия или стратегия безумия — обрубить навсегда самые корни этого чувства, этой тяги, пробравшейся даже в аппарат? Ближний расчет был верен. Под стягом *Своего*, которому грозит *Чужое* (именно потому и тем грозит, что оно ”чужое”), шло невидимое переименование стимулов жить, подымаясь вверх. И аппарату предстояло стать инструментом новой внутренней войны — и, само собой, возрос спрос на годных к ”промыванию мозгов”, и хотя поначалу шло скорее перетряхивание аппарата, чем чистка его (хотя в малых размерах и она также), но где-то маячило уже и замещение в более широких масштабах, — замещение ”приводных ремней” от единственного вождя к единому народу — за-

мещение их теми, кто в этом же качестве вкусил и от неравенства по крови. Новые обстоятельства — новая семантика, управляющая судьбами: не из одного ли гнезда "космополиты" и "прогрессивное войско опричников" (кто, кроме Сталина, сподобился бы на такое словосочетание?!).

Правда, процесс этот был еще не вполне завершен, когда смерть Сталина приостановила его. Однако мы вправе спросить себя: сколь достижима была в конечном счете обновленная сталинская антропология? А конечный счет — это исчезновение историчности в человеке, вовлеченном в последний виток преступной власти. Конечный счет — уничтожение политики, поскольку, имея дело с "вечной" однозначностью, с одинаковыми людьми и сведенными к одинаковости народами, этносами, цивилизациями, политика лишается *предмета* (и смысла!), место которых, однако, не должно пустовать, заменяясь их суррогатами, рассчитанными на удержание и возобновление той же одинаковости, *того же* "всеобщего знаменателя". Вопрос не праздный. Это мост от Сталина к Хрущеву, от Хрущева к сегодняшнему дню. Удовлетворит ли общее и в моих глазах не лишнее доказательности рассуждение: если утопия оказалась в наш век почти осуществимой, то и у ее оборотня — свое *почти*. Два "почти": близнецы и антиподы. Первое продолжает жить в порах второго, стиснутое, притихшее, но не исчезающее вовсе. В какой-то момент вновь возникает близость недемократической человечности с "жаберными щелями" функционера. И тогда начинается новый акт трагедии, возобновляющий своим катарсисом (или также почти катарсисом) надежду на жизнь без убийства и страха. И... возвращающий к убийству и страху.

В конце 1952-го, к началу 1953-го стрелки часов на Кремлевских курантах замерли на без пяти минут 12. Эти пять минут не давались Сталину. Иссякло ли его воображение, брала ли верх старость или в недрах аппарата заработал инстинкт самосохранения, побуждающий к "контригре" (доступной, конечно же, лишь тому особому аппарату внутри аппарата, который был сверхсобственностью Хозяина и потому обладал экстерриториальностью существования)? Отдавая должное детективу, я все же склонен слышать в финале шаги Немезиды. Впрочем (повторю): к счастью для всех на Земле, Сталин не дожил до "своей", опередившей Запад, водородной бомбы.

Хрущеву предстояло заново привести в движение Кремлевские куранты. Признаем: ноша была непосильная. Он взял на себя *малую великую* часть ее: отодвинул стрелки назад. А дальше началась та аритмия времени, которая наполняет все десятилетие его действительного и — одновременно — мнимого полновластия. Действительное, кажется, не требует доказательств. Мнимое обнаружилось финалом, но не фигура красноречия — зачислить самого Хрущева в авторы развязки. Мы воз-

вращаемся здесь к проблеме, поставленной выше: если всякая попытка сделать своей программой "анти-Сталина" при помощи его же наследства (бесконтрольности "идеальной" власти) должна была вернуть вспять либо загнать в тупик Хрущева, а вместе с ним и нашу *страну стран*, — имеем ли мы право, держась фактов, настаивать на том, что не только начальный, но и общий результат "хрущевского" времени внес перемену в самое Время?

Чтобы избавить вопрос от метафизичности, предложим испытательный тест. Освободимся от предвзятого балла, который принято ставить схватке 1957-го, из которой Хрущев, казалось поверженный, вышел не только не утратившим власть, но и приумножившим ее. Из своего торжества Хрущев извлек, как известно, уроки разного рода, в том числе и в духе Сталина. Чего стоит лишь коварное "освобождение" от маршала Жукова, чьей поддержке он немало был обязан своей победой над комплотом старой гвардии и новых, постсталинских деятелей?! Список грехов Хрущева не менее, если не более, длинен, чем список его заслуг. Но ведь не числом и даже не умением, а смыслом стоит мерить итог. И если мы не отказываемся от предложенного теста, то по причинам, как раз относящимся к смыслу, или, иначе говоря, к возможности (или невозможности?!), возврата к нему, что равнозначно возврату к политике, *возрождению политики*.

Перефразируя давнишнее каменевское "мы создали рынок", вправе ли был бы итоговый Хрущев сказать: "Мы (в единственном лице!) создали человеческое — социальное и культурное, мыслительное и трудовое — разнообразие, мы заново ввели многоукладность, наполнив ее новым, современным, в политику переходящим, политику определяющим и политической определяющимся содержанием"? Не вправе, ибо не ввел. Не помышлял ввести. Не располагал для этого ни внутренними ресурсами, ни извне приходящими побуждениями. Был бы он у власти в 1968-м, принял ли бы сахаровский вариант домашнего и вселенского "общественного договора" или дал бы, подобно преемникам, команду: вперед на Прагу? Хочется, естественно, предположить, что остановился бы перед вторым, но вернуть "конвергенцию" внутрь СССР, *внутрь социализма* наверняка не только бы отказался, но и осерчал бы на свой "манежный" и иной манер. Да и от Сахарова бы — на этот манер, — скорее всего, отрекся бы. Если "там" на место слушника Оппенгеймера нашелся свой Теллер, то у нас (где талантов не меньше), чтобы заместить слушников в высоком ученом ранге, кандидатов с избытком.

Но опять-таки в Хрущеве ли дело или в той самой неподатливой, распятой, отлученной "многоукладности", от первой Голгофы и от вторичного хрущевского отлучения которой ис-

ходил и марш на Прагу, и лагерный диссидентский "марш", и многое из того, что составило домашние 70-е, зачавшись в славные, улыбочатые, фестивальные 50-е?!

Однако вернемся к нашему тесту: к 1957 г. Отстранимся от нравственной стороны дела. Средства, примененные тогда, что и говорить, не из лучших (на память приходит 1928-й, 29-й), но что делать было, если любое промедление, всякая щепетильность могли открыть шлюзы реваншу? Но так ли? Реванш ли грозил хрущевской цели или, напротив, возобладал бы *реализм задач*, лишь прикрытый флером цели, и был бы отодвинут в сторону отнюдь не безобидный мираж: "коммунизм к 1980 году"? Вопрос отчасти риторический (победил-то Хрущев), с другой стороны, требующий документального прояснения — чего в самом деле добивалось большинство в том анонимном "верху", который за Спасскими воротами (и что, к примеру, подвигло на присоединение к этому большинству одного из соавторов хрущевского "анти-Сталина" — Д. Т. Шепилова?).

И все-таки рискнем обозначить эту развилку, предположив, что она была именно развилкой: "местом", где заново появились первые побеги альтернативности. Не в Кремле появились, за его стенами, но не безотносительно к Кремлю. К хрущевскому Кремлю, как и к Кремлю его противников... Кому-то из зарубежных публицистов и исследователей, упорно старающихся понять нас (если не ошибаюсь, это Джузеппе Боффа), принадлежит афоризм: Хрущев пытался совместить в одном лице главу правительства с лидером оппозиции (результат очевиден!). Замечено метко, но чересчур по-европейски. Я бы рискнул отредактировать этот парадокс, заменив формальный пост на человека, желающего занять опустевшее место вождя, а "лидера оппозиции" — на последнего из функционеров. Можно было бы даже сказать — на последнего из коммунистов, если понимать под словом "коммунист" не принадлежность к правящей у нас партии, а привязанность к *конечной цели*, воспринимаемой им, "последним", в духе функционерского романтизма 1920-х: как то, до чего рукой достать, тем более если эта рука властвующая, обладающая возможностью (и правом?!) превращать желаемое в команду, за которой должно последовать исполнение, и только.

"Круглый" 1980-й, конечно же, не был сколько-нибудь выверенным, напротив, он пугал все расчеты и сроки. А его распределительный пафос не нуждался ни в "Капитале", ни в "Государстве и революции", да Хрущев и не утруждал себя, намечая время и размер изобилия и бесплатности, какой-либо классической книжностью (этим занималась на госдачах пишущая обслуга). Он же был гораздо ближе к самому себе, когда выговаривал свою заглавную, а по сути, и единственную идею запомнившимися с детства простыми и звучными словами: "Будет вам и белка, будет и свисток". На расстоянии — сюжет для Аркадия

Райкина. Однако кто тогда осмелился бы оспорить эту невинную блажь и не то чтобы указать на ее частные несообразности (были люди, открыто говорившие об этом), но опознать в ней источник бед, включающих наряду с новыми приступами разорения народа и новые позывы вычеркивания людей из жизни?

Говоря об этом, хочу и тут избежать упрощений. Последний функционер все-таки был не одиночкой и окружен был, если выйти за пределы Кремля и госдач, не только людьми, смотревшими (теперь) в рот ему, не только этими слугами всех господ, которым у нас, на нашу общую пагубу, несть числа и по сей день. Увлечение идеей — догнать и обогнать чванливые, удачливые, разжиревшие Штаты, притом беря в расчет не только космос, ракеты, ядерные запалы (их как — “на душу населения”?), а считая то, что действительно положено не мертвецам, а живым: пищу, крышу, одежду по вкусу, — вот по этому, новому счету догнать бы и обогнать их, разве это дурно, разве не по силам оно? Тут уж не один лишь зарвавшийся лидер в виновниках, тут даже не обман, а самообман, *эпидемия самообмана*. И в заболевших и в “болельщиках” мы обнаружим и самих себя, пригубивших самого горького опыта и самых невозвратимых потерь. А может, именно потери эти, военных и послевоенных лет, память, память-победительница, память-нищенка влекли и нас к “белке и свистку”?

Не обойдем и действительных мужей совета. Перечитываю книжку С. Г. Струмилина “На путях построения коммунизма”, вышедшую в 1959 г. Покойный академик был достойнейшим человеком, не боялся защищать травимых и умел, любил работать — считать без подручных. “...Элементарный расчет показывает, — писал он в названной книжке, — что при заданных условиях (т. е. исходя из темпов роста на пятилетие 1950—1955 гг. — М. Г.) СССР обогнал бы США по объему всей продукции уже в 1962 г., а из расчета на душу — еще через два года, не позже 1964 г.” И в заключение — с полной уверенностью: у нас вскоре будет обеспеченная основа, “чтобы уже в течение примерно 5 лет после 1965 г. или несколько раньше догнать и превысить уровень производства в США на душу населения”. Или несколько раньше! Тут уж Хрущев способен показаться более осторожным. Меня озадачили тогда эти расчеты, и я обратился за разъяснениями к крупному экономисту А. Е. Просту, который к тому же был в близких отношениях с престарелым ученым. Несколько смущаясь, Абрам Ефимович сказал: “Он убежден... и в том особенно, что ему самому удастся дожить до коммунизма”. Поистине: нашими благими намерениями была устлана дорога в ад. И только ли *была*?

Так не лучше ли стало бы, если бы взяла верх “антипартийная группа”, вернувшись к заклеянной первоначальной программе Маленкова? Ни белки, ни свистка. Малая целина и никако-

го рязанского эксперимента. Группе "Б" скромное, но неустанное развитие. И конечно же, космос, совершенствование средств человекоуничтожения, хотя, может, и без ракет на Кубе. Вероятно, и без хрущевских пенсий старикам, но, может, и без хрущевской "тихой" девальвации. Без самочинного кремлевского дара Украине — передачи ей Крыма, но и без региональных экономических правительств, перешагивающих границы и пределы раз и навсегда установленной державной власти: ибо, если вдуматься, чем иным могли бы стать хрущевские совнархозы, удержись они надолго, — чем иным, как не началом перекройки на рациональных и суверенных основаниях территориального деления, завещанного Сталиным, и прежде всего — началом превращения громадины РСФСР, каждый регион которой по необходимости восходит к Москве, в связанную целостность независимых республик — земель и цивилизаций, иначе говоря: чем иным, как не прологом к другой жизни, социалистической, но другой?!

Собирался ли сам Хрущев пойти столь далеко? По силам ли было ему, отрешившись от прожектов немедленной и безраздельной переделки сверху, ограничить себя содействием *самообновляющейся эволюции*? Более чем сомнительно, или, попросту говоря, исключено. Но может быть, это были бы вынуждены, повинувшись инстинкту самосохранения, сделать его противники? Освободившись от Хрущева, не просто вернуться назад, а испытать нечто третье, выступив в роли стражей равновесия, трезвых и расчетливых модернизаторов, не забывающих и соотнести — по шкале неперемennого, но нескорого мирового переворота — внутреннюю устойчивость с внешними катаклизмами и переменами. Оттого и знаменитая "хрущевская" триада — из мирного сосуществования, мирных форм революционной борьбы и многообразия вариантов "применения всеобщих истин марксизма-ленинизма в конкретных условиях", — и она, не исключено, могла бы войти в обойму допустимых новаций и при ином составе правителей. Рискнули бы они включить в эту обойму "общенародное государство"? Отчего бы нет. Ведь все дело здесь в тех самых "конкретных условиях", на какие напирал основоположник, а уж его имя, безусловно, склонялось бы не реже, чем при Хрущеве и его, хрущевских, преемниках. Общественное — значит, включающее весь народ, неотделимый от власти в любой из своих жизненных ипостасей, равно публичных и частных. Единство народа оттого и было бы по-прежнему незыблемым и соответственно — поддерживаемым и охраняемым. Пожертвовав "жаберными щелями" последнего функционера, взявшее верх большинство, само собой, не посягнуло бы на аппарат. Не стало бы тревожить его непредсказуемыми перестройками (стабильность, стабильность!), но не давало бы ему и распутиться, своевольничать в том, что сохранило бы этикетку "по-

литика”, оставляя в силе подспудный императив аппарата: *без собственного прошлого, без собственного будущего.*

И это двойное “без” могло бы раздвинуться, минуя шумные эксцессы, но не рискуя особыми послаблениями вроде публикации “Теркина на том свете”, — раздвинуться виширь, включая в себя, в соответствии с традицией и идя навстречу веяниям времени, домашнюю технократию, врастающую в аппарат, в иерархическую субординацию с неотделимой от нее добровольно-принудительной идеологической дисциплиной. И в этом случае зачем бы, например, “почетному академику” Молотову ссориться с Академией наук, да еще вопрос: он ли, Молотов, задавал бы тон, ведь могла бы произойти и перегруппировка сил, например — блок Маленкова и Шепилова с Первухиным, Косыгиным и им близкими духом. А останься на своем посту прославленный, любимый народом маршал Жуков, то весьма возможно, что и он, даже именно он, сыграл бы самую весомую роль в последующей кремлевской перегруппировке, как и в технократизации всей системы, в приучении номенклатуры к требованиям ядерного и компьютерного века и не в последнем счете — в подтягивании “работяг”...

Близко ли к цели было все перечисленное? Соблазнительно сказать — нет. Не поверишь ведь. Я также склонен к “нет”, затрудняет же меня объем и существо этого отрицания. То, что любой из наследников Сталина вынужден был бы отвести назад стрелки Кремлевских курантов, — это бесспорно. Спорно же — пришли ли бы в любом случае эти часы в движение. Продолжим наш рискованный “тест”, сказав: аритмия Хрущева была если не абсолютно единственным, то близким к этому способом вернуться в лоно Времени. Его анти-Сталин быстро захлебнулся, и XXII съезд только кажется более высокой точкой, чем XX. Но к не-Сталину не было вообще прямого пути. От дальних и близких следствий опустошения в хозяйстве и культуре, в нравах и душах не было прямого пути к *другой жизни*. Особенно — от опустошений в душах. Впрочем, и это может показаться метафизикой, если не попытаться перевести сказанное, хотя бы в самом сжатом виде, на язык истории, заодно выверив самый язык, каким мы при этом пользуемся... Еще раз: “Мы создали рынок”. Не слышится ли в этом “создали” приговор нэпу, пролог к катастрофе 1930-го, а от нее и через нее — к *введенному* социализму 1936-го, 1937-го? А от него, от его “введенности” (потребовавшей жертв без числа) — минуя трагический взлет и окровавленный последыш войны — куда? К ширящемуся все дальше на Запад и Восток пространству без душ? Конечный код сталинской державы: не средства, какие превыше цели, а цена, которая превыше всех наличествующих средств и исключает все известные людям цели. Цена как таковая. Единственность Цены — и Он в качестве ее единственного воплощения.

От этого наследия в 1953-м не был свободен никто. И никто не мог от него освободиться разом, как никто не мог от выравнивания смертью вернуться разом к равенству, воплощенному в человеческом достоинстве *каждого*, вернуть свое человеческое призвание: быть (стать!) собою. По законам "системы" — законам ее саморазрушения — вырваться из ее объятий значило либо объявить себя вне ее законов, либо попытаться встать над ними, открыто заявив себя противником "единственного воплощения", противником призрака его, его загробной власти над мыслями и поступками. Но встать *над* — значило остаться в пределах отрицаемого. Та же агония системы, те же законы ее саморазрушения влекли к еще одной попытке "введения". Последней ли? Ответом — судьба Хрущева. Вся — от освободительного первого шага до конечного минусового баланса. Признаем: не только первый шаг нам дорог. Но и минусовый баланс — общее приобретение. Нужное нам всем, не исключая никого.

Поэтому я отдаю предпочтение "великому десятилетию" с его новыми утратами и болями, с мучительными для всех шараханьями из края в край, с гротеском финала, — отдаю предпочтение перед предположительным, не исключенным, медленным скольжением и рационализацией сталинского наследия, какие могли бы проистечь из торжества "антипартийной группы". Рискованный тезис, я понимаю это. В некотором смысле — бездоказательный. Можно бы указать в виде аргумента на последышей Хрущева, на тех, кто с помощью очередного, на этот раз удавшегося заговора пришел к власти — на срок, чуть не вдвое превышающий хрущевский, оставив после себя вдребезги разбитое корыто. Но и этот аргумент сам по себе не убеждает в превосходстве Хрущева: ведь это (в большинстве своем) его же люди, им же отобранные, его вкусам отвечавшие. Это его, ожегшегося на Шепилове, ставка на затаенных иезуитов сталинской выучки типа М. А. Суслова либо на безгласных, но не безопасных ничтожеств вроде Ф. Р. Козлова, Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного (которого даже его не менее сиятельные партнеры по "забыванию козла" называли "пусто-пусто") привела к фиаско. Но можно ли вменить падение Хрущева в вину ему же? Все зависит от характера вопроса. Спрос ли это на чудотворца, спрос ли это на *личность*: будто бы рядом они, тот и этот спрос, на самом же деле — антагонисты. Но и это последнее выясняется не сразу и к пониманию несовместимости их надо прийти, ощутив и пережив ожог. Его и наш — обоюдный ожог. Ведь это его, хрущевская, эйфория мнимой цели, как и "простая" неразборчивость в людях, открыли шлюзы воинственной близости; ведь это его стремление, сохранив в себе последнего функционера, удержать и Мономахову шапку вождя, отозвалось в людях, движимых сугубо разными помыслами, сделав одних из них

его активными ненавистниками, а других — равнодушными свидетелями его ухода со сцены. Ненависть, совокупившись с равнодушием, вывела нас всех на новый виток агонии сталинской системы.

Достижение? Провал? Не те слова. Ибо агония — это не тихое умирание. На пороге смерти — всплеск жизни.

Его, хрущевской? В буквальном смысле — нет. Повстречайся с ним в последние опальные годы некто, не ведающий всего, что произошло в нашем отечестве между 5 марта 1953 и 14 октября 1964, этот условный пришелец не обнаружил бы в Хрущеве ни созерцателя, подводящего итоги себе и времени, ни деятеля, лелеющего планы расширения круга сторонников и единомышленников. Нужно признать, что политиков в этом смысле, проистекающем опять-таки из самого понятия "политика", у нас давно уже нет. Самому Хрущеву вряд ли приходило в голову, что убежденный коммунист может иметь *своих* сторонников, если не занимает положения, позволяющего иметь таковых. Что допустимо в сфере, очерченной иерархическими границами, недопустимо, а стало быть, опасно, а потому должно быть загодя объявлено вне закона, — по ту сторону этих границ! Этому правила он нарушить не мог. И тем не менее преступил его — однажды, в тот решающий момент своей жизни, не будь которого, у нас не было бы и оснований его поминать, а преемникам его не пришлось бы в голову (у страха глаза велики) окружать Новодевичье кладбище двойным кордоном милиционеров и солдат, оснащенных рациями. Чего, собственно, они боялись — изъятия добрых чувств или чего-то большего, о чем гласит старинная поговорка: "Дурной пример заразителен"?

И впрямь: *против течения* редко когда остается в единственном числе. Чем дальше уходил Хрущев от своего начала, тем больше становилось людей (перефразируя Чернышевского, мы бы сказали: новых новых людей), готовых не только не допустить возвратного движения, но и сделать шаг вперед по сравнению с дарованным — хрущевским — началом. Шаг или, точнее, шаги. Шаги-открытия, при том что открывалось ими не только то, что в отечественном и мировом запаснике, но и то, чему еще нет прецедента. Разные и не вполне согласуемые шаги. Спотыкающиеся на том самом месте, где споткнулось все хрущевское Дело, — на переходе от анти-Сталина к не-Сталину: к иной жизни. Но это уже, как сказано другим русским классиком, "тема нового рассказа". Раскрывая его страницы, непременно поставишь все тот же мучающий поколения вопрос: неужто, как заведено у нас в России, так и задано нам менять себя чередой взлетов и падений?

Сегодня, оглядываясь на 50-е и 60-е, и то, что из них выросло, и то, на чем они оборвались, как будто бы нетрудно и ответить. Но это только — как будто бы. Ответ еще ждет разверну-

того мыслью вопроса, накладывая запрет на недоправду там, где вместе с несбывшимися надеждами обманутые, замученные люди. Да и вопрос не один, а ответов заведомо много больше. И не попеняешь, что Образ, как и раньше, опережает Понятие — и набросками вопросов, поставленных Эрнстом Неизвестным, — памятник на Новодевичьем кладбище, где отливающая позолотой голова Никиты — освобождающего, Никиты — властвующего, Никиты — топчущего им начатое, Никиты — карибского и Никиты — новочеркасского, стоит на бело-черных, разделенно-единых подставках-остриях, стоит, открывая тот пестрый ряд, который завершает могила Александра Твардовского?!

И опять же не состязание, а вопрос, ответ которому дает делящая жизнь: чьим именем справедливее назвать ту оконченную, но не завершенную эпоху — именем Никиты Хрущева или именем Александра Твардовского? Именем первого слушника сталинской системы, не сумевшего совладать со Сталиным в самом себе, или именем человека, которому первый дал возможность превозмочь Сталина в себе: ту возможность, которая родила раскрепощающее Слово — дверь из смерти в жизнь?!

Pro domo sua

Почему я выбрал старинную латынь вместо более привычного послесловия? И опять-таки — зачем вдогонку тексту, у основного состава фактов и мыслей которого семнадцатилетняя давность, направлять строки, навеянные заботами сегодняшнего дня?

Одна причина вполне естественная. Взяв в руки текст, пролежавший годы в ящике моего письменного стола, я не мог удержаться от того, чтобы не привести рукопись хотя бы в некоторое соответствие с переменами, которые произошли во мне самом. Рубцы "родословной", вероятно, будут замечены читателем и поставлены в справедливый упрек автору, которому остается лишь сказать, что, поскольку это *его* рубцы, они ему так же дороги, как и соображения, пришедшие в голову при доделке.

Но все-таки не ради одного этого — заключительные строки и латынь в заголовке. Pro domo sua буквально значит: "за свой дом". Тут вместе личное и общее — и сам дом, и отставание своего права (и долга!), следуя уже отечественной традиции, связывать былое с думами, узанное и добытое исследованием с тем, что пришлось пережить — по собственной ли доброй воле или по "чужой" недоброй. Историк к тому же не больше чем посредник. Не больше, но и не меньше. Без него не быть тем *встречам без встреч*, которые показаны человеческой жизни как одного из непременных условий того, чтобы она длилась и была жизнью. Всякое правило подтверждается исключениями. На беду нашу, у нас их накопилось слишком много, этих несостоявшихся "встреч без встречи". Слишком много оборванных ни-

тей, на полуслове прерванных прологов-начал, которые состоят не столько из бьющих в глаза совпадений прошедшего с нынешним, сколько из неприметных на первый взгляд уроков, какие один человек способен сообщить другому, лишь глядя в глаза и минуя тома с закладками. Вот и человека, о ком в этой статье идет речь, уже давно нет. И я не уверен, что он смог бы внятно изложить другому свой урок. Скорее наоборот — не смог бы, и это также входит в его судьбу.

Трудно соединить живые и мертвые руки, еще труднее — сблизить слова, когда утрачен словарь. В качестве посредника я не отождествляю себя с Хрущевым. На исповеди бы сказал, что, имея я даже хрущевский статус 1953—56 годов, вероятнее всего, не дерзнул бы решиться на первый — незабвенный — хрущевский шаг. Но, зная это, знаю и иное: в той судьбе, когда читаешь ее от начала и до развязки, содержится не только неотвратимое поражение, там еще и кровь и грязь. Если я скрою это, я буду лжецом, которому не простится.

Ныне мы живем у себя дома под знаком разрастающихся перемен, тяги к очищению и обновлению. Но не смеем забыть — живем и после Чернобыля, и после Сумгаита, и после Тбилиси. Кому дано наперед измерить, что́ весит больше? Вспомним еще раз пушкинское: ум человеческий не пророк, а угадчик. Угадывание же требует, чтобы ум был озабочен не только собою — глаголющим, зывающим. Даже если это зывание честное, без павлиньего хвоста, — даже в этом случае уму-угадчику как не озаботиться о других: чтобы поняли они, чтобы приняли "угадку" за *свою*. Нет сейчас нужды важнее. Она и день вчерашний, и день завтрашний. Вчерашний свидетельствует: начиная с нэповских 1920-х мы терпели поражение за поражением, уходя и не доходя от братоубийственных схваток к гражданскому миру — не идиллическому, но продуктивному, к миру-работнику, работнику-хозяину.

Завтрашний же день настаивает: мы все сообща, все поколения, все языки и "уклады", должны научиться выходить из домашних невзгод и неудач непобежденными, дав ради этого зарок — отныне не должно быть ни одного человека, ни одного народа, повергнутого ниц, затоптанного и терзаемого, оставленного в одиночестве.

Только так.

1971, 1988

ПЕРЕСТРОЙКА ИЛИ ПЕРЕПУТЬЕ?

... А может, не "или", а "и"?

Даль поясняет: перепутье — "раздорожища, перекресток, где один путь лежит поперек другого". Но есть еще значение — время и действие переезда.

Два значения — и три драматических внезапных года, аукнувшихся в Мире... Откуда же это взялось?

Первую фразу после памятного апреля я бы назвал "андроповской". К руководству пришел человек, который моложе предшественника. Он полон уверенности и готов продолжить начатое, но смелее, быстрее: пресечь вакханалию казнокрадств, неисполняемых решений, очистить администрацию от некомпетентных и разложившихся людей, поставить заслон эпидемии пьянства, охватившей чуть не все трудовое население, — мало ли этого, чтобы стронуть с места все?

И от слов к делу в мировых сношениях: укрепить, удешевить свою безопасность, вложившись (по собственной воле!) в безопасность тех, кого не один лишь генштаб мыслил потенциальным врагом на поле ядерного и "обычного" боя. Сдвиг, если не больше, если не дальше!

Внешней политикой Михаил Горбачев заглянул в XXI век. А внутренней? Совпадали ли краткосрочные усилия, приложенные к соотечественникам, с переменами, подстегнувшими официальный и неформальный Запад, — складывались ли те и другие в контуры нового целого? На этот вопрос ответил Чернобыль. Прозвучал не просто сигнал бедствия — открылись его размеры.

Сознание того, что начало, предоставленное самому себе, пойдет по затухающей, пришло не сразу. Надо было увидеть воочию бездну бездеятельности, мафиозности, непослушания — и не в одиночку разглядеть ее, вчитываясь в донесения следователей по особо важным делам. Не в одиночку, но и не со всеми вместе; нет для этого готового навыка, а препоны сильнее обретенной власти. Так родилась гласность; импровизация, получившая самостоятельную жизнь, не совпадающую с инерцией всеобщих будней.

Еще не "перекресток, где один путь лежит поперек другого", но близок к этому — и эта близость страшит одних, других тревожит: почти синонимы эти слова, но люди, за ними стоящие, — разные, и различие это растет вширь и вглубь.

...Отчего-то пришел на память человек из тех, кто, не приняв нашей революции, в эмиграции уберег и ум и совесть. (Пройдет время, надеюсь, узнает Георгия Федотова соотечественник-читатель.) Из статьи его под названием "Завтрашний день" — ровно полвека назад: "Оглянемся вокруг нас. Мы живем среди людей, сделавших из отрицания большевизма *profession de foi**. Людей, которые надеются принять участие в строительстве русской культуры — сами или в лице своих детей. И что же? Политизация свирепствует вокруг, быть может, с не меньшей силой, чем в России или Германии. Люди живут идеей — *idée fixe* — политической борьбы с большевизмом, подчиняя все остальные ценности, даже самые духовные, этой борьбе. В политическом утилитаризме мы не уступаем шестидесятиникам. Какое там! В сущности, многие из нас вполне готовы к тоталитарному строю — только, конечно, не к коммунистическому. Для многих важнее не свобода, а символы, во имя которых попирается свобода. Они предпочитают символ нации символу пролетариата, двуглавый орел — серпу и молоту. Вот и все".

Вот и все?

Русский эмигрант чуждался политизации в духе "России и Германии" кануна сговора Гитлера со Сталиным. Его пугали дальние последствия утилитаризма предков. У нас, вероятно, другие стимулы, на своей поляне вращенный духовный опыт. Но, как и Георгий Федотов, мы знаем: ненависть не поддается уговорам. Разбушевавшуюся, ее укротит лишь сила, а применение силы множит рецидивы — и в рецидивисты взаимного отторжения может угодить и сам "порядок" (увлекая за собой хрупкую, еще не научившуюся стоять на собственных ногах гласность).

...В узбекской трагедии встретились этнос с показухой, родовые узы с "соцобязательствами". Обыватель ахает, видя конфискованные сокровища, ныне отправляемые в казну. А растленная монокультурой земля, а полуграмотные и больные дети — чье наследство? Власти? Круговой поруки единокровцев, единоверцев?.. Чтобы излечить почву, не истребляя корней, нужно всмотреться в политический строй и в человеческие души. Нужно выслушать каждого! А для этого надо, чтобы каждый смог нестесненно заговорить, не боясь попасть ни в "консерваторы", ни в "авангардисты перестройки" и т. д. и т. п.

Да так ли это просто — высказаться до конца, пускай даже убраны все "внешние" препятствия? Есть заставы и внутри человека. Тревожные приметы времени — достоверная фальшь, перевертыши вчерашних догм. Некто настаивает: ни шагу с нашей магистрали; другой зовет: вернемся на мировую, но магистраль же — одну для всех и на всех.

* *Profession de foi* — букв.: исповедание веры, credo.

Нет, что ни говори, признать исходное равноправие убеждений, не вычеркивая и того, что значит предвзвешенными, — непривычно, тяжело. Но легкого выхода нет. Нет и не предвидится.

Мы — современники агонии сталинизма, свидетели ее и участники. Употребляя термины "режим" или даже "система" ("административно-командная" взамен сданного в архив "культы личности"), мы еще не дотягиваемся — и мыслью и действием — до истинных размеров явления, до первичности его в ряду родственных и производных феноменов нынешнего столетия.

Первичность связана с масштабом, измеряемым гекатомбами человеческих трупов. Она — в субъекте, но кто субъект? Один Иосиф Джугашвили? Одно лишь замкнутое пространство его психики, где безмерное властолюбие уживалось с патологическими страхами, с неуходящим "комплексом ненужности", а банальность кровавых преступлений — с изощренным искусством манипулирования живыми людьми? Одно это — его пространство? Или еще и другое — евразийская громада, сотканная из разных языков и цивилизаций, но сведенная к одному знаменателю всеобъемлющей и всепроникающей властью? Итог не монолит, итог — кентавр: жесткая сцепка двух пространств, при которой паранойя одного исторического персонажа довела едва не до абсолюта закрытость огромного деятельного целого.

Я не рассматриваю сейчас летопись "закрытия России". Не в один день, не в один год все сцепилось. Были и преграды и откаты. Если замкнутость питалась "окружением" (питалась — и питала его!), то и нивелировка, унификация, равной которой, вероятно, не знало наше столетие, вбирала в себя (и растворяла в себе!) начатое революцией пробуждение окраин, ренессанс задвинутых наций... И когда сцепились намертво замкнутость с выравниванием (совпав волею рока с первым актом ядерного Мира), началась агония. Историк скажет: закон феномена! Становясь равным себе, в кульминации могущества он сам обречен: обречен, не отступая, вовлекая и в умирание свое всех, кого изуевичил, примучил, возведя в "со-могущественники".

Закон — и тут же загадка, разгадывать которую также не один год. 1956-й, XX съезд: неожиданный Хрущев. Им распахнутые ворота сталинский лагерей, им спасенные жизни, на миг возвращенная память — забудется ли такое, уместится ли в равнодушную строчку: "Реабилитация?" И им же приоткрытые двери в Мир — больше для самого себя, но и это было в новинку, как и развязка Карибского кризиса — самого опасного из преддверий ядерной схватки.

Замкнутость надломилась, не больше. А нивелировка — ни с места. Здравый почин совнархозов завершился фарсом разделенных обкомов, бунтом функционеров, заговором доверенных

сподвижников. Брежневское двадцатилетие не реанимировало сталинизма, оно лишь на свой лад вложило в его агонию. Выравниванию смертью пришел на смену универсализм коррупции, как некогда безумству крестовых походов — продажа индulgенций.

Но не упустим и другие, такие несхожие между собой лики 70-х, как американо-советское соглашение о закреплении (и повышении!) потолков человекоуничтожения — и появление в отечестве нашем новых людей. Людей из всех наших наций, готовых положить жизнь на обновление дома-мира. "Дети XX съезда" перестали быть детьми с рубежа 1968 года. Но справиться ли было инакомыслящим с атавизмом сталинской машины, с привычностью страха, с повальной причастностью ко злу? Вынужденные перейти к самозащите, они, вольно или невольно, становились на почву данности противостояния — личной и мировой. Но и этот урок не прошел зря. И он, не взвешенный еще, в прологе Апреля.

...Сегодняшний лидер, естественно, не из "диссидентов", хотя и не боится нарушить "идеологическую чистоту" соседством с Андреем Сахаровым. Много это или мало? Смотря чем мерить. Не станем преувеличивать. Мы, вместе живущие, еще не открылись Миру, поскольку еще по-настоящему не открылись самим себе. Одним закрыто другое. Придет время, и станет обычным право свободного выезда и свободного возвращения (непрерывно — свободного возвращения!), и тогда действительный и высокий смысл приобретет: гражданин СССР... Но уже не просто рубеж перейдет — Рубикон. Начатое Горбачевым укладывается в слова: демонтаж сверхдержавы. Он признал на деле: людям не выжить, пока не оборвется страшная поступь динозавров XX века. Гигантизм сковывает и там, на Западе, где бушует компьютерная эйфория. Наш же доморощенный гигантизм не выправить ныне любыми спазмами подражания, бега вдогонку.

Оно вроде странно — входя в Мир, сказать себе: нет для нас прецедента. А почему странно? Не войдя, не решились бы даже подумать. Или иллюзии это? Опять-таки смотря чем мерить. Ежели тем, что именуют "механизмом торможения", всевластием бюрократии, то — химера. Сама по себе бюрократия если и напасть, то неизбежная. Страшной она становится, когда утрачивает свой оптимум. Еще страшнее, если это чудовище, распоряжаясь по-прежнему всем и вся, становится одновременно беспомощным.

Конечно, непросто отделить агонию вчерашнего централизма от кризисов предперестройки, многие адепты которой ищут выход из трудностей в "центре", без пощады расправляющемся с периферийными саботажниками. Так и впрямь докатимся до "ВЧК перестройки". Но оставим в стороне крайности полемики. Разве не общее место — поиски одного перестроечного решения

для всего нашего пространства? Разве не миф "единой перестройки" одолевает наших экономистов, полагающих, что тысячи самодинамизирующихся (на один аршин!) предприятий смогут обеспечить свободную жизнедеятельность миллионов мужчин и женщин, живущих в столь разных условиях — экологических, бытовых, культурных? Осуществись такая "самостоятельность", и нас настигнет новый бюрократизм, подобно тому как гербициды порождают более устойчивые разновидности сорняков...

Нет, так жить не получится. Уже не получается. И тут — раздорожье, приближающее страну к "перекрестку, где один путь лежит поперек другого". Лидер не совпадает с "системой". "Системе" уже мало приоткрыться, а вхождение в Мир настаивает на такой открытости, когда мы должны разрешить себе — подвергнуться "возмущениям", которые сделают "систему" животно (и разумно!) неустойчивой.

Беспокойно? Еще бы! И даже опасно. Но другого хода нет. Другой грозит еще большей опасностью.

Маленькое отступление на тему, о коей написаны библиотеки. Государство и народовластие — совместны ли? Или неизменно — в споре, который несчетно переходил в драму? Но вот перевертыш того же вопроса: что было бы с существом, заполнившим планету, если бы не этот спор, не эта драма?

У коммунизма свои жертвы и свои заблуждения. "Отмирание государства" — одно из этих великих заблуждений. Трудно произнести это слово: заблуждение. Ведь без идеи отмирания государства не быть бы Республике Советов. А она для автора, Ленина, — будущее России и Мира и гарантия от "сплошной поножовщины". Концепция переходит в нравственную санкцию: революция становится новой властью, демократическим левиафаном, вбирающим в себя все жизненные интересы. Законотворчество, управление, судебная кара и воспитание — единая субстанция, которая затем, восторжествовав и сотворивши новую жизнь, сама себя упраздняет...

На утопии идеи ее и ухватил Сталин, прервавший процесс в середине! Государство схватывается, каменеет в этом статусе; оно захватывает с рождения каждого и поселяется в нем навсегда. Частная жизнь исчезает. Всеприсутствие объявляется обязанностью, как воздаяние по труду — "правом" власти распоряжаться способностями любого человека.

Едва ли стоит называть "это" государством. Тут впору "изобрести" другое понятие, например — социум власти. Социум — поскольку не общество. Власть — поскольку, став практически всем, она становится антиподом государства, не давая простора и его эффективному функционированию в необходимых для народа (народов!) пределах и пропорциях. И еще — особая природа человека, возвращенного Сталиным и оставленного им

в наследство. Нынешним людям, перед которыми раскрываются тайны Тридцатых годов, едва ли удастся понять связь тогдашнего кошмара с тогдашними буднями, в которых оставалось место человеческой солидарности, высоко взмывшей в страданиях нацистского вторжения. И Колыма не вполне Освенцим, но почти, совсем почти...

Сегодня рассказы о пытках, доносах будят уснувшую совесть — и они же повергают ум в безнадежность, неприметно умаляя способность нащупать действительный предмет обновления. А им является в первую очередь — государство. Демонтаж "сверхдержавы" следует увязать с демонтажом социума власти, переводя идею в конкретику. Тем паче что конкретика эта уже растет из новых, незапланированных будней. Кооперативы, неформальные союзы и связи — все это множится в геометрической прогрессии, нуждаясь не только в признании, но и в самовведении в "систему".

Императив 80-х: не противостояние и не обманное единство "сверху донизу", а неуклонно набирающая энергию и силу консолидация — добровольная и нравственно опрятная. Она-то и способна сделать "систему" полезно неустойчивой. Ибо все растущее снизу жаждет не слияния, а равноправия "вертикалей", вступающих в диалог между собой и с государством.

Проблема проблем — увязка этих процессов; способ увязки как политическая форма народной жизни... Не здесь ли споткнулась перестройка, не тут ли буксует "демократизация"? Замена терминов, конечно, не выход, но я бы предпочел иное слово — суверенизация. И разумеется, не в обход многоязычных и разногенезисных этносов и наций. Напротив. Они не единственные искомые суверены, но что без них целое: несовпадающе единая жизнь?

Проблема проблем — и главная болевая точка.

Кто выговорит не поперхнувшись: я непричастен к мытарствам крымских татар? Кто умоет руки, слыша стоны Сумгаита?

...Из исподволь назревших — русский национальный вопрос. Со своей социальной спецификой (судьба великорусской деревни). Со своей тревожностью, где сплелись вековые переживания иноземных вторжений и имперского разбега вширь. Со своей спецификой, которая, однако, выходит за пределы демографии, поскольку затрагивает всех, кто живет рядом и вперемешку. Русский вопрос, а оборот — всеобщий. Домашний, а отзвук — всесветный. Кажется, такой связи нет нигде на Земле... Стать миром в Мире, страной стран и возродиться государством, которого все еще нет, — двуединая задача, упирающаяся в то, что на языке административного устройства именуется: РСФСР.

Вспомним, что образование Российской Федерации — следствие территориального сжатия бывшей империи. В результате

революции, а затем гражданской войны временно отпали или навсегда отъединились те или иные ее части, тогда как оставшиеся земли составили сплошную территорию, перенявшую все внешние права и долги России. Затем начался процесс – возврата, соединения – и поиска иных начал, еще неизвестных Миру. Процедура приобрела поистине планетарное значение, даже в названии отголосок схватки. Ленин предлагал: "Союз Советских Республик Европы и Азии". Думаю, что не разрастание состава он имел в виду, а новизну суверенитета – республик и континентов. Он искал Мир внутри России – эволюционное, "цивилизаторское" продолжение несбывшейся мировой революции.

Безмолвие и смерть оборвали поиски. Мы можем теперь гадать: нашел бы он политический эквивалент новому облику Мира, России, социализма. Кажется, даже настаивая на добровольном объединении, на полном и гарантированном равноправии сторон – вместо вхождения в "готовую РСФСР", – он едва ли учитывал гигантскую несоразмерность частей, чреватую единой державией "центра". Сталин и тут, быть может, раньше всего тут, из поражения Ленина сумел извлечь монополию власти – рычаг собственного возвышения и торжества.

Сегодня мы не можем ни вернуться вспять, ни отвернуться от заговорившего вслух этноса. Агония сталинизма – это ведь и треснувшая твердь, в разломы которой вырывается магма, несущая с собой шлаки и грязь. Частные конфликты, вековые распри, территориальные споры трудно, едва ли возможно решать полумерами. На очереди дня – конституционная реформа, а на подступах к ней – открытый референдум, где и страдания и заблуждения должны получить право голоса, где единственный (и категорический!) запрет: не смей насильничать, не смей звать к насилию. И кровь Сумгаита, и выдержка Степанакерта и Еревана – аргументы; один – в пользу запрета, другой – в пользу законной и нелимитированной открытости.

Издавна как современника и историка меня не отпускает мысль: возможно ли мирно и прочно развязать узел наших межнациональных проблем, оставляя нетронутой несоразмерность составных частей и упуская из виду давно назревшее разукрупнение РСФСР? Национальное здесь (как и повсюду) переплетено с социальными нуждами, с потребностями экономического преобразования. Желая сохранить коллективную собственность, мы обязываемся "ввести" и учредить коллективного суверена – не теоретического, на бумаге, а ощущающего себя таковым на деле. Речь, следовательно, должна идти о грануляции – как собственности, так и суверена. Нужны соразмерно крупные единицы, какими невозможно было бы манипулировать, которые способны были бы на основе прежде всего собственных ресурсов и саморазвития входить в естественные (дого-

ворные, "хозрасчетные") отношения с другими такими же суверенами. Размер их должен определяться именно возможностью осуществлять полнокровный суверенитет: обозримый для труженика результат его будничных деяний. Этим единицам, как бы их ни назвать (республики, регионы, земли), подотчетный им центр должен устанавливать лишь общие пропорции, умеренные отчисления в союзный бюджет, в остальном предоставляя простор многообразию трудов и обмену их плодами. Стоит ли вне этого всерьез говорить о действенном "рыночном механизме"?

Следствия этого были бы столь благотворны, что едва ли стоит заниматься их подсчетом. Конституционная регионализация РСФСР впервые реально разгрузила бы Москву от непосильных тягот управления всеми делами во всех уголках необъятной территории — от Хибин и Смоленска до Тихого океана. Старый демократический лозунг "дешевого правительства" воплотился бы в жизнь. Но, разумеется, всего важнее проистекающее отсюда оздоровление национальных взаимоотношений. Преодоление территориальной несоразмерности освободит всех от разорительной опеки, от бюрократического обкрадывания свобод.

И тут, убежден, ключ к решению и "русского вопроса", который нельзя больше стыдливо игнорировать. Именно русские в роли функционеров сталинской нивелировки в наибольшей степени теряли распоряжение собой; это игнорирование подчеркнуто "поглощением" столицей Союза собственной столицы Великороссии... Русский национальный вопрос способен решаться именно тем, что районы с преобладанием русского населения становятся — как и другие — интегратами, странами, очагами распоряжения основными условиями человеческого существования. Тогда люди, здесь живущие, сибиряки ли, рязанцы или жители Урала, — уже не подданные, а хозяева своей земли, своих недр, потомки своих разноязычных, "смешанных" предков.

Я не предreshаю вопроса о контурах, размерах, названиях... Будут ли это Западно- и Восточносибирские республики либо Дальневосточный, Урало-Волжский регионы? Северо-Российская, Центрально-Российская или Южно-Российская земли?

"Горизонтальную" суверенизацию можно дополнить и культурно-национальной "вертикалью": общинами, землячествами, объединениями ревнителей родной старины и т. п. Я не предreshаю и более радикальных шагов "вертикальной" интеграции: например, преобразования нынешнего Совета Национальностей в Совет республик и земель (регионов) с расширением постоянных полномочий последнего — от согласования местных программ развития вплоть до права вето на любые акты и действия союзных органов, возвращающих к гиперцентрализации Москвы.

Все это и другое — предмет дискуссии, как, разумеется, и общие принципы: на договорных началах вновь устанавливаемые основы жизни всего Союза ССР. Тут мы вплотную подходим к чему-то типа социалистического "общего рынка", как и социалистического межгосударственного содружества, — и самое слово "социализм" тогда помянем не всуе.

Ибо социализм, естественно, многоукладен — понимая под укладами образы жизни, а не только "способы производства". Нормальным для социализма является не то, что он вынужден терпеть нечто из старого, поскольку не может его сразу отсечь и заменить "чистым" собою. Нет, речь идет и о возрожденном разнообразии, и о возможности возникновения здесь, у нас, прототипов, еще не имеющих имени, еще ищущих себя и свое место в Мире миров.

...У социализма могут, должны быть разные суверены! Иначе он — не социализм.

Недавно умер человек, с которым я не был знаком, но кто мне близок и дорог. Его звали Джеймс Болдуин. Американский негр, писатель, открытый всем читателям Земли. Он до иступления отвергал расизм, естественно, прежде всего — белый. Но не только белый. Он покинул родину и поселился в Европе, чтобы уберечь себя от опустошения ненавистью. Он повторял: "Боже, спаси Америку!" Не только черную, но и белую. Всю.

Два года назад я бродил по улицам Иркутска, с удивлением замечая множество монголоидных русских лиц. Один человек, небезразличный мне, хотя тоже незнакомый лично, человек с монголоидным русским лицом, написал в лучшем, на мой взгляд, своем рассказе: "Господи, поверь в нас: мы одиноки".

Горькие слова. Честные слова. Зовущие к тому, чтобы одолеть одиночество — в собственной его, Валентина Распутина, душе и в душах всех, кто в нашем доме и вне его.

Апрель 1988

**ПИСЬМО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
"НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БУХАРИН:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
И СОВРЕМЕННЫЙ МИР"***

Дорогие друзья!

К сожалению, состояние моего здоровья принуждает меня ограничиться немногими словами привет и пожеланиями успехов в благородном и нужном деле, которое, получив первый импульс в Набережных Челнах, обрело уже всероссийскую и всесоюзную "прописку".

Лиха беда начало. Но и продолжение — вещь непростая. Сугубо непростая. Если оглянуться назад, если вчитаться и вдуматься во все наше постоктябрьское прошлое, то нельзя не прийти к выводу: многие из начал, из починов мысли и действия обрывались, ибо не сумели продолжить себя — отыскать путь к продолжению и отстоять его.

Весьма непохожие друг на друга начальная фаза нэпа, предальтернативная ситуация середины 30-х и время XX съезда — пробудили, подвинули к действию целые поколения. Да, разные эти три полосы, три развилки нашего развития, но их объединяет одно: "они" потерпели поражение. Не сами по себе, разумеется, а люди, которые вложили в каждую из этих попыток свой ум и душу, свою жизнь.

Мы — не судьи их, потерпевших поражение. Мы — их наследники.

Мне позволительно сказать бы уже не "мы", а вы.

Ведь это вы, в возрасте ли Валерия Писигина, старше ли немного или еще моложе, это вы — наследники тех, кто позади, тех, кто тогда начинал. Их духовный опыт, их думы, их судьба — ваше наследство. Без него вам будет не только трудно, вы без них, мертвых или живых, не сможете добиться своего продолжения без обрыва. А все, что происходит сегодня, все, что у нас дома и в Мире в целом, ждет и требует от нас, от всех отечественных поколений, от всех разноязычных наследников — не допустить нового поражения, суметь защитить только начавшийся процесс пересоздания основ человеческой жизнедеятельности, процесс, исключаящий любую монополию, касается ли она отношений собственности и власти, знания и культуры в самом широком диапазоне проявления способностей и интересов человека.

* Теоретическая конференция проходила в г. Набережные Челны 24 сентября 1988.

Но защитить этот процесс, отстоять его можно, только развивая его. А развитие — это прежде всего выбор; и опять-таки не один-единственный выбор, а спектр их, но не разрозненных и отторгающихся один от другого, а взаимно ищущих общий язык и способ нестесненной интеграции, способ преодоления "нормальных" кризисов развития и предотвращения катастроф, человеческой гибели.

И оттого нет сейчас готовых ответов. И даже вопросы мы заново учимся ставить. Ведь чем беспрецедентнее время (а что беспрецедентнее за всю эволюцию человека, чем наше время?), тем настоятельнее нужда в диалоге вопросов, диалоге живых с мертвыми, с живыми мертвыми.

Николай Иванович Бухарин — в первом ряду живых мертвых. Странно, что ему исполняется на днях сто лет, так не согласуется его облик с этим возрастом. Он и сегодня почти ваш ровесник, настолько молодой была его душа, пока ее не ломили страдания и то страшное ощущение беспомощности, которое человеком, с юности отдавшимся потоку истории, переживается много острее, много больнее, чем тем, кто избрал позицию наблюдателя (впрочем, также не лишнюю для потомков).

Спрашивайте же его, ожившего Николая Ивановича, и спрашивайте тех, кто с ним честно спорил, и тех, кто тогда искал иной путь. Спрашивайте, но ответ вам придется добывать самим, беря на себя и тяготы добывания, и ответственность за найденные решения — перед теми, кто будет после вас.

Желаю вам энергии и взаимности.

Ваш Михаил Гелфтер.

Москва, 16 сентября 1988

РОССИЯ В СИБИРИ

*Беседа с иркутским философом
и историком М. Рожанским*

Михаил Рожанский. Михаил Яковлевич, в последнее время Вы пристально вглядываетесь в Сибирь. Чем это объяснить?

Михаил Гейфтер. Объяснить можно просто. Одна из основных тем — русская; для меня (думаю, как и для многих) сегодня не только существенная. В ней еще вкус полыни. Она тревожит. Горечь ее сопряжена с недоумением, и недоумение это не уходит, напротив — растет едва ли не с каждым месяцем, с каждым событием, в котором она, русская тема, присутствует либо прямо, чаще — неявно. К тому же она сугубо неоднозначная, хотя кому-то, вероятно, хотелось бы свести ее к некоему общему знаменателю. В моем сознании эта тема имеет близкий мне и потому, вероятно, особенно тревожный образ: я называю его распутинским. А Валентин Распутин — это Иркутск. Не только место жительства писателя. Это еще Иркутск моих собственных, трехлетней давности, воспоминаний о нем. Одно приистекает из другого.

... Так нелепо сложилась жизнь, что я мало путешествовал: то болел, то работал, то опять болел. Циклы работы и болезни, сменяя друг друга в какой-то лихорадке, мешали впрямую разглядеть Россию, в которой живешь и в которой кончишь жизнь. Мысли трудно, если не работают глаза. Глаза — в сущности, мозг, вынесенный на поверхность человеческого лица. Мы не просто смотрим, мы думаем глазами. Потому, полагаю, допустимо сказать, что понимание происходит от преодоления "безглазости", как и от избывания "беспамятства". Запомненное глазом где-то и как-то совмещается с событийным воспоминанием: человек ведь не просто помнит, что с ним — и с людьми вообще — случилось, он и забывает, иной раз спасительно; но оттого и воспоминание — это неперемный акт сознания, предшествующий поступку, действию или по крайней мере подготавливающий их.

В порядке ли самоутешения, либо это действительно так, но мне кажется, что те немногие зрительные воспоминания, которые накопились за жизнь, не просто оставили глубокий след, они были и рубежными в размышлениях, что-то меняли во мне. Так произошла моя встреча с Пушкиным в Михайловском. На удачу в заповеднике был выходной день, я пришел еще до восхода солнца и провел многие часы один. Бродил по курганам, удивляясь их множеству, ощутил какую-то исконность в парке, кото-

рый, собственно, и не парк, а лес, бор, — догадался, что не на беду, а на счастье пушкинское его выслали из губившей его Одессы в русскую историю. "Бориса" на юге он бы не написал, даже держа Карамзина в руке. Для этого нужны были Псковщину, разворот Сороти, монастырь и ярмарки в Святогорске — и одиночество...

Еще одна непредвиденная встреча с Россией: Нижний Тагил. В одном месте — все. Все эпохи, все наши взлеты, все падения. Знаменитая гора Высокая, которая лишь снизу еще кажется горой, а сверху видится театральной декорацией: фасад есть, а задника уже нет — все вынули. Сначала Демидовы, потом пятилетки. Городок в расщелине, над которым висит постоянный смог. А сверху — колоссы: металлургия, коксохим, желтые языки. В глубине — знаменитая "вагонка", которая выиграла войну своими "Т-34". И женщина, рассказывающая о детстве: как она идет в буран в школу, а по дороге, сопровождаемые собаками и конвоирами, — то раскулаченные, то "враги народа", то немцы, то наши бывшие военнопленные. В одном ряду все: манси, казаки, Петр, великие строители и великие устроители рабства, тульский кузнец, который в своей жестокости превосходил царя, — и все наше будущее. Кровь, смерть, могущество... В пересменку шли люди на металлургический — твердая, даже величественная поступь доменщиков, сталеваров. Как свести воедино? Зрительный образ говорит: н е с в о д и м о. А историку профессия велит — соединить концы с началами!

Сибирь... Что же такое Сибирь?

Ощущение неизмеримой громадности. Казалось бы, вещь очевидная для того, кто занимается российской историей, — значение пространства. Почему у всех или, во всяком случае, у тех, кого можно считать вершинными точками осознания России, мысль и творчество связаны с пространством? Пушкин в пути, в дороге. Твардовский в пути, в дороге. Это — кодовое российское пространство, которое может пожрать время. Если время до известной степени является синонимом развития, движения, то пространство видится чудовищем, которое хватает, задерживает, омертвляет Время (время-развитие, время-движение!).

Зовет к размышлению сама разделенность России. Был в Свердловске, камешки привез, что около столба, где кончается Европа и начинается Азия. Но это чистая литературщина: ощущение того, что под Свердловском начинается Азия, не осталось. А в Сибири — да, в Иркутске — да. Не только из-за множества монголоидных русских лиц. Чувство, что наша отечественная Евразия как бы состоит из Европы и Сибири. Конечно, в нее входят и Средняя Азия и Закавказье, но они все же сохранили независимость своих цивилизационных истоков — при том, что и здесь происходили свои переворачивания, имперская унификация, а потом неизмеримое по масштабам и результатам сталин-

ское выравнивание судеб. С Сибирью же связано и иное. Иная межа. Р у с с к а я европейская Россия и р у с с к а я Азия! Ощущение расколотости при одном "прилагательном"...

Откуда эта расколотость? От судьбы местных племен и малых народов, которых извели вовсе или обрекли на достаточно незавидное существование? Да, конечно, и от этого (и забыть об этом было бы бесстыдством!). Но все же не только от этого. Этот гигантский простор все равно ими не был заполнен во время оно. Полностью заполнен и быть не может. Уже в Сибири мне объяснили, что такое сибирская тайга и тундра с ее тощим слоем земли (тронь — и ничего не останется) и с этими могучими реками, в долинах которых только и возможно было настоящее развитие цивилизации. Если суммировать: Сибирью очертилась русская Россия, а русской Россией очертилась в свою очередь Европа. В Сибири очень ясно для меня представился этот обратный ход. Так же как уникальность всех связанных с этим ситуаций. Уникально деление державы на две части, одна из которых может быть местом для того, чтоб держать всех неугодных, инакодумающих, неукладывающихся. Вещь непостижимая. Где? На каком континенте? В какой стране? В какой империи?

Другое очень важное чувство, которое, будучи разноликим в людях, все-таки суммируется. Ощущение сохранившегося в *моей Сибири* (т.е. той, в которую входят люди, близкие мне с тех пор, как я побывал в Иркутске) человеческого достоинства, сохранившегося в людях и в человеческой повседневности — в том, что не контролируется специальными усилиями ума, совершается как будто незаметно — не обдумывает же человек, как поднять руку...

У меня был друг, уже покойный, Леонид Григорьевич Величанский. Старше меня на пять лет, с прихотливой биографией, почти горьковской: рано ушел из дому, блуждал по России на стыке двадцатых-тридцатых годов, пережил всякие превратности судьбы. Думал об истории, тянулся к живописи. Жили мы в одной комнате университетского общежития и навсегда породнились. С ним связана одна грань — сибирская, — которую, когда был в Иркутске, я, по правде, не ощутил. Но она, как видно, немаловажная для Сибири нынешнего ее, горячечного, раскольного дня. Мой друг по отцовской линии был из польских евреев, покаранных бунтарей (родословная прослеживается едва ли не со времен Тадеуша Костюшко); по матери — русский, да и был таковым по языку, по тем корням, что крепче паспортных отметок. Двоеродство не замечалось в наши студенческие годы; может, предки подсознательно и присутствовали в нас, но близость потомков зиждилась на совсем иных духовных основаниях. Кровь, этнос не были тому ни стимулятором, ни помехой... Так неназванная Сибирь моего друга и единомысленно и радостно, а затем и трагично вошла в мою жизнь. Но она

тогда не была еще (для меня) буквальной Сибирью. Буквальную предстояло еще и посмотреть и услышать — в ее собственном доме. Могу сказать, не покривив душой: мне повезло на друзей-иркутян. Люди они, разумеется, разные, к счастью, неусредненные и уже этим вписывающиеся в общие наши утехи и горести, в то, что составляет нашу безумную и все-таки обещающую нечто жизнь. Сегодня, кажется, много больше обещающую, чем тогда, — при одновременно растущем беспокойстве: как бы не сорваться нам в новый раскол душ, в новую Смуту, в новое братоубийство?! Обстоятельства сближают столицу с "окраинами", но, во-первых, до истинной близости еще далеко, главное же — все равно сохраняются (во благо!!) различия, и в том числе сибирское отличие — в лексике, в поступках, в внутреннем запрете на самодовольство, в какой-то опрятности душевного поведения.

Вероятнее всего, судьба уже не даст возможности второй раз побывать в Сибири, но все равно образ ее осел, занял свое место в тревожащем нас русском вопросе, — вопросе, к несчастью, пока без ответа. Кто такие **русские** в этой беспредельной России? Можно ли вообще говорить о *русской России* — в каком измерении, в каком качестве? Во всех этих сомнениях и раздумьях, одолевающих меня, соучаствует и глаз, видевший Сибирь, присутствует человек, услышавший голос Сибири, соприкоснувшийся со складом жизни там — в ее трудно определяемой и навсегда запоминающейся целостности...

Может быть, есть высшая воля, что этих удивительных встреч у меня было немного, хотя я назвал здесь не все. Может, оттого каждая в силу этой немногости оставила свой значительный след. Может, и так. Сибирское стоит в их ряду и занимает для меня, нынешнего, важное место. Теперь, как сказала моя знакомая, уже время путешествовать в глубь самих себя. Не исключено, что Сибирь была последней главкой "просто" путешествий и одной из первых глав путешествия в глубь себя. Сколько таких глав осталось, считать не будем.

М.Р. Что же такое Сибирь в России и что такое Россия в Сибири?

М.Г. Россия стала Россией, когда она вобрала в себя Сибирь, когда она распространилась на Сибирь. Существует такая роковая неясность по отношению к России: была империей, стала в конечном счете сверхдержавой, а теперь — что? Может, ответ где-то таится в глубинах Сибири. Во всяком случае, говорить о России вне Сибири невозможно. Так же как нельзя говорить о Европе, забывая, что Россия своим существованием очертила ее и извне и изнутри. Именно — как Европу.

М.Р. Чем же стала Россия в Сибири?

М.Г. Она стала Сибирью. Из пространства, населенного нерусскими народами, из территории, входящей в "департамент

Гумилева”, она стала Сибирью, т.е. неотъемлемо отдельной, обособленно необходимой частью российского пространства, судьбы которого сцеплены, скованы, связаны — властью и духом: союзниками-антагонистами, притязающими на целое, на все.

Конечно, можно назвать Сибирь колонией, но я воздержался бы от этого. Все-таки не совсем так. Может быть, и трагичней будет другое определение, но оно должно вобрать в себя эти две ипостаси — и отдельность и интегральность. И особую роль Сибири как всесветного страшилища (“Отправить в Сибирь!”), и ее же роль в качестве своеобразной цивилизации, которая имеет свой шанс что-то сказать России, а через нее — всему Миру.

М.Р. Слово “провинция” стало синонимом безвременья, в нем, по-моему, есть что-то уравнивающее. А что Вы вкладываете в слово “провинция”?

М.Г. Оно мне не так уж нужно. Я никогда не относился к “провинции” как к недо-Москве, может, потому, что сам провинциал. Что такое в России провинция? Допустим, это все, что вне нескольких крупных центров. Или — все, где люди хуже живут. Очень существенное определение, не так ли? Или это вообще просто — Россия? Вся Россия...

Конечно, в любой стране есть провинция. И во Франции тоже есть места, где какая-нибудь старуха ни разу в жизни не была в Париже. Или, уж во всяком случае, множество людей не приобщены к интеллектуальному кипению столицы, сменяющимся там веяниям духа и т.д.

М.Р. Французы называют это — “глубинная Франция”...

М.Г. Дело даже не в том, что в отличие от российской провинции там есть для человеческого бытия все необходимое, что есть в Париже. В России провинция и сейчас и в прошлом — резервуар человеческого *сопротивления* унификации, любому выглаживанию, даже если оно исходит из высоких побуждений мысли. Российская провинция систематически выводила на орбиту высокие умы, крупных людей разных калибров и званий. А ныне и в ее бедности, и в ее громадности заключено нечто, позволяющее искать ответ на более чем животрепещущий вопрос: что нам сегодня нужнее и доступней — догнать Двадцатый век или изготавиться к Двадцать первому?

Сидя в Москве, можно рассуждать о том, как выйти на “мировой уровень”. Приезжаешь в провинцию — эта мысль сразу оборачивается своей нереальной стороной. Да и что сие значит? Будто есть какой-то однозначный и всеобъемлющий “мировой уровень”, одинаковый в Штатах и Японии, Англии и Сингапуре. Будто все определяется, когда у каждого в каждой отдельной квартире будет персональный компьютер. Не хочу попасть в ретрограды. Согласен: будущее общество, вероятно, будет и в

самом деле "информационным". Но вот вопрос (наш — и не только наш): как стать **обществом**? И ведь тоже не на один салтык все. "Маленькая страна, великая нация", — кем-то было сказано о Голландии. А если страна превеликая, и не страна даже, а страна стран, то чем в ней может быть "общество", как не сложной, многоуровневой, многоцивилизационной мозаикой, ассоциацией непохожих (и заинтересованных в своей непохожести!) обществ, общин, земель?

И тут слово за "провинцией", если позволительно, например, так именовать Сибирь. Самая пространственность ее, помноженная на непредуказанные движения человеческого ума, содержит какой-то важный ресурс нашего общего **завтра**, если только мы не дадим обокрасть, растоптать этот ресурс — и не каким-то там скрытым злодеям, оборотням перестройки (они есть, но не о них речь), — а не дадим сделать это собственной распре, растущей во взаимное отторжение. Иначе говоря: если нащупаем источники, формы, контуры нестесненного "неформального" согласия, без коего не появиться и новому интегральному устройству, новой договорной связи. А в них — вся суть!

С этой точки зрения я бы рискнул сказать: нынешняя провинция — это наше общее **Завтра**. Суверенность провинции может не только дать новый тонус литературной, философской, вообще гуманитарной жизни (которая, будучи сосредоточена в нескольких центрах, остро нуждается сейчас в рекрутировании и проблем и людей извне), а еще и придать новый тонус человеческой повседневности. Очень важная штука это — человеческая повседневность. Об этом напомнил нам своим замечательным трудом француз Фернан Бродель. Но ведь если пристально всмотреться в одиссею русского слова, русской мысли, то мы обнаружим мощную традицию изучения, осмысления человеческой повседневности, повседневного человека — и тут в родоначальниках Пушкин; да разве он у нас один?

Почему же так злободневно это сейчас? Оттого ли, что повседневность нынешняя — нарастающий ком социальных бедствий, или еще оттого, что она же — источник преодоления их способами, не имеющими прецедента... Мы пристально всматриваемся в преступления сталинского времени, не желая упустить из виду ни **одну человеческую судьбу**. Но разве итогом должен быть только перечень жертв, новый синодик? Не проскакиваем ли мимо толщи фактов, которые в совокупности откроют, могут открыть картину **сопротивления обезчеловечению**? Причина "проскакивания" очевидна. Порог сопротивления оказался более чем недостаточным, чтобы задержать не знающую предела смерть. И контрастом, едва ли не опровержением — несметное число людей, так или иначе втянутых в преступления, причастных к ним содействием либо равнодушием. Но тем не менее — сопротивление было! Сопротивлялась жизнь. Сопротив-

лялась человеческая повседневность, сопротивлялась притязаниям на все человеческие существования и души, сопротивлялась, может не осознавая этого. Надо заново войти в тайну этого сопротивления самой чудовищной в XX веке (а может, и дальше его) нивелировке.

Преступная власть — **преступающая** назначенное ей. И потому это не только обжигающее души воспоминание. Сегодня мы с тревогой спрашиваем себя: есть ли будущее у прошлого? Но, отвергая повторение, не можем уйти от проблемы: от страшного и странного двойника, кентавра втянутости и сопротивления! Многие уже сказала об этом литература — Андрей Платонов, Василий Гроссман, Варлам Шаламов, Евгения Гинзбург, Юрий Домбровский и ныне пишущие, разрабатывающие эту тему авторы. Но гуманитарное исследование отстает от Слова, и, в частности потому, что слабо разработан научный аппарат изучения нашей повседневности, что последняя как бы вне предмета мысли... А разве и в этом отношении "провинция" не может сказать свое слово, входя в глубь процессов, происходивших давно и совсем недавно, вплоть до дня сегодняшнего?

М.Р. Способна ли Сибирь стать цивилизацией или вправе мы сегодня говорить о ней как о цивилизации?

М.Г. Мне трудно об этом судить. Она действительно испытывает сейчас чудовищный натиск чего-то, что ей неорганично. Можно, конечно, сказать, что это одна из конвульсий "административно-командной системы", проявлений ведомственного произвола. Можно добавить (и это тоже не специфически сибирское), что "остаточная" экономика, оставляющая на долю человека лишь то, что не входит в претензии и обиход сверхдержавы, — что эта асоциальная экономика разрушает ныне и самое себя (входя притом в крепчайшее противоречие с тем демонтажом сверхдержавы, который уже осуществляет наша внешняя, мировая политика!). Всевластие одним рывком переходит в безвластие, и эта ситуация ощутима повсюду и мучительна для всех... Но какое-то своеобразие сибирское все-таки и тут есть.

Байкальский синдром — что это такое? Крик боли, который из уст Валентина Распутина и его сподвижников услышал весь Союз и его запределье. Оно и понятно, если захотеть понять. Ведь Байкал — один на свете. Он, по сути, достояние человечества. А Сибирь такая, какой я ее увидел, какой она вошла в мое сознание, — она также одна на свете: со своим трагическим прошлым, со своим укладом человеческой жизнедеятельности, со своим восприятием жизни, т.е. всем тем, что и образует понятие "цивилизация".

Теряет ли она сегодня уже давно сложившуюся цивилизацию или только предпосылки, фрагменты ее, в любом случае

это – вопрос, настаивающий на том, чтобы его поставили перед собой и коренные сибиряки, и те, кого именуют (заслуженно или незаслуженно) пришлыми, или варягами. Но его, этот вопрос, надо правильно поставить. Ответ всегда далек от истины, если сам вопрос, действительный и насущный, ставится на ложной основе, если боль срывается в истерику, диалог замещается монологом, исключаяющим иной голос, иное суждение, иной образ.

... Будто маленький речевой оттенок – остаться Сибирью или стать ею? Остаться, охраняя себя в том виде, который мнится как единственная "чисто русская" Сибирь, ревнительница всего "чисто русского". Или стать ею, – стать в контексте запутавшегося и меняющегося нашего мира в Мире. Стать заново (или впервые?) нужной не только сибирякам **сибирской цивилизацией**: из "прото" в искомую, зовущую – ищите меня во мне и вне меня!!

Сейчас, мне кажется, в Сибири, и у вас в Иркутске, происходит идейная и духовная борьба вокруг этого "оттенка". Страсти кипят, но осознан ли предмет спора? Активно глаголющее сибирское сопротивление – знает ли, чему оно – и во имя чего – сопротивляется?

М.Р. А каково место Сибири в том, что вы упорно называете нашим миром в Мире?

М.Г. Я возвращаюсь к тому, что сказал в начале. Если суждено нам устроиться заново в качестве мира в Мире (с губ срывается: "иного не дано!"), то этот Мир наш потому и будет м и р, не меньше, что состоит он из стран, которым **естественно** быть суверенными хозяевами своей земли и судьбы. Сибири – быть одним из этих суверенов. Одним из главных слагаемых мира! Без нее не быть самому миру, и не только оттого, что за вычетом ее природных богатств мы сразу станем разительно беднее. Еще важнее главный ресурс, главное богатство – разнообразие, питающее добровольную согласность, очеловечивающее всех и повсюду. Потому Сибирь и призвана начаться сызнова – в людях и обстоятельствах, составляющих какое-то, еще не открытое русло *отдельного и вместе с тем всеобщего развития*. Пространственному гиганту наречено помириться со временем! Не от новизны ли, не от непомерности ли проблемы – неистовство русофильского "сегмента" сибиряков? Ведь не на пустом же месте этот спазм самоотстаивания, и досадный, и нереалистический. Вся загвоздка-то в том, что Сибирь не в силах просто отстоять себя. И не только потому, что поперек дороги несдающаяся евразийская централизация. Суть наследия, духовный ген Сибири и состоит, на мой взгляд, в том, чтобы, двигаясь на свой лад, заново очертить и "определить" собою российскую Европу, а ею, не исключено, и ту, классическую, что за нашими пределами. Может, и дальше...

М.Р. На мой взгляд, русофильствующее сибирское сопротивление предпочитает не столько искать себя, сколько заявлять о себе, настаивая на своей монополии выражать интересы *русского* и, несколько реже, интересы *сибирского* в России. И все-таки, мне кажется, надежда на то, что сибирское сопротивление сформирует свою заявку на целое, есть. Сибирь отличается от других миров, составляющих Россию сегодня, входящих заново в нее, тем, что здесь невозможно отделение от России, абсолютно невозможна даже попытка отделения. Это приводит к странному сочетанию антимосковских и русофильских интонаций, но это и создает надежду. Если сибирское сопротивление все же будет искать себя, то оно не будет мыслить будущее целое ни вне Сибири, ни вне России.

М.Г. Конечно... Да и в ядерном мире подобное вообще пока нереально. И весь планетарный процесс нащупывает ныне иное русло. С одной стороны, растущая роль мирового сообщества, с другой — отчетливое тяготение к региональным связям, которые обретают достаточно точный, долговременный и тщательно выверенный характер. Пример перед глазами — предстоящая Европа 1992 года, не говоря уже о нынешней.

Пример для подражания? Пример — да. Для подражания ли — сомневаюсь. Не те у нас размеры, не то наследство. От них, от него не уйдешь. Надо искать свое решение... Куда и к кому уйти Сибири? Настолько она громадна и настолько сама по себе. Все равно что сказать: "Китай уйдет из Китая".

Другое дело — старая областническая традиция как некоторое духовное предвещание цивилизационной самобытности и цивилизационной интегральности т.е. собственной сибирской заявки на целое. Не может быть одной заявки на целое. Есть прибалтийская, которая выражает себя в формах пред-ухода. Есть закавказская кровавая сумятица: негатив, который ломится в свой позитив, еще не зная, каким он должен быть. И есть, конечно, сибирская заявка, звучащая примерно так: "Убережем богатства земли и недр для потомства; начнемся по-другому: Сибирью России и Мира; найдем новый статус взаимности всеобщего сосуществования, который вывел бы всех из бедной повседневности, сохранив ее, но безбедную и выстроив себя как нечто в целом непохожее на другие Миры в мире".

Как ни парадоксально, где-то в "запасниках" мыслей Распутина присутствует эта заявка, выражая себя нераспутинским языком.

М.Р. Не только у Распутина, но и в сознании, которое называют "массовым", чаще всего заявка эта, если и не имеет русофильских интонаций, все равно как-то связана с державностью: русско-российской.

М.Г. Атавизмом ее или ностальгией, тоской по ней? Вроде бы одно и то же, но не совсем. Различие есть. И его надо бы уло-

вить, понять. Не принять, но понять. Нужно пойти навстречу. Надо, если угодно, обязать (без принуждения!) к диалогу ту сторону, которую называют "русифильской". То, что сейчас, — это же не диалог.

М.Р. Ревнители традиции сегодня традицию, по существу, прерывают. Они борются с традицией, не желая ее осознать, идут скорее за символами, за схемой, нежели к живой жизни, к тому, что вы называли цивилизационными истоками.

М.Г. Самое интересное, что, будучи маргиналом России, "маргинальной" людски, нынешняя *отстаивающая себя Сибирь* поступает этим драгоценным свойством. Маргинальность — драгоценное свойство. Я думаю, что и Валентину Распутину оно помогало творить лучшие его вещи... Маргинальность Сибири всемирна — каторжанами, поляками, собственно сибиряками, и этой перемещанностью кровей, и этой отдельностью, и этой близостью глубинной Азии. Выбрасывая маргинальность, выбрасывают, мне кажется, душу Сибири. Во всяком случае, ту ее важную составную часть, в которой скрыта возможность совсем иного и очень интересного будущего, принадлежащего уже не только ей, а всем на свете.

М.Р. Определение философией своего предмета и даже выработка своей лексики предусматривают обязательно тему края. Жизнь человека, судьба человека связана с краем, с цивилизационными истоками, с его экосистемой и исторической нишей, а философия — пустой звук, если она не относится к конкретному человеку как к цивилизации, как к конкретной неповторимой цивилизации.

М.Г. Если она не разрабатывает истоки и концепцию личности во внеличном контексте. Если личность — это Мир в отдельном человеке, то может ли философия миновать трудности и страдания, с которыми сопряжены отношения этих двух Миров: ограниченного телесной оболочкой и сроком жизни данного человека и всем тем, на чем печать "вечности", и предки, и потомки: в виде наследства, проблем, встреч без встреч... Вполне возможна, полагаю, **сибирская концепция личности** — в данном, сотворенном природой и историей, окружении. Кому-то может показаться это попыткой умалить масштаб, оторвав человека Сибири от русского этноса, русского духа. "А! Вы нас хотите загнать в провинцию?" Но это же нелепость. Так уж сложилась судьба русскоязычной культуры, что она как культура, говорящая на русском языке, исходно адресована не только русским. И Пушкину, чтоб превзойти "александрийский столп", мало было чистородной Руси. "И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус..." Посчитаться с Пушкиным все-таки нужно, не от мании величия он это написал, а от осознания маргинальности русской культуры.

М.Р. Активно глаголющая часть сибирского сопротивления,

как Вы ее назвали, тяготеет, на мой взгляд, к безвременью. Может быть, потому, что и в ее истоках есть безвременность?

М.Г. Вместе с тем и в этом есть что-то мировое: нынешнее планетарное переворачивание диахронии в синхронию, разновременности в одновременность ("эпохи", "формации"...), которое меняет и, быть может, отменяет само понятие исторического времени, ступенчатого прогресса.

М.Р. Когда устраивают не будущее, а *настоящее*?

М.Г. Да, переход от исторического времени к эволюционному времени. Может быть, то, что кажется безвременьем, на самом деле — пролог такого перехода. И нынешняя сибирская синхрония (синхрония-сумятица в умах и поступках) с этой точки зрения — феномен, который требует открытого обсуждения. И даже тогда, когда он себя выражает не во вполне вменяемом русофильстве, то это не означает просто дурной нрав или плод большого воображения. Нет. Он существует, фундаментален — и должен еще найти свои лик и речь. Ибо ныне он обманывает самого себя.

М.Р. Согласитесь, что было бы странно говорить о поиске Сибирью самой себя, не помянув областничество, областников.

М.Г. Конечно. Достаточно Шапова и Потанина назвать, не говоря уже о других, и в их числе о причастных к областничеству в советское время в сибирской культуре. Тоже еще не тронутый исследованием пласт жизни. Почему нужно обязательно обращаться к святым мученикам II и I века от рождества Христова, для того чтобы вывести свою родословную? Я не против этого, но это же не сибирское объяснение, даже в мировом смысле — не сибирское.

М.Р. Сегодня много говорят о русской философской традиции. А чем традиция областничества была в общественной мысли России?

М.Г. Сразу трудно сказать, и прежде всего потому, что я не вполне понимаю и не вполне разделяю как прежний, так и нынешний реестр этой философской традиции: выстраивание имен в избирательно однообразный порядок и строй, не считаясь с тем, как в действительности разворачивался духовный процесс. Возрождают одни имена, походя зачеркивая другие. Одних властителей дум заменяют другими...

М.Р. Или сводят в группу...

М.Г. Философская традиция существует как традиция раздумья, рефлексии, спора о природе человека. Смысл философии составляет диалог человека с самим собой. Но в России он осуществлялся несколько иначе. Не нам возвращаться к нелепому "философскому" поминальнику, в котором каждый, кто что-то говорил о материи и духе, немедленно зачислялся в философы и ставился в соответственные рамки: до Ломоносова или от него...

Конечно, те, кого вставляют нынче, философы в гораздо большей мере, чем те, кого признавали таковыми раньше. Но по-моему, просто надо посмотреть на вещи иначе — наша духовная традиция складывалась на иных началах, в иных формах, в иных образах, в иной лексике. Да, она стала активно профессионализироваться к концу XIX, а особенно в начале XX века и перевалила через семнадцатый год, просуществовала в Двадцатые годы, но все-таки преобладала иная духовная традиция. Является ли областничество с этой точки зрения философской традицией, я просто не берусь судить — не знаю этого, не вижу. Духовной — безусловно. Довольно фигуры Шапова — неочтенной, мало представленной.

М.Р. Что, по Вашему мнению, первоочередное в тематике сибирской истории сегодня?

М.Г. Надо наложить окончательный запрет на всякие исключения. Все вопросы, которые возникают сейчас, входят в предмет. И судьба тех народов которых застали здесь первопроходцы. И судьба Сибири внутри России. Россия, определяемая и опосредуемая Сибирью. Сибирское областничество и поляки в Сибири. Декабристский след. Исторические корни нынешнего сибирского самоотстаивания.

Мне трудно сказать, чему отдать предпочтение, но прежде всего нужно избрать угол зрения, некий камертон — попытаться осознать то, что тревожит, то, как выявляет себя сейчас сибирское сопротивление. А можно и оттолкнуться от него — показать, что оно духовно может выразить себя иначе.

М.Р. Но для этого нужно отстраниться от мира идей и исследовать человека в Сибири.

М.Г. С одним добавлением: действительно используя мировой и европейский опыт исследования человека, личности. И накапливая, систематизируя, обдумывая "местный" материал: хронику превеликого множества незаурядно-рядовых человеческих судеб. Какое великое поле работы!

И тут, кончая, позволю себе вернуться к некоторым своим сибирским впечатлениям.

В Иркутске я прикоснулся к финалу декабризма. Побывал на могиле Екатерины Ивановны и в доме Трубецких. Замечательный музей, трогательный, отличающийся от казенных и парадных музеев сибирским вниманием к человеку — не только к человеку Трубецкому и его семье, но к людям, которые своими дарами сделали возможным музей и чьи имена значатся на всех экспонатах... Поездка в Урик. Постояли у могилы Никиты Муравьева рядом с разрушенной старинной церковью, встретились со старым учителем, который неумоимо собирал и собрал натием, инстинктом, трогательным чутьем и терпением следы пребывания декабристов на этом куске сибирской земли. И был последний символический аккорд пребывания в Сибири, когда мы

вместе пошли на кладбище и, заглянувши перед уходом в глубь, совершенно случайно наткнулись на скромнейшую могилу с надписью: "Мне хорошо. Последние слова покойного", — могилу Юшневского, самого старого из декабристов.

Как такое забыть? Но дело не в одних лишь чувствах. Если иметь в виду декабристскую ипостась Сибири, то примечательно, как судьба немногих формирует образ целого. Сколько их было там? Единицы. А след силен. И благодаря тому, что нынешние сибиряки восстанавливают его великолепной серией изданий, но и еще одним обстоятельством.

Люди, составлявшие сливки александровской России, победители Наполеона, эти именитые и родовитые, хотя отчасти и не очень знатные и даже вовсе бедные, почти разночинцы, были исключены Николаем из жизни. Для утверждения постдекабристского императорства важно было, чтоб память России "очистилась" навсегда, навечно от 14 декабря, чтобы эта страница была совершенно пустой. Сибирью Николай хотел исторгнуть декабристов из жизни не в том лишь смысле, чтоб они исстрадались за свою попытку покуситься на власть, а он стремился **обеспамятить** Россию. Не вышло. Почему? Потому что остались письма, которые мы теперь читаем? Потому что остались воспоминания, которые они сумели там написать? Да. Плюс еще одно огромное обстоятельство — есть сибирская жизнь декабристов. Не приложение к их существованию до 14 декабря и к трагической развязке, к действию, которое не было для них своим и уже одним этим было обречено на поражение. Нет. Они стали частью тела Сибири, действовали в Сибири, учили детей или хозяйствовали. Была их *вторая жизнь* — сугубо сибирская. Она существенна и недооценена еще в качестве важного фрагмента всей российской жизни. Конечно, это можно рассмотреть и по книгам, но яснее стало, почему Лунин, поздно вошедший в страдальческую эпопею своих друзей, был своего рода аутсайдером среди них, почему он и в Сибири в некотором смысле оставался единственным человеком, жившим прошлым.

Второй, очень важный фрагмент, еще ждущий исследователя, восстановления справедливости, — поляки в Сибири. Огромная страница человеческих страданий, но и человеческого подвига. Не просто поляки, загнанные императорством в Сибирь, обреченные на мучения каторги, на путь пешком в кандалах от Варшавы до Иркутска, а поляки как органическая часть русской Сибири. Забыть ли, что первым защитником Байкала, первым исследователем и зачинателем того, что Байкал стали изучать и понимать, был поляк?

О самом Байкале не говорю. Навсегда это: холодный и неуютный день, когда мы вышли из почти курной избушки. Встретились милые люди по дороге, день становился все более солнечным, ясным, а потом — пусто. Никого, только вдвоем. И говоря-

ший с нами Байкал. Не только величие, простор лишь, а удивительная изрезанность маленькими бухточками, входами в землю, в которых волна не просто шелестит — она как бы шепчет. И великолепные, оставшиеся в наследство тоннели виттевского времени, которым я когда-то занимался. Все в узел связано.

Прикосновение к Сибири отучает от московского эгоцентризма, от свойственной московским интеллектуалам — тем, кого считают интеллектуалами, или тем, кто является ими на самом деле, — привычки считать себя выразителями всех чаяний, мыслей, соображений, наблюдений. Сибирь — хороший иммунитет против самодовольства и чванства. Против интеллектуальной хлестаковщины, которая сейчас так выпирает наружу, так прихотливо соседствует с чистотой намерений узнать худшее в прошлом. А узнавши, — что? Стать другими? Да, стать другими, оставаясь теми же — от себя не уйдешь. И Сибирь от себя не уйдет — она себя отстаивает.

Я ПРИЗНАЮ СЕБЯ ВИНОВНЫМ

Есть вселенский вопрос — и наш особенный, русский, российский: кто виноват?

В прошлом его задавали себе те, кого называли "лишними" и кто не хотел быть лишним. Задавали и те, вышедшие из народа, кто снова "шел в народ", дабы добыть достоверное знание: что же он, народ, собой представляет и чего можно ждать от него, святого и грешного, исконного бунтаря и опоры державной власти?

Кто виноват? — был поэтому вопросом поистине всеобъемлющим. Вопросом без окончательного ответа. Вопросом, который требовал от вопрошающего действия, поступка. "Прятать истину есть подлость. Лгать из боязни есть трусость. <...> В темноте бродят разбойники, а люди истины не боятся дня" (Огарев — Герцену, год 1845-й). С этого они начинали. И тем кончали — нередко и даже чаще всего в одиночестве.

Архаика? Как сказать... И наш собственный вчерашний день открывает нам судьбы людей, так же думающих и так же поступающих. Может, и не много было таких судеб, но тем дороже каждая из них, будь то гремящее на весь мир имя Андрея Сахарова или известное пока сравнительно немногим имя покойного Анатолия Марченко.

Почему же сегодня об этом? Если по-прежнему в темноте бродят разбойники, то разве люди истины боятся дневного света? По всем признакам нет. Гласность, гласность!

Но истина чуждается расчета. Она отклоняет равно *дозволенность* и *вседозволенность*. Ей как воздух нужна свобода, полнота ощущения ее, и ей, этой недосыгаемой истине, без которой, однако, человек не человек, ей также показана внутренняя строгость. Ответственность перед собою, но не анонимная, а в людях, живых и жаждущих жить. Тут зазор, а может, и капкан. В него легко попасть, а выдираешься с мясом, оставляя там кусок себя, своей жизни. Ибо когда хочешь пробиться к истине, чтобы применить ее к делу, к *человеческому делу*, то применение, если и не во всякий момент, в конечном счете — компромисс. Соглашение, однако, не сделка. Компромисс равных, но не уступка под натиском силы, обмана и самообмана. Жесткий и даже жестокий закон: истина покидает нас, когда мы соглашаемся сделать ее избирательной. Выборочной памятью. Выборочной правдой о злобе дня.

Я не стремлюсь свои чувства и мысли выдавать за общезначимые. Но не хочу и "лгать из боязни". Потому и пишу эти строки, что думаю: выборочная память и выборочная правда набирают ныне силу и исподволь совращают души. А совращенные души — хрупкая защита от самого страшного — от ненависти и взращенной ею крови.

Какая злоба дня сегодня злее, чем беда, пришедшая в Закавказье, а оттуда к нам, стучающаяся в каждую дверь? Кто вне этой беды? Она поистине всеобща. И эта всеобщность ее была бы на пользу, была бы как раз во спасение, если бы, втянутые в беду, мы руководствовались сознанием и знанием. Одно без другого — пустьшка. Сознание требует: факты на стол! А где они?

Даже генералы, призванные сейчас пресечь убийства, погромы, насилия, сетуют на скудность и неточность информации. Самое время разобраться, отчего оплошали люди, такие же, как мы, но имеющие особые права и особые обязанности: впиваться глазами, ушами в происходящее, доискиваться полноты знания о быстротекущих событиях, проникая по возможности в корни, в истоки!

Конечно, нужно время, чтобы узреть корни. И время и слова. И на это нужно согласие тех, кто ведает печатным станком. И много большее надо: то самое, чеховское: выдавливание из себя раба. И не только раба уже заклеянных нравов и установлений, но и раба слов, доставшихся в наследство. Доставшихся — и застрявших. Рабство слова — из тягчайших; особенную же тягость придает ему способность выдавать себя за иже, за нестесненное; и эта мимикрия — тоже далеко не всегда службистское послушание, карьеризм, нарочитость. Тут и инерция, и удобство, подгоняемое лавиной событий и естественным желанием не пропустить "момента": а вдруг завтра захлопнется щель...

Другой раз подумаешь: а вроде и винить некого. Виновных как будто нет — среди близких, среди похожих. Виновных будто нет, а вина — вот она. Изначально громадная и все растущая. Она, правда, не одинаковая, не на один ранжир. Но если живешь в Москве, если тебя отделяют от хроники несчастий Кавказский хребет и еще многие сотни километров, то можешь ли чувствовать себя вне вины? Я отклоняю это преимущество. Я, проживший молодые годы при Сталине и под Сталиным и еще не утративший памяти о том, что среди поднимавшихся в знак согласия рук была и моя, — я отказываюсь от духовного комфорта непричастности. Сегодня я в виновных.

Но ведь это тоже способно стать фигурой красноречия. Что, собственно, значит — числить себя в виновных? К чему обязывает это?

Сегодняшний день теснит вчерашний. Вчера как не сказать было: мы живем после Чернобыля. Вначале ужаснулись, затем свыклись. Ведь живем — кто жив. По прежним правилам челове-

ческого существования — так. Но правильны ли ныне те правила? Или другие вступают на место тех и согласно этим другим — живем, но *после*, стало быть, не можем жить, как *до*. То есть практически способны, но сама эта способность "радиоактивна", травит и мертвит. Сегодня в этот же ряд встал Сумгаит. После того, что произошло там, нигде невозможно жить, как — до.

Беды непохожие, а природа их едина. И сказать, что не имеет она отношения к истине, к узнаванию того, что мы в своем доме суть, означало бы уродовать еще до рождения разум тех, кто будет после нас.

Неуходящий образ: четвертый реактор, изрыгающий смерть, а невдалеке дети, гоняющие мяч на поле. Не то ли сегодня с радиацией, у которой в прародителях доразумный этнос? У драмы Чернобыля числятся в виновниках разгильдяйство, беззаботность, "авось". И еще — ожидание команды из Москвы, трусость, стоившая жизней, и оставшийся без публичного разбора и позора эгоизм власть имущих. Но только ли это? Или внутри этого и сверх него — то недоверие к людям, на котором зиждилась "система" Сталина и которое многими годами вгонялось в глубь человека, сковывая его и в буднях и в тот миг неожиданной опасности, когда в решение входит все наше Я?! Входит и ли не входит? Есть оно или нет?

Подумать только: что могло бы быть, если бы ветер подул на восток, если бы не забили в набат западные сторожа?

Сумгаит, Нагорный Карабах — на любых картах. А Баку и Ереван и без них известны. Так только ли там действующие лица драмы? Только ли там виновники, и прежде всего те — самые опасные — преступники, прямо ответственные за охрану жизни граждан: если даже сами не убивали, не насильничали, а "только" режиссировали, умышленно попустительствовали?

Так только они, ненаказанные, непокаявшиеся, заматающие следы, — в виновниках? Нет, там, в Азербайджане и Армении, "задействованы" мы все. Современники и порыва народа к суверенности, и "суверенной" резни в ответ.

Когда люди, потерявшие над собой контроль, идут убивать себе подобных, естественно, что разбою должно противопоставить силу. Тут не может быть двух мнений. Но в воздухе висит вопрос: **чего не было сделано** за год без малого, чтобы не пришла действительная нужда в танках и бронетранспортерах?

...Как будто ушел в небытие пароль страха: "капиталистическое окружение". Но не пустые слова — мировой контекст домашних дел, домашних бед. Есть всесветное силовое поле, где сопрягаются не только интересы держав, но и вожделения и страсти сегментов наций, вздыбленная подкорка этноса, где у застойных конфликтов чашу весов может в одночасье перевер-

сильный убийца, действующий по зову "своего". Белфаст и Пенджаб не в составе СССР. И мы не благословенный анклав среди страждущего человечества, мы такие же, как все, в чем-то хуже, в чем-то, быть может, лучше или еще способны стать лучше.

Закавказская трагедия — кровавая рвота сталинщиною. Правда, кто, не сойдя с ума, станет утверждать, что иначе, по-другому нам не освободиться от сталинской унификации, сталинского и постсталинского дирижирования всеми жизнями и опеки над всеми существованиями?! Можно бы освободиться и иначе. Мирно и совместно. Но то, что случилось, не вернуть. Это — рубеж. А что за ним?

Первое, что приходит в голову, — нужна передышка: перемирие, предшествующее миру. На этом стоит сегодня политическое руководство СССР. С этим согласны разумные люди с разных сторон. Не станем считать, кого, с какой стороны больше. Не числом, а согласием! Согласием сесть за один стол, согласием начать неформальный диалог без предварительных условий. Не числом, а умением! Умением начать жить заново. Не побоимся произнести вслух эти слова. Ибо, не решаясь произнести их, мы не только не постигнем истины согласия, но и не сделаем сколько-нибудь значительного шага к миру в нашем доме.

Когда беда заставляет вводить "особое положение" и комендантский час, когда люди бегут из насиженных мест и их бегство вводится в норму, а раз так, то и охрана на своем "месте", — не вздохнуть ли нам с облегчением: ответственность наконец персонафицирована и легла на плечи тех, кому в нашей державе поручен п о р я д о к? Если это даже верно по отношению к данному моменту, то по меньшей мере не может быть воспринято с облегчением. Наоборот. Даже то, что служит сиюминутному благу, усугубляет нашу исходную и разрастающуюся вину. Все тот же вопрос: что не было сделано и накануне Сумгаита, и за многие месяцы после него? Не из соображений дипломатии я обращаю сейчас эти вопросы по всем известному адресу, куда ежедневно стекаются тысячи и тысячи — и те, кто излагает свои напасти коряво, и те, кто владеет пером: "Москва, Кремль". И я адресуюсь. И не считаю это зазорным, поелику, пока нет ее, другой жизни, нельзя не считаться с условиями той, что есть. И с обязательствами, и с неистраченными возможностями, и даже с иллюзиями, толкающими в спину: пиши! не молчи! Но было бы — полагаю я — недостойным и опасным считать е д и н с т в е н н ы м этот способ избывать и предупреждать наши отечественные несчастья. В качестве единственного он, во-первых, нереалистичен. Ибо перегрузка ответственностью способна внезапно перейти в паралич воли. "Великие порядки доводят до великих беспорядков". Даль не указал источника этого изречения, но в мудрости этим старым словам не откажешь. Но это

только во-первых. А есть еще и второе: переваливающий ответственность на власть предержажую либо беззащитен, либо самоуправен.

Не очень скромно цитировать самого себя, но иногда стоит разрешить себе это. Из старого текста, посвященного проекту "брежневской" Конституции, извлекаю отрывок: "Живущие в условиях, "свободных" от превратностей избирательных кампаний, межпартийной борьбы, парламентских дебатов, гарантированные от всяких Уотергейтов, наделенные процедурами неизменной устойчивости, мы, вероятно, не только сами себе кажемся заповедником. В этой сверхустойчивости, в этой неизменяемости можно бы даже усмотреть некоторое практическое преимущество и пренебречь ради него мучениями, которые доставляет она разуму и чувству, если бы... если бы не наш собственный опыт по части внезапного и необратимого. Зависимость 1941-го от 1937-го стала уже хрестоматийной. А ведь был и 1968-й, как теперь видно – пороговый; им подведена черта под Шестидесятыми, а может быть, и под всем XX веком. Правда, жизнь не стоит на месте. Меняются обстоятельства и люди. Обновляются стандарты дозволенного и недозволенного. Трезвость, дальновидность, способность прислушаться к доводам другой стороны, учет вероятных последствий, в том числе непрямых, – теперь уже не чье-то преимущество, а условие, отсутствие которого по меньшей мере небезопасно: для нас, а благодаря нашему месту в Мире и для всех людей. Названные свойства следовало бы по одному этому признать общечеловеческими; такие они и есть. Но способ выработки их в разных мирах все же различен и, вероятно, долго останется различным. Каков же наш?"

Этот последний вопрос, мне кажется, не только не утратил своей остроты. Он стал еще настоятельнее в свете жестоких уроков 1988 года. События этого года застали нас врасплох в еще большей степени, чем Чернобыль. Четвертый реактор – это все-таки технология, материя, недоступная рядовому сознанию. Правда, благодаря В.Губареву, Ю.Щербак и немногим другим нам виднее теперь человеческая сторона той трагедии. Но и она не до конца еще распознана, а то, что познано, – увы, **задним числом**. Отчего же задним числом? Да и какое это "заднее число", когда все клокочет, когда причины и следствия столько раз менялись местами, что в этой переплетенности их, в этой всеобщей жуткой путанице уже не разобраться посредством общепринятой логики, употребляя слова-обрубки позавчерашнего и вчерашнего дня? В темноте бродят ныне не одни разбойники, а и поборники истины. Кто бросит камень в запоздало прозревших? Лучше поздно, чем никогда. Но если это "поздно" все-таки лучше, то выйти ли на след истины, не поставив самих себя под контроль совести, запрещающей полуправду; а о четвертуш-

ках, осьмушках, произносимых с пасторской миной, что уж и говорить?

Но даже если и не с пасторской миной, если даже и не "со стороны" раздаются слова, поучающие других примерному поведению, — с уверенностью в собственной правоте, если даже не они... "Стоило ли взбираться на вершину горы, чтобы громогласно прокричать то, что прежде не мешало бы шепотом обсудить у подножия?" Это голос Расула Гамзатова из его статьи в "Литературной газете". Я солидарен с его *прежде не мешало бы*. Но признаюсь, не вижу вершины горы, для меня она еще плотно закрыта облаками. И не вполне согласен на "шепот". Если шепот лишь синоним осторожности, деликатности, — да. Если он предусматривает закрытость, последствия которой — замещение фактов слухами, бередящими раны и толкающими взять в руки первое из того, что способно *отстоять (себя), убивая (другого)*, то — нет...

При Сталине мы знали, собственно, два модуса существования: "абсолютное благополучие", втесненное согласие наперед любому действию, и предкатастрофу или катастрофу, когда в расплату шли уже несчетные жизни и сама расплата оседала в памяти тоже как своего рода благополучие, — благополучие вызволения, как предмет гордости, передаваемой от предков к потомкам. Впрочем, это, по сути, не два модуса, а один — сообщающиеся сосуды **преступной власти**. Мудрено ли, что мы, нынешние, спотыкаясь на каждом шагу, только начинаем и еще даже не выкарабкались из этой — его — преисподней, а только ищем выход из нее? Да, по всему видно, что суждено нам претерпеть не один срыв, пока не научимся превращать каждый срыв в "нормальный" кризис, пока не соорудим (совместно!) "механизм", процедуру изжития кризисов обновления, пока не доработаемся до того, чтобы выходить из них (хотя бы и не без урона), но всякий раз выше, чем были до предыдущей неурядицы.

Все так, если бы не свежие могилы. Все нынешнее толкает на крик, а не на шепот, но, видно, и крик — помеха искомой норме. О мщении не говорю. Но возмездие, должно же оно быть — в о з м е з д и е? Разница как будто невелика, на самом деле — громадная. Мстит человеку человек. Возмездие же разом дотрагивается до всех. Тут человек и "объект" и субъект. Скажут: это-де метафизика. Отвечаю: метафизика — не отвлеченность, она экстракт человечности, самый общий из наших языков, самый предметный из всех наших мысленных и действенных предметов... Обойти ли ее в нынешних спорах о смертной казни, которым Сумгаит придал страсть особенную?

Я принадлежу к решительным противникам ее, даже когда речь идет не об экономических преступлениях, а о злодеях, покусившихся на жизнь, на честь женщины. Я согласен с умным

датским законником: общество (когда есть оно, общество) обязано защищать себя в каждом отдельном человеке, но лишено прав отнимать жизнь в поучение, ради острастки. Я тем более согласен с этим, что долгие годы в отечестве нашем "наказание" было в тайном сговоре с беззаконием, было орудием братоубийства, неотторжимого от того, что обрело имя сталинизма. А братоубийство, даже остаточное, таящееся где-то в закоулках памяти, способно — и мы чересчур хорошо теперь знаем это — сметать любые пределы и границы.

И потому — мера, мера! Она и есть возмездие — исполненный долг перед еще не родившимися. Мера — производное от высокой культуры и условие простого бытия. Мера — место встречи всех слагаемых нашего новорожденного общественного мнения. И место встречи его с властью. И там и тут — нужда в д и а л о г е р а в н ы х. Сам диалог этот — давняя нужда, которая сегодня едва ли не единственный путь к другой жизни. Так, может, с этого и начать, именно это и внести в "повестку": другая жизнь, смысл ее, путь к ней?! Понимаю: это пугающе трудно, для этого нам нужны и другие слова, д р у г о й б у к в а р ь. Ведь "новое мышление", если вдуматься, оно и самое седое, у него в предтечах даже не столетия, а тысячелетия, и новым оно сможет быть, если сумеет стать как раз этим возвратом к человеческим первоисточкам, к первоначалам, к первосмыслам, к первым шагам становления Человека, к первым фазам преодоления им самого себя.

...Чтобы умиротворить четвертый реактор, потребовались миллиарды рублей и человеческие усилия на грани жертвы. Безумные усилия, поелику не могли повернуть события вспять. Легко забываемые, когда в дело вступают громады людей, вооруженных орудиями и средствами обезвреживания. Но кто, прочитавший Юрия Щербака, забудет Анатолия и Эльвиру Ситниковых? А завтра мы узнаем поименно всех тех безумцев, кто, рискуя своей жизнью, спасал в Закавказье от насильников и убийц соотечественников иного происхождения, другой веры.

Но почему — завтра? Сегодня, непременно сегодня! Сегодня — ибо нет ничего неотложнее, чем умиротворить реактор взаимного отторжения, где в роли стронция, плутония или цезия (всего, что, вырвавшись наружу, вносит "поправки" в сроки человеческой жизни) — опаснейший комплекс из чувства национального одиночества, реалий и мифов покинутости и заброшенности. Эти чувства не закроешь бетонным колпаком. Прорвут нежданно-негаданно. И разве речь только о малых народах, чья память хранит былой имперский гнет и сталинское "разделяй и властвуй"? Было бы неумно делать вид, что подобные же чувства и умонастроения не владеют сейчас многими русскими людьми и что эти чувства не взрывоопасны...

Нет, сравнение с Чернобылем хотя и законно, но недостаточно. Братоубийство все-таки страшнее: самыми близкими и самыми далекими следствиями. К тому же оно страшнее самого себя, хотя что, казалось бы, может быть страшнее? Неприметное, оно растет из всех расщелин, питаясь рассогласованностью перемен. В сущности, оно — оборотень не дающегося нам фокуса перестройки. Оно — отрицающий ответ на вопрос, от которого не уйти никому: есть ли будущее у прошлого? Наше будущее — у нашего прошлого. Распиная его, даже когда по заслугам это, к чему придем? Простенькая вроде штука: сказать прошлому, какое в крови и муках, ты — м о е. Простенькая, а не выговаривается. Застревает не только в горле, но и в делах! Потому не отгородиться нам от конвульсий братоубийства ни одними лишь экономическими реформами, ни врозь взятым обновлением процедур политики и права.

Тут в основании — суверенность и интеграция, их ”дополнительность”, их оспаривание друг друга, ищущие свою норму, свою меру. Тут-то более всего нужны усилия к взаимности всех, кого прошлое, давнее и сравнительно недавнее, привело в состав СССР. К взаимности без диктата. К независимости, способной добровольно пойти на уступки — уступки-жертвы. Сейчас, именно сейчас мы пока еще порознь выходим на огромное проблемное поле — *конституирования заново*.

История любит переставлять и сблизать даты в своем календаре. На дворе — зима, декабрь. В этом декабре ожившей страницей — другой декабрь, трудноразличимый во мгле ушедшего времени: декабрь 1922-го, когда смертельно больной, уходящий Ленин одержал победу — сегодня скажем: лишь временную победу — над Сталиным, победу, облеченную в строки неотменного документа — Договора об образовании Союза ССР (”Союза советских республик Европы и Азии”, как собирался назвать его Ленин).

Да разве прошлое это? Если прошлое, то в том именно смысле, в каком прошлое входит в самое понятие ”человек”: в качестве прообраза и преддверия будущего. Как вступить сразу в завтрашний день? Но лиха беда начало. Да мы уже и начали. Страданиями рядом с надеждами. Горем рядом с пробужденной энергией людей и целых народов. Перешагивая через сталинскую закрытость в Мир, бьющийся над теми же и родственными им проблемами. Все-таки в чем-то, притом особенно важным, мы непохожи на остальных. Своим пространством и своим наследием, своим могуществом и своим бессилием. Мы — сверхдержава, и мы — страна стран. Можно ли демонтировать средства человекоуничтожения, не возведя новое здание Человеческого сотрудничества? Стать ли нам самими собой, не превративши самих себя в наших же пределах в мир в Мире, в один из миров?

XXI век уже бросает вызов. Европа отвечает на него 1992 годом — завершающей фазой интеграции. Есть иные ответы, среди них — великая Делийская декларация о ненасильственном мире, под которой стоит подпись главы Советского Союза. Исполним же ее дома! Прежде всего — у себя дома!

Не время ли от поисков сепаратных решений перейти к проектированию целого? К новому статусу обобществления, при котором оно не только не будет тождественным огосударствлению, но, напротив, сделает доступным и необходимым (и тем и другим!) государство в строгих границах *договорно установленных материальных прерогатив* его, как и политических прав и обязанностей. Об организованной многоступенчатости и разнообразии субъектов хозяйствования, распоряжающихся результатами коллективного, семейного и единоличного труда — экономических суверенов, состязующихся между собой и обучающихся тем самым и региональному и общесоюзному (!) счету. О едином фонде развития, освобожденном от бюрократического монстра. О реанимированной культурно-национальной автономии, о "горизонтальных" и "вертикальных" общинных связях. И еще о многом другом — близком и смежном. И такая ли химера наш "общий рынок"?!

Память о жертвах зовет к мысли, добывающей истину. И потому то, что ныне, — это еще и испытание интеллигенции, испытание на разрыв. Среди виновных она по меньшей мере не последняя. Среди "бродящих в темноте" — первая. Сегодня кровью сказано: чтобы убедить хотя бы одного несогласного, надо убедить себя в том, что каждый несогласный не только твой спутник в жизни, но и условие того, чтобы она стала и осталась Жизнью.

Ноябрь 1988

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: СОБЫТИЕ, ЭПОХА, ФЕНОМЕН СОЗНАНИЯ*

У каждой из этих ее ипостасей (или проекций) свой календарь и свое пространство, хотя в исторической действительности границы между ними относительны и подвижны.

Думается, мы вправе именовать семь с лишним десятков лет после переворота 25 октября (ст. ст.) 1917 г. двуединством освоения и отрицания Октябрьской революции — подобно тому, как в XIX в., взятом в целом, историк видит и овеществленную, и отвергнутую духом и действием Французскую революцию 1789 г.

Событие. Самый короткий календарь у восстания солдат столичного гарнизона и рабочих Петрограда, в ходе которого власть перешла к большевикам. Пролог — свержение монархии. Стихийный порыв в считанные дни совершил то, на что революционной Франции потребовалось свыше трех лет. Правда, у России был позади 1905 год. Но правда и то, что Россия была менее готова к республиканской жизни, чем Франция Конвента — страна, в которой уже "народилась новая нация" (П. Кропоткин). Не будет парадоксом, если мы скажем: опережая Мир, Россия опередила себя. Она устремилась к всепроникающему равенству, не успев превратить только что обретенную свободу в конституционный правовой строй. Она заявила себя демиургом вселенского освобождения, будучи еще далекой от завершения собственной раскрепостительной работы. Оттого и расплата не могла не войти в результат.

Общие определения требуют, однако, конкретизации в обстоятельствах и идеях, в политических течениях и лицах. 1917-й повторял своего предтечу в изменившихся условиях. Спонтанная самоорганизация трудящихся (Советы!) переплелась на этот раз с открытой конфронтацией партий, представляющих все классы. Отсроченные вековые чаяния ("черный передел"!) сошлись с отказом солдата воевать за неблизкие ему интересы. "Горизонтальная" демократизация, охватившая разные слои населения, не в силах была остановить "вертикальный" распад. Разруха и паралич транспорта толкали российский глубинку к автаркии, а отпадение нерусских окраин было лишь вопросом времени. Россия как бы вернулась к своей изначальности. Все предстояло отыскивать сызнова, и еще неясно было: в

* Эта, как и следующие две статьи, написаны для русско-французского издания "50/50: Опыт словаря нового мышления". М., 1989.

какой мере эта нужда действительная, а в какой навязывается истории и человеку фантомами мессианского сознания и традициями русского радикального нетерпения? Одно очевидно: рутинные решения исключались. Ставка на status quo революции, которой упорно держалась небольшевицкая демократия, и прежде всего партия социалистов-революционеров (эсеров), обладавшая после Февраля подавляющим влиянием, обессиливала этот левый фланг застрявшего процесса и уже этим одним готовила исподволь бесперспективную кровавую перетасовку. Мне не представляется убедительной принятая в историографии хронология гражданской войны, относящая ее начало к послеоктябрьским дням (поход Керенского—Краснова на Петроград, мятеж атамана Каледина, бои в Москве). Не вернее ли считать, что сама большевицкая революция явилась ответом на неудержимо рвущуюся из недр на поверхность войну "черной" и "белой" кости?

Мы подходим здесь к проблеме, вызывающей нескончаемые споры: существовала ли альтернатива монопартийному Октябрю, утвердившему в качестве общего знаменателя последующей России диктатуру пролетариата? Альтернатива равнозначна выбору, притом выбору, не скованному тем, что налицо, и даже тем, что в "запаснике". Предметом альтернативного выбора является смена вектора развития, а стало быть, и конфликт, борьба на этом поприще. Вчитываясь в документы, вдумываясь в перипетии 1917-го, мы обнаруживаем непредсказуемые переходы первоначальной силы в бессилие и, напротив, слабости в критическую массу взрыва. Миллионы голодных и бунтующих людей на одной чаше весов и тысячи, сотни, десятков, наконец, один-два человека на другой — допустимо ли в таком случае говорить вообще о более или менее разумной направленности революции? Ответ будет расхоже отрицательным, если представлять ее осуществлением априори заготовленных историей предпосылок. Он будет иным, когда приходишь к выводу: самое специфическое в революции состоит в том, что главные свои предпосылки она творит собственным ходом. С этой точки зрения Февраль недопредпосылочен. Его рамки были узки для главного дела — фактического упразднения всех сословных привилегий и перегородок. Преимущественно русский поначалу, он лишен и замысла и энергии, без каких невозможно было заменить "единую и неделимую" империю беспримерно новой консолидацией Евразии. Наконец, ему недоставало и наметки социального устройства, посредством которого Россия сумела бы заново самоопределиться в Мире XX века.

Факт, допускающий разные оценки, оставаясь фактом — никто не был ближе к восполнению этой суммарной нехватки, чем большевики. Точнее: взявшее верх их ленинское крыло, которое осуществило ревизию правоверного (ленинского же)

большевизма времен первой русской революции. В утверждении, что большевики овладели властью лишь благодаря политическому вакууму, немало верного; верно и то, что успех пришел к ним как к наиболее жесткой, дисциплинированной организации, сумевшей добыть полновластие в результате "внесения заговора в массовое восстание" (Л.Троцкий). Но действительная трудность, фиксируемая движением мысли сторонников Ленина и доводами его оппонентов, состояла не в овладении, а в удержании власти. Страх перед лицом распада и входящего в нравы безвластия — тот психологический барьер, который не смогла одолеть небольшевистская демократия, — предстояло в пороговые осенние месяцы превозмочь ее противникам. Но раньше всего — одному. Отдавая должное политической комбинаторике Ленина, мы видим вместе с тем, что его воля к удержанию власти, форсировавшая и срок восстания, была производной от внутреннего диалога, в фокусе которого — **всемирно-историческое право начать**: приступить к осуществлению Марковского проекта коммунистической революции, находя для этого не предусмотренные самим проектом формы реализации его же. Искомая санкция действия отлилась к кануну Октября в формулу, сочленяющую два понятия-шанса: государственный капитализм и государство типа коммуны. Первая половина формулы устраняла искус всеобщего обобществления преобразованием спорадически военного регулирования экономики в устойчивый механизм "общественного счетоводства" и контроля сверху над мелкотоварной стихией. Дополнением (и противовесом!) этой и ограниченной и всеобъемлющей связности призвана была стать уникальная политическая система: республика Советов, строящаяся снизу вверх на условиях непосредственного народовластия, ротации всех должностных лиц, перехода в руки трудящихся реального распоряжения источниками жизни, то есть с самого начала содержащая в себе "отмирание государства".

Историк вряд ли способен установить, что в последнем счете сыграло большую роль — стремление лидерской группы большевиков (в первую очередь Ленина и Троцкого) не упустить момент, который может и "не повториться", либо характерная для социального проектирования вообще уверенность в его всечеловеческой пригодности. Наверно, и то и другое. А стихия сокрушающей и торжествующей революции подвергла затем своей редакции и всю версию Начала, вовлекая в эту импровизированную переделку как самого автора, так и его партию, которая вместе с массовостью приобрела и тот военно-коммунистический облик, что наложил печать на все предстоящее.

Оставаясь, однако, в пределах события, мы не можем не сосредоточиться на мгновении, сделавшем Октябрьскую революцию неустраимой. Это мгновение — встреча человека, мыслящего будущим Мира, с прошлыми веками, олицетворенными в

коренной, мужицкой России. 19 августа 1917 г. эсеры опубликовали сводку 242 наказов деревни крестьянским депутатам. Ленин без промедления и колебаний принял ее. Я убежден, что на этот шаг и в такой именно форме решиться (среди большевиков) мог только он. Декрет о земле, зачитанный им с черновика на II Всероссийском съезде Советов 26 октября, явился поистине великим **историческим компромиссом**. Ближайшие судьбы России, и прежде всего выход ее из войны держав, были предreshены; предreshен был (этим же!) и разгон Учредительного собрания. Событие перешло в эпоху.

Эпоха. Хронология ее зависит от того, как определяем мы ее содержание. Здесь уместно опять-таки сопоставление с классической революцией Нового времени. На чем поставила точку Франция, что во всемирном "осадке" ее революции? Сказав: Декларация прав и Кодекс Наполеона, — мы вплотную подходим к окончательному результату: европейскому человечеству. Но знаем, что между Декларацией и Кодексом — террор и вантозские декреты, Вандея и 9 термидора, которые подвели черту под судорожными попытками вождей Горы найти равнодействующую между эгалитарным натиском санкюлотов и жаждущей порядка буржуазной собственностью. Мы знаем также, что экспорту французской революции воспротивились не только европейские династии, но и европейские народы и равнодействующей на этой более широкой основе был не Священный союз, а упрочение суверенных континентальных наций. В конце концов развитие одолело неотторжимую от революции жажду самопродления, сформировав "вторичный" капитализм с адекватным ему основанием. Мир обогатился новой нормой — и новыми противоречиями, и далекими от идиллии способами их обуздания и ассимиляции. Сопоставим ли с этим балансом прямых и дальних следствий классической революции финал эпохи Октябрьской революции? Отметим сразу: близость в тех же ключевых позициях, где и глубокие несовпадения. Наиболее трудный вопрос: незавершенной ли была сама Октябрьская революция (выражение И.Дойчера) или неостановленной? Иначе говоря — отчего не дался России переход от одного типа исторического движения к другому, от **неклассической** революции к **неклассической** норме?

В этом сжатом тексте я не силюсь дать ответ. Ограничусь лишь попыткой несколько развернуть сам вопрос. Вернусь к тому, с чего начал. Если признать, что эпоха состоит из освоения и отрицания Октябрьской революции, то каковы пропорции того и другого? Сравнительно проще описать первое: укоренение революции в российском жизненном обиходе. Однако и тут своя трудность: удастся ли выделить итог в чистом виде, освобожденном от не укладывающихся в эти рамки видов деятельности, от перемен, которым Октябрь дал простор, хотя сами по себе мно-

гие из них не были ни революционными, не тем более коммунистическими? Но именно эти перемены (как замечаем мы сегодня) таили в себе перспективу **другой жизни**, не отвергающей прямо революцию, но ставящей предел ее экспансии.

Спустя многие годы различие в таких понятиях, как "коммунистическая революция" и "социализм", кажется несущественным. На мой взгляд, оно-то и проясняет природу отрицания Октябрьской революции историей нашего века. Отрицалась именно коммунистическая революция, а результирующей могла бы стать (в пределах ее эпохи) неклассическая норма: производительное неравенство и цивилизующая государственность социалистического толка. И если это не произошло либо было надолго отодвинуто, чтобы вернуться уже в иную эпоху и в иной форме, то вряд ли удастся объяснить это тем, что революция свершилась не там, где ей "положено". Молодой Грамши назвал (не в осуждающем смысле) Октябрьскую революцию революцией против "Капитала". Сегодня, сопоставляя первый акт трагедии с финалом, мы, вероятно, имеем право сказать, что проекту Маркса суждено было материализоваться в масштабе наиболее близком его замыслу (не меньше, чем Мир!) как раз там, где тип осуществления все дальше уходил не только от европейского прецедента, но и от собственного Начала, от своего первого исторического компромисса. Привычная ссылка на отсталость также мало что разъясняет сама по себе, ибо отсталость — это не просто несовпадение уровней развития, но и особого рода сознание, отвергающее "естественность" этой аритмии Мира. В неклассических условиях **догнать** (выпрямляя путь и сокращая сроки!) с неумолимостью диктует **перегнать** — со всем, что отсюда проистекает в стимулах и возможностях их утилизации; среди них лидирует та же, что и у классической революции, страсть к самоувечиванию, которая отвергает любой нейтралитет, порождая социальный заказ на врага и тиражируя опасности. Та же страсть, но обретающая дополнительный ресурс и в прошлом России (России бунта и опричнины), и в стойком расколе пост-октябрьского человечества.

Мировая по проекту и по зачину, могла ли Октябрьская революция остаться таковой и впредь — и могла ли, оставаясь, не перемениться изнутри? Этот вопрос встал сразу после взятия власти большевиками (Брест) и возобновлялся вновь и вновь, пока — в качестве вопроса — не был упразднен однозначностью сталинского "окончательного" ответа. Внешнее и внутреннее роковым образом сошлись в нэпе. Разумеется, не было согласованной связки между "отказом" ближней Европы встать на советский путь и мятежом России против распределительного коммунизма, который достиг своего иррационального верха к концу 1920 г. Однако это совпадение прямо выводит нас на развилку, где решалась участь неклассической нормы. Нет спору, нэп

способен был стать новым историческим компромиссом, не менее, а даже и более всемирным по своему существу, чем Декрет о земле. Но нэп оказался свернутым, а затем и вовсе упраздненным, и прежде всего потому, что он не был до конца развернут. Военно-коммунистический монополизм власти, нашедший своего двойника во всепоглощающей национализации, силится восстановить "симметрию", и он располагал для этого пространством в душах и умах, превосходящим число открытых противников нэпа. Что могло пересилить последних, отвоевав на свою сторону это пространство? Что — и кто? Те же люди, что "начали", или вовсе иные? Параллель с агонией якобинской диктатуры бьет в глаза, как и несовпадение в финале. Однако отличие не в одном размере жертв и не только в сроках. Сам срок — производное. Если заметнее развязка, то где Рубикон? Можно назвать и 1923-й и 1928-й — в зависимости от того, какую сторону представляющей катастрофы мы имеем в виду ("красное" ли великодержавие или возврат к продрозверстке, крах ли еще одной попытки подвинуть немецких рабочих на штурм версальской системы либо непредвиденный поворот событий в Китае?). Стремясь вынести на мировое поприще внутренние противоречия "своей" революции, ее лидеры все чаще достигали эффекта бумеранга. У неудач этих, конечно же, был более глубокий источник, чем просчеты и разногласия. Мир оказывался несводимым к общему знаменателю, и эта несводимость возвращалась в Россию проблемой жизнеустройства, также несводимого к любому варианту единственности.

За невозможностью разобрать всю гамму опосредований Октябрьской революции за ее евразийскими границами отмечу лишь один общий момент. Это преподанный ею пример соединения стихии тотального разрушения со становлением особого рода системы, когда стихийные движения масс вводятся прямо и надолго в институты власти и уже продолжают действовать (с большей или меньшей степенью утраты себя) по правилам, диктуемым властью, которая так или иначе, но в соответствии с этими же правилами рекрутирует в свой состав людей "снизу". Думается, что мы вправе, пользуясь данным критерием, сопоставить столь полярные явления, как рузвельтовский "новый курс", круто переменявший роль профсоюзов в Штатах, и нацизм с его "революцией потных ног" (Т.Манн): превращением доведенных до отчаяния безработных в "сверхчеловеков", которым вместе с достатком была дана власть над судьбами других. То, что сталинизм и в этом отношении близок к нацизму, как будто не требует доказательств. Однако отнюдь не так просто разъяснить родство разнородных феноменов. Этот анализ, если поставить его на действительно всемирное основание, позволит нам, в частности, дать относительно точную датировку конца эпохи Октябрьской революции и попробовать ответить на

вопрос, вытекающий из проблемы в ее самом широком виде: не следует ли считать неклассическую революцию последней в Мире — последней в исторически обусловленном и саму историю ограничивающем смысле?

Феномен сознания. Продолжим сказанное выше. По сравнению с классической революцией неклассическая и более "головная", и явственней, катастрофичнее бессознательная. Октябрьская революция — родоначальница этой причудливой и взрывчатой смеси. Подобно французской, она начинает собою человечество, но на этот раз не в национальных границах, поскольку, даже оставаясь дома, как бы присутствует повсеместно. Немало превращений она должна была претерпеть, чтобы этот исходный комплекс заместился патриотическим и державным самоутверждением, не теряющим, однако, и своих первоначальных клише. Ее символика также претерпевает эволюцию: от предметных образов, наполненных живыми воспоминаниями, к чисто ритуальному, которые призваны не столько сохранять связь поколений, сколько поддерживать представление о единственности власти, воплощенной в ее установлениях и персонификациях. А в виде итога — своего рода гибрид научной мифологии, предваряющей многие родственные и даже чужеродные подукты неорефлектирующего сознания XX века.

Сегодня, когда без малого все императивы Октябрьской революции подверглись обесценению, и если и повторяются, то, как правило, не вызывают встречного отклика у потомков тех, кто эту революцию совершал и пережил, и тем и другим кажется необъяснимой былая действительность ее магических слов, лозунгов и идеологом ("А может, все было вовсе не так?"). Впрочем, в нынешней эпидемии исторической невменяемости нет ничего удивительного. Отражение более или менее соответствует отражаемому предмету, то есть (в данном случае) не революции как таковой, а ее сталинскому переименованию, — соответствует методологии или алхимии этого переименования, не столь примитивного, каким оно представляется на первый взгляд. Ибо оно соединило в себе банальность умолчаний, карательную дисциплину подлогов с пафосом несомненности, от которой нельзя уйти перемены знака и разоблачительными сенсациями. Если вдуматься, то, чем доступнее лобовая десакрализация минувшего, тем дальше она от пересмотра, диктуемого неотложными интеллектуальными потребностями, и прежде всего призывом к нравственному возмездию, великий аргумент которого — миллионы умерщвленных пульей и голодом. Может, ни в чем не проявляется с такой отчетливостью различие между мезгией и возмездием, как в отношении к революции; возмездие здесь равнозначно обретению человеком свободы наследования, а она по природе своей тревожно близка к оправданию, поскольку ищет в прошлом не оценок самих по себе, а объяснения. Объяс-

нения, способного вывести нынешнего человека из-под гнета анонимной неперменности на почву и поприще развития, которое в преддверии XXI века уже не смеет полагаться на исправление последствием. Вот отчего нам следовало бы с такой же решимостью, с какой современность отклоняет миф об "истинной", равной себе Октябрьской революции, отклонить и ее перевертыш — миф о "ненужной" революции.

Ибо ненужность — это эстафета от того, что позади, к тому, что предстоит. Этот путь еще надо пройти, памятуя о том, что авторами беспрецедентного выбора — Мира без насилия — явятся восприемники былого без вычерков.

СТАЛИНИЗМ

Сталинизм — одно из наиболее масштабных и страшных своею загадочностью явлений XX века. Не будет преувеличением сказать, что этот уходящий век, взятый в целом, не может быть понят и "передан" в наследство веку XXI, пока не будет раскрыта тайна сталинизма, раскрыта преодолением его.

Само понятие предусматривает человека: Иосифа Джугашвили. Его биография — необходимая составляющая феномена, но исчерпывает ли его? Налицо два полюса в подходе. Один тяготеет к своего рода инферальному графику (втайне задуманное, выпестованное в подвалах одиночного сознания и расчтливо, коварно осуществляемое — шаг за шагом). Нельзя сказать, что такой взгляд — чистая блажь. Но он не дотягивает до объяснения хотя бы потому, что феномен включает в себя многие тысячи, а за ними и миллионы мертвых и живых людей — и не только в виде мишени, но и в качестве пьедестала и орудия безграничной власти над условиями жизнедеятельности человека. Поэтому остается открытым вопрос: кто же субъект сталинизма и был ли этот субъект одним и тем же от начала и до конца (если допустимо говорить о конце)?

Другой полюс, и опять-таки не лишенный оснований, переносит центр тяжести на обстоятельства, которые как бы сами шли в руки банальному мистификатору и злодею, раздвигая границы его власти, и уже обратным ходом возвращались к породившим явление обстоятельствам, не столько даже изменяя природу их, сколько умножая число оборванных человеческих судеб. В этом случае за пределами объяснения (или лишь на периферии их) остается загадка пассивности, тайна недостающего сопротивления. А оно — лишь отчасти следствие, в громадной же мере причина, порождающая сталинизм и входящая в самое ядро его. Это опять-таки проблема субъекта, добровольно уступающего свою роль "творца истории" и не только пассивно, но и активно участвующего в постревOLUTIONционной десуверенизации, в коллективном обезчеловечивании.

Конечно, такова вообще антропология новейшего тоталитаризма. Но феномен Сталина не просто одна из его разновидностей. В определенном и, быть может, доминирующем отношении он первичен, и первичность эта в свою очередь не одноактна, а представляет собою процесс, в котором сочетаются неизживаемое прошлое России (в контексте Мира!) и непредуказанность, проистекающая из того же исторического источника.

Между названными двумя полюсами – множество версий и оттенков их. Дано ли свести их к чему-то единому? Если да, то это "единое" не ответ, а вопрос – столь же двусмысленный, как сам сталинизм. Мы спрашиваем себя: не будь Сталина, не появившись он прихотями внутрипартийной борьбы на вершине иерархии, совершилось ли бы то, что неотъемлемо (в большей, меньшей или исключительной мере) от его имени? Любое предположение следует освободить от мифа борьбы за единовластие между Троцким и Сталиным. Я убежден, что Троцкий и не домогался единовластия, да и не мог бы его достичь, даже если б превратил в самоцель. К рубежу схватки наследников Ленина он уже был "лишним человеком". Итак, единственный претендент, чья заявка на власть в огромной степени питалась потаенной ненавистью к Ленину (главной тайной его наглухо замкнутого внутреннего мира), – исходный пункт. Случайность с возрастающей (crescendo!) самодетерминацией.

А всемирно-историческая ипостась этого кентавра? В ее дальних истоках – превращение Руси в Россию, мозаики отдельных полугосударств в державу и суперэтнос, охватывающий гигантский Евразийский материк (и своим появлением определивший подвижную политическую и смысловую границу понятия "Запад"). С точки зрения эволюции "отдельно взятой" Руси это непосредственное вхождение ее в Мир – случайность, имя которой – монгольское нашествие с его переданным в наследство Москве пространством экспансии. Случайность с возрастающей (crescendo!) самодетерминацией.

Результат со временем расщепляется – на империю, условием существования которой является, с одной стороны, сведение к общему знаменателю сугубо различных цивилизаций; с другой же стороны, неподвижность этой внеполитической субстанции не исключает, а предполагает одомашнивание новоевропейского прогресса в самодержавный модернизм, плоды коего – превращение безликой бюрократии в надсмотрщика над повседневностью (*le quotidien* Ф.Броделя) и беспрецедентное рабство развития, достигающее высшей точки к концу XVIII века и не уходящее полностью "никогда".

Этому детищу мирового процесса противостоит внутри России, в качестве ее собственного отрицания, антиимперия Слова, притязающая на духовное лидерство и буквальное воплощение в тех же пределах. С равным правом мы можем назвать эту перевернутую внеполитическую субстанцию интеллигенцией (в специально русском смысле) – и революцией, которая уже в мыслительном первоимпульсе предстает как власть над историей и душами, собою творящая европеизацию без гильотины и освобождение от рабства без "бунта бессмысленного и беспощадного". Непомерность этого призвания рождает памятные взлеты и падения духа и действия: сквозь XIX век к веку XX. В данном

контексте народ — главный предмет борьбы двух внеполитических субстанций, каждая из которых по-своему добивается "единства народа", состязаясь в средствах внесения этого единства сверху вниз.

В 1917 году движению идей удастся победить империю, овладев ее державным и человеческим пространством. Две проекции слились — на время! — воедино. Дух мировой революции, который нес в себе большевизм, совпал с жадной миллионных крестьян завершить вековой спор с дворянской (и сросшейся с ней буржуазной) Россией — завершить его уничтожением всех былых средостений, и прежде всего крепостнических перегородок на земле. Эту двоящую победу сегодня мы вправе назвать и великой, и пирровой.

Великая еще вчера не нуждалась как будто бы в доказательствах. Сегодня она под сомнением. Но приходит ли сомневающимся в голову, что, пренебрегая масштабом совершившегося, они лишают себя возможности распознать родословную того, что мы окрестили сталинизмом?! Нет спору, Октябрьская революция вполне могла бы произойти и без персонажа по имени Сталин. Тем более это относится к нэпу. Сталин как роковая неустрашимая фигура возникает после. Но в качестве кого — низвергателя или наследника? Либо в хорошо известной Западу, да и всем Миром "освоенной" роли палача-душеприказчика? Аналогии наводят на вопрос, но не содержат сами по себе ответа. Трудность в том, что отечественный Термидор непохож на своего классического предтечу: Францию тех двух десятилетий, которые, начавшись свержением Робеспьера, окончились наполеоновским Ватерлоо. Русская же революция, так и не став всесветной, осталась вместе с тем и не побежденной извне. Что это — очевидный плюс или тайный минус? Кажется странным относить к преимуществам исторического пути реставрации и "повторные" революции. А между тем прерывы процесса, откладывающие в запас время, имели (в эпоху становления буржуазной Европы) свой резон — по сравнению с финалистской безудержностью нашей революции и особенно рожденным ею способом удерживать свою институциональную форму. Да и мнимость "физической" непрерывности — не просто плод самообмана, закрепленного догмой и истреблением не так думающих. Догма и подготовила истребление, чтобы в свою очередь быть истребленной — в лице своих первоначальных носителей.

Третьей революции не будет (Н.Бухарин, 1924) — так думал он один? Нет, таков был тогда взгляд, разделявшийся почти всеми в большевистских верхах. Но понимали ли сторонники нэпа, что, накладывая запрет на "третью", они тем самым отказываются от революции вообще — в пользу реформы, реформистского пути раз и навсегда? Справедливость требует признать, что ищущий в "нэповской России" пограничный (между Европой и

Азией) фрагмент обновленного мирового процесса, Ленин кану на уход из жизни вплотную подошел к переоткрытию социализма. Конечно, этот иной социализм не мог уже быть исправленной копией предоктябрьского замысла. Государство типа коммуны осталось далеко позади, в то время как государственный капитализм служил ему по-прежнему образом-ориентиром, требующим, однако, и политической, и даже прежде всего политической конкретизации. Поставив перед собой вопрос: **что делать с революцией?** — Ленин должен был ответить на следующий, логически не устранимый вопрос: что делать с партией, возникшей как партия революции и не мыслящей себя в ином виде? Если этот вопрос оказался неразрешимым для создателя ее, то тем более неразрешимым он был для его преемников. Неразрешимость эта не только соединяла их, невзирая на все разногласия, но именно она подспудно питала внутривнутрипартийную тектонику, превращая заодно миллионголовую Россию в заложницу "войны диадохов", из которой победителем мог выйти только тот, кто оказался способным заменить недающуюся концепцию Начала (всемирного — внутри России!) сценарием Конца, равно исключаящим и революцию и реформу. То была подмена и "военно-коммунистической" и "нэповской" утопии антиутопией **могущества за счет развития и против него**. То был Термидор несостоявшегося Самотермидора. То был оборотень недостигнутой нормы, сумевший принять, однако, "нормальный" вид, чтобы втесниться в обиход России.

Нет, это не было исполнением графика, как не было и скольжением навстречу уготованному. Ни тем и ни другим, хотя и включавшим в себя и то и другое. Плагиат идей и аппаратные игры не должны заслонять от исследователя стержневое — собственно сталинское. Если его Царицын допустимо уподобить Лиону Жозефа Фуше: эгалитаризму, воплощенному в расправе, и расправе как выражению лидерства, а в его "наркомнацтиве" нетрудно разглядеть исходный пункт нивелировки, невиданной в наше столетие; если произведенная им систематизация Ленина в ленинизм (с отсечением менявшегося Ленина и превращением его канонизированной мысли в присягу на верность "единству партии") была важным рубежом оттеснения более талантливых союзников-соперников, — то полностью Сталин нашел себя в себе в роковых событиях 1930-х годов.

Он сразил, хотя и не сразу, три человеческие разновидности. Своей "сплошной коллективизацией" он вычеркнул коренную социальную фигуру постоктябрьской эпохи: крестьянина-средняка, **суверена земли**. Является ли простым совпадением то, что следующей из жертв явился соавтор этого "вычеркивания" — функционер постоктябрьского большевизма? Исполнитель политики, поднявший Сталина как знамя, он все же был и заказчиком этой политики, притом притязавшим на равенство в

рвении. Однако в начале 1930-х его не жалея себя, не жалеть других обернулось непокорством. А печально знаменитые "перегибы", исходившие от Сталина, принесли Сталину же вторую роль: заступника — избавителя народа. Теперь он в силах освободиться от вериг лидера равных. И тогда пробил час функционерства — локальных суверенов власти.

Сегодня можно спорить: способен ли был функционер, хотя бы в своем высшем эшелоне, выдвинуть альтернативу падению-гибели в формах стабильности и умиротворения, исключающих "перманентную гражданскую войну" — главное детище Сталина? Частичность, неуверенность этих попыток (назовем их "кировскими") подстрекнули опережающий сталинский ответ, продиктованный его натурой и поощряемый суммой внутренних и внешних обстоятельств. Выравниванием смертью Сталин достиг максимальной атомизации СССР, послужившей фундаментом заново выстраиваемому миродержавному единообразию, окрещенному "морально-политическим единством народа". В силу этого оказался сраженным и третий человеческий тип предреволюционной и обновленной России: интеллигент, сжегший за собой мосты суверенного Слова. Опознавая три лика этой отечественной Голгофы, я не забываю и о ее асинхронности, как вынужденной, так и рассчитанной, превращенной Сталиным в инструмент поистине виртуозного манипулирования и миллионами и отдельными людьми.

Спазмы социальной деструктуризации, гигантского людского перемешивания, усугубленные и закрепленные террором, ломали нравы, делали бытовыми страх и "страх перед страхом" (В.Гроссман), достигшим самой кровной из сфер человека — речи. Нормой становились сталинская "экономика мышления", лаконизм, сочлененный с таинственностью, с ожиданием спасительного и разрешающего Слова. Семантический переворот был едва ли не эффективней самого террора. Так, в небытие ушло кодовое — генеральная линия (вместе с "уклонами" и т.п.). Отсчетной единицей стал отныне "враг народа", а сам "народ" — тем, что исторгает из себя врагов, и уже не "классовых", а исконных и затаенных предателей отечества. Соответственно изменился и субъект сталинизма. Из внутрипартийного он стал по видимости всенародным. Но это была действительная видимость. (Легко представить, к примеру, товарища деревенской юности солженицынского героя-эзика начальником концлагеря, где Иван Денисович влачил свои дни и ночи.) Место функционерского иерархизированного товарищества занял теперь, хотя бы в той же телесной оболочке, аппарат: личный домен Хозяина, лишенный своего прошлого, а стало быть, и своего будущего. Элемент кастовости присутствовал здесь с самого начала и получил затем широкое развитие; тем не менее понятие "новый класс" представляется неточным, по крайней мере для предвоенного

отрезка времени. Напротив, осуществленное и заявленное тогда упразднение классов составило одну из краеугольных основ сталинской системы, как и введенного им социализма.

То, что ныне именуют административно-командной системой, есть лишь функциональное выражение того переворачивания вышедших из революции отношений собственности и власти, при котором последние уже не только "командовали" первыми, но и в такой степени растворили их в себе, что эта **собственность власти** сделала возможным распоряжение человеческой повседневностью в масштабах, близких к пределу (ср. формулу "преодоления пережитков капитализма в сознании", провозглашенную целью второй пятилетки, с законом от 7 августа того же 1932 г.: смертной казнью за сорванный голодным человеком хлебный колосок). Перемена "субъекта" распространилась и на мировое коммунистическое движение, которое Сталин рассматривал как вынесенную вовне часть аппарата с однотипными аксессуарами и губительными последствиями для людей и идей. И так ли уж далек сталинский жупел "социал-фашизма" от сталинской "ликвидации кулачества" или того же закона от 7 августа? Поистине: родственное не только ищет родственное, но и продуцирует его.

В самом широком смысле общий итог представляет собой не столько возврат к империи самодержцев, сколько прогресс навыворот, инволюцию, имеющую новый мировой статус. И это относится не только к строю, но и к человеку. Превращение человека в заложника могущества вернуло Россию к внеполитическому существованию, сделав заново злостодневной и, по существу, центральной проблему "вертикальной" несвободы. В самом сжатом виде сталинская антропология (имеющая и свои предшествования, как и последователи) может быть выражена в формуле: цель выше человека, средства выше цели, цена выше средств. Все замыкается на Цене. Цена становится единственным смыслом, обесмысливая жизнь. В качестве единственной она ищет себе новые и новые поприща, "пространства экспансии", заполняя и исчерпывая их собою. Обратная связь не просто нисходит к нулю: в ней нет нужды — для того одного, кто решает наедине все судьбы.

Так Сталиным и на Сталине закончились (одновременно!) история России в ее четырехвековом охвате, с XVI-го по XIX-й, и одиссея ее вхождения в Мир — преодолением самого себя; закончилась история революций XX века, по размаху и содержанию российско-мировых. И то и другое закончилось вместе — "закрытием России", вернее, почти закончилось. Ибо оставался про свет, сохранялись затихшие в глубине импульсы взаимности, источники **недемократической человечности**, снова ищущей свой предмет. Война с фашизмом, к происхождению которой Сталин был причастен своим союзом с Гитлером, как и всем балансом утрат и гибелей 1930-х, подсказала этот искомый предмет. И

в этом смысле страшная схватка несла в себе спасение для всех. Но и оно пришло не сразу. Спасение от абсолютного Сталина также сначала досталось Сталину, подвигнув его на последние иступленные поиски поприща для Цены: внутри и вовне. Могла ли вывести из этого безумия контригра верхов аппарата? Сомнительно. Но смерть, в которую он не верил, когда думал о себе, подвела черту.

Ему, но не сталинизму. Обнаружилось: становясь тождественным себе, этот феномен тут же вступает в свою агонию. Агония же — это не тихое умирание. Это долголетняя борьба с переменным успехом, борьба мертвящей системы с человеком, не дающим себя умертвить.

1989

ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ

Десталинизация — освобождение от наследства Сталина и сталинизма. Процесс этот имеет не только длительность во времени, сопровождаемую обрывами и возобновлениями. Он и по сути неоднозначен. Освободиться от наследства доступно, лишь познав его, а само познание немислимо вне освобождающего действия, создающего новые коллизии.

Под данным углом зрения можно рассмотреть путь, ведущий к этому моменту, представив его в виде нескольких ступеней. Первая: разрозненный отпор и преодоление, ограниченные отдельными людьми или группами людей и не всегда совпадающие при этом смыслом и целенаправленностью. Допустимо ли отождествлять инвективы поэта и партийного функционера (О.Мандельштама и М.Рютина), сопротивление познающим словом (А.Платонова) и публичный отказ присоединения к идеологизированной расправе (И.Раппопорт на лысенковской сессии 1948 г.)? Только открытие архивов и систематическое собиране письменных и устных материалов, обнимающих ряд десятилетий, продолжение начатого В.Шаламовым, А.Солженицыным, альманахом "Память" и др. исследования скрытого и открытого сопротивления как на "воле", так и в тюрьмах и лагерях (в широком диапазоне: от солидарности в выживании до акций беспощадно подавляемого и уходящего в небытие протеста) дадут относительно полное представление о размерах и характере изначальной десталинизации. Можно, однако, утверждать с достаточным основанием, что, сколь впечатляющим ни окажется результат, он вместе с тем обнаружит, что, даже взятые в совокупности, бесценные как духовное наследие, факты этого ряда не достигали той пороговой величины, которая способна была бы видоизменить ход событий и оборвать порчу нравов.

Иной характер носит спонтанная и вместе с тем охватывающая миллионы людей десталинизация Отечественной войны, особенно ее трагического начала (1941—1942 гг.). Если лишение человека суверенных прав, достигающее "азов" жизнедеятельности, являлось сутью сталинизма, то битва за жизнь, в которой ставкой была смерть, вернула, хотя лишь на время, этому же человеку возможность распорядиться собой и своею судьбой. Гениальной интуицией А.Твардовский воссоздал в Василии Теркине свободного человека (и сам обрыв поэмы автором символизировал нестойкость "теркинской" свободы). В свете этой

очеловечивающей стихии яснее становятся направленные на уничтожение ее потенциальных последствий действия Сталина конца 40-х — начала 50-х годов. Внутренняя "холодная война", раскол поколения победителей с инсценируемым нагнетанием старых и новых — национальных, расовых и иных — форм взаимного отчуждения неотвратимо совместили в себе синхронизацию всех элементов сталинской системы с началом ее конца, вернее, началом начала конца.

Рубеж перехода от частичного и стихийного освобождения к осознанно всеобщему — события 1953–1956 годов. Смерть Сталина, уничтожение Берии, XX съезд КПСС, выход на свободу оставшихся в живых "врагов народа" и первые прорывы свободного Слова (наиболее концентрированным выражением которого явился "Новый мир", редактируемый Твардовским) — разнородное эхо этих и последующих событий и процессов как внутри "социалистического лагеря", так и за его пределами вызвали одновременно и раскрепошающий сдвиг и смятение в умах, выдвигая на первый план потребность в конструктивном, преобразующем продолжении. Но чтобы удовлетворить ее, требовалось не только время. Самому продолжению еще предстояло найти свои замысел и форму, свое речевое сознание и речевое поведение, освобождаемые от стереотипов и шлаков целой эпохи, от слов-обрубков, теснящих мысль. Оборачиваясь назад, мы замечаем, что продолжение, оставаясь только продолжением, с неизбежностью принимает все более иллюзорный характер. В фигуре Никиты Хрущева пересеклись пафос анти-Сталина с отсутствием идейного задела и политической почвы для не-Сталина. Индивидуальный момент играл немаловажную роль и в том и в другом отношениях. Каковы бы ни были первоначальные намерения Хрущева, начиная от самозащиты и кончая стремлением возвыситься, его мужество явилось первоимпульсом выхода за пределы предначертанного "раз и навсегда". Что имело большее значение — сокрушение монументов Сталина, полупризнание его преступлений или самый факт рассекречивания системы, для которой механизм тайны не менее фундаментален, чем механизм страха? Второе по крайней мере было необратимо. Хрущев затронул и другие краеугольные камни системы — другие, но не все. Он приоткрыл двери в Мир в большей мере для себя самого, но и это было ново. Он получил в наследство от Сталина сверхдержаву в тот момент, когда она обрела водородную бомбу и первой вышла в космос. Кончался — в перспективе — "американский век", а мирное сосуществование из фразы и прикрытия получило шанс стать мировой политикой, как и исходным пунктом обновления международного коммунизма — с попыткой его прийти к единству в рамках разнообразия: единству, выходящему за пределы тактики и требующему пересмотра принципов. И хотя Хрущев в разгаре первых кремлевских схваток был в числе тех,

кто предъявил Г.Маленкову, признавшему вслух, что отныне не может быть победы оружием, обвинение в отступничестве, сам он, отгеснив Молотова и других вельмож старого закала, сделал ряд шагов к разрядке, в числе самых существенных из которых — “сахаровский” договор о прекращении ядерных испытаний в трех средах. Жесткая доктрина двух взаимоисключающих миров стала смягчаться, тем более что в планетарную жизнь вошел “третий мир”; его первоначальная харизма лидеров-романтиков была сродни Хрущеву, он шел ей навстречу, совершая, однако, и продиктованные реализмом попятные маневры (среди них — отказ от обещания, данного Китаю Мао, поделиться тайной атомной бомбы).

Однако объединить воедино новации с догмой Хрущев не мог, и не только потому, что не обладал ни малейшими данными для теоретизирования. Действительное продвижение вперед требовало (хотя бы в прогнозе!) саморазоружения с одновременным отказом от идеи вселенского торжества единственной, “высшей общественной системы”. Было бы наивно требовать от прямого преемника Сталина столь радикального разрыва с традицией. Однако без этого мировая политика Хрущева, во всех ее аспектах, должна была натолкнуться на препоны, ею же создаваемые. Развязкою явился Карибский кризис. На счастье Хрущева, его противником-партнером был тогда Джон Кеннеди, не поддавшийся искушению использовать ситуацию для “оправданной” военной акции. Опаснейшее из столкновений сверхдержав окончилось триумфом двух лидеров, если не единым, то взаимным, впрочем, как и их финал, разный лишь по форме.

Позволительно сказать, что во внешних сношениях Хрущев был хотя бы непоследовательным. Для внутренних дел такая оценка звучит идеализирующей натяжкой. За исключением “реабилитации” (да и тут исключение неполное), на всем остальном — печать рассогласованности. Наряду с актами человечности (бум жилищного строительства, выдача паспортов колхозникам, пенсионная реформа и др.), рядом со здравым замыслом совнархозов — меры, рассчитанные на сиюминутный успех в ущерб завтрашнему дню и, как правило, безуспешные в самом ближайшем счете. Особенно это относится к сельскому хозяйству и к культуре — двум сферам надвигающегося общего развала. И тут натура лидера “работала” на то, что Герцен именовал простором отсутствия. “Жаберные щели” функционера первого призыва реставрировали в воображении Хрущева призрак распределительного коммунизма — с назначенным сроком (1980). Объявленная в виде Программы КПСС, эта универсальная химера заведомо исключала возможность перевода ее на язык задач с распределением во времени и очередностью в исполнении. Неудачи не останавливали Хрущева, а, напротив, вызывали у него эйфорию фасадных переделок. Подорвавший сталинскую

доминанту недоверия, он стал подозрителен, что не мешало ему, тасуя состав ближайшего окружения, ухудшать его за счет серых людей, льстецов и интриганов. Сделавши неустойчивым положение аппарата, он в конечном счете стал пленником тех, кто вне "системы" был ненужным, а в качестве ненужного — опасным. Хрущев провозгласил "общенародное государство", но сам не успел дорасти даже до дарованного сверху демократизма. Затронув сталинскую унификацию в самых бесчеловечных ее формах — депортации целых народов, которые теперь смогли вернуться к себе домой, — он одновременно как бы подчеркнул ее неотменяемость произвольным "даром" — передачей Крыма Украине, не спросивши ни население РСФСР, ни тем паче оставшихся вне родной земли крымских татар. И еще: справедливость требует напомнить, что людей убивали и при Хрущеве (и при нем же "психушки" становились средством устранения неудобной мысли). Случайно ли сошлись во времени (1962) Карибский кризис с Новочеркасской трагедией: расправой со стихийным протестом рабочих против обманного роста производительности труда за счет пересмотра расценок, а также "временного" повышения (в этот же момент!) цен на главные продукты питания, — протеста, усугубленного оскорблением человеческого достоинства со стороны власть имущих и окрашенного откровенной неприязнью рабочих к личности Хрущева, в котором они видели главного виновника бед?! Вне зависимости от того, кто персонально ответствен за кровь и жертвы, это событие призывает к сопоставлению двух названных коллизий как к образу глубинного разлома. Выявились, в том числе — падением самого Хрущева: частичная десталинизация рушит собственные результаты и в пострадавших оказываемся все мы у себя дома, а тем самым (прямо или косвенно) — и Мир в целом.

Хотя и с различием в ритме, шла к исчерпанию и та фаза духовного обновления, которая не только зависела от изгибов политики, но и была внутренне ориентирована на то, чтобы подвинуть "верхи" к продолжению курса XX съезда. Уже с начала 60-х гг. и особенно после вторжения в Чехословакию (1968) десталинизация из несостоявшегося всеобщего проекта стала избирательным действием. Будущее перекочевало к инакомыслящим новой генерации — в среду, ограниченную составом и все более жестко преследуемую. Движение их в свою очередь расщеплялось как на мужественные и обреченные попытки самочинных перемен внутри, так и на усилия подкрепить эти попытки (и заслониться от карательных ударов) посредством апелляции к мировому сообществу. История диссидентства еще не написана, хотя и закончена, по крайней мере в тех формах противостояния, которые, творя предобщество, с определенно-го рубежа стали и своего рода лимитом этого же процесса. Урок Хрущева и урок диссидентства, при всей своей неоднородности,

сошлись в общей точке. Но без этих уроков не понять ни происхождения, ни трудностей нынешней перестройки. Следует добавить, что одно то, что правозащитное движение было, делает по меньшей мере неточным термин "застой" в отношении совокупных 1970-х.

Можем ли мы теперь ограничиться тем, чего домогались и не смогли добиться тогда? Видимо, нет. Сегодня нужно не просто идти вперед, а заново определить для себя "точку отсчета". Близки ли мы к этому? Открытый вопрос. Если судить по нарастающей волне изобличения, по степени развития гласности, то ответ будет неоспоримо положительным, хотя и миф о "добром старом времени" обнаруживает живучесть и даже способность к обновлению. Однако коренная перемена (как и главная трудность) все же не в этом. Она — в изживании "системы", рассматриваемой как целое. Оттого и десталинизация в прямом смысле не может уже быть чем-то отдельным от обновления, которое в свою очередь не может ограничиться одной сферой, как бы важна она ни была (экономика ли это, международные отношения, правовые гарантии и институты, автономизация духа в столь несовпадающих областях, как наука и вера, и т.д.).

Тем самым выявляется в одно и то же время и необходимость и неизвестность другого *целого*, призванного заменить сталинистскую сцепку могущества с нивелировкой и обезличиванием. Перенесение центра тяжести на животворящие различия ждет отыскания принципиально новых основ конституционного строя, в рамках которого несовпадающие интересы, традиции и мировоззрения смогут нестесненно осуществлять диалог друг с другом, как и сотрудничать с повседневностью отдельного человека.

Рассматривая в этом свете события и перемены последних четырех с лишним лет, не опуская впечатляющих результатов, особенно в делах внешних, но и не уходя от "локальных" бед и трагедий, затрагивающих так или иначе всех без изъятия, будь то Чернобыль или Сумгаит, Тбилиси или то, что ныне — в разных местах и с несовпадающими ликами, — мы вправе заключить: процесс десталинизации вступил в решающую фазу. Решающая — она же критическая. Критическая не в том смысле, что нам грозит прямой возврат к былому, хотя и этого полностью исключить нельзя. Однако попятность возможна и в иных, непредсказуемых и даже вовсе новых формах. Перестройке грозят и агрессивный консерватизм, и равнодушие, обновленная авторитарность и цепная реакция взаимного отторжения, недовольство, ищущее злодея, и запоздалые, половинчатые, двусмысленные решения (сверху вниз). Вместо вчерашней расстановки сил — лидер, опережающий "систему", радикально думающие люди, которые опережают лидера, — возникла ситуация всеобщего отставания — всех от всех. Оно и естественно: чем радикальнее

обновление, тем показанной ему утрата и возобновление собственного предмета. Оно и опасно: можно застрять на утрате. Выход же — в способе мыслящего действия, в формах мыслящего движения, которым только и удастся соединить — в обход катастрофы — еще неизвестное нам будущее с прошлым, заново открываемым самим себе.

Симптомы надежды в тех же точках, где дымится вулкан. Если это еще недавно надо было бы доказывать, то теперь оно само говорит разными человеческими голосами: избирателей и депутатов, "неформалов" и инакомыслящих внутри КПСС, голосами национальных движений и культурных сообществ. Крайности еще не сблизились, но шансы на это — налицо. Доказательство — забастовка шахтеров (июль 1989 г.). Симптоматичны и масштаб ее, и высокая организованность (действия рабочих в качестве власти на местах, пресекающей любые провокации и разбой), и открытая поддержка забастовщиков со стороны народных депутатов, а в итоге — успех: не только непосредственный, относящийся к конкретным требованиям, но и более общий, который затрагивает перестройку как таковую. Шахтеры вправе считать себя соавторами законов, принятых на завершающем этапе первой сессии Верховного Совета СССР и знаменующих переход или, точнее, начало перехода от деклараций к действию, имеющему направленный социальный характер. Похоже, что мы накануне перемен во всем "календаре" обновительного процесса. Ход событий делает и более неотложной и неисключенной демократическую консолидацию: заполнение нынешнего вакуума безраздельной власти взаимно увязанными *структурами политического согласия*. Это еще не государство в собственном смысле и еще не гражданское общество, но — эмбрионы этих исторических близнецов.

Если названные тенденции не оборвутся новыми спазмами насилия и контратакой "вечно вчерашних", то, быть может, нынешний год выведет нас из пролога десталинизации в действительное начало ее. Тем самым конкретизируется суть освобождения: прочный исторический компромисс, только и способный послужить фундаментом свободного *Дома Евразия*.

В САМОМ ЛИ ДЕЛЕ МЫ У КРАЯ ПРОПАСТИ?

Этот вопрос задают сегодня не только пессимисты от роду. Он объединяет домохозяйку, глядящую на пустые полки, с жертвами множачихся бедствий и кровопролитий. Его задают себе люди вне власти и люди у власти. Интонации при этом неодинаковые, это естественно; а суть — одна и та же? Нет, если взглядеться внимательно, и суть не одна.

Более того. Именно тут еще не вполне внятная разделительная черта. Одним тревога за завтрашний день велит двигаться в незнаемое, в непредуказанное, других же укрепляет в уверенности, что тот процесс, который получил название "перестройки", зашел чересчур далеко, порождая своей безотчетностью житейские неустройства и подводя вплотную к новой Смуте. И разве для последнего суждения нет оснований?

Они есть. Это не только события, но и люди. Разные люди. Разные, даже когда они произносят почти одинаковые слова, когда мысль их не идет дальше сиюминутных нужд. Тревога тревоге рознь, как и отчаяние — отчаянию. Но сверх тревог и отчаяний есть еще намерение — извлечь выгоду от тревог и отчаяний, и существуют люди, движимые этим расчетом. Опять-таки разные люди, на первый взгляд даже антиподы, ведь не спугаешь стража окаменевшего интернационализма с пламенным борцом против масонского засилья, роднит же их уверенность в своем праве (и долге) решать за других — как этим другим жить.

Апокалипсические суррогаты и их изготовители норовят стреножить нас именно в тот момент, когда мы — врозь и вместе — стали нащупывать выход из корчащейся в смертных судорогах сталинской унификации, вездесущей власти над душами и телами. Выход — он же вход. Вход в **суверенную жизнь**. В распорядительство собственной судьбой, по самому смыслу своему исключающее один и тот же жизненный уклад, одну и ту же структуру власти, одну и ту же форму сознания для всех отечественных широт и долгот.

Еще год назад порыв к независимости казался явлением локальным, периферийным. Специалисты предупреждали о "горячих точках", их не слушали. Нагорный Карабах воспринимался не только в Баку, но и в правящей Москве как дело рук смутьянов. Сегодня "горячей точкой" является едва ли не весь Советский Союз, и уже это одно должно бы надоумить людей, ответственных за происходящее, что в главных виновниках (если

уместно говорить о виновниках) — их собственная глухота к проснувшимся чувствам и инстинктам человеческих общностей, за которыми и в которых века и даже тысячелетия. Разве в свете опыта прошедшего года не очевидно уже: "локальные" проблемы не разрешить, рассматривая их порознь?! На очереди дня со всей остротой встала проблема сожительства народов и цивилизаций, составляющих СССР. Проблема всех проблем — экономических, социальных, культурных, всеобщих и личных. Их связь — и первоусловие разрешимости.

Не Прибалтикой поставленная проблема. Прибалтика лишь (в силу особенных, историей созданных обстоятельств) придавала ей непреложный и неотложный характер. Она обнажила ядро проблемы: **самостоятельность ныне только тогда будет действительной, когда она достигнет уровня независимости. И Союз ССР только в том случае обретет нестесненную естественную целостность, отвечающую зову XXI века, когда отправной точкой новой интеграции станет независимость (не меньше!) всех составных частей ее, больших и малых в равной степени.**

Мы пришли сегодня к тому, с чего неприметно начали сворачивать почти сразу после 31 декабря 1922 года. Паралич договорного начала привел в конечном счете к опозорившей нас расправе с "малыми" народами. Неужто так беспамятны мы? Неужто так трудно понять, что Прибалтика не больше чем геополитическое название, что на самом деле речь идет о прошлом и будущем трех стран, судьбою которых распорядились (совместно!) Сталин и Гитлер, и что, оглядываясь назад, литовцы, латыши и эстонцы настаивают ныне на том, чтобы их отечества заново признали **странами**? Что, если мы хотим (а кто не хочет этого?), чтобы они, Литва, Латвия, Эстония — трудолюбивые, умелые, культурные — остались в составе СССР, мы должны признать их право на новых началах **войти** в Союз, а этого в свою очередь не достичь, не **учредив заново** и сам Союз!

Чем же ответил на эту злобу дня "сильный центр"? Сначала равнодушием, затем ограниченными и запоздалыми уступками, а теперь — мрачными прогнозами и грозными предупреждениями. Повод не соответствует причине, и это так же симптоматично, как и бросающееся в глаза сходство основных мотивов "Заявления ЦК КПСС" с опубликованным несколькими днями раньше воззванием секретариата правления Союза писателей РСФСР (не союза, не правления даже, а всего лишь секретариата) — документом, где к обвинениям, адресуемым Эстонии и ее законодателям, присоединяется жалоба на Президиум Верховного Совета СССР, который, дав "правильную оценку" эстонскому закону об эстонских местных выборах, не вскрыл, однако, "политических корней происходящего в Эстонии, не дал политической оценки действиям республиканского руководства, хотя эта тема явственно звучала в выступлениях членов Президиума".

В провинившихся, таким образом, и Эстония, и законодательный орган Союза. А судьи кто? ”В России, — пишут секретари СП, — давно и внимательно следят за развитием событий в Эстонии. И главные свои вопросы мы обращаем к Центральному Комитету партии, к Политбюро”.

Призыв услышан. А может, оба документа были наперед увязаны аппаратным графиком? Совсем не мелочь это совпадение и эта неисключенная увязка. На память приходит давнишнее и совсем близкое, 1968-й и 1989-й, преддверие танков в Праге и кровь на площади Тяньаньмэнь, закулисные схватки в ”верхах” и становящиеся их заложниками импровизированные движения (особенно когда они бьют через край). Правда, еще древние полагали, что в одну реку дважды вступить невозможно. Но мы знаем также, что мудрость оправдывается, если в дело вступает человеческая память и воля к неповторению. В данном случае — воля Литвы, Латвии, Эстонии, и воля России, право говорить от имени которой присвоили себе безымянные секретари СП, и воля Союза, у которой есть единственный верховный выразитель — Съезд народных депутатов.

Есть что-то фатальное в том, что события, затрагивающие судьбы миллионов людей, происходят в предосенние ”каникулярные” дни. Спрашивается: куда торопятся те, другие, третьи? Кто в авторах сценария, а кто в режиссерах? Либо режиссер отдался на милость номенклатурным суфлерам?.. Позавчерашняя лексика, уже сданный, казалось, в архив ”антисоветский” жупел, пресловутая рука Запада, а в итоге — мелодекламация вместо разбора и вывода, ведущих к компромиссу не на словах, а на деле, — что это все: лишь зигзаг или зачин поворота вспять?

Трудное время, кипящие страсти, дефицит политического благоразумия. Трудное время, но не безысходное. Мы не у пропасти. Мы на развилке. К пропасти же нас толкают лжепророки, которые, видно, хотели бы выступить затем в роли избавителей. Сегодня — избавителями русскоязычного меньшинства от ”экстремистов”, завтра — избавителями всех от всех.

Такое уже было — при Сталине. Хватит. Больше этого допустить нельзя. Мы обязаны твердо сказать, что не нуждаемся в избавителях. Ибо — мы хозяева своего Дома, ответственные за него перед мертвыми и живыми.

Ответственные все вместе и каждый в отдельности.

28 августа 1989

ЗАСЛОН СМУТЕ – В КОМ ОН?

Иностранцу пришлось бы основательно поломать голову, отыскивая понятие, близкое нашей "Смуте". Сколько в ней, вскормленной российской историей, смыслов, примет, истоков и следствий. То уходящая, то наступающая стихия взаимного отторжения, кровавой перетасовки и распада, смена скоростных "концов" "началами", притом обретаемыми не сразу, далеко не сразу. В промежутках же – могилы без счета, заброшенные земли, опустевшие души, отчаяние и безнадежность.

Кажется, столетия между – "нельзя молиться за царя Ирода..." и "это есть наш последний...". А между тем – рядом. Не событиями даже, хотя и в них переклички. Но прежде всего (и сверх всего!) судьбами. Тени, тени – неискоренимые, оживающие. И уже не ночами стучатся в дверь, а вламываются днем. Иной же, и все более частый, раз врываться-то и нужды нет: двери сами раскрываются. Одних – к Минину и Пожарскому пропуская без задержки, других – ближе к Таврическому или к Смольному.

Кто – стенает, исподтишка грозя: "Ну ведь за всем, что творится, должен же быть присмотр в Кремле! Не нехристи же там сидят..." А кто вторит: "Ум, честь, совесть!" – однако и тут к уверенности примешаны косой взгляд, а то и угрозы, тому же "Кремлю" адресуемые. Выходит, на нем заикнулись те и другие, а еще третьи, четвертые, которых и в черносотенцы не зачислишь, и догматиками не обзовешь, ибо (и без всякой иронии) – паладины перестройки. Но и они прикованы ныне (нападками, притязаниями) к тому же кремлевскому холму. К чему ж еще? У нас – к чему?

Кремль же, хоть и в неизменных стенах своих, однако превратностям истории подвержен. От Грановитой палаты, где сидел Иоанн IV, до многолюдства хрущевского Дворца съездов – эпохи, менявшие обитателей и вершителей власти. Но именно – власти. Еще точнее: всевластия, какое в роковые дни опрокидывалось в безвластие. Еще одна ипостась российской Смуты. Вроде позади эти страшные перекаты. Но тени, тени. Приходящие, неодолимые...

Одно отечественное слово и три китайских иероглифа

Летом этого года я спрашивал: "Что на сегодняшних весах весит больше – избирательный бюллетень или саперная ло-

патка, вдохновляющие результаты выборов, которыми перечеркнулись прогнозы и расчеты, или провокация "силы" (по-другому назвать тбилисскую ночь было бы непростительной ложью)?" Вопрос отнюдь не риторической. Ответа я не знал, а гороскопы не по мне, наученному жизнью и профессией, что нет ничего на свете, что приходит своевременней и действует неумолимее, чем Случай. Смутное время оттого и смутное, что все "неправильности", из которых состоят человеческие будни, нежданно-негаданно устремляются в одно общее русло. Поистине тогда бал правят уже не помыслы (пусть ошибочные), не чувства (пусть избыточные). Нет, возникает, что применительно к русскому бунту поэт определил: "... бессмысленный и беспощадный". Потому и без смысла, что без пощады. Впрочем, и наоборот читалось. Читалось — либо по сей день читается? И наш ли только лексикон надобен читающему?

Отечественная смута — она и на сопредельном языке. Спрашиваешь: что ждет нас? — а думаешь: не грозит ли свой, одомашненный Тяньаньмэнь? Я не опасаясь "вмешательства во внутренние дела Китая", Китай — тем паче. Да на расстоянии и не узнаешь в точности той подоплеки; вот и у наших "малых" тяньаньмэней подоплека совсем не такая уж злоумышленно очевидная, какой преподносили ее репортажи-скороспелки. Сегодня виднее связь ферганского кровопролития с измученной хлопком землей, как и связь оргии тамошнего и столичного мздоимства с подвигами московских следователей-тщеславцев. Но как обозначить эту связь, когда в локальной резне силишься разглядеть голограмму всеобщего бедствия?.. И на главной пекинской площади столкнулись ведь не только люди с людьми, но и модернизация с равенством, воскресенный стимул к трудовому достатку — с неистребимой жаждой справедливости как таковой, без пряника и кнута. И еще не менее, если не более существенное: порыв молодых, вовлекших в свои ряды и тамошних рабочих, и многих из тамошних функционеров, внесший раскол и в тех, кто выучен подавлять. Эта демократия улицы (площади!) очутилась в заложниках схватки правящих. А посередине — пусто. Не было **бесстрашия в согласии**.

Просветили ли нас "их" Тяньаньмэнь, танки, давящие человеческую плоть, кошмары ночных расстрелов? Открыли ли глаза на истоки и позывы собственной неисключенной Смуты?

От этих вопросов может отвернуться либо благородный слепец, либо свежеспеченный Молчалин, но не грибоедовский, а щедринский, обматеревший, зорко следящий за котировкой репутаций: как бы не прогадать, не пропустить свой час...

Наши pro и наши contra

Неисключенная Смута не значит неперемнная. В наших силах предупредить. Оберегаясь, но не останавливаясь. Идя в размышлении от худшего к тому, что не только способно вызволить нас из беды, но и поднять, возвысить. Убеден: нет ничего насущнее ныне, чем сызнова зажечь свет в душах.

Попробуем взвесить шансы на это. Столь ли ничтожны, малы они?

Духовная смута вроде бы contra. Но так ли? Открытость, как ни ряди, предпочтительнее закупоренных страстей. То, что пугает нас (да и как не пугаться?), суть рвота единством, какое давно изжило себя. Можно грустить, оплакивать, но возврата нет. Живем разными **вчера**. Растаскиваем общее наследие, берем на себя грех пуше других, стравливая исторических мертвецов. Так что же — в кутузку стравливающих, смирительную рубаху на тех, кто бредит своей родословной, оттого и единственной, другие исключают, что своя?

Этому бы на смену — осмысленный переход от схваток несовместных **вчера** к совместности разных **завтра**.

Оставаясь разными в убеждениях и вере, уберем себя от взаимной ненависти и насилия. Вот она, отсчетная точка. Непривычная и даже огнеопасная, но достижимая. Распределенная по широтам и долготам, отсчитывающая от цивилизаций, которые в недрах нашей Евразии — стойкие верой и нравом, трудовым обычаем и складом мышления.

Непременный факт: мы — это Европа и Азия, сшибкою и вкупе. И факт и шанс из самых великих. Относящийся не только к судьбам тех, кого иной раз, дурно обмолвившись, именуют "украинными народами". Не только к ним, но и к россиянам, чья совокупная метрика — те же Европа и Азия. Большой Урал, две Сибири, Дальний Восток — они и страны и цивилизации, впрочем, как и европейский Север, и донской, кубанский предкавказский Юг, и исконный русский суглинок... Избавиться от опеки московских ведомств — нужный шаг, за отсрочку которого платим бедностью и разрухой, размолвками и кровью. Нужный шаг, но недостаточный.

С запретом на оттяжку — возводить леса **мира в Мире!** У себя дома строить не знающий подобия союз **равно-разных**. Иначе — не суверенный — фикция!..

Да не к тому ли и дело идет — прибалтийское и иное? Тот, кто приметил благородство, с которым отстаивали себя "автономии" в верховносоветских дебатах, всякий, кому в сердце вошла прекрасная нанайка Евдокия Гаер, скажет вместе со мной: лиха беда начало!

Но что-то держит это вызволяющее и воскрешающее начало, что-то поперек его. Что же?

Да мы сами. И наш, из нас наружу вышедший комплот неуходящего единообразия с судорожным, безотчетным и расчитанным (не спутать бы...) отталкиванием друг друга. И наша перепутаница "почвы" с оглядкой на кремлевский холм. Словом, держит все, чему и корень и общий знаменатель — неведение того, что "там", за порогом, который нельзя (время на исходе!) не переступить и который переступить страшно. Этой неизвестностью стреноженные, сами себе противники.

Экономисты, какие около власти и у власти, меняют один универсальный рецепт на другой. К нынешнему ли Западу подтянуться (вычтя его путь к себе!) или на худой конец взять за эталон "четырёх тигров"? А может, с другого конца двинуться — с чаяновского в будущее глядящего проекта? Не худо бы и сочленить, но как? Умная Прунскене заметила: то, что одним еще преждевременно, у других повседневность. Да и в самом деле, неужто субтропикам и Заполярью равно показан фермер? Хлеб же насущный — забота общая. И независимость, касающаяся не частных, а строя, — искус для всех. Вводимая же гомеопатическими дозами, с запоздалыми уступками "избранным", она оборачивается тяжбой этносов, грозит мятежом, в котором уже не различить, кто в зачинщиках, кто в ведомых.

Как на исповеди: нам легче бы разойтись... Но есть запрет. Разумно ли в раздел и разор — совместное имущество, все, что добыли трудом и страданиями поколений мертвых и живых? Казалось бы, одно это может удержать. Но нет. Себедовлеющее пересиливает, держа в памяти насилие, геноцид, неистребимые замашки "сильного центра", посягающего на землю, воду, воздух. Чем превозмочь это и нужно ли?

На той же исповеди выговариваю с болью и с убеждением: должно. Повторяю снова и снова: есть запрет превыше законного права на уход. Этот запрет — хрупкий Мир, не взорвать бы незначай! Это табу — ответ на убийство, вернувшееся к людям в том изначальном виде, когда оно без мотивов, когда оно — смерть, заново увиденная и настаивающая, чтобы ею сызнова открыли жизнь. Своим и "чужим". Всем.

Воздушный замок? Если даже он, то неизбежный, как те же земля, воздух, вода. От невозможности к возможности: выучимся жить врозь, оставшись вместе. И от явленного миру "вместе" — к очеловеченному и деловому "врозь". Друг спрашивает: а не боишься разброса — своя Венгрия в западных пределах и свой Хомейни где-то в Азии? Ответил: не боюсь. Все лучше, чем режим "вторых секретарей" и иноплемennых войск для растаскивания соперничающих. Перемогнемся. Переживем тяжкое время, у которого взрывчатки в недрах все-таки меньше, чем у пролонгированного нынешнего безвременья.

Возврат к себе — вход в Мир

Шаг за шагом дальше от ядерного гриба. Подстегиваемые нуждой и обвалами, но движемся — что важнее?! От Чернобыля к Рейкьявику. От трагического тупика Нагорного Карабаха к здравому признанию восточноевропейской смены лиц и устройств. Уйдя из Афганистана, навсегда ушли домой — и тем самым входим в Мир. Горбачевский рубеж — не только по имени... Чистое pro? Хочется сказать — да, но не впасть бы еще раз в самообман. И тут свои contra.

Утрата перестроечного ритма — расплата за нерешенность принципов своего евразийского сожительства.

А главное благо — демонтаж сверхдержавы (без чего не уйти нам от сталинского и постсталинского наследия) — не таит ли и оно распри между своими?хлопотно начинать конверсию (прибыль впереди, пока же — затраты), но еще хлопотнее **духовная конверсия**. Будем же взыскательны к себе. В "зеркале" (вечная память Андрею Тарковскому) дети XX съезда, но ведь они же — и как иначе — дети "холодной войны". Трудно взрослеющие дети. Опять же я не о нахлебниках и карьеристах перестройки, а о ее действительных лидерах и бескорыстных рядовых. Будем взыскательнее к себе. Изначальный Горбачев вырвался вперед тем, что не убоился продолжателей. Срединный заколебался. Так пенять ли ему одному, что и он застрял, что — сегодняшний — он еще не оппонент себе, а потому (сплошь и рядом) плохо слышит несовпадающих и тоже застрявших?

"Дайте ему шанс", — взывает из закордонного благополучия экс-соотечественник. Нет, так не выйдет. Шанс ему — теперь производное от шанса, который надлежит заработать всем для всех. Говоря, что *низшая точка пройдена*, я имею в виду прежде всего это: обновительный процесс уже не зависит от одного человека (кто бы он ни был!).

Доказательство — Верховный Совет. Мой коллега Юрий Афанасьев назвал его в сердцах "сталинско-брежневским", навязанным второпях. Что навязали — верно. А вышло иначе. Сугубо иначе. Неожиданно иначе. (Но как знать, может, тот афанасьевский стресс также сработал на это "иначе"...) И оттого я от веры иду к уверенности — Тяньаньмэнь *избежим*. Посередине у нас уже не пусто. Посередине — завязь структур политического согласия. Однако — всего лишь завязь.

И тут, в этом средоточии теперешних наших надежд — высшем органе государственной власти, непросто отделить pro от contra. Они, эти contra, и в таких симптоматических "деталях", как казусы закулисных законопроектов. Они и в прорехах, и в чрезмерной унитарности даже лучших из законов. Они и в большем — масштабом и сутью. Впереди законодателей, иду-

щих от самостоятельности к независимости, сегодня никого нет. А позади? А в тылах? Открытый вопрос.

Ибо опомнились сторонники "руки", для кого без нее, вперед выброшенной, и жизнь — не жизнь. Ибо весеннюю эйфорию сменяет апатия. Ибо, кроме сопротивления в людях, растет сопротивление проблем. А сверх всего и внутри всего еще одна западня — "брежневская конституция". Полная атавизмов добровольного и насильственного единства, бесполезная, пока не возникает у не устраненного еще всевластия искушения воспользоваться ею для двусмысленных оттяжек и мнимого "консенсуса". Что уж говорить о затрате дорогого законотворческого времени на увязку назревших и перезревших перемен с буквой мертвого Основного закона...

Выход из этой "квадратуры круга" ясный, демократичный: **приостановить действие Конституции 1977 года, ускорить разработку новой.** Тем самым откроется свободное поприще для великого выбора — **другой жизни.** А дабы остаться в пределах конституционной легальности, подкрепим эту меру добровольным и всеобщим вето на любую акцию, отдающую насилием и иерархическим эгоизмом, на любой шаг, способный выбить нас из колеи искомого равенства разных!

Примечательны слова ищущего человека: "Не надо провозглашать себя коммунистом, кадетом или социал-демократом, лучше говорить конкретно — о своих взглядах на социальную политику и справедливость, на отношения с другими государствами и механизм формирования власти... Я убежден, что все великие традиционные идеологии отходят в прошлое. Наверное, пройдет время, и сегодняшние дети поймут нас лучше, чем мы понимаем себя теперь".

Это сказал "бывший антикоммунист" Адам Михник.

Постскриптум

На этих словах я остановился в середине декабря. Когда же заметки для себя превратились в газетную статью, пришли события, зовущие продлить мысль и проверить предчувствия. Смерть Андрея Дмитриевича Сахарова, коллизии Съезда народных депутатов, кровью освобождающаяся Румыния совпадением своим напоминают нам, как близки мы все на Земле и сколь велика теперь необратимость совершающегося, которая равно зовет к свободе личного выбора и к ответственности за всеобщий выбор.

Декабрь 1989

НЕ РАСТЕРЯТЬ САМОЕ ЦЕННОЕ*

Давным-давно, на исходе 1878 года, Салтыков-Щедрин писал Павлу Васильевичу Анненкову: "Хотелось бы и трагического попробовать — после болезни меня все в эту сторону тянет. В виде эпизода хочу написать рассказ "Паршивый". Чернышевский или Петрашевский, все равно. Сидит в мурье, среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают "Боже царя храни". И все ему говорят: стыдно, сударь! У нас царь такой добрый — а вы что! Вопрос: проклял ли жизнь этот человек, или остался он равнодушен ко всем надругательствам и все в нем старая работа, еще давно, давно до ссылки начатая, продолжается. Я склоняюсь к последнему мнению. Ужасно только то, что вся эта работа в заколдованной клетке заперта. И этот человек, недоступный никакому трагизму (до всех трагизмов он умом дошел), делается бессилён против этого трагизма. Но в чем выражается это бессилие? Я думаю, что не в самоубийстве, а в пустом окаменении. Нет ничего, кроме той прежней работы — и только".

Я не собираюсь комментировать это письмо, в котором вместе — отчаяние и мудрость, несправедливость в отношении людей, которых перемена режима освободила от неволи, и преклонение перед несгибаемыми, — преклонение, в каком слышится упрек и самому себе. И точно так же не собираюсь я применять щедринский текст к нынешнему времени, ища прямых совпадений или разительных отличий. Привел же эту обширную выдержку из письма, которое сыграло некогда немаловажную роль в моей жизни, с другой целью. Далеким предком нашим затронута тема едва ли не вечная и вместе с тем удивительно современная. Как часто и с какой легкостью мы воздаем словесную дань традициям и призываем друг друга ценить духовный опыт своих предтеч. Это ведь самоочевидно, не так ли? Правда, предтечи у разных разные, и все более разные. Но я не об этом. Я о *тяготах общего труда наследования* и о совсем непростых отношениях, которые возникают при этом даже, казалось бы, у самых близких людей.

Разве чужой для нас трагизм, о котором пишет Щедрин, трагизм упрямой приверженности к однажды сделанному жиз-

* Опубликовано: Путь. Историко-публицистический бюллетень московского "Мемориала". — 1990, 25 февраля, с. 5.

ненному выбору, к позиции оправданного временем противостояния, оправданного — и временем же подвергаемого испытанию на разрыв... Тяжело начинать заново тем, кто сумел сохранить верность себе тогда, когда она была в редкость. Им тяжело, и я об этом говорю не ради какого-то нравоучения и не с тем, чтобы призвать к снисходительности, призывать к ней тех, кто пробудился ныне и рвется вперед, круша препятствия. Мне хочется привлечь внимание к другому: к ценности превозмогания того, что в щедринском письме поименовано "простым окаменением". Случайно ли, либо, напротив, в высокой степени знаменательно, что многие — позволю себе сказать, большинство моих друзей "диссидентской" поры — могут быть отнесены к числу умеренных (название, конечно, условное и неточное, но тем не менее оттеняющее нравственную сторону участия их в обновительной работе).

Умеренность эта не от усталости, как и не от желания, войдя в текущую бурную жизнь, уберечься от напастей, какими были щедро наделены предшествующие десятилетия. Нет, тут впереди — чувство ответственности, не утраченное, а, наоборот, закаленное былыми надругательствами, одиночеством, равнодушием и собственными былыми разладами. Не без гордости говорю: среди поборников ответственности за все происходящее, за каждую утраченную жизнь, за каждую вновь сломленную судьбу в первом ряду добровольно ответственных — вчерашние узники совести, инакомыслящие и инакоживущие.

Нет уже Андрея Дмитриевича Сахарова, но не остановилось начатое им дело, не оборвались неустанные его поиски смысла и способа, какими бы сумели соединиться воедино *ненасильственное гражданское сопротивление с гражданским согласием*, направленным против всякого насилия, откуда бы — "сверху" или "снизу" — оно ни исходило. Ибо сразу изменить жизнь трудно и даже опасно. Но не пытаться, не откладывая на завтра, нынче нащупать контур другой жизни не менее, если не более опасно.

Не сомневаюсь, убежден: духовный опыт семидесятников нашего столетия, как и они сами, действующие, мыслящие, ищущие, — одно из тех слагаемых, без которых не совершится новому всеобщему выбору. Выбору, в котором будем равно представлены и все мы, в тревожный час не покидающие судьбою назначенную нам Евразию, и каждый из нас, неодинаковых, несопадающих — бытием, сознанием и верою.

5 февраля 1990

БУДУЩЕЕ ПРОШЛОГО*

Ответы на вопросы Лоренцо Скаккаборози

– Михаил Яковлевич, что значит для Вас история?

– История – моя профессия. Но это и моя жизнь, а стало быть, и то, что я приобрел в ней, и то, что потерял. Чего было больше? Чтобы ответить, нужно бы о многом сказать и назвать немало имен: людей, у которых я учился, с кем был связан в разные моменты своей жизни. Раньше всего я назвал бы свою бабушку, самое любимое мое существо. Любил я ее даже не за доброту, которая, кстати сказать, внешне никак особенно не проявлялась, нет, она была (и оставалась долго) самым интересным для меня человеком на свете. Я мало что знал о своих родителях, но бабушкину жизнь освоил во всех подробностях. Ее отец был рабочим на бойне, мать рано умерла, и она как старшая тянула дом; затем ее выдали за известного на юге России еврейского просветителя, херсонского казенного раввина. Вскоре она овдовела, освоила ремесло портнихи. (Вот уже больше столетия прошло, а в Симферополе, в доме Высочиных, первого друга моего детства, погребенного на войне, стоит, строчит бабушкин ножной "Зингер", переживший страшные смерти, внезапные превращения в судьбах.)

А история... Она пришла от бабушки ко мне рассказом об одесском погроме. Я знал этот рассказ наизусть, но требовал еще и еще раз повторить, с замиранием ожидая (для того и повтор) кульминации: громилы уже рядом, они где-то на лестнице... Вдруг из разных углов дома появляются "самооборонщики" и начинают стрельбу из браунингов. Торжествует сила справедливости... Знаменитый английский историк Коллингвуд заметил как-то, что историю составляют не *события*, а *деяния*. Сегодня я мог бы оспорить эту мысль, но тот мальчик, безусловно, согласился бы с ним, не поняв, видимо, глубинной сути его слов.

Теперь же я один из немногих, кто остался от моего поколения. Большинство тех, кому я обязан, уже нет. Давно уже нет. Одних унес сталинский террор, других война. В 1941-м, 42-м годах погибли лучшие друзья моих университетских лет. И уже в качестве историка я ищу ответ на неуходящий вопрос: этого всего, трагедии со множеством актов, *нельзя ли было избежать?*.. Это не сюжет отдельной работы, внутри меня это, чем бы я ни занимался, будь то экономическая и интеллектуаль-

* Интервью швейцарскому радио. Расширенный текст.

ная история России XIX, XX века, будь то события, более близкие к современности, как природа сталинизма или судьба Хрущева.

– Можно ли сказать, что Вы субъективны в своих работах, как человек, переживший трагедию своей страны и своего поколения?

– Француз Люсьен Февр заметил как-то: истории нет, есть только историки. Это, вероятно, заострение до парадокса действительной трудности. Ведь человек, занятый историей, всегда и современник. В силах ли он от этого уйти – и должен ли? Людям нашей профессии не избежать раздвоенности. И сколько бы присяг быть объективными и беспристрастными мы ни давали, самое большее, чего историк может достигнуть, – это держать под контролем свои привязанности и антипатии, выступая в качестве оппонента самому себе. Диалог с собой входит, таким образом, в призвание историка, впрочем, как и в существо истории.

– Итак, история – это диалог?

– Да, диалог живых с мертвыми. Или вернее: живущих с живыми мертвыми. История воскрешает. И это относится не только к памяти в буквальном смысле, но и к историческому исследованию. В самом широком смысле – к историческому сознанию. Что движет им? Любознательность, забота о сохранении традиции, либо больше – связь поколений, или еще шире: невозможность жить, не имея за спиной прошлое?

Я разделяю два понятия: *то, что было и прошлое*. "То, что было" – это факты, запечатленные в источнике, добываемые историком и проверяемые им. Но и прошлое – это те же факты. В чем же различие? Оно – в человеке. Был "до-исторический" человек. Человек, который жил в мифе, – в Мире непрерывно длящегося времени. И сравнительно поздно появился человек исторический: *Homo historicus*. Он, этот человек, уже знает, что позади него – события, люди, эпохи, которые *необратимы и непоправимы*. И, зная это, он тем не менее возвращает неповторимое и необратимое; возвращает в себя, как залог, как веру в то, что он (уже своею жизнью – в отпущенных ему временных пределах) сумеет выстроить нечто, чего еще нет, чего еще не было. Иначе говоря – будущее.

Как будто бы очевидная вещь – *будущее всегда впереди*. Перевернул лист календаря, и вот оно. Я думаю, что это заблуждение. Ибо будущее – не пролонгированное настоящее. О будущем мы вправе говорить, пока существует прошлое. Следовало бы даже слить эти два понятия в одно: *будущее прошлое*. Оно – таинственно своей непредсказуемостью. И оно хрупкое, может погибнуть. Оно может даже стать ненужным. Мы – у себя – это пережили. Мы почти потеряли прошлое, а стало быть, и самих себя. Но, к счастью, только почти.

– Вы имеете в виду реабилитацию?

– Не только ее. Ведь реабилитация – это все-таки юридический акт – необходимый, справедливый, хотя и оскорбительно запоздавший. Пока она осуществилась лишь в отношении самого зловещего – сталинского времени. Узники совести 1960-х, 70-х годов еще ждут восстановления их доброго имени. Но когда я говорю: мы сегодня возвращаем себе прошлое, – я имею в виду непреходящий аспект самоосвобождения. Чтобы стать свободными, нам нужно заново обрести родословную. Это нужно и отдельному человеку (отсюда нынешняя потребность самых разных людей разузнать все о своих предках). Это нужно и нам всем как *целому*. Старое "целое" надломлено. Новое еще впереди. Какое оно будет? Открытый вопрос. И ответить на него мы сможем лишь в том случае, если выступим – добровольно – наследниками всех, кто был до нас. Всех – без изъятия и вычерков, без проклинаний хором и прославлений по чьей-то указке. Это очень непростой процесс. Он драматичен. Он сближает нас – и одновременно рождает духовный разброд и раскол. Рядом с чистыми голосами – суетливый аукцион, на котором распродают загубленные судьбы и делаются карьеры. Нам еще предстоит не только одолеть закрытость прошлого, но и научиться быть откровенными. Я бы так сформулировал девиз самоосвобождения: *избежать новой избирательности*. И потому особенно трудно и ответственно положение историка – не в роли арбитра, этаким самозванной персонификации "суда истории", а в качестве посредника между живущими и ожившими мертвыми.

– Выходит, прошлое не позади, а впереди, оно, что ли, поджидает нас?

– Если угодно – да. Оно пред-стоит, ежели оно в самом деле **прошлое**. То есть: то, что прошло, но для кого? Для тех, кого уже нет, или для меня, для Вас, для тех, кто по пятам за Вами? Нет спору – история развлекает, она способна воодушевлять; считается к тому же, что она учит в особенности тех, кто призван либо сам себя призвал управлять людскими судьбами и душами. Но если сложить все ее (истории) достоинства, закрыв глаза на неотделимые от нее, ею порождаемые заблуждения, обманчивые аналогии, то исчерпаем ли мы этой суммой самое историю? Вернее – человека исторического, немислимого вне ее? Ведь он если и не знает, то догадывается, что "то, что было" и невозвратно и непоправимо; оно отделено от него мысленным рвом, который он сам же и вырыл. Оторвал от себя и вернул. В себя! Вырыл ров и выстроил мост, хрупкий, разводной, способный рухнуть, когда по нему пройдет "в ногу" множество людей, рвущихся в будущее без прошлого. И если уж рухнет этот мост, то тогда лишь призраками "то, что было"...

– Вы полагаете, что именно это и случилось у Вас?

— У нас и с нами. Не мы первые, но, быть может, последние в этом всемирном ряду?! Впрочем, не станем гадать. Однако отдадим себе отчет: сегодня критическая точка. Мы захлабываемся узнаванием. Тайна, один из двух столпов "сталинской" единственности бытия (не менее опорный, чем страх), отступает, с боем, но отступает. "Момент истины"? Едва ли. Еще нет. Рядом, вместе — справедливое возмездие и реанимация призраков. С ними легче, они как домовые — твои домашние, тебя отличающие от других. Жажда вернуть родословную естественна: это возврат человеку его Я. Но до какого колена — Я? Ведь те, в "колее", — не сами по себе. Ведь они все несхожие, совокупной несхожестью своей и образуют прошлое. Так ближе оно стало к нам или дальше? Совсем несправедливый вопрос. Быть может, от того или другого ответа на него зависит не меньше, чем от ремонта законов, от устранения на ходу вопиющих недостатков...

— Но мне кажется, что в вашей стране у многих людей есть какая-то боязнь прошлого. Может быть, потому, что они чувствуют себя виновными? Я имею в виду "сталинистов"...

— Я остерегся бы однозначно ответить на Ваш вопрос. Разумеется, и у нас есть те, кого немцы называют ewig gestrige — "вечно вчерашние". Много ли осталось изуверов неограниченной власти? Кто считал. Во всяком случае, их меньше, чем тех, кто верен "доброму старому времени" и в силу стойкого обмана, и по самой простой человеческой причине: из нежелания признать бессмысленной прожитую жизнь с ее тяготами и утратами. "Мы за ценой не постоим" — эти слова из популярной песни выражают своего рода мироощущение. Для значительного, хотя уже сильно поредевшего, пласта людей участие в войне (второй мировой), пожалуй, самое важное, едва ли не единственное, что оправдывает все их существование. Значит ли это, что из чувства признательности и сострадания следует уступать этим людям в споре о сталинизме? Нет, конечно. Но надо помочь им высвободиться из-под власти призраков. А помочь в этом разве не значит помочь себе? Говоря себе, я не исключаю никого, в том числе и вполне убежденных антисталинистов... Я обращаюсь снова к той парадоксальной ситуации, о которой сказал: мы никак не можем уйти от "того, что было" и никак не сподобимся превратить его в **свое прошлое**. И тут уже не только о сталинизме речь, то есть и о нем, но в более широком контексте. В нынешний наш домашний спор вовлечены — по сути — все эпохи российской истории. И не просто вовлечены. Они, эти эпохи, оказались равно присутствующими вопреки хронологии. "Вертикаль" перевернулась в "горизонталь". И уже неясно, было ли, например, крещение Руси раньше или позже Октябрьской революции. Иные из сегодняшних словесных распрей могут со стороны показаться небезопасным безумием. Они действительно не-

безопасны. Но в их безумности есть своя глубина и непреложность. Ибо мы ищем сейчас не просто способ искоренения дурных сторон нашего устройства и замены их эффективными и справедливыми. Предмет поиска – самые основания жизни. Жажда суверенности ищет подтверждений в былом. И профессионалы-знатоки, и особенно те, кого зовут "неформалами", подыскивают прецедент, совпадающий с их волей *переначать*: себя, свой этнос, отношения собственности и власти. Я бы сказал, что с каждым витком "перестройки", с каждым кризисом ее раздвигаются пределы и ее генезиса. А мысль отстаёт. Предрассудки сплошь и рядом опережают анализ и даже здравый смысл. Оказывается, что духовные землетрясения еще труднее предусмотреть, чем сдвиги земной коры. Удивительно ли, что немалому числу людей 1988 год представляется в апокалипсическом свете. Сумгаит и Спитак сливаются в единый прообраз.

– А на чьей стороне в этом споре Вы?

– Нет вопроса, на который труднее ответить. Поверили ли бы Вы мне, если бы я сказал: ни на чьей в отдельности, а в некотором и сугубо важном для меня смысле на стороне всех, кто спрашивает, ищет, сомневается, для кого небезразличен духовный опыт предшественников, притом самых разных и даже полярных! Мы сегодня часто произносим слово *покаяние*. На это есть более чем достаточные причины. Но я бы поставил рядом и даже выше другое слово – *понимание*. Взаимность в понимании. Культура этой взаимности, ее правовой остов и речевое поведение – вот что дается труднее всего, и я бы считал свою жизнь не вполне напрасной, если бы сумел хотя бы слегка подвинуть навстречу друг другу несогласных. Моя мечта – хартия согласия.

– Вам хочется, чтобы историк потеснил экономиста или социолога, юриста?

– Нет, я хочу, чтобы историк стал заново нужен, но совсем по-другому, чем вчера. К тому же я убежден, что, когда экономист – будь он семи пядей во лбу – силится выписать универсальный рецепт наирезультативной деятельности, он одним этим способен (разумеется, не нарочно) нанести ущерб искомому неизвестному: *другой жизни*. Здесь, у нас, а раз у нас, то уже не только здесь. Окольно – повсюду.

– И Вы уверены, что тайну "другой жизни" знают историки, за плечами у которых десятилетия подлогов, умолчаний, предписанной лжи?

– Я не очень гожусь в адвокаты своих собратьев, но и не собираюсь вызывать Вас на дуэль. Все так: ложь есть ложь, даже если вынужденная. Но все-таки не так просто с историей, как кажется на первый взгляд. Кстати: в русском языке история, которая делается людьми, и та, которая пишется "задним

числом”, обозначены одним и тем же словом. Скудость ли это, рождающая путаницу, или здесь есть и что-то существенное? О том, что “народ – творец истории”, мы слышали едва ли не ежедневно. А вот то, что та история, которая и профессия и отрасль знания – что она творится, вроде бы и неловко говорить. Сразу приходит на ум *отбор*: а где отбор, там и произвол. Различие тонкое, как волос, и острое, как лезвие. “Краткий курс” возвысил историю до “точной науки”. Оно и понятно: что точное, то непременно – для всех без исключения. А между тем история и не Муза и не наука (в позитивистском смысле). Она, если угодно, строга в меру своей “неточности”. Она обречена быть гипотезой и если чему-то и может научить, вернее – к чему-то подготовить, то именно к неповторяемости того, что происходит в человеческой вселенной, к познанию природы этой неповторяемости... Между оруэлловским “переписыванием” и нестесненным *пересотворением прошлого* – нынешний историк в двойном и, поверьте, мучительном качестве: посол ушедших и современник живущих. Не ставьте ему в вину скрытую автобиографичность, напротив – помогите ему открыться, стать собою. Кто станет тянуть к ответу Шекспира, который (с подачи Томаса Мора) “оклеветал” Ричарда III, или пенять Пушкину, что сразу поверил в Бориса-убийцу? Они решали свою задачу, искали ответы на вопрос: способен ли остаться личностью властитель, умащивающий трупами прогресс, как и тот, кто обманом (и даже самообманом) растит новые гibelи? Поэтов занимал душевный разлом в венценосце и отзвук этого разлома в судьбах народных. “Властитель слабый и лукавый”, но все-таки сначала “слабый”: от избытка ли власти или от утраты способности употребить этот избыток, – Пушкин думал о Борисе, оглядываясь на Александра Павловича и предвосхищая своего “второго Петра”. Где тут граница, отделяющая химеру от открытия?

– Но что дозволено Юпитеру, не положено быку...

– Разумеется, историк “пересотворяет” сугубо иначе. Он ведь добытчик фактов. То в согласии с ними, а то и в споре. Да, да, и в споре с фактами... Вот великое открытие XX века – новгородские берестяные грамоты, заново увиденная жизнь этого чудо-города средневековой русской Европы. И что же – перекрыло это открытие старо-новую, имперско-сталинскую версию будто бы заданного превращения Руси в безбрежную Евразию, провиденциальной миссии “Москвы”? Нет, версия держится. И не злым умыслом, во всяком случае, не им одним. Чтобы распознать новгородскую альтернативу, нужно и иное поле зрения, потребен исторический глобус (XVI век ведь), но прежде всего должно освободиться от преклонения перед *Результатом*, этим идолом, сооруженным прикладным “истматом”.

– Вы были историком-марксистом. А сегодня остается

им? Вы думаете, что марксизм сохраняет какую-то ценность как способ исторического исследования?

— А что понимать под марксизмом сегодня? Одинокого Маркса или всю одиссею превращения его слова — в действие, его понимания истории — в живую историю, сотворившую во многом нынешний Мир и оплаченную жертвами без числа? Сказать одно, опустив другое, было бы кощунством и по отношению к мертвым, и в отношении самого Маркса. Ведь его видение Мира исполнено и безоговорочной веры в будущее, и окрашено в трагические тона. Сегодня эта трагическая сторона его интеллекта, его мышления мне ближе, чем его *материалистический финализм*. Я много занимался проблемой "Россия и Маркс" и думаю, что это не частный сюжет. В моих глазах Маркс остается одной из высших критических точек развития европейской цивилизации в эпоху ее планетарной экспансии — материальной и духовной, — когда казалось, что Европа, Запад могут вобрать в себя весь земной шар, выстроив все и всех по своему образу и подобию. И Россия оказалась в орбите этой экспансии. Мало того. Она сама, изнутри себя, сделала гигантский шаг навстречу *европейскому человечеству*. И именно тут у нас, в России, обозначился порог этой экспансии, предел человечеству, совпадающему с новоевропейской цивилизацией. Вот почему для меня судьба космополитического "проекта" Маркса и историческая коллизия России — единая проблема, позволяющая увидеть не только сегодняшний, но и завтрашний день Мира.

— Так что, Вас нельзя считать сторонником "вестернизации" России, которых, мне кажется, много, если не большинство среди московских интеллектуалов?

— Вы правы, я не могу причислить себя к неозападникам. Но так ли точны эти привычные определения и ярлыки? Будто бы всякий, кто проявляет скепсис в отношении призывов выйти во всем "на мировой уровень", является рутинером. А что такое — мировой уровень, если от отдельных, весьма конкретных вещей, касающихся технологии или быта, от всего, что марксисты по привычке называют "способом производства", перейти к *способам жизнедеятельности*, памятуя о несопадении этих способов, имеющих древние корни, о неустранимости различий в ритмах, свойственных разным цивилизациям? Я убежден, что Мир, который XX век передает в наследство XXI-му, будет не тем единым Миром-человечеством, к созданию которого так или иначе стремились предшествующие столетия, а *Миром миров*: соседствующих и взаимодействующих, взаимно заинтересованных в сохранении животворящих различий. Различия станут смыслом, предметом деятельности, если угодно — решающим фактором выживания рода Homo. И это относится к нам, в Союзе, не в последнюю, а может быть, в первую очередь. Если мы хотим освободиться от "единства", насаждав-

шегося "сверху", поддерживаемого силой и уже тем самым порождающего ответное насилие, если мы стремимся уберечь себя от новых оргий братоубийства (а мы не можем не хотеть этого), то, по моему глубокому убеждению, выход состоит в том, чтобы организовать внутри, как один из миров в Мире, как добровольная, скрепленная договором совокупность стран и цивилизаций, каждая из составных частей которой будет обладать суверенностью, касающейся не только местных дел. Нет, эта суверенность должна достигать и векторов развития, отличия в этом. Это – ново. Это – не опробовано. Но как гласит название одной из наших книг, в которой и я (в качестве автора) принимал участие, – *иного не дано*.

– Такова, стало быть, альтернатива? Вам, я знаю, очень близко это понятие, в самом широком смысле. Я не ошибаюсь?

– Да, для меня альтернатива – понятие центральное. Фокус, в котором скрещиваются, оспаривая друг друга, детерминизм и выбор, запрограммированность человеческого существования и действительная, хотя и небеспредельная, свобода. В том числе особая свобода – *свобода ответственности*, без которой я не представляю свою жизнь. Вот почему я могу сказать, что к альтернативе я шел как историк и пришел к этому как человек. С этим понятием связано нравственное освобождение от того, что можно было бы назвать презумпцией всеоправданности, в тенетах которой нас десятилетиями держал сталинизированный марксизм. Как человек своего поколения, я пытаюсь понять власть Сталина над нашими душами. И если сказать об этом совсем коротко, несколькими словами, то ими будут: *умерщвление альтернативы*. Сталин – палач ее; не единственный, правда, в XX веке, но, вероятно, достигший наибольшего успеха в этом. Относится ли сказанное только ко вчерашнему дню? Нет, я полагаю, что в не меньшей степени к сегодняшнему, если не к завтрашнему. Реанимация альтернативы еще впереди.

– А как вообще жизнь в Советском Союзе повлияла на Ваше мировоззрение?

– Я мог бы ответить совсем просто: так как я никогда не пересекал границы СССР, то я не знаю иной жизни, чем жизнь здесь. Но это все-таки не вполне так. Было время моей юности, когда я ощущал Мир незримо присутствующим в нашем доме, а нас самих – людьми Мира – не меньше. "Железный занавес" – не как факт, а как осознание этого факта – пришел ко мне позже. Сначала в 1940-м году, а особенно после войны произошел кризис, надлом, взрыв первичного отождествления. Россия и Мир разошлись. И чтобы им соединиться вновь в моем сознании, потребовался пересмотр всего, что вошло в меня с начала жизни. Конечно, то, что я не знаю другого мира непосредственно – глазами, на ощупь, – мне мешает, хотя это в большой степени вос-

полняется моими молодыми и немолодыми друзьями, живущими за рубежом. Дружба с ними – будь то французы, итальянцы, американцы, англичане – очень много дала мне. Есть другой, уже не личный момент. Я думаю, что человек, который живет у нас, какой бы сложный и скорбный путь он ни прошел, обладает некоторым преимуществом. Ибо в этом огромном евразийском пространстве, именуемом СССР, сконцентрировались если не все, то почти все драматические коллизии нынешнего Мира. И если человек не равнодушен к этой трудно постижимой интегральности вселенских судеб, то он, войдя в нашу жизнь, приоткрывает себе завесу над будущим. Это будет, разумеется, не выставка последних моделей компьютеров или автомобилей. Это будет, если так можно выразиться, "показ" невозможности, стоящей перед человечеством, – той невозможности, из которой могут явиться, если не опоздают, и новые, непредуказанные возможности. И прежде всего – шанс людям избежать гибели от взаимного отторжения – опасности не меньшей, если не большей, чем ядерное оружие и экологическая разруха.

– Вас считали диссидентом. Что значит эта квалификация? Что это значит для советского интеллигента?

– В отношении себя я предпочел бы слово аутсайдер, но это в данном случае значения не имеет. Диссидент – значит инакомыслящий. С этой точки зрения можно сказать, что каждый человек – потенциальный диссидент, потому что в нормальных условиях люди думают по-разному. У нас было послеоктябрьское диссидентство, хотя его тогда так не называли. А то движение, которое так окрестили, – приобретение 1960-х, 70-х годов. Диссидент – это человек, который открыто отстаивает принцип инакомыслия как способ жизни. Диссидент – это человек, который настаивает на праве быть инакомыслящим. Диссидент – это человек, который сознательно вступил в полемику, в противостояние с тем режимом, который исключал, категорически запрещал и карал явное, убежденное разномыслие. В этом, наиболее широком смысле слова я был диссидентом. В более узком – я сопричастен к двум изданиям: к "Поискам" и к "Памяти" (не путать с нынешним обществом!). И если подвести итог этому периоду моей жизни, в котором было немало тяжелых моментов, то я могу сказать: если бы я не вступил на этот путь, я просто физически не смог бы существовать. Для меня другой возможности не было. И еще одно, пожалуй, более существенное. Я полагаю, что феномен диссидентства, явления многообразного, в человеческом отношении несводимого к чему-то одному, ждет еще изучения, ждет того, чтобы его духовный опыт сделался доступным, открытым нашему обществу, делающему сейчас первые детские шаги. Замалчивать этот опыт непростительно. Мне лично это время дало возможность сблизиться с людьми,

которых я, быть может, в иное время, оставаясь только в академической сфере, и не узнал бы. Это люди среднего возраста, как Лариса Богораз, или более молодого, как Валерий Абрамкин, Арсений Рогинский, или совсем преклонного, как покойный Евгений Александрович Гнедин. Я называю только немногих. Но сближение и знакомство с этими людьми не только осветили внутренним светом мою собственную жизнь, но и духовно раздвинули ее кругозор. Мне кажется, что близость с этими людьми и участие в коллизиях того времени позволили мне, например, лучше увидеть русский XIX век...

– У нас есть традиция кончать нашу программу музыкальным произведением. Какие произведения Вы хотели бы, чтобы наши слушатели сейчас слышали?

– Возможно, что это будет как-то ассоциироваться с тем, что я говорил о трагическом, которое присутствует в нашем, и в моем в частности, мироощущении. Я бы выбрал 8-й квартет Шостаковича и "Реквием" Шнитке.

– Спасибо.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО М. С. ГОРБАЧЕВУ

Михаил Сергеевич!

Пришел час выбора.

Для всех нас. И для Вас — в частности и в особенности. Посты, которые ныне принадлежат Вам, плюс изначальный почин перестройки — все это сегодня под сомнением и под ударом. Правда, окрестному и дальнему миру Вы по-прежнему любы, и по заслугам. Вы освободились от жупела "капиталистического окружения" и тем признали простую великую истину: мировое сообщество не фраза, а факт превыше всех остальных.

При Горбачеве нас перестали бояться. Не дай бог, чтобы при Горбачеве мы снова стали опасны Миру, втягивая его в цепную реакцию нашего домашнего самораспада... Кто бы мог подумать, Михаил Сергеевич, лет пять назад, что достижимо распутать узел, именуемый Намибия, и что "намибийскую формулу" станут примерять сегодня к Камбодже, а завтра, не исключено, и к той Палестине, что между Израилем и Иорданией. А к Нагорному Карабаху сие не подходит? Обойдемся без плебисцита, без выборов под контролем ООН, без любого "вмешательства извне"? Так ведь то, что извне, не жаждущий нашего погубления стозевный империализм, а несхожие государства, несхожие народы и люди (люди!), которые учатся жить в небезопасном Мире. Тяжко учатся, но учатся. Горько признать: мы в двоечниках.

Пока? Можно бы сказать и так — в надежде на пересдачу экзамена. Можно бы, если бы не новые жертвы и смута в державе, способной многократно уничтожить планету, но беспомощной внутри — перед лицом разбоя, питаемого "законом" крови и атавизмами этноса. Можно бы, если б за два года после Сумгаита мы сделали хоть сколько-нибудь существенный шаг вперед в переустройстве Союза, в освобождении себя от сталинской унификации, от сталинского выравнивания смертью. **Существенного шага не сподобились сделать. А почему?**

Не притязая в этом лихорадочном послании на разбор всех причин. Знаю: тут замешаны не только годы и десятилетия, но и века. Есть на что и на кого списать. Беда только — времени в обрез. Счет сейчас идет на дни, в лучшем случае — на недели.

Упущено время. И тут в виновниках не предки, а мы. Мы и Вы. На память приходит то заседание Президиума Верховного Совета СССР, на котором, не обременяя себя дисциплиной выслушивания, Вы вламывались в речи армянских интеллигентов, интеллигентов-миротворцев, допрашивая их: а кого Вы представляете? Мне было стыдно за Вас, Михаил Сергеевич. Будь я там, я спросил бы: а кого представляете Вы? Себя? Безликое Политбюро, в чьем владении человеческие судьбы? И как согласуется первое со вторым? Удобно думать, что в отношениях с

партией аппарата у Вас связаны руки, и реакцией на эту изнуряющую связанность являются множащиеся выпады Ваши против тех, кому, похоже, Вы тайно сочувствуете и с кем Вы, по существу, солидарны... А если не вполне так, если все чаще и все больше не так? Если это вырывающееся наружу "горбачевское" раздражение не тактика, а нечто вовсе иное, рождаемое неприятием тех, кто лучше или хуже, сознательно или неявно воплощает проблемы, к решению которых мы и Вы не готовы?

Все люди – пленники своей биографии. Либо смирившиеся с этим пленом, либо пытающиеся высвободиться из него. Разница важная, вероятно, важнее нет... Вот уже без малого сорок дней, как расстались мы с человеком, который мыслью и поступком все дальше и дальше уходил из этого извечного человеческого плена. Не политик, скажете, быть может, Вы. В классическом смысле – нет. Но классический смысл уже на исходе, если не вовсе исчерпал себя...

Я сильнось понять: зачем Вы ездили в Литву? На что рассчитывали? На то, что Ваш авторитет перевесит волю литовцев к безоговорочному суверенитету, к независимости в образе **народа-государства**? Полагали вдобавок, что своей поездкой сумеете утихомирить разбушевавшихся членов ЦК? Либо рассчитывали все же услышать людей, понять их, двинуться им навстречу? Или, наконец, хотели совместить одно, другое и третье? Но ведь не совмещается – да и как совместить! – реальное с мнимым? Кругом зазоры – от отсрочек, от двусмысленностей. Но это все-таки лишь верхушка айсберга. А толща его, а подводное днище – выбор. Выбор, простирающийся от Каунаса до Тихого океана и от Вологды до Ленкорани.

Выбор, предмет которого – добровольное сожительство неотвратимо разных.

Была ли добрая воля главным действующим лицом в Вашей встрече с Литвой? Сужу по телерепортажам. Восхищался открытостью, которой были отмечены разговоры на улицах, учтивостью, с какой литовские интеллигенты, литовские коммунисты спорили с Вами. Та женщина, потрясая нас рассказом о муках юношей, о жертвах растления, глубоко проникнувшего в казармы, могла ведь не просить Вас о заступничестве, а предъявить жесткий счет, счет лично Вам как Председателю Совета Обороны. Она же не сделала этого – и не из дипломатических соображений, отнюдь. Ее голос, ее глаза выразили то, что копилось годами и сумело стать явью, распрямляя человеческие души благодаря всеобщему порыву к очищению, к обновлению, в истоках которого были некогда и Вы.

Имя этому феномену – **ненасильственное гражданское сопротивление**, с каким нелегко ужиться, но без которого мы не сумеем обновить жизнь. Заявленное Прибалтийскими странами, легализованное коммунистической и неформальной Литвой,

разве оно только тамошнее, обособленное и "сепаратистское"? Что и говорить, с ним нелегко ужиться. Но не будь его, где были бы сейчас? И не оттого ли, что не сподобились ввести его, это неподатливое сопротивление, в главное перестроечное русло, застряла, забуксовала и ВСЯ перестройка?

Ловлю себя на противоречии. Не сам ли звал, и не раз, к гражданскому согласию? Звал и зову. Но с каждым днем все сильнее убеждаюсь: не антиподы, не враги они друг другу – насильственное сопротивление и согласие всех, кто ищет общий путь, не поступаясь при этом убеждениями и верой.

Не антиподы, не враги, а оппоненты – строители Дома.

Выстроить ли его, оставляя нетронутым фундамент? А как переделать его, чтобы не обвалились леса, хороня под собой строящих? Никто в Мире не вычертит чертеж: *для нас без нас*. Как ни крути, мы на планете особняком. Мы – маргиналы Мира. Гордиться этим? Страдать от этого? Прежде всего – постигнуть эту жестокую истину умом и душой. И не когда-нибудь, а сейчас.

Литва – урок. Нам и Вам, Михаил Сергеевич. Вам в частности и Вам в особенности. Ибо даже то верное и перспективное, что содержалось в произнесенных Вами за эту поездку речах, не сработало на сближение, на партнерство. Вы говорили, что право выхода из Союза должно подкрепляться механизмом его осуществления. Но почему сказанное на эту тему отдавало едва скрытой угрозой; правда, грозили Вы не танками, всего лишь тяготами выкупа независимости, но и это – зачем?.. Я не о тактике, не о выигрыше времени и даже не об оглядке назад, на Россию, говорящую ныне самыми разными языками, из каких едва ли не громче всех державный. Понятно, что от этого не укроешься за вчерашние призывы к "дружбе народов". Но если не к этому звать, то к чему – сегодня?

Я не берусь читать в Вашей душе. Однако есть в происходящем та человеческая суть, которая перекрывает любые расчеты. Можно сказать литовцам (и тем, кто рвется в подражатели): **мы не хотим вас отпускать**. А можно и иначе: **мы хотим жить вместе с вами**. За первым подходом – геополитика, с которой опять же как не считаться (границы, коммуникации, базы)?! А за вторым? На пальцах не покажешь... В самом деле – нашей гигантской стране стран можно прожить и без Прибалтики. Хватит и богатств, которые в недрах, и рук, и умов. Боязно же упустить хрупкое, почти неуловимое – фермент разнообразия. Тронешь набор ферментов этих, утратишь один, другой – и весь организм зачах.

Конечно, вроде бы заумь, а тут со всех сторон подпирает неотложное, требуя простых, однозначных решений. Но вот вопрос: придут ли простые, приведут ли к стойкому результату, ежели пожертвуем хрупким, отложим "на завтра" неуловимое?

В Литве (и перед Литвой) Вы пытались запречь телегу впе-

реди лошади: сожительство народов и стран, сведенных историей в Советский Союз, подчинить "единству КПСС". Не в том дело даже, что единство это – сумма иллюзий (кто сегодня этого не видит?), а в том, я думаю, что, судорожно цепляясь за нее, мы отстали от единоутробных, но уходящих ныне от себя – вчерашних, уже отстали от превращений, охвативших добрую часть Восточной Европы. Держава мы по-прежнему, держава, хотя, вероятно (и к счастью), уже не "сверх". А вот государство ли? Государство – значит не все, из чего складывается бытие человека, народа. Лишь часть. Иначе нет ни государства, ни гражданского общества. И третьему нет места – нации.

За этой политической геометрией столетия новоевропейского развития. Те столетия – и пять последних лет с их драматическими уроками упущенных нами возможностей. Возможностей приступить к солидарному созиданию новой союзной надстройки над суверенными народами-государствами: органическими частями мирового сообщества с пропиской в общем доме Евразия.

...Пишу и прерываюсь, чтобы выслушать с содроганием очередную сводку с Закавказского фронта. До слов ли тут, когда полыхает война? Все жду, когда же наконец увижу Вас на телеэкране, услышу Ваш голос: "Как глава государства я беру на себя личную ответственность за все (все!) человеческие жизни, за все упущенное и за все предстоящее".

Не в одиночку, но и не перелагая ответственности ни на кого другого! Вот он, час выбора, Михаил Сергеевич. Еще не поздно. И пусть не стягивают с большака в сугроб бесы, нашептывающие нам и Вам: "вездесущая мафия", "профессорский заговор"... В беду втянуты **народы**. Само собой, не до последнего человека, так никогда нигде и не было, но – народы. Они и в свежих могилах, и в "боевиках". Без крова, без воды, но с "калашниковым".

Речь сегодня о народной беде и о народной вине. И еще, позади и впереди – выбор. Выбор места жизни и выбор самой жизни. На одном полюсе – ненасильственное сопротивление, на ином – убийство без предела. Протягивая руку первому, мы еще в силах пробудить энергию спасения от умопомешательства, которым вскармливается разбой.

Сегодня не между демократией и "железной рукой" выбор (одной еще только зреть, другой заведомо не дано решать задачи нового, высшего класса). Действительный выбор – в сопряжении полюсов. Суверенность **и там и здесь**. Суверенность народов, избирающих свой путь, и суверенность искомого **МИРА В МИРЕ**, которому должен быть чужд страх перед решениями, не имеющими подобия ни в прошлом, ни в настоящем.

Вот он, час Нашего выбора. Уже не день, а час.

Готовы ли Вы к нему, Михаил Сергеевич?

17 января 1990

**ПЕРЕСТУПАЯ
ПОРОГ
ИСТОРИИ**

Начну с одного парадокса, который вовсе не парадокс, а такая сторона нашей жизни, которую мы недостаточно понимаем. Мы продолжаем жить в мире, которого уже нет. Мы живем по его стандартам, говорим его языком, а его уже нет, — он другой. Мы говорим на языке истории о том, что уже не есть история.

Давайте сразу оградим себя от всхлипов о ”ядерном апокалипсисе”. Не потому, что такой угрозы нет, — она реальна, — а потому, что дурно понятая угроза никого ни от чего не предостерегает. Оглянемся назад: человеческое существование всегда, сколько нам известно, было ”гибельно”. И не только в смысле философемы: люди рождались, страдали и умирали... Все типы изобретенных людьми структур жизнедеятельности суть варианты обращения с гибелью. Речь идет о трех эрах, неравновеликих по времени, фундаментальных полосах жизни рода человеческого.

Первая из них — время, когда над существом человека безраздельно господствовали циклические законы эволюции и нормальной существования была обыкновенная гибель. Погибали цивилизации, смывались с карты государства — иногда в полном составе жителей. Шла вселенская выбраковка; это ей мы обязаны тем, что сегодня из песков извлекаем культуры, о которых не ведали.

Вторая полоса короче по времени, но куда подробней, — это история. В пределах истории развитие носит уже непрерывный характер — история не знает абсолютных, абсурдных разрывов. Само понятие ”невосполнимой потери”, если вдуматься, — чисто историческое понятие. Оно предполагает тоску по прошлому, отношение к канувшему в Лету ”чужому”, как к своему. Ничего подобного прежде не было. Никто в Ассирии не тосковал по Шумеру; и весьма осведомленные египетские жрецы совершенно безучастно поведали грекам про гибель Атлантиды — а вот Платона ее судьба глубоко взволновала!

Вторая полоса не менее кровавое дело, чем первая, кровь льется рекой; в столетние и тридцатилетние войны народы вырождались морально и физически; чума выкашивает пол-Европы — и все-таки на протяжении истории мы имеем дело примерно с одним и тем же составом этносов, наций, государств. Меняются общественные системы, идет экспансия прогресса на

все пространство Земли — процесс невероятно кровавый, но жертвы процесса, хотя это и малоутешительно для них самих и для нас, не исчезают в ничто — их память становится достоянием прошлого и, следовательно, всеобщим достоянием, проблемой духа.

История — тоже гибель, но гибель избирательная! Историю всю наполняет борьба за **ограничение гибели**. Эта борьба тоже оплачивается смертями. Гибель уходит в подтекст, отражаясь опосредованно в других механизмах, — столкновениях партий, классов, религий, то прорываясь наружу, то уходя вглубь, в культуру, где смерть вообще главная, хотя и не в биологическом, а в нравственном смысле проблема: цены, которой окупается развитие. Такая цена тем более мучительна для культуры, что культура тоже работает на прогресс. Муки совести одиночек, включаясь в цикл избирательной гибели и расширяя, обновляя ее инструментарий, вдруг оборачиваются физическими муками для тысяч и тысяч. Культура требует принять смерть как условие человеческого развития, настаивая на обновлении человека в сроки, которые никакая эволюция ни обеспечить, ни знать не могла, которые для нее вообще не сроки. Историческое время не совпадает с часами! Цикл все короче. Обновление все непременней. Всякий раз требуются "новые силы", а что это означает для уже задействованных? Вытеснение живых людей из жизни! И тут же, рядом — борьба за сохранение того, что есть, за продление индивидуальной жизни, вызволение личности...

Однако в середине двадцатого века обозначился некий предел возможности исторического развития, движения на основе избирательной гибели. Оказывается, у истории был гигантской важности ресурс, ныне исчерпанный: **пространство**. История — это развитие, которое "бродит" по планете, втягивая в свою орбиту народ за народом. Развитие, прерванное в одном месте, тут же перегруппируется и атакует в другом: это великое зрелище, которое мы именуем "историей", и является источником "слепого оптимизма" идеологов прошлого... На деле же то был стоический и трезвый взгляд на вещи: пока у прогресса оставалось пространство экспансии, у человечества было время для решения любой — так верили люди — проблемы. Великие учителя прошлого жили внутри истории и говорили на ее языке...

Но пространства для развития больше нет. Земля заселена, и все включены в общую цепь развития — одни как "развитые", другие в качестве "развивающихся". Разница в уровнях развития велика, но ресурс развития в пространстве исчерпан. С одной стороны, все близкий — рукой подать! С другой — отдаляются самые близкие. У вас могут быть гигантские территории с ничтожной плотностью населения, однако, судьба рода решается именно в тех местах (неприметно повсюду), где человек кожей чувству-

ет: человечество на него напирает, "чужие" — тут, рядом с ним, тесня его, делая жизнь мучительной и невозможной. Все мы стали ближе и всем тесно — внутри семьи, в общинах, в народах.

Ядерный Мир — Мир невыносимо единый. Он внутри себя изживает историческую идею непрерывности, идею единого человечества — во всех прежних смыслах и до конца. В этом дело, а не в одних вооружениях! Ни физики, ни военные не имеют более решающего голоса — здесь философская, антропологическая проблема, подобная тому, что случилось с человеком в темном начале его существования. С моей точки зрения, у нас нет удовлетворительного объяснения, зачем первобытный человек расселился по всей территории планеты. Что его, слабого, гнало через жуткие горные преграды, абсолютно чуждые ландшафты? Не цель же — освоить Землю! И вот мы на последнем витке, возможно, вернулись к той, начальной ситуации: всем тесно! Просыпается в людях небывалая жажда выбора. И технологии нам, как будто, обещают совершенно новую, **реализуемую возможность индивидуального выбора**. Возможность реализуемая, но мы-то к ней не готовы. На самом пороге альтернативного будущего — взаимная непереносимость, от которой всего шаг до коллективного самоубийства.

Нормой "третьего" состояния снова становится гибель, она возвращается. Она выступает как нечто заменяющее собою цель — тем, что обесмысливает цели. Размышляя о Пол Поте, о триполийском кризисе, необходимо отдать себе отчет в том, что речь идет не о политической, тем более не о военно-политической ситуации, а о проблемах, которые **не могли стоять в пределах истории!** Они стихийно возникали в начале эволюции, длившемся миллионы лет, и были опосредованы, задвинуты историей. В этом громадная заслуга истории, обуздавшей гибель и подчинившей ее себе, заставив работать на дух. Но история заканчивается, и проступает ее первичный остов — жизнь, смерть, убийство. И все наши сверхтонкие технологии не находят подхода к этим грубым вещам, а террор и политика, наоборот, его "подыскали" — и убийство, превращенное в универсальный инструмент, уже кочует планетой, как прежде кочевал прогресс.

... Повсюду, какую проблему ни тронь, — предел. Вот общеизвестен и даже признан строгими умами сценарий "ядерной зимы", согласно которому локализовать последствия ядерного конфликта невозможно. Что это означает, если перевести с языка экспертов на человеческий язык?

Что владельцы ядерного оружия **более не вооружены!** Все эти груды военных технологий перестали быть оружием в собственном смысле слова. Они не только не применимы сегодня, завтра — они **не применимы** в роли оружия, хотя размещены и наведены на цель. Да, это техника гибели, но не оружие — как не был оружием тот "фактор икс", от которого вымерли динозав-

ры. Ядерное оружие — фактор тотальной выбраковки, но не инструмент преобладания над врагом. Ужас в том, что орудием выбраковки владеют люди, мыслящие на языке истории, языке гибели избирательной: "враг", "война", "победа", "контроль над ситуацией"; люди, продолжающие подсчитывать условия сохранения паритета, которого более нет в помине. Вот почему любой региональный конфликт отягощен **предкатастрофой**, способной детонировать Мир. И тут обнаруживается, что этот вот, сверхплотный и лишенный всякой безопасности ядерный мир не поддается демонтажу самоочевидным вроде бы и неперменным путем — всеобщего полного взоружения.

Мы живем в ядерном Мире уже четыре десятилетия. Выросло несколько поколений, которые не знают другого Мира, чем этот. Они не только привыкли к жизни в условиях "равновесия страха" — они с ней срослись. Помести человека на много лет в душную комнату, а потом вдруг открой окно — он заболит, возможно, умрет. Люди находятся в непереносимой зависимости от ядерных средств. Но, оказывается, еще страшнее им остаться без этих средств. Следовательно, нельзя сперва разоружиться, а потом замещать образовавшийся вакуум! Убирая арсеналы быстро, решительно, не пугаясь "односторонних мер", необходимо одновременно с этим столь же решительно возводить фундамент другого мира, архитектуру жизнотворящих различий. И тут вызов политике: сумеет ли она синхронизировать ядерный демонтаж и выбор новых оснований жизни?

Помнится, после войны приобрела популярность идея "всемирного правительства". И разделяли ее мудрые наивные люди — Эйнштейн, Рассел, Бор. Идея не кажется мне реалистичной, и я бы позволил себе дерзость в отношении столь великих ее соавторов: это страшная идея. Подчинить людей контролю, наблюдениям, согласованиям всеземного правительства, дать ему распоряжаться всеми цивилизациями, всеми культурами, судьбами всех народов с их прошлым — это же чудовищно! И я подозреваю, что СОИ — дальний отпрыск той идеи, перевод ее на компьютерно-технологический язык, сохраняющий голую суть. Представьте колпак над всей планетой, этакое сплошное информационное поле. Возникла где-то, у кого-то ситуация, не устраивающая мирового правителя, — а по сути, экспертов, приставленных к компьютерам, и в это место направляется смертоносный лазерный пучок. Снова ситуация вышла из-под контроля — и туда удар; а вы понимаете, если у вас под контролем все и вся, то ситуация только и делает, что "выходит из-под контроля"!

Возьмем другую сторону дела. Ядерный Мир — это человечество, зависящее от "человека у кнопки", то есть от двух — пяти лидеров. Можно ли эту ситуацию воспринимать как естественную? Нет. А другая ситуация мыслима? Тоже нет! Поколения, выросшие в эти сорок лет, привыкли к тому, что их судьба

находится в руках "человека у кнопки", и, следовательно, будущее их зависит от того, кто этот человек, что он собой представляет, какова его манера говорить, черты его характера... Эта привычка реальна, и она тоже своего рода гарантия устойчивости нашего Мира; упразднить ее вдруг нельзя.

... Когда-то Макьявелли написал "Государя" — знаменитый манифест национального суверенитета. Речь там как будто шла о князе, но вся тенденция трактата направлена была к гражданскому обществу и через ряд этапов к политической демократии европейского типа. Думаю, современный Макьявелли мог бы написать книгу "Лидер". Фигура лидера приобретает сегодня беспрецедентное значение. Многое зависит от того, в какой степени он подотчетен обществу, — и в какой независим, способен выслушать других, не поддаваясь натиску частных интересов. Обладает ли он твердостью характера, риском доверия, мужеством идти на уступки. Человечен ли он, наконец.

Это не единственный вопрос на пороге неядерного Мира, но здесь, думается, его фокусная точка. В свете ее вопрос о политической доверии — это вопрос о взаимоотношениях лидера и верящих ему людей. Мы требуем от лидера риска доверия, но и сами рискуем заблудиться. Мы рассчитываем на подконтрольность "человека у кнопки", но как придет она к нему и к нам? Только как открытость лидера, его внутренняя свобода, способность получать импульсы из несовпадающих сфер жизни, от думающих и ведущих себя по-разному, суверенных людей. Лидер — не просто политик: он обязан уметь и **не быть** политиком, взнуздывать злобу дня, открывая ход иным голосам и мотивам. Мир внеполитических связей между людьми, выступая оппонентом политике может выработать новую мыслительную культуру, новую естественность человеческих контактов, выработать альтернативы привычному существованию. И лидер призван импонировать всему этому разнообразию, придавая простому человеческому голосу, человеческой точке зрения мировой статус.

Ведь "импонирование" — не заискивание, не демагогия. Это колоссальной важности труд, способный разряжать несовместимость людей в ядерном Мире. И в этом смысле импонирование означает для лидера, для общества, для народа — искусство **не пугать собой**. И здесь уже мы прямо вторгаемся внутрь сегодняшней злобы дня, в центр проблем страны, которая учится, которая осваивает это искусство.

Современный проблемный этап перестройки предполагает осознание трех условий.

Первое условие очевидно: процесс демократизации должен опережать экономическую модернизацию и этим опережением создавать духовную и политическую основу преодоления тех гигантских трудностей, тех социальных напряжений, которые непременно возникнут, как только экономическая реформа вой-

дет в тело страны, в ее обиход. Это ощущается на всех уровнях, вплоть до высших, но узнавание этого еще предстоит материализовать — в массовом, низовом творчестве и "изобретении" новых политических институтов, — одновременно и непривычных и как-то сопряженных с традициями, с нравами и даже привычками миллионов соотечественников. Я бы заострил постановку вопроса до предела, ибо с прошлым не шутят, с взрывчаткой, заложенной в укладе миллионов, играть нельзя! Есть обстоятельства, например, прямо запрещающие нам идти путем, на который зовут нас искренние, честные "рыночники". Мы не можем начать с того, *чем и как* создавалось европейское человечество. Мы не должны выкинуть за борт все, что выстрадали поколения за поколениями, но и остаться только с этим не можем. И нам предстоит решать проблему, которую прежде никто не решал: как совместить наследие веков с нашим поздним опытом, также выстраданным. Суть (и загадка) этого искомого сопряжения: без неестественности человеческого труда, без производительного неравенства, именуемых "рынком", не прийти (естественно!) к полузабытому коллективизму, к солидарному бытию, но уже не в бараках, не в коммуналках, не на "субботниках"...

Второе условие — это преодоление нивелировки. Это выход к новому разнообразию при новых возможностях, которые создает современная технология и цивилизация в целом, и при новых требованиях экологического и иного свойства, какие она же предъявляет. Тут нужно обуздать плоть политики, управления, администрации, даже повседневных привычек — это вот стремление все решать по одному-единственному образцу, все устраивать на один манер. До сих пор у нас все, в том числе люди радикальные, люди мыслящие, ищут одно-единственное решение для всех в стране! А задача состоит в том, чтобы найти модель интегрального развития, которая была бы ориентирована на **различия**, на разные подходы, на местные условия, несовпадающие традиции и обстоятельства, различия цивилизаций, не говоря уж о климатах, ресурсах, местных отношениях к труду, к собственности. Это нервный узел всех проблем нашей фазы, фазы поисков способов интеграции, ориентированной на предельную самостоятельность, но не выборочных, изолированных единиц, а крупных, интегрированных регионов, обретающих (навсегда!) богатую самостоятельную жизнь в собственных пределах.

Второе условие носит кардинальный, синтетический характер, и в нем национальный вопрос играет ту же роль, в том же центральном значении, какое занимал он в сознании и программе уходящего Ленина. Разнообразие становится предметом творчества, политики и труда, жестким условием реальности всех преобразований. Оно снижает уровень напряженности и социальных утрат, потому что обладает компенсирующими ресурса-

ми. И оно творит цивилизацию Большой Европы – прямой переход к неядерному Миру. (Что такое Большая Европа, я скажу ниже).

Наконец, третье условие. Третье условие вытекает из первого и второго: это не просто установление мирных отношений, но установление, я бы сказал, отношений союзничества в решении проблем, которые по своим истокам, по своей глубине и масштабу – “по ту сторону” несовместности капитализма и социализма (былой и нынешней). Вообще превосходят все прежние генеральные размежевания внутри человеческого общества! Мы едва приближаемся к конкретному, реальному пониманию того, что это значит. Конвергенция? Нет, идея конвергенции вызывает у меня тревогу даже в наиболее добросовестных ее версиях. Люди не могут повсюду жить на один манер! Их существование – и не только унаследованное, а еще и то, какому **быть**, – это мир различий. И потому альтернативой конвергенции представляется мне идея Большой Европы. Не в деголлевском смысле, “от Ла-Манша до Урала”, а в принципиально новом: от Атлантики до Тихого и Индийского океанов.

Тут, вероятно, непригодна аналогия с “евразийством”. Большая Европа – взаимовхождения миров севера и юга, запада и востока, мира белых и мира “цветных”. Это была бы гарантия не отмирания “старого света” в третьем тысячелетии (он должен выжить, без него не выживет мир!) – но лишь при условии, что каждая из иных составляющих сумеет жить богатой внутренней жизнью, не ассимилированной другими регионами и внутри самой себя не подверженной закоенению.

Своя органика в этом смысле нарастает и на Западе, и на Востоке. Но ее надо распознать и ввести в политику, в строй жизни. Это и значит – импонировать. Импонировать новизной и оригинальностью решения собственных проблем, смелостью альтернативных действий. Разумеется, здесь есть своя позтапность.

Вот, к примеру, процесс, проходящий у нас на глазах: “третий мир” пытается вызволить свое экономическое развитие из-под бремени внешней задолжности. Долги эти таковы, что, учитывая проценты, выплатить их невозможно, не развалив свою экономику. Есть сильное движение в пользу того, чтобы объявить все эти долги недействительными. Для западной экономики это означало бы кризис с предсказуемыми последствиями, и не просто экономический. Ситуация, сокрушительная для Запада.

А для нас? Катастрофическая сдвигка политической картины с вытекающими из этого всевозможными импровизациями, разве для нас это плюс? Разве можно надеяться выйти из этого в положение “третьего радующегося”? Очевидно, нет. Следовательно, и тут исчезает прежнее деление на “наши вопросы” и “их

вопросы". Но из этого не следует простого суммирования проблем Запада и Востока: на горизонте XXI века встают некие **третьи, общие** вопросы; у них та таинственная и вместе с тем все более жесткая связь, имя которой: **возврат в эволюцию** (конечно же, не на четвереньках...) Их, эти вопросы, надо признать, сделать предметом совместной деятельности, перевести в новые **процедуры** — выстроенные так, чтобы ответственность за их соблюдение уже никогда не делилась на "вашу" и "нашу".

Жизнь остается разной. Она и должна быть разной. Мир остается различными **мирами** — но **мирами в Мире**. Говоря совсем просто, "что делать?" у каждого собственное, свое. А вот "чего не делать" — подлежит скрупулезно оговоренной унификации, поэтапному обобществлению.

Мы, на Востоке, перестаем быть страшными для Запада. Мы — совместные — роднимся с "третьим миром". Мы — разные — обретаем новую эволюционную способность: даже неразрешимые, даже **неразрешаемые** (пока видит глаз) проблемы заслонить от крови, от убийства, от безумной игры в "сферы влияния".

Здесь есть некоторая аналогия с альтернативой, к которой тщетно и мужественно пробивались люди Тридцатых годов. Уже тогда антифашистская ориентация, при последовательном развертывании ее как стержневой, выводила на уровень, превосходящий прежние классические противостояния. Сейчас мы имеем новую протоальтернативную ситуацию. Если брать огромный двухтысячелетний период существования людей, главной идеей которого было превращение мира в единое человечество, то я рискну высказать свое нелегкое убеждение: ресурсы этого движения исчерпаны — везде, в том числе у нас дома. Здесь сегодня идет глубинный процесс внутренних расслоений, еще не развитых, не продвинутых далеко, но не боящихся себя заявить вслух и таящих в себе и крайнюю опасность, и важное зерно новой, искомой, отечественной близости, которая, быть может, не будет никогда единством в прежнем смысле. Если весь земной шар я называю Миром миров, то нас, и особенно будущих нас, я вижу миром в Мире. Не в фигуральном смысле, а буквальном, хотя и совсем новом. Опознать собственные, вся России, различия, их родословную, их естество — первый шаг. Творить **компромисс как близость** — второй; едва ли не самый неисполнимый и самый неперемный. Разнозначный спасению - и обретению той всесветной роли, о которой сказано нашими **живыми мертвыми**, будь то Герцен или Хомяков, Владимир Соловьев или Владимир Ульянов столько "истинных" и "неистинных", но кровных (и от нас неотторжимых) слов...

Мне кажется, если процесс нашей перестройки обретет свой предмет, который он только нащупывает в эти дни, он окажется где-то в главном русле общепланетарной перестройки в Мир

человеческих миров. Тогда и самый термин "перестройка" приобретет тот истинный смысл, который в нем заложен: создание другой жизни в условиях, запрещающих и исключающих катастрофу этой. Это слишком ново, слишком непривычно для нас. Это еще в подтексте, который должен стать текстом для нас.

1988

Глеб Павловский. Я хотел бы поставить Вам сразу вопрос, важный для каждого из нас в отдельности и для нас обоих, как для всех в этой стране, которая мучительно ищет сегодня свое лицо, отступая перед ликами, являющимися из ее глубины. Вопрос таков: кто мы?

Михаил Гелфтер. Вопрос, бьющий в точку наших бед и превратностей. Бурно обсуждая прошлое, мы как бы остерегаемся заглянуть далеко вперед либо отделяемся на этот счет расхожими фразами. Вроде бы будущее, каким бы оно ни было — "западническим" или вовсе иным, — сомнений не вызывает. Оно нам обеспечено. Но так ли?

Я не о ядерной развязке, не о разрушении биосферы, не о каком-либо другом планетарном катаклизме. Домашние напасти, разумеется, не отгорожены от вселенских угроз, но и не исчерпываются ими. Как назвать эту нашу тревогу? Или она угрожающе безымянна? Чувствуем ее кожей, словами, услышанными на улице либо в печатном поединке; она вламывается событиями, от каких кровь леденеет (от крови же — сумгаитской, тбилисской — и леденеет), но, даже оставаясь равнодушными, добираемся ли до сути?

В самом деле — кто мы такие? Мы как целое? Да и есть ли оно, это целое? Не призрак ли, не застывшее ли воспоминание? И мы сами — не чужие ли в собственном доме?

Уже в наименовании нашем какая-то неловкость. "Советский народ", "советские люди" — что это, национальность или верноподданство? Будучи французом, вы можете стать коммунистом, монархистом, клерикалом, оставаясь французом. Франция, абстрактно говоря, может сменить свой строй, сохраняясь Францией. А мы, поскольку советские, то обязываемся ими оставаться, невзирая ни на что? Мы, выходит, навечно приписаны к этому идеологическому этнониму?

Слышу заранее реплику в ответ: благодарите "ваш" Октябрь. Не стану сейчас оспаривать, хотя не отказываюсь от спора. Хотел бы только призвать к здравому взгляду на вещи: от себя не уйти. Некуда. Был Октябрь, были иные вехи. Был Сталин. Была и покуда есть сверхдержава — прижитое нами с ним детище. Теперь мы решились демонтировать ее. Неважно, что нужда заставила, все равно — сделан шаг вперед. Рубежный шаг. Символ его — уход из Афганистана: с последним солдатом мы вернулись к себе. Предположим лучшее — навсегда.

Г.П. Это похоже на "новый советский изоляционизм"...

М.Г. Не будем пугаться слов. Все зависит от того, какое содержание мы в них вкладываем. Если изоляционизм — это оторванность от того, чем живет и дышит, страдает и мыслит "остальной" Мир, то естественно отнестись к этому по меньшей мере критически... Но можно и иначе посмотреть на возвращение к себе. Тогда речь пойдет о другом: о другом образе Мира и соответственно — своем месте в нем.

Попробуем встать на зыбкую почву футурологии. Вглядимся в 2000-й. Два допущения: первое — мы уже не держава во вчерашнем, человекоуничтожительном смысле ("безопасность" имела ведь и такой смысл); мы разоружились, не исключено, что односторонне, исходя из реалистической гипотезы: на наше территориальное существование никто не посягает, как и на образ жизни, заново избранный для себя.

А вот и второе допущение, нелегкое, даже горестное для привычного сознания: XX век за это оставшееся время нам не догнать, на "мировой уровень" не выйти. Может, и построим квартиру для каждого, но будет ли у каждого персональный компьютер — более чем сомнительно. Проблема хлеба насущного останется не один год на "передовой".

Теперь столкнем оба допущения. Переформулируем вопрос в исходном, российском, "чаадаевском" смысле. Скажем: даже не догнавши век уходящий, мы не лишены возможности изготавиться к XXI-му, и путь к этому — стать Миром внутри себя. Местом, где "развитое" встретится с "развивающимся" — не на каком-то очередном форуме, а в бытии, внутри собственной повседневности.

А наша повседневность — заведомо не от нуля. Это несводимая ни к какому общему знаменателю разность жизненных укладов, представлений о собственности, отношений к труду, разность, образуемая природой и историей, речью и нравом. В ее корнях — столетия, тысячелетия. И наш искомый Мир внутри и древностей и абсолютно нов: нов — как добровольное сообщество цивилизаций, как их согласие-диалог...

Но надо искать. Не откладывая. Ведь разнообразие — мираж, если оно сковано и собрано в целое однообразящей властью, ее замашками, ее институциональным обиходом, ее идеологией и психологией. Что упрямее в нашем дальнем и ближнем наследве, чем это? В чем живучее сталинизм?

Г.П. Да, из нынешних наших споров как-то ушла сталинская борьба с многоцивилизационной Россией — не только с крестьянством, верой или обычаем, а с тем симбиозом российских земель, упраздненным еще до коллективизации, в ходе так называемой "административно-территориальной реформы", исходный пункт которой — 1923 год. Это была Россия земель и земств, местных учреждений, краев — и краеведческих обществ,

волостей — и волостных властей, наиболее приближенных к человеку и к его опыту. Были местные республики, были религиозно-трудовые коммуны — все это стерто с карты, как ластиком. И поразительно, что сегодня мы как бы принимаем сталинскую карту страны за основу перестройки, принимаем за данность этот унифицированно-безликий массив. Иногда мне кажется, что и современный либерал предпочитает такое стертое состояние общества, как белый ватман для своих реформ-иероглифов. Этакое бюрократическое эсперанто...

М.Г. "Бюрократическое"? Это слово не уходит с газетных полос, не сходит с языка в очередях и в избирательных декларациях. Но что означает для нас, в нашем доме, — бюрократизм: волокиту, чиновное бездушие, некомпетентность, коррупцию? Это все внешние приметы, местная разновидность мирового монстра. Наш же монстр — с особой родословной, ибо в основе его — узурпация власти над человеком, — власти, которой вообще не должно быть. Узурпация, а точнее, десувверенизация, вторгающаяся в элементарные условия человеческого сосуществования с претензией распоряжаться.

Вы назвали дату — 1923 год. Вроде бы не из самых страшных год, но если пристальней, то как не ощутить дыхание катастрофы? В самый канун 1923-го утверждается Союз ССР. Триумф, позади которого острые схватки. Сталинский план (окраинные республики входят в РСФСР) отвергнут, верх взяла ленинская идея объединения на равных началах. Ленина на съезде нет, он в лапах смертельной болезни, но еще не ушла речь.

Последняя программная диктовка — национальный вопрос. Начал диктовать 30-го, кончил 31 декабря. Там, на учредительном съезде, — восторги, тут — апокалипсис. "При таких условиях очень естественно, что "свобода выхода из союза", которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкою..." Не говорил ли прежде сам: самоопределение наций без права на отделение — фикция? И вот уже само это право видится ему самообманом, который в руках обманщика способен превратить в ничто интернационализм, задержать и изуродовать "завтрашний день во всемирной истории". Что же вместо? Назад к самоопределению без отделения, но только к непритворному самоопределению, охраняемому законом, культурой, развитием человека в массе? Либо и этого мало, нужно большее, еще не опробованное?

На расстоянии десятилетий проступает столкновение принципов. Первый: "мы" (правлящий коммунистический центр) отдаем частицу врученной нам революцией власти разновеликим составляющим новой Евразии. Второй: "мы", разновеликие равноправные, по взаимному, фиксируемому договором согласию уступаем центру то из своего (непререкаемого!) суверенитета, что обеспечивает общие интересы, гарантирует целостность и согласие.

Одно и другое "мы" – совместны ли?

Сегодня приходится признать: нет. Это даже не историк утверждает, не наш современник – это свидетельствует Сталин. Это он доказал несовместимость. Это он "довершил" предсмертный ленинский замысел уничтожением его... Преступник у власти все-таки случайность (хотя и из тех, что прудом рассмотрены историей). Преступная же власть возвращает с неупрежденностью к истокам, обязывая заново взвесить альтернативу, столь страшной ценой проясненную.

Сейчас мы переживаем, судя по всему, последнюю фазу агонии сталинского массива, сталинской однозначности судеб – людей и народов. Руины прошлого также входят в наследство, и не только явные руины, но и запрятанные в человеке, рвущиеся страшными толчками наружу. Руины трех России: старой русской многоземельной; рухнувшей имперской; и недостроившейся, недостройкой погубленной, многоукладной "нэповской России". Руины – они же проблема. Во что мы, нынешние, собираемся перестроить свой дом – Евразию?

Г.П. Но сегодня, когда до следующего тысячелетия осталось меньше поколения сроку, простая географическая карта обещает нам совершенно иной Мир – и иных соседей, чем прежде. Европа завершает последние приготовления к интеграции 1992 года, так возникает новая реальность, экономически труднопроницаемая для нас и для наших восточноевропейских союзников. Вулканический полумесяц мусульманского мира сулит одни неприятности. Турция – наш новый кредитор, а там дальше встают еще два гиганта, две страны-региона – Индия и Китай; на Востоке же Япония! Когда Герман Кан в 1970-м назвал книгу "Япония – новая сверхдержава", это воспринималось как рекламный парадокс. Сегодня – геополитическая банальность.

М.Г. Мы говорим о "мировом уровне", "мировом стандарте", но что это значит? Я понимаю это так: мировое (сегодня!) – это то, что нужно конкретным людям – у нас в России, в Америке или в Китае, в любом месте, причиняя при этом наименьший ущерб ныне живущим и особенно их потомкам. Этого не достичь никому в одиночку! Это проблема этнокультурного оптимума: вектора взаимообусловленных и совместно творимых различий. Не подражания, а особой идентификации себя в Мире...

Задумаемся, почему потерпевшие поражение в 1945 году действуют в этом отношении успешнее других? Япония – пример того, как страна входит, если уже не вошла, в следующий век. Италия, сорок лет не вылезавшая из нестабильности, с отсталым Югом, занимает ныне одно из первых мест в Европе. А ФРГ? Гитлер почти унифицировал Германию, сломав все обычаи, права и барьеры земель. Сегодня же эти городские и земельные различия – один из главных источников богатства и жизнеспособности разделенной страны. А мы, победители, застряли в той

войне, в ее стереотипах, в ее комплексах и страхах. Освободиться от них нелегко, и не только людям моего возраста. Ибо есть властная связь между цеплянием за прошлое и легкомысленным отбрасыванием его. Что говорить, наследие наше — мучительно трудное, но и необходимое человеку, как дыхание. Вы правы — нас все теснее окружает будущее, и разные лики его содержат призыв: обрести свое Завтра, открытое собственным различиям, и в меру этого гибко и нестесненно сопрягаемое с будущим наших соседей по глобусу.

И наша Евразия — это не просто географическая данность и даже не просто факт российской истории: тут не миновать и мирового контекста. В заложниках этого "факта" и этого "контекста" в конечном счете — мы все. Стало быть, и проблема оборачивается другой стороной: как выйти из заложничества, из плена?

В рамках истории — или даже эти рамки окажутся тесными? Смее предположить, что и Ленин на рубеже ухода из жизни неявно рвался из этого плена, тщетно бился о заданные прошлым рамки. Как будто частность — предлагал наименоваться "Союзом советских республик Европы и Азии". Помышляя о расширении? Едва ли. Скорее, это попытка миновать тот идеологический этноним, с которого мы начали разговор. Скорее — первообраз мира в Мире: идея, еще не имеющая плоти.

Опоздал ли Ленин? Не успел дотянуть "грузинское дело" до общероссийского, увязавши нэп с Евразией? Это кажется очевидным. Но непраздный вопрос: не скрывается ли в этом опоздании нечто эвристическое, прежде-временное, к чему еще надо было идти и прийти, как и к "нэповской России"? А на пути — заслоны. Не только позавчерашние и вчерашние, но и сегодняшние. И не только ведомственные шлагбаумы, но и духовные.

Ведь даже радикально мыслящие люди, как сговорившись, ищут по сей день одно-единственное решение для всех отечественных широт и долгот. Если не сплошная кукуруза, то всеобщий арендный подряд. Если не "коммунистическое" выравнивание бедностью, то "долгой альтруизм!". То, что не можем без очередного "изма", еще полбеда. Главная же беда — спотыкаемся на интеграции различий. Вот где нервный узел всех проблем и всех опасностей!

Г.Л. Но у кого же нам и учиться интеграции, как не у Европы? Россия возникла на Востоке христианского мира с двояким обликом: страны, непричастной Западу — и не могущей отвлечься от него, вечно обращенной к Западу своими идеалами, мечтами, страхами. С тех пор донныне, ощущая себя Европой, мы оспариваем все европейское. Правда, сегодня мы спорим с Западом все неуверенней...

М.Г. А о чем спор? О чем спорили те, от кого "мы"? Думаю, что спор вращался вокруг человечества: быть ему или не быть?

Именно — человечества, какое, по первичной догадке и по самой сути своей, — единственное. Оно — все и все. И тогда ничего другого нет; в него равно входят *и мертвые и живые*. Христианский Мир таким был “задуман”, и мировая история в собственном смысле не что иное, как ряд попыток реализовать человечество. Несколько огрубляя, можно бы сказать, что сформировался европейский проект человечества, а вне и внутри его — российский. Мы говорим, естественно, о духе, об образах и идеях, но ведь не на пустом месте они. Как не вернуться здесь от проектов к самим Европе и России?

Они — откуда? Допустимо ли представить их порознь? Каждая определила собой другую. Россия, ставши целым, отграничила Европу, но и та, в свою очередь, Россией очертила Азию. Возникновение России — составная часть возникающего Мира. Одновременность — непосредственная связь того и другого!

Не пора ли освободиться от предрассудка, что Россия — это “просто” развернутая во времени и пространстве Русь удельных княжеств, где Москве провидение уготовило роль объединителя? Историк заведомо не упустит сказать о монгольском нашествии как о препятствии, подлежащем устранению. А между тем (позволю себе категоричность в гипотезе) без этого величайшего “выброса” Азии в Мир, без самоотката и самораспада Чингисовой державы, без оставленного ею в наследство **пространства экспансии** не было бы и России...

Любой народ, любая страна — заложники своих начал. Мы же — не страна. Мы — **страна стран**. Мы — наследники сугубо разных начал. Мы — кентавр отроду, встроенный напрямую в мировой процесс. Отсюда наша особая зависимость от судьбы тех проектов, суммарное название которых — “человечество”: единственное единство. Но эти проекты, столь много давшие людям, на наших глазах пришли к исчерпанию, к тому завершающему итогу, где жертвы, уже понесенные и угадываемые впереди, перевесили добытое во благо; и нет иного выхода из угрозы вселенского взаимного отторжения, чем стать (и остаться!) Миром миров, каждый из которых — суверенная проекция возврата человека из истории в эволюцию. Мы в России, затем в СССР были долгое время полигоном, на котором вновь и вновь испытывались на разрыв “чужие” и свои проекты человечества. Что же дальше?

Переначать себя в качестве иного полигона? Либо — прочь вообще всякие полигоны. Скромнее и ответственной: определить, узаконить свое действительное призвание — *“всего лишь” одного из многих миров в Мире?!*

Всего лишь один из... — может ли быть цель человечнее и практичней, неопробованней и достойнее? Кровь прошлая и кровь последнего года зовут нас: не медлите!!

Г.Л. Такая цель отличается благородной скромностью и,

вероятно, более всего по душе нашим соседям. Но, признаться, я не готов согласиться с таким будущим. И подозреваю, с ним вообще трудно примириться человеку русской культуры.

М.Г. Я мог бы в оправдание сказать: не сразу пришли ко мне эти задевшие вас слова, кое-чем за них в жизни моей заплачено... Однако рассказ о себе — не доказательство. Но вот вам другое, более внятное: Тбилиси, 9 апреля 1989 года. Четвертая годовщина перестройки — и загубленные жизни, кровь безвинных. Я спрашиваю себя: что на наших сегодняшних весах весит больше — избирательный бюллетень или саперная лопатка, вдохновляющие результаты выборов, которыми перечеркнулись сугубо разные прогнозы и расчеты, или провокация силы (иначе назвать тбилисскую ночь было бы непростительной ложью)? Не сомневаюсь: виновные будут названы, все до единого, и также — все до единого — наказаны. А народные депутаты уже подали пример поведения, отвечающего их званию и мандату. Однако — достаточно ли протеста и кары? Нужен следующий шаг: всеобщее обязательство не допустить повторения. Всеобщее, иначе повторений не избежать. Выводящее нас за пределы привычного, касается ли это Слова либо буквы Закона, нравственного долга наравне с конституционным устройством!

Мы очень избирательны в отношении к тому, что было. Вчера — "славься"; сегодня — анафема. Соблазнительней избличать призраки, чем обнаружить их неуходящую власть над собой. Вроде бы не лицемер увещевает ссорящиеся этносы: будьте терпимей! А знает ли сам, знаем ли мы все, как жить вместе? **Врозь и вместе!** Ибо без нового врозь — не будет и нового вместе, либо хозяином этого "вместе" окажется снова внутренний оккупант.

Воздавая должное усердию тех, кто, изучив подоплеку наших межнациональных отношений, прогнозирует их "горячие точки", я позволю себе усомниться в самой возможности предотвратить катастрофы локальными решениями. Путь к согласию — в открытости чувств и мыслей. Без доморощенного кулака и без "правоохранительной" дубинки!.. К должному и возможному идти от крайнего: а может, нам и в самом деле разойтись подобру-поздорову? Если же нет, если поперек этого взаимная выгода и Мир, легко детонируемый атомом и бунтом, то не избежать того, чтобы самоопределиться заново в качестве целого. Чтобы каждый народ, неограниченный хозяин своего дома и своей земли, условился с другими хозяевами о новом модусе сожительства, новом интеграционном "механизме".

В этой точке (убежден) сходятся все нынешние наши экономические, социальные, культурные напасти и проблемы. Либо мы станем творимой проекцией мирового сообщества, либо все, несть им числа, врозь взятые хозрасчетные единицы, кооперативы и индивидуалы, культурные сообщества и неформальные

почины, обречены на бесплодное, изнурительное оспаривание "сильного центра", а тот, в свою очередь, приговорен к нарастающему бессилию от собственной силы... Отчего погибли динозавры? Есть много гипотез. Я думаю, оттого, что они были динозаврами.

Начало начал — **Хартия согласия**. Она нужна и малым, и великим. В том числе, и даже прежде всего, русским, и именно потому нужнее, что трудней достанется, потребовав преодоления самих себя. В качестве русских? Да, в этом качестве — русских, которые на самом деле разные русские, сибирские ли, уральские ли, рязанские или донские, русские латыши или русские евреи, которым мешает стать едиными в естественных различиях страшный и хваткий, как Вий, призрак единства властвующих: единства и соучастников и жертв (!) распорядительства отечественными судьбами. "Вологодский конвой шутить не любит" — эту поговорку довелось испытать на себе экам разных национальностей, а таится в ней угроза, адресованная без изъятия всем, не исключая, разумеется, и самих вологодцев.

Вчерашний день? Если бы так. Ему еще стать вчерашним — и условие этому: иное Завтра. Да, "всего лишь" один из миров в Мире...

Апрель 1989

ПОСЛЕ САХАРОВА

Год, как ушел Андрей Дмитриевич.

Сначала — обвал. Первое чувство даже не скорбь, а отчаянье. Выживем ли?

Выжить — значит продолжиться. Продолжиться — значит в чем-то, и не в частном, а в затрагивающем существо жизни, сделать шаги вперед. Исключающие возврат к тому, с чем решили распрощаться. И исключающие прощание, чреватое катастрофой.

Этот двойной запрет, быть может, единственное, что нас объединяет. Достаточно ли его? Вероятно, нет. Но стоит только подумать, что могло бы быть без этого запрета и что может стать, если мы его нарушим, чтобы сказать (сегодня!): самое страшное позади.

Самое страшное — досахаровское. Его жизнь — рубеж. И он сам — рубеж. Наше нынешнее существование, со всеми его недугами, страстями, надеждами, оно — *после-сахаровское*.

...За год 1990-й раздвинулись рамки наших знаний об этом человеке. Его воспоминания, “Postscriptum” Елены Боннэр, сохраненные в памяти людей, близких к нему в разное время, ситуации, мысли его, слова и поступки, высветили и то, что ушло, и то, что еще впереди. И неожиданно близкими оказались былое и грядущее.

Ибо не сегодня и не пять лет назад начал исторгать из себя “систему” заключенный в нее человек. Отдельный человек? Да, отдельный.

Род человеческий в отдельном человеке!

1. Занавес поднялся

Ушел всего лишь один из миллиардов людей, населяющих Землю. Опустела всего лишь одна из московских квартир. Мы продолжаем жить, негодовать и жаловаться, часами просиживаем у телевизоров, воспроизводящих чохом и вразбивку народных избранников и тех, кто дирижирует этим форумом, в котором если не все у нас, то многие хотели бы видеть новое (по смыслу, а не по счету) Учредительное собрание. И здесь недостает всего лишь одного...

Несколько лет назад мое сознание оцарапали слова Гарсиа Лорки: когда за пределами его Испании приходит смерть, то занавес падает; в Испании же иначе — там в этот момент занавес подымается. Я подумал, что и у нас так, только мы этого не замечаем либо забываем. Но когда нескончаемой чередой шли к мертвому Сахарову люди, отстоявшие многие часы перед вхо-

дом во Дворец молодежи, ощущение, что занавес поднялся, охватило меня.

Занавес поднялся — и мы увидели друг друга. Не станем льстить себе: увидели себя не в лучшем свете. Приметнее стали не только не совсем истраченные добрые начала, но все, что поперек им. Страшное поперек. Это чувство не сегодня пришло, но в те прощальные часы оно сгустилось, сжалось в комок. Я вычитывал в лицах людей, печальных и задумчивых, объединившую всех причастность к смерти человека, имя которого не нуждается в самых почетных на свете званиях.

В некрологе, опубликованном московской молодежной газетой, есть слова: "Он был из породы победителей и побеждал не раз". Я готов согласиться, если бы это было так. На самом деле — не так!

Нет, он не был из породы победителей. Все его человеческое существо тяготело не к победе, а к истине. А истина чаще всего — в стане побежденных. Поражения преследовали Андрея Дмитриевича до последних дней жизни. Но чем были бы мы, мы все, если бы не эти его поражения?

Не в ответ, а лишь на тему вопроса — крохотное воспоминание. В памятный майский день 1978 года я отправился в подмосковное Люблино на процесс, который власти затеяли над правозащитником Юрием Орловым. Это было первое мое открытое вступление в среду, которую я знал до того лишь в порядке личных связей, отделенный от нее не только образом жизни, но и несовпадением во многих суждениях о прошлом и предстоящем. Мне казалось необходимым для начала сообразовать потребность в поступке с тем, что именуют мировоззрением. Не стану говорить — удалось ли и в какой мере.

Тогда же, в то майское утро, перед судейским зданием в квадрате из штакетников я чувствовал себя чем-то вроде инопланетянина... Разобравшись на несколько небольших групп, шушукались между собой "диссиденты", отбывали очередное дежурство иностранные журналисты. Между теми и другими шныряли лица в штатском, явно не принадлежавшие ни к тем, ни к другим. И как бы отдельно, то переговариваясь с близкими, то отвечая на вопросы корреспондентов, двигался человек, опознать которого не представляло особого труда. Он выделялся и своеобразием движений, жестов, и выражением лица: не то чтобы даже спокойствием, скорее — грустным признанием привычности обстоятельств, как и непререкаемости той работы, которую в этих обстоятельствах приходится выполнять, поскольку не выполнять ее нельзя. Именно так, и не больше: нельзя не выполнять.

Прошли годы. Мои молодые друзья извели Бутырки и лагеря. Пришла развязка и одиссеи Сахарова. Гибель друга — Анатолия Марченко, умершего в тюрьме после четырехмесячной

голодовки во имя освобождения всех, как и он, узников совести, — больно отозвавшись в сердце Андрея Дмитриевича, изменила и его судьбу. Считанные часы прошли между тем событием и другим — телефонным звонком, которого оказалось достаточно, чтобы закрылся в Горьком "персональный" концлагерь. Но в отличие от гомеровского героя Андрей Сахаров возвратился не один. Вслед за ним и усилием его духа вернулись домой многие из инакодумающих и инакоживущих.

Так обозначился один из наших рубежей, выявив как непреложность, так и хрупкость обновления, заданность его человеческим действием, чуждым славы и открытым людям — вне зависимости, кем они были вчера, если только память об этом будет держать под присмотром их волю стать другими.

..Вскоре после возвращения Андрея Дмитриевича в Москву мне довелось повстречаться с ним в доме Ларисы Богораз. Он был тих, неразговорчив. На нескладный вопрос мой: "Как Вы, Андрей Дмитриевич?" — он ответил: "Трудно жить. Люди пишут, приходят, едут издалека, надеясь, что я им смогу помочь. А я бессилен".

В буквальном смысле он был прав — и тогда, и даже позже. Именно сегодня, когда только слепой может не видеть перемен, осязателее и объемнее предстала перед нами властвующая бесчеловечность, какую никому не под силу превозмочь враз. Да и как превозмочь ее "извне", не переломивши ее внутри самих себя?

Он был прав и не прав. Столь часто бессильный изменить судьбу одного человека, как и общий ход вещей, он сумел вселить в нас стыд бессилия. Вовсе лишенный всякой склонности к назиданию и даже особого дара внушения, он сумел подсказать нам самое важное: **еще не все потеряно.**

И потому я говорю сегодня: его, Андрея Дмитриевича Сахарова, земная жизнь только начинается. Она еще впереди.

Декабрь 1989

2. За считанные минуты до смерти он сказал: "Будет бой!"*

Народное: сороковой-роковой...

Что это значит по отношению к нам, собравшимся в этом зале, чтобы навсегда проститься с Андреем Дмитриевичем Сахаровым?

Мы отчетливо понимаем, что потеряли человека, который мог больше, много больше, чем каждый из нас и даже все мы

* В основу этой части текста легло выступление в Доме культуры МАИ 22 января 1990 года на вечере памяти А. Д. Сахарова в сороковой день со дня его смерти.

вместе. Мы знаем, что не заменим его. Но жизнь раньше или позже восполнит пустоту, это ее естественное право.

Чем же?

Не уйдет память о нем. И сохранится тревожащая трудность: не дать мысли "он мог, а я не могу" превратиться в самообман. Сколько мы уже извели их на своем веку...

Я не притязаю на то, чтобы обозначить сейчас, что входит в урок Сахарова. Рано. Лишь об одном — словами самого Андрея Дмитриевича. В последнем выступлении на Межрегиональной депутатской группе он предостерег своих коллег от того, что со свойственной ему корректностью и точностью в определениях назвал "критической пассивностью".

Задумаемся над этими словами.

Критическая пассивность — не она ли держит? Я не ту критическую имею в виду, что в приснопамятные Семидесятые не выходила чаще всего из застолий, да и то с оглядкой. Нет, имею в виду нынешнюю критическую-громкоговорящую: речи, декларации, митинги, обличения, призывы... И тем не менее пассивность. Отчего же? Оттого, видимо, что по сей день мы не собрались с силами, чтобы стать суверенами обновления. **Суверенами самих себя.** Либо — мнимоправные, полуправные исполнители, либо — сторонние низвергатели, которые вполне могут стать и пешкой игры в избавление, а то и преторианцами неопорядка, его мозговой службой.

И тем еще питается эта особенная, шумная и бесплодная пассивность, что никак не наберем мы силу двинуться навстречу друг другу, оставаясь необратимо разными: убеждениями, верой, нравом, образом жизни.

Конечно, и иные знаки времени перед глазами. Не беден ими год 1989-й, в его активе — спокойная стойкость Литвы, шахтеры, к которым с чувством хозяина вернулось то, что превыше всего остального в жизни: чувство человеческого достоинства. Но есть и другой полюс. Там — жестокость, кошмары насилия, кровь.

Два полюса, и на обоих полюсах люди, просто люди. "Просто"?!

Принято ставить знак равенства: если нечто суть "народное", стало быть, оно и "демократическое". Неужто история этого уходящего века недостаточно поработала, чтобы мы научились видеть здесь зазоры, зияющие несоответствия!

Сегодня же не видеть разрывов этих, не вдуматься в их природу, не сознавать ответственность, проистекающую из существующих опасностей, — значит осуждать себя на худшую пассивность.

Два полюса. Две ситуации **выбора**. И там и здесь суверенность. Как сопрячь, как совместить? Нет вопроса острее, нет вопроса неотвязнее. И спрашивая себя, мы можем, к счастью своему, обратиться к духовному опыту, к жизни Андрея Дмит-

риевича Сахарова. Кто больше него сделал за последние годы, за ушедший год особенно, чтобы сошлись воедино ненасильственное гражданское сопротивление с гражданским согласием?!

Сошлись умом, душой. И поступком и законом. Ибо ведь закон сегодня тоже — поступок. Из самых неперемных. Не оттого ли так неустанно работал Андрей Дмитриевич над проектом новой Конституции — взамен мертвой, "брежневской"? Писал, переписывал, совершенствовал, сосредоточиваясь на главном — облике союзного устройства, на основаниях добровольной и оправданной взаимности, исключаящей любой имперский намек, как и всякий взрыв, направленный изнутри вовне. И каждый законотворческий шаг измерял этим решающим критерием. Ради этого ходил, как на работу — от гудка до гудка, — в Верховный Совет.

Кажется, одного этого было бы достаточно. А между тем — еще десятки поездок в самые огнедышащие точки страны — Карабах, Армения, Азербайджан, а затем Тбилиси; позже — Урал (Свердловск, Челябинск). И едва ли не все земные континенты: Европа, Америка, Япония. Встречи, выступления. Работа!

Одно из модных словосочетаний — "народная дипломатия". Что значит? Доброжелательство, поиски точек соприкосновения со вчерашними врагами, поддержка мирных усилий своей державы? Безусловно. Сахаров — в лидерах и тут. Но есть еще значение, упустишь которое — и смысл уходит. "Народная" — оппонент официальной, даже добротной... Из Голландии — в Англию. В самолете Андрей Дмитриевич узнает о Тяньаньмэне: о расправе, крови, о расстрелах. Не обращая внимания на встречающихся, уединяется, составляет обращение к главам великих держав, требует отзыва советского посла из Китая...

Летопись года и календарь дел Сахарова. Сопоставив их, видишь: как они нуждались друг в друге — этот Мир и этот Человек.

Кто забудет лето 1989-го, первый Съезд народных депутатов Союза, поединок молодого "афганца", инвалида той войны, с рано состарившимся, годами травимым Нобелевским лауреатом? Да поединок ли? На расстоянии открывается иное — встреча. Встреча человеческих страданий, разошедшихся в пути, чтобы соединиться вновь. Взрыв — и близость. Уклонись тогда Андрей Дмитриевич от этого взрыва, пришла бы близость?

Близость человека, верного себе до последнего вздоха, с миллионами людей, еще только ищущих, еще далеких от того, чтобы найти себя.

За считанные минуты до смерти он сказал: "Будет бой!" Перед этим Елена Георгиевна по собственным делам ходила в райсобес и видела старушек, которые поверили, что смогут достойно жить. А там узнали, что положены им гроши, услышали, что опять от них требуются какие-то справки, бумажки: где

жили, что делали... Этот рассказ ужасно взволновал Андрея Дмитриевича. Он хотел с трибуны Съезда призвать всех способных слышать и способных отозваться — **не дать себя заново обманывать, не стать вновь обманщиками.**

С этим ушел. Это оставил нам как неисполненную работу, как смысл ненасильственного сопротивления, как долг гражданского согласия.

Работу, которую мы обязаны исполнить не завтра, а сейчас. Сей-час.

3. Наш Невпопад

Он был. Он есть.

Между *был* и *есть* — не ров, мостки же нужны: не сорваться бы.

Пройти совокупно — чего бы лучше, но сегодня разве не химера?

Тогда обойтись ли без "визиток" — для совпадающих с его последним словом, для уполномоченных продолжить его дело?

Сахаров и избраннычество, Сахаров и авторитаризм примера — может ли быть что-либо более несовместное?

Тогда чем же он был, чтобы *есть* стучалось в дверь к каждому, открывало уста любому?

..Корявое, прекрасное — **невпопад**. Разное значениями или, вернее, с одним, разрастающимся, когда идешь от поверхности в глубь. Первый срез: нарушенные обычай и канон, этикет и субординация. А дальше — вызов, и не только господствующим суждениям, но и укоренившемуся способу думать и стандарту поступка. Да и вызов он лишь потому и в меру того, что сам являет двуединство нежданного слова и неожиданного деяния: нет этого двуединства и нет "вторичного" невтопада, а есть лишь кособокий суррогат его. Натуральный же — это риск, это потревоженная судьба, это неизвестность развязки. И вот он, самый глубинный срез невтопада: уже не те или иные свойства человеческой природы, а сам человек, такой же, как все, но **прежде-временный**. Опередивший время и оттого в конфликте с ним; и те, кто против этого человека, в сущности, не его преследуют, а это их пугающее и отвращающее "прежде-времени". Он же, который досрочен по собственной воле, также в заложниках Времени и от заложничества этого в силах освободиться, лишь устремляясь навстречу непонимающим, протягивая руку к ближнему и дальнему, не отвергая ничьей руки. Воитель и согласитель в одном лице.

У Владимира Даля: "Невтопад слово молвилось", "И хорошо, да невтопад". "НАШЕ ВСЕ НЕВПОПАД". Три среза — три жизни вместе: маршрут тех, кто навсегда в людской памя-

ти, кто — сама память. Задним числом — единый бессмертный ряд. Сегодня в замыкающих Андрей Дмитриевич Сахаров. Последний ли?

В зачине же не детство, откуда обычно извлекают разъяснение последующего. Даже не юность. Следуя жанру "ретроспективной утопии", соблазнительно представить взлет Сахарова другим, чем тот, что состоялся: от безвестности к славе — внезапной и анонимной, закупоренной в сейфы. И в этом "если бы...", в этом ином самоосуществлении имя Сахарова наверняка также запечатлелось бы в прозрениях и открытиях, простирающихся от тайн атомного ядра до загадочной асимметрии Вселенной. Но как ни переписывай историю и биографию, правда все равно пробьется наружу. Поэтому отодвинем предположения. Задержимся на рубеже, где обыкновенный гений встретился с обыкновенным сталинизмом.

Да и могло ли быть по-другому после 1945-го и до... (этот год уже не простиавишь вне зрелой жизни и поздней судьбы Сахарова). А тогда советская Евразия, обезлюженная, истощенная ужаснейшей из войн и ею же далеко продвинувшая свои пределы на Западе и Востоке, рвалась в сверхдержавы. Страх и спесь Штатов поощряли Сталина, гонимого неизбывным комплексом ненужности. Система, одним из условий самопродления которой являлась добровольность жертв, и на сей раз получила от своих подданных "согласие" на новые лишения. Программа еще не отработалась в деталях, но центральный пункт ее был очевиден. Бомба! И уже не только хиросимская, но и водородная. И очевидно было, что "догнать и перегнать" способен теперь только мозг. Мозг к этому времени созрел.

Двадцативосьмилетний питомец мудрого и доброго И. Е. Тамма, с детства далекий от политики (не-пионер, не-комсомолец), человек с симпатичными странностями и не всегда сразу понимаемый коллегами, в одночасье вошел в клуб людей, обладающих возможностью простым нажатием кнопки изменить участь рода человеческого... Цепочка: Сталин — Берия — Сахаров. И хотя между вторым и третьим были еще люди (по крайней мере трое — Ванников, Курчатов, Харитон), это не меняло природы той, начала 1950-х, связи. Ощущал ли Андрей Дмитриевич это как западню для себя, поскольку с того дня и часа, когда он решил "задачу", уже не было возврата назад — ни для него, ни для кого вообще?! И опять соблазн: представить последующий путь Сахарова-правозащитника, Сахарова горьковского заточения и горьковских голодовок, Сахарова-депутата и лидера еще не собранной, импровизирующей себя оппозиции, Сахарова-провозвестника общества-государства, — представить весь этот путь, почти равный по времени жизни на "объекте" (18 лет там и 21 год после), как искупление, подвиг, движимый нравственным страданием.

Такое страдание, мы это знаем, испытывали самые разные люди, так или иначе навсегда связанные с пустынным местом по имени Лос-Аламос. Разве не справедливо поставить рядом Семипалатинск? И в отлучении Роберта Оппенгеймера увидеть предвосхищение судьбы Сахарова? Но что-то не сходится. Очень существенное что-то. Первое, что приходит на ум: мы все-таки не имеем на своем превеликом греховном счету людей сожженных, обреченных на медленную смерть преднамеренно выпущенным на волю атомом. Довод разящий, но, даже если держаться дочернобыльского календаря, убедительный ли, в соответствии ли с фактами? Не вернее ли: в 1953-м нам просто повезло. Сталин покинул сей мир пятью месяцами раньше первого испытания первой нашей водородной бомбы. Повезло всем. На свой, дополнительный лад повезло Андрею Дмитриевичу Сахарову: он выиграл время для пробуждения — не в Лефортове, не на Колыме.

Однако и тут не все сходится! Опять-таки, держась фактов, следует принять за данное: Андрей Дмитриевич до последнего дня не считал свою Бомбу грехом. Говорят, Алесь Адамович надеялся, что поживи Сахаров еще, и он бы изменил свой взгляд на собственное прошлое. Как историк, размышляющий над блужданиями нашего века у обрыва в преисподнюю, я не только доверяю свидетельству самых близких к Андрею Дмитриевичу людей, но и исключаю в принципе всякое принуждение к покаянию как не соответствующее главному смыслу нашего пограничья между Миром, исповедовавшим (на разных языках и в противоборстве идей) единственность спасения, и Миром, мучительно ищущим спасения от единственности. Сахаров не дожид до исхода второго тысячелетия. Но полагаю, что если он и не исчерпал его собою, то был близок к этому.

В прологе же та самая цепочка: Сталин — Берия — Сахаров. Заведомо неравные в создании Бомбы, тут отсчет в обратном порядке. Заведомо неравные во владении ею. Что очевиднее? Но обыкновенному гению это-то и не было очевидным. Очевидность пришла ударом не только в душу, но и в ум, новой "задачей", решение которой потребовало не меньших, а, вероятно, больших мозговых атак.

Ни Сталина, ни Берии уже не было. Изменил ли 1953-й и даже 56-й Сахарова? Разительных признаков этого как будто не видно. "Объект" и теперь совпадал с жизнью. Немногословный, достоверный В. И. Ригус (коллега по "объекту") приводит слова Андрея Дмитриевича в ответ на вопрос: что же будет после смерти Сталина? "А ничего, все пойдет по-старому, сложная система подчиняется своим внутренним законам и сама себя поддерживает". Считал ли поздний Сахаров эту систему "сложной"? Во всяком случае, он ее не упрощал, не заменял познание расхожими этикетками. Можно, мне думается, сказать даже, что он ее "принимал" как нечто, входящее в тот Мир, где уже нет от-

гороженных друг от друга напастей и страданий и где на место прежнего, надломившегося и обреченного равновесия должно — под диктатом вплотную приблизившейся гибели — прийти новое равновесие, торный путь к которому исключен. И он испытывал (мыслью и поступком!) нашу домашнюю "систему", прибегая к решающему тесту на ее способность не поддаться искушению Конца. Там, где царили таинство нисходящих сверху и беспрекословно исполняемых команд, он всматривался в людей. В тех, кто решает, и в тех, кто исполняет, во всех, кто рядом, не исключая и самого себя. Его точный, честный и последовательный ум не мог позволить себе игры в союзничество. Либо он принимает за **должное** "внутренние законы" системы — и тогда сбой в ее функционировании все-таки не больше чем досадная, поправимая частность, либо это такая частность, которая зовет заглянуть в кратер и увидеть неумолимо движущуюся лаву вместе со шлаками и грязью, готовые смести жизнь. И тогда наступает час выбора.

...На этот раз цепочка из двух — Сахаров и Хрущев. Зенит ученого, предел реформатора. Близость? Наоборот — зигзаги растущего отчуждения. Непосредственная причина известна: жертвы необязательных испытаний. Между первой стычкой (1958) и договором о запрещении испытаний в трех средах (сахаровская инициатива, хрущевское воплощение) — каких-нибудь пять лет. А вплотную к концу их — памятный многими событиями 62-й. Об одних знали все хотя бы понаслышке (Карибский кризис), о других — считанное число (Новочеркасская бойня), о третьих — единицы (все тот же Семипалатинск). Могушественный Средмаш готовил взрыв — "фактически бесполезный с технической точки зрения" (текст тут и дальше Сахарова). "Понимая необоснованный, преступный характер этого плана, я предпринял отчаянные усилия его остановить". Недели борьбы. Угроза отставки. Телефонный разговор с Хрущевым ("умолял вмешаться"). Финал: пока шли переговоры, если их можно назвать переговорами, "самолет-носитель уже нес свою ношу к намеченной точке взрыва. Чувство бессилия и ужаса, охватившее меня в этот день, запомнилось на всю жизнь...".

Остановимся здесь. Сосредоточимся на лексике Андрея Дмитриевича. О плане: знак равенства между "необоснованный" и "преступный". О себе: два слова слитно — бессилие и ужас. **Ужас бессилия**. И если рожденный не подступившим вплотную ядерным апокалипсисом, а "только" эпизодом, исковеркавшим судьбу одного человека или одной книги (Василий Гроссман, год 61-й...), то разве в источниках всего лишь привычное недовольство, а не оно, умноженное во сто крат приступами холопского согласия, слепотой зрячих?..

Круг снова замкнулся. Но уже не тот был это круг. Не могли остаться без следа "Новый мир" и сам Твардовский, мя-

теж Солженицына, наивно дерзкие и беззащитные **иначе**, составившие вскоре новую генерацию узников ГУЛАГа.

Сахаровский вызов был до поры до времени особняком. За первым шагом (или шагами: были и другие, достаточно ныне известные) не последовало: **иду на вы...** Может, сказались исход Карибского кризиса, а еще больше московский договор 1963 года, как и перестроечные посулы постхрущевского руководства? Не исключено, что Сахаров по доброй воле и не покинул бы "объект", не оставил бы это поприще ума в момент, когда роились новые идеи, материализация которых — в том числе и в далеко идущих мирных целях — нуждалась в опыте и базе созданной Бомбы. Однако жизнь сорвала ритм. В том самом августе того самого 1968 года, когда на отмену цензуры в Праге ответили танками из Москвы, Сахаров был лишен "допуска". Отныне он мог распорядиться собою по собственному усмотрению, хотя и с новыми ограничениями, число коих увеличивалось в геометрической прогрессии.

Но как распорядиться **ужасом бессилия**? С ним куда — в академическую келью или в бунтари?

Келья исключалась. Но также отклонялся и бунт. Доказательство — "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", публикация которых в сам- и там-издате и повлекла за собой изгнание с "объекта". Андрей Дмитриевич считал этот текст несовершенным. Не станем оспаривать, однако выделим то, что и теперь может быть без всякого преувеличения названо переломным. Это — масштаб и сцепка проблем и, конечно, не в последнюю очередь имя и жизненный путь автора. Да и "поздний" выход Сахарова на общественную арену таил преимущества. Пропуск фаз был сродни складу его мышления, вплотную сближая первоначальную проблем и озадаченность вопросами с неожиданностью и логической убедительностью итога. Правда, характер вопросов изменился. Не та степень неопределенности. Не те препоны на пути от единичного к общему и наоборот — от опасностей, грозящих Миру (и исходивших в огромной степени от нас), до угроз свободе и жизни любого из отечественных "несогласных". И наконец, не та дистанция между добытчиком непротиворечивого результата и его воплощением.

Впрочем, можно ли сказать об этом лучше самого Андрея Дмитриевича: "...судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность". В словах этих ни капли самоуменьшения. В них сгусток его трагического реализма: поисков выхода из ужаса бессилия. Он никому не предписывал жить по его правде и, отклоняя так же, как Солженицын, жизнь во лжи, сохранял за каждым право избрать свой способ раскрепощения от идолов и табу. (Не случайно же он предпочитал говорить не "инакомыслящий", а "вольномыслящий".)

Исполнимость принимаемых Андреем Дмитриевичем решений часто или даже чаще всего была более чем сомнительной, если иметь в виду немедленный результат, тем паче расчет на него. В сущности, он добивался того, что заведомо не может быть осуществлено одним человеком, но именно этим внес столь радикальную перемену в нашу домашнюю и тем самым общечеловеческую ситуацию конца XX века, что сегодня мы вправе сказать — она *постсахаровская*.

Кончая эти краткие заметки, я не могу не вернуться к тому тревожному исходному пункту в жизни Андрея Дмитриевича, который считаю фундаментальным не только в биографическом смысле. Я имею в виду его непоколебимую убежденность, что создание его, "сахаровской", Бомбы было оправдано с любой точки зрения, не исключая нравственной. (Из воспоминательных записей астрофизика И. С. Шкловского: "...лежа в больнице, я спросил у часто бывавшего в моей палате Андрея Дмитриевича Сахарова, страдает ли он комплексом Изерли. "Конечно, нет", — спокойно ответил мне один из наиболее выдающихся гуманистов нашей планеты".) В чем же дело? "Тогда так надо было" — разумеется, не ответ, в лучшем случае перифраз вопроса. Ибо если **надо** было (а иначе — почему не комплекс Изерли?) то, что разумеет под "надо"? Себя одних, себе подобных и нами же уподобленных? Или весь род человеческий, своим *надо* его охватывая и прихватывая?

Линия разлома — сквозь Дело, сквозь судьбу. Ибо **Мир тот**, с которым сегодня будто уже прощаемся навсегда, был не просто продлением прежнего, а заново начатым — и заново подведенным к роковой черте; "блоковым" в совсем ином смысле, чем в 1941-м, и ином, чем в 1939—1941-м. Нелепо думать, что посредством ядерного оружия доступно убавить или прибавить территории. Целью новой схватки мог быть только **Мир как целое**, но уже не в том смысле, не в том абсурде, каким руководствовались Гитлер и Сталин, союзничая и вынашивая расчеты взаимного погубления (раньше ли, позже ли — деталь, за которую расплатились жизнями десятки миллионов, и едва ли не полностью то поколение, к которому принадлежал и Сахаров...). Гитлера не было, нацизм был повержен, отринут силою и мыслью, законом и Словом; Сталина тоже не было, но оставалась сталинская "система", противопоставленная и человеку и человечеству. Оправданно ли было б применение средств, исключающих все живое ради вызволения людей из пределов этой ненасытной "системы"? Какой другой из "проклятых вопросов" перетянет этот?

...Быть может, самое важное в Сахарове-человеке, самое нестареещее в его наследстве то, что, не торопясь с ответом, он принял его, этот вопрос, как **вызов себе**. Нет нужды доказывать, что даже в самые тяжкие дни его второй, "горьковской", жизни Андрей Дмитриевич был свободен от наваждений мести, от сата-

нинской идеи возмездия гибелью. Сегодня противоположное, вероятно, не рискнет заявить даже мой бывший коллега Н. Н. Яковлев (впрочем, кто знает...). Но опять же — не станем уходить от фактов и играть в благородные умолчания. Да, Сахаров знал не только убойную силу созданного им оружия, но и понимал заложенную в Бомбе неприменимость. Мы вправе сказать: до поры до времени он верил в мудрость этого нового абсурда, в его уравнивающую острастку. Но именно: до поры до времени. Затем наступил час, когда копившееся годами сомнение побудило к пересмотру, совершенному по-сахаровски — открытым словом и не оглядывающимся на собственную судьбу поступком. Этим часом было вторжение в Афганистан, вобравшее в себя и многое из родственного, и будто совсем далекое, короче говоря — всю нашу жизнь.

Сахаров, следуя расхожим стандартам, ни до того, ни даже после не был политиком. Он был просто нашим Невпопадом. И Невпопад вступил в одиночку на минное поле мировой политики. Я не стану пересказывать открытое письмо Андрея Дмитриевича доктору Сиднею Дреллу (дата: 2 февраля 1983). Оно написано спокойно, обстоятельно, без всякой патетики. Тем более потрясает основная мысль: Западу уже нельзя ограничивать себя восстановлением равновесия в обычных вооружениях. "Сделайте теперь следующий логический шаг" — к равновесию "по отношению к тем вариантам ограниченной или региональной ядерной войны, которые потенциальный противник может попытаться навязать". Если вероятность всеобщего самоубийства "можно уменьшить ценой еще десяти или пятнадцати лет гонки вооружений — быть может, эту цену придется заплатить". Потенциальный противник — не дипломатическая увертка, мы поименованы. "Пока СССР является в этой области (мощных ракет шахтного базирования. — М.Г.) лидером, очень мало шансов, что он легко от этого откажется. Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты МХ, может, придется Западу это сделать". "Запад на <...> переговорах должен иметь, что отдавать!"

Антипатриот, поджигатель войны — разве только по кремлевско-лубянским меркам? Оставим в стороне тогдашнюю прессу, избалованных академиков, улюлюкающих карьеристов. Но не забудем о миллионах, среди которых живем и в числе которых мы сами: просто живущие и живущие "иначе". Попытаюсь представить себя в тот памятный для меня год. Многие мосты я уже сжег, но согласился ли бы — и даже не вслух, а про себя — с сахаровским зовом, адресованным тому миру: довооружайтесь?! Скорее всего, нет. Дрогнул бы, и умом также. А ведь Сахаров-то был прав! Что же питало эту правоту: не покидавшая его "эврика", не нуждающееся в декларациях сознание гражданина Мира? Да, разумеется, это. Но еще и внутренний диалог Андрея Дмит-

риевича со временем. *Он* и *Оно*. Они вдвоем. Ощущение, догадка, убеждение: всечеловеческой потребностью номер один стало **спасающее** Время. Не оттяжка. Больше – не сроком, а смыслом: Время, чтобы обуздать Убийцу-оборотня человеческого рода, жуткого побратима равенства народов, континентов, миров.

Когда Андрей Дмитриевич Сахаров вышел на **проблемное поле нового мироустройства**, он имел право с облегчением сказать: тем, что я сделал, я дал людям Время. Дал тем, кто против власти, и тем, кто у власти, если только и те и другие окажутся способными употребить Время это не во вред. По крайней мере не во вред... Знаю, что не его это язык. Рискую, говоря "за него", не без надежды, что он бы в свою очередь сказал мне то же, что весной 1989-го по смежному с этой темой поводу: "Я так не написал бы, но вы не сделали ошибки".

Кем он *был*, мы узнаём с каждым днем все подробнее, и оттого наша связь с ним становится короче и ответственней. Кто он *есть* – нам еще суждено открыть и осознать.

...Мог ли бы Сахаров сделать ныне больше того, что он сделал до своего ухода? Не ведаю. На одно надежда: когда язык выходит из подчинения разуму, когда мы перестаем слышать друг друга, а противовластная и властная руки сообща тянутся к курку, у нас все же хватит сил остановить себя, сказав: наше-го Невпопада больше нет.

Мы одни. И выход один: *все наше невпопад*.

Все! Наше!

Сентябрь 1990

ГОЛОС ГЕФТЕРА

Предлагаемая вашему вниманию книга – вторая из большой серии, которую намеревается издавать Фонд им. Н. И. Бухарина. Ее автор – историк и философ Михаил Яковлевич Гефтер.

В период, когда все большее число людей, особенно молодых, включаются в политику, очень важно суметь избежать соблазна возомнить себя социальными Колумбами и самонадеянно представить, что можно с успехом "идти вперед" без опыта старших поколений, пусть даже и испытавших на своем веку значительные поражения.

Политклуб им. Н. И. Бухарина очень дорожит дружбой с такими представителями "шестидесятников", как О. Р. Лацис, Л. В. Карпинский, Ю. Ф. Карякин, А. И. Гельман, В. А. Тихонов.

Но необходима также органическая связь и с теми, кто был "до того", кто еще раньше, в самые мрачные годы, "жил не по лжи", ведь и они еще кое-где сохранились.

Сохранились, но для нас ли? Перипетии нашего века, кровавые изломы и переоценки ценностей сделали свое дело: оборвали исторические связи между поколениями, каждое из которых, кажется, принадлежит лишь самому себе. Живем в одной стране и в одно время, но только хронологически нас можно назвать современниками. На самом деле мы живем в разное время, с разными критериями истины и нравственности. Мы можем быть вместе с отдельными представителями старших, но не с поколением вообще. Поговорив, мы расходимся по своим углам, каждый со своими проблемами.

Сколько ж таких встреч у нас было, в том числе и запоминающихся, и полезных, и поучительных, но только не было главного: органической связи и чувства, что мы вместе.

Встреча с Гефтером такую связь нам обеспечила. Михаил Яковлевич сразу вошел в нашу жизнь, как друг, учитель и – самое главное – как современник. И вместе с ним к нам пришли странные, неслыханные до того словосочетания: "диалог вопросов", "мир миров", "суверенитет компромиссов", "диалог живых с живыми мертвыми"...

В одном из писем к нам он пишет:

"Вы – не судьи их, потерпевших поражение. Вы – их наследники. Их духовный опыт, их судьба – ваше наследство. Без него вам будет не только трудно, вы без них, мертвых или живых, не сможете добиться своего продолжения безотрывно".

Михаилу Яковлевичу – семьдесят два. Навалившие в последние годы болезни и два инфаркта не дают работать в полную силу, а он жаждет этого, ибо понимает, что нужен сегодня нам. Он переживает за все происходящее вокруг: за ошибки Горбачева, за действия "демократов", за глупые

статьи, за дурацкие телепередачи... Буквально заболевает, не ест, не пьет... Вынужден соблюдать строгий режим, нарушать который желающих много. Разговаривать с Гефтером – проверять себя на социальную профпригодность. И, между прочим, кто знает – сколько значительных акций впервые было обсуждено, а то и рождено в его маленькой квартирке в Черемушках?

Вот и мы со своими идеями и предложениями – к нему.

Постоянные мысли и слова о "выборе", о "наследии", о "жизни и смерти", о "связи времен", о том, что "мы не первые и не последние в этом мире и в этой жизни"...

Когда слушаешь Гефтера, то задумываешься, и уже не слова его притягивают, даже не содержание, а то, как Михаил Яковлевич говорит. Это своеобразная мелодия, равно как и тексты Гефтера удивительно гармоничны, более того – музыкальны. Говорят, что великие математики, глядя на сложную формулу и ответ на нее, могут сказать не просчитывая, верно ли решение или нет. Они видят ведомую лишь им гармонию между вопросом и ответом, и, если таковая есть, ответ верен. Так и здесь: Гефтер говорит и пишет всегда вопросами, подчас кажущимися неразрешимыми, но гармония текста убеждает, что ответ есть, и подсказывает, где искать его.

Он, несомненно, "властитель дум" многих, но это властитель ненавязчивый, тихий, даже незаметный, абсолютно без претензии на такое властительство. В этом он схож с А. Д. Сахаровым. При этом он также кажется незащищенным и уязвимым. Но внутренняя жесткость и организованность, бескомпромиссность ко лжи и фальши, даже отказ понимать их, делают Гефтера очень сильным. Он не из тех, кто не "ставит крест" на взаимоотношениях, какими бы близкими они бы ни были. Можно сказать, что он жесток в этом.

Он пишет:

"Я бы при случае написал об особом синдроме опоздавших, среди которых самые разные, в том числе и умные, и даже достойные, но сквозь все и сверх всего у них – боязнь упустить "момент", позыв выговориться скороговоркой и чтобы было заметнее, слышнее, с расчетом на первый ряд..."

Я не сомневаюсь, что он-таки напишет об этом (хватило бы сил), и тогда достанется многим, в том числе и некоторым друзьям Михаила Яковлевича.

Гефтер не принадлежит ни к "правым", ни к "левым", ни к "радикалам", ни к "консерваторам". Он просто Гефтер – сам по себе, хотя симпатии и антипатии у него очевидны. Как-то, слушая выступление писателя В. Белова, он заметил: «Жаль, что об этом не говорят наши "демократы"».

Повторю, голос Гефтера тихий и ненавязчивый, он не для трибун. Во времена всеобщей экзальтации этот голос почти не слышен: в цене громкие и для всех "ясные" ответы, точнее – призывы эти ответы найти. Тем необходимее прислушиваться к немногим голосам, которые своими вопросами эти ответы подсказывают.

Именно поэтому мы издаем книгу М. Я. Гефтера, считая ее выход в жизнь ко времени.

СОДЕРЖАНИЕ

Вопросы, которые я задаю себе	7
---	---

I. ПРОЛОГ

Прощальная записка	15
Россия и Маркс	37
К проекту Конституции 1977 года	64

II. ВРЕМЯ "ПОИСКОВ"

Приглашение	83
Мы все заложники Мира предкатастроф... Письмо американскому историку Стивену Козну	85
Жить ли нам одним домом, если жить в одном доме? Заметки о сегодняшнем и завтрашнем дне диссидентства	92
Классика и мы	118
Этого не должно быть	156
Накануне	158
Последнее заявление редакции журнала "Поиски"	184
Коллегам историкам	187
Женщина из страны Память	189
Генеральному прокурору СССР	196

III. ПРОЩАНИЯ

В память о Евгении Александровиче Гнедине	203
Слово о Раисе Борисовне Лерт	218
Он жил здесь, он был там. Алексей Владимирович Эйсер	226

IV. ПЕРЕСТРОЙКА ИЛИ ПЕРЕПУТЬЕ?

Сталин умер вчера...	235
К общественному мнению	265
Письмо Горбачеву (февраль 1986)	272
В Президиум Верховного Совета СССР	279
Письмо Горбачеву (декабрь 1986)	282
Спор или потасовка?	293
Еще не поздно	304

От анти-Сталина к не-Сталину: непройденный путь	308
Перестройка или перелутье?	369
Письмо участникам конференции "Николай Иванович Бухарин: теоретическое наследие и современный мир"	378
Россия в Сибири	380
Я признаю себя виновным	394
Октябрьская революция: событие, эпоха, феномен сознания	403
Сталинизм	411
Десталинизация	418
В самом ли деле мы у края пропасти	424
Заслон Смуте – в ком он?	427
Не растерять самое ценное	433
Будущее прошлого	435
Открытое письмо М. С. Горбачеву	445

V. ПЕРЕСТУПАЯ ПОРОГ ИСТОРИИ

От ядерного мира – к Миру миров	451
Дом Евразия	460
После Сахарова	468
<i>Валерий Писигин. Голос Гефтера</i>	481

Мы выражаем благодарность членам Межрегиональной кооперативной федерации СССР, без чьей поддержки (и не только моральной) издание этой книги вряд ли было бы возможным. Это прежде всего Межрегиональный кооперативный банк "Континент" (председатель Л. Г. Онушко), Региональный союз кооперативов Ульяновской области (председатель И. Н. Тукаев), ижевский кооператив "Союз-1" (председатель Н. М. Москаленко), Научно-производственный и досуговый центр молодежи города Набережные Челны (А. Т. Гайнетдинов), Смоленский областной союз кооперативов (Д. Я. Левант), Татарский республиканский союз кооперативов (К. Я. Шайдаров), московский информационный кооператив "Посредник" (И. В. Коровиков), Зеленодольский городской союз кооперативов (А. Н. Колчин), ульяновский кооператив "Русь" (А. Г. Мулюкова), кооператив "Сафоновец" из Смоленской области (А. Г. Масаладжиу), киевский союз кооперативов "Лири" (П. М. Тютюнник), челябинский кооператив "Универсал" (В. Г. Попов), кооператив "Вымпел" из Караганды (Е. Н. Мелкозерова), набережночелнинские кооперативы "Европа" (Л. Л. Бесмертных), "Декоративные культуры" (Ф. А. Каримов), "Стимул" (П. Д. Кожевников) и многие другие.

Михаил Гефтер
"Из тех и этих лет..."

ИБ №19221

**Сдано в набор 19.12.90. Подписано в печать 25.01.91.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Условн.печ.л. 25,62. Уч.-изд.л. 30,70. Усл.кр.отт. 51,48
Тираж 10000 экз. Заказ №1611. Изд. № 48347**

**Одена Трудового Красного Знамени издательство
«Прогресс» Государственного комитета СССР по печати.
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.**

**Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэксспорткнига»
Государственного комитета по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.**

КОНТИНЕНТ

Вниманию предприятий, организаций, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, малых предприятий, кооперативов, фермеров, арендаторов, частных лиц!

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК "КОНТИНЕНТ":

- ведет банковские счета клиентов и оказывает помощь при осуществлении расчетов;
- предоставляет кредиты;
- продает удобные и простые в обращении программные системы для автоматизации банковских операций;
- принимает на хранение свободные средства юридических лиц и привлекает в срочные вклады и до востребования денежные средства граждан с выплатой процентов в зависимости от срока хранения;
- создает и участвует в малых предприятиях, совместных предприятиях, обществах с ограниченной ответственностью;
- приобретает по поручению клиента машины и оборудование с передачей их в аренду (лизинговые операции);
- осуществляет операции по покупке платежных требований продавца к покупателю (факторинг);
- осуществляет операции с ценными бумагами, в частности, принимает на хранение в неограниченном количестве сертификаты Сбербанка, сертификаты Автобанка "Коттедж-91", облигации 3% Государственного займа 1982 г.;
- выступает посредником при заключении сделок.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК "КОНТИНЕНТ" приглашает к сотрудничеству всех желающих воспользоваться его услугами на взаимовыгодных условиях.

Адрес банка: 423823, г. Наб. Челны, ул. Пушкина, 14.

Телефоны: 52-24-98, 52-27-59.

Телефакс: 52-34-92

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК

первый в СССР акционерный банк

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ – расширить свои функциональные возможности,
– повысить свою конкурентоспособность,
– выгодно вложить свои средства,

СТАНЬТЕ НАШИМ АКЦИОНЕРОМ и Вы поймете, на что способен ЛИБ.

БАНК:

– кредитует затраты организаций, предприятий, кооперативов;

– осуществляет лизинговые операции;

– оказывает посреднические услуги, связанные с маркетингом в сфере инновационной деятельности;

– активно осуществляет внешнеэкономическую деятельность;

– обеспечивает надежное хранение временно свободных средств организаций, с выплатой процентов в зависимости от вида и размера вкладов.

ЕСЛИ ВЫ – НАШ АКЦИОНЕР – Банк Ваш союзник в борьбе за лидерство.

Все виды услуг Банка – для Вас – на льготных условиях.

Плата за риск – высокий процент годовых по вкладу (не менее 12%).

Просим учесть, что взнос одного акционера не может быть менее 50000 рублей или 30000 долларов и не более 5 млн. рублей или 3 млн. долларов.

Наш адрес: 191194, Ленинград, ул. Чайковского, 24–8

Телефон: 279–00–04, 279–30–61

Телефакс: 121267

Телекс: 2790281

Московский историк Михаил Яковлевич Гефтер — один из наиболее ярких умов, независимо следующих в России XX века историко-софской традиции Чаадаева, Герцена, Маркса.

Родился 24 августа 1918 года в Симферополе. Прошел истфак Московского университета. На фронт в 41-м ушел добровольцем (отдельный истребительный батальон Красной Пресни, который влился в 8-й полк московских рабочих 5-й Московской коммунистической дивизии). Сражался за Ржев. Награжден солдатской "Славой". Затем — работа в Институте истории Академии наук СССР, занятия "многоукладностью" предоктябрьской России, русским народничеством, "Россикой" Маркса, проблемами генезиса ленинской мысли, теорией мирового исторического процесса. Член главной редакции "Всемирной истории". С середины 60-х годов возглавлял сектор методологии истории — один из немногих тогда очагов ищущей мысли; судьба его известна: разгром по велению "сверху".

1976 год — разрыв М.Я. Гефтера с официальной наукой, добровольный уход на пенсию "до срока". За роскошь сохранения внутренней свободы время требовало платы. Многое из того, что потом, читатель узнает из книги. Были — выход из КПСС (февраль 1982), обыски — и непрерывная работа.

... Что делает событием появление этой, первой по сути, его книги? Что объединяет разнородное по жанрам и времени написания, что общего между статьями-откликами на внешние и внутренние события, между историческими исследованиями и записями об умерших друзьях и обращениями в защиту друзей живых, дневниковыми набросками и открытым письмом американскому коллеге Стивену Козну? Объединяет их, если заимствовать одно из гефтеровских выражений, та "нравственность мозга", императив которой велит верить философию злобой дня, а личный поступок не отделять от выводов рефлексии. Этим книга перебрасывает мостик от трагедии XX века к тревожному наследию XIX-го и вновь возвращает к наисовременнейшим общественным бедам и проблемам.

М.Я. ГЕФТЕР

Из тех и этих лет

Среди не вошедших в книгу рукописей "тех и этих лет" — "Разговор с собой" (заметки о Пушкине, писавшиеся по следам ареста одного из молодых друзей Гефтера — в "невозможности чем-либо заниматься и невозможности не работать"), фрагменты большого исследования "1940-й", "Диалог о народничестве", материалы и фрагменты книги "Ленин: биография мысли", цикл "Деятельный век" ("преemptственность и одиночество в истории русского духа" — так определяет автор его тему), эссе "Гамлет" и сколько еще — в замыслах, набросках, черновиках...

Пафос "тех и этих лет" неотделим от близости к тем, кого автор зовет "мои молодые друзья". Это не просто подробность биографии, это нечто, по его словам, "включенное в ход мысли". Нет тут, пожалуй, кружка, не создано школы — ибо нет кружковой замкнутости и регулярности школьных отношений; но каждому, кто из этой малой "гефтеровской" среды, дано было пережить и острую радость ученичества, и благодарность за ничем не заменяемые часы общения. Для него же эта среда не только адресат вопросов и сомнений, но и то, что позволяет в разочарованиях "вышедшего из сочленений" времени сохранить тождественность себе. И мы чувствуем, читая книгу, как в пульсе этой среды вновь исполняется тема "преemptственности и одиночества" и уже отчетливее связь между судьбой современного диссидентства и великим подвижническим делом русской интеллигенции прошлого столетия.

В.И. Максименко



Москва, 14.11.90

Дорогой
Александр Константинович!

Поняко что выкарабкался
из неожиданного (правда, лишь
для меня, оказывается медицин-
ной предусмотрительного) импорта
№2 и пошлое желание,
оказавшись на воле, черкнуть
Вам несколько слов. Просто
сказать Вам: добрый день!
Это все-таки недурно - быть
энивым, а стало быть, и сохранить
возможности произнести
и такие простые, заурядные,
обыденные слова.

Сейчас я на перетоне болони-
ца → дача, но, надеюсь, осенью
смогу и поведаться с Вами.
Есть кое-какие мысли, а в
некоторых пресных я, еще
более укрепился. Например (или

грядущее всегда в необходимости
ознакомить поколение „молодое,
незнакомое“ с духовными
опытами тех поколений, кото-
рые участвуют в мировом
процессе этого уходящего века
в качестве левых (слово едва
ли не бранное ныне и, конечно,
чересчур суммарное, но ведь
и суммарность этого многолик-
ого феномена не совсем выду-
манная, за ней и в ней —
огромный кусок взлетов и
падений, страданий, прозрений....)

И еще одно неслыханное мною
обещание. Посулила я милому,
умному человеку Патамане
Александровне Ночкиной
замолчать перед Вами слово
в пользу ускорения выпуска
сборника, именуемого „Погру-
жение в грязь“ (посвящен-
ного недавним и уже фашским
1970-м). Судя по тому, что
моя молодая супруга уже

вышущими версией моего
старого, 1979 года выпуска, этот
сборник близок к тому,
каким было выпущенным.
Но, пожалуй, нет души и еще -
очередь... Сборника я не читал,
видел только оглавление; оно
судит нечто интересное,
тема мне сегодня едва ли
не важнее, чем пять лет
назад. Может, я награсно
бестолково Вас, но если Ваше
вмешательство окажется в этом
деле не лишним, то, как говорится
угодливо власть.

А так... Будьте здоровы (это
очень важно - быть здоровыми!)

Сердечный привет Тому
Васильевичу Орешини

Ваш Медведь

P.S. Спасибо Вам за
Веронику!



26. VII 90

Дорогой
Александр
Константинович!

Вероника сказала
мне, что Вас
содратились навестить
меня.

Очень рад буду
Вас увидеть.

Мой сын передаст
через наших друзей
(и моих учеников),
как отразится к

Клан на машини.

Крепко ми
руку

Гави М

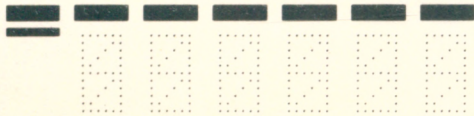


Куда *А. К.*

Кому *А. Величкову*

Индекс предприятия связи и адрес отправителя

от Мелы



Пишите индекс предприятия связи места назначения

Михаил Гефтер: несколько строк о незабвенном аутсайдере

le 27 avril 2013



Взял с полки томик Михаила Гефтера, выпущенный в свое время в «Прогрессе». Нахлынуло. Время надежд, время открытия всех горизонтов и шлюзов, период очищения общества от тотальной лжи. Эра Водолея...

О связанных непосредственно с Гефтером эпизодах из этого дивного времени я написал много лет назад. Нашел в своем компьютере эти строчки, впервые в сокращенном варианте напечатанные в «Общей газете» у Егора Яковлева. Мало кто их видел. А тот, кто видел, наверняка позабыл. Но они важны для меня. Вот они...

МОЗАИКА ИЗ ВСТРЕЧ С ГЕФТЕРОМ

Опыт моего общения с Михаилом Яковлевичем Гефтером импрессионистичен и оттого, видимо, распадается на череду мимолетных ощущений, способных лишь в моем разуме и в моей душе слиться в целостную картину. Этого опыта достаточно для того, чтобы почувствовать и, почувствовав, привязаться к человеку всем сердцем. Но этого и досадно мало, чтобы передать свой импульс вовсе не знающим его людям. Хотя – как знать.

1988 год. В канун 19-й партконференции выходит в свет «Иного не дано» и мы просыпаемся на следующий день известными. О «Прогрессе» говорят, с нами хотят работать, на любое предложение о сотрудничестве откликаются с чрезвычайной охотой. Нет, пожалуй, такого имени, известного в ту пору по своей радикальной публицистике, обладатель которого не приходил бы в 1988-89 гг. в здание на Зубовском. Мало-помалу складывается своего рода интеллектуальный клуб, участники которого рожают все новые и новые идеи, а само издательство на какое-то время становится центром аналитической работы. Приходит много молодежи и остается лишь удивляться, откуда только берется такое количество прекрасно образованных ребят, владеющих свободно понятийным аппаратом не преподававшихся в высшей школе наук: политологии, социологии.

Довольно скоро на смену кратковременному очарованию радикальной публицистикой с ее подчеркнuto пренебрежительным

отношением к поиску аргументов, приходит желание работать основательнее, профессиональнее. К этому времени и восходит наше знакомство с Михаилом Яковлевичем Гефтером.

Статьи Гефтера тех лет, публиковавшиеся стараниями Глеба Павловского в замечательном для своего времени журнале « Век XX и мир », отличались от всего того, чем мы зачитывались в этот период в других либеральных изданиях. Отличались более всего глубиной мысли, спокойностью интонации, отсутствием эпатажа и рисовки. За словом Гефтера угадывалась личность неординарная, поэтому я охотно откликнулся на переданную Глебом личную просьбу Михаила Яковлевича о встрече.

Нет, Гефтер стремился в « Прогресс » не с обычной для встреч автора и издателя просьбой о публикации своих работ. Он приехал *пообщаться* и обсудить ряд волновавших его вопросов. Мне показалось тогда, что будучи человеком, умеющим чутко улавливать все движения в ноосфере, он увидел и почувствовал в нашей работе того времени что-то важное, взволновавшее его и позволившее заочно считать нас единомышленниками. Думаю, что ни он, ни мы не ошиблись.

Во время той первой встречи мы говорили о молодежи, о талантливых и еще мало кому известных исследователях, за кем, возможно, будущее нашей науки. Как им помочь? Официальное обществоведение изжило себя и потому особенно агрессивно по отношению к молодым талантам. Да и сами молодые не стремятся объединяться вокруг академических институтов. Для того, чтобы объединять, нужно обладать моральным и интеллектуальным правом. « Прогрес » мог бы стать идеальным местом для общения молодых исследователей.

И мы обсуждали идею создания издательско-аналитического центра при « Прогрессе ». Многое поразило меня тогда в том разговоре с Гефтером. Во-первых, его пронизательность, заставившая прийти с этим разговором именно к нам : мы в это время действительно вынашивали аналогичный проект, не афишируя слишком эту сторону наших занятий. Во-вторых, как ни печально признавать, к этому времени стало очевидным, что для многих вполне порядочных людей перестройка была важным средством взятия собственного реванша над неудачами предшествующей жизни и карьеры. Зачем обременять себя мыслями о будущем поколении ? Мих.Як. пришел с другим, с разговором не о себе. Это было замечательно и незабываемо. Кстати, возвращаясь к этой первой встрече : многое из того, что обсуждали мы тогда, получило практическое развитие.

Михаил Яковлевич – человек с негромким голосом. Парадокс заключается в том, что именно такие люди слышны подчас лучше всего.

Или должны быть слышны, поскольку слишком важно то, что говорится негромким голосом.

В 1989 году идет работа над « Опытном словаря нового мышления ». Проект оригинальный, зондажный: сопоставить совпадения и расхождения понятийных полей одних и тех же терминов, употребляемых обществоведами во Франции и в СССР. Это любопытно, поскольку со всей очевидностью выявляются расхождения взглядов на мир, цивилизационные процессы. Это интересно, поскольку через выявляемые мировоззренческие несовпадения можно оценить дистанцию, отделяющую нас от остального мира. Можно выявить и доктринальные ограничения, в равной степени жесткие для представителей обеих школ.

И в конструкции Словаря, предполагавшей выстраивание строгих дихотомических пар, выпадает, **ОБОСОБЛЯЕТСЯ** один материал – статья Гефтера « Мир миров ». Со временем я лишь утверждаюсь во мнении: именно этот материал и является центральным во всем проекте, задавая какую-то совершенно особую по духу, смыслу и звучанию философскую сетку координат для осмысления грядущего цивилизационного прорыва, приметы которого ощущаются уже ныне. В многоголосице статей, написанных талантливыми авторами, явственно слышится негромкий, спокойный голос Михаила Гефтера, мелодика его Мира миров.

Звонит телефон, и на другом конце провода – Мих.Як.: « Как бы надо повидаться, **ПООБЩАТЬСЯ**, поговорить ». Гефтер вообще любит это слово – « общаться ». Для него оно исполнено особого смысла. Своим путем придя к осмыслению « нищеты историцизма », он верит в примат жизни в синхронии. Общение как единственно адекватная форма человеческого бытия в синхронии? Видимо, поэтому общение – не простой обмен словами и звуками, но обмен посланиями, импульсами души и разума. Общение – поиск общности, опыт обобщения. Общение – урок рефлексии, совместности в раздумьи.

Мне нравится, когда звонит телефон, а на другом конце провода: « А.К., как бы надо повидаться, *пообщаться*, поговорить ». Это – Гефтер.

Мы не часто встречаемся, но каждая встреча – в радость. В том же 1989 году проходит вечер « Прогресса » в Доме кино. Мы приятно возбуждены приглашением и совершенно ошарашены полным залом. Приезжаем с большой группой наших друзей и авторов того времени: Стив Коэн и Юрий Черниченко, Роберт Таккер и Юрий Афанасьев, Отто Лацис, А.Д.Сахаров, Галина Васильевна Старовойтова и многие другие. Откликнулся и приехал Михаил Яковлевич.

Этот вечер, настоящий бенефис « Прогресса », запомнился навсегда. С одной стороны, мы получили сильнейшую эмоциональную

поддержку со стороны московской интеллигенции, лишний раз убедившись, что делаем по-настоящему нужное дело. С другой – это было своего рода подведение черты под большим периодом нашей жизни. Жить старым капиталом невозможно, мы вызрели для новых проектов. Политическая ангажированность начального этапа борьбы за гласность должна была смениться более серьезными и основательными акциями, большей основательностью и продуманностью проектов.

Подведение итогов – всегда прощание с долей прошлого. На том вечере в Доме кино, конечно же, звучали привычные для тех лет радикальные выступления. Много повторялось уже в который раз. Было предоставлено слово М.Я.Гефтеру. В зале стало тихо и, как мне показалось, истосковавшиеся по спокойному, почти камерному голосу люди наслаждались четкой логикой фраз, завершенностью и отточенностью мысли, глубиной и содержательностью речи. Мы наблюдали спокойную эволюцию мысли в контексте только что кипевшего революционного нетерпения. Михаил Яковлевич общался с залом, общался в свойственной ему мягкой убедительной манере, общался в том смысле каковой он вкладывает в само слово «общение». Не задумываясь об этом, он дал присутствовавшим урок высокой нравственной и интеллектуальной силы.

Старшинство мысли становится очевидным без использования сильного голоса и испепеляющих интонаций. Гефтер напомнил нам всем об этом.

Еще один звонок из недавнего прошлого. Позвонил Мих.Як. и слегка волнуясь голосом сообщил, что вскоре поедет за границу, кажется, во Францию. Добавил : « Это ведь в первый раз меня за границу пускают ». Признаться, мне до того разговора как-то даже в голову не приходило, что Гефтер не ездил по миру. Действительно, писать и думать так, как М.Я., так глубоко и тонко понимать мир, обладать столь большой свободой и широтой взгляда на него мог, как мне казалось, человек, немало поколесивший по свету. А он оказался из рода пытливых Жюль Вернов, постигающих мир умом и сердцем, через достоверность знания и неподдельность чувства.

Та первая поездка так и не состоялась : подвело сердце. Я не знаю с уверенностью, но думаю, что Мих.Як. переволновался от ожидания первой встречи с одним из множества миров, чье существование он вычислил и почувствовал разумом и душой.

С ним интересно работать. Может быть, прежде всего потому, что М.Я. не уважает приблизительности знания. Годы становления гласности, как мне теперь кажется, вообще сопровождалась резким истончением экспертного знания, замененного политическим эпитетом.

Это было замечено и оценено нами не сразу : очень привлекала свобода выражений, резкость и размахистость оценок. Ранее других это было понято серьезными исследователями. Три года назад в рамках своего давнего и глубокого интереса к « устной истории » М.Я. предложил нам проект под условным названием « Опыт ментальной реконструкции эпохи : 1937 год ». Хотя существует масса публикаций по 30-м годам, **что** знаем мы с достоверностью об этом времени : Как воспринималось оно людьми, жившими в нем, какие следы оставило в их личной переписке, дневниках, архивных материалах иного рода ? Найти максимум доступных еще сегодня материалов, найти и обобщить воспоминания современников – восстановить во всей полноте жизнь трагической эпохи, попытаться осмыслить ее на базе подлинных свидетельств.

Проект был принят и на сегодняшний день близится к завершению. М.Я. смог сделать то, что в наше трудное время дано не всякому : создал большую группу молодых историков, более двух лет ведущих поиск уникальных свидетельств эпохи. Я думаю, что сегодня складывается историческая школа Гефтера. Этой школе по-настоящему повезло с учителем.

Вокруг Гефтера всегда много талантливых людей. Часто это молодые и очень молодые люди. Чем притягивает он к себе ? Почему он так важен для всех тех, кто едет к нему из Москвы и Парижа, Набережных Челнов и Франкфурта, Рима и Нью-Йорка ? Наверное, существует немало ответов, самых разных..

Мих.Як. несовременен глубиной своих познаний и человеческой мудростью. Тем и интересен. Он сердечен в отношениях с людьми и каждый может вспомнить десятки случаев, когда он устраивал чьи-либо дела и судьбы. Он содержателен и достоверен, а потому казался белой вороной в составе Президентского совета, куда его включили, даже не испросив согласия. Он честен и порядочен, а в наше время эти качества должны провозглашаться общественным достоянием и охраняться законом.

К сожалению, мы не часто общаемся. Но тепло на душе уже от одной мысли о том, что в любой момент можно взять телефонную трубку, набрать номер его домика в Ватутинках и сказать : « Здравствуйте, дорогой Михаил Яковлевич. Ну, как Вы там ? ».

Как давно все это было...И насколько нынешняя Россия непохожа на наши тогдашние сны о ней.